

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

Usage guidelines

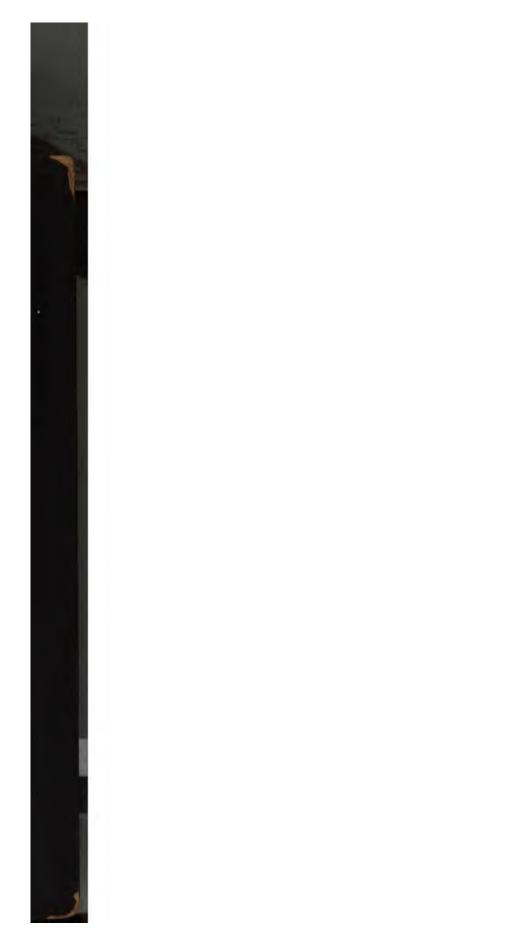
Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

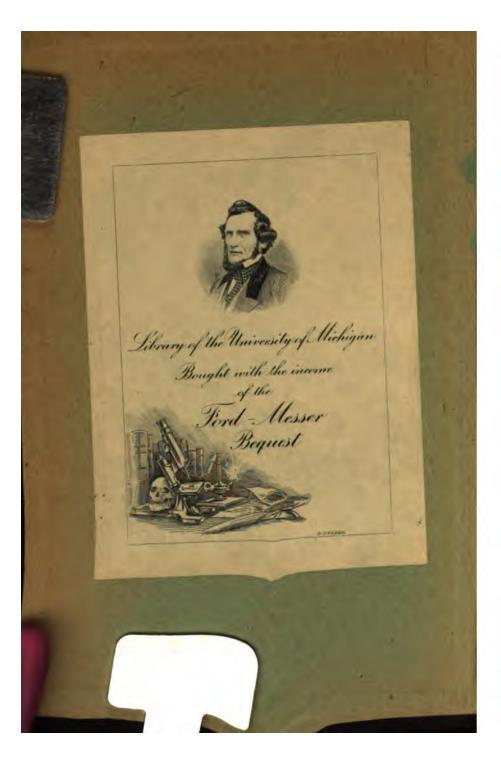
We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

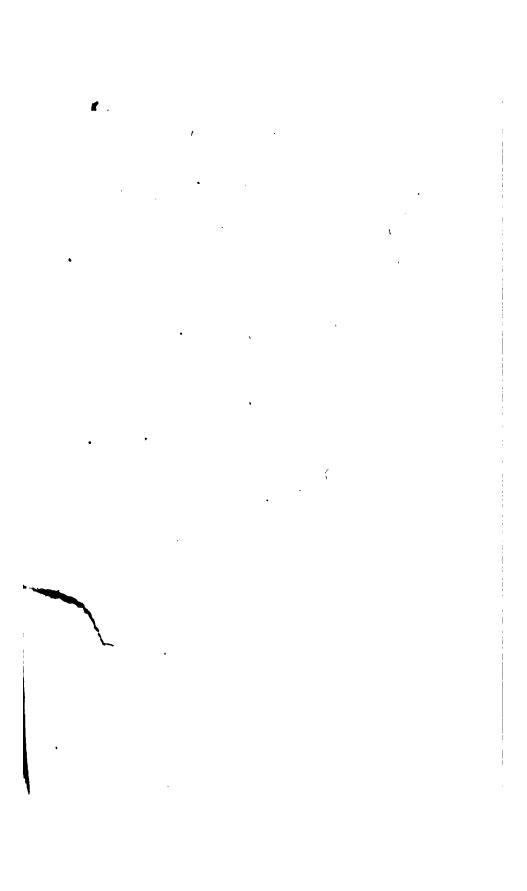
About Google Book Search

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/









СОЧИНЕНІЯ рам le w s ку Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

томъ седьмой.

издание ВОСЬМОЕ, посмертное, въ двадцати четырекъ томакъ, Съ портретомъ автора.

Врилежения из журналу "Инва" на 1901 г.

C.-ПЕТЕРВУРГЪ.

Изданіс А. Ф. МАРКСА.
1901.

.

Типографія А. Ф. Маркса, Нэмайд. пр., № 22.

БЪГЛЫИ ЛАВРУШКА ВЪ ПАРИЖЪ

(разсказъ.)

Въ пачать весны 1860 года, передъ отъводомъ изъ Парижа, мит привелось объдать въ тамониемъ русскомъ трактирь, содержимомъ пъкоимъ господиномъ Петромъ Ахчауловымь. «Pierre Achtschauloff, restaurateur russe» значилось на его карточкахъ, тыкавшихся вамъ, какъ новичку, вездъ, даже среди газеть и журналовь, въ кабинеть для чтенія, при редакціи журнала «Le Nord». Общія подстреканія знакомыхъ оказались и здесь, какъ почти всегда, пустякомъ. Забавный кабачокъ представился тывь же французскимъ отелемь, съ маленькими столиками, некрашеными полами, усыпасными ежедневно бъленькимъ пескомъ, съ носредственными винами, изъ такъ-называемыхъ туземныхъ, дамойсчетчицей за конторкой и нечальными результатоми всёхи париженихъ объдовъ, выходомъ изъ-за стола «впроголодь». Зато здісь вамъ подавались, и теперь еще, віроятно, подаются весьма сомнительного свойство квось, гречневая каша, борщъ съ бураками, разумбется, на виниомъ уксусв, кулебика съ вязигей, паюсная икра, болье похожая на сгустокъ отъ черниль, чемъ на пкру, чай и прочія топкости, безъ которыхъ, какъ говорить, не обойдется желудокъ русскаго человіна. Взглянувши на часы и сообрази, что есть още средства утолить голодь за табль-д'отомъ въ отель Франциска I, гдв я заседать ежедневно съ молодежью изъ русскихъ художинковъ, давно обстрелонныхъ и неспособныхъ подлаться на слабость посьтить г. Пьера Ахчаулова, я уже всталь и взялся за шляну, какъ съ одного отдаленнаго столика также всталь благообразный былокурый господинь, въ свромъ простенькомъ пальто и подошель ко мив.

Извините-съ!..--- началъ онъ по-русски.

-- Что вамъ угодно?

— По двумъ вашимъ словамъ въ отвътъ здъшнему ховлину и ръшилъ, извините, что вы... чиновникъ-съ!

- Ошибаетесь; почему же вы такъ думаете.

Влондинъ вынулъ бумажникъ, досталъ оттуда карточку и подалъ мнъ, со словами:

 Извините. Я вашъ соотечественникъ; я русскій эмиврантъ-съ.

На французской карточкі значилось: «Лоранъ, второй швейцаръ въ дом'я барона Ротшильда».

— Что же вамъ угодно отъ меня?

Быюкурый господинь попросиль меня къ окну.

- Извините меня, началь онъ добрымъ голосомъ: п пуждаюсь въ совътъ... Многихъ и здъсь въ ресторанъ-съ перескъдилъ и относился къ многимъ-съ. Все господа важные или занятые весельемъ-съ. До того ли имъ...
 - Въ чемъ же ваше дело?
 - Вы не чиновникъ?
 - Нътъ, не чиновникъ.
 - -- Въ университеть вы учились? Законамь учились?
 - Учился...
- Позвольте васъ попросить меня выслушать; если угодно въ садъ, туть по близости-съ, на лавочку...—Я пошель съ Лораномъ въ садъ, примыкавшій къ какому-то дворцу или казармів... Мы сіли на лавочків. Мой собестідникъ вынуль красивый порть-сигаръ и предложиль миїв отличную «баядеру».
- Ахъ!—сказаль онь:—какъ туть ни весето, а всетаки поневоль обрадуещься живой родной душь. Двъ недъли, какъ я выжидаль и искаль человька, съ къмъ бы посовъвоваться. Въ наше посольство идти жутко: такъ мало знакомствъ имъю-съ между нашими: занять очень-съ. Я бъглый крыпостной человъкъ-съ одного полтавскиго помъщика-съ, а зовутъ меня, то-есть звали когда-то-съ дома, Лаврентіемъ Даниловымъ Блинченко, а по-просту-съ Лаврушкой...

Лаврентій Данилычь помолчаль, глядя на толиу щеголихь, мелькавшихь мимо нась.

— Долго вамъ разсказывать, сударь, какъ я сюда попалъ п какъ туть остался. Гогда-инбудь сообщу. Теперь же діло воть вь чемь: туть баринь однить есть; зайзжій и добрый баринь; только совсёмь прожился—слабый, хворый, денень ныть, а ко всему этому здёсь соблазну манить— ну, и танется: совсёмь уже, такъ сказать, урониль себя... извёстно-сь, прогорёлый!... ну, а народь туть расподлёющій,— шельма на шельмё... Жаль, а помочь некому; силы надтнимъ нёту никакой, а силу надо...

- Такъ вы думаете, что я...
- Вы мий, сударь, скажите одно: могуть ли по нашему, то-есть русскому, закону вытребовать барина обратно, положимъ такъ, въ Полтаву, что ли?
 - Кто? правительство?
- Н'вть, не казна-съ... А д'вти—могуть? У него двое и уже взрослыхъ; славныя были д'втки—Саша и Соня-съ, то-есть теперь уже Александръ Аркадьичъ, выходитъ, и Софья Аркадьевна... В'вдь пропадеть челов'вкъ; почитай уже теперь по улицамъ побирается, паяцомъ за деньги готовъ статъ кърасподл'вющему какому французу.
 - А есть имъніе у этого господина въ Россіи?
- Было-съ, триста душъ, да теперь уже ихъ нъту... прокутился...
 - *🖈* дъти чъмъ обезпечены?
- Отданы были въ обучение чрезъ бабку; у бабки теперь върно и живутъ, своего достатку нътъ. И жива ли бабка, не знаю...
- Ну, врядъ ли что тутъ силой сдълаенъ; дъти могутъ только писать ему, надо уговаривать.
 - Уговоришь его! совсыть пропаль, какъ есть...

Мы еще поговорили. Я объщаль навести справку вы посольствъ, дать ему отвъть черезъ недълю и простился съ нимъ.

На разставань в Лаврентій Данилычь замялся.

- Скажу ужъ вамъ всю правду... Вы все равно въ посольствъ узнаете, извините — этотъ баринъ Аркадій Андренчъ... Дольскій — былъ когда-то мой баринъ. Двінадцать лътъ назадъ мы вотъ съ нимъ вмёсть біжали сюда, при Ламартинъсь, какъ разъ при республикъ этой бъжали и прогоръли. Кабы не Господъ-Богъ, да Миколай-чудотворецъ, и я бы, можеть статься, въ тюрьмъ какой сидълъ. А теперь, благодари Бога, въ хорошихъ людяхъ живу...
 - Да, мъсто хорошее; вы, кажется, у Рогшильда въ долг!?
 - Точно тамъ-съ, у нихъ; баронъ распредобръющій че-

довъкъ-съ, какихъ поискать въ міръ. Снерва я у него вы**изднымъ былъ, а потомъ въ швейцары попаль и комиссіи** иногда им во по деламъ: по городу, отъ конторы...

— Сколько вы жалованья получаете?

— Deux milles francs d'appointements et deux milles de commissions, — сказать Блинченко, съ чистышнить парижскимъ выговоромъ, принимая при этомъ все ухватки туземца: — двъ тысячи франковъ жалованья и двъ тысячи комиссіи, квартиру и одежу-съ.

... ошодох отб

- Только ни днемъ-съ, ни ночью, върите ли, покол истъ! Теперь же я выпросился, извините, — я жду вашего одолженія-съ-не оставьте!..

И онъ опять ваговориль по-французски и повториль адресъ своей карточки. Странио! По-французски онъ говориль какъ истый парижанинъ; казалось, слушаень ленетъ франта на Итальянскомъ бульварь. Какъ заговорилъ опять по-русски, о Парижь и номину ньть: будто слушаеть разговоръ дворника у лавочки на Поварской или въ Гороховой.

— Вы давно изъ Россіп-съ?—спросиль онъ.

Недавно.

— Что ваши крѣпостные?

 Двло обсуждается! нельзя, — много хлоноть.
 То-экл-съ; насчеть тоже-съ откуповъ, тутъ говорять, будто у насъ свободно будутъ водку продавать. Правда это?

— А васъ это занимаеть? — Да-съ, въ Миргородъ у меня сестринъ мужъ ниникаремъ сидить, такъ какъ бы мъста не утерилъ, много дътей... А правда тоже, извините...

Ничего, ничего, что такое, говорите!

— Правда, тоже, туть произошель слухъ, что будто богана кунца Самокишина въ Москви на цинь къ столбу приковали за то, что народу чай изъ бурьяну поддільный продаваль? Мы у него въ дом'в у Покрова съ бариномъ стояли, и будто пароду было дано, всякому человъку, право и дозволение три дил и три ночи илевать на него и бить его по щеканъ за это жидовство-съ?

Кто это ванъ сказаль? это чистыний вздоръ!

— Пріятель тоже, скажу вамъ, русскій и какъ я—лакей тоже, былый изъ Крыму, писаль. Онъ быжаль, значить, дуракъ, во время войцы, да три года у англичанъ и потеръ лимку во флотв; а теперь въ Лондонв на улицв Гей-Маркетъ, въ турецкой кофейнв офиціантомъ служить, уже тоже третій годъ. Онъ въ аглицкихъ газетахъ начиталь. Вы, я думаю, его видыли, коли въ Лондонв были, — его есть наши эмигранты знають—такъ его Данилкою и зовутъ. На-дияхъ это тоже опить пишетъ мив: «ну, братъ, Лавруша, поздравляю: у насъ свканцію отміняютъ». Шутникъ такой, что на-поди! Извините-съ, опять заболгался. Аи геvoir!

· Мы разстались. Но я плохо сдержаль данное слово. Ранье недвии судьба унесла меня въ Италію. Выборы въ Тосканъ, смуты въ Римъ, Неаполь и Венеція, Гарибальди въ туринскомъ пардаментв — все это были такія впечатленія, среди которыхъ по-неволь забылся и объдъ въ русскомъ кабачкъ у Пьера Ахчаулова, и разговоръ съ Лораномъ Блинченко. Но зато едва я воротился въ Парижъ и въ квартиркъ художника М., гдв бросиль часть своихъ вещей, наткнулся на карточку съ именемъ и адресомъ мосье Лорана, - я отправился въ посольство, переговорилъ съ чиповниками, порымся даже въ сводв законовъ и повхамъ отыскивать знаменитую улицу Лафитта и еще болье знаменитый домъ барона Ротшильда. Мив кстати нужно было справиться въ банкирской конторъ барона объ одномъ вексель, и я вошель въ контору. Целое министерство предстало мониъ глазамъ. Клерки ва столами, главноуправляющіе съ пушистыми бакенбардами, мізшки съ золотомъ, кучи билетовъ, кассы ва металлическими сътками оконъ; общая тишина, жерные шаги по коврамъ и плавное скриприје содни перьевъ; самъ молодой, облокурый баронъ, худощавый и красивый, «султанъ червонцевъ и цілковыхъ», въ мягкомъ кресть огромного, сіяющого каминомъ, кабинета, съ сигарой, за подписаніемъ бумагъ- все это заняло меня. Но я спешиль обратно въ пріемную и потомъ винзъ.

- Что угодно, мосье? спросиль меня дежурный привратникъ.
 - Мосье Лоранъ?
- А, мосье Лоранъ; знаю, знаю; вы втрно его землякъ? Онъ все ждалъ кого-то; его теперь нътъ дома! Онъ съ баронессой въ Булонскомъ саду. Но вы пожалуйте въ его комнату, онъ живетъ выше меня; о, опъ истинно достойный малый и живетъ по заслугамъ выше меня вотъ, по этой

же черной л'єстниц'ь... A-a? Козакъ!.. козакъ! Xe-xe!.. Vous čtes tous des kosaks!

И дворникъ, лукаво подмигнувши, почему-то громко разсмънлся. Я вошель въ комнатку второго этажа, сопровождаемый дворникомъ. Это была конурка въ пять шаговъ; жельзная кровать, подъ фланелевымъ одъпломъ, два стула, столнеъ у единственнаго окна, на столь два подсвъчника, зеркало, папка съ бумагой, карандашъ и чернильница, клътка съ канарейкой надъ окномъ, а на стънъ на гвоздъ обернутое простыней платье. Апръльское солнышко весело свътило въ комнату, канарейка заливалась на всъ лады. Я склонился къ столу и сталъ писать записку. Дверь отворилась за спиной привратника.

— А! Это вы! я васъ давно ждалъ! — крикнулъ мий на порогћ посићино вошедний Лаврентій въ голубой ливрев, интой золотомъ, въ штиблетахъ и съ блистательными гербами на пуговицахъ.

Онъ сухо выслаль подобострастнаго дворника, сняль ливрею, облачился въ пальто и сълъ.

- Да, я васъ ждалъ, ждалъ! Гдв вы были, сударь?
- Въ Неаполъ, въ Сициліи, въ Туринъ; гдъ я не былъ?
- Гарибальди видъль-съ? Вотъ герой; налгъ Суворовъ-съ!
- Видълъ въ парламентъ и даже къ нему на домъ съ другими руссанми водили; видълъ его и на улицъ, — передъ студентами ръчь держалъ...
- Да, герой человыкь, я думаю, такого и нашъ Ермоловь бы не побъднять. Туть шла на него по лавочкамъ тайкомъ подписка, и я два франка далъ. Хотите курить? Что же наше дъло?

Я передаль ему справку. Оказывалось, что г. Дольскаго по требованію дітей выслать не могли,—да врядь ли діти и захотіли бы хлопотать о такомъ папенькі. Мой разсказъ произвель горькое впечатлівніе на Лаврентія. Онъ склонился на руки, волосы упали ему на лицо. Прошло минуты три.

- Прональ человікь! а что за человікь быль! Спасибо за справку; сталь бы я вамь жизпь его теперь разсказывать, да надо идти. Баропъ отпустиль всого на пять дёнъ; теперь дни такіе...
 - Что же теперь такое?
- Да теперь... страстная педіля-съ, страсти: а вы закутились и забыли? Надо говъть, надо въ нашей церкви о

службахъ справиться. Извините, пойду туда, а къ вамъ опосля заверну-съ...

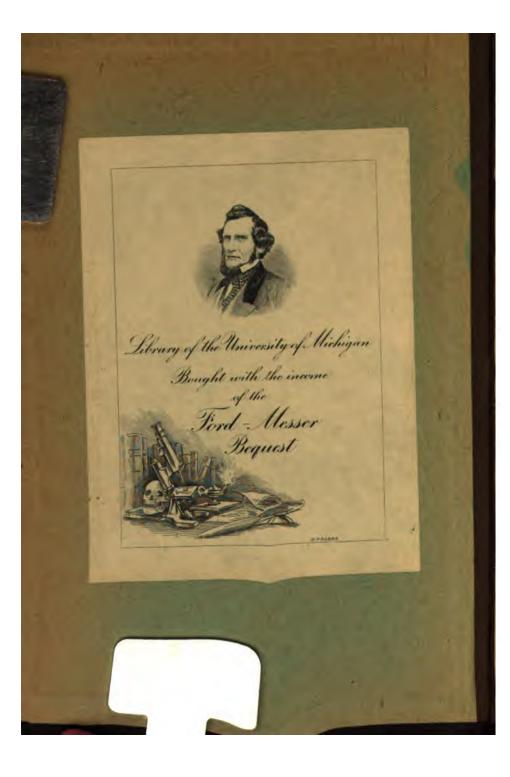
 Ну, ужъ нътъ, Лаврентій Данилычъ, за гръхи мои и я пойду съ вами. Въ самомъ дълъ, я среди здъщняго счета

чисель и запутался.

Мы пошли бульварами. Шли долго; Лаврентій Данилычь. какъ началъ разсказывать, все не умолкаль. Прошли и Маделену, и Фобуръ-Сентъ-Оноре, и другія улицы. Заходили и въ нашу прежиюю церковь. Тамъ, во дворъ, мой товарищь отыскаль пом'вщение одного изъ причетниковъ родного клироса и у него справился о времени вечерень, всенощныхъ и объдень. Помню я, что и этоть причетникъ поразиль меня тыть же, чыть поразиль сперва и Лаврентій. Мы разговорились, въ веселой хорошенькой гостиной этого дьичка русской парижской церкви, передъ каминомъ, уставленнымъ фарфоромъ, среди уютной мебели, обитой трипомъ; по ствнамъ висьми картины масляными красками, при нашемъ входъ изъ-за пьянино встала маленькая дочь дыячка, игравшая что-то изъ оперы. Самъ онъ заговорилъ по-французски — чиствишій парижанинъ, и даже слово «parbleu» употребиль; авговориль по-русски — прямо дыячокь изъ-за Москворьчья; даже ругательства родный ввертываль подчасъ въ свою рычь. Тридцать лыть онъ живеть въ Парижы при церкви, въ полномъ довольства; усвоилъ себа всв сго привычки, всю обстановку туземнаго счастія и комфорта, а воротись на родину, одной косички на затылкъ первое время не будеть, -- сохраниль вы себъ всю святую Русь въ точности.

— Ну,—сказаль Лаврентій, справившись у причетника:— мы на день еще свободны; такъ слушайте же далье, до концаю Мы вышли на улицу Берри, отгуда набережной Сены въ Тюльерійскій садь, и бесъдовали до самаго вечера на лавочкі, у знаменитаго фонтана...

— Мы бъжали дивнадцать лъть назадъ изъ Россіи. Мой барикъ-съ, какъ я сказывалъ, былъ богатый помъщикъ. Вы меня извините, коли я что неприличное вамъ скажу: надо говорить правду. Баловался мой баринъ сызмальства, хоть былъ и дворянинъ; набереть, бывало, ребятишекъ, какъ изъ корпуса прівдеть, запригаеть ихъ въ колясочку, играетъ всячески, а послв и съчеть; это, говорить, для фронту. этобъ послв боялись; насъ, говорить, тоже въ корпусь и



·
·
·
·

поселились: сперва я боялся, что поймають и въ Сибирь сощиють. А после обощелся. Зажили мы. Я хожу корову пасти, дрова собираю, на базаръ въ Кастелламаре (деревушка она, что ли, за Везувіемъ есть такая) хожу, салать, овощи, фрукты покупаю; а баринъ все ходить въ такой большущей соломенной шляпь, по морю катается, рыбу удить, на огни Везувія по ночамъ съ любовницей смотрить и оба ровно ничего не дълають больше. Покушають, погуляють, полежать, спать лягуть; я опять имъ и туть ставни закрываю, какъ во Всесвятскомъ. Выснятся, онять поблять, опять это пошатаются по каннямь, выкупаются или рыбки половять, и опять спать. Она растолстела, жирныя такія губы и плечи стали, глаза подернуло поволокой, такъ и нышеть вся, сталь толстьть и мой баринь, но меньше. Онь все на лакрима-кристи, да на алеатико сталъ налегать; тамъ вина такія есть. Туть начала голова у него больть, приливами, глаза какъ кровь, еле уже ходить, а туть и желудкомъ сталъ сердечный объйдаться; я дважды за докторомъ вздиль на осле въ городъ, провь ому бросили. Прошло такъ мъсяцевъ семь; смотрю, оба замутились; привялило -ки озист столого житье — хлопають только глазами; она книжку читаеть, онъ зъваеть, да курить. А туть и казусь произошель. Надо вамъ знать, что баринъ мой быль очень ревнивь еще и къ своей прежней барынь, и къ этой; а она со скуки, что ли, или такъ — шутя, одинъ разъ и залучила меня въ саду. Сперва все ходила около съ зонтикомъ, какъ я корзинку плелъ, а потомъ подощла и взяла меня за щеку, а сама, смотрю, дрожить, и какъ нахнеть оть нея всявими духами: «Лаврушь-дурнушь, — говорить: полюби меня, я тебя озолочу!»—Я, сударь, такъ и обоматель.—«Non, говорю, impossible, нельзя; баринъ убъеть изъ пистолета!» А она по-французски мив въ ответъ, я тогда уже понималь и самь начиналь говорить: «не бойся, деньги мив всв уже на мое имя переведены; бросимъ его, убъжимъ — онъ мић противенъ!» И она тутъ плюнула па траву, а сама держить меня за голову, я же на корточкахъ сижу съ корзинкой. — «Ніть, я отвітель, не могу, и я васъ не люблю. Эмеренція Карловна; у меня, скажу вамъ по правдћ, тутъ итальяночка по любви ходить...» Иозеленъла барыня, сама усмъхнулась и отошла. Въ тотъ же вечерь мой баринъ, ни за что, ни про что, внервое въ

жизни ноколотиль меня. Сосъдскіе кучерь и садовникь на меня взъдлись. — «Дуракъ русскій, брось своего господина, ведь ты тугь свободный, тугь крепостныхь неть!» — «Даромъ, пусть бъеть, а я все-таки его не кину! На то онъ баринъ — а вы дурачье». Черезь два дни она выпроводила барина куда-то, сама пришла ко мнв въ садъ опять: «а что, — говорить, сміючись и не поднимая глазь: — испыталь?» — «Испыталь, говорю, сударыня, такъ что же?»— " Она кинулась ко ми'в на шею 'и давай меня ц'вловать... ей-Богу! такъ и горить, ласкаеть, дрожить, шельма, и въ глава цълуеть, и въ щеки, и въ губы--насилу я оторвался оть нея, ей-Богу-сь, какъ Іосифъ прекрасный въ исторіи. Она мив пригрозилась и ушла. А тамъ разъ ночью ко мив вь коровникъ пришла... Туть уже я все барину сказаль. Не повъриль онъ сперва, сердечный, а потомъ — и заплакаль. Илачеть, какь малое дити, хнычеть: «пропаль я, Лаврушка, какъ собака, теперь ужь я предчувствую — она меня бросить. Гдв она?»—«Въ ванив сидить: Клара съ нею» (это служанка старая была)...-«Бросить теперь она меня, и я пропаль...» — Да чемь же вы, сударь, говорю, пропали? Возьмемъ м'всто на пароходи и, черезъ Одессу, воротимся опять домой; коли Всесвятского родового вашего не выкупимь, такъ по-крайности хоть въ хуторф какомъ въ Малороссіи сядемъ на хозяйство. Вонъ, Дорошъ, лакей Павленка-съ, въ Рим'в мн'в говорилъ, что у нихъ земля подъ Бахтутомъ ничуть не хуже-съ, ч'вмъ въ этой Кампань'в-съ, али хоть бы и по близности Неаполя; вспомните наше село, вареники; да и пшеница наша не въ примъръ лучие здінней». — «Ты, Лаврушка, вздоръ мелешь; знай, братецъ, что теперь я нищій — меня вызывали черезь газеты; имвніе продано сь аукціона, а мои всв билеты у Чезаре въ Рим'в я перевелъ на ен ими, посл'в того, помнишь, вечера, какъ мы за Монте-Пинчіо въ лісокъ іздили и оставались тамъ до зари. Ахъ, братецъ, женщина! Вотъ адъ и рай вивств, что за пылъ и что за страсти! Ты не вкусиль этого, дуракь, и потому не знасшь... Ну, да авось это еще перемелется!»—Только нъты какъ узнана она, что л барину все открыль, волчица-волчицей стала, - нась, безпаспортныхъ, еще миловали — мив выхлопотали какой-то плакать на итальянскомъ языкв и отпустили; баринъ и тиядить на меня, сердечный, не могь, а она такъ просто

расхворалась, какъ и отходиль. Клара только передала мив туть внаками, что она почью барина по щокамъ била, н онъ нередъ нею на колинкахъ прощенья исе за что-то просиль. — Тугь я перевхаль въ Анкону, а потомъ въ Падув **бывшему** харьковскому профессору—окулисту В***—по одной рекомендаціи, поступиль въ услуженіе. Профессорь вывезь больное состояніе, им'єсть виллу-сь, а 'єсть до- нынв-съ по памяти ботвинью и ділаеть себів дома квасъ. Оттуда я увхаль сюда, въ Парижь, и туть уже остался. Только Парижь мив, скажу вамъ, сперва больно не полюбился. Въ нервый разъ, какъ я пріфхаль, тугъ правиль Ламартипъ-съ: исъ здъшнихъ иомъщикосъ онъ въ короли на три м'єсяца быль выбраць; мні тогда какъ то не каваяси Парижъ,--грязио такъ, улицы узенькія, сырыя, сами французики такіе обшарианные, голодные ходили. Правители это въ шарфахъ черсзъ илечо вездв показывались, виамена раздавали, краснымъ виномъ поили народъ. Тамъ ихъ намера такая была, народъ у входа толнился, задиралъ всякаго. Епискона ихняго гдь-то въ переулкв осмыли, грязью въ лицо ему кидали; а у одной киягини на кареть, среди улицы, гербы кирпичомъ постигали и ее еще заставили выйти въ дгерны и на дело смотреть, стоя. Какъ бывало въ камерь что скажуть такое, такъ и закишать узицы оборванцами, какъ улей ичелами; сейчасъ за камии; мостовыя разберуть и драка. А туть я изь Ііталіи прибыль чорезь ивсколько льть- везув тишина и всв такіе чистью и выбритые ходять. Полиціи пропасть, и Наполеонъ, какъ наши генералы, сталь въ мундира Ездить по городу, още и съ конвоемъ...

- Пу, такъ вы прівхали въ Парижь; а баринъ вашъ гдв же ділся?
- Я туть сталь служить у французовь, сначала по ресторанамь, а тамь и вы конторахь, за инвейцаровь. Завелась у меня здысь тоже люболинка, извените, больно мою полтавскую Настю напоминала—такая же свыжая, да добренькая, да съ черною косой... Тадиль я съ ней въ гуляночные дни за-городъ и вь окрестные сады, въ театры и на смотры войскъ. Она разряжена и я. Разъ тащимся мы въ оминбуст въ Буа-де-Булонь; я высупулся изъ окна и смотрю на исгольско окинажи; вдругъ слышу изъ одной коляски громкій кенскій голосъ: «Лаврушь, Лаврушь, Апп-

маль!» Оглинулся: Эмеренція Карловна, и кинула она мив наскоро свою карточку съ адресомъ; выскочиль я изъ омнибуса, сконфузиль и любовницу свою, подняль карточку, а колиска съ Эмеренціей Карловной улетіла, и она мит голько рукой поцілуй послала, а сама хохочеть и съ нею въ колискъ офицеръ усатый, да черный, тоже заливается, хохочеть. Взбъсила меня эта баба; думаю себъ, пойду, справлюсь хоть о баринъ. Насилу отыскаль ся квартиру, ночти за городомъ, за прежнею чертою городского вала, только квартира отличная, целый домъ въ саду и палисадникъ выходить на улицу. Зашель я прежде въ сосъднюю лавочку имва выпить, а самъ давай разспрашивать хозяина, кто такой занимаеть этомъ домъ съ садомъ. — «Богатая дама русская изъ французовъ, — ответилъ мне веселый хозлинъ лавочки:—деньги сорить, домъ вечно полонъ безпечныхъ гостей — идеть картёжь, попойки справляются аккуратно, а на-дняхъ полиція вміншалась и у нея быль комиссаръ, по поводу одной ея штуки». — Что же такое? Лавочникъ оглянулся. «Видите ли, говорять, она обобрала одного русскаго барина въ Россіи, тысячь на двісти франковъ, выманика у него эти денежки, а его прогнала или где-то бросила больного. Теперь она въ связи съ капитаномъ изъ гвардейскихъ вольтижеровъ, такой здоровенный мужчина, еще прежде быль у меня въ невылазномъ долгу за пиво и сидръ. Ну, она съ нимъ почти открыто живеть, кутить по загороднымъ баламъ, — а этомъ баринъ-то русскій выздоровьть, да какъ-то и доплелся до Парижа...

— Ну, ну??? — «Доплелся, узнавъ ея адресъ черезъ хозяйку отеля, гдв онъ съ ней впервые остановился, когда ъхаль изъ Россіи, — и отправился къ ней. Она его не приняма. Двв недъли онъ ходилъ тутъ, бъдняга, около ся оконъ, какъ нищій, почти-что милостыню готовъ былъ просить, — двери ея не отворились для него. Я его зазвалъ, все это узналъ и трп раза давалъ ему даромъ, бъдняку, кантановъ и нива. Но на-дняхъ у нея была попойка, онъ опять пришелъ и сълъ вонъ на ту скамеечку у воротъ ся двора. Вижу, я, отворилось у нея окно, толпа молодежи высунулась съ нею оттуда и давай кричатъ: «мосье, мосье! какъ же о васъ не доложили, пожалуйте!» Онъ вошелъ къ нивъ, и послъ того тамъ раздавались такіе крики, смъхъ и возгласы; что мы и мои носътители изъ сосъднихъ мастер-

скихъ и давочекъ только плечами сдвигали. Ночью этого восподина отвезли за-мертво пьянаго, -- а утромъ тамъ былъ комиссаръ и у нея взяли какую-то подписку. Говорять, что вр влой компаніи веселый гостей моей сосрдки ей брівшаго обожателя подпоили, заставили петь и плясать національныя русскія пляски и погомъ, нарядивши его шутомъ, сдімали съ нимъ еще какую-то наглость. Онъ этого на угро ничего не помниль; но кто-то изъ собеседниковь проврадся, и госножу эту взнаи подъ присмотръ полиціи и сабдять, откуда у нея взялось состояніе. Спрашивали, говорять, этого чудака, осм'вяннаго ея обожателя, не у него ли она выманила какою-нибудь подлостью деньги; но онъ ее не выдаль и отрекся оть всего». Что вамь прибавлять къ разсказу лавочника? Скажу вамъ, сударь, одно: былъ я у нея, водила она меня по комнатамъ, показывала ихъ убранство, свои вещи, свою спальню, ванну, зимній садъ съ теплицами, вспомнила про Россію.—«Э! ты! Кстати, хочещь навадъ въ Полтаву?» — спросила она меня. Я не отвътилъ ни слова. -- Сударыня, -- говорю, -- гдв мой баринъ? гдв вы его дели?—Она слегка побледнела.—«Мосье Дольскій теперь свободень; онъ мий изминиль и мы разстались; онъ, кажется, въ Швейцаріи... фермеромъ живеть на хозяйстві». Мы были одни; и не выдержаль и говорю по-русски:---«Эмеренція Карловна! смилуйтесь; у вась души нізть баринъ мой вовсе не тамъ, а здісь, въ Парижі, и съ гомоду умираеть!»--она взглянула въ окно искоса и засмъялась:--«Tiens, моя душа: если бы у меня не было этого (она показала сперва на роть, потомъ на лобъ и потомъ на левый бокъ), этого и этого, если бы я не хогела есть, не думала жить и не им'яла бы надежды любить, — я бы поняла тебя. А теперь—прощай! Да кстати: хочешь ли въ лакси-друзьи; ты еще такъ же хорошъ, какъ быль въ Италін; я тебі дамъ ваканцію у одной моей подруги, содержательницы шоколаднаго магазина на бульварь? Подунай!» — А баринъ мой, баринъ-то?! — сказаль я, трясясь отъ злости и омерзвијя-съ:--вамъ его не жалко? не жалко его детокъ, вашихъ учениковъ, Саши и Сони? — «Ха-хаха-хаі» -- захохотала она во все горло, потомъ, топнувъ ногой, указала мив на дверь и закричала: -- «вонъ отсюда, колнасъ!»—Я оглянулся, кругомъ насъ и въ этой части дома не было ни души. Я молча кинулся на нее и уже въ точности не

упомню, чемъ, сколько времени и по чемъ и се билъ... Помню только, что на ея крикъ стали останавливаться у окна прохожіе, потомъ окно со звономъ лопнуло и ворвался ко мив какой-то толстякъ-булочникъ, а потомъ розняли насъ и другіе! У меня отняли изъ рукъ ножку стула и на полу подняли обломокъ шандала. Ее полумертвую отвезли въ страннопріниную богадільню; голова у нея оказалась безъ косы, — чемъ и отрезаль ее, и доныне не соображу, — въ двухъ мъстахъ была пробита, а на лиць и на рукахъ оказались у нея такія раны, что едва и могь спастись и доказать, что истиль ей за господина, но не думаль ее убить до смерти. Черезъ два дня въ здёшнихъ газетахт появи-лась статья, подъ заглавіемъ: «Русскій тигръ, или анекдоть на улиць Звъздъ съ русскимъ рабомъ и парижскою сиреной, за стараго любовника». Я просидъть болье полугода въ тюрьмъ; ко мнъ являлись и угрожать, и упрашивать. Мой адвокать оправдаль меня, н я вышель, но бъдствоваль долго безь міста. Туть-то отыскаль меня по газетнымъ статьямъ мой баринъ... Боже милостивый! Въ какомъ я положеніи его увидель... какой-то камлотный камзольчикъ, куцыя жидовскія брючки сь чужихъ ногь, видно, прямо съ рынка, и поверхъ всего старенькая плисовая, какъ у паяца, курточка, -- старый престарый, волосы до плечъ, седина прошибаетъ сильно, небритый и подъ хмелькомъ. Воротился я какъ-то съ поисковь за мъстомъ въ свою конурку, смотрю, бокомъ у окна баринъ стоитъ. И такъ и обомлаль. Баринъ, голубчикъ, Аркадій Андренчъ, васъ ли я вижу? Да въ слезы отъ радости, да къ ручкъ его. Онъ руку не далъ поціловать, и самъ не смотрить, стыдится. «Ты, Лаврушка, говорить, много не разсказывай и не унижайся, хоть и бывшій мой крыпостной. А ты лучше воть что: поставь мнв, брать, выпить, червячокъ точить, надо заморить. Помнишь, какъ во Всесвятскомъ: «Антошка, Нашка, Лаврушка, вы, зверье, водки!» А ты кричить «въ секундъ!» и бъжишь. Бъги, Лавруша, и теперь».—Заметался я, сказать вамъ по-правдь, какъ бывало точно въ старину, и самъ зналъ, что онъ уже не баринъ, а заметался и за виномъ махнулъ во весь опоръ; что дълать -прибыть старый баринь! Воть угостиль его; онь и говорить: «теперь давай мив донегь, я безъ денегь ничто; а ты на ноги меня поставь, Лавруша!» — Гдв мив, — говорю сму, — денеть достать? Я самъ, Аркадій Андреичь, супъ изъ прысъ вмъ, камушками закусываю по мостовымъ, да и тъхъ, вонъ, Вонапартъ-императоръ поубавилъ по улицамъ, чтобъ баррикадъ французъ не строилъ, съ такъ поръ, какъ мы были съ вами тутъ, ваше благородіе! Ейже-ей, баринъ, съ голоду приходится помирать... — «А всетаки ты меня долженъ ублаготворить». Заняль я у одного пріятеля сорокъ франковъ, да взяль впередъ въ кафе Бюфона-съ, куда нанялся на годъ, шестьдесять франковъ въ счеть жалованья и фракт свой заложиль. Но не долге были барину эти сто франковъ. Черезъ два м'всяца онъ опять притащился ко мей и заняль у меня уголь вь каморкћ. Какъ онъ и чемъ туть жиль, уже не знаю; писаль, сказывають, кое-къ-кому и въ Россію, да не получаль оттуда ожидаемаго. Дътей вспоминаль, плакаль о нихъ, -- а возвратиться не хоталь. Какъ-то подвернулся сюда одинъ молодчикъ, изъ нашихъ полтавскихъ, встретилъ его, сжалился, вспомнить его же былую хльбь-соль — взяль его къ себь туть въ качествь собесьдника. Должно статься, что и этоть баринь туть прогорыль. Прошло съ тыхъ поръ еще три года. Я бъдствовалъ невообразимо; не дослужа забранныхъ шестидесяти франковъ, заболълъ... Помъстили меня въ больницу чернорабочихъ, вылвчили, а послъ заставили отслуживать. И я работаль на каменной работь у племянницы моихъ теперешнихъ господъ, баронессы Ротшильдъ, на ея дачь. Тамъ меня узналь аббать изь русскихъ, Саламахинъ, Оадей Сергвичъ, и рекомендовалъ въ лакен сперва къ племянницъ бароновъ, а потомъ и къ нимъ самимъ-спасибо ему. Тутъ я теперь и стою. Только не такъ устроилась судьба моего барина-то. Вдругъ, слышу — сманиль его какой-то фокусникь и сталь возить въ колымат! съ обезьянами, попугаями и учеными медвіжатами. Смотрю, разъ по бульвару съ спгаркой ходить, на лавкъ въ Тюльерійскомъ саду сидить, на публику смотрить, и выбритый, иъ нальто съ чужого плеча, раздаетъ объявленія про этого фокусинка. Я и пошель къ фокусинку въ балагань; глидь, а баринъ-то мой и билеты у него продаетъ. Я было попятился. «Ничего, — говорить, — prenez un bilet, cher Lavrouchka, одинъ франкъ двадцать сантимовъ, первый рядъ!» --Варинъ, - говорю: - Аркадій Андреичъ, васъ ли вижу эдівсь! Вспомните ваши степи, Всесвятское, своихъ дътокъ! Воротитесь лучше домой; вамъ ли у наяцовь проживать? Ведь у васъ своихъ триста слугь было... — «Дуракъ ты, братъ Лавруха,—сказаль онь мив на это, —мы туть равны, да я же и въ опаль, въ зломъ свандаль... фръ!» Онъ уже тогда начиналь риомами говорить, какъ въ театръ, и многихъ господъ смешилъ. «Батюшки, батюшки, подумалъ я, что съ человекомъ не бываеть!»—Туть меня отличили, прибавили жалованья. Саламахинъ разсказаль барону о моей сценъ за барина съ тою-то воровкой, разорившей его, к статью ому про меня читаль. Баронь прозваль меня угаі Коваск-говорить и приблизиль меня еще больше въ себъ. Съ нимъ тугъ я и въ Лондонъ іздиль, тюки возиль; послі оказалось, что то было золото и его кредитныя бумаги, еще почище золота. Главный влеркъ барона, ивмецъ, шуть такой, особенно меня, скажу вамъ, оцениять, и теперь я ужс съ конторскими за однимъ столомъ объдать сталъ... Много туть всякаго народа изъ нашихъ былыхъ. И люди будто уже не наши, не свои; одному не зачемъ ворочаться домой, другому нельзя; всв при мъстахъ, и будго благополучны и благоденствують. А ударить тугь между нами про родину въсть какая, точно въ колоколъ въ Иванъ Великомъ, -- или бранятъ насъ, или войной на насъ собираются, или пожары гдв большіе, наводненія, дороговизна, такъ сейчась собираются и заставляють газеты читать, либо всё гуртомъ въ церковь.

Мы оба помолчали. Стало уже темивть.

- --- Гдв же теперь вашь бывшій баринь Дольскій?
- --- Въ тюрьмъ-съ сидить... тяжело мнъ это сказать! Сидить за пустячный долгъ. Увлекся у фокусника какою-то фокусницей, да въ долгъ на нее и набралъ нарядовъ, а продавентъ и засадилъ его.
 - Что же его никто не выкупить?
- Да я первый выкупиль бы его, только онъ опить туда попадеть. Совствиь развратный сталь, изленился въ конець, а туть и навозу залежаться не дадуть, не то что человъку. Воть кабы его въ Россію! А то и меня онъ осаждаеть письмами, да ужъ теперь я и боюсь, какъ бы онъ не вытребоваль меня, по правде, опить къ себе въ крыпостные!
- Ну, на это закона нѣтъ, чтобъ онъ требовать могъ, если самъ безъ наспорта.

— Все такъ, да я въдь кръпостной. Воть хоть бы дъти его самого отсюда взяли, что ли!

Я записаль адресь его дітей и даль слово извістить ихъ, воротившись въ Россію. Мы встали.

— Ну, какъ же вы, Лаврентій Данилычъ, свою судьбу

устроить думаете? — спросиль л.

— Послужу у барона; теперь изъ жалованья и комиссій моихъ порядочная сумма уже составляется. Еще побуду, авось тогда и свое діло начну; лавочку, что ли, откров... Послів женюсь... Оно теперь и въ Нолгаву манитъ... да жутко какъ-то... Законъ еще неизвістенъ... А коли бы Всесвятское было наше и баринъ тамъ жилъ бы—вотъ, ей-ей, кажется, воротился бы. Что въ этой диврей, что въ этой свободі! Честью завівряю, страшно; ну, какъ потребують, да по этапу отошлють...

Я заспориль, удивленный такимъ цонятіемъ; доказываль, что Парижъ не полтавская губернія и что будь только честенъ, вдёсь сберегутъ не хуже, чёмъ на застольной во Всесвятскомъ, или по паспорту въ Миргородъ.

Нѣтъ, скучно, баринъ, становится. Все не свое...
 двънадцать лътъ степей не видълъ...

«Ужь не хитрить ли онъ, — подумаль я, — что за дичь подобныя убъжденія. Мы разрываемъ крізпостныя связи, а онъ жалбеть о томъ, что его баринъ не во Всесвятскомъ, а въ долговой парижской тюрьмі».

«Воть она старая-то Русь», — подумаль я.

Передъ моимъ вывздомъ изъ Парижа, Лаврентій Даниловичъ Влинченко, или иначе, гражданинъ Франціи, мосье
Лоранъ, зашелъ ко мнв проводить меня; таскалъ мои чемоданы, сходилъ мив за кое-какими покупками, прилаживалъ мнв на дорогу всякую вещицу, чистилъ съ обычнымъ русскимъ лакейскимъ форсомъ чиствйшаго русскаго
издвлія мои сапоги и, паконецъ, весь запыхавшись, выразился такъ:

— Эхъ, сударь мой! Вѣдь вотъ тутъ и кожи-то такъ выдубить не смогутъ, какъ у насъ. Что здѣсь за сапоги! Мѣслиъ поносилъ и бросай, или носи триковыя ботинки по грязи этого каторжнаго макъ-адама. А вотъ въ Полтавъ нашему барину завсегда Коржъ сапожникъ шилъ; такъ върите: но семи мѣсяцевъ безъ починки носились — даже тошно было чистить... Оно, видите ли, — будь и здѣсь проч-

ность какам въ завврени тоже, что воть тебя не отошиють въ другую какую деревню, я бы воротился, хоть сейчасъ, барину радъ былъ бы снова служить, лишь бы во Всесвятскомъ. А то Наполеонъ всёхъ выдать можетъ, какъ бёглыхъ.

Лаврентій задумался. Въ это время на бульварт Боннувель, гдт я стояль, затрубили трубы и полился молодцоватый громъ военнаго гвардейскаго оркестра. Мы подбъжали къ окну. Быстрымъ залихватскимъ маршемъ шель отрядъ гвардейскихъ зуавовъ; музыканты, съ табличками нотъ передъ глазами, шли и играли на ходу какую-то необыкновенно-подмывающую штуку. Веселая толпа блузниковъ, дътей и щеголей шла слъдомъ, заглядывая на бритыя головы и алыя фески импровизированныхъ алжирцевъ. Громадные омнибусы катились за городъ. Былъ какой-то не то народный, не то императорскій праздникъ. Я взглянулъ на опечаленное и задумчивое лицо Лаврентія.

- Повдемъ-ка добровольно въ Россію, —сказаль я.
- -- Нать, боюсь, да и барина по правда жалко; какъ я ворочусь безъ него и что скажеть старая барыня. Сегодня отъ васъ къ нему забъгу, вотъ припасъ ему деньжать на табакъ...

И чудакъ показалъ десятифранковую монету.

— Вы же теперь знаете мой адресы! пишите мив въ Россію, — сказалъ я ему.

Онъ опять помодчалъ.

— Если бы земли намъ дали, кажется, и я скоръе бы домой воротился. Матери нътъ у меня; только тётка, да и та продана вмъсть со слободей. Ну, да все ничего; воротись баринъ, сядь опять во Всеснятскомъ — вотъ такъ бы и пошелъ! Жаль его, сердечнаго. Надо бы ему и бълья сегодня; чортъ знаетъ, однако, по правдъ сказать вамъ, извините, что это за человъкъ такой: ему бы только лежатъ, ничего не дълать.

Лаврентій махнуль рукой и болье не говориль ни слова.
— Наше вамь почтеніе-съ!—сказаль онь и вышель, давь

слово мив писать.

Я подождаль, пока онъ спустился по лістниці изъ восьмого этажа моей конурки, именовавшейся апартаментомъномера сорокъ-четвертаго, и нагнулся изъ окна надъ улицей, смотря, какъ уйдеть Лаврентій. Внизу онъ показался снова уже въ ливрећ барона Ротшильда, которую онъ, очевидно, оставляль у привратника. Онъ ловко застегнуль волотыя пуговицы на бледно-голубомъ кафтане, съ малиновыми отворотами, загнуль на бекрень круглую, съ кокарной сіятельнаго и магическаго герба, шляпу, подтянуль на рукахъ перчатки, вынулъ, не спеца, на последней ступенькъ крыльца, знакомую уже дупистую «баядеру» — закуриль ее оть сигары какого-то прохожаго полковника, остановленнаго имъ одиниъ легкимъ кивкомъ головы, заложиль руки въ карманы, и пошель, гордо поглядывая, въ толив праздныхъ зъвакъ, всякаго оттенка и всякихъ націй и возрастовъ. И гдъ были въ это время мысли смиреннаго Лаврухи? Во Всесвятскомъ? въ Мазаской ин тюрьмъ? У сестринаго ли мужа въ Миргородъ или гдъ на теплой, давно-оставленной печкв какой-инбудь былокурой Гали или черноволосой Насти?

Въ Россіи я прожить уже два місяца осени 1860 года. Варшава и Полісье, повідка по шоссе на Кієвъ и Царства Польскаго, между сплошныхъ зеленыхъ віковічныхъ дубравъ, стонавшихъ тысячами птичыхъ стоновъ, съ перебігавшими черезъ білое полотно свіжей новой дороги лисицами и какими-то еще темно-спзыми, пушистыми авірсками, величиной съ большую кошку; потомъ возвратъ на родимый хуторъ на пароходикі новаго общества, по Дибиру, еще въ полую воду его картинныхъ береговъ, то плоскихъ и песчаныхъ, то крутыхъ съ лісами и скалами, — все это мелькнуло и смінилось тихой жизнью маленькаго домика среди ровной, гладкой и окаймленной однимъ небомъ поляны, у маленькой річонки.

Но моя родина въ это время уже была полна давно ожидаемыми слухами. Въ воздухъ было чутко, хотя все ждало и жило по-старому. Сосъдній священникъ съъздиль въ городъ и привезъ кстати мою почту. Я кинулся къ газетамъ. Въ кучъ почтовыхъ пакетовъ мелькнуло письмо съ заграничнымъ знакомымъ штемпелемъ и французскою почтовою маркой, на которой хорошо сразу узнался и бонапартовскій примелькавшійся глазамъ профиль, и его знакомая бородка. Пока мой гость раскуривалъ трубочку и собирался вторично заговорить о пшеничкъ, объщанной ему ме въ зачетъ прежнихъ субсидій, я распечаталъ письмо. Оно было отъ Лаврентія Блинченко изъ Парижа.

Вотъ оно.

«Милостивый государь, Александръ Сергьичъ! Милостію Божею, нашъ баринъ Аркадій Андреевичъ Дольскій, въ больнице Святыя Маделены, сего дванадесятова августа, 1860 года, помъръ. Жызнь ихъ была при жизни злосчастна, а смерть и темъ паче. Я пахараниль ихъ на свой шчеть; последнен діньги стратиль, равно-жі какъ и на личеніе ихнее. Силы души маей нету — а разсказать трудно о ихъ канчинъ-почти какъ нище сканчались. Но Богь меня за нихъ не оставитъ. Налишите при чемъ мив быть. Я больно часто отлучался для нихъ отъ должности, и уже мий отказали отъ службы у барона, — а дворникъ, что быль ниже меня по леснице, слукавиль и теперь взяль мое мъсто. Я же почти опять безъ куска хлеба. Не напишите ди вы моимъ господамъ Софьф и Александру Аркадьевичамъ; пусть мене вазьмуть, наймуть, а я имъ за деньги на возвратъ на родину мою въ Рассею отслужу. А и ихъ батеньку досмотраль до конца, и живата маво не жилаль; а готовь и опять имъ служить по найму, либа пусть мине земли дадуть, какъ туть пишуть и слыхать про законы. Вы же ихнимъ миластямъ припомните, что я и ихнія миласти выносиль на рукахъ; а Ликсандра Аркадьичъ мне когда-то шутя волосы прожгли... Вашего благородія усердный слуга Laurent.—Septembre 9. 1861. Paris».

По отысканному адресу я сейчасъ написалъ подробно къ вдовъ неимъвшаго чина отца г. Дольскаго. У нея точно жили прежде ея внуки; но она умерла, и вибсто нея мизответниа какая-то госпожа маіорша Скрябина, что наследники Дольскіе живуть въ большой бедности — сынъ Александръ служилъ въ пъхотъ, а нынъ въ отставкъ, по случаю огорченія оть товарищей запиваеть, принять однимъ купцомъ въ откупъ, находится въ Рязани по акцизной части дистаночнымъ, но гдв онъ именно живетъ, Скрибина не знаеть, а что сестра его была въ Нижнемъ замужемъ за мелкопом'єстнымъ дворяниномъ Горшковымъ, нын'в овдовыла, живеть въ Калугь, въ пожилицахъ, или компаньонкахъ, на Московской улицъ, въ домъ почетной гражданки Стрешневой. Я написаль къ госпоже Горшковой письмо въ наваръ, а въ апрълъ этого 1861 года получиль отъ нея следующее письмо, писанное очевидно смелою и бойкою, но безграмотною до тошноты рукою военнаго писаря,

бымнаго въ составленіи писемъ отъ солдатокъ, горничныхъ и неутінныхъ вдовъ изъ дворянокъ на краснорічіе, а подписанное страшными каракулями самою дочерью покойнаго Дольскаго, умершаго въ больниці св. Маделены въ Парижі, давно сще владільца степныхъ полтавскихъ угодій и трехъ-сотъ душъ во Всесвятскомъ... Боже! И отецъ ся іздиль искать наслажденій въ Неаполь, въ Байскій заливъ, по той тріумфальной тропі, по которой іздили во времена сказочной древности сказочные императоры Рима! Жалкая

отрасль угасающихъ дворянскихъ родовъ...

«Милостивый государь и преусердный благодетель и благотворитель мой! Вашему Высокоблагородію благоугодно было въ вашъ воянть во Францыю навестить мъсто жительства нашего покойнаго родителя, но не известились мы, виділили вы его, не видъли-ли, а холопа и слугу нашего Лаврушку Влинченко нашли-же. Преусерднейше и нижающе кланяясь вамь, а мы васъ тоже не зная, въ сабдствіп отношенія Вашего Превосходительства оть сего истекшаго января 16-го дня 1861 года, имбемъ честь всенижающе нзвъстить. Теперь уже вышло положеніе вышчихъ властей о крестьянахъ и дворовыхъ, а такъ какъ оный бъглый нашъ холопъ Лаврушка обязанъ намъ прослужить въ полномъ повиновеніи господамъ еще два года, или-же платить намъ оброкъ, заплатя-же и за истекшіе двенадцать годовь оброкъ-же, какъ и следуетъ понимать оные законы, то мы съ братцемъ Сашею списались черезъ добрыхъ нашихъ благотворителей, купца Должикова и купца Ножикова, и положили черезъ васъ, высокоуважаемый генералъ, просить: о высылкт по этапу изъ города Парижа, Францыи франпузскаго королевства, въ Россію въ горотъ Калугу въ домъ почетныя гражданки Стрешневой, онаго былаго и безпачпортнаго бродяги нашего изъ дворовыхъ Лаврентія Данидова сына Блинченка. И буде овъ прибудеть по этапу, то, уплати намъ за двенадцать леть оброкъ, и два года отслужа, или-же заплати тоже, то мы ему дадимъ вольную. Ваше-же Превосходительство просимъ известить насъ не оставить въ томъ-же времени безотлагательно, куда намъ обратиться черезъ какого посланника или амбассадера, о взысканін по законамъ съ итальянцевъ, и французовъ, и съ кого именно, буде вамъ извістно, за укрывательство и передержательство въ сін двенадцать літъ и семъ місяцень

безначнортнаго и беглаго нашего слуги и подданнаго Лаврушка Блинченко. Ему-же мы объщаемъ наше прощеніе и благословеніе. А тетка его и сестринъ мужь также померли. Сіе ему тоже скажите. —Мы-же преусерднѣнще и нижающе еще къ вамъ прибъгаемъ: нзвѣстите, есть-ли у васъ супруга, или дѣти, или мать, или тетушка, дабы мы знали, за кого Бога молить. А когда место мнѣ или братцу наити можете въ вашихъ окрестностяхъ, и того преусерднѣйше принесемъ за васъ мольбы ко всевыщнему. — Апрѣля 10 дня, 1861 года. — За не грамотную, ея собственною рукою подписано составителемъ письма отъ ея особы: «Софея Горшкова». — Приписка въ концѣ послѣдней страницы: «У насъ въ городѣ Калугѣ живетъ Шамиль. Не вы-ли содѣйствовали къ его плѣну? Мы читали вашу фамилю. Помогите же и о Лаврушки» *).

Снявъ точную копію съ этого письма, я послаль подлинникъ въ Парижъ и вскорф получилъ превеселую записку отъ мосьё Лорана. Онъ извъщаль о своемъ счастіи, что интриги дворника Ротшильда снова побъждены, что онъ получилъ снова прежнее благоволеніе барона и его старшаго клерка, даже еще болье прежняго, именно, ему объщали мъсто правителя фермы на дать барона въ Периге, что на зиму они снова будуть въ Парижъ, а теперь пока ъдутъ на воды на островъ Іерь, а отгуда въ Туринъ къ сестръ его новой госножи, гдъ онъ надъется увидъть Гарибальди, и что изъ Турина онъ отпросится у своей хозяйки на поклоненіе къ мощамъ Миколы чудотворца въ Неаполитанское бывшее королевство, въ градъ Бари, а тамъ—«что Богъ дастъ».

Новаго своего адреса мосьё Лоранъ мив теперь не передаль, и потому, ввроятно, къ узнанію о дальнійшей его судьбів надо считать сліды окончательно утерянными.

1861 r.

монхъ однофамильневъ при отчетахъ о взятін Шамиля—не упоминалось.

СЕЛО СОРОКОПАНОВКА.

(ИЗЪ ВОСПОМИНАНІЙ ДЕПУТАТА ***).

«Ходить птичка весело «По тропинкѣ бѣдствій, «Не предвидя отъ сего «Никакихъ послѣдствій» (Изв одного альбома.)

Я объезжаль свой депутатскій участокь въ*** уезде, сь целью собранія сведеній о помещичьих именіяхь, для обсужденія губерискаго комитета объ улучшеніи быта поміщичьихъ крестьянъ. Боле двуксотъ имений стояло въ моемъ спискъ. Много было досадныхъ случаевъ. Иного владъльца не застанешь дома, — а вхать часто приходилось версть за семьдесять. Другого и застанешь, да не вдругь уломаешь отвітить на печатную программу; надъ всёмъ онъ задумывается. Несколько владельцевь, въ томъ числе две барыни, даже вовсе отказались отвъчать; они были-неграмотные. Дело, впрочемъ, известное-стоитъ только пустить повестку, что воть-моль любопытно узнать, сколько въ такомъто округь рабочаго скота?—«А,—подумають владыльцы, туть что-то неладно; это налогомъ обложить хотять!» — И въ отвътахъ на повъстки окажется, что въ увздъ вовсе нвть рабочаго скота.

Описавъ имѣнія покрупнѣе, съ псарнями, винокурнями, сахарными заводами и мызыкантами изъ міра каменныхъ палать, башень съ звонящими часами и размалеванныхъ сельскихъ конторъ, я на время спустился въ міръ кропочныхъ медкопомѣстныхъ ваходустьевъ — поѣхалъ по хуторамъ и хуторочкамъ...

Хутора... много вы изменились съ техъ поръ, какъ среди васъ жили незабвенные Асанасій Ивановичъ и Пулькерія Ивановичъ и Конечно, и доныне въ вашихъ зеленыхъ весяхъ, безданно и безпошлинно коптя православное небо, живутъ многіе родные по крови этихъ милыхъ «младенцевъ-стариковъ». Но все ужъ не то. Те же тихіе домики, и также тутъ вдять и пьютъ, а много воды утекло и многое изменилось.

Со мною, въ качествъ секретаря и землежъра, ъхалъ нъкто Абрамъ Ильичъ Говорковъ.

Съ нимъ мы, между прочимъ, завернули въ многовладъльческое село Сорокопановку.

— Что это за Сорокопановка? странное имя!—сказаль я Говоркову, когда мы спустились съ зеленаго холма и повхали ровною, гладкою степью.

Скоро засвъжъло. Близки были поемные берега большой ръки. Лугъ, весь въ тростникахъ и озерахъ, шелъ по ен лъвому берегу. Правый былъ гористый. Съ этого-то праваго берега приходилось намъ подъёзжать къ Сорокопановкъ. Ни облачка на небъ. Только вдали гдъ-то нахлобучилась сизая туча, и наискось падали изъ нен полосы дождя... А это что? Не то овцы, не то дикіе гуси. Подъёзжаемъ ближе. На веленомъ раздольъ, мърно выстроившись въ рядъ, ходила стая журавлей... Вотъ они завидъли насъ, остановились; всъ головы вытянулись; всъ слъдять за нами. Но мы ихъ не спугнемъ. Они опять склонились и длинными носами долбятъ землю, должно быть, подбирая народившуюся гусеницу или кузнечиковъ.

— Сорокопановка, — заговориль Абрамъ Ильичъ: — какъ мив ее не знаты Воть это что: здвсь испоконъ-въка живутъ мелкопоместные панки. Какъ будемъ вхать, увидате три глубокихъ оврага. Гдв эти яры сошлись, тутъ она и начинается; все хатки да хатки, и въ каждой помещикъ или помещица со своею дворней. Такъ здвсь жилось еще при Екатеринъ. Говорятъ, что шутникъ Потемкинъ поселилъ здвсь какихъ-то маюровъ, числомъ ровно сорокъ, за какоето отличе изъ целой армии, и далъ всемъ дворовыхъ и землю. Село назвали сперва Маюровка; но въ простонародъи, да и сами поселенцы прозвали потомъ свою деревию Сорокопановкой, отъ сорока панковъ, ея обитателей; такъ она и теперь зовется. И какой это все народъ забористый

и съ гоноромъ! Еще ихъ дѣды, первые поселенцы, никому не давали проѣзда: а эти, хотя и болье тихаго нрава, да нсе байбаки и себѣ-на-умъ. Полиціи спуску не даютъ, и многіе буяны. Промежъ нихъ мало грамотныхъ. Иного даже и не отличинь отъ мужика. Пашетъ землю, ѣздитъ ямщикомъ. А спросишь—дворянинъ. У рѣдкаго больше двадцатитридцати десятинъ земли; а дворня естъ у каждаго. Господа и слуги ѣдятъ вмѣсть, даже иные живутъ въ одной хатъ. Странныя прозвища повывелись черезъ браки. Иной выдалъ дочь, самъ умеръ, а зять на его мѣсто сѣлъ состороны. Другіе продали участки и выѣхали въ городъ. Но есть еще между ними и старые люди...

- Чѣмъ же они болѣе живутъ?
- Такъ, боле нитемъ. Иной целый день трубку куритъ, лакей ее перемъняеть, да чешется у двери. Другой лошадыми торгуеть, -- сущій цыганъ. Барыни сілоть бакши, огороды содержать; барышни грандь-насьянсь въ карты раскладывають, про жениховъ гадають. Неурядица у нихъ страпная. Никто не хочеть уступить и покориться старшему. Хотынбыло завести у нихъ какое-нибудь начальство, да стали въ раздумы: къ какому роду общества отнести такой поселокъ? Городъ не городъ, деревня не деревня. Будь это м'вщане, въ посадъ бы ихъ обратили; будь вольное крестьянское село, выбрали бы изъ обывателей голову, сотскаго или старосту. А то въдь, что ни дворъ, то и помъщикъ. Созовутъ жителей въ увздъ:--«Выбирайте себв голову или сотскаго!»--«Воть еще, пойдемъ мы въ сотскіе! Мы дворяне!»—И д'влай съ ними, что хочешь. Такъ и не выбирають себъ начальника. Шумъ, гамъ,---навдетъ становой, такъ насилу выберется; иной разъ и обывательскихъ лошадей не достанетъ, хоть пршкомъ за десять, за пятнадцать версть въ казенную слободу иди. А тяжбы? Однажды судились два сорокопановскихъ панка. Дъло въ томъ, что шли они откуда-то съ фурами и одинъ другому далъ, во время жары, на сохраменіе тулупъ, а тоть его ваяль да и пропиль вь первомь кабакъ, пока его пріятель тамъ же лежаль безь ногъ. Надо было передъ становымъ доказать, что одинъ у другого взялъ тулуцъ и отдалъ его назадъ.
 - А вѣдь мы же шли?—спрашиваеть истецъ.
 - Шли.
 - Мић же стало душно?

- Стало.
- Я-жь тебь его отдаль?
- Отдалъ.
- И ты же его взяль?
- Взяль.
- Гдв же онъ?
- -- % ?6√r P ---
- Тулунъ.
- Какой?
- Что я тебь даль.
- - Когда?!

Минута молчанія. Истецъ переводить духъ и пачинастъ спова:

- А вѣдь мы же шли?
- -- Шли.
- Мић же стало душно?
- Стало.
- Я-жъ тебь его отдаль?
- Отдалъ.
- --- И ты же его взяля?
- Взялъ.
- Гдв же онъ?
- Что?
- -- Tyayn's?
- Какой?
- Да что я тебь даль.
- Когда?!

И дело опять начиналось словами: «а оподе мы же шли?» Становой кончиль темь, что позваль «дневальных» и обоихъ тяжущихся выгналь.

Но вотъ и сама Сорокопановка.

Я высунулся невольно изъ крытой нетечанки и велыть остановиться.

Л'вый берегь р'вки шель вдаль, весь затопленный плесами еще недавняго половодья. Мы были на правомъ. Пока кучеръ оправлялъ лошадей, мы встали въ сторонъ. Мой спутникъ прищурился и улыбнулся.

— Вотъ номъщикъ Куличокъ, —сказаль онъ, тыкая пальцемъ въ воздухъ: —онъ высъкъ сосъда за карточный долгъ; а вотъ и его высъченный сосъдъ Бълопатый: живутъ они теперь дружно. Вонъ, гдъ видны крылья мельницы, живетъ престарълая дъвушка, Любовь Вънцеславская, писательница и поклонница всякаго рода птицъ, пъвчихъ и простыхъ, отчего ся домъ напоминаетъ собою рай или, скоръе, лавку московскаго охотнаго ряда.

Волбе получаса Абрамъ Ильичъ, какъ демонъ въ легендъ великаго поэта, разсказывалъ исторію крошечныхъ домиковъ, сидъвшихъ бочкомъ и въ разсыпку по зеленъющимъ косогорамъ. Всъ они тонули въ садахъ. Кое-гдъ торчали бревна колодезныхъ журавлей, скворешницы, бълыя избы и опять сады.

 — Чъи эти два чистенькіе дворика? — спросилъ я Говоркова.

Дворики, какъ оказалось, принадлежали двумъ сороконановскимъ дамамъ, Дарьъ Адамовиъ Павловой, съ лъвой стороны ръки, и Дарь в Адамови в тоже Павловой, съ праваго берега рыки. Какъ ни страненъ случай, но должно прибавить, что состдки, жившія другь противъ дружки черезь ръку, дъйствительно носили одинакія имена и фамиліи, хотя не были сродни другь другу и не имкли решительно пичего схожаго. Потомство этой фамилін искони существовало и по левую, и по правую сторону реки. Эти дамы были, притомъ, совершенно разнаго характера. Дарья Адамовна, съ лъвой стороны, была подвижная и румяная, съ носомъ, торчавшимъ вверхъ; затъйница подтрунить на чужой счетъ, затыница устроить свадьбу или небывалую ссору въ посторонней семы и потомъ весело и беззаботно обо всемъ посплетничать. Дарыя же Адамовна, съ правой стороны, хотя была также ничуть не прочь и подтрунить, и устроить свадьбу, и посплетничать, -- но зато почти никогда не улыбалась, не вертвлась, все двлала молча и сурово, безъ сміха и прибаутокъ, и даже была нісколько надка къ меланхоліи... Иначе, Дарья Адамовна, сь лівой стороны, была, какъ о ней выражались въ Сороконановки, Дары Адамовна Комедія, а Дарья Адамовна, съ правой стороны---Трагедія.

Въ то время, какъ соседи этихъ помещицъ съ обенхъ сторонъ реки занимались хлебонашествомъ, иной разъ сами ходили за бороною и наугомъ, сами ковали лошадей и дертали шерсть съ козъ,—соседки предоставляли свое хозяйство двумъ задорнемъ и зубастымъ работницамъ, а сами только гадали на картахъ про молодыхъ пожирателей девичьихъ спокойствій или. какъ говорили тамъ о нихъ, про

«ненасытецких» сердцейдовъ» и «безпардонных» сумасводовъ», и проводили время въ пріятныхъ разговорахъ... Въ то время, когда ръчка замерзала или пересыхала, онъ посылали по вечерамъ просить другь дружку «на свъчку», то-есть посидъть, поболтать и поработать вмъстъ, не вводя себя въ лишній изъянъ на освъщеніе; когда же ръка весной пышно стремила свои воды межъ родныхъ береговъ, онъ выходили, черезъ огороды, на пустой еще берегь, и переговаривались другь съ дружкой черезъ ръку...

— Ну, какъ же тамъ у васъ все идетъ? — въжливо начинала Дарья Адамовна Трагедія, поглядывая черезъ ръчку

и сурово шевеля спицами шерстяного чулка.

 Да ничего, тётенька, очень хорошо, — отвічала Дарья Адамовна Комедія, веселымъ и почтительнымъ тономъ, также шевеля сницами чулка.

- Ну, хорошо, хорошо... и терновку перелили въ бутылки?
 - Передила...
 - И солодъ уварили, Дарья Адамовна?
 - И солодъ...
- Скажите! Воть какъ!.. Такъ, значитъ, и кабана посадили кормить къ розгованью?
 - · Посадила.
- Воть какъ! Скажите!.. Это очень даже, скажу вамъ, любопытно, Дарья Адамовна!—произносила угрюмая сосъдка, то бліднізя, то краснізя оть зависти.
- Да-съ, любопытно! а вамъ-то что, завидно, что ли, тотенька?
- **Ну**, матушка, завидно, не завидно, а скажу вамъ пс правде, что сегодня вашъ селезень переплылъ ко мив въ огородъ...
 - Ну, такъ что-жъ что переплыль?
- А то, матушка, что каналья я буду, если не сверну ему головы!—произносила Дарья Адамовна Трагедія, едва шевеля отъ злобы спицами чулка...
- Ну, матушка, говорите это поповой кобыль, а не миы Да и еще и посмотрю, какъ вы свернете селезню голову.
 - A что, развѣ?
- Да то же, что каналья и я буду, если и другому кому тогда... не сверну головы!

- Какъ? такъ это мић?—подхватывала Трагедія, задыхансь отъ бѣшенства.
 - Вамъ! именно вамъ!-- язвила сосъдка.
- Ну, тогда ужъ позвольте вамъ послать кукишъ!—произпосила! Трагедія, протягивая руку въ направленіи къ лъвому берегу ръки.
- А при этой върной оказіи позвольте послать и вамъ цылыхъ два!—кричала Дарья Адамовна Комедія.

Трагедія на это совершенно терялась и, помолчавъ, изъявляла уб'яжденіе, что съ такою злод'яйкой, какъ ея сос'єдка, надо говорить мужику, а не дам'в.

- А вы, Дарья Адамовна, кажется, просто мерзавка...-
- И, матушка! мерзавка, не мерзавка, только всёмъ ужъ извёстно, что у васъ иногда губы пухнуть...
- Какъ пухнутъ? отчего? спрашивала озадаченнал Комеділ: — это быть не можеть, и я этого никогда не заивчала!
- Можетъ-быть, только замѣчала это я! я! я!—кричала сь ожесточеніемъ Трагедія: —и еще я вамъ доложу, что вы въ спальнъ въ шкапу держите водку и пьете ее на ночь, и отъ того у васъ носъ бываетъ краснаго цвъта и глаза пе свои.
- -- Тьфу!--илевала на это негодующая Комедія и, сказавъ:--бъсъ, а не женщина!- уходила домой, переволнованная до глубины души.

Иногда, впрочемъ, такая бесёда кончалась неожиданнымъ миромъ и каждая сосёдка, сказавъ: «ну, матушка, вы сеоё, если хотите, гуляйте, а мив пора за работу!»—расходились по домамъ. Но въ другое время, вслёдъ за шишами, плевками и всякою перебранкой, утомленныя барыни высылали на рёку своихъ работницъ. Зубастыя бабы оглашали тогда окрестность не хуже запальчивыхъ героевъ Иліады.—«Да ты ужъ замолчи!» кричала одна работница другой, стоя на илотев огорода: «ты ужъ замолчи, потому что я ужъ знаю, какая ты!»—«Иу, а какая же я, какая?»—«Да такая же, какъ и твоя мать!»—«А накая моя мать? говори, сякая ты, такая?»—«Да такая же, какъ и ты!»—«А я какая, сякая ты, такая?»—«Да такая же, какъ и всё вы!» И этотъ речитативъ, при сбежавнихся съ объихъ сторонъ ръки зрителяхъ, тяпулся нескончаемо. Слободка долго вол-

повалась, разділившись на два враждебные лагеря, ратующіє каждый за свою обывательницу и не знающіє пощады н снисхожденія...

Но таковы судьбы человіческаго сердца! Подходили чыпибудь пменины или крестины, и обі: сосідки, если быль случай переправиться черезь ріку, встрічались снова друзьями, ухвативнись за руки, чмокали другь дружку въ губы, произнося: «ахъ, это вы, душечка! воть пріятный сюрпризъ!»

Разъ какъ-то (случиюсь ето въ самую засуху) Дарья Адамовна Комедія прибъжала после обеда, запыхавшись, къ Дарье Адамовне Трагедін, валилась слезами и упала ей па грудь.—«Что съ вами, душечка?—спросила хозяйка.—«Акъ, и не спранивайте! Я такъ взволнована, такъ взволнована!—«Да что же тамъ такое?» Гостья достала платокъ, отерла глаза и, вынувъ изъ-подъ лифа письмо, сказала: «Вотъ послушайте, ангелъ! вотъ какой со мною сделался неожиданный случай!»

Она стала читать:

«Къ хищницв отъ жертвы:

«...Милостивая государыня и, если смію такъ назвать, другь не только мой, но и всего человічества, Дарья Адамовна! Успіхи дружбы вашей ко мий заставляють сділать открытіе: я влюблень—голову совсімь потерыль. Разумістся, вамь участь: блаженство посланное, а моя? чімь же я виновать? хоть въ річку! сна не имію, цілую ваши ручки; ссли же когда вы обратите взорь на меня, то прошу не откажите подарить меня вашею рукою; вы меня внаете; теперь же пришлите мий нитокъ на карцетки, всего одинь мотокъ и не забывайте дрожащаго

«Ивана...» (фамилію гостья прикрыла пальцемъ) «а также и шерсти, только той, которую купили въ городъ, а не вашей, а письмо держите въ секреть!»

Гостьи кончила, но отъ волнения не могла произнести пи слова и сиділа, потупись, какъ пойманная съ папироской нансіоперка...

- Ну, что же, шерчикъ, очень рада! возразила суровая хозийка: женихъ нашелся, не надо упускаты вотъ и все!..
- Ахъ!—воскликнула гостья, и радостным слезы сновэ зачастили по ея щекатъ.

Всябдь затемъ соседки стали пушукаться и шушукались до того, что положили, наконецъ, уведомивъ милаго жениха, начать делать приданое...

Черезь нельно ность этого рышенія, счастинам сосына, получившая письмо, также сидела после обеда. Дверь отворилась и въ ся компату вошла Дарья Адамовна Трагедія. Эта вониа гордо, молча поклонилась и таинственно свла на диванъ... На ел рукв вискат ел обычный ридикюль. Она раскрыла его стальную пасть и стала оттуда вынимать на столь разныя вещи. Вышель изъ этой пасти сперва клубокъ шерсти и двъ огромныя деревлиныя спицы съ начатымъ чулкомъ, вышелъ потомъ бронзовый наперстокъ, тамбурная иголка, оловинныя очки, рогулька для ковыряныя вь ушахъ, пузырекъ съ нюхательнымъ табакомъ, клочва два ваты для затыканія ушей, стальной игольничекъ, ножницы и кирпичикъ, обернутый из чехолъ, для пришпиливанья работы. Суровая гостья разложила все это въ большой симметрін на столь, скинула нитяныя перчатки, безъ пальцевъ, остадлала носъ очками и, вооружась спицами, произнесла:

- Ну, матупка, и я къ вамъ тоже... съ новостью!
- Съ бакою? спросила хозяйка, настороживь уши, какъ моська въ то время, какъ, перележавъ всё бока у ногъ мечтающей хозяйки, она неожиданно услышитъ: «Жюжо!» или «Фидель», ты философствуешь?» и подниметъ къ козяйкъ оскаленную мордочку...

Гостья оставила спицы, взглянула черезъ очки, сказала: «Ну, пропала и я, ма-шеръ», — вынула со дна ридикюля письмо и стала его читать:

«Хищищи отъ жертвы:

...Милостивая государыня и, осли смёю такъ назвать, другь не только мой, но и всего человечества, Дарья Адамовна! Не терзайте меня, а я готовъ сейчасъ жениться на васъ! У меня наследство сорокъ десятинъ и мельница—жду ответа; не мучьте, потому что мучить можно муху или что-инбудь другос, но не мучьте меня, ибжный другь, душечка! Слова ваши льются, какъ бы алмазы изъ вашей фортуны, когда васъ слушаю, и притомъ у васъ чисто русское сердце.

«Ичана...» (фамилію гостья прикрыла также нальцемь).
— Что же это?—вскрикнула помертвылан Комедія.

- --- A 4109
- Да одна и та же рука.
- Brere!
- : -- Нъть, вы врете.

Разданись двъ звонкія пощечни, свалка. Полотьи чепцы съ головъ. И снова Сорокопаловка чуть не полгода была раздълена на два враждебныхъ лагеря.

- Ну-съ, Абрамъ Ильнчъ, теперь за дело, сказалъ я Говоркову, въёхавъ въ Сороконановку:—где списокъ? Тычко, Крячко, Макарищенко... Съ кого бы начать?.. Оно, разумется, статистика туть мало чёмъ поживится. Л'есовъ и фабрикъ, конечно, не имется, сахарныхъ заводовъ, оркестровъ, промышленности и торговли—также. Однако, всетаки надо составить списки престъянъ и дворовыхъ; измерить, хотя приблизительно, землю подъ ихъ усадъбами; спросить цену земель и строеній, узнать о содержаніи дворовыхъ... Вы послали сюда пов'єстки съ печатными программами отъ предводителя?
 - Какъ же-съ, послалъ.
- Куда же намъ 'кхать? гдф выбрать исходную точку своихъ дъйствій? Не къ Павловымъ же 'кхать...
- Соввтую къ Вънцеславской... Она образованиће другихъ. У нен и домъ побольше. Дворъ стоить въ рощв, за косогоромъ, надъ ръкой. Отъ нея можно послать повъстки о явкъ на събять и къ другимъ.

Мы повхали къ Винцеславской.

Выть знойный полдень, когда песчанымь прибрежьемы, мимо сорокопановских дворовь, домиковь и хать, мельниць и огородовь, мы вывхали вы опушку густой дубовой роши, круго взбиравшейся вы гору и примыкавшей кы общей околиць поселка. Вы этой рощь стояла глухая и невыдомая міру усадьба Любови Павловны Вынцеславской.

Пробираясь между дубами и орвінниками, между упругими ихъ корнями, издали мы замітили раза два мелькнувніую крышу новаго тесоваго домика. Скоро въбхали во дворъ. Куча какихъ-то зданій, амбарчиковъ, голубятень, кладовыхъ и погребовъ — стояла по сторонамъ двора. За низонькимъ, длиннымъ домомъ видивлся садъ, изъ котораго шли тропинки къ сороконановскимъ дворамъ. Дворъ бызъ чистъ, подметенъ и усынанъ нескомъ. Среди двора прыгала, оставляя сліды своих ланокъ, безхвостая ручная сорока. На перилахъ крытой галлереи сиділи дві тоже ручныя старыя совы. Туча голубей кружилась въ воздухі, спускаясь къ кровлямъ двора. На шнуркі вдоль галлерем висіли міночки съ сушеными травами, распространявшими въ знойной тишині разные полевые и лісные запахи. Мы остановились, какъ околдованные, и самъ назойливый обывательскій колокольчикъ, издавъ неловкое теньканье, будто устыдился и замолчалъ... Вприпрыжку черезъ дворъ куда-то пробіжалъ, какъ угорілый, огромнаго роста, рыжій голландскій пітухъ. За нимъ другой—білый. Куры подняли гдіто невообразимый крикъ.

Мы постояли, поглядёли и пошли на крыльцо. Ни души не было и тамъ. Вдоль стёнъ и у дверей крыльца, до самаго потолка, шли клётки съ разными птицами, и сколько ихъ было здёсь: мохнатыя, пестрыя, кривоносыя, длипноносыя, большія, малыя и всякія, сидёли и корхали по разнообразнымъ клёточкамъ и клёткамъ. Двё сойки взапуски передразнивали собаку; изъ-сёда черный, старый воронъ, какъ нёкій магь, сидёлъ на скамы у порога,

уставя на воздухъ огромный носъ...

Мы прошли далее переднюю п еще какую-то комнату въ цвътахъ. Зала встрътила насъ низенькими компатками, низенькими свътлыми окнами, какъ показалось намъ — будто даже неправильно расположенными, и кучею картинокъ, прко озолоченныхъ полуденнымъ солнцемъ. Здъсь были гравюры временъ Павла и Екатерины: иллюстрированная «Исторія Жильблаза», «Погибшая невинность Катерины Дуранси», «Малекъ-Адель», «Иовъсть о львъ и дитяти», словомъ, десятки тъхъ картинокъ, передъ которыми и теперь еще съ любопытствомъ останавливается ръдкій посътитель подобныхъ мъстъ, въ комнаткахъ, гдъ случайно зажились лица или преданія прошлыхъ временъ. Вышитыя подушки на кушеткъ, вышитыя сидъныя на стульяхъ, коврикъ съ индъйцемъ и турчанкою у фортепьяно,—дополняло обстановку валы.

Мы откашлились. Сперва вбіжала, также кашляя и волоча параличную ножку, престарілля, крохотная и совершенно разелабленная білля болонка, съ глазами, до-чиста заросшими длинною перстью. За нею вошла престарілля и тоже будто не слишкомъ здоровая, востроносенькам и худенькая хозяйка, съ съдыми локонами, съ платкомъ въ рукъ и въ зеленомъ ситцевомъ платъъ, узоръ котораго представлялъ смъсь какихъ-то цвътовъ и оленьихъ головокъ.

— Извините, господа, что я васъ заставила ждать!—заговорила сорокопановская барыня.—Я догадываюсь о причикъ вашего прівада... не такъ-ли?

Съ этимъ словомъ она присъла на стулъ, приглащая и насъ садиться на диванъ. Мы обмънялись привътствіями и пояснили ой подробнье нашу цъль.

— Ахъ, помилуйте, очень рада! Помилуйте, я никогда не прочь! Я всегда была готова; я даже губорнатору не разъ говорила, что надо дать свободу нашимъ крепостнымъ людямъ. Даже мое стихотвореніе объ этомъ опъ хотель поместить тогда въ ведомостяхъ. Очень рада, господа, дать вамъ ответы на все. Вотъ видите, какою анахореткой я адесь живу. Съ той поры, какъ кончила курсъ въ нансіонъ, и уже сорокъ два года здёсь живу безвытадно, среди сада, цвётовъ и монхъ штицъ... Люди! Эй! Паланка, Оссьва, кто тамъ?

На звукъ си дребезжащаго голоса мвились въ дверяхъ нъсколько веселыхъ и улыбающихся головъ. Полныя, здоровыя, румяныя лица слугъ такъ и говорили: «жизнь наша хоть куда: ъдимъ и симъь мы вдоволь и будутъ ли также хороши наши дни послъ, какъ теперь, у этой ръдкой барыни, это ещо вопросъ...»

- Кофою! Да отпрячь лошадей господъ чиновниковъ.
- Мы не чиновники, выбшался Говорковъ: они но выбору, а я частно занимаюсь землемърствомъ!

Хозяйка повернулась на стул'я, уторла нось, запачканный табакомъ (она нюхала), и долго не могла сказать ни слова, глядя на насъ съ восторгомъ и какъ бы озадаченная приливомъ нежданныхъ, бившихся маружу, сладкихъ чувствъ.

- Да, да! заговорила она: наконецъ сбимаются мои гревы, и я умру спокойно! Давно я ждала и думала... Наши крыпостные люди будуть свободны... Наконецъ-то, часъ пробилы! когда же это совершится?
- Скоро-съ! комитетъ открытъ, и теперь его члены собираютъ последнія сведенія! Сведенія нужны черезъ... две недёли. Вы ваши ответы приготовили?
 - Мон?.. Н'втъ... Я не ожидала, чтобъ такъ скоро...

— Помилуйте, да повістка у вась уже третій місяць... — Повъстка?!—спрашивала сама себя добродупная ста-

рушка: — зачімъ же свідінія? Разві нельзя безь нихъ?

Говорковъ вступился за канцелярскій порядокъ. Она задунадась. Потомъ встала, упыа въ гостиную и вынесла оттуда, въ ныли и совершенно оплетенную паутиной, повестку комитета, съ печатном программой.

Я быль озадачень.

— А ваши соседи, сударыня, господа сорокопановцы, приготовили свои отвъты? -- спросиль я.

— И они, въролтно, какъ и л, -- отвътила Вънцеславская.

— Нехоропо, Любовь Павловна!-отнесся Говорковъ:а мы надылись на вась. Какъ же теперь намъ быть?

— Ахъ, Боже мой! Мив право совестно! Какъ же туть номочь? Ахъ, право досадно и совскиъ совъстно!..

И она стала набинать нось душистымъ табакомъ, отъ котораго распространияся по комнать запахъ жасмина...

- Дъло простое, висшался я: все почти владельны Сорокопановки нижотъ разва однихъ дворовыхъ. Значитъ, намъ нужны свъдънія только о числь дворовыхъ людей, о ихъ содержаніи, о ихъ усадьбахъ и работахъ. Списопъ дворовыхъ иы уже получили по вашену селу изъ казначейства. Остается намъ сообщить о ихъ содержаніи, к о работахъ и оценить ихъ усадьбы, а ны измеримъ хотя приблизительно вашу подусадебную землю по каждому двору...
- О содержаніи, о работахъ, ціну усадьбамъ?—повторяла про себи въ раздумы хозяйка: -- гда же туть опредылить? Жили у мешя, ван мое, ходили въ моемъ, какъ туть считаты!.. Да туть и на цыми годь будеть работы, а не на дви недили...

И она развела руками.

— Да у мени же и земли кстати пътъ, — продолжала она: — есть домъ и кухни, да садъ, да и только; люди живуть въ кухив, вдять постное и скоромное... Какъ туть высчитать? Право, какъ туть опредванть? А впрочемь, двлайте, какъ знасте...

Мы стали се утвшать, что **нужныя с**в'ядыйя соберем**ь вь** одинъ, а уже много въ два дня. Она опять понюхала табаку и задумалась...

Подали кофе, потомъ вавтракъ, и не огладълись, какъ подали и объдъ. Мы сидъл и толковали о старинъ. Говорковы, между тімь, излисаль циркулярную повістку ко всему сорокопановскому обществу, съ приглашениемъ явиться въ 4 часа понолудив, въ тоть же день, въ домъ госпожи Винцеснавской, или сужденій объ общемь діль, нь такому-то депутату губернскаго комитета но улучшению быта помьщичьихъ крестьянъ. Повестка была вручена призванному въ залу, совершенно бруглому и румяному мальчику, увальню льть илтнадцати. Ему сказано: обойди, а еще лучие, объгай вскую господъ по селу; дай прочесть бумагу и росписаться и проси къ 4 часамь къ Любовь Павловив; да скажи, что непремінно. Въ повістив прибавлено: «просять захватить печатныя программы, разосланныя три місяца назаль, и ответы на нихъ, буде таковые готовы». Мальчикъ, бравъ повъстку, смілася. Улыбнулись и мы съ Говодковымъ, глядя на его круглыя щеки, русую, плотными рядами стриженую голову и жирное, круглое туловище. Въ стирытое обно было видно, какъ этотъ толстый Меркурій неребываль садь, не безъ труда вскарабиался колючій плетень и перевалился черезь него въ сочную и густую граву чьего-то соседняго огорода, а оттуда запагаль въ темной рошь, веленьвшей на той сторонь рыки...

Намъ звалось. Какое-то блюдо, вкусное, сытное, събденное за столомъ, особенно склонало къ дремотв. Итицы пъли; листья чуть шушукали. Занахи всякаго рода пробирались изъ сада въ окно. Любовь Павловна сидъла, тоже задумавшись. Абрамъ Ильичъ прямо заснулъ. Я кашлянулъ. Мы извинились передъ хозяйкой, запросто попросили позволенія соснуть и, тыкансь носами въ дверь, пошли въ коридоръ...

— Какъ-же-съ, и комната готова, — замітила кротко хозяйка, обративъ къ намъ совершенно сонные глаза: кстати, и другіе подоспілоть тогда!

Мы очутились въ темной и прохладной комнатћ, съ занахомъ инбира и чуть-ли не калганнаго кория, выходившить изъ какой-то конторки; нашупали перины, подушки и завалились спать.

Два, чуть-ли даже не три часа мы спали. Ни лучъ свъта, ни жужжанье назойливой мухи не прерывали сна. Инбирь и калганъ прідтно щекотали обоняніє. Тишина въ дом'в м кругомъ была невозмутимая. Я помню, что заснулъ, все обдумывая въ потьмахъ: «откуда проникаютъ эти запахи? изъ шкана, или это наливки стоять где-нибудь на полкахъ,

нии на печкъ вверху, и пахнутъ... «Глаза какъ-то сами собою раскрымись у меня перваго. Гражданскія заботы возникли въ умъ.—«Какъ же это?»— разсуждаль я впотьмахъ:—«сиъдънія комитету нужны скоро, особенно о мелкономъстныхъ; а эти господа, кажется, и не думають о важности ихъ составленія?»

- Абрать Ильичы—шепнулъ я:—Абрать Ильичы Говорковъ очнулся.
- А? что?—спросиль онъ.
- Не нора ли вставать?

Неть, песныть еще. Никого что-то пока не слышно.
 10ъ чему же...

Сонъ опять сталь меня одолевать. Но подъ окномъ загоготаль гусь, а потомъ петухъ затрубнать, какъ военная труба, и мы встали.

Сибтло и весело встрътила насъ опять та же зала, съ картинками и гарусными подушками. Только вмъсто собачки по полу уже ходили див галки, въ сафьянныхъ панталомчикахъ, серёжкахъ, и, по остроумному соображению, для чистоты, съ ситцевыми мъщочками подъ хвостомъ.

— Вотъ, — зам'втилъ Говорковъ, з'вгая во весь ротъ: — губорнскому предводителю грозятъ, что крайній срокъ подачи св'ядіній для комитетовъ не будетъ отсроченъ, — а Любовь Павловна, передъ такою реформою, м'вшочки подъгалокъ нодвязываетъ!

И онь опять звичуль, за нимъ и я...

- А что? спросиль Говорковь: я думаю, парижскіе и лондонскіе публицисты ниваєть не воображають, чтобы діло у насъ такъ ділалось, чтобы мы, положимъ, такъ зівали?
 - И я думаю то же...

Мы опять зівнули и расхохотались. Никто не являлся въ залу. Въ открытое окно къ стороні двора было видно только, какъ два какихъ-то мальчика, игравніе предъ тімъ въ бабки, спали, раскинувнись на землі, а престарімая комнатиал женщина, сидя у амбара на землі, спала, держа въ рукі недовязанный чулокъ съ прутками и, развіся губы, клевала сідою головой.

— Что-жъ тутъ ділать? — спросить я:—сосіди не собираются, да и хозяйки пізть, а время уходить. Скоро и вечеръ: завгра надо еще въ три міста іхать? Что намь ділать? Въдь все это спить, Абрамъ Ильичъ, спить вся доревяя, какъ въ сказкъ.

— Спить, да еще какъ! слышите?..

Изъ коридора въ это время послышался тоненькій, очовидно женскій, хотя довольно забористый храпъ: звуки вылетали изъ комнаты самой хозяйки.

 Надо готовить астролябію, — сказаль сердито Говорковъ; — хотя одну или дві усадьбы обойдемъ и нанесемъихъ на планъ.

Мы отправились пъ ноточанки, достали ящикъ съ астролябіей, разбудили мальчиковъ, спавшихъ подъ сараемъ, и отрядили ихъ добыть кольевъ. Старушка подъ амбаромъ сиала попрежнему. Мы попии въ садъ. Передъ нами, съ обрыва надъ рікой, открылась вся разнообразная и живописно-пестрал картина Сорокопановки. Воть рядь мельницъ по косогору. Воть хатки и домнки, въ раскидку, бочкомъ и сниной одни въ другимъ, разділенные садами, оврагами и просто площадями зеленыхъ пустырой, величиной въ иное хуторское поле. Волы, коровы и лошади ходили по этимъ пустырямъ. Въ одномъ мъсть, среди села, паслось цыю стадо овець; въ другомъ кто-то запахаль пол-площади подъ гречиху и на неогороженной пахати уже всходила зелень. Толстыя, дриблыя и совершенно лысыя отъ дородности свиньи шатались привольно по встыт угламъ села, тываясь въ калитки и почесывая спины у крылецъ и оконъ. Стан голубей носились въ безоблачномъ небъ. На три или на четыре версты раскидывалась во всћ стороны любопытная Сорокопановка, село не село, посадъ не посадъ и городъ не городъ, а всего этого понемножку...

— Ну, долго же этотъ мальчишка-посланецъ будетъ обходить съ повъсткой господъ здішнихъ обывателей!—сказалъ Говорковъ: — и думаю — просто спить гдів-нибудь на дорогь, подъ заборомъ!.. Каково? — продолжалъ онъ, — ни души не видно — всъ спятъ! Смотрите, гдів же туть дождаться кого-нибудь на нашу сходку?

И въ самомъ діль, несмотря на близкій вечерь, Сороконановка была еще царствомъ мертвыхъ. Кое-гдъ только заливались криками горластые пізтухи, да дюжины дві индіска въ чьемъ-то огороді прерывали общую тишину дикими возгласами.

— Всть если бы, — скаваль Говорковъ: -- какой-нибудь

французскій миссіонерь случайно забрель сюда и не зналь, что это Россіп, онъ примо сказаль бы въ своихъ вапискахъ, что быль въ такомъ-то сель Верхниго Кіанга, Соро ко-панчун-ху... И свиньи даже напоминають про Китай!..

Явились мальчики, отраженные за кольями. За ними со двора показалась и Любовь Павловна. Протирая глаза и съ подрумяненными отъ сна щечками, она, слегка з'явнувъ и закрывъ ротъ білою ладонью, подошла къ намъ, когда мы ставили астролябію и наводили ее на уголъ ем усадьбы.

- Что это? Вы уже и за работой! Ахъ, что значеть неутоминость! начала Любовь Павловна: это не то, что мы.
- Долгь требуеты—сурово замытиль Говорковъ, копадсь у кольевы и неистово вколачивая ихъ въ землю.
- Вотъ, мы начнемъ съ вашего угодка, Любовь Павловна!—сказалъ я, наводя въхи далье къ усадъбъ священника, а за нимъ нъкоего подпоручика Свербъева.
- Ахъ, какъ же это?—проговорила Вънцеславская, шагая за нами вдоль плетия: — не освъжились! а я велъла вынести сюда и вареньи.

Мы вышли на улицу. Мальчики ставили въхи, тянули прис; Говорковъ отмъчалъ углы въ записной книжкъ. У дома священника надо было взять вправо и вести въхи по крапиъ огорода Любовь Павловны. Тутъ вышелъ самъ отепъ Павелъ. Поглаживая лисину, онъ молча намъ поклонился и съ недовольнымъ и пристальнымъ любопытствомъ смотрвъъ на въхи. Подоспъла и Оедосъя съ подносомъ. Мы наложили на блюдца варенья и стали фсть.

- Что это, Любовь Павловна, прошлогоднее?—спросиль отецъ Павель.
- Разумется, прошлогоднес! Где-же еще быть новому! Эхъ, братъ, да говорять тебъ левье, ворчаль, между темъ, Говорковъ, направляя парня съ въхами. Онъ свернулъ за тополи, огибая усадьбу Вінцеславской.

Когда мы съ блюдцами въ рукахъ, облизываясь, немного позамышкались съ отцомъ Навломъ, начавшимъ разсказывать, что вотъ у какихъ-то Андреевыхъ дъти въ сыци, Говоркова окружили новыя лица.

Съдовласый и толстый старикъ, едва передвигал ноги, подошель къ астроляби, уставя на нее отекнія щеки; какая-то низенькая, коренастая, круглая дамочка въ чер-

номъ коленкоровомъ платъв и такомъ же чепць, съ огромною нижнею, почти коровьею губою и сврыми глазами навыкатъ, ходила тутъ же, съ палкою, судорожно подергивая на рукв ридиколь, изъ котораго торчали бумаги. Другая дама, въ голубой полинялой шлянкъ, биъдная, но съ черными южными глазами и черными густыми бровими, стояла, также въ этомъ обществъ, будто попавъ сюда невзначай. Это были: старикъ Свербъевъ, дамы — извъстная уже Трагедія и Комедія.

А между тымъ, вдали стали показъваться и другія лица. Съ горы отъ мельниць шли: неслужащій дворинить Чубченко, съ неслужащимъ же сыномъ Чубченкомъ-младшимъ,
оба, съ виду простые мужики, въ простыхъ мыщанскихъ
свиткахъ и съ длинными бородами. Отъ моста близъ рым
отдымлась групца новыхъ дамъ, предводимыхъ огромнаго
роста усатымъ господиномъ, въ красной рубахф, ополченскихъ сапогахъ и съ вспаньолкой. По хлыстику въ его рукахъ, а болье, разумъется, по эспаньолкъ, нельзя было не
узнать въ немъ общаго вздыхателя и сердцевда. Всь
эти лица молча подходили, едва намъ кланялись и, перешептываясь, останавливались въ сторонь. Всь съ подозрительно недовърчивымъ вниманіемъ слъдили за нашими
дъйствіями.

Такъ, я думаю, сявдили инонцы отважныхъ моряковъ, ивкогда смъю отводивнихъ себв квартиры въ недоступныхъ дотоле Іедо и Нагасаки; такъ и индійцы временъ Кортеса встричали былыхъ пришельцевъ на берегахъ своихъ заповедныхъ рекъ...

Работа шла своимъ чередомъ. Никто попрежнему не рекомендовалси. Солице обливало даль, сады, кровли домиковъ и насъ самихъ пркими лучами.

Первый отозванся подпоручикъ Свербвевъ.

- На-а-звольте-съ! вы, кажется, не такъ уголъ взили! замътилъ онъ Говоркову.
- Чего-съ?—свирьно огрызнулся Абрамъ Ильичъ, ноднявъ отъ колышка налитое кровью и озлобленное лицо.
- Надо взять воть какъ... Когда я быль въ пліну у Шамиля, онъ попросиль меня снять видъ своего гарема... Ну, я и сняль.
- Можеть быть, можеть быты! возразнив со ведохомъ Говерковъ, докидывая последній уголь.

Группы оживились.

- Воть трудолюбіе! отозвалась Вінцеславская.
- Да-съ! подхватиль чей-то женскій голось:—за жалованье можно!

Сказавшую поспёшно остановили. Свербієвъ принялся помогать Говоркову. Пошла общая бесіда. Изъ вороть Дарын Адамовны Комедін вынесли стулья; коо-кто сіль. Явилси коверь, нісколько лавокъ. Всё сіли. Новые зна-комцы къ намъ присмотрілись, стали разговорчивію.

- Да не вышить-ли, господа, туть же и чаю?—спросиль кто-то изъ толпы.
 - Отлично, отлично! отозванись голоса.

Пошли за самоваромъ и за чашками. Дарья Адамовна Трагедія поб'яжала за сливками.

Всъ усълись съ печатными программами вокругъ стола. Чернильница отца Павла поставлена передо много, явились перыя и бумага.

— А что, господа-депутаты, — сказаль Свербьевы: — мы люди простые, гдв намь постигать ваши статистическія тонкости. Вы намь диктуйте, а мы будемь писать...

Я улыбнулся.

- Этого нельзя!

Вънцеславская разливала чай; какая-то дъница курила напиросу за напиросой. Всъ пріумолкли. Я объяснилъ данныя миъ отъ комитета инструкціи.

- Что, господа, откладывать! берите перья. Пишите въ клъткахъ противъ ревизскихъ душъ, сколько у кого крестьинъ и сколько дворовыхъ.
 - Да у насъ почти у всъхъ одни дворовые...
 - -- Такъ и пишите, дворовые.

Вст написали; пошли толки. Павлова-Трагедія объявила, что у нея всего одна душа, мужского пола, отличный поваръ, но что онъ уже два года содержится въ губерискомъ острогъ и что она его показываетъ тенерь потому, что онъ большихъ достоинствъ и что она надъется получить за него выкупъ. У Павловой-Комедіи по ревизской сказкъ оказалось другое любопытное явленіе: у нея было три души женскаго нола—бабка 50 лътъ, дочь ея 28 и внучка 14, хотя первыя двъ значились незамуженими.

Теперь, господа, сколько у кого грамотныхъ?—отнесся
 в: — какіе вамъ платять оброки, сколько у кого педоимки,

н во что обощлось кому обучение ремеслу или мастерству вашихъ дворовыхъ?

Написали и это. Сверб'евъ, между прочимъ, хватилъ, что сму обучение кузнеца обощлось въ 1000 руб. серебромъ...

- Бога вы не боитесь, Сысой Иванычь, усм'яхнулась Павлова-Трагедія, заглянувъ въ его бумагу: — ну, гд'в же тысячу? Да вашъ Парфенка обучался за харчи...
- Ну, такъ сто рублей!—смятчился, глядя на меня, Свербъевъ.
- Пишите триддать цёлковых и баста!—огрёзаль отець Павель:—и то пироковато.

Свербевь молча вписаль въ клетку 30 и вздохнуль. Между темъ, Дарыя Адамовна Комедія задвигалась по стулу, собиралсь что-то сказать.

- Что вамъ, сударыня?-спросиль я.
- Я, право, не знаю, какъ туть быть!—сказала она: двв ревизін сряду у меня люди были показаны при сорокапяти десятинахъ вемли, а у меня земли, кромв усадебной, нъть уже давно, болье двадцати лъть, ни клочка...
- Въ острогъ, матушка, въ острогъ засадятъ! бухнулъ Свербъевъ, подмигивая на остальныхъ.

Число господскаго и простыянскаго скота, количество земли пахотной, сънокосной, лъсной и выгонной также было записано примърно. Всъ справлились другь у друга, вписывали и не замътили, какъ въ полчаса съ небольшимъ главным статьи программы были ръшены.

— Перейдемъ теперъ къ оцінкі полевыхъ и усадебныхъ участковъ, — сказаль я: — а также къ настоящему положенію.

Всь стали въ духв. Беседа не уполкала.

Вечеръ лилъ потоки огней и, казалось, не хотыть сходить съ неба. Даже объ Павловы повеселым и дружно разговаривали.

- Вы, Сысой Иванычь, первый назначайте: по чемъ кладето десятину пахотной земли?— спросиль отецъ Павелъ Свербвова.
- А по чемъ? Меньше вельзя, какъ сто цельювыхъ: ведь это на вечныя времена отходить.
- Какъ сто?!—Полтораста!!..—отозвался чей-то голосъ, и всё за нимъ вашумели и никого уже пельзя было розслушать.
 - Меньше двухсоть пельзи!-до охришлости и съ пъной

у рга кричала незамиченная до тых поры, совершено сморщенная старушка, безъ единаго зуба во рту и съ чернымъ вонтикомъ: — нельзя! какъ можно, и того мало... и того... Въдъ это наше, наше! Да говорятъ же вамъ—наше! Триста... Меньше трехсотъ нельзя!

Она расплакалась.

 Полноте, гдѣ же слыханы такія цѣны,—сказалъ я: вы на себя накличете бѣду, вызовете недовъріе правительства...

Всталь Свербевъ.

— Неть, ужь на-а-звольте; воть, напримърь, мой хлыстикъ: онъ стоить въ лавкъ цълковый—да купецъ-то можеть ва него просить хоть пятьдесять. Спросъ мъры не знаеть. Когда я быль въ плъну у Шамиля, онъ одинъ разъ и говоритъ: что, говоритъ, можно взять за этоть архалукъ?..

--- Ну, пошла коза на базаръ! -- возразилъ священинкъ.

Всв были въ замынательствв.

Я пустился объяснять, какъ ценится земля. Все соглашались со мной. Но цену требовали все-таки невозможную. Уже въ суморкахъ помирились на 75 целковыхъ.

— Засіданіе закрывается!—сказаль я, раскланиваясь: вавтра надо будеть по планамъ опреділить величину усадебныхъ участковъ каждаго. Абрамъ Ильичъ займется этимъ съ угра и къ об'еду все кончить.

Всв встали, удивляясь, какъ это скоро все кончилось.

Всё начали наперерывь приглащать мени и Говоркова, вто на ужинъ, кто на ночлегъ, кто на все времи пребываніи нашего въ Сорокопановке на квартиру. Но мы отказались, не желал обидеть прежней хозяйки, Вінцеславской, непокидавшей меланхолическаго выраженія своего маленькаго лица. Всё изъявили желаніе провести насъ до си дома. Місяць взошель и обливать яркинъ світомъ сады и тихія улицы. Соловьи піли, прерывая наши толки о содержаніи дворовыхъ, о ихъ одежді и обуви и о цінности усадебъ. Дарья Адамовна Трагедія распространялась о стоимости стрыхъ штановъ для повара Терешки, а неграмотный Чубченко-сынъ — о цінности башмаковь и юбокъ отцовскихъ работниць. Вечеръ закончился катаньемъ по рімі на лодкі отца Павла, причемъ Свербієвъ не преминуль заломить фуражку съ кокардой на бекрень и затянуть волжскую піссню, а потомъ вкленять разсказъ о катаньть на лодкі по какой-то рікі у Шамиля. И когда отець Навель сказаль запросто: «врещь, Сысой: Ивановичь, на Кавказів такихърівть нічуі» подпоручить прибавиль: «Есть, хотя ны еще до нихь не доходили!».

Влаженные, тихіе уголки! Свербієва вообще слушали не безь любопытства. И никто во всей Сорокопановкі (не перечь только отець Павель!) така легко не разълснять европейской нолитики, не мириль и не ссориль Австріи съ Франціей и Англіи съ Италіей, какъ Свербієвь. Рішили на рікті, что вірнійшая цифра стоимости годового содержанія дворовыхъ съ души будеть высшая 40, средняя 20 и низшая 10 руб. сер. въ годь.

- A какъ вдругъ по сорока пликовыхъ велятъ намъ платить дворовымъ въ годъ, если мы это подпишемъ?—робко спросила Павлова-Комедія.
 - **Ну**, что же, и будете!—сказаль, усмъхалсь, Свербвевь. Общество смолкло и погрузилось въ думу.
- Э, господа сказалъ подпоручикъ: совътую, иншито больше; а то еще скажутъ, что вы морили людой голодомъ!

Мы распростились съ остальными и ушли въ усадьбу Винцеславской, гди снова улеглись въ знакомой комнатки съ запахомъ инбиря и калгана. Кто-то постучалъ въ окно—я отворияъ его.

- Вы потрудитесь, —сказаль съ надворья Свербіевъ:—завтра назначить сходку здвинимъ дворовымъ, надо имъ пояснить, чего имъ ждать и кого слушать.
- Такихъ сходокъ въ нашихъ инструкціяхъ не положено, отвічаль съ кровати Говорковъ.
- Нътъ, какъ ужъ хотите, а я ихъ вамъ соберу, настанвалъ у окна Свербъевъ: — сметрите же, поговорите. Боньнюи!..—Онъ ущелъ.

Инбирь и калганъ скоро насъ усыпили.

Выло совскить світло, когда я открыль глаза. Говорковъ сидіяль, сгорбившись, противъ світа и держа у самаго носа конецъ гусинаго пера, свирілю чиниль его, отхватывая ножовъ огромные куски.

- Вотъ, —говорилъ опъ: —и толкуй! Да тутъ такой хаосъ,
 что и не приведи Господи!
 - А что такое?
- Да воть важь-то хорошо, а я съ зари возился, по хоты

- Что же именно?
- А то, что въ этихъ усадьбахъ самъ чорть ногу сломаеть. Обощель я, представьте, всю дачу сорокопановскую, чуть солнце взошло. Что же бы вы думали? Спросишь: попажите, гдв границы вашей усадьбы, двора, сада, огорода? А они въ отвътъ: «то мое, что видите, да и то, чего не видите и что переніло вонь туда, это его проклятый отець отмежеваль насильно и объ этомъ мною уже прошеніе подано!» И пошло: хвость одной усадьбы витя въ бокъ другой, садъ этого втемящился въ огородъ того, а посреди ихъ вськи уськи колодеци или свиной жавви третьиго. Какъ туть ихъ усчитать? Все переплелось и спуталось. Жили прежде безспорно, а теперь, какъ пошло дело на объявление правъ, такъ на ствиу лезуть. Чубченко грозится жаловаться на Свербвева и на меня, Павлова-Трагедія даже съ полвномъ за какимъ-то Никищенкомъ по улицамъ стала б1гать, -- носится съ бумагами и тычеть мив подъ носъ. Ходать толиами, на плетии влезають и смотрять, что я делаю. А двое подъ рукою объявили напросто, что поколотить всякаго, кто ихъ обмфрить.
 - Ну, и что же вы?
- Приблизительно прикипуль ссякую усадьбу и баста.
 А тамъ пусть они же сами окончательно опреділять свои границы.

Мы вышли въ залу. Хозяйка сидвла за чайнымъ столомъ. А по полу уже ходили и галки съ мъщочками, и куцая сорока, и параличная болонка. Не успёли напиться чаю, какъ явились жареные въ сметанъ перепела, форшмакъ изъ карася и селедокъ, япчинца съ ветчиной и еще что-то.

- Однако, пора бы и дальше, сказаль Говорковъ, распуская подъ сюртукомъ на спинф запасныя прижки: но что то господа обыватели нейдутъ.
- Да коть и они!—сказала хозяйка, гляпувъ въ окно. Вчеранийе наши знакомцы вошли снова и чинно съли въ заль. Вскхъ набралось человъкъ двадцать.
 - Программы готовы?-спросиль я, обращаясь ко всычь.
 - Тотовы.
- Абрамъ Ильпчъ! потрудитесь внести въ списокъ имена представивнихъ.
- Свербісь тоскиню взглинуль на Чубченка. Тоть повель плечами.

- А крестьянъ скоро у насъ выкушятъ? спросилъ Свербъевъ.
 - Мив неизвъстно.
 - Полноте насъ морочить! Мы не дЪти...
- Какъ рашить комитеть и какъ утвердять выше, прибавиль Говорковъ.
- Ну, а барщина попрежнему будеть три дня на крестынть и шесть дней вы неделю на дворовых: Вёдь у насъ всё дворовые, —отнеслась Вёнцеславская, тоскливо ловя мои взгляды.
- Не энаю и этого. Все дімо рішитъ губерискій комитеть...

Младшій Чубченко перешель на цыночкахъ къ старшему п что-то сказаль ему на ухо. Они размахивали руками.

Свербевъ долго и упорно чесалъ у себя въ затылкъ и сопътъ, ворочая налитыми кровью глазами. Наконецъ опъ подощелъ ко миъ, взялъ меня за руку и сказалъ:

— *Bien merci*, за все—за все… мерси-съ… Но позвольте на пару словъ…

Отведя меня Эъ сосёднюю комнату, онъ сказаль: «ничего, ничего», заперъ дверь, опять подощель ко мий, хотиль чтото сказать, кашлянуль и не могь выговорить ни слова. Руки его дрожали, лицо было въ поту. Глаза смотрили въ землю.

- Экуте,—началь онь, оглядывалсь:—нась никто не видить! Я человъкь прямой... Безь тонкостей... Скажите всю сущую правду, что тамъ съ нами будеть? Я пикому не скажу! а намъ нужно. Откройте по секрету... Экуте между честными людьми.
- Да говорю же я вамъ, что ничего не знаю... Відь я выборный, вашъ же дворянинъ...
 - Hy... экуте́!.. полноте-я вамъ...

Свербевь сунуль руку вь боковой кармань сюртука.

— Вотъ... благодарность... помилуйте, между нами... это приношеніе всего нашего общества,—прошепталь онъ, дрожа п, красный, какъ ракъ, сжимая мои руки.

Я разсивялся, отвель его руки.

- Или мало?—спросиль онъ, еще болье смъщавшись.
- Полноте; не стыдно ли вамъ!—сказалъ я, отступая къ двери:—я вашъ же товарищъ! Клянусь вамъ, я ничего болъе не знаю... Честью вамъ клянусь.

Свербевь быстро сунуль опять руку въ кармань, круго сочинен г. п. давиленскаго т. уп.

повернулся на каблувахъ, вышель въ залу, и я видель, какъ онъ свирено махнулъ головой въ направлени ко мив, какъ бы говоря: «не поддается, христопродавецъ!»

Собраніе встратило меня съ отманной сухостью.

- Итакъ, вы ничего намъ боле не скажете?—спросила Въпцеславская.
 - Ничего, къ сожальнію...

Подпоручикъ, между тімъ, оправясь и презрительно стукнувь ногою, дерзко ходиль по залі, шагая передь самымъ моимъ носомъ. Хозяйка хотіла-было начать веселый равговорь, но Свербвевь обернулся къ остальныть и сказаль:— «что же, господа! здісь намъ боліве нечего ділать. У! Токчайшій человікь». И онь, съ судорожнымъ сміхомъ, развель вы мою сторону руками.

Положеніе мое ділалось невывосимо. Всі стали раскланиваться. Я отвінівваль усердные нокловы.

- Па-а-эвольте, однако!—отожвался опять Свербвевь:—у отца Павла, если угодно, во дворъ собраны здънніе крестьяне и дворовые. Поговорите съ ними. Мы просинъвась.
- Право, господа, незаченъ... Ну, что же я имъ буду говорить? Не время еще, ничего еще не решено!

оворковъ кивнулъ мет пальцемъ. Я подонелъ къ исму.

- Позвольте инъ поговорить за васъ; я поговорю!—сказаль онъ инопотомъ.
- Ну, извольте! нойденте! сказаль я вслукь и взяль шапку.

Мы пошли всёмъ обществомъ. Вёнцеславская, провожая насъ съ крыльца, изъ-за кучи итичьихъ клётокъ, объявила, что рано еще уёзжать и что намъ слёдуеть остаться отобъдать. Лошадей нашихъ уже запрягли, и мы отказались, благодаря отъ души хозяйну. Садомъ ны пошли къ усадьбъ священника. Изъ-за илетня мы увидёли толиу крестьянъ, человъкъ въ пятьдесятъ. Священникъ, въ подрясникъ, ходилъ передъ нуми и что-то имъ объясиялъ. Дворяне презрительно остановились въ стороиъ. Свербъевъ, съ пронической улыбкой, косясь на меня, издали помахивалъ хлыстиковъ и крутилъ усы. За имии слёдовала уже запряженная наша нетечанка.

 Ну, — шепнулъ я Говоркову: — что же ваша рѣчь? Пора ужъ ѣхать!.. — Говорковъ обдернулъ фадды своего спртука, ступиль шагь, кашминуль, глянуль въ землю и, какъ-то странно пискнувши, началь:

— Что, ребята, върите ли вы миъ?

Отвъта не было.

– Я васъ спрашиваю, вкрите ли вы инв и тому, что п

скажу? Иначе не стоить и словь терять.

Двое изъ передняго ряда крестьянь усмехнулись. Остальная толпа хранила молчаніс. Всв, держа въ рукахъ шанки, смотрым внизь. Это были большею частью дворовые, бобыли бобылей, то-есть батраки мелкопоместныхъ. Лица угрюмыя, притупленныя отъ ліни и праздности. Одежда у всіхъ была сборная: у иного тулупъ, у другого ополченскій поношенный кафтанъ съ нумерованными пуговицами; у кого былая рубаха, съ гребешкомъ на веревочкъ, у кого дырявая свитка, или порыжёлый плисовый жилеть. Здёсь же стояла плечистая сердитая баба, въ сапогахъ и въ старомъ кучерскомъ армякъ.

- Въримъ, говори! робко сказалъ моложавый, широкоплечій парень, въ кожаномъ фартуки, ничто въ роди кузнеца или скорняка: -- отчего не повірить -- на то ты присланъ, ваше благородіе.
- Ну, такъ слушайте же! сказалъ Говорковъ, усиливая. голосъ. Крестьяне сдвинулись теснье.
- Давно уже, ребята, —продолжаль Говорковъ: —давно у васъ идуть толки о вольности. Не такъ ли?
 - Еще бы! послышалось среди дворянъ.
- Ну, такъ знайте же, что господа сами хотять вамъ дать вольность. Да надо только подождать... Въ Россіи пятьдесять да и съ хвостомъ еще губерній, а въ губерніяхъ по 10 и по 15 увздовъ. Ну, и совътуются теперь всв эти пятьсоть увздовь, какъ бы дело вышло получие.
- Ну, а метла на небъ, звъзда-то, что по вечерамъ видна, что значить? — спросиль изъ толпы съдой, какъ лунь, старикъ. Ему не дали договорить и удержали его за полы...

Абрамъ Ильичъ не умолкалъ. Его слушали внимательно. Отецъ Павелъ, надъвъ очки, что-то торопливо пріискивалъ

въ раскрытомъ на подоконницѣ Евангеліи.

А солнце свътило ярко и вмъсть безмятежно. Пътухи и другія птицы затихли и будто также внимали неслыханнымъ рвчамъ Говоркова. Тучка набъжала на солице. Прохладнал твнь надвинулась на луга и на половину села, съ зеленъющими на берегу и далеко видными усадьбами Павловыхъ. За церковью раздавалось серебристое ржанье жеребенка, искавшаго потерянную имъ, среди огромныхъ сельскихъ пу-

стырей, мать.

Часа черезъ два крестыпне разошлись, молча, не глядя другъ на друга и долго не надъвая шапокъ. Слова Абрама Ильича ихъ какъ-то озадачили. Парень въ кожаномъ фартукъ особенно долго не могъ угомониться. Онъ стоялъ на бугръ, среди улицы, провожалъ глазами остальныхъ, и мысли его, казалось, были далеко-далеко...

— Что, Абрамъ Ильичъ, о чемъ думаете? — спросилъ л

Говоркова, когда мы выбхали изъ Сорокопановки.

— Скверно на душ'в! — отв'тиль мой спутникъ: —никого, кажется, не обид'ель, а что-то такъ неловко, такъ неловко...

1859 г.

ФЕНИЧКА.

РАЗСКАЗЪ.

I.

Школа.

«Вы осмотръднесь и видите, что вы въ юпить. Прическа головы, передникъ, талія и все въ порядкъ. Вы очень довольны, что вы не мальчикъ, и дълаете книксенъ».

Вопросы жизни Пирогова.
— «Гдъ остановияся Ноевъ Ковчегъ.

-- «На Арбать...

Сцена на экзаменъ.

Случилось какъ-то, въ одной изъ южныхъ губерній, губернскому предводителю дворянства завхать въ бъдный выселокъ, на перепутьт съ какого-то званаго пира. Пока кучеръ выбивался просёлкомъ напрямикъ, собралась сильная гроза. Небо обложило тучами. Не успъла карета поровняться съ дверью низенькой мазанки, а довольно тяжелый сановникъ вскочить въ съни, какъ дождь хлынулъ и громъ раздался у самыхъ оконъ. Заходила ходенемъ бъдная мазанка, и захлопотался при видъ высокаго посътителя старикъ-хозяинъ, отставной, или, собственно, уволенный безъ прошенія изъ сосъдняго суда, протоколистъ Басорскій. — «Ахъ ты, Боже мой, Господи!» — воскликнулъ онъ, мечась безъ толку въ темной каморкъ. Съ трудомъ напялилъ онъ зеленоватый сюртукъ съ бронзовыми пуговицами, провелъ ладонью по бородъ, усъянной съдой щетиной, тяжело вздохнулъ, засте-

гнулся на всв пуговицы и съ трепетомъ явился къ его превосходительству.

- Кто тамъ?
- Это я, ваше пре—ство! хозяинъ!
- A! ты откуда?
- Здыний, туть и родился-съ...

Слуга подъ шинелью пронесъ изъ кареты снадобыл для чаю, сигары и французскую книжку. Предводитель устасл къ окну. Чтеніе, однако, не шло въ голову. Дождь лилъ, какъ изъ ведра; ручьи съ ревомъ неслись подъ колесами кареты и ногами свесивинать уши лошадей.

— Васька! Да гдів же у тебя глаза-то? — крикнуль сановникъ въ окно, указывая пальцами.

Съдовласый кучеръ Васька молча снялъ попону и укрыль любимую пристяжную лошадь. Подали чай. Хозяйка стерла со стола.

- Много у васъ земли?
- Десять десятинъ, ваме пр—ство! грустно отвътилъ хозяинъ, ступивъ отъ двери и пощипывая то пуговицу, то назойливые волосы на бородъ.
 - Гм! Есть еще какін-нибудь угодья, заведенія?
- Есть овечки, пара воловъ; траву косимъ, корову держимъ, свиней кормимъ, куръ.
 - Что же, это коромо!
- Гдв хорошо, ваше сіятельство! Сбыту вовсе н'ыть. Городъ далеко, дорога большая тоже, сами изволите знать. Воть у нашего засъдателя, черезъ ръчку, лъсу тысяча десятинъ, дубу; цены никакой нетъ, ну, никакой ровнехонькотакъ и гність. По рікі бы его хорошо сплавлять. За полтораста версть оглобия полтинникъ стоить. Такъ и сидииъ; какъ пробдеть кто-нибудь, получины тамъ за сћио, да за чай. А то и на саноги, да на юбчёнку жень не хватаеть...
 - Какъ же ты, чемъ живешь?
 - Перебинаемся кое-какъ.
- Да, о льсь ты, дъйствительно, върно замътиль; по рыть его точно хорошо бы сплавлять. Написаль бы ты, братець, проекть, высшему бы начальству передаль...
- Не могу, ваше пр-ство; мив запрещено проскты подавать, подписку взили...

 - Ornero?
 - По алой судьбі, такъ выразиться опітрафобанъ,

якобы въ ябедахъ и въ составленіи кляузныхъ бумагь замъщанъ...

Предводитель на это инчего не сказаль.

Буря, между тімь, угомонилась. Гость напился чаю, закусить янчницей, сділанной наскоро хозяйкой, толстой апошексической бабой въ миткалевой юбкі и въ платкі на голові, спросиль: — прояснилось-ли на дворія? — получиль утвердительный отвіть и веліль подавать лошадей.

— Ну, любезнайшій, чамъ же мив тебя отблагодарить? спросиль гость, вынимая, хотя еще не развязывая, коше-

декъ. Хозяннъ въ это время явился съ подносомъ.

— Не откажите наливочки!-сказаль онъ.

— А, очень радъ! однако, какъ же насчеть платы-то? что съ меня возьмете за съно и за закуску?—все еще улыбансь и не развязывая кошелька, прибавнаъ гость.

Жена глянула на мужа, судорожно запахнулась платкомъ и, кланяясь, отв'етила:

— **Мичего намъ не надо, вал**іе превосходительство; мы на чести одной довольны, а о вась наслышались—о вашей доброты

— О, нътъ, явтъ, я этого не хочу. Говорите, говорите, что вамъ надо? не надо ли мъста? Я все сдълаю, все могу!— отвътилъ гостъ, пряча конелекъ въ карманъ.

У жены при слевь о мъсть дрогнули руки. Изъ ен памяти еще не выходили тъ свътлые городскіе дни, когда купцы несли къ ней сахаръ, муку, рогожки, рыбу и все. Мысль о попыткъ получить новое тепленькое мъстечко пріятною улыбкою расположилась и на лицъ мужа.

— Если ужъ ваща милость, если на нашу дворянскую бъдность...

Въ это время предводитель случайно взглянуль въ окно...

По прояснъвшему двору, вприпрыжку по лужамъ, оъжала изъ сосъдняго мелколъсья дъвочка, лътъ семи или восьми, въ одной рубашечкъ, босая и съ лукошкомъ какихъ-то ягодъ. Не замътивъ кареты за угломъ, она разлетълась и стремглавъ вскочила въ съни. Капли сбъгали съ ен густыхъ, нерасчесанныхъ волосъ и дрожали на полныхъ, изъ-сяза раскраснъвшихся щекахъ. Глаза внимательно и пугливо остановились на незнакомив.

- Чья это? спросиль предводитель.
- Дочка наша; простите, такая глупая, шаловливая!—

отвътила мать, дълая знаки глазъвшей на гостя дочери:— ушла за ягодами, постръленокъ, да и промокла.

— А! Очень радъ! Привезите ее ко мив, и я се при-

строю. Ты хочешь, девочка, въ городе жить?

Девочка закинула за плечи длинные волосы и молча повела глазами изъ сеней въ растворенныя на крыльцо двери.

— Ваше пр—ство! въкъ будемъ Вога молить! — заговориль отецъ.

— Ну-да! ну-да! Вы ее доставьте мнв, а тамъ уже я со

пристрою!

Съ этими словами гость сълъ въ карету, ношади двипулись. А мужъ и жена долго еще стояли, глядя то на дорогу, то на дочку, и тутъ же положили, что не надо упускать такого благодатнаго случал.

--- Воть, нечаянно-негаданно, — судили они: — Господь даль праздникь; теперь ужь Феничка наша — отрёзанный ломоть. Какъ тамъ ни говори, а все же со двора долой, съ рукъ долой, и сами сытье будемъ. Промаячить тамъ, какъ ни на есть, живучи у большихъ людей. Еще и денегъ припасеть и насъ прокормитъ. Богатая рука хоть кому помога.

Черезъ мъсяцъ, Иванъ Григорьевичъ Басорскій, обитатель уединеннаго хутора, запрягъ пару воловъ, одълся въсвою чунарку, взяль кулекъ съ закуской и припасеннымъ кстати на базаръ масломъ, посадилъ съ собою дочку и отвезъ се въ губернскій городъ. Былъ вечеръ, пакомка-предводитель воротился съ именинъ отъ губернатора. Жена встрътила его еще въ коридоръ.

— Что это ты, Павель Романовичь, затвяль? Какихъ это

гы нищихъ вздумаль брать на прокормленіе?

— Какъ? что?—спросилъ съ нъжностью мужъ, давно, поправдъ, забывшій и стоянку на хуторъ, во время грозы, и свое объщаніе.

— Да помилуй, тамъ съ утра въ мюдской ждеть тебя какое-то чучело, съ краснымъ носомъ, и такъ странно смотрить. Онъ привезъ какую-то дівочку.

Позвали нежданнаго гостя. Сановникъ, тъмъ временемъ, копая зубочисткою въ зубахъ, все уже успълъ приномнить, и совъстно ему стало послушаться супруги, которая настанвала, чтобы скоръе этихъ попрошаекъ прогнали со двора.

— Хорошо, мой любезн'вншій, хорошо! Ступай себ'в, повзжай; твое діло рішеное. Ступай, я позабочусь о судьбів твоей дочки! — сказалъ предводитель, принимая изъ дрожавшихъ рукъ просителя бумаги о рожденіи и крещеніи дівочки.

— Ваше превосходительство, не оставьте!

Иванъ Григорьевичъ не распространялся болъе потому, что, въ чаяніи разлуки съ дочерью, закатиль уже порядкомъ за галстукъ въ сосъднемъ кабачкъ, и на утро, съ трудомъ помахивая на воловъ, съ предводительскаго двора поъхалъ обратно на хуторъ.

Дъвочка приведена къ барынъ. Въ ситцевомъ платьишкъ, материнскомъ полиняломъ платкъ на головъ и съ загрязнив-

шимися ножками, она не понравилась генеральше.

— Какъ тебя зовуть?

- Химочка...
- Это что такое?—спросила генеральша въ носъ, оправляя одежду замарашки и относясь къ своей наперсинцъ Мароъ Кондратьевнъ, тощей, вдовой и бездътной домоправительницъ изъ вольноотпущенныхъ.
- Это имя у малороссовь значить Афимья, Феничка. Притомъ же, сударыня, какіе теперь дворяне у насъ бѣдные! Стыдно смотрѣть!

Генеральша еще строже взглянула въ лицо дівочки.

- Грамоть умвешь?
- Умъю-съ...
- А руки отчего у тебя выпачканы, а?

Дъвочка съ напряженнымъ удивленіемъ взглянула себъ па пальцы, потомъ на блёдныя, начавшія дрожать, губы предводительщи.

- Что же ты не отвъчаещь? а? Говори же?
- Ахъ, сударыня, да вы посмотрите, въдь ужъ это таково заведеніс, —возразила домоправительница: —въдь у нея и глаза, какъ у кошки, смотрятъ. Что ты смотришь такъ на барыню? У, звъренокъ...

Домоправительница не кончила. Нервная генеральша глубоко вздохнула, закатила глаза, потребовала капель и, охая, опустилась въ кресло. Къ вечеру дъвочка была сослана на кухню.

— Я тебя, Павелъ Романовичь, не понимаю! — сказала предводительша мужу: — ну, какъ быть до того малодушнымъ, безъ характера, до того флюгеромъ, что куда вътеръ повъеть, туда и ты? Выдумали прежде мыльные пузыри пу-

скать, и ты началь; потомъ въ столицахъ стали объды задавать всякимъ пробажимъ артистамъ и знаменитостямъ, и ты туда же. А теперь ударились всв на благотворенія, и ты за ними! Да гдв же твой карактерь? Это просто смешью и жалко! Мужъ сталь утынать.

- Да помилуй, душа моя, о чемъ твоя забота? Твоей заботы быть туть не должно! Пойми меня, и только! Горе въ томъ, говорю я тебь въ тысячный разъ, что ты инкогда, не понимала и не хочешь понять ии монхъ замысловъ, ни монхъ стремленій и идей. (Жена возвела глаза къ небу и, вздохнувъ, сильнъе прижала стклянку съ эфиромъ къ носу). Нынче въсъ такой! Надо отличать себя въ кругу сословія стремленіемъ къ добру. Надо поражать, ярко кидаться въ глаза. Соир d'état, ма-шеръ, во всемъ! На моемъ мъсть отъ меня требують, ждуть добра...
- Хороню добро! разводить нипцихы! Лучще бы вы подумали объ уплать вашихъ долговъ, да поменьше въ карты съ дворянами играли!
- Ну, слушай, эту дівочку еще можно ваять на руки, это еще—дитя природы.
- Смішно и глупо, смішно, и больше ничего! И съ чімъ это сообразно! У самого состояніе на волоскі, сынъ въ гвардін служить, дочь невіста и почти на выдачі, а онъ, какъ Евгеній Сю, по вертепамъ біздности ходить, да подбираетъ себі членовъ въ богадільню! Паясинчество, и больше ничего!

Въ это время дверь тихо отворилась; съ коніачьей улыбкой, чуть трогаясь ковра, вошла и стала у порога Мареа Кондратьевна.

- Что тебь, Мароуша?
- Тамъ, сударыня, эта девочка, которую ихъ милость приказать изволили оставить на кухив, просто на стену лезеть: реветь-ревия, какъ батракъ какой. Просто удержу ивть, и какъ бы еще чего дурного не сделала!

Барыня выразительно взглянула на мужа.

— Воть тебв и стремленіе къ добру, и дитя природы! (Домоправительница, постоявь немного и не замвчая къ себв участія, вышла). — Слушайте, милостивый государь, — сказала, даже вскочивь на кровать, супруга: — я не желяю, я не хочу, чтобъ эта дрянь туть оставалась долю; сейчась ее вонь! Слышите ли? сейчась!

Мужъ, уже зная насквозь свою жену, тоже не отличавшуюся знатнымъ происхожденіемъ, мало обратиль винманія на это такое восклицаніе.

- Посуди хладнопровно, —сказаль онъ, погирая лысину: ее можно отдать въ пансіонъ. Пять льть она тамъ пробудегь: двысти цылковыхъ въ годъ, и того тысяча. Пансіонъ мадамъ Барежъ—очень хорошій пансіонъ!
- Да это курамъ на см'вхъ! У тебя н'ыть тысячи праковыхъ на карету для дочери, на рояль, а ты бросаешь въ грязы! У тебя сынъ безъ порядочной перховой лошади; долгъ въ опекунскомъ сов'ют за два года не заплачены!

Мужъ задумался. Наконецъ, нагнулся къ уху жены п

шепнуль ей:

— Ну, что же, душа моя, делать? Срокъ мой исходить; скоро новые выборы. Надо, во что бы то ни стало, пустить въ ходъ какое-нибудь благотворение въ пользу бъднъйшей части сословия! Объ этомъ заговорять, и дело въ шлянь. Судьба этой девочки должна быть устроена, и я ее устрою.

Прошло нёсколько дней. На тамиственных совыщаніях въ снальне было положено замарашку одёть и приготовить къ поёздкё. Предводительская дочка, напыщенная и гордал барыния, тронутая слегка осцой, сидёвшая съ утра за фортецьяно, которое, впрочемъ, какъ-то ей плохо нокоралось, и надменно-молчаливо выходившая къ гостямъ, что не мъщало ея лицу укращаться еще отмённо-некрасивыми угорьками на лбу и на носу, взялась за снабженіе ее платьемъ. Изъстарой распашонки, съ обильнымъ запасомъ ругательствъ, передёланъ мъшковатый нарядъ, куплены козловые башмаки. Волосы заплетены косами и перевиты бархаткой, въ руки ланъ носовой платокъ.

- Ты ум'ємь читать? спрашивала предводительскам дочка.
 - Укра.
 - A молитвы знаень?
 - Знаю.
 - Кто же тебя училь читать?
- Горихвостовъ, Петръ Михайловичъ, сосъдъ нашъ; а паненътъ все некогда было!

Посадили Феничку въ акинакъ, съ предводительскимъ секретаремъ, и повезли по широкой улицъ. Дъло въ томъ, что предводитель, по старому знакомству и новымъ отноше-

ніямъ, быль друженъ съ директрисой містнаго благороднаго института. Старушка была у него въ долгу за какую-то вначительную услугу съ его стороны передъ губернаторомъ и, жакъ разсудительная женщина, ждала только случая отблагодарить его. Онъ написаль къ ней, что высылаеть на ся ваботы, для помъщенія въ «благодътельное для сироть учрсжденіе», біздную дівочку-дворянку, дочь «престарівлаго», «немощнаго» и «заслуженнаго отставного чиновника» его губерніи, дівочку, просто чудомъ открытую имъ среди страданій убогой семьи, въ одну изъ его поездовъ по службе, по быдныйшимъ закоулкамъ края. У директрисы случилась свободная вакансія, и дівочка была туть же принята и записана въ первый детскій классъ подъ именемъ Евфиміи **И**вановой Басорской. Новая ученица вошла подъкровъ опрятнаго, щегольского, красиваго зданія, съ золотою надписью. Утро стало сміняться вечеромъ, уроки рекреаціями, прогудки репетиціями. Много сивнилось косыночекъ, износилось чулковъ и передничковъ. Детство уступило место отрочеству, отрочество юности. Тамъ прибавилась округлость, вдьсь увеличена мърка платья, тамъ зашевелились неясныя грёзы. Изъ ребенка незамътно стала взрослая дъвушка...

А между тімъ, нока совершилось десять узаконенныхъ жътъ, много судебъ прошлс и внъ ея мъста воспитанія. Предводитель вскоръ быль не избранъ, убхаль въ огорчени 'въ деревню, гдѣ и скончался отъ удара, среди долговъ, на рукахъ жены и дочери. Его место увидело трехъ новыхъ преемниковъ. О дъвочкъ Басорской забыли всъ. Да мало думали о ней и собственные ся папенька и маменька. Знали они, что куда-то, по милости генерала, въ науку отдана ихъ дочка, а куда именно и въ какую науку, они, трубые люди, даже хорошо и не дознавались. Матушка, вдоровенная баба, попрежнему возилась съ утра до поздняго вечера, доила коровъ, варила объдать и ужинать, аростно скребла ножемъ бълый липовый столь, чистя хату передъ праздниками, ткала зимой холсты, пряла, откармливала и продавала свиней, по праздинкамъ молча съ мужемъ напивалась до омертвенія, или отправлилась «повеселиться» къ такой же охотницъ до хмельного, къ кумъ-мъщанкъ, въ сосъднюю вольную слободу. Мужь во всемь оказывался слабе, хотя также, съ грехомъ пополамъ, хлопоталъ по хозяйству, ходиль дома въ простой свить,

кориъ воламъ, смотріль за насікой, мололь хлібов на мельниці, іздиль по разнымъ надобностямъ по сосідству, но болів шатался по уіздному городу, стряпая потихоньку желающимъ просьбы и аппеляціи и при этомъ, разумівется, также усердно служа Бахусу. Когда ему и жені сосіди говорили: «а что, гдів же ваша дочка?»—они отвічали:—«э! на світів не безъ милости добрыхъ людей; выйдеть изъ науки, намъ же подмога будеть!»

Между тімь, какі сказано, прошло десять літь, и феничкі приходилось покинуть науку. Отца по почті увідомили оть института, что дочь его кончила съ отличіемъ курсь ученія, и чтобы онь за нею прівхаль, или, если пожелаеть, оставиль бы ее, по уставу заведенія, еще на нісколько времени въ пепиньеркахъ при институть. Насилу отыскала бумага за печатью заведенія уіздь, волость, глухой хуторь и въ хуторкі, въ бідной мазанкі, самого Ивана Григорьевича Басорскаго. Старикъ сталь искать очки. Окавалось, что руки его въ эти десять літь пріобрізи еще болів дрожанія. Напяливъ на нось оловянныя очки и вскрывъ пакеть, онь прочель письмо сначала про себя и потомь жені.

— Вотъ еще что!—говорила мать:—учили, учили, и опять учить! Слава тебъ, Господи, ужь теперь невъста; въ Филипповку будетъ восемнадцать лъть! Мић будетъ помощница! Вотъ лъвая рука, да и нога у меня, тоже лъвая, совсъмъ какъ изъ дерева стали. Параличъ, что ли, подбирается! А тутъ нужно подати платить! Гдѣ безъ помощницы обойтись, и не думай этого, и не гадай! Не у насъ, такъ за хорошаго человъка замужъ отдадимъ!

Мужъ, не замъчавшій до этого, чтобы жень нужна была помощница, не прекословиль. Потолковали и съ сосъдями. На волахъ за барышнею было пеложено не ъхать, потому что это совъстно и на смъхъ поднимутъ. А когда доходу въ годъ всего пятьдесятъ рублей ассигнаціями, за вычетомътого, что проживешь, то на лошадей не кинешься. Ръшили Ивану Григорьевичу дойти пъшкомъ въ «губернію», а тамъ нанять «будку» у жида — и привезти Феничку домой, на покой. Иванъ Григорьевичъ завязалъ въ узелъ платка три пълковыхъ на наемъ жида, взялъ мелочи, про запасъ, для выпивки дорогою, перекинулъ черезъ плечо шинель и сапоги и пошелъ въ путь большою дорогой, въ губернію...

Тыть временент, Евфинія Ивановна была въ раздушьк. Роды воспитанія въ світной, шумной школі мелькнуми для нен незамътно. Она даже ни разу въ этоть срокъ не написала домой, и только теперь мысленно стала рашать вопросъ, какъ она поедеть домой и какъ встретить отца. Изъ наленькой замарашки она стала уже рослою, стройною девушкою, съ полными, бълыми плечами, которыя такъ и рвались изъ-подъ зеленаго платья, съ густою каштановою косою и карими глазами. Она уже отлично танцовала; красиво и ловко кланялась; ходила, точно лебедь былая по синюморю плавала; шнуровалась въ рюмочку; знала она русскую литературу до Пушкина, по руководству Греча. — Писала очень мило по-французски, въ классныхъ упражненияхъ, на предметы о восходъ солнца, о трехъ розахъ и о значени Шатобріана въ искусствъ. Декламировала изъ Федры Расина и умела делать при публике физические опыты надъ электрической машиной и воздушнымъ насосомъ. Оть подругь заслужила имя «душечки-Фенички» и «божества», прошла сь ними усердно періодь повданія «грифелей», «мізлу» и испиванія «уксуса» и, готовись къ выпускному экзамену, раздълня съ ними также усердно человъчество на «противныхъ штатскихъ» и «обворожительныхъ военныхъ», что не мъшало, впрочемъ, ей съ ними «обожать» подслъповатаго и чахоточнаго учителя русской словесности, у котораго блёдныя ланиты въ влассахъ постоянно пламенели, и «нрезирать» учителя математики, съденькаго старичка съ подагрой, несмотря на то, что онъ быль изъ военныхъ. На публичномъ испытаніи Феннчка Басорская играла въ четыре руки съ княжной Раисой Вонзковской, изъ соседенкъ, западныхъ губерній, громкій и ослинтельный концерть Тальберга. Потомъ она одна, въ числе двухъ другихъ солистокъ, пъла «Гимнъ» на слова: «Гдв вы, гдв вы, дни намъ милы?»--сочиненный на случай однинь городскимъ статскимъ генераломъ, славившимся подписями къ портретамъ разныхъ сановинковъ, и увлекла всехъ своимъ густымъ, звоикимъ и пирокимъ сопрано. Учитель музыки, худенькій, черненькій человечевь въ золотыхъ очкахъ, млель при этомъ отъ удовольствія и, совершенно теряясь, направо и наліво лепеталь о ней полузнакомой публикъ безсвязныя похвалы. Когда при-<u>шель срокь, громко прочитали ся имя вь числь другихь дъвиць:</u> Евфимія Басорская получила шифрь и похвальную книгу...

Не не это собствение занимале все языки. Горожане п толиы съвхавинися бъ выпуску родныхъ узнали целое дра**матическое событ**іс, эффектная сторона котораго тотчась ярко бросилась всемъ въ глаза и увлекла всехъ. Пронеслась высть, что за этою хорошенькою дівицею, которая такъ мило пела институтскій гимнь, престарыли отець-хуторянинъ, съдовласый старецъ, пришелъ за изсколько десятковъ версть пънковъ. По неизвъстной причинь, у всъхъ въ ужв мелькими тотчасъ образы Эдипа и Антигоны. Когда Иванъ Григорьевичъ, гладко выбрившись въ цирюльнъ и вынивь съ колбоской, въ соседнемъ кабачке, стаканъ забористаго травнику, вошель въ залу, гдв происходило еще какое-то последнее испытание, родъ педагогической беседы, изобретенія учителя математики, изъ семинаристовъ, — всю глаза и лорнеты обратились на него, на его съдую голову, потертый сюртукъ и красный носъ. Дамы стали сильно ину-шукаться и приходить въ волненіе. Локти и шали задвигались, подъ мерные вопросы экзаменатора: «А что приличнье вь свыть гражданину и гражданкь?» - «А къ чему насъ долгь ведеть, вогда мы впадаемь въ грубут и преступленіе?»—Многія даже перезнакомились туть же въ заль, безь чего прежде только холодно оглядывали другь-друга съ гоновы до ногь, или небрежно черезъ плечо. — «Вообразите. моя милая, у этой Басорской, говорять, нать даже теплаго канота, чтобы увхать».—«Говорять, у ея отца всего десять десятинъ земли и одна корова». — «Жена его сама всть варить!» — «Э! это бы еще ничего! Но она, бъдная, сама этого не знаеть и не сознаеть: восьми леть ее увезли изъ дому. Въдная, бъдная!..» — Изъ этихъ толковъ составилось то, что такъ особенно любять составлять барыни. Былъ пожертвовань теплый каногь, несколько былья и башмаковь. Не забыты были и два, довольно ловко синтыя, хотя и поношенныя платья; одно букмуслиновое, съ перелинкою, а другое гроденаплевое, съ воланами. Жертвованныя вещи сыпались щедро. Некоторыя самолюбивыя дамы даже впосивдствін усердно просматривали нумера газеть, тайно отыскивая, не прицечатають ли гдв-инбудь ихъ имени за посильныя приношенія на пользу ближнихъ. Замішали даже какого-то откупщика, который до того времени сидъль только за счетами и весьма безграмотно подписываль свое прозванье, а туть счель себя образованнайшимъ человакомъ,

покровителемъ наукъ и художествъ и чуть не философомъ. Онъ пожертвовалъ кушъ въ пятьдесятъ рублей серебромъ, на каковую сумму тутъ же, по совъту учителя русской словесности, было куплено много книгъ, между прочимъ, изданіе сочиненій Жуковскаго и Муравьева «Путешествіе по святымъ мъстамъ», и совершена подписка на три литературныхъ, два музыкальныхъ и одинъ дамскій рабочій журналь. Книги и билеты на журналы поднесены госпожъ Басорской, въ особой коробкъ, раздуменной и разрисованной, вмъстъ съ другими подарками, одною изъ выходящихъ дъвицъ, причемъ нъкоторыя изъ дамъ, въ слезахъ и чуть не умирая отъ жалости, почти вслухъ восклицали при Феничкъ:

«Только осторожнъе, осторожнъе, ме-дамъ; чтобъ не обидъть ее, ахъ, чтобъ не обидъть ее подарками! Она дъвушка съ чувствомъ!»

Феничка приняла всв подарки съ граціозною улыбкою и съ какимъ-то особенно праздничнымъ чувстомъ радости, перепьловавь плечи у дарительниць и увлекши въ сотый разъ всъхъ своею миловидностью, застънчивостью, румянцемъ, полнотою щекъ и молодого стана. Надавали подруги Феничкъ и она имъ клятвъ въ «върности и дружбъ до гроба», объщали другъ другу писать обо всемъ-обо всемъ, и часточасто-причемъ княжна Раиса Вонзковская даже проколола себъ палецъ и кровью написала ей на лоскуткъ бумаги: «въ бъдъ и въ горъ доставь мив случай тебъ помочь, и я все отдамъ, все сділаю, чтобъ быть тебіз полезной!» Взяла Феничка съ собою на дорогу неоконченную работу Мери Кахновичь broderie anglaise, запаслась какимъ-то особенно неистовымъ, переданнымъ ей одною изъ подругъ, романомъ Поля Феваля, и повхала съ такою мыслью: «бедностьвещь нехорошая и довольно, какъ говорять, противная; но я постараюсь озолотить дни и часы старыхъ родителей, и подъ шалашомъ водворить рай! О, да, постараюсь!..» И, раскрывь дорогою, вь трясучей и темноватой будкв жида, книжки, она переложила на новую страницу вышитую тамбуромъ закладочку, оправила платье и взглянула на отца. Отецъ молча сидълъ въ углу будки и, уткнувъ носъ въ воротникъ, смутно глядвлъ изъ-подъ полости окна на дорогу.

Что ему думалось въ эту пору? При первомъ свиданін съ

дочерью, когда вечеромъ, при яркомъ освъщении лампъ, его ввели по длинному ковру въ залу, ему показалось, что передъ нимъ очутилась если не сама сказочная богиня, то, по крайней мъръ, царица-фен. Такъ показалась ему нарядна и представительна его собственная дочка, его Феничка. Онъ даже чуть-было не приложился къ ручкъ, чуть невольно не попросиль извиненія, точно быль виновать чемь-нибудь, и потомъ пристально-пристально посмотрелъ на нее, улыбаясь, скриня табакеркой и собираясь сказать ей особенно что-нибудь милое. Но ничего не сказалось; тщетно онъ искаль въ чертахъ смущенной, съ своей стороны, и миловидной дівушки черты былой Фенички. А другія дівицы, княжны и помъщицы, генеральскія и асессорскія дочки, о которыжь ему разсказываль до прибытія его дочери словоохотливый сосёдь по месту въ зале, ходили мимо и посылали Феничкъ то улыбки, то особые знаки любви, дружбы и равенства. Ликовалъ втайнъ Иванъ Григорьевичъ: «поди съ нашею Химкою! вонъ она съ къмъ за панибрата».

Съ этими чувствами одъ и въ дорогу выбхаль. Да уже въ дорогв немало призадумался, сожалья, что безъ парада, въ простой жидовской будкъ пустился, и что было бы лучше какъ-нибудь купить дрожки, или коляску и лошадей бы купить, одъть дочку во всъ одежды, какія только подарены, и провезти такъ по уъзду—знай-де, любуйтеся такою писанною красавицею!

Не то ожидало ее дома.

Прівхали они въ праздникъ, после обеда перекусивъ п переодевшись по близости, въ корчме, неравно дома гости есть. Перышкомъ вспрыгнула Феничка изъ будки, оправила платье, достала шелковый красный платокъ, припасенный подарокъ для матери, и быстро вошла въ сени.

— Неть, дочка, постой, не ходи: мать спить после объда; какъ бы не разсердилась.

— Н'ть, н'ть, я хочу маменьку видеть, маменьку!..

И она вошла въ темную комнату, гдъ съ закрытыми ставнями отъ мухъ покоилась старуха. Дочь наклонилась къ морщинистой, запекшейся щекъ ея и не рукой, а тъмъ же нъжнымъ поцълуемъ разбудила мать. Отецъ не безъ основанія удерживалъ дочь: отъ матушки несло водкой. Какъ уже сказано, былъ праздникъ и послъобъденное время. Мать раскрыка мутные посоловълые глаза и долго не могла придти въ себя; наконець, утерла рогь, встала, оправила на головъ платокъ и сказала:

- A! это ты, Химво! Хорошо, что ты прівхала, голько плохо, что мать такъ ни за что разбудила. Впередъ того не ділай! Видно, что этому не учили тамъ, гді ты была! Дочь была озадачена.
- Ну,—начала ласковъе матушка:—дай же, я подивлюсь на тебя, какая ты стала!

Окна растворили. Старуха сперва пристально осмотрѣла на всѣ стороны подаренный платокъ, потомъ дочку, напилась потомъ воды, перебрала и перещупала всѣ дочкины наряды и книги, бѣлье и разныя бездѣлушки. Наконецъ она задумалась, вышла на крыльцо, сѣла, сложила руки, зѣвнула, перекрестила ротъ и сказала:

— Ты, можеть, дочка, привыкла чай пить и теперь

Zodemp.

-- НЪтъ, маменька, не хочется; если вы выпьете, такъ и я.

— Э! дура же ты, коли это говоришь. Н'ять у насъ чаю для себя и въ заводъ, и не за что пить, а держимъ только для прі взжихъ!

Дочь потупилась и смолчала. Немного погодя опять зъвнувъ, мать взглянула на дочку мимо мужа, стоявшаго молча у двери, и спросила:

— Ты, можеть, дочка, привыкла въ нарядь ходить и чтобъ за тобою глядъли, чулочки да башмачки тебв подавали? — Дочь уже ничего не говорила. — То-то же, дура ты будешь, коли это и помыслишь! Нъть на то у насъ прибытку, а сами все дълаемъ, дълай и ты!

Сердце Фенички задрожало; она кинулась къ матери на шею и со слезами стала увърять, что она ее любить, будеть любить въчно и папеньку и раздълить съ ними труды и подъ убогой крышей.

— Убогая: Нътъ!—перебила мать:—и глупо ты говоришь! Чемъ же она убогая? Батько твой только въ прошломъ году

ее и перекрыль; самь и солому возиль!

Вечеромъ она вышла за ограду хутора. «Вотъ то поле, гдѣ я за гусятами гонялась, вотъ мельница, подъ которою я въ камушки играла, вотъ лѣсокъ, откуда я тогда, въ дожль и бурю, бѣжала съ лукошкомъ». Размечталась Феничка. Не сознавала она въ ту пору еще ясно ни того, что у нихъ нѣтъ ни работника ни работницы, ни того,

что на десять версть кругомъ нёть у нихъ ни одной живой и истинно-человіческой души. А містечко и вечерь были обворожительны, закать солнца золотиль и обливаль тонкимъ руминцемъ верхи пирамидальныхъ тополей, края облаковь и груды дальнихъ косогоровъ. Воробьи шумными стадами перелетали съ вербы на плетень и съ плетня на огородъ. Неоглядная степь застлалась вечернею мглою. Надъкрышею хаты поднимался тонкою струйкою голубоватый дымокъ. А за нимъ былъ садъ, а за садомъ дорога, городъ, заведеніе, подруги, княжна, выпускъ, объщанія, клятвы, надежды...

— Вотъ и видно сейчасъ бълоручку! — произнесла мать, выйди на порогъ хаты, съ засученными рукавами, подоткнутою юбкой и съ ухватомъ: — другая бы скинула ситчикъ и все, что почаряднье, да матери бы помогла, да ко-

ровку бы сдоила, а она глазбеть по верхамъ!

Евфимія Ивановна, еще въ первомъ пылу неопытной энергіи, на другой же день сбросила платье, надъла какую-то старенькую накидку, вышла на крыльцо, боязливо оглянулась во всв стороны, взяла ведро, нашла мать, попросила ее показать, какъ доять коровъ, и, несмотря на страхъ, наводимый на нее жирною рогатою коровой, глотая слезы, усвлась донть... Но это были только цветки. Мать отобрада у нея деньги, какія были, отобрала всі платья и повела съ мужемъ річь, что хорошо бы ему отвезти эти платья въ убздъ и запродать ихъ исправницкой племянниць, а Феничкъ другого, попроще, накупить, - все выгода будеть, а ей же не въ шелкахъ да киселхъ ходить. Скавано и сділано. Батюшка съ матушкой заперлись и поділили между собою привезенныя деньги. На столь же Феничь в были брошены два куска московского линючого ситпу, по двугривенному аршинъ, и было предложено самой пошить себ'в платья: да поскорый; «неравно женихи почують и навдуты!», а на тв деньги, сказано, наймется степь у балтинскаго винокура и прикупятся два десятка овецъ. И дело! Съ темъ же детскимъ рвеніемъ принималась горачо за иглу Феничка и въ три недели, между топкою печи, прошеніемъ лука, капусты и бураковъ, доеніемъ смурой коровы, поступившей исключительно подъ ея попеченіе, и ухаживаніемъ за отцомъ, который почти ежемісячно страдаль после запол сильными приливами къ груди и удушьемъ,

сшила себь, по образну оставшагося завътнаго зеленаго платья дешевенькое платье и нъсколько передниковъ. Въ это время она порывалась нъсколько разъ писать къ подругамъ, особенно къ одной мечтательной, съ золотыми кудрями, генеральской дочкъ, Мери Кахновичъ, съ которою была очень дружна. Но некому было отвезти письма на почту, и она отложила письмо до другого времени.

Отепъ оправился. Наступиль какой-то праздникъ. Събхались на куторъ сосъди, частію, чтобы навъстить выздоровъвшаго сосъда, а частію, какъ надо было ожидать, чтобы посмотреть соседскую дочку. И все женихи, хотя немолодые, незнатные и некрасивые, а женихи въ околоткъ хорошіе. Отставной конкеръ Перепелица, вдовый винокуръ и занка Тюрюковъ, мелкопомъстный дворянинъ Гръхъ, съ разстроеннымъ желудкомъ, охотникъ до исовой травли, и самъ г. Горихвостовъ, когда-то бывшій въ университеть, когда-то учившій Феничку грамоті, а теперь совершенный пьяница и больше ничего. Этотъ бъдственный «пропоица» Горихвостовъ, бывшій еще въ памяти всёхъ ухарскимъ молодцомъ, ходивний и говоривший, какъ выражаются о такихъ людяхъ, «съ кондачка», теперь, отъ запоя въ одпночку, впадаль уже въ делиріумъ-тременсь и представляль совершенную развалину. Онъ уже почти не отрезвлялся, хотя рідко теряль самосознаніе и даже присутствіе какого-то особаго остроумія. Въ часы здоровья онъ вздиль верхомъ на забажихъ съ товарами жидахъ, стрелялъ въ нихъ, посредствомъ дворовыхъ людей, залиомъ изъ ружей, холостыми зарядами, обматываль ихъ, съ лошадьми и телъгами, соломой и посль зажигаль эту солому издали ракетами; запанваль всякаго, кто къ нему ни являлся изъ новичковъ, и съ тысячами другихъ проказъ слыль притчею околотка. Послади-было къ нему года четыре назадъ, въ ту пору, когда онъ еще книги читаль и вздиль кое-куда, и говориль мътко и ядовито, и на человъка походиль, послади-было къ нему увъщевать его заслуженнаго и уважаемаго всеми помещика, знавшаго его еще ребенкомъ. Помышикь, строгій и трезвый сь юношества, явилси къ нему, не въря еще въ его порокъ. Войдя въ домъ Горихвостова, онъ засталъ странную картину: самъ хозяинъ полу-раздътый сидвать на дивань, передъ нимъ на столь была дереванная бакавга съ водкой, а въ углу на стуль полудежала растрепанная Ооська, его экономка, тоже пьяная и въ олежахъ. При видъ посътителя, хозяннъ всталъ и потерилон. Дътство, молодость, жизнь, университеть, профессоры, товарищи, погубленная будущность — все передъ нимъ въ мгновеніе мелькнуло. Онъ жалко улыбнулся и, запахиваясь, долго не могъ выговорить ни одного слова; наконецъ, сказалъ:

 Воть это, Акимъ Савельичъ, водка, а вотъ это — Оссыка, а я пьянъ!

Ничто не помогло, и напрасенъ быль завздъ увъщевателя. Судьба Горихвостова окончательно была рішена: онъ гибъ, какъ многіє гибнутъ въ глуши деревень, жертвою праздности, явни и бездыйствія ихъ окружающихъ.

Таковы-то были гости Ивана Григорьевича, вавертывавшіе иногда изъ своихъ темныхъ и глухихъ норъ, изр'ядка разд'ялить съ нимъ и съ его сожительницей удовольствія питій и брашенъ. Нечего говорить, что вс'я они могли питать и д'яйствительно питали въ сердц'я надежду поискать и получить въ обладаніе руки новоприбывшей красавицы Евфиміи Ивановны, Събхались они.

— Сударыня, позвольте! — отрапортоваль первый изъ нихъ, юнкеръ Перепелица, элодыйски подергивая усы и козыремъ подходя къ ручкъ Евфиміи Ивановны.

 И—и мив по-о-озвольте!—замкаясь, загудыть толстый винокуръ Тюрюковъ, храня и выставляя увъсистый животъ.

Мелкопомъстный дворянинъ Гръхъ, робкій по бользни и застьнчивый съ женщинами смолоду, не сходя съ мъста, только отвъсилъ издали поклонъ. А Горихвостовъ, въ качествъ перваго учителя Фенички, ръшилъ доставить себъ другос, болъе дружеское привътствіе. Опъ на порогъ еще разставилъ руки и сказалъ:

- Моя первая и моя последняя ученица! Краса нашего края, роза долинъ и медъ утесовъ! сюда!—и протянулся къ ней съ объятіями. Феничка, перепуганная видомъ сальнаго сюртука и небритой бороды, попятилась-было назадъ и, жалобно присъдая, поспешила уклониться къ притолке двери, но Горихвостовъ не угомонился.
- Э-хе, нътъ, нъ-ъ-ъ-ътъ? заговориять онъ, и прочіе гости поддерживали его знаками согласія: такъ съ старыми дядьками не вдороваются!

Феничка все еще медлила.

- Эхъ! дура жъ ты, дура, подхватила мать и плюнула: коли Петро Михайловичъ цълуется, то и цълуйся, съ такими можно; онъ нашъ! И хуторъ у него, дочка, хорошій, и всего вдоволь; и уже я къ вамъ заберуся, Петро Михайловичъ, и отвоюю у васъ на заводъ бычка! Дадите, Петро Михайловичъ, бычка на заводъ, изъ-подъ вашего смураго быка?
- Дамъ! не дать маменькъ!— элодъйски замътилъ Гориквостовъ и, разгладивъ усы, въ два пріема въ засосъ поцъловаль раскраснъвшуюся Феничку. Хозяева засуетились съ объломъ.

А за обідомъ господа гости показали, какого они поля ягоды. Съіли борщь; съіли жаренаго поросенка. Выпили передъ борщемъ по первой, выпили послі поросенка по второй и третьей. Гости были кріпче, а хозиннъ свернулся первый. Вылъ онъ добръ и кротокъ отъ рожденія, у жены находился подъ башмакомъ, а хмельное ділало изъ него звіря. Какъ напьется, и пойдеть буянить, и все хочетъ показать, что онъ — первый въ домі и во всіхъ ділахъ. Такъ случилось и тутъ. До этого дня онъ на дочку смотрілъ жалостливо и ніжно и сбавлиль ей работы у матери. А туть вдругь показалось ему, что она брезгаеть родителями, да и гостями. Хозяйка и дочь прислуживали.

- Не люблю я этихъ чортовыхъ бълоручекъ! гаркнулъ неожиданно зловіщимъ голосомъ Иванъ Григорьевичъ, смотря на дочку и покачивалсь.
 - И я не люблю! И я! подхватили гости
- А еще больше я не люблю, продолжаль хозяинь, свирьпы: когда быбы забирають верхи! Бабы! знай свое місто, и баста! и онъ удариль кулакомъ по столу, причемъ загремыла посуда и у самой старухи-жены дрогнули руки. Феничка взглянула на отца и окаменіла; она впервые почувствовала въ этой обстановкъ приливъ какого-то необъяснимаго отчаянія и ужаса.

Васорскій опять удариль кулакомъ по столу й на этоть разъ еще швырнуль о земь миску.

Слышь! дочка! подпоси гостямъ и мић водку!

Феничка, облокотясь о печку, стояла исподвижная и блёдная, чуть дыша и не слыша слокъ отца.

 — Химко!—крикнуль отець:—да развѣ ты ужъ не слышищь? Служи по гробъ твоей жизни! пас...— И онъ поднялся съ лавки, направляясь къ печкъ и не слыша ногъ подъ собою. Горихвостовъ остановиль его и разомъ усадилъ.

— Иванъ Григорьевичъ, не буянь; угомонись и не безпокой дочки; онъ барышня деликатная, очень деликатная и не снесеть позора! Чему васъ, барышня, учили, скажите? Учили васъ: «Печально я гляжу на наше покольные?..» Фе-

ничка отвътила кое-какъ, шумъ увеличивался.

Подали водки. По слову отца, мать передала дочкв подносныть, и та пошла разносить «очищенную». Потомъ но требованію гостей и отца, она дрожащимъ голосомъ, безъ аксомпанимента, спела какой-то романсь, протанцовала тоть танецъ, которому тамъ въ заведеніи ее учили. И когда всь уже лежали по лавкамъ, она вырвалась изъ хаты, безсознательно взобрадась сперва по лестниць на чердакъ, потомъ, при взрывь хохота пирующихъ, пугливо сползла оттуда, удерживая платье, прошла дворъ, огородъ, и въ невыразимомъ страхъ, блюдная и трепещущая, забилась на сънцикъ, ежеминутно ожидая кого-нибудь изъ приходящихъ въ себя посьтителей.

«Въ жизнь мою,--говорила она впоследствін: - я не воображала, чтобъ могла перенести такія муки и страданія, какія перенесла въ ту ночь, когда пробуждавшіеся собесідники до самой зари то начинали снова пить, то пъли песни, то выходили съ фонаремъ и свъчами изъ каты, лазили на чердакъ, шарили по двору, кричали пътухами и кликали меня среди ночной тишины».

Богь высть, оттого ли, что замытили отсутствие дочки при гостяхъ, по другой ли причинъ, только отношения къ ней семьи выказались вскоръ. Отецъ, проспавшись, также сталъ къ ней безразличенъ и болье сухъ, нежели строгъ. Но мать просто ее возненавидела. Миски, ложки въ мытье уже не подавались ей, а прямо швырялись. Слова «бълоручка», «барышня», «недотрога» и «гордячка» не сходили у злобной бабы съ языка. Съ утра до поздней ночи она, какъ говорится, уже просто грызла свою дочку. Стоило Феничкъ задуматься о чемъ-инбудь, она сейчасъ защилить: «ну. о чемъ задумалась? все о городскихъ женихахъ?.. Какъ же, жди ихъ! Такъ и кинутся на дрянь!» — Стоило дочев съ къмъ-нибудь изъ проважихъ, выйдя на порогь, проговорить, хотя бы это быль мещанинь, мать сейчасъ опять: «вонъ она, вонъ. Хорошихъ минуетъ, а съ побродятами нюхается! Что же? Мив за тебя топитьом въ рвчкъ, что ли, какъ пойдеть про тебя худая модва?»

Сначала дочка плакала, потомъ привыкла; тяжела была ея жизнь. Изъ скупости и загаенной злости на дочку, мать не брала работницы. Такъ прошло нёсколько мёсяцевъ.

Изъ уваднаго города вхалъ какъ-то на хуторъ Басорскаго увадный лекарь, молодой человекъ, летъ двадцати-восьми. Давно уже ходили по околотку слухи о тяжеломъ положеніи дочери въ семье Басорскаго. Теперь лекарь вхалъ потому, что, какъ его уведомили, «панночка Химка» ходила на реку, въ прорубь, за водой, да надела башмаки на босу ногу, простудилась и уже третій день лежить въ огне и бредить.

Лъкарь засталь ее въ горячкъ. Прогналь отъ нея всякихъ бабъ и знахарокъ, шептавшихъ надъ нею съ утра, какъ надъ покойницей, употребилъ всъ средства, искусствомъ и удачей произвелъ переломъ въ болъзни, объявилъ, что она спасена, и, вмъстъ съ тъмъ, раструбилъ по всей окрестности и въ городъ о ен дивной красотъ и вполнъ безпомощномъ, среди семейства, положения. Слова его не пропали даромъ.

О дочкі Басорскаго заговорили. Но больше всіхъ, разумітеся, говориль о ней ліжарь.

— Это, вы не повърите... это сущій перлъ, перлъ! — говорилъ онъ: — вообразите! въ сильнъйшей бъдности, въ нищенствъ, и что же бы вы думали? Красавица, сущая красавица, какихъ свътъ не создавалъ! Я не взялъ за ея лъченіе ни одной копейки денегъ! Ну, да этого ли одного она стоитъ!

Дамы ахали, пищали, передавали по двадцати разъ иначе всёмъ встрёчнымъ и поперечнымъ вёсть о «перлё», найденномъ въ грязи ихъ «мизернаго уёзда», и занялись снова, какъ и губернскія дамы, отрадною для самолюбія мысльювыниманія «того перла изъ грязи».

Молодой лекарь, за красоту бакенбардь и орлиный носъносившій въ ихъ сокровенныхъ беседахъ имя Сашки, выиграль при этомъ въ общемъ мненіи на сто процентовъ. «Какъ! ездить въ стужу и метель за столько версть въ глушь, на хуторъ, вылечить, можно сказать, чудомъ, и ничего не взять! это непостижимо; это—ангель-благодетель, изръдка только посъщающій мірь и въ ръдкіє случаи прикрывающій его крецемъ снисхожденія и безкорыстія».

11

«Благодвяніе ў насъ — это помоему что-то среднее между ханжествомъ и отъявленнымъ взяточничествомъ, одна изъ ступеней, черезъ которыя идуть къ хорошей карьерѣ».

Изг одной передовой статьи.

Быль вечерь. Феничка вначительно оправилась, но еще бледная и слабая, въ хорошенькой блузе, сшитой собственными руками, лежала въ своей комнатке на кроватей, полузавешанной старымъ ситцевымъ пологомъ. Свечка горила на притолей высокой печи, освещая уголъ кровати, подушки, сундукъ, прикрытый коврикомъ, и вещицы Фенички на столе и на оките банки съ помадой и дуками, гребенки, ножницы, рабочій ящичекъ, сочиненія Жуковскаго и Муравьева и нъсколько туалетныхъ бездълушекъ, память школьнаго времени, пощаженныхъ еще матерью и отцомъ. Феничка полулежала, окутавъ ноги одбяломъ и опершись спиной о груду подушекъ. Распахнувъ ленты бълаго, хорошенькаго чепчика на голове, она опустила усталую руку и смотрыла на дверь. Дверь отворилась. Вошелъ лъкарь.

- Что, Яковъ Антоновичъ, гдв вы были?
- У вашего батюшки; спориль все и убъждаль его.
- Въ чемъ это?
- Да все въ томъ же. Ну, съ чвмъ это сообразно! Развъ вы на то созданы, чтобъ на босу ногу ходить, да простужаться? Сгоряча-то вы и не то сдълать можете; да что же изъ того! Въдь наймитесь вы, поступите съ вашимъ обученемъ куда-нибудь, такъ и вы сами будете спокойны, и работницу наймете домой. Эка уважительная причина: мыть кадки, объдъ стряпать, коровъ доить! Да на это нужно какую-нибудь Матрену въ пятнадцать пудовъ въсомъ, а не васъ!..
 - Я думала лично присмотреть за стариками.

Лъкарь засмъялся.

Феничка повернулась въ подушкахъ и вздохнула.

- Яковъ Антоновичъ!
- Что-съ?
- Вы давно въ городѣ были?

- Вчера.
- Ну, какъ тамъ? очень весело?
- Извістное діло: святки, отплисывають, катаются, об'єды задають, влюбляются...
 - А вы влюблены?
 - -- R-ro?

Феничка кивнула ему головой и, улыбнувникь, стала съ подушки пристально смотрать на него. Лакарь поправиль золотыя очки, трекожно оглянулся по комната и, принавъкъ кровати, полушопотомъ произнесъ:

— Я васъ давно люблю, крѣшко люблю... А ты меня, Феня, любишь?

Евфимія Ивановна на это неожиданное признаніе спервабыло откинулась къ стінів. Но лікарь очень ловко схватилъ се за руку. Какъ видно, онъ въ этомъ былъ уже довольно опытенъ.

— Скажите же мнъ... Скажи мнъ, ты меня любишь? И онъ опять поправиль золотыя очки.

Оттого ли, что Феничка въ свою бользнь успьла его опринить и полюбить, оттого ли просто, что, благодаря замкнутости и непрактичности своего воспитанія, она составила въ голові самыя дикіп, неестественныя и отвлеченно-туманныя понятія о человікть и о любви, и теперь, какъ это случается сплошь да рядомъ, кинулась съ своею любовью и невинностью къ первому попавшемуся мужчинъ, — только прошло нісколько дней, и Феничка уже отвічала пожатіемъ на пожатіе руки лікаря, и уста ихъ, какъ говорилось въ рома нахъ г. Воскресенскаго, наконецъ, слились въ безконечный попълуй...

Нечего прибавлять при этомъ, что матушка въ означенное время лежала безъ ногъ, а батюшка быль въ отсутстви. Лікарь очень поздно, почти на зарі, укхаль съ хутора въ городъ.

— Да вы, мамочка, да ты, душка, скажи мий, — говориль онь, сладко разставаясь съ больною: — скажи мий по-правды: хочешь, я устрою твою судьбу и вовыки тебя не оставлю?

Феничка въ томленьи смотріла на него и не медлила отвітить:

— Яковъ Антоновичт! Отнынів судьба моя въ вашихъ рукахъ. Что вы мить скажете, то я и сделаю; убежнить хоть на край света!

— Ну, на прай світа нечего біжать. А воть что! Есть у меня одна пріятельница, дамочка, туть верстахъ въ семнадцати живеть. Я не то, что у нея домашній врачь, хотя прежде ее и лічных, а она, собственно, въ меня влюблена; ну, я попрежнему къ ней изъ жалости и ізжу. У нея два мальчишки сына, одному семь, а другому восемь літь, и она ищеть гувернантки. Домъ отдичный, и она сама—божество доброты и любезности. Хотите... хочешь, я тебя туда пристрою? цілковыхъ триста въ годъ дасть, и къ тому же платье и все готовое!

Феничка вздохнула.

— Ахъ, Яща, я одного боюсь: ты меня тамъ при ней ужъ не будень такъ любить!

— Какъ можно! Тамъ-то и легко, тамъ-то мы и будемъ видъться. У нея дремучій садъ... Я къ ней постоянно по иятницамъ и по понедільникамъ ізжу, подъ предлогомъ золотухи у старшаго сыпа. А пілковыхъ триста навірное дасть. Я ужъ устрою.

Условія приняты. Старикъ и старуха Басорскіе были уговорень, со слезами и причитаньями отпустили дочку, говоря, что хоть и жалко имъ такъ остаться на дряхлости безъ опоры, и она уже дівка на выдачі, и женихъ есть, ну, да Богъ съ ней, пусть идетъ въ добрые люди клібъ добывать, авось и ихъ не забудетъ. При перейздів дочки къ госпожів Чернаковской, батюшка съ матушкой не забыли, однако, взять впередъ деньги за полгода и конфисковали еще часть ея білья, кое-что изъ новаго платья и шубку, ссылалсь на то, что коли барыня добрая, то и напьеть ей всего этого.

Барыня, дъйствительно, была добра. Приняла она Феничку по первому слову доктора. Увидя ее, тревожно оглянула ее съ ногь до головы и, туть же посмотръвъ на себя и на свои красы въ зеркало, успоконлась и сказала съ улыбкой:

— Очень рада, моя милая; только бакъ вы худы и блюдный Въ этомъ замечании слышалась невольная радость. Яковъ Антоновичъ, какъ уверялъ ее не разъ, любилъ полныхъ и аппетитныхъ. После несколькихъ словъ приветствия и разспросовъ о родителяхъ, Лукеръя Романовна Черпаковская, имевшая красное въ пятнахъ лицо, какъ у голландскаго матроса, и съдоватые усы на верхней губъ, встала съ дивана, отряхнуласъ, сказала:—«а вотъ мы теперь и за урокъ!»—и попилыла въ волнахъ юбокъ въ отведенную гувернантъв комнату.

Мальчишки были представлены гувернантки съ книгами, очиненными карандашами, перьями за ухомъ и перепачканными пальцами и куртками. Феничка, затянутая въ билое кисейное платье, сшитое тайкомъ отъ матери на часть задатка помещицы, села, облокотила о столъ бледныя, еще худощавыя руки и съ тревожнымъ біеніемъ сердца, чуть шевеля губами, начала урокъ. Старшій, золотушный миша, предсталъ первый.

- Вы заповъди учили?
- Учили; и еще дальше, еще Впрую
- Ну, какая пятая запов'едь?

Ученикъ запнулся.

- Нѣтъ, нѣтъ, я этой не училъ, а училъ только вотъ до сихъ поры! И онъ ткнулъ грязнымъ пальцемъ въ перепачканную и чуть живую страницу.
- Да, они только до сихъ поръ учили!—замѣтила мать, слѣдившая первый урокъ съ тревожнымъ любопытствомъ.

Выступиль Коля сь голубыми глазами на выкать, какъ два стеклянныхъ яйца. Этоть уже просто оказался способнымъ болъе ковырять въ носу и глядьть по сторонамъ, чъмъ слышать и понимать что бы то ни было въ урокъ. Онъ туть же устремиль все свое вниманіе на муху, ожившую гдъ-то за печью и начавшую перелетать то на плечо учительницы, то на гребень въ ея волосахъ, то на песочницу и изръзанную книжку географіи. Три раза гувернантка спросила, сколько дважды три, и потомъ, какой главный городъ въ Россіи. Мальчикъ почесался за спиной, переступиль съ ноги на ногу, и вдругь нось его началь безъ видимой причины сопъть.

— Ахъ, чуть ли и у него не золотуха!—сказала съ нъжностью мать и заставила его высморкаться въ собственный свой платокъ, поцъловала его и ушла, сказавъ учительницъ:—душенька, вы его берегите и поменьше мучьте уроками; онъ мнъ наломинаетъ своего отца!—Послъднія слова сказаны были по-французски.

Урокъ былъ вскорв конченъ, оставивъ въ мысляхъ Фенички одну пустоту и невыразимую скуку. Она ясно видъла, что битва съ головами ребятишекъ стоитъ любой битвы жизни, но еще болье видъла она, что въ ней нътъ ни малъйшаго призванія и способности къ наукъ обученія, что сама она еще дитя, которому надо учиться, и что, нако-

нецъ-увы! — и это самая горькая истина — въ эти два года изъ ея головы вылетъли всё книги и тетрадки, вызубренныя ею въ заведеніи, до того, что она сомнъвалась, ужъ училась ли она когда-нибудь этимъ книжкамъ и тетрадкамъ, и, задавая какой-нибудь вопросъ ребенку, она съ тревогою думала: «а что, какъ онъ возьметь у меня изъ рукъ книгу, закроетъ и скажетъ: а ну-ка, не смотря туда, сами отвътъте, когда основанъ Римъ, сколько было въ древности патріарховъ и кто взошелъ на русскій престолъ послъ Іоанна Калиты?»

Яковъ Антоновичъ Семереньковъ, лъкаръ, попрежнему въжалъ къ Черпаковской и заставалъ Феничку за уроками. Наступила весна; кругомъ чирикали птички. Воздухъ былъ точно напоенъ паромъ молодого вина. Жилки на вискахъ Фенички бились усиленно. Въ ушахъ былъ звонъ, въ сердцъ неизъяснимая томительная тревога. Въ то время, какъ ученикъ передъ нею рапортовалъ скороговоркою: «Попрыгунья стрекоза лъто цълое пропъла... Ты все пъла, это дъло, такъ поди же—поплящи!»—Семереньковъ сбоку нашептывалъ, то но-русски, то по-французски:

— Вотъ и хорошо, и мило, жизненочекъ, что вы тутъ, и мы съ вами видиися! А то, въ самомъ дътъ, вздумали разыгрывать положение малютки, который «Велизарію шлемъ нося, просилъ для Бога пищи лишь дневныя!» Теперь и батюшка ващъ сытъ, и мы неразлучны; пойдемте въ садъ!

Миша съ Колей усылались посмотръть, гдъ мамаша, а докторъ съ гувернанткой, пока она возилась въ кладовой, закрывали урокъ и шли въ садъ собирать цвъты. Вообще же Черпаковская мало подозръвала Якова Антоновича и была совершенно спокойна. Такъ прошло три или четыре мъсяца. Иногда она съ гувернанткой пускалась даже въ сокровенныя объясненія.

— Ахъ, ма-шерчикъ, — говорила она, оправляя передъ веркаломъ къ прізду Семеренькова на своемь плотномъ станѣ какую-нибудь новую шнуровку или платье: — я чувствую... я предполагаю, по нъкоторымъ признакамъ, по таліи, что я буду скоро счастливъйшая женщина.

Феничка на это только молча и нѣжно припадала къ ед плечу. Барыня не замѣчала, что сама перешиваетъ платья отъ жиру, а у гувернантки, наоборотъ, появляются безъ причины, ежедневно, то головокруженіе, то тошнота, то быстрые переходи отъ веселья къ слезамъ и особенная блѣдность лица.

Сиділа какъ-то передъ вечеромъ Черпаковская на крыльців въ садъ, съ сосідкою по имінію, госпожею Чуланчиковою, слывшею первою особою въ кругу благотворителей и благотворительницъ уізда и даже губерніи. Діти съ гугернанткой и лікаремъ пошли рвать къ пруду ежевику. Черпаковская, на языкъ, по крайней міръ, никогда не хотіла уступить сосідків въ ділахъ добра, и потому теперь объ барыни просто надсідались, хвастая своими поступками.

— Вы не повърите, ахъ, вы не повърите! — говорила госпожа Чуланчикова, богомольная помъщица, взростившая у себя какую-то сироту-племянницу: — какое счастіе оказать благодъяніе! Я моей Фросинькъ ничего не жалъю; теперь ее выдала за хорошаго человъка, за гусара, и все ей откажу—и Марьевку, и Дарьевку, и Коростели. Я же, бъдная вдова, умру какъ-нибудь; авось она меня на старости не покинетъ...

Фросинька, двиствительно, вышла замужь. Но мужь въ первыя же сутки узналь, къ сожальню, что она больна неизличимою падучею, что было скрыто тетушкой-благодытельницей. Судьба этой Фроси, заметимъ кстати, разыградась впослудствии очень грустно: падучая навредила во время родовъ: она умерла, оставивъ чахоточнаго сына. Чуть племянница закрыла глаза, тетушка тонкимь образомъ выпроводила гусара-мужа ея изъ деревни, сказавъ, что она объшала сдълать счастливою племянницу, а не его, и взяла на попеченіе новорожденнаго. Съ нимъ началась та же исторія. Она выходила его чуть не въ хлопкахъ, трубя всемъ о своихъ пожертвованіяхъ, и выростила въ качествъ своего наследника. Мальчикъ, меняя въ годъ, черезъ безалаберность вздорной бабы, по три, по четыре пансіона, вышель, наконець, съ поползновеніями пожить тепло, потсть сытно и прожить въкъ, сложа руки и ничего не дълая, какъ наследникъ 3,000 десятинъ. И что же? Благодътельница умерла. Вскрыли завъщание — она отказала все свое имбиие, бывшее благопріобратеннымъ черезъ мужа, какому-то стряпчему Фролу Терентьевичу Балаболкину, о которомъ прежде и помину не было, съ тъмъ, чтобы тотъ имъніе распродаль и деньги за него роздаль бъднымъ... Многіе эту госпожу за такое поведение возславословили. Но круто пришлось сиротынаследнику: кинулся онъ туда-сюда-ничего не знаетъ, ничего не умбетъ. Вспомнилъ объ отцъ, котораго на разу не видьль. Совестно, видно, стало уже идти къ нему за милостыней, онъ и повёсился у могилы всёми оплакиваемой бабущки.

Но этого еще не было, когда шли событія нашего разсказа, и благодітельная выдача замужъ племянницы за гусара была еще въ сильномъ ходу у соседки Черпаковской.

— Я вотъ тоже, — замътила послъднии на хвастливую обмольку сосъдки:—я тоже пристроила у себи одну сироту, Яковъ Антоновичъ рекомендоваль. Такая тихая, знающая... мамзель Басорски...

Съ этими словами глаза Черпаковской, устремленные въ садъ, неожиданно обратились къ окну въ гостиную, и она тревожно насторожила уши. Ей показалось, что черезъ гостиную, изъ комнаты гувернантки, раздался затаенный смъхъ и кащель.

— Да, подите вы! — говорила соседка: — одна Марьевка моя чего стоить, да Дарьевка, а о своихъ заботахъ и и не говорю...

Сміхъ сталь явственніе. Черпаковская вскочила, какъ съ огня, выпрямилась и быстро пошла черезъ гостиную. И что же представилось ем взорамъ? — Феничка сиділа, обнявшись съ молодымъ вскулапомъ, и послів неосторожнаго веселаго сміха о чемъ-то, готовилась уста свои и его слить въ новый безконечный поцілуй... Боже мой, что произошло при этомъ!

— Какъ? такъ для этого я тебя, дрянь-мерзавка, пригръла, чтобъ ты шуры-муры туть заводила!? Вонъ!..

Феничка выскочила на крыльцо, въ чемъ была. Ее посадили въ какую-то телъгу и умчали въ городъ. А лъкарь потеривлъ еще болъе. Сосъдка Чуланчикова увъряла, крестясь в отплевываясь, что своими глазами видъла, какъ Черпаковская выбъжала велъдъ за нимъ простоволосая, съ упавшимъ на спину чепцомъ, и гнала его черезъ дворъ и часть улицы, не то метлой, не то кочергой, ударян по чемъ ни попало. Скандалъ былъ произведенъ общій, и всі надолго, чуть ли не на годъ или болъе, оставили посъщать домъ Черпаковской...

Но странное дёло! Лікарь опять при этомъ выиграль. Молодая часть мёстнаго общества, падкая на романическіе случан, рёшительно стала на его сторону. Онъ до того возвысился въ общихъ толкахъ, что пріобріль значительно въ практикі и уже прі вжаль въ каждый домъ не иначе, какъ съ улыбкой. Одно вредило ему у містной власти, носившей

чинъ городничаго и падкой до мистицизма: онъ все отнъкивался жениться на Феничкъ Басорской. Хотя первые два мъсяца онъ даже давалъ ей кровъ, пищу и спокойствіе, у одной вдовы мъщанскаго сословія, подъ видомъ того, что черезъ него она «невинно пострадала», однакоже, умъль ловко обойти этотъ щекотливый для себя вопросъ, на Феничкъ не женился, остался также уважаемымъ и любимымъ всьми, и даже, перечислившись въ губернскую больницу, сталъ съ успъхомъ свататься за дочку зажиточнаго купца.

А Феничка? — Некому было за нее вступиться. Къ отцу и къ матери она боялась показаться въ такомъ положеніи и рѣшилась, послѣ ряда жгучихъ сценъ съ лѣкаремъ, при-оѣгнуть къ другой обывательницѣ уѣзднаго города, знавшей ее прежде, и бросивъ окончательно лѣкаря, послала ему обратно всѣ его вещи и подарки, платья, часы, шляпки, мебель и ковры. Семсреньковъ все это принялъ съ благодарностью и написалъ къ ней съ посланнымъ, что она еще забыла возвратить ему двѣ голландскія рубашки, вышитыя кружевами, а что онѣ ему нужны при отъѣздѣ въ губернскій городъ.

Городская обывательница, пріютившая Феничку, была тихая труженица. Вдова покойнаго учителя русской словесности и штатнаго смотрителя уваднаго училища, она пропсходила изъ сословія местныхъ крепостныхъ людей, познавомилась съ покойнымъ мужемъ, будучи по найму въ купеческомъ домв, полюбилась ему за румянецъ щекъ, густоту темной косы, полноту плечъ, и черезъ два года истинной любви обвенчалась съ нимъ и до конца его дней сохранила при немъ ту же неподдёльную доброту души, мягкость нрава и силу непритворной любви. Этотъ учитель былъ чудакъ. Перейдя изъ гимназіи къ сану педагога, онъ предался непомерной честности въ исполненіи долга и писанію стиховъ. Составивъ книжонку лирическихъ песенъ, онъ отпросился на вакансіи въ губернскій городъ, тиснуль ее и послаль въ Петербургъ, при письмахъ къ двумъ журналистамъ.

Одному, бывшему уже въ большомъ чинъ, имъвшему теплую квартиру и значительный доходъ, онъ написалъ по его печатному адресу простодушно-льстивое письмо, прося похвалъ и прилагая письмо къ другому журналисту, безчиновному бъдняку и кумиру тогдашней молодежи, говоря

что не знаеть, куда ему писать. Чиновный журналисть, какъ и следовало ожидать, расхвалиль уездную музу, сказаль, что восходить новая звезда поэзіи, привель несколько жалкихъ отрывкозь изъ книжки и туть же прибавиль, въ обращеніи къ дамамъ, что его знаеть вся Россія, знають даже, где онъ живеть, а что есть люди опасные въ литературе, къ которымъ онъ хотя по порученію и относится, но съ ними не знается. Журналисть-беднякъ пролиль на книжку всю свою желчь, называль автора чистейшею бездарностью и съ увлекательно-жгучею откровенностью во всеуслышаніе взываль къ сочинителю, напоминая ему о долгів жизни, о правдё и о положительной любви къ ближнимъ.

Учитель бросиль печатать, зарылся оскорбленный, сгорая оть стыда, въ свои дела и въ десять леть успель сделать столько для училища, сколько передъ нимъ не сдълали другіе въ сорокъ леть. Мальчики его боготворили. Не было и съ его стороны дня и минуты, когда бы онъ съ благоговъніемъ не произносиль имени строгаго критика. Послъднюю конейку тратиль, скупая журналь, гдв онь печатался. и вырывая оттуда его статьи; каждаго за взжаго мориль разспросами о человъкъ, убившемъ его литературныя дътскія надежды и сделавшемь изъ него человіка. Зато журналисть-хвалитель, разоблаченный однимъ студентомъ, привезшимъ въ тотъ уголъ всв пасквили на него, писанныя отъ вдохновеннаго пера Пушкина до последняго изъ поэтовъ молодого покольнія, сталь для него чымь-то неисчерпаемо позорнымъ, дикимъ и гадкимъ. Последній мальчикъ въ школь уже зналь въ настоящемъ свъть это имя, и даже сама Глаша, сожительница учителя, въ толкахъ о какойнибудь убадной галости, ссылалась на позорное имя этого журналиста.

Библіотека учителя наполнялась свётлыми созданіями духовныхъ дётей Пушкина и Гоголя. Онъ жадно слёдиль за наукой и поэзіей. Читая передъ смертью тоже почти предсмертную критическую поэму своего любимца, гдё мелькнули огненныя слова: «если мы сойдемъ съ поприща свёта, одно насъ утёшаеть — литература русская бросила путь болёзненнаго романтизма, побрякущекъ и всякихъ непризнанныхъ генісвъ и пошла по пути другому, гдё уже мерцаеть свёточъ истины и добра», — бъднякъ уронилъ внягу, заплакаль и, обращаясь къ жень, сказалъ: «ахъ.

Глаша! все хорошо да жутко мнѣ умирать—пусть онъ меня кориль; да за что этотъ-то меня хвалиль? Вѣдь онъ хвалиль только подобныхъ себь!»

Феничка видъла этого учителя у Черпаковской и была очарована его особенною, задушевною рычью.

Теперь она явилась къ его вдовъ, потому что та оставалась безъ куска хліба, жила уже второй місяць, распродавая книги покойника, которыхъ, между темъ, нисто не хотыть брать, и начавъ съ горя заниматься повивальнымъ искусствомъ. Феничка скрыла свои следы отъ отца и матери и явилась, привезя съ собою только ящикъ съ необходимою одеждой и даровыми школьными книгами. Она условилась съ Глафирой Ивановной брать работу и шить, а та продержить ее, пока ей можно будеть снова явиться въ свъть. Горестны были дни этихъ двухъ страдалицъ. Работы почти не отыскивалось, и по цёлымъ днимъ иной разъ онъ сильли безъ куска хльба. Наконецъ, какъ-то въ февраль, священникъ въ комнаткъ Глафиры Ивановны окрестилъ новорожденную дівочку, дочь Фенички, думавшей еще такъ недавно, что любовь кончается одними поцвауями и что новорожденныхъ дътей находять въ огородахъ, подъ лопушкомъ, -- благословиль спасенную мать и оть неизвестнаго - это быль онъ самъ-оставиль на зубокъ ребенку десять рублей серебромъ.

Нищета двухъ сожительницъ перещла всякій преділь. А языки работали: Глафиру Ивановну увздныя сплетницы ненавиділи за покойнаго мужа, ученаго гордеца, не шед-шаго къ нимъ съ поклономъ, а Феничку ежедневно распинали просто изъ какого-то дилетантизма.

Священникъ попытался-было съвздить къ увздному предводителю, съ предложениемъ открыть для несчастной Басорской подписку; куда тебъ! Насилу ноги унесъ. Было натолковано туть и о попранной нравственности уъзда, и о соблазнъ окружающихъ, и чуть не затъяли бъдную постоялицу Глафиры Ивановны предать суду. Прибавлять ли еще къ этому, что мать и отецъ Фенички притащились къ ней, сдълали жалкую, волющую сцену и прокляли ее... Съ той поры входъ для нея, въ качествъ гувернантки, быль закрыть во всъ дома уъзда и губерніи.

Добрая Глаша просто убивалась и таяла отъ того, что у неи ие покупали библіотеки покойнаго мужа. Но крыпко держалась душа у одной Фенички. Кое-какъ перебиваясь, она продала все, что иміла, послыднія вещицы и бездылушки, платье и сочиненія Муравьева, но съ Пушкинымъ, найденнымъ въ библіотекъ мужа хозяйки, не разставалась. Въ немъ для нея олицетворялась та нравственная жизнь, тоть свыть науки и мысли, которыми она запаслась, хотя не скоро, вершками и одними намеками, въ заведеніи. Туть только она поняла, что какъ ни страшно-тяжело, какъ ни убійственно было ея положеніе, она готова была умереть голодною смертью, но не отдала бы своихъ, даже мелкихъ знаній за тоть жирный и барскій покой, которымъ пользовались окрестныя тупоумныя и безголовыя барышни.

Она плакала горькими слезами, проблинала ту форму, въ какой пришла къ ней наука, тв пріемы, гдв она не приняла знанія ни свъта, ни людей, и пала, обманутая первымъ негодлемъ, — но не роптала на себя за науку. Наука пробудила въ ней въ горькую минуту дремавшую природу, самосознаніе проникло въ душу и сердце, она съ замирающимъ восторгомъ ухватилась за чтеніе обширнаго собранія книгъ покойнаго мужа Глаши, погружаясь по мъръ чтенія въ какія-то особенно крыкія, гордыя и насмъщливоторжествующія грёзы. Ни днемъ, ни ночью уже не покидаль ее поэть, который говориль, сходя съ поединка за честь и свое сердце въ преждевременную могилу:

«Но долго буду тымъ народу и любезенъ, Что предестью живой стиховъ и былъ полезенъ И милость къ падшимъ призывалъ!»

Между тъмъ, перепала кое-какая работа отъ пріъхавшей судиться съ сосъдкой одной барыни-франтихи.

Феничка оправилась и уже ходила. Долги въ мучной лабазъ и въ лавки кое-какъ были заплачены.

Попыталась Феничка предложить барынь свои услуги учительства дьтей ея на отъвздъ, въ другое имьніе барыни, за три губерніи далье, чтобы забыть и память своего околотка. Барыня сказала, что подумаеть, и черезъ недылю, уклавъ въ спокойномъ дормезъ, отказала записочкою на раздушенной бумажкъ.

Въ запискъ говорилось, что она не понимаетъ, какъ мамзель Басорская ръшилась предлагать ей свои услуги, послъ того, что съ ней было, о чемъ весь городъ и въ особенности супруга судьи знаетъ, и какъ ел присутствіе по-

дъйствуетъ на неопытныхъ крошекъ-дътей, когда на жизни ен лежитъ тяжелое, несмываемое преступленіе. Въ заключеніе совътовалось сходить въ Кіевъ на богомолье.

Феничка, прочтя это посланіе, невольно призадумалась.

III.

«Сударыня! у васъ еще не все погибло. Смотрите, еще у васъ есть благотворительные особы, жаждущів ванъ помочь!»

Изъ устицательнаго письма одного филантропа-чиновника.

Прошель тажелый, горькій годь. Кое-какъ промаявшись. прожила Феничка. Она съ отчаннія давно уже была готова на все махнуть рукой. Въ этотъ годъ несколько месяцевъ стояль въ городкъ одинъ кавалерійскій полкъ. Общество оживилось, зашумъло. Пошли собранія, вечеринки, катанья за городъ. Дамы разорились, справляя визитныя платья и стараясь затереть нарядами полковыхъ дамъ. Феничка, не покидавшая иглы, не слишкомъ, однакожъ, поддавалась любезностимъ кавалеристовъ, сразу отыскавшихъ въ темномъ окошечкъ глухого переулка ся картинное личико. Офицеры просто дежурили у переулка, гдѣ она жила, сѣти были разставлены ловкія. Ничто не щадилось, даже Глаша явилась какъ-то съ запасами всякихъ снадобьевъ для дома, съ парою ситцевыхъ кусковъ на платье и заячьниъ мъхомъ на шубу, увъряя, что прислади родичи изъ ихняго выселка, и стала посматривать на Феничку глазами, пылавшими соблазномъ и особенною улыбкою. Феничка ее разбранила и привела въ слезы. По отходъ полка, городскія барыни, дъйствительно, указывали на Феничку, которая изъ-за угла, въ платочкъ, смотръла, какъ выъзжали офицеры. Но опредъленнаго ничего не было, и язвительныя догадки далъе не шли.

Но вотъ терпвніе Фенички лопнуло. Работы опять истощились. Глафира Ивановна свела дружбу съ какимъ-то становымъ и собиралась переселиться къ нему въ участокъ, въ качествв няньки его сиротъ. Феничка ударилась-быдо еще съ предложеніемъ гувернантки въ два-три мъста. Ей отказали и она ръшиласъ прибъгнуть къ памяти своихъ былыхъ подругъ. Съ замирающимъ сердцемъ съда она, написала гри письма: одно къ княжнъ Раисъ Вонековской написавшей ей когда-то кровью изъ нальца клятвенное объщание помочь ей въ случав нужды; другое въ Мери Кахновичъ, учившей ее котда-то шить broderie anglaise в бывшей дочерью значительнаго чиновника Рязанской губерніи, и третье къ Пашенькъ Булавеньевой, хотя тоже бъдной дочери учителя рисованія при родномъ ей заведеніи, но важной потому, что она предполятала жить гувернанствомъ и могла узнать поэтому хорошія мъста.

«Душечка Раичка, или нъть — ваше сіятельство, Раиса Владиміровна! — начиналось письмо къ первой: — вспомните нашу дружбу, наши мечты, грёзы, клятвы и объщанія. Теперь пришеть случай взывать къ вашему милосердію: я въ крайней нищеть. Денегь мнв не нужно, но умоляю прімскать въ вашей окружности мнв мъсто учительницы при дътяхъ или компаньонки въ семейномъ домъ. Условія какія угодно; лишь бы мнв избавиться отъ нищеты, не скрою, угрожающей даже голодною смертью».

Второе письмо говорило: «Меричка! помнишь, какъ я за тебя решила задачу изъ математики и написала сочиненіе по-немецки. Теперь требую и отъ тебя помощи: попроси твоего отца, который, кажется, статскій генераль и служить въ столичной уголовной или гражданской палате, прінскать мнё место. Я сейчасъ пріёду».

Въ третьемъ повторялось почти то же самое, съ прибавленіемъ только просьбы поклониться старому отцу Пашеньки, Петру Өедотычу, который, кажется, писавшую любиль и всегда ей ставилъ за рисунки пять.

На первое письмо пришель отвъть черезъ восемь мъся перъ. Княжна писала смъсью французскаго съ англійскимъ языкомъ, говорила, что за ней ухаживаетъ тьма жениховъ, что она у дяди, на Вислъ, живетъ въ богатъйшемъ замкъ, что носитъ такіе-то и такіе-то наряды, а что въ модъ, впрочемъ, много шелку и бархату; просила Феничку завернуть къ ней когда-нибудь погостить, а чтобы, впрочемъ, она не хандрила (слово поставлено русское французскими буквами: не khandrilla) и сама влюбилась въ какого-нибудь хорошенькаго улана или кирасира. Княжна совершенно не поняла письма и просьбы Фенички.

На второе письмо отвътила не сама Мери Кахновичъ, а ея папенька, статскій генераль, и отвътиль съ отмънною аккуратностью, въ первую же почту: — «Милостивая государыня, Евфимія Ивановна! Ваше почтеннъйшее письмо застало мою Машеньку ужъ въ замужествъ, за коллежскимъ совътникомъ Веденъевымъ. Да на сіе замѣчу, что она вамъ и не отвътила бы и я ее отнюдь къ тому бы не допустилъ. Ваша исторія съ докторомъ, титулярнымъ совътникомъ Семереньковымъ, здѣсъ также оглашена. Вамъ остается смириться и возложить надежды и упованіе на милосердіе Божіе. А вслъдствіе отношенія вашего къ дочери моей и вашей подругъ, что вы въ нищетъ, то посылаю вамъ при семъ 25 рублей серебромъ, съ чъмъ имъю честь быть, въ совершенномъ почтеніи и преданности, милостивая государыня, вашимъ покорнѣйшимъ слугою, Андреемъ Васильевымъ, сыномъ Кахновичъ».

Третье письмо пришло вслѣдъ за вторымъ и совершенно смутило и повергло въ холодное и безвыходное отчание Феничку.

Пащенька Булавеньева писала,—и Феничка тщетно усиливалась въ ея ръчахъ угадать былую сверстницу своей отроческой жизни. Феничка помнила ту драму изъ ея жизни, • когда она кончала курсъ. Пришествіе Феничкина отца за нею въ заведеніе пъшкомъ обратило общее вниманіе. А между темъ, Пашенька Булавеньева кончала курсъ въ то время, какъ старику Булавеньеву директриса должна была отказать отъ каеедры рисованія потому, что его руки какъ-то неловко примерали въ одну изъ зимъ, не прикрытыя щегольскими теплыми перчатками, когда онъ заблудился въ предывстыв города, поздно возвращаясь домой съ уроковъ,-и стали сильно трястись. Феничку проводили съ романтическими возгласами, а Пашенька перешла въ колодную комнату, въ четвертомъ этажѣ, гдѣ приходилось жить круглый годъ на пенсіи огорченнаго отца. Старикъ недолго пожиль: парадичь додвлаль его карьеру, и письмо Фенички застало Пашеньку уже на полной свободъ. Пашенька, проживая уже въ сомнительно щегольскихъ комнатахъ, разодътая въ атласъ и въ блонды и разъъзжая на пролеткахъ какого-то безсемейнаго купца, писала такъ: — «Ангелъ н шерчикъ Феничка! Все трынъ-трава на быломъ свыть. Я сама вздыхала гординкой и точила слезы отчаянія; все эточепуха. Теперь и пью шампанское, какъ гусаръ, танцую канканъ и читаю романы Дюма-сына и компаніи. Утвшься

и ты. Спвши, прівзжай къ намъ. Здвсь въ той злачной юдоли, гдв я живу, не знають ни печалей, ни воздыханій. Посуди сама, что мнв предстояло? Состарвться старой дівой или выйти за чахоточнаго чиновника! Оглянись кругомъ себя и спіши! Если ты любишь и читала Беранже, то вспомни его пьесу: «Je volerais vite, vite, si j'étais petit oiseau!» Явись въ веселый, безцеремонный и ввинодовольный кругь, гдв нына обратается и твоя върная Пашета Булавеньева».

Истина во всей ея наготь представилась Феничкь. «Какое паденіе?.. Надо ее выручить!» повторяла она. Отверженная всьми, забытая и оскорбляемая всьми, она почувствовала приливъ невыразимъйшаго негодованія. Предразсудки, клеветы, зависть и себялюбіе взяли свое. Послъдніе шаги по нути чести были ею пройдены. Ъхать въ другую губернію? Но съ какими средствами и куда пристроить ребенка?

Въ одно утро, собравъ свои небольшіе пожитки и запасшись частицей заработанныхъ трудомъ денегь, Феничка отнеска свое дитя на время къ священнику, простилась съ своей хозяйкой и, договорившись съ какою-то купеческою четою, ъхавшею въ тоть же губернскій городъ, гдѣ она училась, отправилась въ путь. Остальная ея надежда была — прибъгнуть, еще съ незапятнанною совъстью, къ бывшей своей директрисъ и упросить ее дать съ какимъ-нибудь мъстомъ при заведеніи честный кусокъ хльба. Она прибыла въ городъ.

Было воскресенье.

Принарядившись въ чистое и билое кисейное платье, прикрывшись платочкомъ, въ вязаныхъ перчаткахъ и подъстаренькимъ зонтикомъ, она подошла съ другими надеждами и върованіями къ знакомому зданію. Швейцаръ, стоя у щегольской лъстницы, не узналъ ел.

- Дома Анна Карловна?
- Дома, да никого не принимають.
- Доложи, что пришла бывшая здёшняя воспитанница Басорская.

Швейцаръ оглянулъ ее съ ногъ до головы и пошелъ докладывать. Феничку позвали.

Но продолжать ли мив?.. Директриса, та же ласковая. отрогая и чопорная дама, сидвишая постоянно у круглаго стола передъ диваномъ, въ то время, какъ лучшія воспи-

СЕМЕЙНАЯ СТАРИНА.

РАЗСКАЗЫ.

Ι. .

ПРАБАБУШКА.

Прабабушка моя, Анна Петровна Данилевская, въ дъвинествъ Плотникова, была фрейлиной великой княгини, впоследствій императрицы Екатерины Великой, и умерла на восьмидесятомъ году жизни, болье пятидесяти льть безвыгазно проведя въ родовомъ, степномъ сель мужа на Донць. Она была небольшого роста, съ нъжнымъ, бълымъ, въ тонкихъ морщинкахъ, какъ у эрмитажной старушки Дённера, лицомъ и съ большими карими ласковыми глазами. Въ молодости она играла на клавесинъ, была изъ первыхъ въ придворныхъ веселостяхъ прошлаго въка и, любя цвъты, зачитывалась романовъ Жанлисъ и повъстей Мармонтеля. Въ эрълыхъ же лътахъ, перевезенная въ деревню мужа, она была строгою хозяйкой и постоянно носила черное платье съ небольшимъ шлейфомъ, а подъ чепчикомъ, изъ собственныхъ сълыхъ косъ, на гребенкъ, высокій шиньонъ, который крестьяне техъ годовъ считали колтуномъ. Въ годы силы и здоровья, распутывая дъла мужа, она съ черешневою тростью выбажала въ поле, на длинныхъ самодълковыхъ дрожкахъ, шумъла на рабогниковъ, вела приходорасходныя книги, щепила деревья, рылась въ грядахъ сада и еще незадолго до смерти, весною и лътомъ. чуть не каждую недвлю ходила пвшкомъ версты за двв оть деревенской усадьбы, въ лісь, къ ключу превосходной родинковой воды, чонорно провожаемая двумя гайдуками

изъ дворовои челяди, одвтыми въ простыя, сврыя свиты и съ палками въ рукахъ. «Это — мои камеръ-пажи!» — шутила подвижная не по лётамъ старушка, съ пришпиленнымъ шлейфомъ пробираясь полями къ роднику, черпала серебрянымъ стаканчикомъ воды, отдыхала у картиннаго взгорья, поросшаго ракитами, надъ озеромъ, гдв бабы, громко горланя пъсни, бълили холсты, и на возвратномъ пути успъвала ещо нарвать пучки лъсныхъ и полевыхъ цвътовъ: голубыхъ пролъсковъ, т.-е. подснъжниковъ, тюльцановъ и дикоростущаго алаго горошка.

Подъ конецъ дней, теряя болье и болье силы, прабабушка Анна Петровна ръдко уже покидала опочивальню во флигель, рядомъ съ большимъ домомъ сына. Здъсь, среди цвътовъ и кльтокъ съ дроздами, да желтощекими жаворонками, прабабушка постоянно сидъла на постели, въ бълоснъжномъ высокомъ чепцъ, вермъ и каждому ласково и привътливо улыбаясь.

Сюда къ утреннему кофе и къ цълованію прабабушкиныхъ ручекъ, вымытыхъ въ той же ключевой водъ, по докладу съдого парикмахера Гаврюшки, носившаго на босу ногу башмаки и въ нихъ для прохлады соломенныя стельки, являлась вся огромная, давно угасшая семья: сынъ ел Иванушка, т.-е. мой шестидесятильтній дьдушка, Иванъ Яковлевичь, памятный въ семейства тамъ, что чинъ прапорщика гвардіи онъ получиль еще въ колыбели и далье этого чина по службъ не шелъ, потому что никогда не покидаль деревни и тихо здёсь состарился, среди хозяйства, псарни и втихомолку волокитства за сельскими красавицами. За ними шли внуки, т.-е. мой отецъ, дяди, тётки и вся остальная мелюзга правнучекъ и правнуковъ. Старушка кланялась, по тогдалинему придворному обычаю, полукругомъ, т.-е. разомъ всемъ, потирая руки приговаривая: «все ли вы въ добромъ здоровь 1: Поздоровавшись съ матерью, двдушка молча отходиль въ сторону и, потирая хохолокъ седыхь волось, какъ я помню, пришпиленныхъ особою гребеночьой на лысомъ лбу, со вздохомъ садился къ окошку. О чемъ вадыхаль дедушка? Более, вероятно, оты скуки. Также молча, съ реверансами, садились по стульямъ, вдоль ствиъ опочи-~ вальни, и остальные; слушали комплименты старушки, отвечали на ея вопросы, пили кофе и. ділая новые реверансы, также церемонно расходились по своимъ аппартаментамъ и угламъ.

Казалось, воть рай земной; а діла, между тімь. были адъсь очень плохи. Дъдушка, тихо вздыхавшій въ присутотвін матери, на сторон'в любиль покомпанствовать. Продасть хльбъ, либо шерсть, и сейчасъ балъ. Отпросившись у матушки-сударыни въ отъежия поля, онъ исчезалъ иногда по мъсяцамъ. Вслъдъ за нимъ, съ охоты наваливали ближніе и дальніе знакомцы. Экипажи наподняли дворъ. Окна большого дома освъщались. Домашній оркестрь гремълъ съ хоръ. Свои пъвчіе вторили ему изъ столовой. Пушки стръляли на дворъ. Веселыя пары носились въ экоссезъ и котильнонъ. Иной разъ и прабабушка Анна Петровна, въ такіе дни, оставляла опочивальню, надъвала парадный бълый робронъ, выходила изъ флигелька, крытаго камышомъ, являлась въ домъ Иванушки, въ высокую залу, увъшанную портрегами предковъ, и играла въ бостонъ, либо, подъ музыку Сарти, церемонно и важно шла съ къмълибо изъ гостей посановите въ польскій.

Отъезжія поля и пиры окончательно разорили состояніе Иванушки. Доходило до того, что въ зимніе вечера, скучая недостаткомъ гостей, онъ высылаль верховыхъ на ближніе и дальніе проселки и, кто бы тамъ ни вхалъ, всякаго чуть не насильно принуждали сворачивать въ гости въ его усадьбу. А между темъ, зачастую слуги, носившіе при гостяхъ фраки, безъ гостей понедёльно сидёли на кашицё. Прабабушка не знала положенія дёлъ Иванушки и умерла, считая его хорошимъ хозяиномъ. Дёдушка утёшиль ее особенно тёмъ, что лётъ за тридцать до ея кончины, въ видахъ, впрочемъ, размноженія дичи, засёялъ сосной болёе пятисотъ десятинъ сыпучихъ песковъ по берегу Донца, и весь этотъ боръ принялся и выросъ на удивленіе, за что дёдушка былъ пожалованъ орденъ Владиміра.

На такое чудо, исполненное крвпостными работниками, съвзжались смотръть многія важныя особы, губернаторь, архіерей, профессора сосъдняго университета, а потомъ и самъ графъ Аракчеевъ, по близости съ помъстьемъ прабабушки также дълавшій чудеса, а именно: вводившій тогда между свободными изюмскими и чугуевскими слободскими казаками такъ-называемыя военныя поселенія. Прабабушка сама была не прочь еще въ недавнія времена подеспотствовать, причемъ Иванушка, съ въдома ея, ковалъ въ кандалы тъхъ дъвокъ и парней, которые на сель по ея

выбору не желали въ обычные сроки вънчаться. Но она не одобрила ни графа Аракчеева, ни тъхъ мъръ, которыми онъ вводиль близъ нея эти чоселенія. «Прі каль онъ, машеръ, представьте, - передавала она по секрету мелкой сосвдка, вздимней къ ней по праздникамъ съ поклономъ: -прівхаль, живодёрь, выстровиь подъ Чугуевымь цілую слободу, навалиль розогь, а въ сторонъ вельль, на всякій случай, припасти несколько готовыхъ гробовъ и сталь это сечь непокорныхъ. Одни секутъ, а другіе своимъ туть же и могилы роють! Събъ онъ этака мужиковъ, събъ и бабъ. Одна бабёнка со страху-то, монъ-кёръ, вырвалась изъ-подъ розогъ, да въ безпамятствъ къ гробамъ-то... А графъ и крикнуль: не бойся, красавица, выбирай любой; какой хочешь, дамъ на погребеніе! Этакой мужикъ, капральщина! Никакой тонкости! Такіе ли душегубы въ наши дни власть имъли? Невъжда-азіяты! Хоть и графъ, да еще и Александровскій кавалеръ».

И когда графъ Аракчеевъ съ адъютантами и командирами новоиспеченыхъ южныхъ поселеній, нежданный и непрошенный, налетьть въ тихій Пришибъ, помістье прабабушки, съ желаніемъ во-очію освідомиться, какъ это одинъ человікъ могъ засіять боліве цятисоть десятинь сосною, прабабушка Анна Петровна, оказывая властямъ должный решпекть, разрішила сыну Иванушкі показать и разсказать его сіятельству, царскому фавориту, все, что нужно; но не преминула перекреститься и плюнуть, увидівъ изъ окна опочивальни угловатую и грубую фигуру надутаго «азіята», вылізавшаго изъ высокой, запыленной поселенской брички, а при случай даже дала ему и почувствовать немалую долю своего негодованія и пренебреженія.

Объдъ приготовили для графа на славу; поръзали много откормленной живности, но лакеи не первому ему подносили кушањя! А когда графъ Аракчеевъ, сбившись въ кронологіи бакого-то столичнаго придворнаго событія, о коемъ повъствовалъ предъ затянутыми до апоплексіи въ мундиры адъютантами, заспорилъ со старушкою насчетъ времени и, положивъ въ тарелку начатое стегно каплуна, спросилъ ее: «да повволь же, мать-сударынька, узнать, навой же тебъ годокъ?» — помервийе глаза старушки сверънули, она затрясла оборками ченца и бъльми, какъ мълъ,

губами отвъчала: «во-первыхъ, графъ, я тебъ не мать и не сударынька, а статсъ-фрейлина моей покойной царицы, Екатерины Алексъевны, и ты будь къ хозяйкамъ поделикатнъе; а во-вторыхъ, этакія ужасти! въ наше время изрядные нравомъ кавалеры о годахъ дамъ не спрашивали...» Сказавъ это, прабабушка встала изъ-за стола, ни на кого не смотря, кивнула головой вправо и влъво, и, подавъ руку оторопълому Иванушкъ, молча и съ достоинствомъ удалилась во-свояси.

Произошель величайшій переполохь и замішательство. Графь Аракчеевь, сь недобденнымь кускомь каплуна, вскочиль, не доискавшись хозяевь, крикнуль экипажь и убхаль вь Чугуевь, гдв вновь вь окрестностяхь посыпались шпицрутены и раздались плачь и вой бабь, дітей и стариковь. И когда въ Петербургі, прослышавь объ этомь событін, шутники-друзья его спрашивали, что за исторія случилась съ нимь въ гостяхь у біздовой старушки на Украйні, графъ Аракчеевь ворчаль и говориль: «да что, отцы мон! Какь ей не быть предерзкой, коли самь тамошній губернаторь, іздивь на ревнзію по губерніи, засталь, что у порога этой якобинки стояль на кольняхь, въ наказаніе за какой-то промахь по хозяйству, ея пятидесятильтній сынь, настоящій владівлець имінія, притомь чиномь лейбъ-гвардін прапорщикь и его величества кавалерь!»

[—] Что это у васъ за перстенекъ на рукѣ?—спрашивали иной разъ Анну Петровну любопытные внучата.

Завітный перстенёкъ, дітуніки, завітный! И съ нимъсвязана цізлая авантюра въ нашей фамиліи...

[—] Какая такая авантюра?

Преотмінная! Фамилія наша, соколики мои, начинается съ первымъ заселеніемъ Донца и всей этой окольной степи...

Разскажите, миленькая бабушка, разскажите, какъ заселились эти мъста и что это за случай съ перстенькомъ?

Въ длинные осенніе и зимніе вечера, полудежа на постели подъ стеганымъ изъ коричневаго атласа одъяломъ и облокотившись о высокосложенныя, общитыя кружевомъ, подушки, либо въ мерлушковой шубкъ, примостившись бочкомъ на расшатанной, треногой скамеечкъ, предъ угасавшею печ

кой, и разматывая на прядкі нити козьей шерсти, маленькая, сморщенная старушка не разъ передавала все то, что слышала отъ мужа и еще отъ покойной свекрови о заселенін края, къ пустырямъ котораго, шесть віковъ назадъ, обращался півецъ Слова о полку Игоря, восклицая: «О, Донче! Ты леліяль князя на серебряныхъ берегахъ, стлаль ему зелену траву, подъ сінію дубравъ...»

- «Берега нашего Донда, соколики мон, — разсказывала прабабушка: — даже въ ту пору, какъ я сюда перевхала молодоженкою изъ Питера, были еще во всей, можно сказать, невиданной красв. Народу еще было мало, звірыя много. По ятсамъ рыскали дикіе кабаны; отъ лисицъ, бывало, не удержишь ин курь, ин индюшекъ; а волки заходили даже въ съни, какъ ударить иной разъ, на нёсколько дёнъ, зимняя вьюга, да за ужиномъ запахнеть бараниной. Татары и наганцы, скажу вамъ, шмыгали сюда и при мив. Ла и родила я мила-дружка Иванушку какъ разъ въ то время, когда по тоть бокъ Донца отъ татарскаго набъга, вдругь зажгинсь по сторожевымъ курганамъ костры, а я, тяжелая, безъ маво Якова Евстафыча, съ перепуга съла на коня. поскакала къ бригадиршъ въ Чугуевъ, да на дорогъ, у андреевского попо въ пчельникЪ, матерыю стала... Но это все ничего. Не то сказывають о временахъ мужнина дъда. Въ ть поры здесь была сущая пустыня: меловыя горы, выковычные темные льса, тихія въ большущихъ камышахъ воды, на некошенныя степи, безъ жилья и безъ единой приской троны. Забрель человікь, кричи сь ходма въ лісныя провалья, сколько силь хватить, никто не отзовется. Только иволги, хохотвы, да орлы по буграмъ перекликаются. Зверь и птица своею тодга смертію умирали. Такъ было до но-следнихъ почти годовъ царя Алексея. Туть польскіе паны больно ужь потеснили казаковь за Днепромъ: пожгли ихнія перкви, мельницы, винокурни и хутора; тв и двинулись сюда.

«Былъ, сказываютъ, тихій весенній вечеръ. По сю сторону Донца, на кругизні, показался верхомъ на заморенномъ коні чубатый гетманецъ. Вхалъ онъ-атъ, горемычный, безъ дороги, пустыньками да озерками, и какъ ніжая тінь вечерния появился, дітушки, изъ-за косогора, съ пищалью да съ котомкой за плечами, голодный, захудалый, обношенный и уже изъ себя не молодъ. Спасался онъ отъ вражьяго погрома. Миновалъ одно лісное затишье, другое. Слізъ съ коня, напоиль его въ ключь, самъ перепрестился, напился, поднялся опять на пригорокъ, окинуль глазомъ Божью, тихую да уютную пустыню, и сердце у него замерло. Что прохлаты кругомъ, въ дремучихъ лъсахъ! Что птичьихъ приковъ внизу, по голубымъ затонамъ, да озерамъ! Что медванаго запаху оть доцвътавшихъ въ ту пору дикихъ грушъ и яблонь, и что гульнія отъ пчелы и всякаго жува. комара и мухи! Упаль казакъ на кольни на траву и сказаль: «быть тугь поселку! И лучше мнь осьсть у тебя, мать-пустыня, въ соседстве съ кабаномъ, да съ волчицей, чемь пропадать бакъ ису отъ польскихъ кнуговъ!» Это. други мои, и быль первый здышній осадчій, а вашь прашуръ, казакъ-подолянинъ изъ-за Днъпра, Данило Даниловичъ. Что сказалъ осадчій, то и сдълалъ: осълъ посельомъ туть въ то же лето. И какъ напуганная пташка бросаетъ опасныя стороны и прилетаеть вить гивадо въ такоиъ тайникъ, гдъ ее и вашими глазами, дътушки, не увидишь, такъ и Данило перевелъ сюда въ въковъчную глушь, свою старуку и дітокъ, и въ скрытности лісной, у озера, межъ отрогами холмовъ, вырылъ землянку и срубилъ курень. За Данилой, по его зову: «на Донецъ, на Донецъ! на волюшку!» бъжали сюда его сосъди. Вырубили льсную поляну, выкопали корни. Въ тростники спустили челнокъ. У воды застучаль о кладку бабій валекь. Крикнуль пітухь; загуділа въ ульяхъ наловленная туть же, въ лесныхъ дуплахъ, резвая, дикая, степная пчела. Трудно было первымъ поселенцамъ на Донцъ! Бабы обносились, дъти напугались авърыя, стрыхъ ужей, да золоторогихъ змъекъ; всв намучились, и старъ, и младъ. По ночамъ боялись свъть зажигать. Сторожа, какъ бълки, прятались по верхамъ деревъ. Хлъбъ сперва съяли возлъ самаго жилья, да и жилье часто разбивали по хлъбу. Всъ голодали, на сухаряхъ сидъли по мъсяцамъ. Но зацвъли опять ліса. Данило съ криками: «на Донецъ, братцы, на Донецъ!» еще перезвалъ товарищей. Вокругь перваго куреня поднялись, точно грибочки изъ земли, другіе курени. Данилу выбрали сотникомъ.

«Прошли года; изъ куреней въ лъсу стала слободка, Великое Село, съ окономъ, бойницами, мельницей и съ такою маленькою деревянною церковкой, что не вся въ ней слободка помъщамсь, а многіе слушали служеніе снаружи, по двору и подъ деревьями. Невдали же отъ кръпостцы Данило оталъ ваве-

дить хуторъ, что ныив Пришибъ. Одна беда: не могь онъ, други мои, перезвать изъ-за Дивпра своего названнаго брата и кума, казака Ивана Жука. Сперва прослышаль онъ, что Жукъ быль убить въ схваткъ съ поляками; потомъ, что онъ живъ, и что его видели въ извозе за солью, а потомъ и слухъ о немъ затихъ. Сотня Данилы тою порой обстроилась и богатела хлебомъ, оружіемъ и всякимъ добромъ. Но •не помогали ей ни рвы, ни частоколы, ни пушки. Нагрянуми, дътушки мои, на нашъ Донецъ поганые татары. Саранчею разъ вечеромъ, подъ самый Юрьевъ день, откуда ни возьмись, налетали и вдругь это устлали всю нашу окольпость, а ночью зачали, бормоча и гикая, переправляться въ бродъ по сю сторону Донца. На кого ни наткнутся, сейчасъ его на пику, либо на арканъ. Страхъ напалъ на слободу. Данило Даниловичь незадолго передъ тъмъ отправиль жену и малыхъ дътей въ повозкъ на богомолье въ Хорошеръ монастырь и за нихъ не боялся; онъ боялся за сотенную казну. А казна-то была у него въ боченкв, въ подваль. Выстроиль онь сотню подъ ружьемъ, заперъ ворота частокола, разставиль часовыхъ, велёль съ окола пушкарямъ палить по броду, сдаль на время команду другому, а самъ, какъ стемивло, сбросилъ свиту, вавалилъ боченокъ съ дукатами и талерами на плечи, да тайкомъ и отнесъ его въ камыши, въ родниковый колодезь, невдалекъ отъ сотеннаго пчельника. Только-что опустиль въ воду боченокъ, смотрить-по тоть бокъ колодца, въ камышахъ, стоить и глядить на него изъ кустовъ, точно привиденіе, весь бёлый, другой, незнакомый человекъ. Онь такъ и обомлёль.—«Видвяъ?» спросиль Данило.—«Видвль!» ответиль и тоть.—«Ну, коли меня убысть, а ты уцелены, дай знать туть въ сотню, гдъ ен казна». Сказаль и пошель кустами, — а сзади его точно летело въ воздуже, и после самъ онъ дивился, какъ онъ оставиль казну на глазахъ неведомаго человека. Татары разбили крвпостцу, сожгли половину куреней, липовый теремокъ на куторъ сотника ограбили, угнали стада и самого долго пытали, гдв сотенная казна, и чуть не замучили до смерти. Данилу взяли въ пленъ и увели на аркане въ неволю въ Крымъ, а потомъ на Кубань. И когда Данило, года чрезъ четыре, подкопавши тайникъ, на хозяйскомъ жеребць быжаль изъ плына, явился опять среди своихъ на Донець и кинулся къ колодцу, боченка тамъ не было. На-Сочиненія Г. II. Данилевскаго. Т. VII.

роду тоже поубавилось. И долго сотня не могла поправиться после татарскаго погрома...»

 Что же, прадъдушка такъ и не нашелъ боченка? спросила нетерпъливая правнучка.

Постой, пострълъ, все узнать усивешь!

«Такъ прошли еще года два. И воть, милые мои, скажу вамъ: разъ Данило стоялъ на пригоркъ, невдалекъ отъ остатковъ погоралой крапостцы, и говориль заважему пол-ковому писарю: «воть, ваша милость, уже чрезъ нашть поселокъ и чумаки стали ходить!» А тымъ часомъ, дъйствительно, промежь деревьевь показался чумацкій обозь, шедшій изъ-за Донца мимо ихъ окопа. Времена стали другія; о татарахъ било почти не слышно, и край уже вругомъ заселился, по Торцу, по Самаръ, по Орели и по Берекъ. Когда обозъ приблизился къ пригорку, съ передняго воза всталь чумакь-хознинь, подошель въ Даниль и писарю и спросиль: «а кто у вась туть сотникь Данило, что поставиль этоть поселокъ и такъ долго быль въ басурманскомъ плену?» Получивь ответь, покачаль головой и сказаль: «дакакъ же ты, друже, побълълъ! Совсъмъ старый сталъ! Не узнаешь, видно, и ты меня: я — Жукъ, твой названный брать и кумъ! Бхаль я мимо, вершинами Донца. Слухъ о тебъ далеко пошелъ, я и завернулъ къ тебъ на подмогу. Довольно ужъ и мић мотаться по свъту. Коли приметь меня твоя братія, и я съ моими хлопцами туть же сяду. А кто ванну казну подглядёль и тайно взяль изъ колодца, я тоже слышалъ. Подобралъ ее и перенесъ въ другое мъсто быглый пушкарь изъ Цареборисова. Да не удалось ему ею цоживиться. Онъ недавно умеръ отъ осны и на духу все показаль пону. А я отъ народа узналь. Посыдай за казною; она у начальства на рукахъ». Данило поклонился куму въ ноги, Совжались казаки; составили совъть; Данило обо всемъ отнисаль царю и воеводь. И долго обозь того чумака, дътушки мои, стояль на выгонъ у Пришиба, а сотня веселилась и поила всю чумацкую братію. Казна отыскалась. А къ осени, сударики мои, чумакъ, дъйствительно, привелъ къ Данилъ ватагу другихъ земляковъ, поклонился сотнъ, и сотня отвела подъ жилье. подъ скоть и подъ хлебъ чумаку и его братіи часть своихъ земель, десятинъ сотъ нъсколько, межами отъ кургана до кургана и отъ дуба до дуба. Въ сотенной слободъ прибавилась цълая новая улица, и ее прозвали, по имени того чумака, Жуками.

«Такъ прошло еще время, и сотникъ Данило сталъ подумывать о томъ, что сталось съ его сынишкой, Евсташей, котораго царь Петръ, во время его полоннаго терпанья, взяль въ Питеръ и помъстиль тамъ въ добрую науку къ нъкоему ученому процептору. Другіе сыновья Данилы росли дома на свободъ. Евстафію жъ пошель уже двадцатый годокъ, и отецъ къ нему въ новую царскую столицу Санктъ-Питеръ упросиль съездить бывалаго въ Нарвскомъ походе и далве, тоже простого казака-соседа, Кирюшку Горличку. А старикъ Гориичка туть черезъ ръку также заняль землицу и сидълъ хуторомъ. Отписанъ родитель въ Питеръ письмо, требуя сына домой къ себъ на помощь, и послалъ ему три рубля на лакомство, харчей и пару коней съ повозкою на дорогу. Кирюшка прівхаль въ Питерь, сталь отыскивать по казармамъ да по товарищамъ сосъдскаго сына и узналь о немъ недобрыя въсти. Быль тогда въ Питерь, возль самого царя Петра Алексвевича, ближнимь ко двору князь Юрій Трубецкой, а у этого князя Юрья была на сторонъ фаворитка изъ нъмокъ, и отъ этой фаворитки дочка Марыюшка, молоденькая, тихая и изъ себя красавица; звалась, впрочемъ, не Юрьевной, а по мужу матери-Алексвевной. Жила она съ маткой всегда по близости двора; дворъ въ городъ-и онъ въ городъ, дворъ на дачь-и онъ туть же, въ закрытности гдв-нибудь на дачв. Вышель-ать Евстафій Даниловичь изъ школы отъ процептора молодепъмолодцомъ, румянъ да пригожъ, рослый и чернобровый, хотя стыдливь и робокъ. Сталъ сержантомъ гвардіи, на царскомъ жалованы, и нередко попадаль на караулы къ самымъ царскимъ, не то что къ окольнымъ, дворскимъ хоромамъ. Тутъ онь и узналь, въ тайномъ спрять, княжью Марьюшку и полюбиль ее пуще свёту, полюбила Евстафыя и Марыюшка. Виделись они урывками на вечеринкахъ; танцовали вместь менуэть, видались наедина въ екатерингофскихъ да василеостровскихъ садахъ и рощахъ. Долго ли, нѣтъ ли, сударики вы мои, любились Евстафій да Марья, только, наконецъ, и скажи ся матка князю Юрью: что такъ, моль, и такъ, нъкто сотничій сынь, изъ Изюмской слободской провинціи, государевь сержанть, Евстафій Даниловичь, сватается за ихъ дочку Марьюшку, что онъ поистинъ отмъннаго нрава, самъ молодецъ, добрыхъ родителевъ, и что есть у его казака-отца не мало мастностей, садовъ, лошадей, овецъ,

одёжи и всякаго добра. Осерчаль гордый князь Юрій, выразился дурно не только объ Евстафіи, но и о его родитель: обозваль обоихъ хохлацкимъ мужичьёмъ и дегтярниками и запретиль даже пускать его къ порогу своихъ хоромъ, грозя отодрать его батогами, коли узрить по близости Марьи. Приняты были, должно-статься, тугь же мары кругенькія. Княжескіе лакеи припасли въ передней, по барскому вельнію, пукъ розогь; а ночью, у оконъ Марьюшки, ходили сторожа и разъ, заслышавъ впотъмахъ близъ сада чей-то конскій топотъ, подняли на княжеской дачь такую пальбу изъ мушкетовъ, что съ барышней сдълался отъ страху припадокъ, и ее насилу къ утру отходили. Евстафій съ горя отчалиль, вышель въ отставку и пропаль у всъхъ изъ виду. А Марьюшка чахла - чахла и кончила тоже, ангелы мои, совствить плохо... Пошла Марьюшка съ каммермедленой своей на реку Волынку на даче купаться. Лето было жаркое, и вся царская женская свита въ тв поры въ Екатерингофв наперерывь въ водъ бултыхалась. Только матка Марыюшки ждать-пождать, нъту дочки и каммермедхены. Послали ихъ искать, но слуги на берегу рачки, представьте, нашли только зеленое голландское шелковое платьице Марьи, шитыя золотомъ бархатныя туфельки, сорочку да платочекъ, да смердьи обноски этой недогляды-каммермедхены. Значить, объ дъвки поръшили жизнь кончить и пошли на дно, какъ камешки. Приволокли невода и лодку, царева хозяйка матросовъ съ острововъ нагнала, искали утопленницъ и не нашли. Порвшили, что теченіемъ унесло ихъ въ море».

 — Что жъ, и вправду утонула Марьюпіка? — спросила опять нетерпячая правнучка.

— Ахъ, монъ-кёръ! да сиди ты, егоза, все узнаешь!

«Ударился о землю князь Юрій, не мало плакаль съ фавориткой; долго служили они панихиды, справляли поминки и угощали нищихъ. На это-то, весьма ужасное и притомъ по истинъ мерзкое горе-злосчастье и наъхалъ, представьте, посланный отца, Кирюшка Горличка. Узналъ онъ про все, Евстати тоже не отыскалъ и долго не ръшался къ сотнику не то что обратно ъхать, а даже и писать. Ходилъ онъ, ходилъ по Питеру, да ужъ какіе-то господа, ъдучи въ Кіевъ на богомолье, довезли его и высадили на пограничной украинской линіи въ Бългородъ.

«Такъ протянулось, други вы мои, время до войны со

шведами и до самой Полтавской баталін... Первыя слободки пустили отъ ръки въ степь, какъ корни на вешней градкъ, другія слободки и хутора. Сотникъ же Данило, надо вамъ, миленькіе, доложить, жиль со своими сукцедентами и съ товарищами все туть же, на излюбленныхъ придонецкихъ местахъ, все въ той же занятой, по черкасской обыкности, долинъ, въ кръпостиъ и въ миломъ сердцу сотенномъ Пришибе, какъ прошла молва, что на выручку армін подъ Полгаву, съ юга, отъ Азова, спешить со свитой черезъ те окольности самъ царь Петръ Алексвевичь, а впереди себя послаль отряды свежихъ войскъ. Ахти мев! всполошились поселенцы. Какъ царя встрвчать! Двадцать седьмого мая, какъ теперь помню, сказывалъ мужу свёкоръ, царь вывхалъ наъ Азова степью на Бахмуть, Изюмъ и Зміевь; въ Изюм'в онъ изволилъ кушать, справлять день своего рожденія и ночевать у г. Шидловскаго, -- а второго іюня быль уже въ Харьковъ. Отстоялъ тамъ ясный соколъ-атъ нашъ, въ праздникъ Вознесенія, позднюю об'єдню, прочель всенародно, какъ • есть среди соборнаго храма, апостола, осмотрълъ городъ и крвпость, бурсака какого-то по-латынски спросиль, съ бабами на базарв побалагуриль, чье-то дитя браль на руки, ласкаль. Въ тотъ же день его величество отъйкалъ къ Полтави и двадцать-седьмого іюня, на Сампсонія, разбиль шведовь. И, стало-быть, коли второго іюня царь Петры Алексвевичь быль въ Харьковъ, то перваго іюня быль онъ въ гостяхъ у сваво върнаго изюмскаго сотника Данилы. Стоялъ туть въ Пришибъ все еще старый липовый теремокъ, однимъ-одинъ у ръки. Только вишенье, лесное орешье, да яблони возле него разрослись, после татарскаго погрома. А кругомъ, въ разсыпку по зеленой полянь, возль крыпостцы и на хуторы, стояли соломенные казачьи курени, сарайчикъ, мельницы, да маленькая въ лъсу церковка. Наканунъ, отъ сосъдней слободки Балаклеи, показалось войско и, не доходя Пришиба, стало лагеремъ. А на вечерней заръзакурилась съ той стороны пыль, показались скачущіе, въ зеленыхъ кафтанахъ, рейтары, потожь одинь экипажь, другой и третій, и все размалеванные, четверками, рыдваны да берлины. Это была царская свита. А впереди, на парѣ ямскихъ, въ пыли, такъ что его трудно было и разсмотреть, показался какъ есть въ простой некрашенной одноколкъ самъ царь и съ нимъ рядомъ изюмскій полковникъ, женатый на дочери сотника,

Варваръ Даниловиъ, Михайло Константиновичъ Захаржевскій. Царь у него рано пооб'ядаль въ Изюм'в и сказаль: «Въ Пришибъ остановлюсь; сдълаю муштру тамошней сотнъ, да зайду на пироги къ старику-сотнику, поблагодарить его за върную службу, за постановку поселка и флотиліи и за его полонное теритенье!» А поверхъ мъловыхъ прибрежій Донца, отъ Изюма до Пришиба, гдв вхаль царь, опять, детушки мои, полнымъ цветомъ цвели некошенныя поля, жаворонки заливались, дрофы да стрепеты перелетали; снизу же, отъ Донца-ръки и отъ озеръ доносились, словно райскіе, запахи всякіе, да звонкіе крики дикихъ гусей, журавлей и лебедей. И несколько разъ онъ, ясный соколь-ать нашь, останавливался и заставляль ординарцевъ да генераловъ свиты рвать пучки цвътовъ. «Часть поднесемь въ презенть хозяйка въ Пришиба, а остальное пошлемъ на пробу въ Питеръ, въ гофъ-аптеку; нътъ ли тутъ какихъ хорошихъ пълебныхъ зеліевъ?» И царская свита, морщась отъ жары да пыли, рвала тв самые цветы, которые и я вамъ, дътушки, старая бабка Ашенька, рву иной разъ и донынъ. Сотня въ строю, на коняхъ, въ оружіи и съ пушкой встретила царя, отдала ему честь, выпалила салють, крикнула вивать и поскакала за нимъ сперва къ крвпости, а потомъ и къ сотниковой усадьбе. Царь, потирая поясницу, весь въ ныли и сильно загорелый, въ шелковомъ синемъ кафтанъ, слъзъ съ повозки, снялъ шляпу, утерся это платочкомъ, прямо такъ на всехъ поглядель, поклонился и сермяжной братіи, ступиль на старенькое крыльцо, такъ что половицы заскрипъли и столбики дрогнули, и шагнулъ въ светлицу, где уже въ прохладе стояла съ хлебомъ-солью старая сотничиха Анна, быль накрыть столь и закуска приготовлена. «А! воеводиха! отвоевалась оть татары! Ну, Данило Ланиловичъ, слезай-ка и ты съ коня, да веди къ себе въ гости!» Вошель онъ, ясный соколь, въ теремъ, озираясь на глиняный поль да на бёлыя мазаныя стёны, и сёль за этоть воть самый, что стоить у окна, крашеный былый столь, съ размалеванными на немъ, какъ видите и теперь, тарелками, ножами и солонкою. «А кто это у васъ?»—спросиль царь ховяевь, отряжая съ камзола пыль и увидавь туть же въ комнать красивую, но худенькую молодую бабёнку, въ шелковомъ корабликъ поверхъ русыхъ волосъ, которая, какъ видно, была на сносъ. Не собрались старики

отвъчать, съ низкимъ поклономъ, его величеству, что это, моль, ихъ невестушка, какъ въ горницу стала подваливать царская свита и всв ближнія креатуры его величества. А со свитой вошель и князь Юрій Трубецкой. «Ай! батюшкакнязь!» -- вскрикнула не своимъ голосомъ сотникова невъстка, увидавъ князя: пошатнулась, да туть же, на порогв, словно воть помертвела, и грохнулась д-земь. Царь кинулся къ ней, поглядель это сердито кругомъ, ухватиль князя Юрья за руку и крикнуль: «говори мнв, Юрій, сущую правду!» А князю не до того; упаль передъ дочкой на кольни, плачеть, дрожить, целуеть ся руки и говорить только: «покойница, ваше величество, покойница!» Промолвила туть старая сотинчиха Анна: «казни насъ, парь-батюшка, только все выслушай!» и туть же передала государю, милые вы мон, какъ было все это діло: накъ за ея сына, Евстаніу, не даваль князь Юрій Марьюшку, какъ вышла дівка на ріку Волынку, раздълась и бросилась въ воду, какъ бы утопилась. А на другомъ берегу, сударики вы мои, въ камышахъ ее ждала подговоренная нъкая надежная бабка-голландка съ другимъ быльемъ и платьемъ. Марьюшка и служанка выплыли, вновь одълись; а по близости, въ березахъ, стоялъ и самъ суженый, съ повозкой и съ добрыми конями; посадилъ ненаглядную Марьюшку съ собою, да и умчаль ее къ отцу, въ укранискія придонецкія м'іста. Здісь они повінчались, да съ твхъ поръ тугь и проживали у его родителевъ. А что отца-князя о себь два года Марыя Алексвевна не оповыщала, такъ потому, что боялась его княжескаго, да и вашего, моль, царскаго гивва! «Клади, киязь Юрій, гиввь на милосты» рышиль царь. Князь послушался. Робкій Евстафій, вообразите, заб'яжаль тімь временемь со страху въ вишии. Его отыскали; князь молодыхъ туть же благословиль. И когда царь сёль опять за столь, выпиль рюмку запеканки и сказаль: «горько!» — Евстафья и Марьюшку, передъ персоною самого царя, заставили поцеловаться, а изъ сотницкаго подвала выкатили бочку меду, и пиръ пошель такой, что после обеда царь велель отпрячь лошадей. закурилъ трубку, разстегнулся и сказалъ: «ну, минъ-герръсотникъ, теперь ужъ угощай» — сълъ съ генералитетомъ за нуншъ и остался тутъ компанствовать до разсвета. И каково же? Царь пируеть съ подданными, а съ надворья въ окна вся слободка глядеть сбежалася. Да и была къ тому

веселью другая причина. Марыя Алексивна ужъ больно, видно, испугалась нежданной встречи съ отцомъ, да къ ночи, и всколько ран ве срока, и родила царю новаго подданнаго, старшаго брата, сударики, мужа маво, Якова Евстафьевича. Свадебный пиръ сменился къ полночи крестинами. Царь велель отпереть и осветить церковь и самъ, стави свечи и подтигивая каноны хмельному попу, быль за крестнаго отца у новорожденнаго. Откуда взяль туть царь пару небольшихъ колоколовъ, можетъ, съ собою въ другія мъста везъ, только послъ врестинъ и говорить: «плохи у тебя, Данило Даниловичъ, колокола; глухи что-то голосомъ; никто за лісомъ и не услышить, что туть у вась служеніе! я теб'в другіе пов'вшу!»—и самъ, вообразите, стащиль ихъ на колокольню. Они и донына у насъ висять въ Пришиба... Уважан-жъ до восхода солнца далве въ Харьковъ, зашель къ родильницъ и сказалъ ей: «прощай, кума Машенька, да роди больше мив такихъ крикуновъ; и дай, я тебя на прощанье поцёлую; только извини, чеснокомъ закусилъ ващу пеканку!» Надълъ Марьюшкъ аметистовый воть этоть самый перстенёкъ съ своего мизинца, подариль ей пучокъ нарванныхъ дорогою полевыхъ цветовъ, посадилъ у крыльца въ саду жолудь и убхалъ... Такъ воть вамъ исторія перстия.

«Да воть еще что, мои дътушки... Совсъмъ стара стала, забыла! Ужъ въ какое время, вечеромъ ли засвътло, послъ ли объда, али ночью, при мъсяцъ, только прослышаль его величество, что между сотниковымъ хуторомъ и кръпостцой въ лъсу есть по-близости озеро Лебяжье, и на немъ, для рыбной ловли, устроенъ такой небольшой катеръ. Что же вы думаете? Велълъ себя везти туда, потащилъ съ собой сотника и весь генералитетъ и проъхался раза три по озеру; ставилъ паруса, заставлялъ стрълять изъ мушкетовъ съ катера, въ честь новорожденнаго, и всъхъ благодарилъ, начальство и казаковъ. Старый Данило тоже подгулялъ и только все кланялся, а при отъъздъ царя, какъ упалъ ему въ ноги, такъ насилу его подняли.

«Послѣ Полтавской баталіи государь прислаль сотнику изъ Батурина пару шлёнских овець на заводъ, а изъ Питера въ скорости и крвпостную грамоту на владѣніе, какъ бы вы думали чѣмъ?—десятью тысячами десятинъ изъ числа сотенной земли, не только съ казачьими дворами, но, какъ потомъ объявилось, и съ самими казаками... Да, дѣтушки

мон! Данило потомъ подпалъ подъ габаъ царя, омлъ взять по доносу вы Питеръ, въ розыскиую канцелярію князя Юсунова, и тамъ, въ крепости, котя и оправдался, въ скорости умеръ. Во власть же и въ подданство его сукцедентовъ, пе царской грамоть, да по Вожьей милости, попали не только свои братья-казаки, но и названный его кумъ Иванъ Жукъ, съ товарищами, принятые сотней, и соседъ его Кирюшка Горличка, со всеми домочаднами. Люди, разумеется, были все темные, какъ есть мужички. Да и самъ сотникъ Данило, несмотря на рангъ, какъ жилъ, такъ и умеръ еще по простоть. Евстафій же Даниловичь, по смерти отца, подобрыть, зажиль пригываючи, на всю губу; шелковый красный кафтанъ сталъ носить и парикъ съ буклями; отъ царскихъ же овець повель огромныя стада. А владая крестьянами, онъ потомъ получилъ и дворянство. При пресветлой царицъ Аннъ Ивановић, господинъ лейбъ-гвардін маіоръ Хрущовъ производиль туть первую ревизію. Тогда Евстафій Даниловичь быль уже изюмскимъ полковникомъ, съ Минихомъ въ Крымъ ходиль, — и за нимъ по ревизіи записали нав'яки всёхъ жильновъ его придонецкихъ земель. И хотя у Евстафія и Марын Алексвевны дети померли, и окромя сына Якова, не осталось въ живыхъ детей, но и Яковъ Евстафьевичъать мой вышель тоже изъ себя, предъ всемь своимъ родомъ, мужчина уважительный и средостепенный, строгаго нрава хозяинъ и подданнымъ своимъ не потатчикъ! Его не учили такъ, какъ его родителя; но онъ умеръ, по милости Божьей и матушки царицы, какъ подобаеть столбовому дворанину: въ чести, въ богатствъ и въ холъ; мнъ приказаль быть во всемъ хозяйкою до смерти и вздиль изъ Харькова въ Питеръ по дъламъ, не то, что мелкія нонъщнія сошки, а восьмерикомъ, въ желтомъ этакомъ рыдванъ, съ двумя фалеторами и съ двумя же лакеями. Одна бъда: не удалось ему, моему дружку, до конца жизни быть въ дворскомъ фаворъ и въ случаъ. Гордъ былъ, оттого не дошелъ... А изъ царскаго жолуди вырось, какъ видите, въ нашемъ саду большущій дубь. Когда Иванушка вінчался, мы подъ этимъ дубомъ уже десерты кушали и венгерское пили... И пока дубь этоть будеть въ целости рости, нашему богатству и родовому гонору, детушки мои, верьте мив, не переставать, а цевсти въ знатности, въ силв и въ славв во веки...»

Прабабушка Анна Петровна, на этотъ разъ, говоря о своемъ мужъ, покривила душой. Не столько ее огорчалъ графъ Аракчеевъ, заколачивая палками, по сосъдству съ ней, потомковъ первыхъ населителей Донца, не хотъвшихъ обращаться огуломъ въ уланъ и въ драгуновъ, сколько втайнъ огорчаль ее этоть самый миль-дружовь, Яковь Евстафьевичь, съ нею вмъсть полвъка спокойно державшій часть этихъ населителей въ самомъ строгомъ крипостномъ состояніи. Взяль онъ Анну Петровну небогатою фрейлиной, изъза связей, отъ царицына петербургского двора, будучи подъ тридцать леть. Болезненный меланхоликъ, онъ быль корыстолюбивъ и скрытенъ, редко съ къмъ виделся, постоянно ворчаль и сердился, вель безконечныя тяжбы съ соседями и, еще задолго до отъвжихъ полей и пировъ избалованнаго имъ и не особенно любимаго сына Иванушки, умудрился этими процессами и стекляннымъ, въ убытокъ веденнымъ, заводомъ сильно разстроить огромныя, пожалованныя Даниль, пом'встья и, между прочимъ, наполовину истребиль у себя общирные, в'вковъчные придонедкіе л'єса. До женитьбы онъ быль слабь, какъ после и сынокъ, въ отношеніи красавиць, и не разъ даже открыто, черезъ слугъ своей молодечни, отбиралъ на время женъ у мужей. А обвенчавшись, жену дер-- жаль вь ежовыхъ рукавицахъ и, кромъ книгъ, да прогулокъ со слугами пъшкомъ и верхомъ, не давалъ ей отъ ревности никакого развлеченія. Онъ умеръ въ чахоткі, завъщавъ женъ, отъ непреодолимаго страха смерти, построить большой каменный храмъ. Прабабушка никому на него не жаловалась. Но ея затаенныя укоризны покойному милудружку Якову Евстафьевичу сказались сами собой. Послъ нея остались любимыя ею книги, романы прошлыхъ; забытыхъ временъ: Лолота и Фанфанъ, или приключенія двухъ младенцевъ, оставленныхъ на необитаемомъ острову; мальчикъ, наигрывающій разныя штуки колокольчикомъ; Алексисъ, или домикъ въ лесу, и похожденія Жильблава-де-Сантилланы. Вездъ въ этихъ книгахъ были подчеркнуты слова, въ родћ: «о, странное и горестное непостоянство вещей! о, удивительная изм'вна и разность сердца челов'вческаго!» или: «кроткому духу нравится ръзвое журчаніе ручейковъ и густая тінь рощей, а особенно тогда, когда я, о люди, схоронияъ свое сердце далеко, далеко!» Сбоку этихъ строкъ рукою прабабушки написано: «увы, какъ это върно».

Умерла прабабушка Анна Петровна спокойно, сознательно и решительно. У нея давно быль припасень самый нарядъ на смерть: новое черное гродетуровое платье, безъ шлейфа, былая буфмуслиновая косынка на плечи, черный тюлевый чепець и былый батистовый платочекь, для подвязанія вы гробу нижней, при жизни ослабевшей челюсти. Почувствовавъ приближение кончины, она призвала отца Авдія, попа новой каменной церкви (а попъ быль маленькій, худенькій, бъдный, но сварливый, задорный и себь на умъ) и долго сь нимъ уговаривалась о подробностяхъ собственныхъ похоронъ: о мъсть погребенія, чтобы могила въ фамильномъ склень не затекла водой съ сосъднихъ бугровъ, о томъ, кого звать на отпъвание и кого не звать, изъ крупныхъ и мелвихъ знакомцевъ; быть и постороннему духовенству и сосъднимъ пъвчимъ и, наконецъ, о плать ему, попу, за погребеніе и за поминальный сорокоусть. Попъ просиль за посявдиюю статью пятьдесять рублей ассигнаціями, уверяя, что дороги стали свычи, ладанъ, вино и мука, а прабабушка давала двадцать-пять; сошлись на сорока. Покончивъ съ попомъ, она позвала сына Иванушку и его ученую и всеми любимую супругу, объявила имъ, на чемъ порвшила съ упорнымъ попомъ, и прибавила: «смотрите же, дътушки, больше ему, кутейнику, не давайте; Авдіевой попадейкь, пожалуй, прибавьте десять ульевь. Она меня больную развлекала... Да положите въ гробъ со мной царскій перстень и пучокъ ландышей, али иныхъ цветовъ. Царскій Марьюшкинъ пучокъ, кажись, затеряли, какъ иконы мыли. Да теперь легко собрать свъженькихъ! слышу изъ комнаты, по зарямъ, птицы летять изъ-за моря; въ воздух точно воть молодымъ виномъ пахнеть; значить, степь и льса распвытають!»

Незадолго до смерти, Анна Петровна сказала сыну: «хочу посмотрёть, какъ ты управляещься по хозяйству!» и объявила, что желаеть, во что бы то ни стало, взглянуть на табунъ лошадей, кормившійся на зимовлі, за Донцомъ, въ ея хуторі, на рікі Богатой. Иванъ Яковлевичь безпрекословно рішилъ выполнить волю матери и, какъ ни трудно было, въ начинавшуюся распутицу гнать різвый и дикій табунъ во сто лошадей, его благополучно привели къ Донцу и чрезъ самый Донецъ, по сильно таявшему и посинівлому льду. Но едва, съ громкимъ ржаніемъ, передовые рослые жеребцы, а потомъ и весь красивый табунъ выділился изъ

весенняго тумана и ступиль на реченку, по которой расположенъ Пришибъ, ледъ подломился, и все лошади, за исключеніемъ одного невзрачнаго пъгаго мерина, потонули. Иванъ Яковлевичъ, бывшій при этой переправь, заплакаль и воротился домой повторяя: «это даромъ не пройдетъ: видно, матушкъ жить недолгоі» Потопленіе табуна, однако, оть ста-

рушки скрыли.

Съ той поры прабабушка стала забываться и умерла. передъ вечеромъ, незадолго до вешняго Николы. Въ гробу она лежала маленькая, сухенькая и легенькая, совсёмъ дитя, а не та властительная и важная пом'вщица, изъ питерскихъ статсъ-фрейлинъ, къ которой весь убздъ въ оны дни съвзжался на поклонъ. И хотя она умерла такъ тихо, что не скоро о томъ въ постоянно-суетливомъ дворъ сына и спохватились, но горничная, стриженая Ульянка, не отходившая въ последнія недели оть ся порога, передавала впоследстви на кухив, что старая барыня не разъ передъ смертью по ночамъ вскакивала на постели, въ тоскъ и въ горести ломала руки, требовала зеркало, смотрълась въ него, чесала гребнемъ седые всклоченные волосы и съ блуждающими глазами тихо съ отчаяніемъ про себя восклицала, какъ-бы вовя кого-либо изъ давно умершихъ, далекихъ друзей: «ахъ, Пашковъ, Пашковъ! милъ-сердечный дружокъ, гдв ты, гдв ты?»

Яковъ Евстафьевичъ, мужъ прабабушки, фамиліи Пашкова не носиль, и какал драма крылась въ этихъ предсмертныхъ восклицаніяхъ Анны Петровны, осталось, віроятно, навсегда неразъясненнымъ, такъ какъ дневникъ ея невъстки, который та, по преданію, вела, донынъ пока въ семейныхъ бумагахъ не отысканъ. Полагаютъ, что лакей Абрамка употребиль его на обертываніе свізчей. Царскій перстень также затеряли-было, и потому въ кирпичномъ склепъ, надъ гробомъ старушки, оставили окошечко, которое долго пугало робкихъ прихожанъ и куда потомъ ея внуки, дъйствительно, бросили этотъ перстень, найдя его въ закладъ у сосъдняго жида.

У меня хранится отличный портреть масляными красками Анны Петровны, съ портретами ся сына и невъстки.

Вследъ за смертью прабабунки, въ Пришибъ и въ остальныя слободы ея сына налетили, въ зеленыхъ вицъ-мундирахъ, приказные, все описали за безпутное мотовство владъльца, оцънили и оповъстили къ продаже съ молотка. И котя не все въ конецъ было продано съ публичнаго торга, но родъ Данилы съ тъхъ поръ сильно объднълъ и разсъялся. Въ проданномъ лъсу, на мъстъ кръпостцы, недавній владълецъ выстроилъ сахарный заводъ, и въ его огромную, далеко видную красную трубу буквально вылетълъ весъ лъсъ, какъ засъянный дъдушкой для дичи, такъ и выросшій послъ стекляннаго вавода прадъдушки.

Одинъ могучій дубъ, полтораста літь назадь посаженный предъ домомъ давно несуществующей хуторской усадьбы сотника, стоить и теперь свежь и крепокь, на тридцать шаговь кругомъ простирая, въ заглохииемъ и одичаломъ саду забытаго пом'єстья, темныя и густыя в'єтви. Вблизи оть него, у обветшалой каменной церкви, недавно пріютилась, крестьянская волостная школа. Дати вновь получившихъ волю поселянъ, резвою гурьбой, съ удочками и съ книжками, пробираются изъ школы, чрезъ рвы и плетни новыхъ усадебъ, къ ръкъ и иной разъ прячутся отъ дождя и солнца подъ дубомъ. Между ихъ вличками уже не слышно прозвищъ ни Жука, ни Горлички. У нихъ нътъ прошедшаго, но для нихъ слагается новое будущее. Отцы ихъ пашутъ и съють теперь уже не на сотника Данилу и не на его внуковъ и правнуковъ, а на новаго хозяпна, на соседнюю чугунку. Вразалась она недавно, снося старые хутора, сады н усадьбы, въ окрестныя места и, что ни день, выкрикиваеть: «пшеницы, ребята, пшеницыі а за нее воть вамъ деньги, а съ ними будеть вамъ и вашимъ детямъ и та воля, которой вы туть такъ долго искали?»

Прабабущку Анну Петровну въ окрестности всѣ забыли. Случайно о ней напомнило, не такъ давно, одно обстоятельство.

Въ хозяйственныхъ книгахъ прадъдушки, найденныхъ между старинными нотами и театральными костюмами въсундукъ одной умершей, совершенно бъдной старушки, отысканъ рукописный календарь-дневникъ, куда прадъдушка въ теченіе нъсколькихъ лътъ вкратцъ вписывалъ разныя достопримъчательности своего давно забытаго домашняго обихода. Противъ февраля 1768 года въ этомъ календаръ написано: «подарилъ Ашенькъ безнодобной яхонтъ и часы отъ Лепика. Иванушка и учитель его, Григоревской, любо-

валися». Противъ іюля 1770 отмѣчено: «бѣжалъ садовникъ Максимка Жукъ и поваръ Лука Горличка бѣжалъ же; смутно и у сосѣдей, братецъ капитанъ-исправника, господинъ маеоръ, слышно, умеръ отъ руки своихъ людей». Противъ августа 1775 года стоитъ отмѣтка: «бѣжала дѣвка Нешка, и я за нее попалъ у Ашеньки въ суспицію». А противъ марта 1780 года написано: «укрощалъ Ашеньку, дважды запирая на три сутки въ банѣ, за придирки и за скуку. Женское жеманство тѣмъ исправляется».

1871 г.

II.

ТВНЬ ПРАДВДА.

(Лейбъ-камнанецъ).

Въ рукописномъ календаръ-дневникъ моего прадъда, Якова Евстафьича Данилевскаго, подъ 1776 годомъ, уцълъла замътка: «13-го іюня, въ понедъльникъ, заложилъ я хуторъ азовской губерніи, на ръкъ Богатой». Подъ 1778 годомъ, тамъ же прибавлено: «іюля 24-го, во вторникъ, въ полночь прівхали въ хуторъ на Богатую—я, Ашенька, Иванушка и учитель Григоревской. Тогда во оныхъ пустошахъ селяне бъжали, а сосъду моему по тому хутору, лейбъ-кампанцу ея величества покойныя императрицы Елисаветъ Петровны, г. Увакину, по его, впрочемъ, квалитету и по бездъльнымъ и противнымъ онаго же поступкамъ, его подданными тогда же содъянъ столь неподобной и ужести наводящій афронтъ, что хотя бы я на свъть не былъ,—тамъ моя да скажеть о томъ потомству...»

Яковъ Евстафьичъ очутился сосёдомъ лейбъ-кампанца Увакина, вслёдствіе того обстоятельства, что пожелаль, въ рёдкій часъ фавора къ моей прабабкѣ Аннѣ Петровнѣ, сдѣлать ей отмѣнный презенть. А именно, подъ вліяніемъ недавнихъ преданій о заселеніи этого края, онъ задумалъ сперва населить, а потомъ сюрпризомъ за нею укрѣпить плодородную дикую степь въ 7.000 десятинъ, купленную имъ съ торговъ за четыре тысячи рублей ассигнаціями, отъ генерала Штоффельна. Земля же эта находилась въ тогдашней азовской, нынѣ Екатеринославской губерніи,

между ръчекъ Богатой, Богатеньки и Лазовой, и болъе чъмъ въ ста верстахъ отъ Пришиба, родового помъстья прадъда.

Затвявь населить для жены хуторь, Яковь Евстафыччь изь сыромятины соорудиль кожаную калмыцкую кибитку, взяль съ собой изъ Пришиба крыпостныхъ рабочихъ и купленнаго передъ тъмъ въ Москвъ у Архарова приказчика Михайлу Портяного, перваго развъдчика и доглядчика выбранной степи, и, въ ожидании купленныхъ гдъто подъ Тулой крестьянъ, перебхалъ готовить для переселенцевъ избы, саран для скота и водопой.

Постройка зданій, по тогдашнимъ затрудненіямъ въ добычѣ припасовъ, запоздала. Сверхъ того, при переводѣ купленныхъ крестьянъ, въ началѣ случились тоже какія-то непредвидѣнныя преграды. А потому, въ первыя два лѣта по покупкѣ земли, Яковъ Евстафьичъ, несмотря на слабое здоровье, по временамъ навзжая на Богатую и проживая въ калмыцкой кибиткѣ, разбитой у онушки круглаго степного лѣска, сильно скучалъ.

Въчно озабоченный хозяйствомъ обширныхъ имъній и тяжбами съ казной и съ сосъдями, Яковъ Евстафьичъ, хотя безпрестанно ъздиль то въ губернскій городъ, то въ столицы, и съ виду былъ угрюмъ, но ничего онъ такъ не любилъ, какъ сидънья дома, въ зеленомъ шелковомъ халатъ на бълыхъ мерлушкахъ, да слушанья разсказовъ Ашеньки, на которую онъ, впрочемъ, дома то-и-дъло ворчалъ. А тутъ, вмъсто лъсныхъ береговъ Донца и густо-населеннаго Пришиба, дикопорожвяя и глухая степь.

Яковъ Евстафычъ любилъ, когда въ комнатѣ, гдѣ онъ спитъ, водятся сверчки. И если они иной разъ оттуда исчезали, онъ отряжалъ Ашеньку къ кому-либо изъ сосъдей. Анна Петровна останется въ гостяхъ ночевать, разстелеть на нолъ простыню, станетъ водить шпилькой по зубъямъ коснаго гребня, подманитъ тѣмъ изъ-за печки и изъ щелей нѣсколько сверчковъ и привезетъ ихъ въ коробочкъ мужу. А иногда и самъ Яковъ Евстафычъ наловитъ пѣвуновъ у кого-нибудь изъ дворовыхъ и напуститъ себъ въ опочивальню. И по цълымъ вечерамъ, особенно зимой, сидитъ, бывало, у окошка и слушаетъ, приговаривая: «эка хорошая музыка! Точно скрипачи! Лихо сладились! Семь человътъ сегодня пѣло». Приказчикъ Портяной зналъ обычай барина и, разбивъ кибитку у лѣсного круглячка, въ пер-

вое же лъто и прежде всего то сухарями, то кашей привадилъ туда цълую пъвческую капеллу разнообразнъйшихъ полевыхъ сверчковъ, которымъ въ окресткой травъ вторили тысячи товарищей.

Во второе лето Яковъ Евстафыичь сталь брать въ побывку на Богатую учителя Иванушки, Григоревскаго. Это быль рослый и худой бурсавь, ввчно потвышій, робкій и молчаливый, разъ въ мъсяцъ аккуратно напивавшійся мертвецки и ходившій въ длиннополой нанковой пар'в ярко-желтаго цевта, такъ что издали казался большою канарейкой. Яковъ Евстафьичь дюбиль съ нимъ поспорить о философіи и о тайнахъ природы, такъ какъ Оедоръ Степановичъ быль только мистикъ, а Яковъ Евстафыичъ къ тому же еще и масонъ, изъ извъстной ложи Елагина: зомлякъ и однокашникъ по калетскому корпусу извъстнаго Мировича. За учителемъ водилась еще одна странность, доставлявшая много веселости Якову Евстафьичу. Изъ бурсы учитель вынесъ привычку самъ себъ мыть не только бълье, но и платье. Какъ заносить, бывало, то и другое, выждеть время и шиыгнеть вь саль къ пруду, либо на донецкія озера въ лісъ. Сниметь платье и былье, осмотрить все, отстегнеть изъ-подъ лацкана запасную иглу, заштопаеть что надо, да туть же и вымоеть, какъ следуеть, и развесить сущиться по кустамъ, а самъ разляжется въ прохладныхъ струяхъ на нескъ и думаетъ: «Воть, кабы сюда еще да бутылочку токайскаго, либо пивца! Яковъ Евстафьичъ поглядъть его нагишомъ за такими упражненіями и съ техъ поръ не могь на него смотръть безъ смъха.

Учитель прівхаль на Богатую не одинь. Онь привезь съ собою и любимаго Якова Евстафьича ручного журавля, по имени генеральсь-адъютанта. Нёсколько лёть этогь журавль жиль въ Пришибе и такъ привыкъ къ людскому обиходу и суете, что зимой не выходиль изъ птични, а летомъ, съ прочими домашними пернатыми, весь день гордою поступью шагалъ по двору, клюн всякую всячину и воюн за помои съ собаками и свиньями. Зато осенью, когда по небу тянулись вереницы его дикихъ товарищей, сёрый журка по цёлымъ днямъ стоялъ задумавшись и затемъ вдругъ начиналъ ногами и крыльями выдёлывать неистовые и уморительные прыжки. Но какъ генеральсъ-адъютантъ ни старался подняться въ воздухъ, его манило снова назадъ

къ землй, въ знакомый дворъ, и, осогнувъ садъ и выгонъ, онъ кругами опускался опять либо на крышу кухни, либо на погребъ и, какъ-бы для развлеченія, усердно принимался долбить носомъ какую-нибудь кухонную дрянь или бабье тряпье. «Что, братъ, журка, не полетишь?» подтрунивалъ надъ нимъ Яковъ Евстафьичъ, стоя на крыльці и вспоминая собственные молодые годы, дружбу съ Мировичемъ и службу въ піхотномъ Псковскомъ полку: «видно, не до товарищей теперь, дурачина! привыкъ, обабился, воть и сили!»

Но едва учитель привезъ журавля на Богатую, на другой же день, около вечера, заслыша въ камышахъ гортанные оклики привольной и дикой стаи товарищей, генеральсъвадъютантъ исполнился тревогой, пересталъ всть, а на утренней зарв какъ-то особенно иввуче и жалобно затурликалъ, взиылъ и улетвлъ безъ возврата...

Скука на Богатой окончательно стала завдать Якова Евстафьича, особенно къ концу второй осени, когда вчернъ поспъли жилья для переселенцевъ и, расчистивъ подъ гсрой три самородные влюча, онъ занялся пахотью и посъвомъ подъ вябь. Ничто не помогало: ни еженедъльныя каракульки сына, ни ласковыя цидулки къ милу-дружку отъ самой Ашеньки, что-де пора вамъ, свътикъ, возвратиться и ужъ не полонила-ль вашего сердца какая-нибудь захожая степнячка?» — «Гм! донынъ глупая баба ревнуеть!» подумаль Яковъ Евстафьичъ, почесывая въ затылкъ. Даже не веселили его поспъвшія господскія горницы, а наконецъ, и большой табунъ лошадей, съ восемью жеребцами, въ тотъ годъ переведенный сюда съ луговъ изъ Пришиба.

И воть, чтобы развлечь барина, приказчикъ Портяной однажды сказаль ему:

— Что, ваша милость? Послушайте-ка вы мои рабскія рѣчи. Сѣсть-то поселкомъ мы сѣли, строимъ жилья, нарыли колодезей и насѣяли хлѣба до вешняго теплаго дня. А сосѣдейто и не почествовали. Не купи двора, купи сосѣда! Съ сосѣдомъ жить въ миру, все къ добру.

— Такъ, такъ, Михайлушка. Да кто же туть у насъ, сважи ты мић, стоющіе сосіди?

— А хоть бы и г. Увакинъ, лейбъ-кампанецъ. Я ужъ вамъ не однова про него докладывалъ. Онъ въ Питерѣ служенъ, и сами, чай, изволили слыхать тётку нонъпней ца-

Counnella F. II. Hamunencearo, T. VII.

рицы, покойную царицу Лизаветь Петровну, съ товарищами посадиль на царство... Онь это събажаль куда-то, а нонь съ Покрова оцять туть объявился въ своемь владении.

- Ой-ли? Далече ли его зимовникъ и отъ кого ты пре
- Верстахъ въ пятнадцати сидитъ, внизъ по Лозовой, промежъ трехъ яровъ, коли слышали. Чунихинскій попъ про него сказываль. Баринъ ужъ старый, начетчикъ такой и преобдовый. Всъ его тутъ боятся, особливо-жъ женскій полъ. И коли ваша милость пожелаете его узръть надоть поосторожные: какъ бы не изобидълъ... Гордости великой человыкъ, хоть и изъ простыхъ рядовыхъ, извините, —въ столбовые вышелъ...

Якова Евстафыча, впрочемъ, трудно было испугать къмъ бы то ни было. Онь и обыска, и спроса по дълу Мировича не испугался, когда къ нему въ имініе налетіль самъ нам'встникъ, тутъ-же, впрочемъ, спасовавшій передъ его женой, извъстной самой государынь. А потому, недолго думая, онъ сперва отписаль къ Увакину выжливое письмо, увъряя его въ дружбъ и въ уваженіи, а затьмъ снарядняъ и посладь къ нему учителя Григоревскаго, съ поручениемъ просить его «лейбъ-кампанское благородіе» къ себъ на побывку въ гости. Семинаристь отъ сосъда быль привезенъ подъ такимъ сильнымъ подозрѣніемъ въ презнатной выпивкъ, что прежде всего надо было уложить его спать. А потомъ отъ него узнали следующее: «я-де Увакинъ, тоже старъ и хотя былъ, дъйствительно, когда-то рядовымъ, но ко мив ноив вздять не токма знатные дворяне, а и генералы, да и самъ г-нъ азовскій губернаторъ неоднова-де являлся ко мев на рандеву и какъ следъ отдавалъ решпекть по всей, то-есть, подобающей аттенціи! Инь пусть же господинъ поручикъ Яковъ Астафьичъ самъ первый ко мнв пожалуетъ».—«Фанфаронъ!» — фыркнулъ на это Яковъ Евстафынчъ. Однакоже, ділать нечего, перегодя, веліль запрячь четверию воронопѣгихъ и, передъ возвращеніемъ Пришибъ, самъ съвздилъ съ решиектомъ на рандеву къ сосъду лейбъ-кампанцу: «побалую его, пса, можетъ, когда и пригодится. Вонъ тятенька мой, Евстафій Даниловичь, всселиль на бандурь князя Никиту Юрынча Трубецкого и за то полкъ изюмскій получиль въ команду!»

Было свътлое, съ легкимъ морозцемъ, октябрьское утро. Калина Саввичъ Увакинъ встрътилъ Якова Евстафьича на завалинкъ бълаго глинянаго домика, гдъ онъ, въ волчьемъ тулупъ и въ рысьей шапкъ, грълся на солнцъ и изъ кувшина просомъ кормилъ голубей, и сперва показался гостю такимъ сгорбленнымъ и неварачнымъ старикашкой.

- Милостивъйшему патрону и сосъду привътъ! искательно заявилъ о себъ, выльзая изъ коляски, Яковъ Евстафьичъ.
- Прошу и меня нижайшаго жаловать; вашъ слуга!— съ аттенціей приняль гостя и хозяннъ: спасибо, что навъстили меня, Калину! Собачья старость воть пришла. Вишенье развожу, птичекъ кормлю, да въдомости про нонъщнія времена читаю. Не могу не благословлять Господа, что до-днесь, по воль ея величества, моей покойной императрицы Лизаветь Петровны (тутъ Увакинъ всталъ и сиялъ шапку), тридцать-пять лътъ на спокоъ состою и довольствъ, въ пречестномъ потомственномъ рассейскомъ дворянствъ помъщикомъ...

Гость и хозяинъ церемонно обнялись и присъли на завалинкъ.

Шестидесятильтяй, медвьдеобразный, съ былыми кустоватыми бровями, почти безъ усовъ, и еще желізнаго здоровья, старикъ Увакинъ, родомъ изъ новгородскихъ поповскихъ детей, какъ всталъ, говоря о Елисавете Петровив, за выпрямился, то оказался великаномъ сравнительно съ тщедушнымъ, лысенькимъ, слабымъ и невысокимъ гостемъ. Крупный и красный нось Калины Саввича показываль, что онъ полюбить украинскую терновку и часто прикладывался къ ея бутылямъ, укромно глядвишимъ наружу чуть не изъ каждаго окна. А громкія побранки, съ которыми онъ раза два прикрикнуль на вврнаго слугу, гороатаго Васильца, распоряжаясь пріемомъ гостя, говорили, что лейбъ-кампанецъ спозаранку уже быль на второмъ взводь. Отсыпавъ другь другу съ три короба изысканныхъ привътствій и комплиментовъ, новые знакомцы перешли въ вишневую куртину, гдв въ ту пору подсаживались новыя деревца, а оттуда въ горницу, и здісь Увакинъ начать бесіду о прошломъ и, главное, о великой перемънъ приснопамятнаго 1741 года.

— Не ть новь времена, Яковъ Астафыичъ, не ты! То ли

были дни, милостивый натронъ мой, кака чы матушку красавицу нашу, Лизаветъ Петровну, становили на царство! А наипаче и особливо, сказала она, лейбъ-гвардіи нашей нолковъ по прошенію престолъ родителя нашего мы воспріять изволили... А? Слышите? И гдь у людей упи и память? Такъ, именно этими словами она о насъ и прорекла всему світу въ манифесті? Наипаче же и особливо!.. Всему царству сказала!.. Да въдь этихъ словъ, отцы родные, не стереть, вамъ и не вырубить вовъки. Воть онъ, воть манифесть! читайте! — потащиль онь гостя къ ствив, на которой подъ стекломъ висьдъ сърый, въ большой листъ, манифесть 25-го ноября 1741. года.

Яковъ Евстафынчъ, видя волненіе Увакина, заговорилъбыло о хозяйстви и о своей семьи, о томъ, что вотъ и онъ небезызвистень двору, что царь Петръ Первый быль въ гостяхъ у его дъда, и родного его брата крестилъ на походћ, а что по матери онъ сродни знатному роду Никиты

Юрьича Трубецкого.

Не туть-то было. Увакинъ ушелъ въ спальню, воротился оттуда съ трубками кнастеру, одну подалъ гостю, а другую самъ закуриль, и на вопросъ, какъ же онъ попаль въ столь счастливый случай, началь:

— Діло было, коли хотите знать, милостивый патронъ мой, таково. Спали наши преображенцы въ свътлицахъ своихъ на Литейной. Ночь была — ухъ! — какова морозная. Я быль на часахъ, и только-что вышель изъ караульни, слышу скрипъ полозьевъ: детятъ шибко, но безъ шуму, трое саней по Литейной перспективь, да прямо-то къ нашей съвзжей избъ; на ея мъстъ послъ Спасъ Преображенія царица поставила. Изъ первыхъ саней выходить сама царевна Лизаветь Петровна, съ дохтуромъ Лестокомъ, а за кучера у нея графъ Воронцовъ; изъ другихъ саней вышли кое-кто изъ вельможъ, и гранодеры у нихъ на запяткахъ. Въ рукахъ у царевны крестъ, черезъ плечо кавалерія, лисьей шуб'в, а сама, сердечная, такъ и дрожить, вубъ на зубъ не попадетъ, не то отъ мороза, не то отъ страха. Барабанщикъ ударилъ-было тревогу; только дохтуръ кинулся къ нему и пропородъ кожу на барабанъ. Я бросился въ казармы, а ужъ здъсь и вся наша рота бъжить. «Что, рео́ята?—крикнула тугъ яснымъ такимъ да см'алымъ голосомъ царовна: — знаете ли вы, кто я?» — «Знаемъ, матушка

энаемъ!» — «Готовы ли идти за мной и готовы ли дочку самого паря Петра Перваго на престоль возвратиты: «Готовы жизнь положить! Давно тебя ждали!»—«Или вамъ, сважите, лучше быть подъ годовалымъ ребенкомъ, да подъ нъмцами?»—«Смерть нолокососу! Нъмцамъ смерть!»—загалдыла вся рота: — будеть имъ надъ Рассеей командоваты!»— «Никого, солдатушки, не убивайте, прошу я васъ; а лучше за мной въ тихости маршируйте; мы и такъ съ ними и съ ихъ партизанами справимси!>--сказала царевна, а изъ-подъ шапочки русыя косы выбились; рослая, да статная такая. «Лебедка ты наша!»—гаркнула опять рота и давай у нея кресть пеловать. Ружья зарядили, штыки завинтили, да за нею тихо по морозцу прямо въ Зимній Дворецъ. Кое-кого по пути отрядили супротивныхъ министровъ брать подъ карауль... Мив же съ товарищами, Кокорюкинымъ, Клюевымъ, Першуткинымъ и другими, пришлось брать подъ аресть самого младенца-императора. И никогда я того не забуду, милостивый государь мой! Вовжали это мы во дворецъ, да прямо къ нему въ спаленьку, нъмецкую няньку связами возлів, въ сосідней горниців. А здівсь у него-то, смотримъ, колыбель подъ занавъсочками, лампадка предъ кіотомъ. Я хоть въ солдаты за увічье купца попаль, но все же самъ быль изъ церковниковъ и маленько, знаете, туть было-позамялся, да опомнился и кинулся далье. У колыбели вскочила вся въ золоть и красивая такая мамканъмка, ломитъ руки, лопочетъ по-ихнему и, ниже мертвая оть страху, во всв глаза глядить, что это мы, солдатьё, вскочили такъ безъ указу, гремя ружьями и въ шапкахъ. Я съ Клюевымъ прямо къ колыбели, отдернули положокъ, пообождали чуточку и взяли на руки младенца... Онъ съ перепугу такъ и залился. А изъ дворца, слышимъ, товарищи ужъ шумно сносять на рукахъ самой регентшу Анну Леопольдовну, и кричить принцесса черезъ всв царскіе аппартаменты: «Иванушка, сынъ мой, названный императоръ! гдв ты?» Отвезли регентшу съ мужемъ въ домъ царевны, а потомъ въ крепость; императора жъ младенца Ивана, Лизаветъ Петровна взяла къ себъ въ сани... Проводили мы этакъ бережно царевну опять въ ея дворъ, гдъ прислуга подъ замкомъ оставалася. А здесь ужъ и все новые фавориты на-лицо. И видыль я, какъ старые фавориты набъгали и предъ новыми на кольнкахъ въ сенаторскихъ

мундирахъ ползали, и тв надъ ними громко смъялись, били въ ладоши и грозилися: «что, моль, итмецкая сволочь, измънники? теперь оробъли?» А на улицъ всю ночь говоръ, крики «виватъ», сходятся и строятся полки, столичная знать въ саняхъ, въ перегонку, подържаетъ, народъ валить и костры горять отъ дворца вплоть до Невской перспективы... Лизаветь Петровна туть опять вышла къ генералитету, въ шелковой дымчатой робъ, на большихъ фижменахъ, объявилась самодержиней и сказала: «съ нами Богь! Забываю старымъ старое, только служите верою по новому!» На утро по воеводствамъ поскакали курьеры, столица прислгнула, и вышель манифесть. Простого народа попамъ къ присягь звать не вельно. Всь возликовали. А ужь о нашей братіи, гранодерахь, и говорить нечего.-«Ну, сосъдушка, перебиль Яковъ Евстафычъ: извините, только слышно, что ваша рота вела себя не очень-то по приличію...» — «Оно, точно, милостивый патронъ мой, спервоначала солдаты наши маленько побуянили. Бросились по кабакамъ. Не обощлось безъ драки, буйства и непокорства пиквадроннымъ властямъ. Кое-кому изъ знатныхъ помяли и бока. Въ энту же ночь спьяну не мало растеряло по улицамъ шапокъ, сумокъ и всякой аммуниціи, а кто и ружье. Да и какъ было не пображничать! Самые знатные бояре намъ въ ту пору въ поясъ кланялись... Въ разъяснение же милосердныхъ сентиментовъ ея величества, скажу еще слово... Она и царевной добротой прослыла и по простоть въ гвардін крестила, не токма у начальства, но и у солдать, и на именины къ нашимъ создаткамъ хаживала. Въ первую жъ годовшину вшествія, Лизаветь Петровна объявила такія милости намъ, учрежденной своей дейбъ-кампаніи: поручиковъ роты произвела въ генералы-лейтенанты, прапорщиковъ въ полковники, барабанщиковъ въ сержанты и всілхъ, какъ есть. двъсти-пятьдесять восемь рядовыхъ въ потомственные дворине... А про капитанское місто вь той роть объявила: «его мы соизволяемъ сами содержать и оною ротой командовать! У подарила намъ, солдатамъ, матушканарина, въ Пошехонской волости отписныя помъстья ссыльнаго князя Меншикова, на каждаго рядового по двадцатьдевять душъ, повеліла всіхъ нась вписать въ столбовыя иниги и сама апробовала и утвердила каждому гербъ, съ гранатами и съ дворянскимъ шлемомъ, а поверхъ его съ

лейбъ-кампанскою шапкою. Воть онь тоже висить на стынь... Но и другіе прислужники царевны были награждены, какъ слідуеть, не токма что вельможи: комнатные слуги, Скворцовь и Лялинъ, пожалованы деревнями и дворянствомъ, аметердотель Фуксъ въ відомостяхъ заурядъ переписанъ въ бригадиры. И стали на вічную память по Россіи новые дворяне: Увакины, Кокорюкины, Мухлынины, Першуткины, Клюевы и другіе... И никто намъ, жалованнымъ, не указъ.

- Какъ же вы, Калина Саввичь, попали сюда изъ Пошехонья въ Украйну, на Лозовую? — перебиль опять Увакина Яковъ Евстафычъ.
- Сманил меня сюда, скажу вамъ, генералъ Штоффельнъ, у коего и вы землицу съ торговъ купили. Былъ у насъ съ нимъ за картами разговоръ: я съ его совъта и выпросилъ себъ чрезъ питерскихъ милостивцевъ обивнъ грунтовъ и перевелъ сюда своихъ подданныхъ.
 - Лавно?
- Годовъ ужъ съ двадцать. Да что! Мъста тутошнія и хороши; только неладно здісь ноні жить въ степи, хоть и сказывали затійники, что зділиніе берега кисельные, а ріки медомъ текуть...
 - Чѣмъ же неладно туть жить?
- Не тоть нонѣ штиль и не тѣ времена. Статское искусство верхъ взяло, а военное теперича въ забросѣ. Прожектисты въ гору пошли, и всѣ, кто былъ допрежде сего въ авантажѣ, вездѣ стали забыты. А въ Питеръ намъ, знатному шляхетству, видно, и не показываться. Дѣла тамъ теперича, милостивой патронъ мой, рыпаются не по закону, а по партикулярнымъ страстямъ. Да вотъ... подавалъ я, примъромъ, туда черезъ одного благодътеля нъкоторое нужное письмо н къ оному пункты. Что жъ? Ничего, какъ есть, никакой резолюціи до сего дня не добился.
 - Какіе же это вы подавали пункты?
 - Доношеніе, государь мой, доношеніе на одного здішняго непотребнаго озорника и, сказать къ слову, извините, моего жъ сосіда...
 - Что же онъ сделаль за провинность?
 - Изъ злой дурости выпустить на теперешнюю царицу, на матерь-то нашу, Екатерину Алексфевну, преострый и преподдый пашквиль...

Яковъ Евстафычть даже поблідніль и, сказавъ: «съ нами крестная сила!» спросиль:

- Какой пашквиль?
- Увъряетъ, представьте, не стъснять долгомъ присята, якобы новому нашему, въ семъ году затъянному городу Екатеринославу, быдто не сдобровать... Бабъи-де города не стоятъ! И какое-де нонъ житье за бабою, коли женской полъ опять царствомъ завладълъ и своимъ фаворитамъ отдалъ насъ всъхъ подъ суверенство. А? каковъ? И такихъ фармазоновъ-вольнодумцевъ териятъ?
- А кто сей пашквилянть, осм'ялюсь спросить? перебиль Яковъ Евстафычть, не безъ тревоги, подвигаясь къ двери и поглядывая, гдв его коляска.
- Кому же имъ и быть, какъ не гудяк и не картежнику, однодворцу Фролк Рындину? Ну! да пусть ужъ теперича всякая мелкота сильна и чинна стала. Только я ему мудрость-то и обиды его пособью. У меня случай есть въ новомъ фаворит Зорич И ужъ коли нон шніе потентаты не изведуть его, злого паскудника, такъ я самъ, за его качествы, на него лихъ пойду и силой покорю подъ нози сего супостата... Такъ-то, милостивецъ мой и сосъдъ! силою... И в р ты моему лейбъ-кампанскому слову... Говорю я это и тебъ, и всякому не на в теръ: кто моихъ властей не уважилъ, я того за рога. Последніе дни, видно, приходять и все туть!..

Не понравился лейбъ-кампанецъ Якову Евстафыччу, и онъ уъхалъ отъ него, повторяя про себя: «фанфаронъ, какъ есть, и знать презавистливый хвастунъ!».

Похвальбу свою лейбъ-кампанецъ, однако, вскоръ выпол-ниль дъйствительно.

Только поссорился Увакинъ съ Рындинымъ, какъ оказалось послѣ, не за преострый пашквиль на «новое бабье царство», а по другой причинъ, и кровавая развязка этой ссоры надолго взволновала тихія міста по Богатой!

Настала весна 1778 года.

Яковъ Евстафычть въ этомъ году прибыль въ хуторъ на Богатую ранте, такъ какъ сюда, въ концв апрвля, ожидали прихода ку пленныхъ подъ Тулой крестьянъ. Получивъ письмо отъ повъреннаго, что первый отрядъ переселенцевъ уже двинулся, прадъдъ мой, оставя калмыцкую кибитку, помъ-

отилом въ новомъ барокомъ домикѣ, выстроенномъ тутъ же на вагоры́в, надъ Богатой.

Это была въ полномъ смысле девотвенняя роскопиная степь, вакими девяносто леть назадь еще обладала тогдашняя азовская губернія. Плугь еще ръдко взрываль ся тучную почву, а стада мериносовъ мало топтали ся дикіс цвыты. Близъ новаго поселка не было почти никакихъ дорогъ, пром'в стариннаго чумациаго тракта на Бахмутъ, проходившаго оттуда въ нъсколькихъ верстахъ. На хуторъ стало оживлениће. По ночамъ въ окна барскаго домика долетало звонкое ржаніе восьми жеребцовь, сторожившихъ на свободъ косяки своихъ кобылицъ. Тихія річенки: Богатя, Богатонька и Лозовая, известныя теперь по Севастопольской дорогь. протекали здёсь среди густыхъ камышей, храня въ полноводныхъ плёсахъ множество рыбы и раковъ, а по топкимъ берегамъ непсчислимыя стада чаекъ, кроншнеповъ и дупелей. Долина Богатой, у одного изъ плёсовъ которой, на самородныхъ ключахъ, расположился новый хуторъ, отличалась особою, чисто степною красотой. Одинь берегь рыки упирался въ высокій зеленый горбъ, изрізанный красноглинистыми провальями и обрывами. Противоположный берегь представляль гладкую, какъ скатерть, сперва зеленую, а потомъ синвющую равнину, надъ которою вдали, въ жаркій день, точно струи водъ, откуда-то протягивались и играли волнистыя марева, а въ облакахъ кружили орлы, заставляя недавно закрипощенныхъ украинцевъ, работниковъ прадида, со вздохомъ следить за ихъ вольнымъ полетомъ и задумываться надъ недалекимъ времененъ, когда ихъ отцы и дъды такими же орлами носились надъ этими пустырями.

Девятильтній сынъ Якова Евстафынча, мой діздь Изань Яковлевичь, ходившій еще въ курточкі и воротничкахъ и взятый теперь отцомъ на Богатую, ясно помниль эту весну и приходъ перваго отряда переселенцевъ и любиль объ этомъ впослідствіи разсказывать.

Къ началу мая были готовы всв избы и другія строенія для престыять. Невдалегь же отъ небольшого домика, потомъ обращеннаго въ кухню, стали строить изъ навезеннаго, сплавного дивпровскаго леса большой липовый господскій домъ, а возле, на утеху сударыне Анне Петровнъ, разбили и насадили садъ.

Иванушкъ теперь была предоставлена полная свобс--- **

въ то время, какъ учитель бескдовалъ съ Яковомъ Евстафычемъ или читалъ «Утренній Свыть» Новикова, Иванунка съ приказчикомъ Портянымъ, страстнымъ охотникомъ, урывался съ ружьемъ, съ дудочкой или съ сътью въстепь, или съ удочкой и съ острогой къ синимъ плёсамъ рыки.

Въ лесномъ круглячке, у котораго вначале была разбита пибитка прадеда, Иванушка наметиль старый высокій дубъ, а на его вершинъ ординое гивадо. Сперва онъ, тайкомъ и безъ провожатаго, бъгалъ туда следить за жизнью и кориленіемь еще безперыхъ орлять, а потомъ сталь просить Портяного добыть ему и выносить для охоты орленка. Долго отнекивался приказчикъ: «и зачемъ вамъ, батюшка-барченобъ, мучить вольную Божью твары» Наконецъ, уступая настояниять барченка и не безь опасности быть заплеваннымъ освиръпълою орлицей, Портяной взялъ ружье и ножъ и, выглядывь подвечерний отлеть старыхъ орловъ на добычу, пользъ къ гиваду. Долго Иванушка стоилъ внизу, замирая оть велненія, ломая руки и прислушивансь, бакъ въ тишинъ ліска, подъ руками и ногами Михайлы, трещали вітви дуба и сыпался мелкій сушникъ. Но воть Портяной добрался до орлинаго гнизда и затихъ.

— Что, Михайлушка? — вив себя спросиль сниву мальчикъ: — сколько ихъ? да говори же!

Михапло молчаль.

— Ни одного!—прикнуль онъ со сміхомъ:—проворонили! Всів разлетвлись... Вонъ желтоносые попархивають по верхамъ! Зато, ногодите, молчите!— опять отозвался сверху дуба Михайло: — слыпите пісни? это наши переселенцы подходять. Отсюда видно ихъ, какъ на ладони: много, много тельть, идуть и пісни; пыль клубомъ, дітей несуть на рукахъ и пісни поють... Красныя паневы, білыя полстяныя шапки... Такъ и есть: наша арава! Пойдемте, барчукъ, имъ навстрічу...

И приказчикъ съ Иванушкой бытомъ пустились по нолю. Когда Иванушка подбъжалъ къ передовой толив переселенцевъ, и тъ узнали, кто онъ такой, старики и парни стали брать его на руки, ласкать и приговаривать: «соколъ ты нашъ! надежа наша и покровъ!» — а бабы наложили ему за пазуху дудочекъ и глининыхъ дътскихъ игрушекъ. А кто-то барченку подарилъ пойманнаго дорогой, мохнатаго и жирнаго сурка. Не доходя съ полверсты до усадьбы, пере-

селенцы разбили таборъ, поставили возы кругомъ, загнали туда (скотъ и лошадей, разложили костры и отрядили къбарину стариковъ.

— Что, ребята, притомилися? Милости прошу на хльбъ, на соль и на послушаніе! — сказаль Яковь Евстафычть, выйдя къ нимъ въ сумерки на крыльцо: —жилье вамъ слажено, хльбъ посвянъ, земли и воды вдоволы! Дъдъ мой, коли слышали, Данила Даниловичъ, населить два льсныхъ помъстья; а я вотъ, съ Богомъ, населяю степное! Будете чливы да радътельны, подарю васъ въ награду женъ моей Аннъ Петровнъ. Портяной! угости ихъ и распоряжайся...

Муживи поклонились, понурили головы и пошли. И съ угра таборъ сталъ размъщаться по отведеннымъ ему дворамъ. Дня черезъ три, съ пол, и опять подъ вечеръ, чутвій слухъ Портяного заслышаль новыя пісни и скрипъ тельгъ. Подещель и разбилъ костры другой отрядъ переселенцевъ. Къ концу же мая населился весь хуторъ; красныя панёвы и бълыя полстяныя щапки замелькали по полю, по ръкъ и по вновь окопаннымъ огородамъ, засверкали въ травъ косы, зачернъла новая пахотъ; а по свъже-натоптанной, широкой улицъ поселка загремъли звонкія пісни діввокъ и парней, не прекращалсь отъ сумерекъ вплоть до криковъ раннихъ, навезенныхъ изъ-подъ Тулы пістуховъ.

Такъ населился новый хуторъ прадеда на Богатой.

Въ то же лето Яковъ Евстафынчъ решился показать жене этотъ поселокъ и прибылъ сюда, какъ сказано въ его дневникъ, 24 юля, въ полночь, вместе съ нею, съ Иванушкой и съ учителемъ.

Это быль вторникь. А въ четвергь онъ объйздиль съ Ашенькой поля, луга и всй границы имбнія, показаль ей свіже-накошенные стога сіна, конны новаго жита и поспівавшій клинь великольной пшеницы-облотурки, и толькочто усілся съ семьей за борщь съ дикой уткой и за пироги съ перепелами, какъ подъйхаль гость, Калина Саввичь Увакинъ.

На этоть разь лейбъ-кампанецъ, узнавъ, что сосъдъ прибылъ не одинъ, а съ женой, да еще—съ былою фрейлиной настоящей императрицы, явился въ полной старинной преображенской формъ, въ зеленомъ кафтанъ, въ полсной портупев съ сумкой, въ шарфъ черезъ илечо. съ откланивать воротникомъ, въ нёсколько поёденной молью треугольной лейбъ-кампанской шапка, въ штиблетахъ и въ башмакахъ. Рёдкіе сёдые усы старика были нафабрены и вздернуты къ вискамъ, а въ рука его была офицерская трость—эспонтонъ.

Хозяйка, бывшая запросто, въ распашонкъ, но имъвшая обычай строго придерживаться приличій свъта, ушла и явилась за столь въ біломъ матерчатомъ робронъ, съ фалбарами, не забывъ наліпить на щеки нъсколько мушекъ, и, представленная мужемъ гостю, сдълала церемонный, по встмъ правиламъ моды, поплонъ.

- І'дів изволили, матушка, сшить эту робу? началь, послів первыхъ привітствій, съ учтивствомъ былого щеголя, снимая огромныя перчатки, Увакинъ.
- Къ генералынъ Херасковой въ Харьковъ посылала!— зардъвшись, отвътила Анна Истровна.
- Знатный вашъ городокъ Харьковъ, коли такія модныя швен завелися. А почемъ дали за фалбары?
 - Восемь рублевъ.
- Отм'єнно сшиты и къ лицу. Особенно сіи фестоны на лиф'є и сіи же отм'єнные на плечахъ буфики.
- За учтивствы благодарю! сказалъ и налилъ гостю наливки Яковъ Евстафыичъ.

Разговоръ перешелъ на хозяйство.

Увакинъ, между прочимъ, доложилъ, что у нихъ въ околоткъ, что ни день, становится все хуже и хуже. Передалъ шопотомъ и озираясь, что вездъ стали отъ злыхъ навътчиковъ бъжать крестьяне и что у него также сбъжали, недълю назадъ, семь лучшихъ подданныхъ. и хотя трехъ изъ нихъ онъ лично поймалъ на воскресномъ базаръ въ Барвенковой, заковалъ въ кандалы, привезъ обратно и посадилъ ихъ въ погребъ, но четверо остальныхъ все-таки безъ въсти пропали.

- Жаль ослупниковъ. Знатные были работники. И одна только теперь надежда у меня, матушка-сударыня, это—мой върный Василецъ!—прибавилъ Увакинъ:— все добро мое у него на рукахъ. И теперь вотъ, примъромъ, я къ вамъ уъхалъ, а онъ, я ужъ внаю, спустилъ собакъ и съ ружьемъ будетъ рабъ кругомъ усадьбы ходить, пока не обращусь вспять... Что дълать? Я вдовый, жениться, полагаю, поздно, хоть и скучно какъ-то одному, а все-таки жаль своего добра!
- Кого же вы боитесь, Калина Саввичъ?—спросила Анна Петровна, читавшая энциклопедистовъ, Гольбаха и Дюмарсе,

и не любившая старческихъ жалобъ на новизну: — вы, можно сказать, имперію спасли, а туть неспокойны и сумнительны.

- Ничего я, матушка, не сумнителенъ! Только мало ли злыхъ людей! Фармазоновъ все более и более разводится. Вотъ, хоть бы и соседъ мой, Рындинъ... Ну, да я ли до него не доберусь...
- Ахъ, всв-то вы, мужчины, погляжу я, неважны таковы!— усмъхнулась Анна Петровна: —сваритесь и грозитесь, а ничуть это не славно! Лучше бы жили въ миру. И какіе туть у насъ фармазоны?
- И то правда, Калина Саввичъ, —подтвердилъ хозяинъ: бросьте вы этого Рындина, да разскажите намъ лучше, что новаго?
- Вотъ, началъ Увакинъ: какъ намедни гнадся я за монми бъглецами, прочиталъ я, доложу, у капитанъ-исправника листъ въдомости петербургской, и въ этой въдомости прописано, якобы на Невской першпективъ нъкій щегольгусаръ Волокитинъ раздавилъ рысаками одну простую бабу, и потомъ якобы у насъ скоро опять быть войнъ...
- Довольно съ васъ погрома и Емельки Пугачова, да хоть бы и походовъ Задунайскаго!—проворчалъ Яковъ Евстафьичъ:—повысосали съ насъ денежекъ! Пора бы намъ ужъ и отдохнуть...
- И еще въ той же въдомости, продолжалъ Увакинъ: изъ амитердамскихъ курантовъ прописываютъ, якобы у французскаго короля при дворъ представляли преотмънное итальянское дъйствіе, именуемое паштораль, а потомъ его величество забавлялся машкарадой.
- Что вы мив, Калина Саввичь, все про французскаго короля, да про его машкараду!—съ досадой перебиль и закашлялся Яковъ Евстафынчь:— ваши же, вить, милостивцы Шуваловы у насъ эту французскую дурость въ общую моду ввели. Я, сударь, въ перепискъ съ Трубецкими.. Дай-ка Иванушка, письмо отъ князя Сергія. что мы привезли съ собою.
 - Что же пишеть князь Сергій?
- А воть, прислушайте... «А у его-де сіятельства, у бывшаго гетмана Разумовскаго, давали презнатную комедію La foire de Hisim такожде были у него оперы, и на техъ операхъ девки итальянки и кастрать пели съ музыкой»... Воть вамъ и бывшій гетмань всея Украйны! кастратовъ

слушаеть! Тьфу! А еще римскими доблестими величаются. То ли діло здісь у вась, на Украйні, по простоті! Не такъ ли, Калина Саввичь?

Увакинъ задумался и вздохнулъ.

— Мъста, повторяю, здъшнія хороши!—отвътиль онъ: слова нъть! Только, милостивый патронъ мой, повторяю вамъ, мало все-таки защиты намъ здъсь оть озорниковъ... того и гляди, тебя изобидять!

«Ну, тебя обидишь! — подумаль Яковь Евстафычь, — найдется такой человысь!»

Послѣ обѣда гость и хозяинь соснули, потомъ опять угощались наливкой и сластями. А вечеромъ Яковъ Евстафьичь велѣлъ пригнать ко двору табунъ на показъ сосѣду.

— Смотрите вы у меня, —повелительно сказаль при этомь Увакинь табунщикамь Якова Евстафыча: —межи вамь указаны, а ходите вы инова и по моимъ владеніямъ. Ой, берегитесь; лють я, Калина, за свое добро! Разъ пригрожу, два, а тамъ и стрілять по васъ изъ винтовки стану, какъ наскочу, либо батогами до полужива задеру»...

«Не стесняется его лейбъ-кампанское благородіе! — подумаль, вспыхнувъ отъ досады, Яковъ Евстафынчъ, — сущій волкъ, волкомъ и умреть. Ну, да посмотримъ! И я тебя изловлю; овцы твои на водопой ко мні на луга, слышно, перебыгають. Только я стрыять тебя не стану, а свяжу своими молодцами, да прямо въ судъ, хоть ты и чванишься, что царство спасъ».

Послѣ ужина хозяева заговорились съ гостемъ за полночь. Увакинъ собирался въ новооснованный Екатеринославъ, и Анна Петровна надавала ему порученій по дому: купить чаю, сахару, вина. Но едва собесѣдники разошлись по горницамъ и заснули, какъ отъ двора Увакина прискакалъ на взмыленномъ конѣ чуть живой отъ страха Василецъ и объявилъ въ окошко разбуженному Калинъ Саввичу, что на его усадьбу въ эту самую ночь напали съ незнаемыми людьми Рындинъ и насильно выкралъ и увезъ къ себѣ во дворъ его рабыню, молодую и весьма красивую ключницу, Улиту.

Бъшенству старика не было предъловъ. Онъ выскочилъ на крыльцо въ одномъ бъльъ и прежде всего ухватилъ за горло и чуть не задавилъ въстника.

— Коня!— заревыть онь: -- коня? Какь? Меня обидыть?

Гдв же были другіе молодаы? Гдв были собаки? Ты, вражій сынь, выдаль и живь? Меня, жалованнаго-то?..

И, какъ буря, понесся онъ сперва къ себь на хугоръ, побудилъ и, созвавъ уцелевнихъ пошехонцевъ, далъ имъ самопалы и топоры, посадилъ ихъ верхами на коней и съ разсветомъ поскакалъ къ усадьбе Рындина. Однодворца, разумется, дома не засталъ, перевязалъ его небольшую дворню и съ четырехъ концовъ зажегъ его дворъ, овечьи загоны и хлюбный токъ.

Вѣтеръ раздуль пожаръ, а Увакинъ до поздняго вечера, рыча, какъ дикій вепрь, ходилъ и бѣгалъ кругомъ, подкладывая огонь-тамъ, гдв плохо горьло. На другое утро онъ опять явился сюда съ плугами и съ боронами, перепахалъ испепеленное дворище, изъ собственныхъ рукъ засѣялъ его гречихой и, заборонивъ пашню, отъъхалъ во-сволси.

— Пусть песій сынъ помянеть меня, лейбъ-кампанца, по въка...

Песій сынъ, однако, тоже не дремалъ.

Онъ подалъ на Увакина въ судъ челобитную, отрекаясь отъ похищенія Улиты, якобы волей отопедшей къ нему, и отыскивая съ обидчика тысячу рублей за убытки отъ поджога и за обиду.

Явилась полиція. Начался окрестный допросъ. Яковъ Евстафьичь, втайні радуясь грозів надь самовластнымь сосівдомь, который изъ-за личной ссоры выдаваль въ доносів Рындина за франмасона, тімъ не меніє, навівстиль его, съ участіємъ сталь совітовать ему помириться съ Рындинымъ и даже отпустнять къ нему, для писанія отвітовъ, учителя Иванушки.

Но не таковъ быль Калина Саввить, чтобы помириться со всякой мелкотой.

Вслідъ за началомъ розыска, видя, что безуспішно бросаеть чиновникамъ послідніе рубли, Увакинъ черезъ Васильца провідаль, что Рындинъ съ его рабыней-біглянкой скрывается у попа, въ слободі Чунихиной, и рішился расплатиться съ нимъ до-чиста.

Подъвхаль въ сумерки верхомъ къ попову огороду, залегъ въ капустникв, у садоваго плетня, выждалъ, да собственноручно изъ винтовки, въ присутствии похитителя, наповалъ и убилъ Улиту...

Следствіе возгорелось съ новой силой. Власти переполо-

шились. Дали знать и знакомцу Увакина, губернатору, спрашивая, какъ быть съ такимъ казусомъ со стороны столь важной особы, обитавшей въ ихъ губерніи?

Но ни суду, ни губернатору не удалось изречь своего приговора надъ Увакинымъ.

Улита была женой одного изъ техъ беглецовъ, которыхъ Калина Саввичъ незадолго изловилъ и, несмотря на передряги по следствію, продолжаль держать въ кандалахъ въ подваль.

Затворники отбили кандалы, вырвались ночью изъ полвала, взяли еще кое-кого изъ своихъ, върнаго Васильца утопили въ колодцѣ, а лейбъ-кампанца, у котораго въ то время ночеваль и опять сильно подгуляль учитель деда. Григоревской, стащили съ постели и свазали: «ну, господине, теперь и съ тобой расчеты!»

И какъ Увакинъ ни модиль ихъ и ни кланялся имъ въ ноги, вынимая изъ сундука какія-то бумаги, крича о помощи въ окно и объщая всъхъ выпустить на волю, отдать имъ все добро и отъбхать въ невъдомыя земли, пошехонцы вытащили его изъ комнать и, въ полной лейбъ-кампанской форм'в, повъсили его на любимой и имъ же нъбогда посаженной грушъ, а сами, связавъ полумертваго отъ страха семинариста, разбѣжались.

И хотя, по словамъ дневника прадъдушки, «сей неподобный афронтъ» отъ подданныхъ быль содъянь лейбъ-кампанцу «по его же квалитету и по бездыльнымъ и противнымъ онаго жъ поступкамъ», темъ не менее, Яковъ Евстафычъ, вспоминая ли собственныя волокитныя прегръщенія, или въ самомъ дёлё жалья сосьда, тогда же разлюбиль новый хуторъ на Богатой и болье въ немъ никогда не бываль.

А за полчаса до кончины, умирая оть чахотки и удивляясь, что не видить свечи и не слышить более любимыхъ сверчковъ, понялъ, что приходитъ смерть, не безъ чувства простился съ женой и съ восемнадцатилътнимъ сыномъ, первую выслаль изъ комнаты, а второму сказаль следующее:

«Берегись ложныхъ друзей и тяжбъ, а такожде смълыхъ прожектистовъ, охотниковъ до дворскихъ и всякихъ перемънъ. Красивыхъ же женщинъ берегись и удаляйся пуще всего... Ихъ альяниъ-не радость, а пагуба, тлень и вапустьніе души!»

III.

именины прабабушки.

Именины моей прабабки, Анны Петровны, праздновались въ день св. Анны пророчицы, 3 февраля. Именины другихъ родныхъ, не только дъдушки, но даже и бабушки, можно было еще пропустить, — этихъ же именинъ ии въ какомъ случаъ.

Уже за нъсколько недъль до 3 февраля, прівзжаль, бывало, отъ ен невестки, моей бабушки, къ ен женатому сыну и замужнимъ дочерямъ нарочный съ письмами.— «Всв ли здоровы?» — спрашивала ихъ бабушка: — «пора бы собираться къ именинамъ маменьки». -- «Твоя, милый другъ, «жонушка»,---писала она сыну: «пораньше позаботилась бы изготовить все, что нужно дітямь для дороги,—шубки подлиннъе, сапоги теплые, на барашкахъ, да и чулки шерстяные. Дъвочку возьмите съ собой непремънно; а сына оставьте съ мамкой; еще простудите какъ-пибудь. Прівзжайте зараніве, чтобы потомъ что не помещало. Матушка-сударыня, сами знаете, уже стара; Богь въсть, много ли ещо достанстся намъ поздравлять ее съ дорогимъ днемъ ея ангела».--При этомъ въ гостинецъ присылались замороженные золотые караси, съ надписью: «изъ Великаго села» или огромные кариы---«изъ озера Курбатова».

Если на приглашение отвъчали неточнымъ объщаниемъ, а только завърениемъ, что-молъ постараемся, когда все будетъ благополучно, —то являлся вторичный посолъ, съ совътами, какъ лучше поступить въ такомъ случав. — «Теперь такіе колода» —писала бабушка: — «запрягите крытый возокъ, да возъмите провожатыхъ-верховыхъ; ночуйте въ дорогъ у такого-то, а въ такой-то деревнъ покормите лошадей, — всетаки будетъ не такъ тяжело и надежнъе». —И это повторялось ежегодно, передъ каждыми именинами.

Родные събажались наканунв. Въ день именинъ, утромъ, всв шли къ прабабушкв съ поздравлениями. Этимъ заправила бабушка. Входя къ сыновыямъ и къ дочерямъ, она говорила: «Пора къ сударынв-матушкв!»—осматривала наряды дочерей и внучатъ, и выходила въ залъ большого дома, гдв ее ждалъ мужъ и сосвдние и дальню гости.

Всв разодытые, предшествуемые бабушкой, отправлялись

по дорожкѣ, усыпанной пескомъ, къ именинницѣ, съ пожеланіемъ добраго утра. Внукамъ и правнукамъ строго приказывалось при этомъ сидѣть у нрабао̂ушки смирно, не шептаться, слушать, что говорятъ старшіе, и, если прабабушкѣ будетъ угодно заговорить съ кѣмъ-нибудь изъ дѣтей, то отвѣчать ей, разумѣется, стоя.

Прабабушка жила въ особомъ флигель, подъ камышевою крышей, вправо отъ дома. Крыльцо было посрединъ флигеля; изъ передней нальво была большая угольная комната, прабабушкинъ залъ. Въ ней, посрединъ, стоялъ овальный стоять, всегда накрытый тонкою, голландскою скатертью. Передъ небольшими окнами стояли краснаго дерева, съ броизой, стулья; между окнами — такіе же столики. На одномъ изъ нихъ, передъ зеркаломъ, красовались, въ видъ бесъдки, со стекломъ, англійскіе часы Нортона, подарокъ прабабушкѣ императрицы Екатерины II. Они указывали не только числа мъсяца, ио и ущербы луны, въ видъ серебряной головы, всходившей и заходившей надъ голубымъ небомъ, усвяннымъ золотыми звездами, и каждый часъ, и четверть часа, исполняли пріятную музыкальную мелодію. Эти часы теперь хранятся у одного изъ ся правнуковъ и все это необыкновенно точно продълывають до сихъ поръ.

Направо отъ залы находилась общирная опочивальня, она же и пріемная гостиная прабабушки. Здівсь, въ простінкі, между окнами вь садь, передь овальнымь туалетнымъ зеркаломъ прабабушки, на резномъ, съ позолотой ломберномъ столь, красовались два огромныхъ бронзовыхъ канделябра, каждый о пяти восковыхъ свъчахъ, и рядомъ съ ними, на массивномъ серебряномъ подносв, съ ножками, стоиль серебриный кофейникъ, тоже съ ножками и съ серебрянымъ цвъточкомъ на крышкъ, такая же сахарница и тонкаго саксонскаго фарфора чашки, въ видв крохотныхъ прямыхъ стаканчиковъ, съ ручками и рисунками, тушью и золотомъ, изображающими розы, въ бутонахъ, и листья. Если именицный объдь прабабушки быль во флигель, го въ ел спальна потомъ подавался роскошно-сервированный десертъ, изъ варенья, пастилы и фруктовъ въ сахаръ, при чемъ восковыя світи зажигались, кромів канделябровь, и въ кенкотахъ по стінамъ. При движеніи воздуха, світь этихъ свічей очень затьйливо играль на потолкь, изразцовой печи и на овальной рам'в туалотного зеркала, искусно составленной

изъ крохотныхъ зеркальныхъ кусочковъ, что очень зани мало дътей.

Вдоль ствы, противъ двери изъ зала, помъщалась прабабушкина кровать. На ней лежало горкой иъсколько подушекъ и подушечекъ, въ тончайщихъ бълыхъ наволочкахъ, съ кружевными оборками, и темнокоричневое атласное одълло, подшитое голландскою простыней, съ бълымъ, на четверть кругомъ, отворотомъ по атласу.

Прабабушка, принимая своихъ и постороннихъ гостей, обывновенно сидъла на этой постели, спустя ноги на скамеечку изъ краснаго дерева, съ вышитою гарусомъ подушкой, и облокотясь объими руками на широкій, покрытый ковровою скатертью, лаковый столъ, за которымъ она всегда и объдала. За общій столъ въ большомъ дом'є сына она, въ последніе годы, почти не являлась, по миснію иткоторыхъ, нотому, что ужъ слишкомъ, пожалуй, было бы много чести, если бы она стала объдать съ прочими, а скор'є всего—ей просто было спокойнъе трапезовать у себя одной.

Вправо, за кроватью прабабушки, была дверь въ девичью, а еще правве за дверью, въ углу опочивальни, красивая большая, изразцовая, съ зелеными, желтыми и синими разводами, голландская печь, на ножкахъ, съ узенькою лежанкой, на которой дети обыкновенно чинно-рядкомъ и усаживались. Здесь надъ лежанкой, въ особой печной впадине, въ фарфоровомъ соусник постоянно лежали вкусные только-что испоченные прабабушкины душистые и удобные крендельки, лепешки, сухарики и бублики, -- брать которые детямъ позводнаось охотно. Они этимъ всегда пользовались столь усердно, что одна изъ правнучекъ Анны Петровны туть же, однажды, выломила себъ кренделемъ расшатанный передній зубъ. Этоть зубъ, впрочемъ, былъ у нея еще слабый, молочный и потому снова вскорь успынно выскочиль на томъ же самомъ мысты. Но столь необыкновенный казусъ произвель тогда на остальныхъ детей особенно сильное впечатленіе, какъ событіе, совершенно неожиданное и выведшее всъхъ изъ обычнаго, церемонно-важливаго положенія. Дети съ тахъ поръ, до кончины прабабушки, идя къ ней съ пожеланіями добраго утра, обыкновенно ощупывали свои зубы, но шатается ли какойлибо изъ нихъ.

Ноль въ опочивальнъ прабабушки быль устланъ боль-

шимъ, домашней работы, ковромъ, съ бълымъ фономъ и зеленою каймой, по которой были разбросаны алыя розы.

Войдя въ опочивальню прабабушки, всв церемонно и важно повдравляли ее съ именинами, цілуя ей руку, а она, сиди на своей постели, обнимала дітей, внуковь и правнуковъ, а остальнымъ ласково кланялась. Затемъ все чинно садились по м'ястамъ. Анна Петровна всегда была одъта въ черное платье, съ длиннымъ шлейфомъ, изъ плотнаго шелковаго левантина, съ тонкимъ, въ видъ дымчатой волны, висейнымъ платкомъ на шећ, въ беломъ чепце и въ мерлушковой, длинной шубкъ поверхъ плечъ, покрытой темнымъ атласомъ. Лицо у прабабушки было необыкновенно-былое и важное. По обычаю времени, она бълилась до самой кончины. Каріе глаза прабабушки, въ молодости очень красивые, и на старости были привлекательны и очень оживлены. Зубы у нея были такъ свъжи и кръпки, что она и въ преклонные годы щелкала ими каленые орбхи. Руками же она изстари щеголяла. Онъ у нея были маленькія, бълыя и до того нежныя, что почти не отличались отъ батистовыхъ манжетовъ, выходившихъ изъ-подъ рукавовъ ея чернаго

Тогда и посяв, всв съ особенною похвалою отзывались о бвлыв прабабушки, которое у нея было поистинв образцовое, — тонкое, бвлое, какъ снвгъ, и все заграничное; притомъ его мыли у нея особенно щегольски. Въ чистыхъ, свътлыхъ комнатахъ Анны Петровны всегда привлекательно пахло восковымъ жасминомъ или чайною розой, любимыми цвътами прабабушки. Когда у нея говорили старшіе изъгостей, младшіе, даже женатые, только молча имъ внимали. Когда же изволила говорить сама прабабушка, то уже всв положительно молчали. Дамы говорили съ нею, сидя; мужчины же — не только вставая, но и изысканно-въжливо кланяясь.

Никто у прабабушки и въ ея присутствіи не курилъ. Дѣдушка, съ трубкой своего кнастера, уходилъ для того въ оранжерею или портретную; а куряки изъ другихъ мужчинъ, особенно офицеры сосъднихъ уланскихъ полковъ, для куренія изъ своихъ пенковыхъ трубокъ, въ лѣтнее время, скрывались даже въ садъ, въ бесъдку, стоявшую тогда вовлъ такъ-называемой придворной груши, подаренной прабабушкъ императрицей Екатериной. Анна Петровна вывезла когдато эту группу, маленькимъ отводкомъ, изъ Царскаго Села, и собственноручно посадила ее у пруда, въ Припибскомъ саду.

Во время именинаго объда, когда онъ происходилъ во флигелъ прабабушки, она, хотя кушала особо, въ своей опочивальнъ, нъсколько разъ, однако, въ теченіе стола выходила оттуда и удостонвала по нъскольку минутъ постоять за каждымъ изъ объдающихъ, облокотясь о спинку его стула и не обходи своимъ вниманіемъ никого. За однимъ просто, бывало, постоитъ, съ другимъ поговоритъ, того ласково потреплетъ по плечу, этому скажетъ что-нибудь привътливое или веселое, и опять уйдетъ. Дъти, въ особенности, удивлялись хвосту прабабушкинаго платъя, который за нею обыкновенно тянулся чуть не на сажень изъ другой комнаты. Имъ объясняли, что это не хвостъ, а шлейфъ, котораго она не покидала, въ память давно прошедшей моды и дорогихъ лъть своей молодости.

Ростомъ и фигурой прабабушка была представительна и красива, и въ ся домашнемъ обиходъ все было также хорошее, дорогое и даже роскошное, такъ какъ сама она была женщина изъ высшаго круга, съ въсомъ, и въ душъ истинная аристократка, причемъ и не подозръвала, что ся единственный, пятидесяти-пяти-лътній сынъ «Иванушка», какъ она его звала, передъ ея кончиной, уже промоталъ большую часть своихъ имъній. Она и умерла, убъжденная, что ея наслъдникъ и его многочисленная семья остаются послъ нея столь же богатыми, какъ была и она.

Обильный объденный столь на именинахъ прабабущки быль обыкновенно въ полдень. Лакеи, гуськомъ, торжествений несли изъ кухни въ ей флигель безконечное число блюдь, въ суповыхъ чашахъ, соусникахъ и разныхъ крынкахъ и горшечкахъ, а среди объда, за тостомъ въ ей здравіе, которое тогда пилось венгерскимъ, раздавался залігь изъ домашнихъ пушекъ, стоявнихъ среди двора, противъ крыльца флигеля и большого дома. Вечеромъ, при свъчахъ, подавался столь же роскошный ужинъ. Послъ объда, до ужина, гости играли въ карты, въ ломберъ или въ бостонъ, причемъ и прабабущка иногда, съ къмъ-либо изъ почетныхъ гостей, не покидая своей постели, играла въ пикетъ. Большею же частью она проводила время въ бесъдахъ съ гостями.

Непріятныхъ или печальныхъ разговоровъ у прабабущки

не допускалось, какъ не бывало и чровиврнего веселья нли громкаго сибха.

Все было въ м'гру. Когда она, вспоминая минувшія времена, заводила ръчь о какомъ-либо прошедшемъ событи, то налагала ото обстоятельно, не торонясь, а гости слушали ее, старалсь не проронить ни единаго ея слова. Такъ какъ детямъ строго воспрещалось, при ней, не только говорить или шептаться между собою, но даже шевелиться, то они, соскучивъ долгимъ, молчаливымъ сиденьемъ на изразцовой лежанкъ, обыкновенно одинъ за другимъ незамътно уходили, черезъ смежную дверь въ дівнчью, и оттуда, надівъ шубкии теплыя шапки, съ наушниками, вылетали въ посеребренный инеемъ, общирный, прабабущкинъ садъ, гдв на холив, на особыхъ подставкахъ, чернъли длинныя, чугунныя, запорожскія пушки, а у каменнаго грота выглядывала сврая «каменная баба», присыпанная пущистымъ снігомъ, точно въ біломъ серебриномъ чепці -- другая, таниственная прабабушка...

Однажды, въ такія же именины, послів радушнаго, оживненнаго об'яда, въ опочивальнів Анны Петровны остались за кофе, ликерами и десертомъ двое изъ старійшихъ и почетнійшихъ ея гостей, — містный предводитель и командирь сосійдняго уланскаго полка. Прочів гости на нісколькихъ столахъ играли въ залів въ карты; остальные ушли курить въ большой домъ.

Разговоръ у прабабушки зашелъ о современномъ покодъни женщинъ и, между прочимъ, коснулся неравенства лътъ въ бракъ. Полковой командиръ, ужъ далеко не молодой человъкъ, давно, какъ замъчала Анна Петровна, же спускалъ глазъ съ одной изъ ся родственницъ, совершенно молоденькой дъвушки, и мътилъ посвататься къ ней. Неравнодушно поглядывалъ на дъвушку и совсъмъ старый предводитель. Прабабушкъ это сильно не нравилось, котя она ни тому, ни другому объ этомъ не говорила, такъ какъ и ови, со своими сокросенными, но очевидными помыслами, еще молчали.

— Нашу сестру, особенно изъ нопішнихъ, да еще молодую, — сказала Анна Петровна: — коли не сдерживать, не вразумлять, то сейчасъ свихнется и, рало вый и замужь, такъ станетъ рядиться, да мести хвостомъ, что разоритъ госнодина-мужа, либо, извините, хуже того, прямо стреметуха-егоза наставить ему рога.

Сказавъ это, прабабушка на минуту смолкла, ваяла со стола флаконъ съ какимъ-то спиртомъ, понюхала изъ него и оглянулась по комнатъ.

— Діти, кстати, всё разошлись,—произнесла она.—Хотя у меня что-то не совсёмъ свежа голова, могу вамъ, коли не наскучу, сообщить одно поучительное событіе, или даже, если хотите, трогательный анекдоть...

Дѣти въ это время, дѣйствительно, вышли одинъ за другимъ изъ комнаты прабабушки, кто въ садъ, кто въ конецъ двора — на ледяную гору, или съ няньками къ рѣкѣ, гдѣ сквозь ледъ на ужинъ ловили бреднемъ рыбу. Одинъ, впрочемъ, изъ правнуковъ Анны Пстровны, войдя передъ тѣмъ въ опустѣлую дѣвичью и не найдя тамъ своего теплаго платъя, присѣлъ, въ ожиданіи прислуги, у печи, за дверью, и невольно услышалъ и потомъ запомнилъ то, что разсказала тогда прабабушка.

— Это, други мои, было давно, —начала Анна Петровна: льть десять спустя посль основанія здішняго университета. Въ то время къ намъ изъ города, знакомясь съ краемъ, охотно взжали въ гости новоприбывшие профессора и доценты разныхъ наукъ: архитектуры, физики, ботаники, медицины и словесности. Все это были хорошіе люди, образованные, деликатные. Они отдыхали вдесь на приволью, особенно летомъ, -- да и намъ бывали полезны. Мы, съ Иванушкой, тогда только-что, съ Вожьей помощью, кончили ностройку нашего каменнаго пятиглаваго храма, -- вы, государи мои, нынъ такъ любуетесь имъ, а Иванушка, въ ту пору, успашно началь опыты съ посадкой на нашихъ пескахъ сосноваго ліса. Теперь это, какъ тоже вы знаете, уже не опыты, а настоящій на нісколько версть борь... Такъ вотъ, говорю, тогда къ намъ на отдыхъ въ гости ъзжали разные профессора и между ними немолодой уже адъюнять ботаники, — вы о немъ, чай, слышали, — Романъ Романычъ, -- послъ его перевели куда-то въ другой городъ. Онъ въ летніе залізды делаль у насъ экскурсіи въ лесь и степь ва травами, а зимой на святкахъ, раза два издиль съ Иванушкой на волчьи облавы. Быль онь, скажу, льть за пятьдесять, съ былыми, какъ сныгь, волосами, но еще бодрый, съ румянцемъ во всю щеку и подвижной,

. 🤝 🚉 гъмъ, страстно любилъ всятематривалась я къ нему и - гамъ попадалъ въ птицу или з д ве могла понять, -- а туда же, . 😘 самымъ записнымъ охотникамъ, надънетъ высокіе сапоги и мар- говорю я ему однажды: — нобеэля фрукости подвернетесь подъ чьеэтстрълять въ гущинв».--«Кому, судолиль оны -- того ружье не тронеть; 🗸 🛵 а иной разъ вижу дальше зрячаго. Не 😘 с оственной охоты! Думаю, покупаль изъ училуь же егерей. Онъ въ десяти шагахъ 🚬 🐅 ки (клъ, а разъ, Едучи къ намъ, принялъ ...: сия отца благочиннаго и, снявъ шляпу, умэ жжж ему.

- д раземвились.

👡 🚯 годы въ нашемъ же институть для бъдныхъ чаномка съ дътства и крестница моего покойнаго 👾 📞 имени Анна, какъ и я. По смерти брата, мы съ да да призрын эту Ашеньку и очень ее полюбили. За чети ласки и она насъ чтила, а меня звала маменьул. Кончин науку, разумъется, она, какъ вполнъ безутеления, поселилась у насъ. Прошло літо, кончилась осень 🙀 Б.Б. ГУППЛЯ ЗИМЯ. АШЕНЬКА, ВИДИМЪ, ОЧЕНЬ СИЛЬНО СКУЧАЕТЪ ча стичить институтть, а особенно по товаркамъ. Отпраздновын спитки; сталъ близиться день нашего общаго съ Ашенькой ангела. Ну, какъ воть и теперь, мы и тогда жили тоорыхъ знакомыхъ, а въ томъ числѣ кое-кого и иль гусории. Ито-то при Ашенькъ сказаль, что на именины къ намъ и на охоту, съ волчьей облавой, будеть и ищенть ботаники. Ащенька такъ и заальла. — «Романъ Гомпинать?» — спращиваеть меня. — «Онъ самый, —отвичала а разић ты его знаешь?»— «Какъ не знаты! онъ и въ пиституть у насъ обучаль ботанию, и мы его всь, какъ ость, осожили!« · -- Извъстно институтское обожаніе, — разумфотен, пустики. Я о техъ словахъ Ащеньки и забыла. Спри съвожаться гости; прівхаль и этоть доценть. Ашенька, какъ упиділа его, запрыгала оть радости и чуть но

кинулась ему на шею. Мы потомъ не мало упрекали ее за эту прыть; ты, моль, уже не приготовишка какая-нибудь, въ куцомъ коричновомъ платъв, а кончившал всв курсы барышня, и надо бы тебь, милая, честь и совысть знать. А она, просто, какъ ощалела, глазъ не спускаеть съ бывшаго своего ментора. Такъ, это, онъ побыль у насъ двое сутокъ въ гостяхъ-и убхалъ. Видимъ, Ашенька стала болве тосковать; на себя не походить, похудела, бледна, какъ кусокъ мелу, — вадыхаеть, плачеть. А летомъ этоть ботаникъ опять появился у насъ. Привезъ огромный свой гербарій, вь пачкахъ оберточной бумаги, ходить по степи и по лугамъ, собираеть и сущить травы, а мы, съ горничными и съ Анютой, помогаемъ ему по вочерамъ. Одинъ разъ сидълъ онъ со мною на балконъ, дивуясь льсомъ, посадкой Иванушки, — а лъсъ въ то время уже сталъ видейъ черезъ степь, съ нашего балкона, — да и брякнулъ мить: «Сударыня, Анна Петровна, не разсердитесь, если что скажу?» — «Говори. милый, слушаю; ты хоть и философъ, а добрый человъкъ». — Онъ помолчалъ. Замъчаю, утромъ быль онь вы голубенькомъ шейномъ шаткв, а тутъ уже сидвять въ розовомъ; фракъ съ иголочки и башмаки сь модными пряжками. — «Отдадите за меня вашу Анну Львовну, — спрашиваеть: -- коли осм'ялюсь посвататься?» --Я такъ и обомлъла. — «Да что ты, Романъ Романычъ, отвъчаю: - очумълъ, извини, что ли? ну, пара ли она тебъ? такое неравенство леть... совсемъ молодешенька, всего семнадцатый годъ, а тебъ за пятьдесяты! И кто, не сердись ты, въ мысли это втемящиль тебв?» -- Онъ покрасивлъ, какъ ракъ, и нъсколько секундъ не могъ вымолвить ни слова. — «Что же, сударыня, — говорить: — развѣ я могь бы быть столь дерзостень? Мнв подали некоторую надежду... Лукерья Ивановна по тайности открыла, что Анна Львовна не только не прочь, но даже ко мит расположена». — А эта Лукерья, надо вамъ сказать, была жена нашего тогдашняго попа, молодая, превзбалмошная и болтливая бабенка. — «Нашелъ сватью! — отвъчаю я ему: — да неужели, ну, скажи по правдь, — ты не боишься? Нашить тряпокъ и обвенчать-то васъ не долго, да и ты, повторяю, хорошій во всемъ человъкъ; но обдумалъ ли ты? не вышло бы чего не сталь бы после жалеты!» --- «Если вы, государыня моя, лично не препятствуете, — сказаль онь: — о себъ скажу. —

i

Сильно близорукій, онъ, между тьмъ, с те у ю охоту съ ружьемъ. Присматрин уливлялась. Ужь какъ онъ тамъ пот . . HITCHY **б**-Бгущаго звъря, никогда я не могда - Parie H бывало, примащивается къ самымъ _ **_ 333 MR\$**, возьметь на плечи ружье, надънет - EL DOCTIA жим русть. — «Куда вы? — говорю ±- № СУТКИ. **Р**ОРлись бы; еще по близорукос S CHHOMB, вимочдь дуло и вась пристрылять . глашивать и дарыня, утонуть, — отвытиль оп - is: шачеть. я хоть и близорукт, а иной .- в третій день **М** ли вамъ презентоваль собе - _ злиой сироты-**А** ужь гдь тамъ собственно: _ этам, онь еще эк юбезности у нашихъ же е тиба чинь, ласвидель, элжеть приличное **Терн**овый кусть за отца ть вь профес-У Сердно кланялся ему. 🚅 🧸 не плико съ женой. Слушатели разсмыли: , по высты. -- Ашенька — Въ ть годы въ 🚅 і 💤 ШІА; ВИДИМЪ, УМА л-Евиць, —продолжала - их во ся инвийо, и Сирота, интомка съ ть атк качества! -- «Ла Брата, по имени Ап - а и напрямикъ: -- ну, ванушкой призра ь ж крам инсанная и съ Вет наши ласки и 🕟 🜫 бабь у голубя-турмана, БОЙ. Кончивъ на - 1 · ч повыскочные — Ахъ, тріютная, посели :- :: **1** стъренькихъ-то, білень**л**аступила зим THE REPORT BOTH KAKE BOO, СВОЕМЪ ИНСП «донга». — Глупышъ ты, — го-святки; ма при на тебя адъютанть на тебя адъютанть **ТЕГЕНЬКОЙ** анг . и присведа в танцорь-назуристь, **ГЕЗАЛИ** ДОБРЫ! - 3 D. Bis scient be Lorobridge HOMESгубернін. : E> . . 1 ты — Куда! имчто но нодви-I I BI I'B Ha д наз яз светих а туть еще со-■ HTb 601 , под 25.—не томите мобящихся, не Tal Hundy т : : жить встадала и согласилась: - a pasic ту бутегы Ашеныг нашили иы CHTYP) BE TOTE SE TOJE OHA CTAIL K000 · CH, прина интересный, — сказаль пол-CE! зыя гавицамъ и впрямь все выходить LKT

тильно интересный, — сказаль пол-

даль, — ответила Анна Петровна. пакона: — конець быль, но, можно транный, а даже неожиданный. Мелотов, зажили совершенно счастливо. и посторонніе отзывались о ихъжитьви похвалой. Доценть усердно кодиль чиа на дому сверкъ того практически заудентами; посылаль ихъ собирать травы, наглядно сорты и свойства всякихъ быличиль съ ними въ порядокъ свой огромный, за • п собранный гербарій. Ашенька, въ чепчикъ мъ ситцевомъ или мусселиновомъ платъв,--ихъ или вдоволь всякихъ, деніевыхъ и дорогихъ, --ку наверхъ, въ его рабочую комнату, чай и кофе, ала по домашнему хозяйству и въ кухив. Слыша Анютъ, я сама однажды предприняла вояжъ въ и своими главами вид'бла — какъ ен вниманіе, такъ пиную ея любовь къ мужу. А ужъ о немъ нечего и лать. Сіздой и румяный селадонъ въ ней души не ль; подариль ей колье, - воть съ какою крупною жеминой! — колечко алмазное, и даже выписаль ей черезъ щовь изъ Парижа модную бархатную мантилью и шляпку андрильонъ. По цвлымъ часамъ сидвли они рядкомъ, вздыхая, обнимаясь и говоря другь другу завъренія въ любви. — «Диво дивное! — думала я, глядя на нихъ: — и впримь, — чего на свъть не бываеть? старь человыкь, а какъ къ себъ этакую юницу привязалъ!» Одно миъ не нравыось въ Ашенькв... Она была невоздержна въ насмыивахъ надъ нъкоторыми студентами, учениками мужа. Они и дваствительно были странно и неряшливо одеты, отвечать не уміли, а ужь о манерахь что и говорить. Одного студента. Анюта особенно вышучивала и шпыняла, хотя, повторяю, отчасти и подъломъ. Звали его Митей, фамилія-Сверчковъ. Это былъ сынъ бъднаго, городского чиновника, высовій, тощій, носатый и вічно молчаливый, съ длинными прасными руками, которыхъ онъ постоянно не зналъ, куда дъвать. Одно было въ немъ привлекательно: большіе, темные, ну, чудные глаза. Какъ теперь ихъ вижу, — такъ и просятся въ душу... А она надъ нимъ — ха-ха, хи-хи, проходу ему но даеть. Тоть, бывало, при мнв, придеть, усядется у нихъ за часмъ, уткнётъ носъ въ чашку. а поСильно близорукій, онь, между тыть, страстно любиль всякую охоту съ ружьемъ. Присматривалась я къ нему и удивлялась. Ужь какт онт тамъ попадаль въ птицу или бъгущаго звъря, никогда и не могла понять, — а туда же, бывало, примащивается къ самымъ записнымъ охотникамъ, возьметь на плечи ружье, надфиеть высокіе сапоги и маршируеть. — «Куда вы? --- говорю и ему однажды: -- побереглись бы; еще по близорукости подвернетесь подъ чьенибудь дуло и вась пристралять въ гущинв».--«Кому, сударыня, утонуть, - отвітиль онь: - того ружье не тронеть; а я хоть и близорукт, а иной разъ вижу дальше зрячаго. Не я ли вамъ презентоваль собственной охоты куропатокь?»— А ужь гді тамъ собственной охоты! Думаю, покупаль изъ любезности у нашихъ же егерей. Онъ въ десяти шагахъ почти ничего не виделъ, а разъ, едучи къ намъ, принялъ терновый кусть за отца благочиннаго и, снявъ шляну, усердно кланялся ему.

Слушатели разсмівялись.

- Въ тв годы въ нашемъ же институть для бъдныхъ девицъ, - продолжала Анна Петровна, - кончила учение одна сирота, питомка съ дътства и крестница моего покойнаго брата, по имени Анна, какъ и я. По смерти брата, мы съ Иванушкой призръзи эту Ашеньку и очень ее полюбили. За наши ласки и она насъ чтила, а меня звала маменькой. Кончивъ науку, разумъется, она, какъ вполит безпріютная, поселилась у насъ. Прошло літо, кончилась осень и наступила зима. Ашенька, видимъ, очень сильно скучаетъ но своемъ институть, а особенно по товаркамъ. Отпраздновали святки; сталъ близиться день нашего общаго съ Ашенькой ангела. Ну, какъ воть и теперь, мы и тогда ждали добрыхъ знакомыхъ, а въ томъ числѣ кое-кого и изъ губерніи. Кто-то при Ашенькъ сказаль, что на именины къ намъ и на охоту, съ волчьей облавой, будеть и доценть ботаники. Ащенька такъ и заалела. — «Романъ Романычъ?» — спрашиваетъ меня. — «Онъ самый, — отвъчала и:- а развѣ ты его знаешь?»-- «Какъ не знать! онъ и въ институть у насъ обучаль ботаникь, и мы его всь, какъ есть, обожали!« — Извъстно институтское обожаніе, — разумъется, пустяки. Я о тъхъ словахъ Ашеньки и забыла. Стали съезжаться гости; прівхаль и этоть доценть. Ашенька, какъ увиділя его, запрыгала оть радости и чуть не

кинулась ему на шею. Мы потомъ не мало упрекали ее за эту прыть; ты, моль, уже не приготовишка какая-нибудь, въ куцомъ коричновомъ платьв, а кончившал всв курсы барышня, и надо бы тебь, милая, честь и совъсть знать. А она, просто, какъ оппалела, глазъ не спускаеть съ бывшаго своего ментора. Такъ, это, онъ побыль у насъ двое сутокъ въ гостяхъ-и убхалъ. Видимъ, Ашенька стала болве тосковать; на себя не походить, похудела, бледна, какъ кусокъ милу, — вадыхаетъ, плачетъ. А литомъ этотъ ботаникъ опять появился у насъ. Привезъ огромный свой гербарій, въ пачкахъ оберточной бумаги, ходить по степи и по лугамъ, собираеть и сущить травы, а мы, съ горничными и съ Анютой, помогаемъ ему по вечерамъ. Одинъ разъ сидъль онъ со мною на балконъ, дивуясь лъсомъ, посадкой Иванушки, — а лесь въ то времи уже сталь виденъ черезъ степь, съ нашего балкона, — да и брякнулъ мив: «Сударыня, Анна Петровна, не разсердитесь, если что скажу?» -- «Говори. милый, слушаю; ты хоть и философъ, а добрый человъкъ». — Опъ помолчалъ. Замъчаю, утромъ быль онъ вь голубенькомъ шейномъ шаткв, а туть уже сидвать въ розовомъ; фракъ съ иголочки и башмаки съ модными пряжками. --- «Отдадите за меня вашу Анну Львовну, — спрашиваеть: -- коли осмелюсь посвататься?» --Я такъ и обомявла. — «Да что ты, Романъ Романычъ, отвъчаю: - очумълъ, извини, что ли? ну, пара ли она тебъ? такое неравенство лать... совсамь молодешеныха, всего семнадцатый годь, а тебъ за пятьдесять! И кто, не сердись ты, въ мысли это втемящиль тебъ?» —Онъ покраснъль, какъ ракъ, и нъсколько секундъ не могь вымолвить ни слова. — «Что же, сударыня, — говорить: — развѣ я могь бы быть столь дерзостень? Мив подали и вкоторую надежду... Лукерын Ивановна по тайности открыла, что Анна Львовна не только не прочь, но даже ко мив расположена». — А эта Лукорья, надо вамъ сказать, была жена нашего тогдашняго попа, молодая, превзбалмошная и болтливая бабенка. - «Нашелъ сватью! - отвъчаю я ему: - да неужели, ну, скажи по правдъ, — ты не боишься? Нашить тряпокъ и обвънчать-то васъ не долго, да и ты, повторяю, хорошій во всемъ человъкъ; но обдумаль ли ты? не вышло бы чего не сталь бы после жалеть!» — «Если вы, государыня моя, лично не препятствуете, — сказаль онь: — о себв скаж

ого, профессоръ астрономін. — «Ты куда это?» — спросиль астрономъ. — «На лекцію, сегодня о губоцвътныхъ буду читать, -- тарантиль Романь Романычь: --- но ты заметиль ли? въдь я, кажется, припоздаль?» — Астрономъ такъ и покатился со сміху, хохочеть и его сміхъ громко разносится въ пустомъ коридоръ. — «Что ты смъещься?» — «Да какъ же? оба мы поступили, какъ истинные философы, а сказать повърнъе, даже просто, какъ разсіянные колпаки! •---«Какъ такъ?» — «Да очень даже просто; відь согодня табельный, парскій день!»—Романъ Романычъ на это совершенно опъшиль и, тоже разсмъявшись, вышель съ коллегой на улицу. — «Куда же ты теперь?» — спросиль астрономъ. — «Домой, разумъется; въдь я, представь, послъ вчерашней экскурсін въ луга, спаль, какъ сущій богатырь, проспаль до восьми съ половиной и такъ сюда торопился, что даже не закусиль».—«Такъ зайдемъ ко мив на обсерваторію, — сказаль астрономъ: — во-первыхъ, это ближе, чить твоя квартира, а во-вторыхъ, мой вахтеръ намъ мигомъ нодастъ не только закусочку, но и инапсику; держу наверху для ради всякаго случая. Положимъ, фринтикъ у меня не столь будеть вкусень, какъ моккскій кофе изъ рукъ твоей юной супруги, — зато у меня на башив еще одна приманка... Представь, три дня всего назадъ уставленъ новый вынскій телескопъ, да какой? Разумыется, тенерь не ночь, планеть и зв'яздь мы сь тобою не разглядимъ; но прислана еще великолбиная, зрительная труба, и изъ нея видны не только твои подгородніе луга, но и дажье, вся окольность, чуть не до монастырской горы».--Романъ Романычъ былъ вообще любознателенъ, а туть еще и голодъ, отъ пробъжки утромъ и натощакъ по городу, сильно даваль о себь знать. Все еще раздумывая, какъ ото онъ такъ опростоволосился съ лекціей, онъ согласился и последоваль за коллегой...

Сказавъ это, Анна Петровна откупорила флаконъ, налила изъ него и сколько капель на уголокъ носового платка и потерла имъ у себя виски и за ушами.

— Голова у васъ, сударыня, болить?—спросиль предводитель: —давеча за объдней не простудились ли?

— Ничего, монъ ами, недолго договорить, кончу,—отвътила Анна Петровна.—Товарищи взощли на обсерваторив. Пока вахтеръ готовиль фринтикъ, астрономъ открыль одно

на банина, наставиль въ него подзорную трубу, сияль съ и стекла закрышку и навель рефракторь на окрестно-– «Другъ мой, смотри и любуйся, — сказалъ онъ: -какъ бы съ Монблана или Ризонгебирге... Духъ зачеть отъ столь дивнаго изобретенія людского ума!>--. . Романычь присъль на табуретку, наладиль степло елазу и сталь любоваться действительно диковиннымъдомъ, — голубыми въ легкомъ туманъ полями, темными льсами и контурами холмовъ. -- «Да, -- сказаль онъ, -- узнаю, вонъ дорога на Кавказъ. а это, вонъ, гора, должно быть, возя в монастыря, — какая даль! а это, постой, по-близи, такъ и есть, архіерейскій лугь... Я туда давеча послаль одного своего слушателя дополнить гербарій... Старательный и хорошій малый, м'ятить въ ученые. Пожалуй, разгляжу и его за работой среди луговъ... Нътъ, что-то не видно; должно быть онъ взяль напрямикъ черезъ льсь».-Романь Романычь, пока его коллега и сторожь ладили столь и ставили на него закуску, любовался видомъ окрестностей. Наконецъ онъ навелъ трубу и на предивстья города. Туть онъ уже прямо пришель въ восторгъ. -- «Ай, предесты — вскрикиваль онъ: — каково? домъ Андрея Оедоровича-какъ на ладони; даже его пеструю кошку видно; вонъ крадется по крышт къ воробьямъ... Василій Назарычь цвыты въ палисадники поливаетъ... постой, да что вто?.. такъ и есть, -- георгины и конвольвулосы, на тычинкахъ... все разберешь!.. ай, да рефракторъ! по чести, не труба, а чистое диво!»—«Да, инструментецъ изрядный, сказаль астрономъ: — а теперь, коллега, насчеть пинапсику! это будеть почище!»—Товарищи уселись, выпили и закусили. Хозяинъ вспомнилъ о недавно открытой кометь. Начавъ разсказывать о ней, онъ отперъ шкапъ, чтобъ достать и показать полученный ся рисунокъ.—«Что же это, однако? --- спохватясь, подумаль гость, --- я смотрыль на чужіе, а своего дома и не разглядьль». -- Онъ снова присыль на табуреть и навель рефракторь на свое предместье. Замелькали на стекит подгородные домики, огороды и сады; сталь видень, какъ бы въ десяти шагахъ, узенькій переулокъ и домъ протопопа. Романъ Романычъ разглядель знакомую красную крышу, тесовыя ворота, былье, развышенное по двору, для просушки, на веревкъ, и кучу поотопоповыхъ голубей на вышкв, у слухового окна:

ниже и раскрытое окно своего кабинета,—книжные шкапы, комодъ, картинки по ствнамъ и рабочій столъ, съ бумагами, передъ окномъ. Но вдругъ Романъ Романычъ вздрогнулъ и отпатнулся отъ трубы, не въря своимъ глазамъ. Онъ замеръ и нъсколько секундъ сидълъ, ни живъ, ни мертвъ.—«Еще водочки, коллега!—сказалъ товарищъ, доставал рисунокъ новооткрытой кометы:—смотри какая,—а хвостъ изогнутъ и сквозь него видны звъзды». Но ужъ куда тутъ было до водочки или до кометы. Романъ Романычъ протеръ платкомъ зрительное стекло, еще взглянулъ въ рефракторъ и надвинулъ на него крышку... Потъ каплями падалъ съ его лица...

Прабабущка снова замодкла.

- Что же онъ увидълъ? спросилъ предводитель.
- То, что и следовало ожидать, раздражительно ответила Анна Петровна, прикладывая носъ къ флакону.
- -- Непріятность какую-нибудь?—спросиль полковникъ: воры забрались въ кабинеть?
- Да, воры, отвѣтила прабабушка, только иного сорта... На диванѣ въ кабинеть сидѣлъ Митя, а рядомъ съ нимъ Ашенька, и оба они, обнявшись, цѣловались, какъ истые голубки.
- Возмутительно, дерзко и неблагодарно! сказалъ предводитель...
- Именно, монъ шеръ, неблагодарно, обратилась къ нему Анна Петровна, разведя руками: — совершивъ такоо открытіе, Романъ Романычь молча отошель оть трубы. Коллега знакомъ пригласилъ его къ столу. Они еще выпили по рюмкъ....«Такъ рефракторъ не дуренъ?» спросилъ астрономъ. — «Преотменный!» ответиль гость. — «И всо хорошо видно?» — «Все...» — Товарищи пожали другь другу руки и разстались. Точно на крыдьяхъ вътра Романь Романычъ понесся домой. Онъ шелъ, какъ облитый водою, съ портфелемъ подъ мышкой, и не грустилъ, а какъ-то странно усмъхался.—«Такъ тебь и надо, старый дуракъ!—разсуждалъ онъ, идучи: --совсъмъ сосулька, сморщенный грибъ, а тоже затівяль играть въ амуры. Поділомь ротозію, плюгавой размазни! Не такъ надо было смотрить за молодою, красивою женой!» -- Примчался онъ на квартиру и прямо на лъстницу. Услышала Анюта скрипъ ступеней, узнала шаги мужа и выбъжала къ нему изъ кабинета на пло-

щадку.—«Какъ?—спрашиваеть:—ты уже домой? а лекція?»— «Забыль я, милая, сегодня табельный день».—«Будешь пить кофій? только налить-готовъ».-«Охотної» отвітиль мужъ, а самъ вошелъ въ кабинетъ и окинулъ его глазами. Все въ немъ казалось на мъстахъ и какъ бы въ порядкъ. Одна только его шинель какъ-то странно была брошена на диванъ и свъсилась съ него до полу. — «Такъ пойдемъ же внизъ ко мив-сказала Ашенька:-тамъ и спокойнве, и не такъ жарко». — «Нътъ, я усталъ; давай сюда». — Анюта вышла на площадку и крикнула въ кухню стряпухъ: «Завари кофій, да неси наверхъ двв чашки; выпью и я».--«Нъть, три!» сказаль мужъ. Ашенька удивилась.—«Развъ ч еще кого ждешь къ себь» спрашиваеть. - «Да, жду одного пріятеля».—Туть Романь Романычь вынуль изъ портфеля свои записки и травы, разложиль ихъ на столь, сняль съ себя вицмундиръ и облекся въ покойный домашній шлафрокъ. Кухарка возилась съ посудой. — «Удивительные люди, эта прислуга!—съ нетерпъніемъ восклицала Ашенька: кипятокъ всегда есть и кофейникъ былъ на плить, а не несеты!»—Кофій наконець быль принесень.—«Ну, гдв же знакомецъ?» спросила Анюта, наливая пока двЪ чашки.--«Наливай и третью», сказаль мужь. Анюта налила. Романъ Романычъ всталъ со студа, быстро нагнулся къ дивану и приподнялъ брошенную на него шинель.-«Ну-ка, господинъ Сверчковъ, -- сказалъ онъ, увидя торчавшія изъ-подъ дивана, въ болотныхъ сапогахъ, ноги Мити и похлопывая по нимъ:--что конфузиться? вылёзайте, будемъ пить кофе». Еле живой отъ смущенія, весь красный и въ пыли, Сверчковъ выползъ изъ-подъ дивана, отряхнулъ на себъ платье и робко присълъ на край стула. — «Полно церемониться, -- воть ваша чашка, откущайте; да проси жегостя, жена!»---Ашенька не върила своимъ ушамъ и была готова провалиться сквозь землю. Сидя какъ на иголкахъ, она ожидала бурныхъ взрывовъ, грозы. Ничего этого, однако, не произопло. Мужъ налиль себъ въ чашку сливокъ, медленно пом'вшалъ ложечкой и, обмакивая печенье въ кофій, сталь съ удовольствіемъ прихлебывать. Видя его спокойствіе, началь пить и Митя, а за нимъ и Ашенька.-«Это съ инбиремъ и корицей?» обратился Романъ Романычь къ женъ, указывая на поданные сухарики.—«Да».— «Ты сама некла?» — «Сама...» — «Превкусно...» — «Что за Сочиненія Г. П. Данилевскаго. Т. VII 10

диво?-разсуждала Анюта:-неужели онъ ровно ничего не замітиль? и могла ли до такой степени дойти его ученая, не оть міра сего, простота? Что же? весьма возможно; онъ, по его мивнію, поймаль ученика въ ліности, да ласкою, косвенно и корить его за то, что тоть, убоясь его упрековъ за нераденіе, спрятался подъ диванъ». — А темъ временемъ, какъ Анюта это думала, Романъ Романычъ разспрашиваль Сверчкова о его родителяхь и узналь, что они померли и что онъ живеть у тетки, вдовы аптекаря.-«Она и теперь содержить мужнину аптеку?» спросиль онъ. -- «Такъ точно». -- «И хорошо идуть ея дъяз?» -- «Изрядно». -- Допивши кофе, Митя всталь, въжливо поблагодарилъ за угощеніе, взяль шапку и сумку, и сталь откланиваться.—«А ты, Ашенька?—обратился Романъ Романычъ къ женъ:--что не берешь также своей шлялки и мантильи?»—«Зачемъ?» удивилась та.—«Какъ зачемъ?—ответиль Романь Романычь:--теперь ужь не я тебь мужь, а воть онъ... Вы любите другь друга, будьте же счастливы и неразлучны. Извольте, молодой человькъ, взять подъ руку Анну Львовну и шествуйте во-свояси...» — Анюта помертвыла, не могла слова проговорить.—«Да, мои милые, да, други сердечные!--продолжаль Романь Романычь:--- я сділаль въ жизни одну великую глупость, не послушаль техъ почтенныхъ особъ, кои мив перечили и предрекали то, что случилось, и ужь болье, разумьется, я того не повторю!»— Ашенька залилась слезами. Митя упаль на колени и сталь молить о прощеніи.— «Да что же вы, дорогіе мон, каетесь? сказаль Романъ Романычь:--- вы только открыли мев глаза, и я вамъ за то крайне благодаренъ. Здъсь законъ природы, его же не прейдени, и провиданія персты! Повторию, не смущайтесь: облегчите мою душу, живите счастливо, и да благословить васъ Господы!»—Сверчковъ поднялъ на Анюту свои большіе, плівнительные глаза. Ащенька растерянно взглянула на него. Они поняли, что дълать болье нечего, взядись подъ руки, да потихоньку и ушли...

Анна Петровна смолкла; молчали и ся слушатели.

— Что же было потомъ?—ръшился спросить предводитель. Анна Петровна закрыла глаза, какъ бы собираясь съ мыслями. Такъ она пробыла съ минуту.

— Давняя исторія,— сказала она, — и тімъ собственно, если хотите, діло и кончилось... Романь Романычь, сгоряча

покончивъ все, сперва было какъ бы пошатнулся дукомъ, никуда не показывался, не ходиль на лекціи и по цалымъ днямъ молча смотрътъ изъ кабинета въ окно, либо открываль книжный шкапь и медленно перелистываль какуюнибудь книгу, ничего въ ней не понимая. Потомъ, однако, онъ успокоился и возвратился къ обычнымъ своимъ занятіямъ. Ашенька поседилась сперва у Митиной тетки, такъ какъ ко мив она уже не решалась более обращаться. Когда же Романъ Романычъ, перейдя въ другой университеть, получиль тамъ каеедру профессора, онъ даль Анютв разводъ и она обвенчалась со Сверчковымъ. Дело, если посудить, обыкновенное и не особенно мудреное. Такъ не разъ бывало на свыть и всегда будеть. Но, воть что, по-истинь, дивно... Романъ Романычъ впоследствии узналъ, Митя не только не бросиль науки, но, кончивь курсь университета, выдержаль экзамень на магистра, а потомъ и на доктора. Туть уже Романь Романычь не утерпыль и написаль ему письмо. --- «Вы, вакъ и следовало ожидать, --- выразился онъ ему, -- преуспъваете въ наукахъ; я же, сообщу ванъ, совстыъ состарился и отъ занятія микроскопомъ теряю зрівніе... Для новаго вина нужны и новые меха. Прівзжайте, дорогой мой, да не одни, а съ женою, вашею супругой, и съ дътками. Порадуйте, дайте взглянуть на васъ всвять. Будемъ вивств хлопотать у начальства. Я вамъ уступиль лучшее мое сокровище въ жизни-жену; охотно достойному уступлю и мою каседру, которую, ахъ, я люблю не менъе, чъмъ любилъ свою жену!»

- И онъ это исполнилъ? спросили съ удивленіемъ полвовникъ и предводитель.
- Истинный и тонкій быль философъ!—заключила прабабушка:—нын'в мало такихъ людей! все какіе-то самонад'янные и, простите, легкомысленные... А онъ, какъ сказаль, такъ, представьте, все и совершилъ!

1887 г.

IV.

дъдовъ лъсъ.

Мой дёдъ Иванъ Васильевичъ Данилевскій посіяль... тысячу десятинъ ліса.

Не правда ли, какъ это странно слышать въ напгь, по

преимуществу «лісоистребительный вікъ?» Вспомнимь сжиганіе лісовъ желізными дорогами и пароходами, которыхъ по одной Волгів ходить болізе пятисоть; вспомнимь рубку «березокъ» по всей Россіи въ Троицынъ день.

Люди предпрінмчивые, люди съ сильной волей и діловымь уміньемъ, при всякихъ новійшихъ приспособленіяхъ, съ паровыми плугами, рядовыми сіялками и при своихъ и акціонерныхъ капиталахъ, — стали бы въ затрудненіе передъ задачей—посіять и выростить тысячу лісныхъ десятинъ.

Много и въ последние годы толковали о «лесоразведеніи», «древонасажденіи» и «обводненіи» южныхъ степей. Ученые геологи и ботаники, по древеснымъ остаткамъ въ курганахъ и на днъ ръкъ и озеръ, доказывали, что---нынъ пустынныя, лишенныя рощъ и дубравъ-Украйна и Новороссія въ незапамятныя времена были покрыты лісными породами, гдв заброшенный въ степи путникъ могь находить убъжище оть непогоды. Писались доклады, вызовы, проекты и уставы; командировались сведующіе чиновники и лъсники; составлялись общества и продавались наи. Но ни «льсоразведенія» и «древонасажденія», ни «обводненія» степей до сихъ поръ не оказалось и следа. А въ глубинъ слободской Украйны, въ Зміевскомъ небогатомъ сель Пришибь, проживаль незнаемый свътомъ хуторянинъ, мой дъдъ, который семьдесять пять леть назадь, безь машинь, безь своихъ и чужихъ вспомогательныхъ капиталовъ, взялъ да и засвять лесомъ тысячу десятинъ никуда негодныхъ, песчаныхъ земель на Донцъ.

Объ этомъ свидѣтельствуютъ какъ оффиціальные, печатпые источники, такъ и семейная, устная старина.

Во-первыхъ-свидетельства офиціальныя.

Въ рѣчи извѣстнаго харьковскаго ученаго профессора ботаники, В. М. Черняева — «О разведеніи украинскихъ лѣсовъ», изданной въ 1857 году, сказано слѣдующее: «Покойный профессоръ ботаники, незабвенный мой наставникъ, Ф. А. Делавинъ, въ 1817 году, въ рѣчи, произнесенной въ торжественномъ собраніи харьковскаго университета, упоминаетъ объ одномъ замѣчательномъ случаѣ удачнаго лѣсоразведенія на сыпучихъ пескахъ.

— «Я знаю, — говорить онъ, — одного помещика, скроиность котораго заставляеть меня умолчать о его имени. Когда я пробажаль по его землямь, лъть 15 тому назадь (1802 г.),—я нашель песчаную равнину, десятинь въ пятьсоть. Но какъ я удивился, увидъвъ недавно ту же равнину, превращенную въ прекрасный сосновый лъсъ! Ахъ, почему такихъ людей немного? Почему имя сего мужа не достигло подножія трона?

— «Въ 1844 году, —продолжаеть профессоръ В. М. Черпяевъ, — имъть я удовольствіе видьть уже не пятьсотъ десятинъ, а болье тысячи, и быть въ домъ, построенномъ дътьми изъ льса, который за полвыка посъянъ ихъ отцомъ. Чрезъ ходатайство начальника губерніи, Иванъ Яковлевичъ Данилевскій, помъщикъ Зміевскаго увзда, награжденъ, за столь благодітельный и поучительный примъръ, орденомъ св. Владиміра».

Такъ говорять оффиціальныя печатныя данныя; такъ свидътельствують почтенные профессора. И сообщеніе ихъ въточности върно: съятель зміевскаго льса быль, дъйствительно, примърной скромности человъкъ. Какъ всъ люди, чъмъ-нибудь потинно послужившіе родной земль, онъ и умеръ, не подозръвая, что совершилъ какой-либо подвигъ и этимъ былъ кому-нибудь полезенъ.

Мой дідь, какъ свидітельствуеть его формулярный списокъ, родился въ 1769 году. Въ 1791 г., съ небольшимъ двадцати літь, зачисленный въ службу лейбъ-гвардіи въ преображенскій полкъ, онъ въ теченіе цяти літь былъ произведенъ въ фурьеры, подпранорщики, кантенармусы и сержанты гвардіи, а въ 1796 году, незадолго до смерти императрицы Екатерины, уволенъ, по прошенію, въ отставку. Надо, впрочемъ, пояснить, что какъ это поступленіе въ полкъ, такъ и прохожденіе въ немъ службы, равно и полученіе чиновъ, по тогдашнимъ обычанмъ, совершились при постоянномъ и полномъ отсутствіи служившаго изъ полка.

Мой діздь никогда не быль ни въ Петербургів, ни въ Москвів, и не виділь въ глаза не только гвардін, но и своего преображенскаго полка.

Формулярный списокъ прибавляеть, что въ 1804 году Иванъ Яковлевичъ исполнялъ, по выборамъ дворянства, должность зміевскаго «комиссара для сбора денегь, пожертвованныхъ дворянами съ ихъ имъній на учрежларьковскаго университета». Не будеть лишнимъ вспом

нын і шнему молодому поколітнію южных в землевладівльцевь, что наши дівды на этоть предметь пожертвовали и до копейки собради въ тіз годы боліте полумилліона рублей.

Въ 1819 году послідовало награжденіе Ивана Яковлевича орденомъ св. Владиміра, какъ сказано о томъ въ грамогі, «за отличные труды и усердіе, къ общей пользів оказанные, въ разведеніи ліса на пустыхъ, песчаныхъ містахъ».

Избранный старостой имъ построенной въ 1810 году, въ родовомъ сель, каменной церкви, мой дъдъ несъ эту обязанность до конца жизни.

Онъ умеръ шестидесяти-четырехъ лѣтъ, въ 1833 году, среди посъяннаго имъ лѣса, въ небольшомъ, въ три комнаты, домикъ, у Курбатовскаго ключевого пруда.

Оффиціальныя и письменныя данныя на этомъ кончаются. Устная семейная старина щедръс...

Отецъ Ивана Яковлевича воспитывался въ шляхетскомъ кадетскомъ корпусѣ, гдѣ былъ соученикомъ извѣстнаго, по ИПлиссельбургской катастрофѣ, Мировича. Служа въ пѣхотѣ, онъ женился на дочери выборгскаго коменданта, Плогниковой, занимавшей въ го время должность каммермедуснъ при дворѣ императрицы Екатерины. Угрюмый мистикъ и масонъ, отецъ Ивана Яковлевича умеръ отъ чахотки, когда смну исполнилось восемнадцать лѣтъ. Сынъ получилъ домашнее воспитаніе.

Любимецъ и единственная отрада матери, Иванъ Яковлевичъ, со дня своего рожденія и по ея кончину, въ теченіе почти шестидесяти лѣтъ, не разлучался съ родительницей. Въ его дѣтствѣ она его няньчила и сама учила не только грамотѣ, но и верховой ѣздѣ и стрѣльбѣ изъ ружья. Подъ ея руководствомъ онъ сталъ хозяйничать, съ ея же выбора и согласія, въ послѣднемъ году прошлаго столѣтія, женился.

Новый, XIX-й, въкъ засталъ Ивана Яковлевича на тридцать первомъ году жизни. Прекрасно образованная и даже, какъ тогда говорили о ея пансіонскомъ воспитаніи, «ученая» — его жена, моя бабка, Анна Васильевна была изъ семьи Рославлевыхъ, стяжавшихъ громкую извъстность своимъ пособіемъ при возведеніи императрицы Екатерины Второй на престолъ. Живая, чувствительная и подвижного ирава, Анна Васильевна съ трудомъ выносила застычивый, тажелый на подъемъ и нервшительный нравъ мужа. Воля доброй, умной свекрови въ этой семъв была законъ. Робкій и минтельный съ посторонними, съ дътства замкнутый, бука и домосъдъ, Иванъ Яковлевичъ до женитьбы увлекался липы двумя предметами—охотой и музыкой. Хозяйствомъ онъ занимался мало. Имъніемъ завъдывали, подъ надзоромъ матери, приказчики. А какъ они занимались хозяйствомъ, можно было видъть въ концъ села, у кабака, особенно въ праздники, когда одного изъ нихъ оттуда велъ въ хату кумъ, а другого провожала смазливая дочка, крестница матери Ивана Яковлевича.

Днемъ Иванъ Яковлевичъ бродилъ по степи и по Донцу съ ружьемъ; по вечерамъ тъщилъ матушку игрою на скрипкъ или на клавесинахъ! Тъхъ же обычаевъ онъ вздумалъ держаться и ставъ молодоженомъ.

Анна Васильевна терпівла-терпівла деревенскую скуку и рівнилась, наконецъ, ласково и стороной наменнуть мужу о губернскомъ городії Харьковії: что тамъ, дескать, всякія веселости, театры, выйзды, танцовальные вечера.

Долго, — почуявъ, въ чемъ дѣло, — кряхтѣлъ и робко улыбался мелодой, неподатливый и неповоротливый мужъ. Не хотѣлось ему оставить деревенскаго теплаго угла, нажитыхъ привычекъ, охоты съ любимымъ ружьемъ «калиновкой», бесфдъ съ матерью и стеганнаго на вать, мягкаго шелковаго архалука. Да и сидѣла въ немъ, съ недавнихъ поръ, какал-то внутренняя смутная дума. Онъ все охалъ, брался за грудь и бока, жаловался на нездоровье. Жена незамѣтно, однако, пересилила.

Потолковавъ съ «сударыней-матушкой» и продавъ сосъднимъ купцамъ кое-какіе сельскіе запасы, Иванъ Яковлевичъ рышилъ провести часть зимы 1801 года въ Харьковъ. Онъ послалъ нанять квартиру у тамошняго своего знакомца, доктора Вырубова; но медлилъ и медлилъ съ отъёздомъ, или, какъ бабушка думала о томъ впоследствіи, «мимлилъмямлилъ» и отправился туда ужъ на рождественскихъ святкахъ, въ февралъ.

- Вы довольны, зёльхенъ! спросиль дідъ, такъ называвшій въ ніжные часы жену.
- Какъ же, герцхенъ, не довольна!.. Увидимъ светъ, освъжимся...

Побывали молодожены у городскихъ властей и

скаго предводителя; выстояли архіерейскую службу въ монастыр'я; пос'втили театръ и какую-то панораму, обжились, устроились и сами стали принимать знакомцевъ и родныхъ.

Иванть Яковлевичть справиль себт модный нарядъ; сталъ вы взжать въ голубомъ фракт, съ бронзовыми пуговицами, и въ крахмаленномъ жабо; но часто шептался съ докторомъ, квартирнымъ хозянномъ. Зная мнительность некръпкаго здоровьемъ мужа, Анна Васильевна все собиралась спросить Вырубова, въ чемъ дъло, и стъснялась, какъ бы не огорчить этимъ мужа. Харьковъ, между тъмъ, огласился печальнымъ событемъ.

Въ началѣ великаго поста прихожане старой Вознесенской церкви, заслышавъ звонъ понамаря, стали собираться къ заутренѣ. Двѣ старухи замѣтили на стѣнѣ деревянной колокольни бумажку, прибитую у входа на паперть. Одна изъ старухъ, грамотная купчиха Слатина, сосѣдка по квартирѣ дѣда, предполагая, что это было призваніе къ пожертвованію, стала вслухъ читать написанное... Бумага оказалась острымъ и сильно дерзкимъ пасквилемъ на одно высокое лицо.

Вознесенскій протопонть, отецть Василій Фотіевть, проходя мимо кть службів, взглянуль на «бунтовскую грамотку», сорваль ее и тотчасть заявиль о ней полиціи. Въ тотть же день онть быль отрішенть отть должности и взять подть аресть. Старуху Слатину кть ночи умчали сть фельдъегеремть въ Петербургъ. И хотя всіз знали, что ни Фотіевть, ни Слатина, какть ни вть чемть здітсь неповинные, будутъ, по всей віроятности, вскорть освобождены, тімть не менте, всімть городомть овладітла паника.

А туть еще какой-то проважій изъ столицы чиновникъ сообщиль новое извѣстіе, въ особенности поразившее моего дѣда. Завернувъ по пути къ пріятелю архимандриту, этоть петербургскій житель подъ секретомъ разсказалъ, что однофамилецъ и дальній родичъ моего дѣда, тоже Иванъ Данилевскій, былъ въ ту зиму схваченъ полиціей гдѣ-то въ курской или пензенской губерніи и такъ же, какъ Слатинъ, отвезенъ въ Петербургъ.

Разсказчикъ, впрочемъ, прибавилъ, что арестъ для этого обвиняемаго окончился благополучно. Когда арестанта ввели въ кабинетъ императора Павла, государь съ негодованіемъ

показаль ему какой-то рисуновь со стихами и спросилы: «Это ты меня изобразиль въ такомъ привлекательномъ видь?»—Государь!—проговориль черезъ силу, упавъ на кольни, арестованный: — я не только пашквилей на обожаемыхъ моихъ монарховъ, но даже и писемъ въ роднымъ дътямъ писать не могу... третій годъ рука въ параличъ»...

Было произведено новое дознаніе; настоящій виновникъ дерзкой сатиры быль найденъ и уличенъ. Ивану Данилевскому императоръ Павель, по словамъ разсказчика, пожаловаль, за напрасныя тревоги и страхъ, дорогой перстень, далъ мъсто въ ассигнаціонномъ банкъ, на поправку разстроенныхъ дълъ записалъ ему общирную вотчину и, наконецъ, по просъбъ оправданнаго, въ намять этого событія съ нимъ въ Михайловскомъ дворцъ, гдъ тогда жилъ государь Павелъ Петровичъ, прибавилъ къ его фамиліи слово—«Михайловскій». Съ той поры и стали на Руси Михайловскіе-Данилевскіе.

Анна Васильевна всячески старалась успокоить мужа, встревоженнаго этимъ разсказомъ.

- Ну, видите, видите, говорила она: какой добрый и справедливый монархъ!..—Не права ли я? Не только наградилъ невинно-подозръваемаго, но еще передъ нимъ на разводъ принесъ извиненіе.
- Н'єть, н'єть, надо у'єзжать!—твердиль д'єдь: и тоть Иванъ, и и Иванъ, и оба Данилевскіе. Мало ли что можеть произойти... Подальше оть города,—бол'є спасенія и тишины.
 - 'Но что же произойдеть?
- А вонъ, квартальный поручикъ вчера пять разъ за день мимо насъ прошелъ и все поглядываль на окна... Върь, что ужъ не даромъ...
 - Да его квартира здесь на улице.
 - А зачемъ на наши окна смотрелъ?

Въ Харьковъ, незадолго передъ тѣмъ, прівхалъ извѣстный фокусникъ Манчини. Онъ пустиль афини, въ которыхъ извѣщалъ, что публика увидитъ у него отмѣнно-дивныя вещи: ращеніе въ четверть часа изъ сѣмянъ цвѣтущихъ розъ, глотаніе зажженной пакли и оживленіе обезглавленныхъ передъ зрителями голубей. Городъ спѣшилъ въ заманчивый балаганъ.

— Собирайся, сейчась Едемъ! — сказаль Иванъ Яковис-

вичь, торопливо, съ бледнымъ лицомъ, входя къ жене съ утренней прогудки.

- Къ Манчини? развъ сегодня?
- Неть, сударыня, -- въ деревню, домой...
- Какъ? что случилось? А ты же объщалъ завтра съ Вырубовыми къ фокуснику?..
- Не до заморскихъ нынче штукъ, мрачно отвътилъ дъдъ: слышала, мой другъ, что грозитъ Харькову? Представь, прибавилъ онъ съ боязливою оглядкой: присланъ, говорятъ, секретный приказъ... Если въ трое сутокъ не найдутъ виновника вывъшенной у колокольни сатиры, то въ Харьковъ войдетъ чугуевскій казачій полкъ и подожжетъ съ конца въ конецъ всъ улицы; и когда городъ сгоритъ, его мъсто спашутъ, засъютъ, и поставятъ у дороги столбъ съ надписью: «Здъсь былъ городъ Харьковъ».
- Что вы, что вы, Иванъ Яковлевичъ! всякому слуху върите!—возразила, сама поблъднъвъ, Анна Васильевна: помянате мое слово, никакихъ подобныхъ вандальствъ въ нашъ просвъщенный въкъ быть не можетъ... Сколько разъ я вамъ говорила, по поводу такихъ политическихъ пересудъ, что все это бабскія выдумки! будемъ надъяться на Бога; а нашъ Харьковъ, върьте, останется цъль и невредимъ.

Слова нъжной, любящей, върившей въ «просвъщение въка» бабушки, на самомъ дълъ, оправдались.

Утромъ следующаго дня, когда архіерей, губернаторъ и прочія высшія городскія власти выходили отъ вечерни изъ собора,—къ наперти подскакаль въ волчьей шубі, засыпанный снегомъ, фельдъегерь. Онъ, еще стоя въ бішенно-мчавшихся саняхъ, скинулъ шапку и, ею махая, крикнулъ охриншимъ голосомъ: «Счастье имъю поздравить съ восшествіемъ на престолъ императора Александра! царство небесное императору Павлу!»

Эта вість съ быстротою молніи облетіла Харьковъ.

- A все-таки, зельхенъ, убдемъ въ деревню!— сказалъ, выслушавъ новость, дъдъ женъ.
- Почему, герцхенъ? развѣ не видите, какъ, по моему предсказанію, все счастливо кончилось?—отвѣтила жена: городъ ликуеть; съ близкой пасхой будуть новыя празднества, всселье, балы.
 - Въ своемъ гићздћ и веселће, и лучине!
 - Но мы многимъ еще визитовъ, какъ следуетъ, по

отплатили, — настанвала жена: — родные обидятся; у многихъ назначены вскорт вечера, а такою родней, герценька, какъ у васъ, не следуетъ пренебрегать... Донецъ-Захаржевскіе, Краснокутскіе, Двигубскіе, князь Трубецкой, Милорадовичъ, Пестичи, графъ Петръ Михайлычъ Апраксинъ, Булацельбогачъ...

— Еще, сударыня, нъть ли кого на примъть? А я скажу, — ръшиль дъдъ: — скупимъ, что надо, да скоръй во-свояси. Знаешь пословицы: своя хатка — родна матка... на своей печи все красное лъто... Дома и стъны помогаютъ; и мышь въ норку тащить корку... Вотъ и я, скажу вамъ, къ своей «калиновкъ» пріобръль нынче новый, съ пороховницей, ягдташъ...

«Калиновка», долго хранившаяся въ нашей семьв, была любимымъ ружьемъ двда. Онъ изъ нея, по преданію, подъ шестьдесять леть, не даваль промаха по волкамъ и убиваль на лету ласточекъ.

— А кстати, —прибавиль дёдь женё: — поздравляю и съ новымъ егеремъ, Антипкой... Сегодня съ нимъ встрётился! Завзятый стрёлокъ... И онъ поёдеть съ нами.

Новаго егеря Иванъ Яковлевичъ нанялъ случайно. Дѣдъ вошелъ въ польскую лавочку, гдѣ торговалъ приборъ на ружье. Здѣсь онъ увидѣлъ здоровеннаго, сухопараго, сильно обвѣтреннаго и съ примороженнымъ посомъ верзилу, покупавшаго дробь и картечь на старенькую, перевязанную веревкой винтовку. Разговорились. Антипъ оказался странствующимъ торговцемъ-охотникомъ.

- Откуда пришель?
- Изъ брянскихъ льсовъ.
- Какова тамъ охота?
- Другой исть на всемъ свътъ.

Дъдъ еще поговорилъ, осмотръть винтовку Антипа, спросилъ, какъ и у кого онъ охотился въ брянскихъ лъсахъ, и предложилъ ему съгладить съ собою за городъ, попробовать въ цъль «калиновку».

— Воть такъ бисова говинька! хоть бы и кошевому! — сказаль Антипъ, протирая глаза, когда дъдъ на пробі всадиль на сто шаговъ пулю въ пулю: — я бы съ такимъ ружьемъ жилъ, какъ съ жинкой, и ходилъ бы за нимъ, какъ за родною дътиной.

«Эге! Ковинька! и вспомниль контевого!--подумаль

сясь на Антипа, дѣдъ, — персона, очевидно, не пустячная; ужъ не изъ бывшихъ ли, нынъ шатающихся по міру, славныхъ съчевиковъ?».

Антинъ Легкоступъ, дъйствительно, былъ изъ закрытато двадцать-пять лътъ передъ тъмъ Запорожья. Гдъ онъ былъ со времени памятнаго «руйнованія съчи»—никто не зналъ. Уходиль ли онъ съ прочимъ «товариствомъ» въ Туретчину, да соскучился и самъ возратился, или первое время прятался гдъ-нибудь въ глухихъ степяхъ, да по морскимъ рыболовнямъ въ Новороссіи,—преданіе о томъ умалчиваетъ. Въ послъднія же семь-шесть лътъ Антипъ шлялся, стръляя и сбывая дичь помъщикамъ и въ города, по бългородскимъ и брянскимъ лъсамъ. Прівхавъ въ нашъ Припибъ съ обозомъ дъда, онъ прожилъ у него около десяти лътъ, исчезая, впрочемъ, по временамъ, на годъ и болъе.

- Куда же ты, Антипъ? спрашивалъ его въ такихъ случаяхъ дълъ.
- А къ морю, пане, въ Тилигулъ... Появилась птица отайка и птица усой.
- Да не брешешь ли ты?—говориль дѣдъ:— что это за отанка и усой? никто про такихъ птицъ не слыхивалъ; а въ Тилигулъ вашъ братъ вѣчно шелъ, когда было скучно и хотѣлось просто уйти на всъ четыре стороны...
- Ни, пане, ей-же то Богу, до моря, въ Тилигулъ, отвъчалъ, собираясь въ дорогу, Антипъ: такая птица явидась, нельзя...

Дедъ оказывать полное довъріе новому егерю, поручиль ему всё свои ружья и весь охотничій арсенать. Антипъ проживать въ саду, въ пустой банъ. Иванъ Яковлевичъ почасту его навъщать.

- Что вы все шепчетесь съ лъкаремъ? спросила какъ-то бабущка мужа, когда они вновь обжились въ селъ и къ нимъ сталъ наъзжать въ гости сосъдній полковой врачъ.
- То такое, отвътилъ таинственно и растерянно дъдъ: что вамъ, Анна Васильевна, какъ дамъ, можетъ, и не подъсилу. Не женскаго резона матерія, извините... Когда-нибудь и скажу... А впрочемъ, можетъ-быть, и пустяки.

Бабушка была довольна новою утехою мужа. Съ Антипомъ дёдъ охотился какъ у себя, такъ и въ сосёдскихъ
поляхъ. Онъ узналъ его ближе, полюбилъ за сумрачный,

нісколько дикій, но прямой и стойкій нравь, и сообщиль ему нікій завітный, сладкій замысель, созрівшій на днів его робкой, несообщительной души. Это было во вторую весну пребыванія Антипа у діда, въ 1802 году.

 Знаешь ли, Антинъ, что я затъялъ?—сказалъ однажды дъдъ егерю:—и не только затъялъ, твердо ръшилъ, и хочу

о томъ переговорить съ матушкой.

— Не знаю, пане; и какъ намъ можно знать всё панскія мысли?

— Хочу у матушки проситься съ тобою въ отъвзжее

поле, въ брянскіе ліса...

— Ну, и съ Богомъ, пане Иване! Тамъ такія м'вста, такія, п столько всякой дичи, — только помогай Богъ въ дорогу!..

— Да, помогай Богъ!-произнесъ, почесывая переносье,

дідь:—а какъ матушка не пустить?

— Да почему же?

- Потому, я все хворый, все мнв не по себв...

- А оттого, паночку, и не по себѣ, что много дома сидите. Вонъ и у меня, на сто ноги, лошадиныя, а ужъмозоли стали сходить на вашихъ, спасибо, хорошихъ хлѣбахъ...
- Ну, такъ я попытаюсь, —только ты, Антипъ, до времени молчи... Будешь молчать?

— Буду.

Воспитаніе діда прошло подъ вліяніемъ містныхъ религіозныхъ и бытовыхъ преданій. Онъ росъ подъ кровомъ сельской, сказочной старины. Женскій міръ, совіты, ласки и руководство любящей матери въ теченіе долгой ея жизни, положили на діда свой, нісколько фантастическій, отпечатокъ.

Въ то время не только въ поселянскихъ, но и въ дворянскихъ семьяхъ всецию царили особыя космическія по-

нятія о мірѣ, небѣ и земль.

Небо тогда неоспоримо еще считалось спней кровлей великановъ — «одноглазцевъ», бабы которыхъ на нее съ вечера кладутъ свои веретена и вальки. Облака — это студень, и его пробовать въ бурю какой-то пастухъ. Солице— человъкъ съ огненными волосами. Одинъ панъ заблумился на охотъ, попалъ на небо, гдъ солице спитъ, и если

вътеръ, губатый солнцевъ брать, этотъ панъ сгоръль бы, какъ сноиъ. Передъ концомъ свъта солице спустится къ земль и уже не зайдеть; тогда загорятся озера, колодцы, и ръки потекутъ краснымъ огнемъ. На лунъ по ночамъ — Адамовы сыновья, — Каинъ держить на вилахъ убитаго Авеля. Затменіе—это св. Юрій ставить на місяць заслонку. На Срвтеніе — встрвча и борьба семейной жены, зимы, и гулящей дівки, літа. Звізды — свічи въ рукахъ ангеловь, сидящихъ на ступеняхъ божьяго трона; и эти свъчи-души . людей: праведно живущихъ-яркія, грышниковъ - тусклыя, мерцающія. Едва родится человікь, Богь зажигаеть свічку и дасть се ангелу. Сколько звіздъ, столько и дюдей; падучія-это души покойниковъ. Млечный путь -- дорога въ Терусалимъ. Громъ—архангелъ Михаилъ охотится съ ружьемъ на утокъ и прочую дичь. Роса—слезы великомученицы Варвары, которая ходить по тошимъ, засыхающимъ нивамъ и плачеть о бедныхъ людяхъ. Радуга-ея коромысло, и по ней втягиваются въ тучи, кромъ ръчныхъ водъ, маленькія рыбки и лягушки, потомъ падающія на землю. Морозъ дряхлый сёдой старикъ, весь въ сосулькахъ. Вётеръ-Касьянъ вътродуй, мордатый, губатый и усатый, прикованный гдь-то къ ствив. Проснется, шевельнеть однимъ усомъ вътеръ, другимъ-буря.

Тогда — въ дідово время — вірили, что волы, лошади и всякій скоть, въ ночь подъ Рождество, говорять между собой по-человічьи; что летучая мышь стала съ крыльями оттого, что съіла на Паску «свячёнаго»; что чайка — неутішная вдова, ставшая птицей оть непрерывнаго плача надъ могилой мужа, и что воробьи, за указаніе евреямъ воскресшаго Спасителя, до конца віка будуть повторять свой предательскій крикъ: «живъ, живъ!»

Егерь Антипъ внесъ немало новыхъ таинственныхъ преданій и откровеній въ умственную жизнь діда. Онъ даже помінценіе въ бані избраль вслідствіе особыхъ соображеній. Жить на охотномъ дворі онъ не захотіль.

- Со псами, пане, извините, нечисто! сказаль онъ:— боюсь не блохъ, а того, что бывають всякіе пси.
 - Какіе же бывають псы?
- Душа иного человіка за плохія діла переходить, по смерти, въ собаку,—отвічаль егерь:—оттого бывають «песьи-

головцы» и «вовкулаки» — ихъ сразу и не различинь. — они ночью сердце сосуть.

- Я вамъ, пане, найду и добуду «ремезево гнёздо», говорилъ одинъ разъ Антипъ, бродя въ камышахъ по Донцу и тамъ въ травъ подглядывая птичъи съдала.
 - Какое же это гивадо? спросиль Иванъ Яковлевичь.
- Отъ лихорадки лъчитъ и отъ дурного глаза... Такая махонькая, тихая птушка есть; въ зелени ее и не видать.

махонькая, тихая птушка есть; въ зелени ее и не видать. Оть подносимой чарки водки Легкоступъ отворачивался, увъряя, что съ давней поры, по зароку, не пьетъ. Сельскій шинокъ онъ обходиль какъ-то мрачно, окольными тропинками, говоря, что кто сидитъ за горълкой, тотъ не выприкнетъ на приманку ни волка, ни лисицы. Поселяне дичились его и не щадили насмъшками. Онъ отругивался отъ нихъ забористо и на особый-ладъ. «Лярво ты, хляпитуро!—кричалъ онъ, выйдя изъ себя: — чтобъ ты сдурълъ и въялся, какъ вътеръ! Чтобъ тебя нозавертало! Чтобъ ты съ дымомъ пошелъ!..»

«Запорожецъ! какъ есть, запорожецъ! — думалъ дъдъ, аюбуясь шагавнимъ по улицъ, въ сермягъ, на босу ногу стрълкомъ:— «такъ ругались съчевики, наъзжавшіе къ отцу въ былые годы».

Собирансь на охоту и лады барину нужные припасы, Антипъ напъваль одну и ту же заунывную, протяжную пъсню, гдъ слышались слова: Черное море, турки и братья съромахи, славные молодцы. Иногда же онъ ласково, нъжно причитываль, будто молился: «Вы зори-зорницы, три сестрицы! займите тоть кубокъ, что Іисусъ руки мылъ... Ночь темна, темница! замыкаещь ты церкви и хаты, монастыри и царски палаты... замкни звърю уши и глаза, чтобъ я подошель и не промахнулся».

На охотничьихъ привалахъ Антипъ безъ умолку разскавывалъ, что виделъ и слышалъ на своемъ въку.

- Я, пане, одинь разъ сподобился встретить святого Юрья,—поведаль какъ-то Антипъ.
 - Гді-жь ты его встрітиль?
 - Да тамъ же, куда собираетесь, въ техъ лесахъ.
 - Какъ же это было?
- Иду я воть съ этимъ самымъ мушкетомъ, сказалъ Легкоступъ, беря ружье въ жилистыя, точно сверченныя изъ канатовъ руки: — ночь была темная, въ поздиюю осень.

Поглядеть, а вдали, въ гущине деревьевь, перебегають огоньки; точно кто со свъчами ходилъ и чего-нибудъ искалъ по травь. Я прилегь въ кусты, выждаль; вижу, св. Юрій идеть, — какъ есть, въ латахъ, въ железной щапке и съ большущимъ самопаломъ черезъ плечо; а за нимъ понуря морды и махая хвостами, -- вереница волковъ... ихъ-то глаза и свътились...

- Да какъ это за Юріемъ волки?
- Онъ волчій пастухъ, отв'єтиль Антипъ.
- Своими глазами видълъ?
- Своими.
- Да, любопытны ваши брянскіе л'іса, и я, что задумаль — сделаю, — сказаль, прохаживаясь по банной горенкъ, дъдъ.
- Много дивъ, еще больше дичи, —произнесъ Легкоступъ: только знайте, пане Иване, вся она заговорена. Много тамъ чертей...
 - Откуда же они, когда тамъ святой Юрій?
- Откуда же они, когда года объекть въковъчныя дебри;
 То не его дъло. А извъстно—льсь, въковъчныя дебри; опять же воздухъ свободный; ну, всякая нечисть и водится, — л'всовики, овражники, болотняники, камышники; гдв какой изъ чертей захочеть, тамъ себъ и живетъ; есть и льсныя бабы, — полнолунницы, что звызды крадуть; есть дъвки щекотницы, — попадешься къ нимъ, защекочуть до смерти. Эхъ, пане, вотъ бы сюда, на Донецъ, да такіе дремучів льса!..
- Я и самъ давно думаю, отвътилъ Иванъ Яковлевичь; - засіять бы, въ самомъ ділів, воть хоть всів эти несчаные кучугуры, да бугры...
- То-то птушекъ бы прибыло! обрадовался Антипъ: . диків голуби-вытютни, сойки, серый и черный дроздъ, вальдшнепы, шпаки.
- Я полагаю, съ лесомъ завелись бы и всякія лесныя травы! — произнесъ дедъ, какъ-то раздумчиво, загадочно и несмвло взглядывая на егеря.
- Еще-бы!—продолжаль Легкоступь: вь тын выползеть тебь не только всякая подземная былинка, всякій божій злакъ, а покажется, пожалуй, и «дедъ-моркунъ».
 - Это кто?—спросиять, поднявъ брови, Иванъ Яковлевичъ.
- Кладъ такой... Иной, пане, кладъ выбъжить и катится ночью по дорога балою овцою или чернымъ лохма-

тымъ ивтухомъ; его и не узнаешь. А другой вышель и станеть въ кустахъ старымъ, засморканнымъ нищимъ; въ дерюгв, съ котомкой и съ клюкой; горбатый онъ, поганый, ну—плюнуть; а кто ему утретъ, извините, сонли—глядь и разсыплется золотомъ. Разныя дива бываютъ. Опять-же, нане, слышно, что при концв въка такіе будутъ махонькіе люди, что дюжина ихъ въ печкв станетъ горохъ молотить...

- Ну, то при концѣ свѣта, перебилъ Иванъ Яковлевичъ. А скажи ты мнѣ лучпе, Антигъ, вотъ что... Естъ тамъ въ лѣсахъ, гдѣ ты былъ... жа̀бникъ, жа̀бъя трава? А кое-гдѣ зовутъ ее также чистотѣломъ, и отъ нея, какъ сказываютъ очищается тѣло человѣка... Естъ такая трава? Ты ее видѣлъ?
- Жабникт? какъ не быты—ответилъ Легкоступъ:—всякая трава, пане Иване, вырастеть подъ деревомъ, абы лёсъ былъ... А ужъ лёса тамъ, говорю вамъ, вотъ лёса! Безъ начала и конца...

Задумался дедъ пуще прежняго и окончательно решилъ не откладывать дела.

Наступилъ 1802 годъ. Весной въ этомъ году у Ивана Яковлевича родился сынъ Петръ, мой отецъ. По совъту своей матери, дъдъ вздилъ въ мартъ на богомолье въ Святогорскій монастырь, гдъ служилъ молебенъ о здравіи родильницы и новорожденнаго. Возвратясь оттуда, Иванъ Яковлевичъ передалъ матери просьбу отпустить его на богомолье въ Бългородъ, а кстати и поохотиться въ Брянскій убадъ.

- Съ къмъ же я отпущу васъ, Иванъ Яковлевичъ, въ столь дальній вояжъ?—сказала за вечернимъ часмъ на балконъ, въ кругу цвътущихъ яблонь, Анна Петровна:—кучеръ Яшка мнъ нуженъ, для поъздокъ въ поле и къ знакомцамъ; кучеръ Сашка для вашей жены, на случай послать за докторомъ или за чъмъ-нибудь.
- Я, матушка, побхаль бы съ егеремъ Антиномъ, сказаль не смъло сынъ: мы бы запрягли кибитку, онъ правиль бы тройкой, и мы благополучно сдълаемъ этотъ вояжъ.
- А какъ вы подстрыните себя, Иванушка, на охоть? позразила, слъдуя давнему обычаю, Анна Петровна тридцати-трехъ-льтнему сыну.
- Не подстрълю, матушка, отвътиль, цълуя руку матери, сынъ: — ружье въ пути у меня никогда не заряжено.

— Отпустите его, ma bonne mère, —пронавесла сидъвшая адъсь же, на балконъ, еще блъдная, бабушка Анна Васильевна: —онъ зимой почти не охотился, а теперь такая дивная ногода... вся въ цвъту, и узакъ тепло.

Прабабка оправила на себв былый, въ кружевахъ, высокій чепецъ, строго взглянула на вечервющее, тихое небо, на освыщенныя верхушки осыпанныхъ цвытомъ яблонь и

групгь, и сказала со вздохомъ:

— Будете въ Білгороді, — тамъ у обители, гді поконтся мощи преосвященнаго Іосафа, знатный садъ — добудьто мий саженцевъ яблони «добрый крестьянинъ». Плоды съ нея отмінные, и ихъ очень выхваляль покойный бригадиръ Пашковъ...

Сердце дъда радостно забилось. Всякій разъ,—а это было не такъ часто,—когда прабабка вспоминала бригадира Пашкова, въ дальней завътной молодости въ нее влюбленнаго,—все шло, какъ по писанному, на ладъ. Поъздка въ Бългородъ и далье была ръшена.

Стояль ясный, безвітренный апріль. Рогожная кибитка, нагруженная всякой всячиной, двинулась по «чернотропу» въ путь. Антипъ возсідаль на козлахъ. Дідъ, въ стеганомъ, шелковомъ архалукі и въ лисьей щубкі, сиділь среди ружей и складней съ провизіей въ кибиткі.

Побывали въ Бългородъ, отстояли въ монастырв службу, приторговали и отправили на особой, нанятой подводъ саженцевъ «добраго крестьянина» изъ Іосафовой обители, и

вы кали на дорогу къ Брянску.

Бесіда въ пути не прерывалась. Идуть лошади шагомъ на міловую гору,—Легкоступъ разсказываеть о лісахъ; идуть подъ гору, — діздь опять его осыпаеть разспросами.

— Ты говориль, Аптинъ, что въ брянскихъ лъсахъ не

всегда было спокойно?

— Теперь тихо, а въ старые годы ихъ обходили далеко.

— Что-жъ тамъ было прежде?

- Въ нихъ, пане, жилъ въ старину соловей-разбойникъ, да его побъдилъ Илья Муромецъ.
 - Какъ же онъ его побъдилъ?
- Прослышаль о чудище и поехаль по топкимь бологамь, трясинамь и по калиповымь мостамь, въ самую гущину, где на двенадцати дубахъ сидель гиездомь этогь

самый разбойникъ. Не пропускалъ соловейко ни коннаго, пи пъщаго—убиваль всъхъ наповалъ, и не оружиемъ, а молоденнить, разбойнымъ посвистомъ... Завидълъ соловейко Илью, засвистълъ,—пыль столбомъ поднялась, и посыпались ворохомъ сбитые свистомъ листъя и сучья съ деревъ... Да загудъла калена-стръла, разбойникъ съ дуба повадился...

Въ такихъ разсказахъ степняви пробхали несколько сутокъ, миновали песчаныя прибрежья только-что опавией отъ половодья Десны и приблизились въ сплошнымъ сосновымъ и чернымъ раменнымъ пущамъ, простиравшимся въ то время близъ Брянска, по окраинамъ Орловской губерни.

Усталость одольда двда. Онъ уже не выглядываль изъ вибитки и крвиво спаль, когда ночью колеса застучали и запрыгали по кряковистымъ сосновымъ кореньямъ, выступавнимъ на нути изъ песчаныхъ бугровъ. Легкоступъ привезъ барива въ сторожку давняго своего пріятеля, — тожо охотника-лъсника, богатаго полбинскаго «смолокура» Надвина. Дъдъ отказался отъ закуски, легь на съно и просиаль, какъ убитый, до утра.

Выйдя утромъ изъ сторожки, стоявшей у озера, надъ колмомъ, дъдъ не взвидъль свъта отъ радости. Громадныя, двухсочъ-и-трехсотлътнін сосны, сли, дубъ, ольха, береза и иленъ простирали свои воршины надъ темнымъ, суглинистымъ и супесчанымъ доломъ. У озера ладились барки для сплава лъса. За озеромъ дымились черныя, закоптълыя смолокурни.

А когда стенняки дѣдъ и Антипъ, нодкрѣпившись нищей у пѣсника, двинулись налегкѣ, съ ружьями, въ чащу стараго болотнаго бора, когда ихъ встрѣтили и оглушили всяціе птичьи свисты, стоны и крики, и дѣдъ, звонко стрѣлям изъ длинной «калиновки», наполниль дичью свой ягташъ, потомъ торбу Легкостуна и привѣсилъ еще къ своему и его поясамъ нѣсколько десятковъ сизыхъ вытютней, носатыхъ вальдиненовъ, утокъ и дроздовъ,—по пути къ сторожкѣ дѣдъ остановился. Восхищенный мощью и роскопью лѣса, обилемъ и запахомъ древесныхъ породъ, о которыхъ въ обнаженной, пустынной степи не имѣютъ и понятія, дѣдъ скинулъ шапку, отеръ разгорѣвшійся лобъ и лицо и, глядя на окружавшую его лѣсную чащу, сказалъ Легкоступу:

— Антипъ, знаешь ли ты, что были въ древнемъ Египтъ цари-фараоны; а у насъ императоръ, Великій Пстръ?

- О Петрѣ какъ не слышать, а о фараонахъ читають въ святыхъ книгахъ.
- Ну, Антипъ, фараоны соорудили среди сыпучихъ песковъ пирамиды, а царь Петръ выстроилъ на невскихъ трясинахъ столицу Петербургъ. Тысячи конныхъ и ившихъ работниковъ трудились по ихъ волѣ надъ этимъ. Вотъ бы намъ съ тобой... посвять на Донцв такой лѣсъ...
 - Намъ, идне, и не нужно такого дорогого кошта.
 - Какъ не нужно?
- Дайте мив, пане, только подводъ, да выпросите у сударыни-матушки десятокъ плуговъ, и я вамъ лъсъ посъю.
 - -- Шутишь?-сказаль дедь.
- Не шучу, тогда повидите сами! Только надъ илугами чтобъ былъ не приказный Касьянъ Криворучка, лярво, хляпитура ему, сучему, въ родню!—а пусть либо десятникъ Петръ Багацкій, либо ключникъ Бритвенко Сергій...

Погостилъ и поохотился въ волю дідъ въ смолокуровской полбинской пущі, прокатился по озеру на дегтярный заводъ, къ самому Надвину, собраль нужныя справки, засушилъ, въ презенть матери, подборъ дикихъ брянскихъ цвітовъ и отправился во-свояси.

Съ той поры Иванъ Яковлевичъ точно преобразился. Куда дълись его вялость, инительность и нерышительность. Онъ сталъ неузнаваемъ.

Легкоступу дали сперва три, потомъ пять воловыхъ подводъ. Онъ съ ними нъсколько разъ вздилъ въ брянскій увядъ за сосновыми шишками. Когда шишки привезли и выбили изъ нихъ съмена, Иванъ Яковлевичъ выпросилъ у матери плуги, отдалъ ихъ подъ надзоръ Бритвенка и Багацкаго, и тъ стали пахатъ песчаные кучугуры и бугры близъ Донца. Въ проложенныя борозды Легкоступъ съ рабочими сажалъ свъже-наръзанные колышки вербы и шелюга красной лозы; а между ними разбрасывалъ, подъ борону, сосновыя съмена.

Люди дивились. «Нашъ панъ сдурвлъ... вийсто ржи и иппеницы, светь сосновыя пиппки?»

А дідъ безъ устали сізяль и сізяль. Онь вошель въ переписку съ заводчикомъ Надвинымъ и его сосідями, высылаль имъ, въ обміть на боровыя шишки, вовы тяжеловісной шпеницы гирки и білотурки. Съ новой весной онъ опять принялся за дізо, окопаль кучугуры рвами, поставиль избы для сторожей и заказать туда всякому путь-дорогу. Боже упаси, если, бывало, Иванъ Яковлевичъ, ъдучи къ своимъ съянцамъ, встрътитъ возлъ нихъ на тропинкъ коннаго или пъщаго... Подбирай скоръе полы и бъги лучше безъ оглядки, что есть духу! Обругаетъ поносными словами, а не то задрожитъ и ухватится за ружье: «какъ смълъ топтать заповъдную палестину?»

Прошедъ годъ. Тычинки вербъ и лозы окинулись листьями, пустпли ветки. Еще годъ, —между ихъ рядами то здёсь, то тамъ зазеленели чуть видныя по песку кудрявыя грядки крохотной, игольчатой травы: то были молодыя сосенки...

Спустя три года, сосны стали по поясъ человъка; въ пять лътъ выросли дъду по плечо. Задержанный отъ разноса, песокъ началъ кръпнуть. Дъдъ съялъ и съялъ...

На седьмомъ году первые посъвные участки поднялись выше человька; на десятомъ половина молодого бора ужъдавала широкую, прохладную твнь...

А подъ смолистыми деревцами, въ перегнов травъ и надающихъ сосновыхъ иголъ, образовался дериъ, поползла цвикая песочная осока,—сагех arenaria,—явился верескъ, раскинулись и дружно зазеленъли прочія лъсныя травы.

Дідь быль вий себя оть радости. Мать и жена любова лись его трудами. Онь не покидаль завітнаго діла, отдаваль ему всі свободные часы. Діло увінчалось успіхомъ.

Съ первыхъ же лъть въ молодомъ бору явились лисицы, а къ зимъ туда стали набъгать цълые уймы зайцевъ и куропатокъ. Антипъ выслъдилъ два волчьихъ выводка. Были приглашены сосъди, и охота началась на славу.

Поселяне, насмѣшливо и подозрительно встрѣтившіе первыя хлопоты дѣда, болѣе ужъ не говорили:—«воть одурѣлъ нанъ, вмѣсто хлѣба сѣеть сосновыя шишки!»—Теперь было не то. Крестьянинъ оцѣнилъ доброе дѣло: сельскія пашни болѣе не заносились со смежныхъ бугровъ несками.—«Ишь, вѣдунъ! хлѣба столько лѣтъ не продавалъ,—говорили поселяне:—а за то, что вышло! лѣсъ какъ лѣсъ, точно и всегда тутъ росъ».

Стали даже толковать, что и впрамь дідъ волшебникъ. Одна баба, Морозиха, увіряла, что виділа разъ, какъ панъ вечеромъ стояль у сосны; онъ быль по сю сторону дерева, а то вдругъ сталь—точно на крыльяхъ перелегілъ—по другую, и въ оба раза стоиль, бакъ вкопанный, не двигался, точно на облакъ...

Видь съ дедова крыльца, изъ Приниба, на молодой боръ быль привлекательный. По зарлиъ, летомъ, были слышны въ доме все лесные птичьи крики. На селе, впрочемъ, тол-ковали:—«Разве то одне птицы голосять? тамъ теперь немало и тихх певуновъ, что къ ночи не следъ и называть»...

- Что-жъ тамъ еще за пъвуны? спранивали бабъмужей.
- Недаромъ тотъ чортовъ запорожецъ осъдлалъ пана,—
 отвъчали мужья: —добра изъ этого не выйдетъ. Поростетъ,
 поростетъ лъсъ, да и провалится, съ самымъ тъмъ оъсовымъ запорожскимъ съяльникомъ, покроется весь водою,
 какъ озеро. Не къ добру тотъ, чортовъ сучакъ, и ведки не
 ньетъ, и въ кабакъ инкогда не заглянетъ, чтобъ поговорить
 съ добрымъ человъкомъ.

Однажды, въ концѣ іюня, дѣдъ охотился въ новомъ жѣсу съ Антиномъ.

- Ты говориль о жабьей трав'в, сказаль Ивань Яковлевичь: — помнишь? а ну-ка, понщи; не выросла ли она за эти годы?
- Давно, изне, и отчето не вспомнили? воть она, отвітиль Легкоступь, нырнувь въ гупцину сосепь и неси оттуда молодые стебли чистотіла.

Дідт. радостно перевель духъ, долго смотриль на траву и, робко потрогивал себя за поисъ и грудь, перекрестился.

- Ну, слава Богу, и спасною, Антипо, тебы!—произность онъ:—можеть быть, теперь еще проживу лишніе годы на світть.
- Что вы говорите, пане? Развъ у васъ какая, по приведи Богъ, хвороба?
- Такая хвороба, такая, что коли и это велье же помежеть, придется въ скорости помирать.

Антинъ удивленно глядъть въ смущенное, попуренное лицо дъда.

— Ну, теперь ступай ты съ кучеромъ домой, — сказалъ дъдъ: —доплети ту перепелиную стку, что и далъ: скоро будеть нужна; а барынъ скажи, чтобъ не ждали съ объдомъ. Пропасть куропатокъ, — два выводка вонъ въ томъ

тесть сентась видель—ноохочусь самь. А ты съ кучеромъ вызыкай къ опушке, какъ смеркиется, и жди...

Легкостунъ в вучеръ, переглянувнись и покачавъ головами, потхали взъ лъса.

Д'ядъ, между тыть, пошежь въ чащу деревъ, отыскать ноляку, гдъ болъе разросся жабникъ, прилегъ среди его зелени подъ сосной, положилъ съ боку ружье, и какъ впоследствии разсказывалъ, въ неотвязной, гнетущей мысли, закрылъ глаза...

«Сегодня Ивана Купала, — разсуждаль онь: — травы вы самомы соку и цвёту... Теперь-то она, проклятая, несытая, и падка на свой настоящи харчь».

Долго ли такъ лежалъ Ивънъ Яковлевичъ, онъ того неномнить, гакъ какъ кръпко заснулъ. Солнце закатилось, окращивая игольчатые гребни разросшихся вправо и вліво сосенъ. Птичьи крики смолкди. Надъ прохладными полянами точно незримый дьяконъ прошелъ, съ дымящимся ду шистымъ кадиломъ...

Сумерки въ лъсу сгустились. Дъдъ очнулся и вскочилъ. Въ волнени, ощупыван грудь и животъ, онъ ваглянулъ себъ подъ ноги, бережно обощелъ дерево и опять себя потрогалъ.

— Слава Господу милосердному!—прошенталь дёдъ, поднимая съ траны ружье и отрадно вдыхая смолистый воздухъ:—чудо, настоящее чудо содылось! Вонъ и дорожку но траве оставила... не давить больше подъ ложечкой, не невелится треклятая, не томить и не полаётъ... Домой, скорбе домой! Завтра молебенъ и всей слободе обедъ...

Подъ лісной опушкой, въ отблескі зари, онъ разгляділь на степномъ просторі знакомым дроги и сидівшаго на нихъ Антипа.

 Ну что, пане,—настранали?—спросиль, подозрительно его осматривая, Легкоступъ.

Дедъ отозваль егеря въ сторону.

— Такого застредиль, такого, — началь онь, въ силу сдерживая волненіе: — слушай, Антине, да никому, смотри, до срока не сказывай!.. Надо осмотреться, выждать. Насенять я лесу, какъ видинь, дети и внуки вспомянуть. Выростеть сосновая пуща, покроеть всё остальные пески. И охотимся здёсь мы съ тобой, ну, и все... А мив сподобимось, скажу тебе, еще и вылечиться...

— Чъмъ? — спросилъ Легкоступъ, безсознательно обнажая

чубатую голову.

— У меня, Антице, — сказаль дівдь: — жаба сиділа въ животь; десять літь каторжная сиділа и двигалась... А какълеть я и заслышала она поблизу свой настоящій жабій карчь, такъ, треклятая, совсімъ сразу изъ меня и выскочила... Я виділь и ен слідь по травів.

Легкоступъ въ тотъ же день не вытериваъ и на радости, что выльчиль цана, завернуль передъ ужиномъ въ кабакъ, котораго онъ по зароку такъ всегда избыталь. Тамъ было веселое сборище: у Багацкаго родился сынъ Иванъ (донынъ живущій), и отець угощаль сосідей. Къ сосідямъ примкнули другіе. Антинъ много нилъ, выставиль водки и остальнымъ пирующимъ. Кто-то задълъ его насмъшкою:-«Приила-таки попадья къ просвирнъ». Началась ссора. Услышавъ кличку «бродяга-гайдамакъ», Легкоступъ вскочиль и даль тумака подгулявшему обидчику. За последняго вступились товарищи. Легкоступъ нашелъ помощь въ Багацкомъ и его кумовьяхъ. Поднялась общая свалка. Прижатый къ углу съ защитниками, Антинъ выскочилъ въ свии. На него навалились цълой аравой у крыльца. Види нападеніе не по силь, онъ засучиль рукавь, быстро нагнулся къ голенищу и выхватиль оттуда короткій, широкій ножъ...

Туть только, когда разгорввшійся, въ порванной одеждь, Легкоступъ, размахивая ножомъ, проложилъ себь дорогу сквозь разсвирынывшую, кричавшую толпу и медленно, безъ оглядки, какъ травимый неопытными псами, старый матерой волкъ, пошелъ по улицъ,—всъ опомнились, ръшивъ въ одинъ голосъ:—«Да, это—характерникъ, запорожецъ; видно по всему...»

Во дворъ къ дѣду Логкоступъ болѣе не заходилъ. Совъстно ли ему стало, что не выдержалъ насчетъ водки, или вновь пришла пора пуститься въ странствіе, только онъвзялъ въ банѣ свой мушкетъ, оставилъ на столѣ доплетённую въ тотъ день перепелиную сѣть и на разсвѣтѣ, какъ видѣли пастухи, вышелъ за село. Съ той поры Антипъ въ нашихъ мѣстахъ никогда уже не показывался.

 О дідовомъ лісів вскорів заговорили не только въ уіздів, но и въ губерніи. Разныя почтенныя лица, въ томъ числів и члены харьковскаго университета, губернаторъ и вводивпій военныя чугуєвскія поселенія, графъ Аракчеєвь, пріізжали взглянуть на невиданное чудо, на засілиныя дівдопъ тысячу десятинъ бора. Иванъ Яковлевичъ терпися, робіль и не зналъ, какъ принимать благосклонные отзывы прівзжихъ.

Дідъ быль радъ за свой лість, радъ за трудное, съ прилежаніемъ и любовью конченное діло. Охотясь же въ бору на зайцевъ или поджидая въ лісной землянків на приваду волковъ, онъ вспомпналъ Антина, вздыхалъ и думалъ про себя:—«Хоть биться объ закладъ, онъ, дійствительно, былъ характерникъ и навіврное знался съ бісомъ, отгого ему все удавалось».

Въ 1818 году, нежданно получивъ за лѣсъ мопаршую милость отъ императора Александра I, дѣдъ рѣшилъ отправить двухъ своихъ сыновей, мосго отца и дядю, на восинтаніе въ дворянскій полкъ, въ Петербургъ.

Вручая юношамъ прогоны, онъ далъ шестнадцатилътнему моему отцу письмо къ графу Аракчееву и сказалъ:

— Ты, Нетя, еще молодь; старайтесь съ братомъ учиться; блюдите чистоту права, а наче всего не забывайте дворянскаго гонора и оказывайте должный решнектъ властимъ. Вслъдствіе послъдняго резона, воть вамъ цидулка къ графу Алексъю Андреевичу. Отвезите се по адресу и решнектуйте графу мое достодолжное почтеніе. Поступайте, какъ въ школь, такъ и далье въ жизни, согласно его указаніямъ и совътамъ. Раскаиваться, государи мои, не будете, пріобръти столь могучаго милостивца! Онъ, коли усибшно заищете, двинеть васъ и въ классахъ, и далье въ министеріяхъ... Желаю обонмъ возвратиться всиять министрами...

Письмо Аракчееву было отвезено. Графъ принялъ юныхъ недорослей украинскаго знакомца отмънно сухо, хотя объщалъ имъ нокровительство, и пригласилъ изръдка его навъщать. Въ одинъ изъ праздниковъ, когда застънчивые кадеты очутились передъ всемогущимъ графомъ, Аракчеевъсталъ ихъ разспрашивать, благополучна ли попрежнему роща ихъ отца?—Разсказъ кадетовъ о диковинной рощъ графъ заставлялъ ихъ потомъ повторять чуть не каждому изъ своихъ гостей. «И представъте, государи мои, — говорилъ при этомъ графъ гостямъ: — такое дъло и исполнилъ одинъ, одинъ! сократилъ на время хлѣбные посъвы, поэкономичалъ и со-

ерудиять такое дело... Самъ я, самъ оное видель и донынё о подражаніи тому другими, хоть бы казной, не при-

ложу ума!..»

Графъ пригласиль юношей не пропускать праздниковъ. А туть еще оказалось, что украинскіе гости въ родительскомъ дом'в были обучены музык'в: отець играль на флейт'в, дядя—на віолончели. Доморощенный петербургскій Неронъ, въ тісномъ домашнемъ кругу, почти въ секрет'в, не отказываль себ'в въ удовольствіи—нозабавиться мелодіями Ромберга и Сарги. Ихъ ему разыгрывала на клавесин'в какаято, изр'ядка, въ праздничные вечера, приходивніан къ нему пожилая горбатая родственница. Графъ Аракчеевъ снисходительно относился къ музыкальнымъ упражненіямъ кадетовъ.

Метты деда о судьбе детей, казалось, были близки къ осуществленію. Такой сильный исловекть, самъ, можно сказать, «рыкающій левъ», оказываль—кому же?—его детамъ персональное благоволеніс.

Украинская природа, однако, взяла свое. Среди холоднаго, затянутаго въ мундиры, вымуштрованнаго, шагавнаго на площадяхъ Петербурга, сыновья деда впали въ неисходное уныніе. Тоска по родине зафла икъ съ перваго же года. Въ то же время шли слухи о новыхъ и новыхъ подвигахъ «рыкающаго льва». Слухи проникали въ дворянскій полкъ...

Віолончель и флейта были брошены. Музывальныя услуги въ дом'в графа стали, какъ отписывали кадеты, ограничиваться лишь аккуратной, еженедільной, по воскресеньямъ, настройкой клавесина, который, къ слову сказать, вовсе не быль разстроенъ, такъ какъ горбатая родственница графа куда-то однажды стушевалась, и клавесина никто ужъ безъ цея не касался.

Министрами дедовы сыновья вспять не возвратились.

Подавъ безъ воли отца прошеніе о переводів ихъ на службу на родину, они были зачислены вонкерами въ ольвіопольскій уланскій полкъ и въ 1819 г. убхали въ місту пазначенія, въ уманское военное поселеніе.

Д'юдь, скучая по д'ятямъ и въ ожизаніи ихъ производства въ офицеры, подписался на «Московскія В'ядоности».

Однажды, — это было літомъ 1821 года, — долго не получалось вістей изъ Умани. Въ то время въ пашихъ містахъ

быль еще старый обычай получени почты изъ городовь черезъ общихь для цвлаго околотка «пвнихъ почтарей». «Бродячій», или, по містному выраженію «мандрованный» почтарь, Архигь Гуня,—онь же по-просту «Мандрыка»,—разносиль тогда изъ Зміева письма, газеты и почтовыя повістки по Донцу и окрестнымъ рікамъ версть на пятьдесять. Гуня быль коренастый, плотный старикъ шестидесяти-пяти літь. Его курчавая сідая голова, жилистыя, босыя ноги, мінюкъ съ почтой за плечами и длинный грушевый костыль въ руків были извістны всімъ.

- Да гді-жъ Мандріка? не виділь ли кто Мандріки? допытываль прислугу дідь, терня терпініе, что давно не было извістій оть дітей.
- Гдіз-нибудь ванялся работой, отвізчала ключница Ульяшка: — у лиманскаго протопопа полная клуни хліба: ну, вірно и сталь по пути номолотиться...
- А, чтобъ его мухи събли, какъ долго его нетъ!—-говорилъ съ досадой дъдъ: — Петя нисалъ, что ихъ представили; должно-быть давно ужъ процечатано въ въдомостяхъ.

Гуня, сверхъ почтарской облзанности, еще портняжилъ, ужътъ безъ станка подковатъ лошадь и былъ хорошимъ печникомъ. Разнося почту, онъ по дорогъ не отказывался за могарычъ исполнять и разныя другія послуги: кому нужно сшитъ жилетку, или починить тулупъ,—сділаетъ; гдв надо поправитъ печку,—поправитъ, вычиститъ и смажетъ глиной трубы; а нужно хорошему человъку, въ рабочую, горачую пору, помолотить,—то и здісь не откажетъ.

— Куда тебі, Архипъ, въ такіе годы, все піншкомъ, да піншкомъ? ноги отобьешь! — скажеть ему, бывало, знакомець:—лучше стань, возьми цінть и сбей какую копну; а я тебя водочкой, варениками угощу.

Положить Гуня почтарскій мінокь, съ столичными гаветами, письмами, книжками журналовь и прочей ношей, подъ скамью, или на голбикъ хлібнаго сарал, возьметь цінть и молотить сутки, двое, а иногда и боліве.

- Что жъ ты такъ опоздалъ?—спросятъ Гуню нетеривливые изъ хуторянъ:—двъ недъли не приносилъ въдомостей. Мы все ждали, ждали...
- Оттого не приносиль, что ничего путнаго и не было! отприветь, вытряхивая мышокъ, почтарь:—глядите сами.
 - Ты же почемъ знаешь?

— Отецъ Иванъ Вересовичъ въ Андреевки говорилъ. А вотъ въ Зміеви такъ было диво; да и въ Харькови какой случился пожаръ...

И начнетъ разсказывать. Почтовыя новости въ то время такъ занимали скучающихъ сельчанъ, что на нихъ накидывались живо и вспоминали о доставитель ихъ, когда и слъдъ его простылъ.

Въ іюнъ 1821 года, посять долгаго долгаго промежутка, ит улицъ Пришиба показались, наконецъ, знакомыя, сгорбленныя плечи Мандрыки, его съдая, вихрастая голова и длинный костыль. Дъдъ завидълъ его съ крыльца, прабабка допустила его къ рукъ.

Гуня высыпаль передъ господами изъ мышка принесенную почту. Туть были пачки выдомостей, выписанныя изъ Москвы, отъ Кольчугина, романъ «Анахарсисъ», книжка

какого-то альманаха и ибсколько писемъ.

Иванъ Яковлевичъ обратился къ письмамъ.

«Дражайшій и милый родитель!»—писаль діду изъ Умани его сынъ Петръ. — «Мы сего двадцатаго мая произведены въ корнеты...» (Д'Едъ сняль шапку и перекрестился). «Начальство насъ жалуеть, ценить и объщаеть намъ на побывку къ вамъ продолжительный отпускъ... Въ Умани весело; много навхало на ярмарку хорошенькихъ двищъ; вечера, танцы, прогулби. А на-дняхъ, mon père, мы были сильно обрадованы. Нашъ ремонтеръ пригласилъ насъ посмотреть и поторговать приведенныхъ на торгъ изъ Молдавіи, турецкихъ лошадей. Хозяинъ одного табуна, турокъ, показался намъ будто знакомымъ: въ чалмъ и во всемъ турецкомъ уборъ, а точно не турчинъ. Ужъ мы такъ къ нему и сякъ; отворачивается, молчить и не сознается. Да ужъ вечеромъ, когда продаль весь табунь, подвязаль кошель къ поясу, сыль на коня, отозваль нась въ сторону и произнесъ: «Кланяйтесь, панычи, своему тятенькъ; никогда не забуду его хлъба-соли и вашихъ вольныхъ, на Донцъ, краевъ. Въ Туретчинъ, однако. не въ примъръ лучие, — не требують начиортовъ, не обижають и не теснять. Долго искаль я сюда дороги. Теперь живу за Дунаемъ, у своихъ братьевъ-запорожцевъ, въ Вут-кальскомъ округъ, куда они ушли. Въры не пережънияъ, а торгую на вст концы. Вдучи сюда, наряжаюсь... Когда-нибудь все узнаете...» —Онъ не договорияъ, завидъвъ городничаго, стегнуль лошадь и ускакаль. Это, дражайшій тятенька, быль вашь егерь, Антипъ Легкоступь. И если онъ вновь окажется здёсь на ярмаркахъ, мы его разспросимъ, какъ въ былые годы запорожцы ушли въ Туретчину, и вамъ, notre très cher père, о томъ не замедлимъ въ точности сообщить».

1878 r.

V. БАБУШКИНЪ РАЙ.

Моя бабушка, Анна Васильевна Данилевская, рожденнам Рославлева, была совершенною противоположностью своему мужу, Ивану Яковлевичу. Моложе его, она пережила его итсколькими годами и умерла, какъ и онъ, безъ малаго пестидесяти-четырехъ лътъ.

Д'вдушка Иванъ Яковлевичъ былъ небольного роста, плечистый, с'вдой, совершенно лысый, съ мясистымъ носомъ и черными, вилыми, лукавыми глазками. Отъ природы л'внивый и м'вшковатый, онъ подъ старость совершенно осунулся, ходилъ въ с'врой охотничьей курткъ, въ широкихъ нанковыхъ панталонахъ, подпоясанныхъ ремнемъ, и въ высокихъ съ кисточками сапогахъ. Б'влье у него, впрочемъ, благодаря бабушкъ, было всегда тонкое и безукоризненно чистое.

Бабушка Анна Васильевна была высокая, худая и бледная, съ быстрыми умными глазами, прямымъ вострымъ носомъ и, не взирая на преклонные годы, стройная и не по лътамъ проворная и дъятельная. Въ праздники она ходила въ черномъ левантиновомъ, въ будни въ неизменномъ быломъ коленкоровомъ платъв. На ен съдыхъ волосахъ всегда красовался чистый кисейный чепець; на шев легкой волной быль наброшень былый, запущенный подъ платье, платочекъ. Къ этому, въ холодные дни, иногда прибавлялась сърая фланелевая фуфайка дідушки, или его халать, крытый синимъ демикотономъ, на бълыхъ мерлушковыхъ смушкахъ. По хозийству Анна Васильевна ходила въ мужскихъ сапогахъ, а въ гости по сосъдству вздила въ тельжкъ, причемъ любила надавать старую дедушкину ополченскую шинель и его теплый съ наушниками картувъ. — «Спартанка!» говорили, глядя на нее въ такомъ нарядъ, сосьди. И бабушла, дійствительно, была спартанка.

У Анны Весильевны не было своей ностоянной комнаты. Одну неділю она спала вь зеленой гостиной, другую въ портретной, иногда перекочевывала въ угольную, или въ библютеку. «Долги нучать, безсонницей страдаеть!» инсптали о ней соседки. Бабунка любила читать. Хороню образованная въ молодости, знавшая німецкій и французскій языки, она и подъ старость не покидала любви къ книгамъ и къ выпискамъ изъ нихъ того, что ей особенно нравилось. Добывъ въ городъ или у кого-нибудь изъ окрестныхъ знакомыхъ новую любопытную книгу, она уносила ее къ себв и рядомъ съ нею клала для отметокъ толстую тетрадь. После оя смерти, на чердакъ кладовой нашли цълыя кипы такихъ тетрадей, четкимъ и крупнымъ почеркомъ исписанныхъ выдерживами изъ любимыхъ ея авторовъ: Вольтера, Руссо, Бомарше и Дидеро. Постоянной, личной прислуги у бабушки тоже не было. Помогали ей въ ея надобностяхъ деревенскія бабы, ходившія по очереди убирать барскій домъ. Анна Васильевна смолоду любила кроить и перешивать разный носильный хламъ. А потому и въ старости нередко можно было видеть ее на ковре, въ гостиной или въ портретной, въ кругу ияти-шести деревенскихъ бабъ, за распарываньемъ и перешиваньемъ платьевъ, которыя, впрочемъ, бабущка редко потомъ носила.

Въ семьй господствоваль постоянный безпорядокъ. Бабушка безъ устали читала; дідушка охотился. Діти обучались съ гріхомъ пополамъ. При нихъ когда-то проживалъ гувернёръ, изъ французскихъ солдатъ, эмигрантъ Санбёфъ. Пристроясь въ этой семьі, Санбёфъ выписалъ изъ Франціи и свою жену. Мадамъ Санбёфъ отлично готовида кушанья. Мужъ ея, впрочемъ, не столько занимался обученіемъ ввіренныхъ ему питомпевъ, сколько охотой съ ружьемъ по болотамъ, ловлей лигушевъ себъ и женъ на соусъ, да разсказами любовныхъ исторій, во вкуст новеллъ Бокаччіо. Діти подросли. Мальчики облеклись въ мундиры и убхали въ дальніе полки. Дівочки вышли замужъ. У кали изъ деревни Санбёфъ съ женою. Впослідствій они открыли въ

Харьковь колбасную и отлично торговали.

Хознаство дедушки, въ начале двадцатыхъ годовъ, стало более и более приходить въ упадокъ. Случалось такъ, что, при пати именентъ и въ нихъ при десити тысячахъ десятинъ земли, не хватало денегъ на покупку принасовъ для

стола. Гости, вирочемъ, не переводились въ дом'в д'адушки. Несмотря на долги, Иванъ Яковлевичъ жилъ въ свое удовольствие: имъть собственныхъ музыкантовъ, хоръ пъвчихъ, а на охоту выважалъ съ сотнею и болье гоичихъ и борзыхъ собакъ.

Объдъ въ домъ заказываль всякъ, кто хотълъ. Своей птицы зачастую не хватало, а приносили ее, какъ молоко, яйца и огородную зелень, по очереди въ счетъ барщины съ села. Разливала чай и ходила въ комнатахъ, при ключахъ, худенькая, съ жидкою, съдою косичкой и постоянно босая, старая дъвушка Марья.

Иванъ Яковлевичъ, мадо развитой, ребкій и съ юныхъ льть несообщительный и молчаливый, оть долговъ и разстройства діль, быль постоянно не вь духів. Анна Васильевна о муж в всегда, однако, отзывалась съ отменнымъ уваженіемъ, увъряя всъхъ, что Иванъ Яковлевичъ-весьма умный и тонкій человікъ, и что самое его молчаніе-мпогозначительно. Даже къ сердечнымъ слабостямъ Ивана Яковлевича она относилась крайне списходительно. Когда у него въ лісу, на винокурні въ Курбатовомъ, завелась, въ лиців весьна красивой лісничихи Ульянки, фаворитка, — Анна Васильевна и въ этой Ульинкъ, сверхъ ожиданія, находила нъкоторую степень ума «привлекательнаго» и ръдкаго «въ этомъ сословін». Жалья здоровье Ульянии, она ей подарила свою старую котиковую шубу и дюжину собственныхъ шерстяныхъ чулокъ. А замъчая косые взгляды и даже ропотъ невъстокъ, при видь предпочтенія, которое оказывалось этой Дульцинев, говорила: «вы, сударыньки мои, не фыркайте и це смотрите слишкомъ строго на то, коли и собственный муженекъ у какой-либо изъ васъ иногда отшатнется въ сторону. Жена, милыя вы мон, это то же, что новенькое платье; чай, слышали: за-ново ситцы на колочк висять... А мужь намъ -- господинъ и владыка. Мы должны радоваться его удовольствіямъ и беречь его паче зіницы ока...» Невістки слушали такія р'єчи модча и наставленій свекрови отнюдь не одобряли.

Навыцая родныхъ и знакомыхъ, Анпа Васильевна любила привозить мужу въ гостинецъ пробы разныхъ кушаньевъ. «Покущайте, зельхенъ, —говорила она въ такихъ случаяхъ, развязывая крыночки и горшечки: —это — постные пирожки съ рыбкой и съ грибками: очень вкусны; а это — паштетъ

изъ дупелей». И Иванъ Яковлевичъ, забираясь на сутки и болье на охоту въ льсъ, присылалъ въ гостинецъ женъ стряпню Ульянки, при записочкахъ: «Покушайте и вы, гордхенъ, издълія моего кухмистера; на тарелкъ — бълые грибы въ сметанъ, а въ мискъ—застуженные караси. Же ву бэзъ и рекомендую, превкусны».

Жилъ Иванъ Яковлевичъ въ родовомъ селѣ Приппов. Въ остальныхъ его имъніяхъ—въ Ольшанкъ, на Середней, въ Великомъ Селѣ и на Богатой—всьмъ управляли приказчики. Дъла Ивана Яковлевича, что ни годъ, становились хуже и хуже. Заимодавцы оказывались злъе и злъе. Судьба имъній висъла на волоскъ. А устроить дъла, построже наблюсти за распорядками управляющихъ не хватало воли, терпънія и ръшимости.

Стараясь, чтобы ничто дурное и тревожное не доходило до мужа, Анна Васильевна сама возилась съ заимодавцами, спорила съ ними, молила ихъ объ отсрочкахъ, выслушивала ихъ упреки и даже брань, но къ мужу этихъ господъ не допускала. Иванъ Яковлевичъ зналъ такіе обычаи жены, и если кто-либо изъ крединоровъ являлся въ Пришибъ, онъ сказывался больнымъ, требовалъ пъявокъ и все собирался ихъ ставить, пока назойливые гости не уважали.

- Вы бы, зельхенъ, отправились на Середнюю, или въ Ольшанку,—говорила иной разъ мужу бабушка:—дёла тамъ, слышно, изъ рукъ вонъ плохо идутъ...
 - Да зачемъ же я, герцхенъ, туда повду?
- Ради Бога, повзжайте; повърьте этихъ мошенниковъ управляющихъ. Сколько у васъ земель, овецъ и скота, а доходовъ почти никакихъ... Сыновья на службъ, надо имъ и на обмундировку, и на житье; ну и молодые люди, повеселиться тожо... А денегъ у насъ давно ни алтына...
- Ахъ, герценька! я бы и повхаль, да вонъ... кажется, собирается... гроза...

Иванъ Яковлевичъ быль вообще не храбраго десятка, но особенно боялся грозы. Онъ избъгалъ быть въ пути во время бури, опасаясь, что его непремънно убъетъ громъ. Человъкъ мнительный и слабый во всъхъ отношеніяхъ, въ дорогу онъ собирался особенно неохотно. Иногда эти сборы длились по нъскольку недъль.

Всв знають, бывало, что барыня уговорила барина п

что баринъ, наконецъ, рѣшился выѣхать. И начинаются приготовленія. Съ пяти-шести часовъ утра передняя, въ подобныхъ обстоятельствахъ, уже полна. Писарь, конторщикъ, десятскіе и ключникъ, переминаясь съ ноги на ногу, вздыхая и зѣвая, стоять въ ожиданіи зова и приказаній барина. А баринъ проснется и, тоже зѣвая и вздыхая, прихлебываетъ ложечкой на постелн чай, разсматриваетъ свои руки, нли, собираясь понюхать табаку, медленно развертываетъ и опять свертываетъ на кольняхъ кльтчатый носовой платокъ.

Каждый разъ съ вечера, въ такихъ случаяхъ, ученики Санбёфши, съдовласый поваръ Явтухъ Мычка и старая повариха Нешка нажарять барину и напекуть въ дорогу всякой всячины. Призывался и лихой на пъсни и на выпивку слесарь Оедька. Появлялся и низенькаго роста, несчетные разы мятый на вывздив молодыхъ лошадей, коренастый мрачный и въчно смотръвшій въ землю, главный кучеръ Ивашко. Слесарю Оедык в отдавался строгій наказънолучие осмотрать и перечистить въ дорогу бариновы ружья. Ивашкъ приказывалось -- пораньше накормить, напоить и приготовить любимую караковую четверню бариновыхъ лошадей. Но събстные припасы, ружья и лошади давно, бывало, готовы, приказные по ивскольку разъ выйдуть изъ передней на крыльцо размять усталыя спины и покурить, и на сель всь хоронятся по дворамъ, чтобъ не перейти барину дорогу, а баринъ все не выходить изъ своей опочивальни.

Анна Васильевна, въ такихъ обстоятельствахъ, вертитъвертитъ спицами чулка, глядитъ то въ одно окно, то въ другое, потерлетъ, наконецъ, терпъніе и выходитъ къ мужу.

- Что же вы, зельхенъ, не вдете? спрашивала она, видя, что мужъ попрежнему сидить, свъсивъ необутыя ноги съ постели и разсматриваетъ руки или носовой платокъ.
- A что, герценька, отвычаетъ Иванъ Яковлевичъ: ъхать, видно, сегодня не приходится.
 - Почему?
- Руки терпнуть и ногти на пальцахъ какъ будто синіе... Это, върно, къ перемънъ погоды. Пусть лучше до-завтра.
- Какой же еще погоды! всиндывается въ досадъ бабушка: — смотрите, — божій день ясенъ, а въ саду, въ полъ, какой ароматъ...

— Ну, нътъ, — отвъчаеть дъдушка: — я вотъ и Не́шку повариху призывалъ, говоритъ, всю ночь до утра курица какая-то на кухиъ кричала: видно, будеть дождь.

— Да какой же дождь? на небъ ни облачка.

— И сонъ, герценька, я видель сегодня; совсёмъ нехорошій сонъ... Покойнаго попа, отца Ивана, будто я въ пруде купаль, а онъ меня осилиль и верхомъ на мий будто къ губернатору поехалъ... Да и вчера быль тоже сонъ. Снидся покойный тятенька Яковъ Астафьичъ...

И начнетъ разсказывать Иванъ Яковлевичъ свои сны, да такъ медленно, съ такими разстановками, что бабушка не вытерпить и уйдеть. Отъйздъ, разумъется, при этомъ отдагался. А тъмъ временемъ и приказчики отдаленныхъ вотчинъ пронюхають, что баринъ собирается ихъ провъ-

рять, и принимають свои меры.

Иванъ Яковлевичъ, наконецъ, рѣшается. Бабушка молебенъ отслужила, ходитъ веселая, довольная. Къ крыльцу подкачена желтобокая, выписанная изъ Вѣны коляска, и въ нее горой наложены всякіе складии, погребцы, уалы, укладки и свертки. Лакей и парикмахеръ Гаврюшка, со всякой всячиной подъ мышками, мечется какъ угорѣлый изъ кухни въ кладовую, изъ кладовой въ музыкантскую, а изъ музыкантской въ швальню, не забывая, впрочемъ, по пути забѣжать и позубоскалить съ кружевницами и ковёрницами. Солице подбирается къ десяти часамъ. Ужъ и жарко.

--- Пора, -- говорить, кончивъ кофе, Иванъ Яковлевичъ: --

можно бы, герцхенъ, и запрягать.

— Куриную котлетку только или фрикасе изъ дичи скушали бы еще, зельхенъ, на дорогу, — говоритъ, не помня себя отъ радости, бабушка.

Онъ подаеть знакъ ключницв.

Черезъ полчаса въ хомутахъ ведутъ и запрягаютъ лошадей. Лягавый жирный песъ Бекасъ усълся между торчащими ружьями на козлахъ, радостно визжитъ и воетъ отъ нетерпънія.

А тымь временемь, какъ Иванъ Яковлевичь, еле-еле жул и перебирая косточки, кушаеть напутственное фрикасе и куриную котлетку,—ключница Марыя, высунувшись изъ коридора, шопотомъ докладываеть барынъ, что на деревнъ... появился мужикъ съ Середней.

- Kto? ето? спрашиваеть, заслышавь этоть шопоть, баринь.
 - Капитошка Кочетъ.
 - Зачыт онъ?
- Родныхъ пришель навъстить... потомъ у него кума... прибавляеть, не видя тревожныхъ знаковъ барыни, съдая ключница.
- Позвать Капитошку! объявляеть, утирая губы и въ раздумь в шевеля бровями, дедушка.

И является Канитошка. Поклонится онъ, стансть, какъ ни въ чемъ неповинный, у двери и молчить.

- Ну, все ли у васъ тамъ благополучно? спрашиваетъ, пюжал табакъ, дъдушка.
 - --- Какъ вамъ, сударь, сказать... кажись бы все...
 - А бользией никакихъ не слышно?
 - Какъ не слышно! Есть...
 - Karis re?
- А ходить одна, сказать бы и пустая, да такая, что руки и ноги у человъка отнимутся, а то и попрыщеть...
- Слышите, ге́рценька? спрашиваетъ, глядя на жену, дъдушка.
- Слышу,—отвъчаетъ, сердито глядя поверхъ очковъ на Капитона, бабушка
- Ну, а погода? допытываеть баринъ, начиная опять на коліняхъ разстилать и свертывать носовой платокъ.
- У вась туть, сударь, еще бы и ничего, отвычаеть на заданный урокъ Капитонъ: а воть степью сейчась и шель, такъ и не приведи Богь, какая тамъ собралась туча. Какъ выйдете въ поле, то будеть дождь.
- Ну, иди же ты, Капитонъ, на кухню, да вели себъ дать водки и пирога,—а я лучше пережду.

Иванъ Яковлевичъ до того боялся грозы, что даже въ комнатахъ съ первымъ ударомъ грома приказывалъ запирать ставни и двери, зажигалъ лампады у образовъ, ложился среди бъла-дня въ постель, голову прикрывалъ одъяломъ и такъ лежалъ, пока удалялась гроза.

Но случалось, что Иванъ Яковлевичъ, наконецъ, и вывдеть, да вспомнитъ, что въ то утро всталъ съ постели лъвой, а не правой ногой, или увидитъ на улицъ крестъна-крестъ упавшия двъ соломинки, или кто-нибудь въ деревнъ перейдетъ ему дорогу, то непремънно возвращается, и къ новому отъбзду соберется уже не скоро.

Жизнь Анны Васильевны на старости была вообще не легка. Сыновья были на службів, дочери замужемъ. Однів книги ее утьшали. Твердая нравомъ, начитанная и умная старушка не унывала. Мужнино хозяйство, правда, шло до того плохо, что, при тридцати-сорока лошадяхъ на конюшив, иной разъ не на чемъ было вывхать: лошади то хромали, то были запалены; а кучеръ Ивашко подчасъ докладываль, что нъть ни единаго цълаго и сноснаго хомута. Зато въ комнатахъ, благодаря хлопотамъ Анны Васильевны, всегда было чисто, уютно, свътло и пріятно пахло. Позолота на зеркальныхъ рамкахъ потуски вла, правда, и потерлась, и Гаврюшка нередко ходиль съ прорванными локтями. Зато цвіты по окнамъ были постоянно свіжи и зе-Поды въ комнатахъ бабы подметали вениками изъ душистыхъ травъ, вощили и вытирали суконками. И если Анна Васильевна не всегда им'вла деньги на собственныя необходимыя потребности, если сама она пила чай изъ безносаго чайника, зато мужу кофе на завтракъ подавался не иначе, какъ въ серебряномъ, съ резьбой и съ цветкомъ на крышкъ, кофейникъ и съ такою же сахарницей. Въ новый годь прислуга но выбрасывала изъ дому сора, оставляла его гді-нибудь въ углу за дверью или нодъ печкой, чтобы не вымести вонъ изъ дому... счастья...

— Что жъ за «счастье» было у бабушки?

Анна Васильевиа, лётомъ съ книгой на балконе, а зимой съ чулкомъ, склонясь къ промерзлому окну, по цёлымъ часамъ стояла, глядя черезъ садъ на дорогу, въ дальнюю ихъ вотчину на реке Богатой.

Тамъ-то и быль «бабушкинъ рай»... И этотъ рай была

бабушкина крестница-Груня.

Чуднымь образомъ досталось это утвинение бабушкв. Вышла какъ-то льтомъ Анна Васильевна въ старый пришибскій садъ, взглянуть, не осыпалась ли отъ мороза завязь на молодыхъ, посаженныхъ ею щепахъ. Она взглянула на яблони — «добрый крестьянинъ», на плодовитку и антоновку; взглянула на бергамоты и дули... Все было благоцолучно. Она нарвала цвътовъ и ужъ котъла уйти, какъ у корня груши-тонковѣтки, въ сочной, высокой травѣ, услышала какой-то пискъ... Анна Васильевна склонилась къ землѣ, бережно раздвинула траву. Передъ ней, перебирая голыми ручками и ножками, копошилось крохотное, въ оборванныхъ пеленочкахъ, дитя.

Найденная подъ грушей дѣвочка была названа Груней, принята, вырощена и воспитана бабушкой. А когда Груней пошель пятнадцатый годъ и она уже была обучена грамотъ, шитью, домашнему хозяйству, пънію и даже игръ на клавесинахъ, Анна Васильевна рѣшилась съ нею разстаться.

«Дѣвка на возрасть и страхъ какъ хорошьеть! — думала про себя бабушка: — сынки то-и-дьло изъ полковъ навыдываются, сосыдные военные тоже какъ комары здысь толкутся, и одинъ изъ нихъ, этотъ картежникъ изъ сербовъ, майоръ Дучичъ, особенно сильно сталъ на Груню поглядывать... Надо ее спровадить подальше».

И Анна Васильевна, скрвпя сердце и обливаясь слезами, спровадила Груню. Она снабдила ее одеждой и обувью, наставленіями, благословеніемъ и книгами и отправила ее за Донецъ, на Богатую, подъ надзоръ и руководство стараго и опытнаго, но хвораго управляющаго изъ н'вмцевъ, Флуга. Старикъ Флугъ въ скорости умеръ. — «Поставьте на его мъсто Флугшу,—стала совътовать бабушка мужу:—нъмка, почитай, и такъ при покойномъ всёмъ тамъ заправляла. Управится и теперь. Особливо же при ней наша Груня; будутъ у нихъ для насъ масло и птица, будутъ, какъ слъдъ, догляжены овцы, лошади и все наше добро». Мужъ согласился.

Груня привыкла къ хозяйству и дъйствительно хорошо управлялась. Она часто переписывалась съ бабушкой. — «Живу хорошо, милостивая государыня и крёстная матушка, — писала она, — только скучаю. Степь, ни села кругомъ не видно, ни лъса. Новый флигель, поодаль отъ батрацкихъ избъ, сколоченъ тепло, заборъ вкругъ двора высокъ и крыпокъ, а на ночь мы ворота съ Миной Карловной запираемъ на замокъ. Ленъ цвътетъ — все поле голубенькое, какъ ситчикъ, что вы прислали. Овцы здравствуютъ, — табунъ съ нови бъжитъ, земля дрожитъ, — а ужъ садъ да и огородъ у насъ, на ръчкъ Богатой — не чета, маменька, вашему: будутъ яблоки апортъ, будутъ сливы-

безсвиянки, будуть черешни и бвлая слива. Припасайте, крёстная, меду: всего наваримь. Да пришлите книжечекь. Смерть, по вечерамъ, тоска. Прочла и «Наталью боярскую дочь»... Ахъ, какъ хорошо. А не вышло ли, маменька, продолженія «Онъгина?» Да еще слышно, — купець туть съ бакалеей сбилси съ дороги, у насъ кормилъ, — ходять, говорить, въ спискахъ стихи — «Горе отъ ума». Очень хвалить, и у него списано нъсколько стишковъ... Припилите. Флугшу лихорадка бъетъ, да и глазами хвораетъ. Нъть ли какихъ капель?»

Грун'в исполнилось шестнадцать літь. Высокая, темнорусая, степенная и гордая, съ полною, крізікою грудью, румяная и широкая въ кости, — Груня ходила съ увальцемъ, говорила медленно, будто нехотя, работала не спінпа. Вольшіе стрые глаза смотріли ласково... Станеть она, не двигая ни рукой, ни бровью, улыбнется, — всю душу освітить. А піла, забравшись въ поле или въ садъ, — не наслушаещься.

«Ой, соберется онъ на Богатую, соберется!—мыслила, въ тоскъ о своей питомкъ и въ тревогъ о мужъ, Анна Васильевна: — Середняя, Ольшанка ближе къ дому, и дъла тамъ вотъ какъ запущены, — а его туда не сдвинешь. На Богатую-жъ, въ этакую даль, какъ разъ онъ угодить, — и не спохватишься... Да, да, угодитъ; и майоръ Дучичъ съ нимъ собирается... Недаромъ Иванъ Яковлевичъ сталъ толковать, что на табунъ надо взглянутъ. Ружъя началъ чиститъ, — дичи, говоритъ, лисицъ, да дрофъ, не оберешьси тамъ... Знаю, сударь, на какую дичь твой другъ сербинъ мътитъ».

Съ упавшимъ отъ жалости и страха сердцемъ Анна Васильевна вздыхала, хмурилась, быстро перебирала спицами чулка и не отходила отъ оконъ, изъ которыхъ былъ виденъ путь за Донецъ, на Богатую.

Опасенія бабушки не сбылись. Груня вскорв ускользнула отъ всякой опасности.

Бабушка продолжала навъщать хуторъ на Богатой.

Особенно любила Анна Васпльевна встрвчать весну на хуторв. Повдеть къ роднымъ на Самару или на Торецъ, отговъеть тамъ въ великій постъ и завдетъ провъдать Груню.

А Грунъ пошель восемнадцатый годъ.

Февраль-бокогрый дохнуль тепломъ, да не такъ, какъ следуетъ. Колья заборовъ, углы хатъ и сардевъ на подсолнечной сторонь съ угра заталли, а къ вечеру обмерали опять. Мартъ еще держалъ и холодъ, и снъгъ, хотя небо становилось ласковъе, голубъе. Вотъ Благовъщенье, конецъ поста. Дружнъе подулъ съ полдня знакомый, теплый и полный обаятельной нъги вътерокъ. Старый табунщикъ Максимъ глянулъ въ окно, подтянулъ поясъ и говоритъ женъ: «а что, Ганна, должно быть и весна на дворъ?»—«Можетъ, и весна!» — отвъчаетъ покорно и робко жена. И оба они выходятъ на порогъ хаты, жутко и весело вглядываясь въ засинъвшую степь.—«Пора барышнъ доложитъ, пусть отпишетъ господамъ, не размять ли табуна на волъ, не выгнатъ ли коней хоть на старыя жнивья?»

Вышла и Груня за ворота. Кругомъ еще тихо. А былыя перистыя облака неспокойно несутся надъ вздувшеюся отъ подпора степныхъ водъ Богатой. Еще зарями морозитъ; еще по ночамъ хруститъ подъ ногами. А въ лицо уже нашетъ инымъ, пцедрымъ, будто праздичнымъ тепломъ. Точно паръ молодого хмельнаго вина разлитъ и струится въ воздухв. И отъ каждаго вошедшаго съ надворъя, отъ его одежды, лица и рвчей—пахнетъ весной.

И воть весна пришла.

Огромный, исхудалый за зиму грачъ, звонко каркая, летить сь поля на выгонъ. Выглянуло солице, глядить и не прячется. Подъ его лучами залаяли родники, сугробы и намёты. Все точно дымится, обрушается, шумить и плыветь. Къ вечеру будто отпустить. Выйдеть Груня на крыльцо: кругомъ тихо, только собаки на дальней овчарнъ лають, да въ темнотв кое-гдв раздается шелесть подтаявтаго сиъга, неугомонное шушуканье и пошептыванье быгущей по скатамъ въ разныхъ уголкахъ и направленіяхъ воды. Стоитъ Груня и слушаетъ, что говорятъ воды и что нашентываеть весна? Все стихло, не слыхать ничего. впотымахъ у сарая что-то вновь зашелестило: вода понемногу скопилась, пробуравила дырку подъ соломой, сваленной у коновизи, закипъла и точно ухнула и ръзко понеслась вдоль двора къ рект. А не то мелкими, звонкими наплями, какъ горохъ или дробь, вдругь посыплется что-то съ крыши, точно ея сивжный покровъ охватило налетввшимъ, бродячимъ тепломъ, и онъ подъ его струей затаялъ...

Прошель день-другой, прошла недвля. Груню манить въ садъ. Изъ влажнаго, пригрътаго чернозема пробиваются первыя травы, туть же на солнцепекъ быстро и расцвътая. Голубые пролъски и бълые ландыши гнъздятся между безлистныхъ еще деревъ. Явились ласточки, мотыльки. Цвътовыя почки на вътвяхъ вздулись, и ихъ липкіе, душистые лепестки развертываются зелеными и бълыми кулачками. Еще день — вишень и терна не узнать: все сливается въ бълую стъну, и запахомъ меда далеко несетъ отъ нихъ. Показались рои мошекъ и комаровъ. На тропинкахъ обозначились ямки пауковъ. Рогатый черный жукъ суетливо катитъ задомъ, черезъ былинки и сучки, скомканный изъ всякаго хлама шарикъ. Отозвалась кукушка. А вотъ и соловьи...

Сядеть Груня на крыльці, мысль ея далеко—съ Кавказскимъ плівникомъ, или съ цыганомъ Алеко. Дворъ хутора на взгорь За выгономъ вліво и вправо—неоглядная степь, на дні широкаго лога—извилины річки Богатой, а за рівкой—опять взгорье и опять синяя, гладкая степь,—все это видно съ крыльца, какъ на ладони. Во дворі тихо. Рабочіе, старъ и младъ, ушли на посівъ. Овцы и лошади пасутся далеко по буграмъ; за косогоромъ ихъ не видно. Солнце грієть. Птицы затихли. И ни одинъ звукъ не долетаетъ до Груни. Разві хлопотунъ-пітухъ, роясь въ кучі сора, отзовется на отошедшихъ къ сторонкі куръ, да согнанная коршуномъ или кошкой стая голубей съ шумомъ взлетить съ овчарни или съ мельницы и, кружась, унесется къ вербамъ на луга...

Груня смотрить на голубей, на сарай, подъ которымъ кучей свалены зимнія дровни, на всякую домашнюю рухлядь, развішенную Флугшей по веревкі, между погребомъ и амбаромъ, на заячьи тулупы, наволоки, кофты, одіяла, платки и мішки. Посидить Груня, вздохнеть и идеть въ садъ. А тамъ, въ сочныхъ травахъ и въ кустахъ, кишитъ домовитая хлопотня півчихъ птащекъ и звірьковъ. Въ земляныхъ, лиственныхъ и древесныхъ тайникахъ везді пищатъ, копошатся, звенятъ и шуршатъ новорожденныя крылатыя и четвероногія семьи. А въ воздухі жарче и жарче. Земля накаляется. По степи, волнуясь, ростя, опять исчезая, движутся исполнискія туманныя марева... Скоро на кольяхъ заборовъ и на высохшихъ былинкахъ явится во-

строносенькая, въчно-чиликающая, «птичка-жажда». Загремять страшныя грозы, прольются шумные дожди...

Грунт исполнилось девятнадцать лътъ.

Въ концѣ зимы того года, ѣздивъ съ Флугшей въ церковь ближняго села, Груня простудилась и пролежала въ горячкѣ большую часть великаго поста. Бабушка присылала къ ней фельдшера и сама ее навѣстила на страстной недѣлѣ. Много въ эту зиму въ степи болѣло людей. Старый табунщикъ Максимъ умеръ и на его мѣсто Иванъ Яковлевичъ прислалъ отъ себя другого наѣздника, Родьку, по прозвищу Бѣлогубова. О смерти и о похоронахъ Максима, а равно о присылкѣ Бѣлогубова Груня знала смутно, по слухамъ, изръдка долетавшимъ въ свътелку, гдѣ она томилась въ болѣзни. На пасху Груня оправилась. Еще блѣдная, худая и слабая, она пріодѣлась, накинула на голову платокъ и, пошатывалсь, отъ скуки вышла на крыльцо, а оттуда въ садъ.

Былъ конецъ апръля. Вечеръло. Овцы шли къ водопою.

Табунъ ръзво несся по степи домой.

Груня потянула грудью свёжаго воздуха и закрыла глаза отъ блеска солнца, тонувшаго за рѣкой, да отъ запаха распускавшихся деревъ и цвётовъ. Никогда еще весна такъ не плёняла и не чаровала Груни. Слезы покатились у нея по лицу. Она присёла на кочкф, склонилась головой на руки и сперва тихо, потомъ громче и громче, съ переливами запѣла нѣкогда модную пѣсню, которой за клавесиномъ выучилась у крестной:

Я бъдная пастушка, Весь міръ мой—этоть лугь; Собачка мнь—подружка, Барашекь—милый другь...

За спиной Груни послышались шаги. Что-то зашелестило въ кустахъ. Она смолкла, оглянулась. Раздвинувъ вътви вишенника, передъ нею, безъ шапки, стоялъ высокій, статный человъкъ: въ съромъ старенькомъ, обхваченномъ ремнемъ армякъ, на поясъ—подпилокъ, ножъ и ланцетъ, самъ онъ русый, борода чуть пробивается, молодое, обвътренное лицо и ласковые, веселые и вмъстъ робкіе глаза.

 Птушки, сударынька! это вамъ-съ!..—сказалъ подошедшій разжимая широкую, мозолистую ладонь. Груня взглянула: передъ ней на протянутой рукъ сидъли рядкомъ, шевелясь и раскрывая желтые, мягкіе носы, двъ, чуть обросшія сърымъ пухомъ, птички.

- Что это?—спросила Груня.
- Птушки, сударынька, жавороночки! а може и скворцы... не бойтесь, это вамъ...
 - А ты самъ кто такой?
 - Новый табунщикъ, Родька, коли изволили слышать.
 Груня встала.
- Ну, Родивонъ, сдёлай же ты мнё божескую милость,— сказала она:—отнеси ты этихъ пташекъ туда, откуда ихъ взялъ. Это соловьи. Пусть себі живутъ... Да бережно, смотри, положи, чтобъ соловьиха не откинулась. А за вниманіе благодарствую...

Съ этими словами Груня ушла. Поглядать ей всладь Родивонъ, вздохнулъ и, почесывая затылокъ, долго не сходилъ съ мъста. Какъ стемнъло, онъ спустился въ ягодные кусты, положилъ птицъ въ гнъздо, въ сборную избу ужинать не зашелъ, а сълъ на коня, шевеля плеткой, тяхо выбхалъ въ степь, и Груня изъ своей свътелки слышала, какъ по темному бугру за ръкой, на привольи, раздалась его заунывная пъсня:

«Охъ, и гдѣ жъ ты, гдѣ же, Милъ сердечный другъ?»

Съ той поры Родивонъ не выходилъ изъ головы Груни. Она пряталась отъ него, избъгала его, но невольно слъдила за всъмъ, что онъ дълалъ и что о немъ говорили.

Въ срединъ мая на Богатую пришли подводы, забирать проданную купцамъ прошлогоднюю пшеницу и кое-что изъвапасовъ льна. За болъзнью Флугши кули въсилъ и, какъ грамотный, по списку отпускалъ, подъ надзоромъ Груни, Родивонъ. Первые возы нагрузились и съ купеческимъ приказчикомъ убхали; стали грузиться вторые; подводчики устали и пошли объдать. Въ прохладномъ, пахнувшемъ мукой и развъшенными новыми въниками, амбаръ остались только Родивонъ да Груня. Поглядыван на Груню, Родивонъ карандашомъ выводилъ послъднія отмътки въ амбарномъ спискъ. Груня зъвнула.

 Это у васъ, барышня, какое колечко? — спросилъ Родивонъ, встряхивая запыленными мукой кудрями.

- Сердоликъ, крестной подарокъ!-отвътила Груня, протягивал руку.—Да что ты, непутный, поди, мукой ссю перепачкаешы-крикнула она, сибясь и съ силой отталкивая Родивона:--ой, да не жин жъ такъ, больно... пусти... Мину Карловну позову...

Родивонъ не отступалъ. Онъ кринче обнялъ Груню, подхватиль ее оть полу, какъ перышко, посадиль на куль ря-

домъ съ собой и сказаль:

— Что жъ, сударыня, кричите; одинъ, видно, мив конецъ...

— Да пусти жъ ты, сумасшедшій, что затыль! одуmaāca! ofi!..

— Нечего мив, барышия, думать. Сердце изныло. Одна дорога: либо петля, либо въ воду... День хожу, какъ шальной, ночи не сплю-помутила меня твоя красота, Грунюшка...

Трепеть пробъжаль по тълу Груни. Она вспыхнула, искоса

поглядывая на Родивона.

- Ахъ, отчего я не богатый, да не знатный! - продолжаль Родивонъ:--не пойдешь за простого, не отдадуть такой крали за сермяжника...

- Груня вырвалась отъ Родивона. — «Руки коротки! — сказала она, толкнувъ его такъ, что тотъ о закромъ ударилси спиной.—Мин'в Карловив, воть ей-Богу, все разскажу!» прибавила она, безъ оглядки уходя изъ амбара. А когда вечеромъ увхали последнія подводы, Груня вышла на прыльцо, подозвала Родивона, взяла у него амбарные списки и, не уходя въ горницы, спросила: «кто ты родомъ и отколь «?каква чишимъ взялся?»

- Княжескій я,—нѣсколько замявшись, тихо отвѣтилъ Родька: -- въ пъвчихъ былъ-- не вытерпълъ; въ егеряхъ-- не по нраву пришлось; лошадей любиль-ну, съ тъмъ и остался...
 - Какъ же ты къ господамъ-то къ нашимъ присталь?
- У лъкаря, у Егора Оаддеича Слъзіевскаго, сперва кучеромъ вадиль, а онъ меня и къ вашимъ господамъ на-
 - По паспорту, что ли, ходишь?
 - Мы оброчные, —еще тише отвътиль Родька.
- Есть же у тебя отець, мать? допытывала Групя, ноглядывая на стоявшаго передъ ней безъ шапки молодца.
 - Какъ персть, барышня, одинь, какъ персть, на свъть...
- Ну, иди же, Родивонъ, къ себъ, да впередъ не смъй озорничать. Не то, поссоримся.

- А книжечки, сударыня, пътъ ли почитать? лукавыми карими глазами усмъхнулся Родька.
- Послѣ приходи... Найду, сама тебя кликну и отдамъ... а самъ не смѣй!—сказала, вся закраснѣвшись, Груня, обернулась и ушла къ себѣ въ горницу.

Кончился май. Началась косовица, полотье огорода и льна. Груня ходила въ поле къ гребцамъ и къ полольщикамъ въ огородъ и на луга. Не зимняя пора. Весело и размяться, несмотря на зной и духоту. Вездв въ часы роздыха неслась болговня словоохотливыхъ захожихъ поденщицъ. Бабы толковали о хозяйствъ мужей, дъвки о женихахъ да нарядахъ. И всякія тайны соседокъ-хуторанокъ при этомъ невольно узнавала Груня: гдв парни хорошіе и гдв дурные, и кто кого любить и съ къмъ знается, и кто кого гонить, или за кого собирается замужь. Вонь загорылая, статная, съ черными бровями и русой косой красавица, бросивъ грабли, божится, что нътъ на свътъ лучшаго, какъ ткачихинъ сынъ; но она его прогнала и не пустить къ своей хать, хоть убейся онъ. Другая, худощавая, бльдная, забитая лихорадкой, лежить подъ копной и, закинувъ руки за красивую голову, шенчеть подругь, какъ въ воскресенье, въ слободъ, ее затронулъ у церкви поповичъ и что она при этомъ отвътила, и какъ, оставивъ своихъ, она уже и слободу миновала, а поповичь все за нею, все за нею, идеть и просить, чтобъ она вечеромъ вышла къ нему постоять за ворота. И всюду любовь, всюду нъга, всюду голосъ, зовущій къ иной, неизв'єданной, чудной жизни...

Гребцы идуть пестрыми рядами по свежимъ покосамъ, а Груня глядить въ даль, где по синевощему пригорку Родивонъ водить на просторе вольный табунъ. Соберется Груня съ дворовыми стряпухами въ соседній лесокъ по грибы, — Родивонъ уже тамъ: подойдеть къ ней, ласковыя речи ведеть, застенчивъ, глазъ на нее не поднимаеть, а съ другими зубы скалитъ, песни во все горло поетъ. «Такъ, такъ! Онъ полюбилъ меня, оттого и стыдится!» — думаетъ Груня, съ кузовкомъ грибовъ идя домой.

«А коли не суженый?— размышляла какъ-то Груня, погасивъ свъчу и собираясь ко сну въ своей горницъ,—отдадутъ меня за чиновника, отдадутъ за офицера... Да будетъ ли тотъ такъ любить? Простой, подпевольный человъкъ... Лишь бы не обмануль,—крестная выкупить его у князя... Смышленый, умный такой, да работящій; все знаеть, грамотный,— ему быть не при лошадяхь... Ему цёлой вотчиной править, такъ не испортить дёло»...

Груня откинула пологь кровати, распустила косу, присъла и, не раздъваясь, стала глядъть въ окно. Полный мъсяць плылъ въ ясномъ небъ. Кудрявая акація, не шелохнувшись, стояла на садовой полянъ противъ окна. Тихо. Только кузнечики трещатъ по лугамъ, да изръдка на птичномъ дворъ крикнетъ пътухъ, и ему прерывистымъ, звонкимъ баскомъ вторятъ молодые, подрастающіе пътушки.

Что-то зашелестило подъ окномъ. Груня привстала, слушаетъ. Чъя-то рука будто скользитъ по стеклу, нажимаетъ раму. Рама отвориласъ. «Боже! неужели воры? — подумала, мертвъя отъ страха, Груня, —съ нами крестная сила!. » Она спряталасъ за положокъ.

- Барышня, вы не спите? это я! шепчеть изъ саду тихій голось.
 - Да кто ты, говори! или я крикну...
 - Не кричите, барышня, это я... Родивонъ...
 - Что тебъ?
- Книжечки нѣтъ ли? скука... смерть—тоска!—пісичетъ Родивонъ.
- Нашель, безпутный, въ какое время книжку 'просить! Поди, говорю теб'в, поди... чтобъ и духу твоего не пахло! какъ можно! такая пора...
- Да вы, сударыня, слушайте не бойтесь... да вы только подойдите сюда, къ окну... Хоть словечко промолвите...

«Встать ли? подойти ли къ нему, озорнику?» — разсуждала, не выходя изъ-за полога Груня. А ночь тиха, свъть мъсяца щедро льется. Медвяный запахъ цвътущихъ липъ врывается въ открытое окно...

Въ началѣ іюля Анна Васильевна получила отъ Груни письмо, съ просьбой о благословеніи и о разрѣшеніи ей выйти замужъ за Родивона. Сильно озадачила и огорчила эта вѣсть старуху. Она ни словомъ не проговорилась о томъ мужу, а велѣла запрячь крытыя дрожки, съѣздила на Богатую, посовѣтовалась съ Флугшей, разспросила Груню, потребовала къ себѣ на глаза Родьку и, давъ ему добрую головомойку, кончила тѣмъ, что благословила его на бракъ

съ Груней. Свадьбу сыграли въ ту же осень въ Принибъ. Родька сталъ именоваться Родивономъ Максимычемъ и получилъ званіе конторщика, а въ слъдующемъ году, когда умерла Флугша, Грунъ и Родивону было передано и все

управление хозниствомъ на Богатой.

Отлично зажила Груня съ нуженъ. Черезъ годъ у нихъ родилась дочь, которая также удостоилась быть крестницей Анны Васильевны. Груня завъдывала коровами, птицей, садомъ и огородомъ; Родивонъ Максимычъ—овцами, лошадыми и хлъбонашествомъ. Доходы съ Богатой удвоились. Не нахвалится новыми хозяевами далекаго хутора Иванъ Яковлевичъ. А ужъ объ Аннъ Васильевнъ и говоритъ нечего—она души въ нихъ не чаяла.

 Да кто жъ онъ, матунка, кто этотъ вашъ новый управляющій? — спрашивали Анну Васильевну любопытныя

сосъдки.

— Четвертинскаго князи крѣностной, изъ дворовыхъ, съ Литвы, а проживалъ при барскомъ домѣ въ Москвѣ. Былъ у насъ прежде почитай контохомъ, а вонъ, за отличіе да за стараніе, чѣмъ его мужъ мой пожаловалъ.

— Вы его, матушка, выкупили?

— Самъ выкупился; безъ того я крестницы за него не отдавала.

И двиствительно, Бълогубовъ съвздиль въ Москву и передъ вънчаніемъ привезъ отгуда отпускную. Все шло хорошо. Только самъ Родивонъ Максимычъ сталъ что-то неспокоенъ: по-часту охаетъ, ходитъ задумчивъ, мало разговариваетъ, а ужъ жену любитъ—не наглядится на нее, да и съ дочкой-подросточкомъ такъ ласковъ да нъженъ, съ рукъ ее не спускаетъ, слезы потихоньку утираетъ, любуясь на нее.

— Что ты, Родя, печалишься будто? — спрашиваеть его Груня: — наъ-за чего думы твои? или ты чёмъ недоволенъ, или я тебе не угодила?

— Всемъ я, Грунюшка, доволенъ, оттого и мысли мои... Ну, думаю, какъ все это кончится? Ну, какъ ничего не станетъ у меня, ни тебя, ни дочки, ни всего?

— Какъ не станеть и отчего? Бога ты гивниць, Родя,

и не добро думаень.

— Одначе... постой, отвъть: а что... вдругъ, — ну, какъ вы номрете, или кто васъ отбереть?

- Полно, пустяки говоришь. Я думала, о чемъ о другомъ онъ заботится... А ты о смерти... пустяки! Всё мы подъ Богомъ, всё подъ Его волею, Онъ насъ и помилуетъ. Лучше ты бёглыхъ вонъ туть не держи. Самъ толкуещь про станового, про Сидора Акимыча, не человёкъ, а звёрь.
- Полно, Груня, будто бытые не люди! Жаль ихъ, да и работають какъ... А обо мий ты не думай, это пройдеть... Родивонъ, однакоже, не унимался: похудёль, опустился, даже старые будто сдылался на нысколько годовъ. И началось это съ той поры, какъ онъ съёздилъ на ярмарку продавать выбранныхъ изъ табуна лошадей. На ярмарки, между всякимъ народомъ у кабака, его узналъ какой-то рыжий и невзрачный съ виду, загулящий побродяжка. Родивонъ сильно смышался при виды этого человыка и сперва на его привыть не признался; но потомъ они пошли въ трактиръ и больше сутокъ тамъ угощались. Загулящий человыкъ, на радости отъ встрычи съ старымъ прінтелемъ, остался мертвецки пьяный подъ лавкою трактира, а Родивонъ поскорые убхалъ домой, но съ той поры его какъ въ воду опустили: совсымъ сталъ иной.

Эти заботы, спустя нѣкоторое время, какъ будто и прошли. Родивонъ съ виду сталъ спокойнѣе. Но къ зимѣ онъ получилъ откуда-то письмо и опять закручинился; началъ искать денегь взаймы, добылъ, сколько могъ, и выслалъ ихъ куда-то, а прежняго спокойствія не видить.—«Откуда письма получаещь?» допытывала жена. — «Отъ родныхъ, изъ нашихъ мѣстъ», отвѣчалъ Родивонъ, но писемъ женѣ не показывалъ.

Какъ-то, въ Спасовку, написала Анна Васильевна пъ Грунв письмо, что сильно соскучилась по ней и что хорошо бы Груня сдвлала, если бы, пока тепло, собралась и навъстила ее съ дочкой.

- Что, ѣхать ли намъ къ крёстной? спросила мужа Груня.
 - Нвть, обожди.
- Какъ ждать! Спасовка вонъ проходить, скоро Успеньевъ день, пчелу пора морить, медъ къ господамъ отсылать; а мы бы при этомъ случат и съ Параней потхали.
- Повдень послъ Воздвиженья! ленъ надо молотить на свияна—я одинъ не управлюсь.

Но и пчелу поморили, и медъ послали, и Успеньевъ день прошелъ, а Родивонъ не отпускалъ Груни за Донецъ.

Въ концѣ августа стояла особенно жаркая погода. Родивонъ съ утра верхомъ, а послѣ обѣда на бѣговыхъ дрожкахъ объѣхалъ поля, взглянулъ, какъ пасугся овцы и лошади, повѣрилъ счетъ подводъ, перевозившихъ остальныя копны на гумно, и навѣстилъ грабарей, рывшихъ въ степи новый прудъ. Онъ возвратился на вечерней зарѣ до-нельзя усталый, наскоро поужиналъ, перемолвилъ нѣсколько словъ съ женой, пошутилъ съ дочкой и ушелъ спать.

Долго Груня возилась съ уборкой посуды и съ отдачей разныхъ приказаній, сходила за мужа въ амбаръ и въ кладовую. Спать ей не хотвлось. Изъ головы у нея не шли слова, вскользь сказанныя мужемъ за ужиномъ. — «Всяки порядки бывають, — заметиль онъ, добдая поросячій бокъ съ кашей: — вотъ бы вольныя, значить, отпускныя... Иной тебъ вчешеть туда такое словцо, что послъ и не расхлебаешь». — «Да ты это что?» -- спросила, похолодъвъ отъ страха, Груня. — «Ничего... это я про одного нашего землячка вспомниль, -- отвътиль со вздохомъ Родивонъ: -- да и становой опять въ голову пришелъ. Ужъ точно Иродъ, не человъкъ, какъ есть душегубъ; намедни пятерыхъ бъглыхъ изловиль на Терновой и всехъ упекъ въ кандалы, да въ острогъ... Есть тоже такой баринъ, графъ Аракчеевъ, коли слышала, -- къ тому нопадись, живого събсть...» -- «Да въдь онъ въ Питерь, при царъ служитъ», — сказала Груня. — «Въ Питеръ-то, въ Питеръ, а подъ землей всякаго найдетъ, коли захочеть... Чай слыхала, къ Чугуеву ужъ подбирается...»

Все, наконецъ, затихло въ горницахъ. Груня взглянула на спавшую въ углу за шкапомъ Парашу, помолилась, раздълась, тоже легла и заснула.

Спить Родивонъ, да неспокойно, по временамъ вздрагиваетъ и мечется. Снится ему, что онъ изнываетъ отъ духоты. — «Охъ, хоть бы вътеръ пахнулъ въ лицо, — думаетъ онъ, — хоть бы глотокъ студеной водицы...» Странныя грёзы порхаютъ надъ его изголовьемъ...

Красное, въ веснушкахъ, отекшее, пьяное лицо склоняется надъ нимъ, сърые безстыжіе глаза смѣются, рыжая борода щекочетъ ему губы и носъ. — «Ха-ха-ха! поймался, Родька, поймался, землячекъ! — хохочетъ на всю комнату

пьяная рожа:—вставай, арестанты! вонъ онъ, вотъ! ха-ха-ха! тебъ хорошо, мнъ худо... берите его...»—Тъфу ты, сгинь!— отмахиваясь руками, изъ всъхъ силъ плюнулъ на стъну Родивонъ.

Онъ вскочилъ, присвлъ на кровати, протеръ глаза. Въ комнатв мертвая тишина. Полный мъсяцъ смотритъ съ неба. Чебрецомъ и калуферомъ пахнетъ изъ огорода, и чудные, серебристые звуки несутся въ окно. Звенитъ, звенитъ что-то тамъ въ сверкающей дали, за ръкой, смолкнетъ и опятъ отзовется, будто спускается со взгоръя, ближе и ближе подплываетъ къ ръкъ.—«Батюшки-свъты! колокольчикъ!—спо-кватился Родивонъ: — это полиція... меня ищутъ... Куда дъться?»

Онъ бережно, мимо Груни, слѣзъ съ кровати, наскоро одѣлся, отыскалъ впотьмахъ ведро съ водой, перегнулъ его, жадно отпилъ разъ и другой и бросился къ окну. Во дворѣ ни звука. Хромая дворовая собаченка Стрѣлка, наставя чуткія уши, лежитъ на мѣсяцѣ у крыльца. Она увидѣла козяина, легонько помахала хвостомъ, встала и, ковыляя, побѣжала въ садъ. Родивонъ за нею. Выскочила собачка на освѣщенную мѣсяцемъ дорожку, постояла, поджавъ лапку, у одного куста, у другого, скусила верхушку какой-то травки, вѣжливо пожевала ее, перепрыгнула черезъ канавку, обнюхала какой-то бугорокъ, уставилась носомъ за рѣку и вдругъ замерла, точно слыша что-нибудь въ той сторонѣ. А въ ушахъ Родивона опять шумъ и звонъ... Затихая и вновь раздаваясь, несутся серебристые звуки: тень-тень... тень...

«Милочка, Стрелочка! да ты врешь, обозналась! никого нету!» готовъ былъ молить собаченку Родивонъ. И вдругъ его какъ варомъ обдало. Онъ вздрогнулъ, судорожно двинулся по поясъ въ высокую душистую траву и замеръ. Прохладнымъ лужкомъ съ заречнаго бугра явственно донеслось фырканье одной лошади, другой, и негромкое постукивание бережно катившихся колесъ.—«Крадутся! колокольчикъ подвязали!—пронеслось въ головъ Родивона:—не къ кому больше, какъ ко мнъ...»

Кликнувъ собачонку, чтобъ та не разлаялась, Родивонъ бросился въ комнаты, разбудилъ жену и наскоро разскаваль ей въ чемъ дело. Та ахнула, заметалась.—«Звать ли кого изъ людей?» «Не зови никого... Пропадать видно! самъ управлюсь...»

моль такого въ здёшнихъ мёстахъ; а про подарки ты выдашь мнё росписку, что деньги за все сполна получилъ...

«Слава тебѣ, Господи! слава!» — не помня себя отъ радости, взмолилась Груня, когда становой погасилъ свѣчу и, примостясь на лавкѣ, захрапѣлъ въ первой горницѣ, а Родивонъ ушелъ ему готовить тройку бѣлоногихъ.

- Ъдемъ, шепнулъ, входя къ женъ впопыхахъ, Родивонъ.
 - Куда?
- Нечего толковать. Буди и бери Параню, да захвати хліба, одежи. Посл'в все разскажу.

— Да онъ же поладиль съ тобой, согласился!—лепетала,

дрожащими руками одъвая дочку, Груня.

— Знаю я ихъ, ненасытныхъ волковъ. Дай сму только палецъ въ глотку, всю руку слопаетъ. Пропали мы, пропали... Скоръе снаряжайся, скоръй... Яюди не скоро сойдутся, — успъемъ уйти: загоню коней до смерти, а сто верстъ проскачу. Въ Бахмутъ есть пріятель, далъе отъ него уйдемъ... въ Анапу или за Кубань.

Родивонъ хотълъ-было сразу поръщить съ становымъ, да раздумалъ. Пошаривъ потомъ съ фонаремъ на чердакъ и вкругъ дома и раздумывая, не повъситься ли? онъ возвратился къ женъ, поднялъ у печки топоромъ половицу, вынулъ оттуда кожаный поясъ съ деньгами, снялъ со стъны ружье, перекрестился на образъ и вышелъ на крыльцо.

На дворів чуть начинало більть. Запряженная тройка білоногихъ, какъ вкопанная, стояла на привязи у крыльца.

Родивонъ усадилъ въ телъгу Груню съ дочкой, бросилъ къ нимъ кое-какіе пожитки, бережно растворилъ ворота, самъ сълъ на облучокъ, снялъ шапку, еще разъ перекрестился, прислушался. Вездъ было тихо. Только въ сосъдней слободкъ за бугромъ, какъ бы по волку, тявкали собаки.

Тельта безъ шума вывхала за ворота, спустилась на темный еще лугь, стала переваливать за косогорь. Родивонъ неспокойно задвигался, подобравъ вожжи и сперва рысью, потомъ вскачь пустилъ храпъвшихъ и рвавщихся жеребцовъ.

— Охъ, да что же вто? что? — заговорила въ страхъ, оглядываясь, Груня: — никакъ у насъ, Родивонъ Максимычъ, пожаръ?

Родивонъ съ трудомъ переводилъ дыханіе и молчалъ. Онъ

кръпче надвинулъ шапку на уши, кръпче налегъ на бълоногихъ, и тройка, выбравшись на дорогу къ Волчьей, скрылась за горой, въ то же время, какъ начавшійся за спинами бъглецокъ пожаръ далеко освътилъ долину Богатой, въ томъ мъстъ, гдъ стоялъ хуторъ и гдъ Богатая сливалась съ ръчкой Богатенькой.

Домъ, гдв спалъ мертвецки-пьяный становой, вспыхнуль и горвлъ, какъ сввча. Не успъли сбвжаться изъ задворныхъ избъ разбуженные ревомъ скотины и гуломъ огня батраки, не успъли подойти завидъвшіе пламя понятые, отъ новаго дома Ивана Яковлевича остался одинъ пепелъ.

Письмоводитель далъ знать въ городъ. Явился исправникъ. По окончании следствія, быль составленъ протоколь, а въ протоколь было сказано: «По Божьему изволенію, такого-то года, мёсяца и числа, на хуторі лейбъ-гвардіи прапорщика Д**, отъ неизвістной причины, въ глухое ночное время, приключился пожаръ. А на томъ пожаръ, кромі лошадей, коровъ и прочаго имущества владільца, сгоріли: становой приставъ, Сидоръ Акимовъ Солодкій, со всіми его бумагами, пара обывательскихъ коней, съ повозкою, и управляющій тімъ хуторомъ вольноотпущенный, Родивонъ Максимовъ Білогубовь, съ женою Аграфеною Ивановою и съ малолітней дочкой Прасковьей! Въ чемъ и подписуемся...»

Въсти о пожаръ на хуторъ и о гибели управлиощаго съ семьей сильно поразили Ивана Яковлевича и Анну Васильевну. Дъдушка ръшилъ раздълаться съ зег јей и со всъмъ хозяйствомъ на Богатой. Бабушка мужу не перечила. Это имъніе вскоръ было продано курскому второй гильдіи купцу, Ивану Михайловичу Слатину. Иванъ Яковлевичъ былъ доволенъ тъмъ, что вырученными деньгами уплатилъ немало особенно тяжелыхъ долговъ. Анна Васильевна была зато неутъшна.

— Н'ять моего рая, н'ять Грунюшки, — толковала старуха:—погибла моя Груня, съ мужемъ и съ дочкой, да ещо какою страшною смертью погибла! И все я виновата, я... Зач'ять боялась, зач'ямъ ее туда отослала?..

Прошелъ годъ и два, прошло нъсколько лътъ. Умеръ и дъдушка Иванъ Яковлевичъ.

Анн'в Васильевн'в, по его кончин'в, не жилось бол'ве въ старомъ пришибскомъ дом'в. Она тосковала, не знала куда

дъться, и почасту гостила въ лъсномъ домикъ, при вино-

куренномъ заводь, въ Курбатовомъ.

Нъкто г. Баженовъ, борисоглъбскій уланъ и мъстный поэть, за много льтъ передъ тъмъ, а именно въ 1802 году, оставилъ въ альбомъ бабушки слъдующее «Изображеніе пріятнаго мъста Курбатова»:

«Курбатовъ! ты сокрыть природой подъ горами... Въ тебъ собраніе прекрасньйшихъ картинъ; Величественъ твой видъ, обиленъ ты водами И у природы, знать, ты прелюбезный сынъ... Въ тебъ я созерцалъ пріятные предметы: Долину, горы, льсь, звъринецъ, водометы, И какъ изъ тростника Михайло козъ гонялъ... Тогда-то въ сердцъ и твой видъ благословляль!»

Что же манило бабушку въ лъсную глушь, въ тихое, пустынное Курбатово? Здъсь умеръ дъдушка. Сверхъ того, домикъ въ Курбатовъ сильно напоминалъ Аннъ Васильевнъ выстроенный по его образцу, сгоръвшій домъ на Богатой, гдъ она въ прежніе годы любила съ Груней встръчать весну. Подъ конецъ своихъ дней бабушка еще болье стала походить видомъ и нравомъ на спартанку. Уъдетъ изъ Пришиба на заводъ, велитъ отпречь лошадей и пойдетъ бродить съ книжкой или съ кузовкомъ, будто за грибами, въ окрестностяхъ старой винокурни, по лъсу и по лугамъ.

«Нѣть моего рая, нѣть Груни!» тоскуеть бабушка: «думала ее сосватать за Калиныча, за винокура. Жила бы, радовала-бъ меня и поднесь. А теперь? Гдѣ-то витають душеньки ея и ея дочки? Ахъ! не прощу себѣ, никогда не прощу... я виновата въ ихъ смерти... я!»

Бабушка ходить между высоких сосень, по песчаному пристыну и между кудрявых березь и ольхь, по лугамъ. Стародавние годы ходять по слыдамъ бабушки. — «Ничего, никакого приданаго я не принесла мужу, —думаетъ она, — пользовалась его имуществомъ. Поль-состояния предлагалъ онъ мив отписать по дарственной. Все, все отдала бы, лишь бы жива была Груни...»

А льсъ стонеть, поеть, отзывается на тысячи голосовъ. По влажному, остывшему илу, таская изъ него свъжіе сладкіе корешки, бытають кулички и черныя дикія курочки. Страя поверхность грязи уствается крестиками ихъ ножекъ, какъ старинная рукопись словами. Каждый кусть,

каждая вытка одыты своимы благоуханіемы. Чубатый удоды посвистываеты на бугоркы; слышится рызкое чоканые дрозда; кукушка вдали отзывается; дятлы и иволги, какы куски разноцвытнаго сукна, перебрасываются сы дерева на дерево.

А на зарѣ — нескончаемый лѣсной концерть... Вверху, вокругь, вездѣ слышится музыка. Цѣлое море звуковъ проливается на лѣсъ и на веленые луга.

Возвратится бабушка на крутой бугорь, на которомъ стоить старый заводскій домикъ, сядеть на крылечко, развернеть на кольняхъ книжку, или, глядя вдаль, шевелить спицами чулка, — мысли ея за Донцомъ. Слушая весеннія лъсныя пъсни, и бабушкинъ фаворитъ-пътухъ, состаръвшійся при винокурнъ, не унимается: смотрить съ холма на луга и на озера, и то-и-дъло кричитъ... Да крикнеть иной разъ такъ, что самъ отпатнется въ сторону и, наставивъ одинъ глазъ въ землю, а другой на бабушку, какъ бы разсуждаеть: «кто это такъ странно крикнуль?»

Незадолго передъ смертью, бабушка возила больного внука на Кислыя воды, на Кавказъ. На одной станціи, не доважая Екатеринодара, она міняла лошадей. Станціонный писарь взглянуль въ ея подорожную, потомъ на нее самою. Онъ пригласилъ Анну Васильевну въ особую горницу, заперъ за собой дверь и, спросивъ ее, не у нея ли на хуторів когда-то проживала съ мужемъ и съ дочкой Аграфена Бізлогубова?—разсказалъ ей, какимъ образомъ Бізлогубовы спаслись отъ огня и какъ они долгое время скрывались по близости, въ казацкихъ станицахъ, въ томъ числів и на этой станціи, гді Родивонъ нанимался старостой.

- Что же Груня?—спросила, ни жива, ни мертва отъ страху, бабушка:—гдъ она теперь? жива ли?
 - Не знаю...
 - A мужъ ея?
- Лошадьми на Кубани въ последнее время, сказывають, торговаль...
- Отчего-жъ они, безумные, отчего-жъ ни о чемъ не дали мнъ въсти? зачъмъ терзали меня?
 - Боялись, сударыня-матушка.
 - Меня боялись?
 - Не васъ, сударыни, не васъ... Они такъ васъ хва-

лили и помнять-я все уговариваль ихъ въ вамъ писать... Боялись же своего... графа-то Аракчеева...

- Да онъ ведь давно померъ... А дело-то ихнее—бегство?.. потомъ пожаръ—нешто все это померло?

Бабушка залилась слезами...

Въ Пятигорскъ, въ Кисловодскъ и Екатеринодаръ, вездъ Анна Васильевна потомъ отыскивала Белогубовыхъ, сулила за ихъ указаніе значительную сумму денегь, переписыва-лась съ властями, даже черезъ мирмыхъ черкесовъ сносилась съ горцами-ничто не помогло. Следъ Белогубовыхъ пропаль навсегда.

- «Воть, душенька,-говорила мить бабушка, разсказавъ эту исторію:—я стара, у меня ничего нъть; ливніе твоего дъда раздълено и распалось... Выростешь, помни это... души-то, крепостныя... крепостные люди... Приглядывайся, да читай умныя книги, все поймешь...»

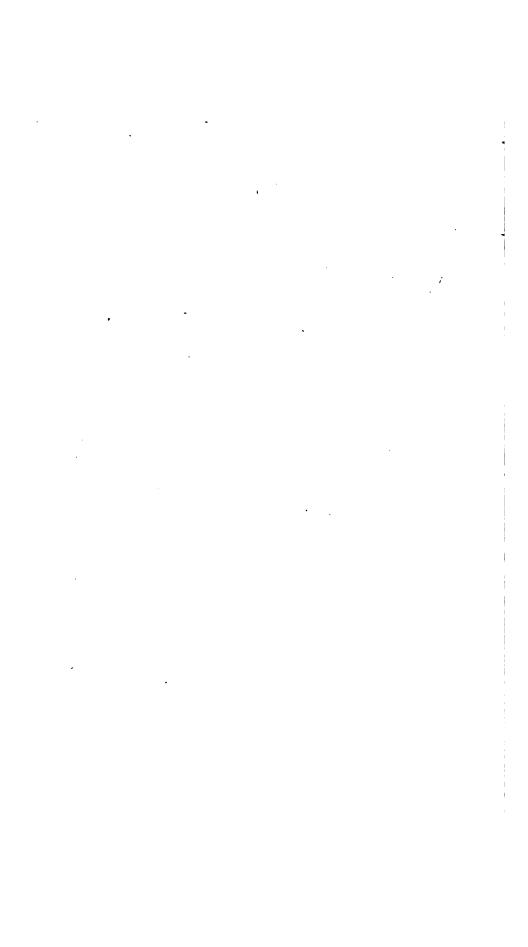
~~~~~~~

1873 r.

## Оглавленіе

## . VII TOMA.

| Бъглый Лаврушка въ Парижъ. Разсказъ                 | • | • | ٠ | • | 3   |
|-----------------------------------------------------|---|---|---|---|-----|
| Село Сорокопановка. (Изъ воспоминаній депутата***). |   |   |   |   | 26  |
| Фенична. Разсказъ                                   |   |   | • | • | 53  |
| Семейная старина. Разсказы.                         |   |   |   |   |     |
| І. Прабабушка                                       |   |   |   |   | 90  |
| II. Тънь прадъда. (Лейбъ-Кампанецъ)                 |   | • |   |   | 110 |
| III. Именины прабабушки                             |   |   |   |   | 129 |
| IV. Дъдовъ лісъ                                     |   |   |   |   | 147 |
| V. Бабушкинъ рай                                    |   |   |   |   | 173 |



# сочиненія

# Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

томъ восьмой.

издание ВОСЬМОЕ, посмертное, по днадщати четырежь томажь, Съ портретомъ автора.

**Приломеніє нь муриалу "Нява" на 1901 г.** 

C-HETEPBYPF'B.

Wagnhio A. Ф. MAPKOA.

1901



## ЦАРЕВИЧЪ АЛЕКСЪЙ.

### I.

Среди зимы 1716 года въ Петербургѣ заговорили о сильномъ разладѣ между царемъ Петромъ и его единственнымъ сыномъ.

Грозная «спверка» Петра готовилась, какъ всё ожидали, разразиться надъ царевичемъ Алексемъ. Овдовъвъ съ осени, самъ царевичъ, между тъмъ, продолжаль мирно и тихо жить въ небольшомъ дворцъ, выстроенномъ къ его свадьбъ, на Невъ, близъ Литейной, повидимому, не очень безпокоясь даже о томъ, что отецъ при встръчахъ пересталъ съ нимъ говорить. Кстати же, трауръ давалъ ему возможность вовсе не появляться на торжественныхъ пріемахъ отца и ассамблеяхъ вельможъ, а дома у себя, боясь смотръльщиковъ отца, онъ не принималъ почти никого.

Крытый тёсомъ, въ дввиадцать оконъ по улиць, съ антресолями и общирнымъ садомъ на Неву, деревянный, на высокомъ каменномъ фундаменть, дворецъ царевича былъ на Шпалерной, противъ нынъшней церкви Всъхъ Скорбящихъ Радости. Въ глубинъ двора, вдоль сада, шли разныя службы, избушки, боковуши, сарайчики и склады, и возвышалась перковь. У крыльца на улицъ стоялъ караулъ. Комнаты быль убраны уктно и со вкусомъ: стъны — въ кожаныхъ, съ позолотой, обояхъ, зеркала — въ фигурчатъ форовыхъ рамахъ, съ потолковъ пріемной и сто съци хрустальныя люстры, а мебель обтянута сукномъ и штофомъ. Все это, впрочемъ, к

навъси околь и столовал посуда, было свадебнымъ подаркомъ, присланнымъ покойной женъ царевича тъ ел сестры, жены австрійскаго императора. Скупой и ьеприхотливый царь, глядя на эту обстановку, морщился. «Денегъ-то убито сколько, денегъ!»—думалъ онъ при этомъ, не охотно посъщавшій сына и при жизни покойной кронпринцессы.

Вверху, на антресоляхь, съ гофмейстериною, кормилицей и иними, жили дъти царевича. Внизу помъщался онъ самъ. Его кабинеть, двумя окнами выходившій въ садъ и однимъ на уголь улицы, быль расположенъ между пріемною и спальней. Еловый вощеный поль кабинета, у письменнаго стола, быль покрыть бухарскимъ ковромъ, передъ софой и креслами—медвъжьимъ мъхомъ. На стънныхъ польскихъ и церковныхъ русскихъ книгъ. Въ углу комнаты, возлю окна, столль небольшой голландскій клавесинъ, а на стънъ, надънниъ, висъла небольшая осмиструнная лютня.

Было утро двадцать-плтаго января.

Солице ярко свётило въ разрисованныя морозомъ окна кабинета. У письменнаго стола, на обитомъ черною кожей врестъ, откимувшись на его высокую спинку, сидълъ кулещаный и блёдный, выше средняго роста, лёть двадпатъшести-семи, человъкъ. Онъ былъ въ шелковомъ съромъ кафтанъ, въ черныхъ шерстяныхъ чулкахъ и башмакалъ съ серебряными пряжками. Темнокаштановые, слегка напудренные его волосы длинными вавитками падали на узкія плечи. Большіе, черные глаза неподвижно были устремлены на столь, на которомъ стоялъ раскрытый, отдёлам ный слоновою костью и сафыномъ, ларецъ. То быль царевичъ Алексъй.

Давно молодой камердинеръ поставилъ передъ нимъ, возла парца, подносъ съ кофе, сливками и булкой. Онъ нъсколько разъ неслышно отворялъ дверь изъ гардеробной и смотрълъ изъ-за кресла, качая головой. Кофе простылъ; до него не касалисъ.

Царевичъ болве часа сидвать, задумавшись и не помня, гдв онъ и что съ нимъ. Онъ зналъ одно, что въ последнее время сильно прогнавнять отца и что сталъ у него въ явной и нолной опалв, а какъ и чемъ онъ прогнавиль его, объ этомъ онъ болися и избагалъ думатъ. День и ночь его имсли филе далеко. Въ намяти проносилсъ годы его детства,

merus da Mocada, notona da Menaziodeckona, kotza oma merus na trasana natoda.

Гдё эти счастивые годы и гдё мать? Не вернуть исть. Она насильно пострижена, томится въ монастырь, а у отца, при живой женв, другая, бывшая пленная немка. Такако было ребенку безъ матери. По девятому году его хотели отправить учиться въ чужіе края, въ Дрезденъ, но это не состоялось. Четырнадцати летъ онъ быль уже въ рядахъ новаго войска, въ преображенскомъ мундирв; по семнадцатому году ему поручили возведеніе укрепленій Москвы, въ ожиданіи шведовъ. Его обучали точить, чертить, французскому и немецкому языку и ариеметикъ; возили его по воинскимъ и корабельнымъ деламъ то въ Смоленскъ и Сумы, то въ Воронежъ, Севскъ и Ярославль,—въ бой подъ Полтаву, однако, не взяли.

Девятнадцати вътъ Алексъя, по бользни, отправили за границу, въ Карлсбадъ. «Не остаться ли здъсь навсегда?— подумалъ онъ въ то время, охваченный волей, любуясь дивными видами и нравами чужихъ краевъ.—Но разстаться съ родиной?.. Да что тамъ и хорошаго на втой родинъ, день денской возня и сутолока, воинскіе смотры и парады, спуски кораблей, постройки,—ни на часъ отраднаго, тихаго отдыха... а тамъ выберутъ тебъ иноземную принцессу, о которой не гадалъ и не думалъ, и насильно женятъ. Нътъ, дучше остаться тутъ простымъ, вольнымъ человъкомъ!..»

Мечты царевича не сбылись. По двадцатому году ему посватали въ невъсты принцессу Шарлотту Вольфенбютельскую. Она показалась ему «человъкъ добръ» и черезъ годъ онъ женился на ней, въ Саксоніи, въ Торгау. Ему грезилось счастливо пожить съ женой, но и это ему не удалось. Вскоръ потребовали его отъ жены въ корпусъ Меншикова, подъ Штетинъ, и онъ пробылъ тамъ всю весну и лъто, а осень и зиму въ Мекленбургъ, откуда, по волъ отца, отправился съ мачихой въ Петербургъ и хоть по дорогъ думалъ встрътиться съ женой, бывшей все еще въ чужихъ краяхъ, но и здъсь не видълъ ел. Въ слъдующемъ году сама жена прибыла въ Петербургъ и снова неудачно, — паревить находился въ то время при войскъ, въ Або; черезъ мъсящъ онъ возвратился изъ похода, но опять его поспъпно услали, для надзора за корабельными работами, въ Ладогу.

Въ такихъ-то постоянилихъ разъездахъ и мыканьят

первые годы осмейной жизни царсвича. Согласій и лада съ ниоплеменкою женой, не знавшею ни слова по-русски и окруженною собственнымъ дворомъ, не было и быть не могло. Выходили частыя ссоры; царевича содержали скудно. Отъ огорченій онъ снова захвораль и вторично быль посланъ на наличение за гранику. Наблюдательный умъ его нашель тамъ не мало пищи для размышленія и сравненій родного гнета съ чужеземными порядками и льготами. Въ Карлебадь, Франкфурть п Берлинь онъ накупиль ньмецкихъ, французскихъ и польскихъ книгь, философскіе трактаты Баронія, Де-Лявальеръ и Ларима, басни Езопа и другія. Польбивъ, благодаря жень, музыку, онъ посыщаль духовные и свътскіе концерты и следиль по кураптамь за церковными и общественными событіями. По собственному благочестію, прочтя когда-то пять разъ подъ-рядъ Библію по-славянски и творенія св. отцевъ, онъ теперь ознакомился съ кингой Манна небеснал Дрекселя, съ разсужденіями «объ истииной правда», о томъ, «какъ скоро ученымъ себя сдажить», «какъ безъ бользни жить» и проч.

На родину царевичъ возвратился здоровый, но еще более настроенный противъ дель, убъжденій и стремленій отца. Да и какъ ему было сочувствовать отцу? Ихъ нравы были совершенно чужды и даже противоположны другь другу.

Добрый, мягкій сердцемь, щедрый и впечатлительный, царевичъ походилъ не на отца, а на тёзку-дъда — «тишайшаго царя» Алексвя Михайловича и отчасти на дядю, отцова брата, царя Өедора Алексвевича. Суевърный и набожный, какъ дедъ, онъ быль не прочь отъ занитій нетрудными делами, предпочиталь изучению неголоволомное чтеніе и умиме разговоры, не отвергал полізы отъ образованія и изученія языковъ. Подобно же дядь, царю Оедору, онъ быль подозрителенъ, слабъ волею, скрытенъ и остороженъ до трусости. Вставая поздно, за всякое, порученное отцомъ, дело брался неохотно и вяло. Огненный, не внавшій покоя и удержу, нравъ непоседы-отца не выносиль обычаевъ сына. Онъ осыпалъ его укоризнами, стыдилъ наединв и при другихъ, но всв укоры шли мимо. Сынъ не любилъ отца и какъ тирана своей матери, а сознавая, что нътъ болье талкихъ мукъ, какъ требование намънить, переломить врожденный правъ, питаль из нему только недоброжелательство и страхъ.

Уклоняясь, подъ разными предлогами, отъ зова на отцовскіе смотры войскъ и верфей, свои домашніе досуги опъ проводиль за бесёдой и тихой, коти подчась и болье знатной, вышивкой съ близкими пріятелями, съ которыми, въ подражаніе «всепьяньйшему собору» отща, и у него, въ его колостые годы, бывали такія же «соборныя» засёданія и бдінія. Принося жертвы Бахусу, отецъ своимъ сотрапезникамъ даваль клички «всешутьйшаго князь-пацы», «князьнгуменьи», «патріарха Лузы и всего Кокуя», — участники пирушекъ царевича также носили клички: «Жибанда», «Заклюстки», «Ада», «Сатаны» и другихъ.

Женитьба мало изменила наклонности и привычки царевича. Хотя, послъ семейныхъ ссоръ и огорченій, иногда во хмелю, онъ и жаловался «собиннымъ» друзьямъ на жену: «Воть, батюшкины клевреты чертовку-намку навязали миы! Иду къ ней, а она все сердитуеты! -- молодая, образованная вроипринцесса находила способъ обуздывать и снова привлекать къ себъ разгитваннаго мужа: вывезя изъ родного Брауншвейга любовь къ музыкв, она прекрасно пграда на влавесинь. Торжественныя сонаты и фуги Баха, суровые исалмы и ораторіи Генделя и нѣжныя прелюдін, арін и менуэты Скардатти приковывали къ себь, въ ел исполненін, вниманіе царевича. Въ неизълснимомъ восторгь, потрисенный и растроганный до глубины души, онъ передко но целымъ часамъ не отходиль отъ клавесина, подарка невъстки, изъ котораго обыкновенно сухал и чопорнал, затянутая въ фикмены, крониринцесса извлекала такіе пъжные и сладкіе, бурные и страстные звуки. Особенно Алексью правилась въ игръ жены одна изъ сюнть Гендели. Начиналсь ленивою и медленною саксонскою «алемандой», она переходила въ оживленную французскую «куранту», сманялась жгучею испанскою «сарабандой» и кончалась безумновеселою англійскою «жигой». «Еще, лібхень, герцхень, еще!» — повторяль онь жень, слушая эту сюйту и не отходя отъ клавесина, -- а потомъ, bitte, изъ Ринальдо и Те-деумъ!..» Кронпринцесса молча поворачивала ноты и снова бозъ умолку играла.

Съ минувшей осеии все это кончилось. Жена царевича, родивъ сына, неожиданно для всёхъ, скоропостижно умерла. Клавесинъ закрыли, ноты съ него убрали. Вдовый царевичъ заперся въ своемъ дворцё и никул вался, пови-

димому, ни отъ кого и ни отъ чего не ожидая болве отрады и счастья по душтв.

На ствив, надъ влавесниомъ, однако, появилась лютия. Откуда она взилась и кто на ней играль, объ этомъ аналъ только онъ самъ и немногіе изъ его ближнихъ.

II.

«Да! какъ это было, какъ случилось?.. И неужели, Господи, все это произошло?»—съ замираніемъ сердца, вспоминая о прошломъ, думалъ паревичъ. И сколько онъ ни думалъ, мысленно кончалъ: «Да, все это было, произошло, но воротится ли опять?»

Два года назадъ ему купили у Нарышкина алатырскую вотчину, село Порвчье. Бдучи туда, онъ остановился, по пути на ночлегъ, въ подмосковной деревушкъ Вязёмахъ, родинъ бывшаго своего дядьки Никифора, Вяземскаго. Звонили къ вечерив. Царевичъ зашелъ въ церковь, а послв службы присълъ на поповомъ крылечкъ. Былъ конецъ покосовъ. Улицей съ поля шли косари и гребцы, спъшившіе къ празднику по домамъ. Несколько гребчикъ, съ домочадцами попа Созонта, вошли въ его дворъ. Между ними царевичъ разглядълъ статную и рослую, въ бъломъ платкъ, надъ густою, темнорусою косой, дъвушку. Она бодро и весело шла, съ граблями на плечъ; а когда во дворъ увидъла, что поповымъ работникамъ не сложить съ телегь до ночи въ сарай подвезеннаго новаго свиа, крикнула товаркамъ: «Ну-ка, дъвушки, Веронья! Оедосья, за рожны! - и принялась помогать рабочимъ. Алексий видилъ, какъ эта дюжая, полногрудая и голубоглазая девушка, откинувъ съ головы на синну платокъ, смъясь и скадя зубы, быстро взмахивала рожномъ и, то нагиналсь, то выпрямливаясь и опять натуживаясь всемъ станомъ, подавала въ окно сарая тяжелые сънные вороха. Долго следилъ царевичъ съ прыльца за этою гребчихой, любуясь ея ловкостью и радостнымъ блескомъ ен прасивой и сильной природы. «Кто это?» — спросиль онъ попадью, шедшую въ ворота отъ сарая. Та оглянулась на сънникъ. «Толстогубая-то?» — спросила, усмъхаясь, попадья. — «Ла, что впереди всъхъ». — «Наша питомка». — «Какъ звать?»—«Фрося».—«Откуда она у васъ?»—«Твоего пестуна, а намъ кума, Никифора Кондратьевича Вяземскаго крвностная, изъ пленныхъ. что ли...» — ответила Созонтиха. — «Гав взята въ полонъ?» — «Подъ Полтавой, сказывали, отбита, съ братомъ, у шведовъ; малыми ребятвами были, Ванюша да Фрося, не помняще ин племени, ни родства; можетъ, изъ богатой, дворянской семьи, убјенной на войнъ, — руки были бълыя, лица чистыя». — «Какъ же они попамътъ вамъ сюда?» — «Раздавали въ ту пору пленныхъ боярамъ, этихъ записали за Влземскимъ, а онъ девчурку отдалъ, до возраста, въ науку намъ, бездетнымъ, а мальчёнку въ певчие. Девка выросла у насъ, всикому рукомеслу обучиласъ, у мужа грамотъ, а у братишки съ голоса пътъ, и надеъдается нынче инова, какъ жавороночекъ тебъ, либо какъ та пеструшка, и на крылосъ поётъ...» — «Гдъ же ея братъ?» — «Былъ тоже сперва у насъ, а недавно въ соборъ, въ Каниру, батюшка отослалъ».

Задумался царевичъ. Рабочіе и домочадцы отъ свиника разопілись. Дворъ опуствлъ. Дюжая, съ рожномъ въ рукахъ, загорвлая и весело скалившая зубы полонянка не выходила изъ головы Алексвя. «Писаная красота! — мыслилъ онъ. — И какъ жаль! Не здвсь ей быть, не на грубой и черной, простой работв! И почему Никифоръ столько времени молчалъ, — хоть слово бы сказалъ о своихъ пленныхъ?»

Стемивло. Царевичь вышель въ садъ и долго тамъ ходиль. Ночь была теплая безлунная. Изъ-подъ развъсистыхъ нвъ и липъ онъ прошель въ вишенникъ, оттуда на полянку къ ръкъ, въ малиниясъ. Воздукъ былъ напоенъ цвътущими липами. За околицей водили хороводы; по ръкъ неслись пъсни дъвокъ и парней. Вдругъ Алексъй замеръ. Съ вышки попова дома, черезъ садъ, послышались сперва тихіе, потомъ болве явственные струнные звуки, какъ бы отъ гуслей или торбона. Одно изъ оконъ на вышкв было отворено. Струнамъ вторилъ и человъческій голосъ; пъла, очевидно, женщина. «Неужели она, этоть жаворонокъ, пеструшка?» подумалъ царевичъ, упиваясь переливами голоса и струнъ. Съ шибко бившимся сердцемъ, онъ направился, пробиваясь сквозь кусты и деревья, къ дому. «Лютия! — проговорилъ онъ себв, узнавъ инструментъ, не разъ слышанный имъ въ горахъ Саксонін, — и такъ стройно, душевно беретъ, искусница, лады!» Звуки затихли, окно на вышкв притворилось. но Алексый еще долго бродиль по тропинкамъ сада, поглядывая на вышку.

На другой день онъ былъ у объдни. Сельская церковь была наполнена молящимися. Дьячку и такамого на кин-

росв подпвали племянницы священника и его питомка. Последняя чатала и апостоль. Царевичь не узналь гребнихи. Въ праздничномъ аломъ сарафане и белыхъ кисейныхъ рукавахъ, съ двумя густыми русыми косами, въ синихъ лентахъ, взойдя на амвонъ среди церкви, она такъ степенно поклонилась на три стороны и, опустивъ глаза въ кингу, такъ истово и толково-звучно вычитывала святыя слова, коть бы первому грамотею и чтецу. Когда лысый, подсленоватый понамарь, въ конце обедни, вынесъ царевичу изъ алгаря на блюде просвиру, Алексей, принявъ ее съ крестомъ и глядя на клиросъ, где стояла чтица, положилъ на блюде золотой дукатъ.

Царевичь прожиль въ то время въ Порвчы недолго, опять завернувь въ Вязёмы, гдв отдыхаль и охотился, а когда вернулся въ Петербургъ, Виземскій неожиданно для всвур присдаль обонив своимъ препостнымь пленнымь отнускныя. Бывшій кашпрскій півчій, Ивань Ослоровь Асанасьевь, тогда же быль взять въ Петербургь, ко двору царевича, гдв его назначили камердинеромъ и гардерсбиейстеромъ Алексия, а вскори пъ нему на побывку приклала и его сестра, Афросины Оедоровна, по прозвищу взявшаго ее въ плънъ полтавскаго козака, Смолокурова. Она нъсколько разъ навъщала брата и впослъдствии. При жизни покойной жены царевича, его ближніе поговаривали о ней, какъ о будущей, новой камериедленъ Шарлотты. Такого назначенія Смолокурова не получила, хотя, гостя у брата, при дворв паревича, допускалась и въ собственные аппартаменты прониринцессы, гдв ее жаловали дозволеніемь ноиграть на люгив. По смерти кронпринцессы, Афросинью отправили обратно въ деревню, по уже не въ Вазёмы, а, въ уважение ся брата, на мызу царевича, доглядывать за огородомъ, птичней, прядильнымъ дворомъ и садомъ, въ Порѣчын. Попа Созонта туда же перевели.

Всв о ней іскорв забыли и вовсе перестали толковать. Не забыль о ней самъ царевичь. Онь не только поминаль ее, но тайно переписывался съ нею, посылаль ей черезь ближнихъ своихъ и получаль отъ нея нѣжныя грамотки и, глядя на оставшуюся после нея лютню, съ замираніемъ сердца, робко думаль: «Воть гдв мое счастье, воть отрада! И ничего другого, кромъ этого рая, жизни съ нею, если бы только то случилось, мнъ болье не нужно!»

Тв же мысли наполняли Алексвя и теперь.

«А отецъ? Что скажеть онь, какъ узнаеть? — въ ужасъ подумаль онь. — Куда загонить меня, какія кары наложить? — Царевичь вспомниль о грозныхъ письмахъ, полученныхъ оть отца. Ихъ было два и оба они лежали теперь у раскрытаго дарца. Онъ приподнялся и блёдными, тонкими нальцами потянуль къ себъ эти письма. — Пеужели же ихъ написаль отецъ? И какой отецъ могъ выражаться такъ сурово и безпопцадно-зло? Да, его почеркъ, его мысли!» — Алексъй, съ содроганіомъ, снова прочелъ два носланія.

Первое письмо, врученное царевичу вы минувшемы октябрт, вследь за похоронами перестии, Петръ озаглавиль: «Осъявленіе сыну мосму». Вспоминал въ немъ свои успіхи, посль жачальных тяжелых годовь своего царенія, онь выравилси: «И егда, спо радость разсмотрии, обозрюся на линію наслідства, горесть ня сибдасть, видя тебя, наслідника, весьма на правленіе діль государственных непотребнаго, ибо Богь разума тебя не инпыть, ниже приность телесную весьма отняль». «Есмь человькъ и смерти подлежу,--- говорилось въ заключение этего письма, -- то кому оставлю? За благо изобръть и сей тестаменть тебь написать и еще мало подождать, аще нелицемърно обратинься. Ежели же ни, извъстенъ будь, что я тебя наслъдства лишу, яко удъ гангренный; и не мни себь, что ты одинъ у меня сынъ и что я сіе только въ устрастку пишу: во истину, како могу тебя. непотребнаго, жалъть? Лучше будь чужой добрый, нежели свой непотребный».

Нолучивъ это инсьмо, Алексій бресился за совітомъ въ тайнымъ своимъ друзьямъ и въ томъ числі къ ближайшему изъ нихъ, дворецкому его тетки, наревны Марыя Алексівены, Александру Ілкину, жившему не вдали отъ него, въ собственномъ домі, у Смольнаго деора. Друзья сказали: «Давай инсемъ хоть тысячу, еще когда то что стрясется! Улита ідеть, да коли-то будеть! Это не запись съ неустойкою!» Алексій, помедливъ, отвітиль отну: «По погребеніи жены моей, отданное мні отъ тебя, государь, вычель; на что иного допести не имію, только, буде изволишь, за мою непотребность, меня наслідія лишить короны россійской,— буде по волі вашей, — о чемъ и и васъ, государь, всенишайше прощу. Всенижайшій рабь и сынъ рашъ Алексій».

Второе письмо Петра сыну оть 19 января быле это

ровће. На немъ значилось таглавје: «Последнее напоминаміе еще». «Только о наследстве вспоминаемъ, — писалъ въ мемъ отецъ сыму. — и гладешъ на волю мою то, что всегде и безъ того у меня; в что столько летъ ведоволенъ тобов, то все тутъ пренебрежено и не упоминуто, коти и жестово написано. Когда нынъ не боишься, то какъ по мив станешъ завътъ хранитъ? Хотя бы и истинно котелъ кранитъ, то возмогутъ тебя склонитъ и принудитъ большія бороды; которыя, ради тунеядства своего, нынъ не въ авантажъ обратаются, къ которымъ ты и нынъ склоненъ. Такъ остаться, какъ желаешь бытъ, ни рыбою, ни мясомъ, невозможно. Или отъгъни свой нравъ и нелицемърно удостой себи наслъдникомъ, или будь монахъ. На что дай немедленно отвътъ, на письмъ, или самому мив на словахъ резолюцію. А буде того не учинищь, то я съ тобой какъ съ злодъемъ поступлю».

Полученное шесть дней назадъ, это письмо еще болбе взеолновало и огорчило Алексъя. Онъ снова поспъщиль въ Кикину.

— Да чего же ты сомн'іваенься, царевичь?—спазаль совытникь.—Придеть время и разстриженься: клобукь, выдь, не гвоздемь къ голово прибить!

Алексій на другой день отвітиль отцу: «Милостивійшій государь-батюшка. Письмо ваше я получиль, на которое больше писать, за болізнію, не могу. Желаю монашескаго чина и прошу ващего о семь милостиваго позволенія. Рабъвань и непотребный сынь Алексій».

Перечтя письма, Алексей молча уложиль ихъ обратно въ парецъ и спряталь его въ шкапъ. Онъ вспомниль опить о Смолокуровой. «Какъ я низокъ и гнусенъ, что такъ мало забочусь и думаю о ней! — мыслиль онъ, прохаживаясь по комнатъ. —Почти забыль ее, а она теперь единственное мое счастье, вся отрада! И какъ она любитъ, какія грамотки пишетъ; умница, богоболзненна, хозлйственна и добра. Но давно не отзывается, —ужъ здорова ли?»

Алексій живо представиль себі дальнійшія встрічи съ Афросиньей въ Вязёмахъ, чрезь которыя онъ не разъ потомъ іздиль на осмотрь новокупленной вотчины и гді иногда оставался охотиться. Послі вечерни, когда онъ впервые увиділь ее во дворі священника, онъ, ідучи съ борвими по полю, неожиданно встрітиль ее у опушки ліса. Смолокурова собирала съ подругами грибы. Алексій заговориль съ нею, шутиль. «Какія мы милыя, да красавицы, съ **тавина-то** ручищами! — усм'кхнувшись, этв'втила она, покавывая свои вагорыми, точно испеченныя на селиць, руки.--Этакими только жать, да вязать сноцы!» Случались и другія встрічи, за околицей, на дорогі, у мельницы на ріків. Паревичу приходилось вскорь возвращаться изъ Порачья въ Петербургъ. Влаёмовскій свящонникъ въ ту пору отлучился въ Москву... Темною ночью, къ задворкамъ его усадьбы, подватила тельга. Бубенцы и колокольчикъ на лошадяхъ были подвизаны. Садомъ, въ огородъ, неслышно сошла попова питомба. Ее подхватили черезъ заборъ и усадили въ телегу. Лошиди помчались. Ими правиль въ кучерскомъ нарядь самъ царевить. Утромъ спохватились питомки, -- од и следъ простылъ. Впоследстви обазалось, что ее увезли, съ поклажей паревича, въ особой колымажив, въ Москву. Здісь она накоторое время скрывалась въ дома пріятеля царевича, Александра Васильевича Кикина, а потомъ навъщала въ Петербурга своего брата, уже служившаго при двора Алексал.

### III.

Дверь въ кабинетъ изъ спальни отворилась. На ея порогъ появился, радостно сілющій, съ поднесомъ въ рукъ, вемердимеръ.

Что ты? — спросни его паревичь.

— Оть Александра Васильевича, — отвътиль слуга, подавая на подносъ письмо изъ Москвы: — коли что надо, накавалъ, писали бы; вечеромъ, молъ, опять въ вотчину оказіл.

Алексій въ надписи на письм'в узналь четкій, примой и

крупный почеркъ Афросины.

— Ну, хорошо, ступай, — сказаль онь: — позову, когда надо. Краска залила его лицо. Съ забившимся сердцемъ, онъ всирымъ печать. На накеть была надпись: «Государю моему, другу сердечному, царевичу Алексью Петровичу. Прійти близко, ноклонитеся низко, честь весело, быть радостну». Въ нисьмы было написано: «Государь мой батюшка, другь желанный, царевичь Алексый Петровичь, здравствуй на много льть! Азъ же, по воль Божіей жива еще, по десятый день сего януарія. Не забудь, радость, любовь мою бъ тебь, в во мий духъ съ печали едва живъ. Охъ, другь мой, любонка-світь! Съ ежечасной докуки світа Божьяго не нижу. Будь крылья у сироты уб прилетіла бы. Ой, скучно, смерть мой! Милъ-ч

И гдѣ прежнія веселыя восхищенія, гдѣ радости? Либо вызови, либо самъ прібажай. Дай повидать світлыя оченьки. Самъ не можень, хоть вели, солнышко, ближнимъ по тайности отписати. Да приним мою семиструнку. Ей, соскучилась, не, на чемъ душеньку отвести. А я, писавши, остаюсь пѣрная твоя раба, женишка запретнам Фроська, челомъ премного быю».

«Не запретная и не по тайности, — когда-нибудь все то обрідется и въ-явь!» —подумаль царевичь, пряча за назуху письмо Смолокуровой. Онъ снова прискть къ столу, досталь бумаги, вырізаль конверть, издинсать на немъ: «Матушкі, хозяющий, любезнійщей Афросьющий. Прійти близко, поклопитеся низко, честь весело, принять радостно»—п подумавь, съ разстановками, написаль слідующій отвіть:

«Матушка Афросьюшка, другь мой сердечный, здравствуй! О себь извъствую, Божьею помощью такожде еще живъ, о твоемь же здравін непрестанно слышати желая. А что безгласна по се число была, ни единой грамотки не писала, и тьмъ ужинся сердце мое печалью. Никто съ вотчины не писываль же, а иные съ домовъ непрестанно получають. Ей, матушка, любонька, утынь, пожальй; не мало тиготы н смертныхъ докукъ отъ вышней стороны имбемъ. Инако же не думаемъ, какъ объ увольнени насъ отъ всихъ дилъ на покой, на наше съ тобою хозяйство. Какъ наши лебеди, павлины, гуси, живы ли? Какъ житный, скотный и конюшій дворы? такождо урожай каковъ вышель, варять ля брагу, меды? даль ли Богь уберечь улечновь, пчель молодыхъ? Придетъ вешня пора, опиши все, сбережены ль пруды и какъ уродить всякій новый овощь и хльба. Улеткіть бы я къ хозиющив. Вспомини гулянье въ рощь. Возаръвши кверху древа и видя гивадо и итичища, въ немъ сидяща. кому въ ть поры уподобила ил оси? мальйшей птичици хуже! У той-зелена, густа дубрава, у насъ спротъ-скорбная тюрьма; у той -- высота синь-небесная, воля - свыть, памъ отъ родинаго ны — таковы печали, абы, случаю зовущу, не умрети безъ показнія. И что вын'в приводится: либо насельно пострищитись, идти въ чернецы, либо таки на вноземной велять жениться. Только батаника вершить свое, а Боль свое. Попустить Боль, женюсь, только по своей воль, - вить и батюшка таковымъ же образомъ учиниль...» Написавъ это, Алексый остановился и оглянулся. «Ну, какъ кому изъ стороннихъ смотрѣльщиковъ попадутся вти стрэки?—подумалъ онъ, — пустяки! некому теперь смотрѣть и доносить. Отецъ съ осени ни ногой сюда, со мной вовсе не говоритъ, а написавъ послѣднее свое напоминаніе, и окончательно махнулъ на меня рукой. Будь, что будетъ, — сердцу не преградить пути».

Алексый вепомниль просьбу Смолокуровой о присылкъ ей въ Порычье лютии. Онъ симлъ последнюм со ствиы, отеръ съ нея пыль, тронулъ ея струны. Ему вепомнилась пасия,

воторую подъ эти струны пъла Афросинья:

«Ахъ, сколь трудно человых Жить безь счастья въ младомь въку! О младыя мон лёта, Что дрожайша всяка цвёта! Коля пройдеть цвёть младости, Не часшь уже быть въ радости»...

— «Именно,—сказаль себв Алексвії:—на что и почести, спла и высокій сань, коли нізть счастья, нізть радости?» Онь снова склонился надъ бумагой и дописаль: «Семиструнку твою, не безь жалости, отсылаю, цізуя личико білое, оченьки ясныя, рученьки и ноженьки. И пожалуй, матушка, не молчи, отписывай, а коли твоя воля на то, изволь безь опаски и къ намъ побывать. Вышніе на-дияхъ паки отъбажають къ армін и надолго, и имъ, по всему видать, нынів не до нась. За симъ, будь здорова, кланяюсь долоклонно. Писавый—другь твой вірный, Алексвій.»

Запечатавъ письмо, паревичъ позвалъ слугу, отдалъ ему пакетъ и лютию и велълъ немедление отослать съ вздовымъ въ Кикину. «Да въ руки самому Александру Васильевичу, слышинь ли? —прикавалъ онъ, —ему одному; не будетъ дома, чтобъ обождалъ». —«Не соми ввайтесь, ваше царское высочество! —отвътилъ слуга. —Недалекъ путь, самъ отнесу».

Алексий, съ облегченнымъ сердцемъ, опустился въ кресло. «Върно написалъ я, — мыслилъ онъ, — батюшка вершитъ свое, а Богъ свое. Мало ли на что, по вынужденію, соглашаются? Ужли и вправду надіть рясу и клобукъ, что Василію Шуйскому? Не попустить Богъ, руки коротки!» — Онъ вспомнилъ о забытомъ кофе, и только-что коснулся чапки, на улицъ послышался звукъ барабана. Часовойъ и полъвада билъ тревогу. Царевичъ бросился къ окну доуменів.

Карауль у подъевда строился во фронть. Прохожіе на ужиць снимали шапки. Со стороны Литейной неслись государевы сани. «Не ко мив, ввролтно, мимо, на прядильный 🕦 дворъ, — подумалъ царовичъ, — не за чъмъ ему сюда!» Сани, между темъ, подкатили къ крыльцу. Отдавъ честь караулу, государь вышель изъ саней, отрахнуль съ себя снигь и сталь подинматься на крыльцо. Совершенно растерявшійся Алексви нъсколько секундъ не зналъ, что ему дълать. Опомнившись, онъ схватиль съ пелки и раскрыль-было на столв еще осенью присланную отцомъ тетрадь пушкарныхъ чертежей, но раздумаль, прилегь на софу и, повтория мысденно: «помяни, Господи, царя Давида и всю бротость его:»-приняль видь недужнаго и страждущаго. Въ прихожей послышались знакомые тажелые и твердые шаги. Они близились къ пріемной. «Гдв же онъ: здоровь ли?» — громко спрашиваль растерявшихся слугь голось Петра.

Въ то утро, проснувшись, по обыкновенію, съ зарей в откинувъ занавѣску съ окна, государь навелъ подзорную трубу на противоположный берегъ Невы, гдѣ на окраинѣ Лѣтняго сада, рядомъ съ каменнымъ двухъэтажнымъ дворцомъ Екатерины, тогда строился новый флигель, очень заботившій Петра. Онъ самъ въ то время продолжаль еще жить въ крошечномъ деревянкомъ дворцѣ, на Петербургской сторонѣ, гдѣ нынѣ часовня Спаса. Все его помъщеніе состояло наъ маленькой пріемной, служившей вмѣстѣ и столовою, еще меньшей дежурной комнаты для адъютантовъ в ординарцевъ и кабинета, гдѣ государь и спаль.

Дежурнымъ въ то утро состоялъ недавно возвративтійся изъ арміи, посланной противъ піведовъ, бывшій любимый государевъ денщикъ, нынѣ капитанъ гвардіи, Александръ Ивановичъ Румянцевъ. Ему было нѣсколько не по
себъ. Явясь, по привычкъ, на дежурство до разсвіта, онъ съ
тревогой поглядывалъ на узенькую кабинетную дверь. Нагорівшая сальная свѣча тускло освіщала дежурную комнату.
Увидівъ на стуль у двери государевъ суконный зеленый кафтанъ, такіе же пітиблеты и камзоль, а на полу высокіе, съ
раструбами, сапоги, Румянцевъ, не дождавшись камердинера,
досталь изъ шкачика въ углу комнаты ваксу и щетку, почистилъ государевы сапоги и принялся за его платье. Замътивъ отпоротый на камзоль позументь и плохо держав-

шуюся на вафтанъ пуговку, онъ отстегнуль у себя лацканъ, гав про запась всегда держаль иглу, обмотанную ниткой, и, подсевь къ свечке, принялся штопать. «Воть она, его бережливость! — разсуждаль онь, закрыпивь пуговку и принимансь чинить камзоль. - Побываль и и въ Турціи, и въ Швеціи, сколько одежи истрепаль, а онъ все одно и то же носить платье. Оно у него и будничное, и праздничное, залоснилось на отворотахъ, стамедъ на подкладкъ вытерся, а ему ничего, -- о лучиемъ нарядъ и не думаетъ. Хорошо еще, скупился бы на себя, да насъ не забываль бы... Куда! Зовемся ближними, видять по все дни его царскую расподоженность къ намъ, а въ домашиемъ обиходъ совсьмъ истончали, живемъ скудно, чуть не въ бъдности и послъдней тесноть. Тридцать шестой годь пошель, двинадцать леть несу службу и никакого состоянія; хоть бы деревнюшкой какой пожаловаль или домонь въ столиць. А того ли можно было, по близости къ цареву дому, ожидать?» Румянцеву вспомнилась первая его встрвча съ паремъ.

Сынь беднаго костромского дворянина, деенадцать леть навадъ записанный въ преображенскіе солдаты, онъ стояль на часахъ у только что отстроеннаго государева дворца. Петербургь въ то время также едва возникаль изъ болоть. Быль сильный, съ в'втромъ, морозъ. Продрогнувшій до костей, въ неподбитомъ мехомъ плаще, широкоплечій и рослый, разрумяненный на морозъ часовой, пожимаясь и постукивая ногой объ ногу, прохаживался у дворца съ ружьемъ на плечь. Государь быль на постройкь верфи. Всь поглядывали на Неву; пушка давно пробила адмиральскій часъ. а государя еще не было. На льду показались, наконецъ. государевы сани. Завидевь у крыльца статнаго, молодцеватаго солдата, Петръ подозванъ его къ себъ. «Какъ прозываешься?» — спросель онь. — «Румянцевь». — «Прозвище и лицо одной масти! улыбнулся Петръ. - Коли нравъ и ревность въ службе не разнствують отъ того жъ, быть тебе на отличіи... Имъсшь состояніе?»—«У отца двадцать душъ».— «Сильно озябь?»—«Никакъ неть, --это что еще за морозъ! выреть только, не рветь...» -- «Шуба есть?» -- «Въ деревнъ у матушки осталась, — тутъ не до шубъ». — «Молодецъ!.. Смънишься, зайди къ Данилычу». Послъ смъны, явясь къ Меншикову, Румянцевъ быль осчастливленъ двумя монаршими милостями: ему поднесли собственной парской перцовки и объявили, что государь изволиль принять его, съ того же дня, въ ординарцы. За расторопность, честность и точность въ исполнении множества ежедневныхъ поручений государя онъ вскоръ быль произведенъ въ сержанты гвардіи, за привозъ изъ Турціи извъстія о миръ съ Портой — въ поручики и черезъ три года — въ капитаны гвардіи.

«Отличій, что и говорить, не мало, а жить, все-таки, нечівуъ!—мыслиль Румянцевъ, кончивъ штопанье государева платья и пряча иглу.—И сколько разъ жалобно печалился я ему; одинъ отвітъ: подожди! Ну, да, Господь дастъ, скоро авось оправимся. Отецъ найжаль, сватаетъ богатую невісту. Только какъ и съ этимъ рішиться, не объявясь царю?»

#### IV.

Бережно сложивъ на стулъ государеву одежу и вида, что начало разсвътать, онъ загасилъ щипцами свъчу. Вскоръ за дверью послышались шаги государя въ туфляхъ. Румянцевъ, по привычкъ, каждую минуту угадывалъ, что въ извъстную пору дълалъ государь. «Вотъ онъ откинулъ занавъски у оконъ, умывается, — думалъ онъ. — Теперь умылся, чешется скоро возьметъ одежу, станетъ молиться». И точно, дверъ пріотворилась, въ нее просунулась мускулистая, волосатая рука государя: Петръ самъ взялъ платье и сапоги. Слышно было, какъ молча постоялъ, очевидно, молясь, и присълъ къ рабочему столу. Прошло съ полчаса. Послышался стукъ отодвинутаго стула; зазвучало точильное колесо. «Точитъ костяное паникадило, — скоро выйдетъ!» — сказалъ себъ Румянцевъ, бросаясь въ столовую, взглянуть, — все ди тамъ припасено. Дверь отворилась.

- А это ты, Иванычъ?—произнесъ Петръ:—н, кстати, есть дъло къ тебъ. Готова ли закуска?
  - Готова, ваше величество.

Петръ направился къ столовой. Румянцевъ у ся порога упалъ передъ нимъ на колъни.

- Что ты?—удивился государь.
- Много, превыше заслугь, твоею милостью, государь, почтенъ, только не осуди за правое слово.
  - Въ чемъ дъло?.. Встань, говори.

Петръ вошелъ въ столовую, Румянцевъ за нимъ.

— За твои милости, великій государь, до конца дней буду

молить Бога о твоемъ здравін,—сказала онъ, поднося Петру флягу тминной.—Люди мы только, прости, мельотравчатые, малопомъстные, жить въ скудости и бъдности тажело. За что попускаемь терпъть недостатки?

- Учись, братець, терпинью, продолжай отличаться по службі, произнесь Петръ, выпивая тминной и закусывая ее кренделемь, придегъ время, рука моя развернется, посыплются и на тебя всякіе земные дары и блага.
- Кавна у тебя, батюшка царь, не богата, —прододжаль Румянцевъ: много про нея нуждъ, а насъ, просящихъ, у тебя еще того больше... Есть, государь, иной способъ...
  - Какой?
- Родитель сватаеть мив богатую невъсту; назначена и вечеринка для смотринъ и сговора.
  - Сколько за невъстой приданаго?
  - 🕂 Тысяча душъ.
  - Чыхъ будетъ невъста?
  - Племянница Кикина.
  - Какого?
  - Александра Васильевича.
- Но у него свои дъти, почему такъ награждаетъ пле мянницу?
- Ея мать была изъ богатыхъ, родная сестра жены Ки-

Петръ поиолчалъ.

- Нравится дъвка тебъ?—спросилъ онъ:—видълъ ты ее: хороша-ль?
- Не видълъ, государь, не утаю; а сказываютъ, не дурна и не глупа.
- Такъ съ чего жъ тебъ за нее сваталься? ужли потому только, что коза съ золотыми рогами?

Румянцевъ смешался, подыскивая, что ответить государю.

- «Кикинъ, съ досадой думалъ тъмъ временемъ Петръ, сынку моему тайный доброхотъ и радълецъ во всъхъ его непотребствахъ; смекнулъ, видно, что царскому ординарцу легче, чъмъ иному, дойти до первыхъ степеней, и затълъ сбыть свою родню».
- Вотъ тебъ, Румянцевъ, мое ръшеніе, сказалъ государь, пставая изъ-за стола. — Вечеринкъ и смотрипочему не быть, дозволяю, — отъ сговора же возмас медли, удержисъ... Когда назначена вечеринг

- Завтра.
- Простая или какъ быть следуеть, съ музыкой и танцами, ассамблея?
  - Ассамблея.
- Отлично. Дай сейчасъ знать Кикину, я и самъ буду у него на смотринахъ; и коли цевъста тебъ пара, не стану перечить браку и твоему счастью.

Румянцевъ низко поклонился.

— А воть и кстати,—сказаль Петрь, увидя въ окно готовыя сани у крыльца, — вдемъ вместе; мне къ Литейной, и тебе туда же, — подвезу.

Румянцевъ сталъ на запятки государевыхъ саней. Осмотръвъ постройку у Лътняго сада, Петръ на Литейной ссадилъ Румянцева, а самъ, повернувъ на Шпалерную, остановился у дворца Алексъя.

- Что же и впрямь хвораешь?—спросыть онъ, войдя къ сыну и видя, что тотъ, унылый и блёдный, лежитъ на софъ.
- Недуженъ, государь-батюшка, отвътилъ, поднявшисъ и кланяясь, Алексій.

Петръ зорко осмотрълъ его, приподнялъ его волосы, коснулся лба и взялъ его руку.

 Жара не слышно, пульсъ умъренный, лихоманки, сталобыть, нътъ, — въ чемъ же немочь, скажи?

Сынъ молчалъ. Отецъ взглянулъ на столъ.

- Чертежи разсматривалъ, произнесъ онъ: сдвлалъ ремарки?
  - Прости, государь, за хворостью, не успълъ.

Петръ покачалъ головой.

— Все некогда?—сказаль онъ.—Мы къ объдив—тамъ отпъли, мы къ объду—тамъ отъвли, мы въ кабакъ—только такъ... Върно ли говорю?

Увидя на полкъ духовныя, въ почернълыхъ переплетахъ, книги, Петръ взялъ одну изъ нихъ, разогнулъ и сталъ просматривать.

-- Ужли и впрямь готовинься, — спросиль онъ: — слушая свояхь бородачей, подъ клобукь?

Алекски молча переступиль съ ноги на ногу.

Петръ бросилъ книгу на столъ и опустился въ кресло.

 — Слушай, Алёша, — сказалъ онъ дрогнувшимъ голориъ: — сядь и обдумай, что скажу. Царевичь свль, противь отца, на софв.

«Боже Господи. — съ радостно-забившимся сердцемъ подумаль онъ, — Алёшей, какъ въ дътствъ, назвалъ! Алёшей, вмъсто ненавистаго, нъмецкаго Зоона, и такъ добродушно... неужели привезъ прощеніе и забвеніе всему?»

— Ой, черноризцы, попы, бородачи, — корень всякому злу! — началъ Петръ. — Не научатъ они тебя, любезный, добру. помяни меня; ученіе въ этихъ книгахъ світло, да душа-то ихъ и сами они черны, какъ переплетъ. Къ намъ приставлено по одному бісу, къ нимъ по семи. Скажи мив, только откровенно, не картавя, безъ удобо-вымышленныхъ аргументовъ и лживыхъ рацей, — почему въ столь ранніе годы предпочитаешь ты живому, бодрящему дізлу монашескій чинъ?.. Одни мы, никто насъ не слушаетъ, говори...

Государь всталъ, заглянулъ въ пріемную и въ опочивальню сына, заперъ объ двери и снова сълъ.

- Батюшка, отвѣтилъ царевичъ, дѣло простое: не всякому подъ силу тяжелый трудъ, тѣмъ паче воинское поведеніе.
- А меня, Алеша, тебѣ не жаль?—произнесъ Петръ.—
  Ты обученъ всему, получиль доступъ къ умнымъ книгамъ, я же во младости былъ лишенъ не только дѣльныхъ наставниковъ, но и книгъ... Не взирая на то, поднялъ я непомѣрное бремя на плечи, отечество отъ прежнихъ азіатскихъ обычаевъ ввелъ въ Европу, и вездѣ одинъ, одинъ, какъ перстъ. Давно говорю тебѣ и всѣмъ вамъ.—лѣвшей не владѣю, въ одной же рукѣ держатъ шпагу и перо возможно ли, а помощниковъ вѣрныхъ, самъ знаешь, ни одного... Да хотя бы и были, развѣ они то же, что родной сынъ?

Слезы навернулись на глазахъ Алексъя. Онъ дышалъ тяжело.

- Батюшка, помилуй, сказаль онъ, схвативъ руку отца и покрывая ее поцълуями. Не повелишь изъ жалости въ монахи, не принуждай къ дъламъ, коихъ недостоинъ и не осилю, отпусти, уволь отъ всего.
  - Какъ уволить? спросиль, нахмурясь, Петръ.
- Въ деревнишки мон, на хозяйство, отвътилъ, не выпуская руки отца, царевичъ. — Нынъ Господь даль мнъ брата, у васъ второй есть сынъ, до его возраста управять почто: дай въкъ въ тихости прожить, простымъ челов

Въ глазахъ Петра сверкнулъ гиввный огонь. Уголъ его рта, съ подстриженнымъ усомъ, судорожно задвигался.

— Это откуда, — вскрикнуль онь, вырвань оть сына руку, — подсказано? Пароль суздальской чернохвостницы? Глупъ ты, Алексый; дваддать шесть льть тебь, а ты какъ птица желтоносая, безпёрая, все въ чужой роть смотришь. Эй, остерегись слушать льстивую, древнюю змъю и вскъъ черныхъ воронь, старцевь да поповъ, ея приспышниковь и върныхъ слугь. Ну, да ты правды не скажешь и не сознаешься. Впоследстви самъ доподлинно узнаешь ихъ скрытую прелесть и кленретные поступки. Не даромъ, поймешь, пошель я, съ костылемъ Грознаго, на вскъъ этихъ безчинниковъ и ихъ крамолу. У исторіи роть незатворенный, — потомство узнаеть все.

Петръ замолчалъ, стараясь угищить поднявшееся въ немъ негодованіе. Царевичь обсуждалъ, сказать ди отцу завітную свою мысль объ Афросинью. «Мы съ нимъ на одной стезір поставлены судьбой, —мыслилъ онъ, —подобно ему, и я полюбилъ плівнипу, только онъ німку, я русскую, онъ при живой женъ, я вдовый. Кто изъ насъ боліве правъ?»

— Такъ что же ты скажень, чёмъ окончательно решинь?—спросиль Петръ.—Черезь три дня ёду въ Коненгасевъ, хочень ли быть мий помощникомъ, или, въ стыдъ и досаду отечеству, на самомъ дёлё примень монашескій чинъ? Ужели царевичу, моему сыну, быть въ нётёхъ?

Алексый склониль голову. «Не согласится отець, — мыслиль онъ,—еще оть гивва разразится въ конець, изведеть неповинную».

— Позволь, государь, постричься, — отвётиль онь, кланяясь въ поясъ. — Въ томъ мое рашение, коли позволищь, нерушимо.

Петръ, медленно выпрямляясь, всталъ. «Вотъ оно, Авдотьино съмя, упорный заклятой родъ Милославскихъ, вотъ оно! — подумалъ онъ, съ горечью глядя на сына. — Да не будетъ потачки лицемърамъ и всякому ихъ дурну и злу! Малаго обощли, опутали лерные пауки... Надо дать время; авось самъ комаръ вырвется изъ ихъ паутины».

- И это твое последнее слово?—спросилъ государь.
   Алексый молча поклонился.
- Прощай же! Діло важное, одумайся, не спіши. Мое митніе—лучше взяться за открытую, прямую дорогу, тімъ

въ столь молодые годы идти въ чернецы. Я же не забыль что тебъ отецъ, а потому вотъ тебъ и мое послъднее слово: буду ждать окончательнаго твоего решенія, отъ сего дня, еще полгода.

Петръ надътъ шляпу, обнялъ сына и направился къ выходу.

- Кстати, сказаль онъ, одвинись и спускаясь съ крыльца къ свиямъ: у насъ скоро быть помолвкв, твой прінтель Кикинъ племянницу сватаеть.
  - За кого, батюшка?
- За капитана Румянцева; не быль бы ты въ траурћ, вибств бы повхали, я же завтра на смотринахъ буду.

«Вогь удивительно, — подумаль царевичь, — отець собирается къ Кикину: знать не къ добру».

Проводивъ государя, Алекскій медленно возвратился въ кабинетъ, постоялъ передъ столомъ и упалъ, горько рыдая, на софу. «Молодые годы!.. прямой путь!—мысленно повторялъ онъ, ухватясь за голову.—Но если бы точно все это говорилъ отецъ, если бы онъ по правдъ любилъ меня, ужли для молодости, для счастья родного сына онъ не уважилъ бы его искренней, душевной мольбы?»

#### V.

На другой день была ассамблея у Кикина. Гостей съвхалось много. Кром'в радушія прив'втливыхъ и умныхъ хозпевъ, всехъ привлекала в'есть, что на ихъ вечеринк'в будетъ самъ государь.

Александръ Васильевичъ Кикинъ двадцать лътъ назадъ, въ числъ другихъ волонтеровъ, былъ при великомъ посольствъ съ Петромъ въ Голландіи, гдъ съ товарищами учился кораблестроенію. Вернувшись оттуда, въ званіи мачтъ-макера, онъ состоялъ на верфяхъ въ Воронежъ и Олонцъ. Въ чинъ адмиралтействъ-совътника онъ снова побывалъ въ чужихъ краяхъ. По кончинъ отца, получивъ изрядное наслъдство, онъ сталъ проситься на покой, но не былъ уволенъ. Это было началомъ его охлажденія къ Петру. Назначенный состоять при дворъ царевны Маріи Алексъевны, Кикинъ, кромъ дома, невдали отъ двора Меншикова, на набережной Васильевскаго острова, построилъ себъ еще домъ, на Невъ, у Смольнаго двора. Здъсь онъ

Перейдя въ рядъ тайныхъ недоброжелателей Петра, Кикинъ, и въ первые годы близкой службы при немъ, не вполив одобрялъ ломки царемъ всего стараго, освященнаго обычаями въковъ. Отъ природы набожный, строго соблюдавшій посты и всв прочіе церковные обряды, онъ въ домашней жизни охотно допускалъ непротивные догматамъ отцовской въры европейскіе обычаи — вечеринки, музыку, танцы.

Ассамблея у Кикиныхъ была въ полномъ разгаръ. Шли угощенія сластями и виномъ. Пожилые играли въ карты и шахматы. Танцы, въ ожиданіи царя, нікоторое время не начинались; но въ виду того, что государь не любилъ, чтобы имъ гдъ-либо стъснялись, хозяева дали знакъ музыкантамъ и молодежь пустилась въ плясъ. Гавоты смвиялись менуэтами. Румянцевъ, познакомясь съ дъвушкой, которую ему сватали, танцоваль съ нею несколько разъ, все поглядывая на входную дверь, гдв толнившаяся прислуга дюбовалась танцующими, разряженными въ пышныя робы дамами и дъвицами. Вечеринка кончилась; ни хозяева, ни гости государя не видіни. Впослідствій только стало извъстно, что уже въ концъ вечеринки, когда подпившіе старики крикнули «русскую» и двое изъ лучшихъ гвардейцевъ-плясуновъ, выйдя на средину залы съ своими дамами, стали танцовать, -- нежданно подъвхавний государь вошель въ передикою, протискался между слугъ, поглядълъ изъ-за нихъ на гостей и, проговоривъ вполголоса: «Неважно! ничему не бывать!»—увхаль.

На утро Петръ призвалъ Румянцева.

— Быль я, братець, у Кикиныхь,—сказаль онъ ему:— на-короткъ, а все видълъ; невъста тебъ не пара и о бракъ съ нею позабудь. Ты вонъ какой молодецъ, и ростомъ взялъ, и красой, а она хоть и умильна, — отнять того нельзя,—но сухощава больно и мелка, въ родъ, извини, какъ бы воробущекъ.

Румянцевъ нахмурился. «И какое ему дѣло, — подумалъ онъ, — вмъщиваться, такъ разбирать? Одно ясно видно, не хочеть онъ допустить просвътленія моей участи, даже и черезъ женитьбу».

— Печалишься, недоволенъ?—спросилъ Петръ. — Успокойся, я твой свать; найду и высватаю теб'в получше. Приходи вечеромъ сегодня, увидишь, правду ли говорю. Въ тотъ же день вечеромъ Румянцевъ снова явился къ государю.

— Вчера черезъ тебя я попаль на одну вечеринку, — сказаль ему Петръ: — сегодня самь тебя свезу на другую. Домъ, куда повдемъ, не Кикинымъ чета. Тамъ будутъ дввушки иныя: выбирай любую, какая приглянется. — отказа черезъ меня не получишь.

Государь и Румянцевъ повхали въ домъ графа Матвеева, на Луговую.

Андрей Артамоновичь Матвыевь быль дебимыйшимь изъ пособниковь Петра. Сынь знаменитаго боярина, Артамона Сергыевича, у котораго царь Алексый ныкогда высмотрыль и посваталь за себя Наталью Кирилловну Нарышкину, мать Петра, — Андрей Артамоновичь свои дытскіе годы провель, при цары Оедоры, въ ссылкы, въ Пустозерскомъ монастыры, гды изгнанники жили въ нужды и въ холоды, безъ печи и безъ хлыба. Съ воцареніемъ Петра, Андрей Артамоновичь быль назначень двинскимъ воеводой, потомъ состояль посломъ въ Голландіи, Франціи, Англіи и Австріи. Пожалованный, два года назадъ, графомъ, сенаторомъ и президентомъ юстицъ-коллегіи, онъ поселился въ Петербургы, гды всыхъ плыняль своимъ широкимъ и щедрымъ хлыбосольствомъ.

Обширный каменный домъ графа Матвеева, близъ адмиралтейства, на Луговой, состояль болве чемъ изъ тридцати комнать. Къ дому, сквозь каменныя ворота, съ дворянскимъ гербомъ на щить, вела аллея изълипь и березъ. Ствны столовой палаты въ домв были обиты немецкими золочеными кожами. Передній уголь въ ней и часть прилегающихъ къ нему ствнъ были унизаны иконами, въ до-рогихъ окладахъ, съ висящими передъ ними лампадами. На прочихъ ствнахъ висъи, въ ръзныхъ деревянныхъ рамахъ, «персоны» царей Іоанна Васильевича Грознаго, Михаила Өеодоровича, Алексыя Михайловича, Іоанна и Петра Алексвевичей, также французскаго Людовика XIV и шведскаго Карла XII. Окна въ столовой были въ два пояса, верхнія изъ нихъ по степламъ расписаны сквозною живописью, фигурами красивыхъ женщинъ и воиновъ. На срединь пологнянаго, крытаго голубою краской, потолка волотомъ было изображено солнце, съ лучами, и возмени чомо созвъздія и планеты. Изъ средины солипа 🐔

опускалось костяное наникадило, о четырехъ поясажь, съ шестью свъчами въ каждомъ. Въ простънкахъ между оконъ висъли зеркала въ точеныхъ деревянныхъ, посеребренныхъ и черепаховыхъ рамахъ. Скамьи и стулья были обиты синимъ сукномъ. На полкахъ и особыхъ поставцахъ красовалась старинная, серебряная и золотая посуда, — кубки, братины, кружки и ковши съ чеканенными на нихъ крылатыми геніями, деревьями и цвътами.

Въ пріемной-гостиной налать окна были также въ два пояса, но на верхнихъ, виъсто фигуръ, были изображены сады и поля. Здёсь быль большой, на ножкахъ, голландскій изразцовый зеленый каминъ. На немъ стояли часы съ боемъ, и въ нихъ, вместо наятника, амуръ, качавінійся на качели, подъ стекляннимъ колпакомъ. Стены гостиной палаты были обиты праснымь сукномь, внеромежку съ холщевыми шпалерами, изббражавшими морскіе виды и корабли. Съ потолка гостиной, на проволокъ, съ хрустальными проръзями, спускались три хрустальныя люстры. Стулья и лавки эдесь были обиты косматымъ бархатомъ и бухарскими коврами. Въ углу, на деревянномъ станкъ, стояль немецкій органь. На стене, противь оконь, висели три голландскія картины, съ библейскими изображеніями: Судъ Соломоновъ. Лавилъ и Голіась и прекрасная Сусанна у купели; на полкахъ подъ ними были разставлены разныя вещи: шкатулки съ янтарною и костаною отделкой, кувшинцы, сулей и чащым черепаховыя, фарфоровыя и алебастровыя, и костяныя фигурки, а по бокамъ полокъ висьло древнее оружіе: мечи и кинжалы съ серебряною и финифтяною настчкой, обухи, пищали, протазаны, кульчуги, луки и топоры, Изъпріемной одна дверь вела въ бильярдную, другая — въ библіотеку. Здесь въ фигурчатыхъ щкапахъ, вывезенныхъ хозянномъ изъ Лондона и Ввны, за стеклами, хранилось собраніе иностранныхъ изданій и русскія книги, по духу времени, большею частью церковныя: Руно одушевленное, Евангеліе толковое, О благоговийномъ стоянін въ храмп Божіємь, Патерикь печерскій, О титль вынца Христова, Объ антихристь и пр. Но были здесь н свътскія: Риомопиорная, Право или уставы Галанскія земли, О гражданскомъ житін и направленій всыхъ дыль, яже надлежить народу и Како царица Олунда близнять породи и како ихъ мить кесарева хотя погубити.

Едва смерклось, дворъ графа Матвъева освътился плошками и фонарями. Съ шести часовъ вечера начался съвздъ гостей. Въ ворота то и дъло възважали шестерками и четверками, на полозьяхъ и колесахъ, колымаги, берлины и открытыя калеши. Государь прівхалъ въ семь часовъ. Встръченный музыкой, онъ хозянномъ и хозяйкой былъ проведенъ въ театральную палату, гдъ дожидались уже всъ гости. Здъсь, по знаку хозяина, въ глубинъ комнаты раздвинулась занавъсь и на подмосткахъ, убранныхъ живыми растеніями, собственными актерами графа, изъ его дворовыхъ слугъ, была разыграна въ переводъ комедія Мольера Докторъ принуженной, съ веселою интермедіей О заерть, имакатичть, имианъ, купить и двукъ молодкахъ. Между дъйствіями, гостямъ разносили вина, пунить и сласти.

По окончаніи представленія, начались данцы. Шведскій оркестръ духовыхъ и струнныхъ музыкантовъ играль съ разубранныхъ хоръ. Танцовали въ двухъ смежныхъ залахъ.

Бесъдуя съ моряками, сенаторами и дипломатами, Петръ не спускалъ глазъ съ Румянцева. Изръдка онъ подзывалъ его къ себъ.

- Что, Иванычъ, находишь по сердцу? спрашивалъ онъ его: — нравится кто-нибудь?
- Глаза, государь, разовгаются, только не нашего все полета... гдв низменной синицв сравняться съ соколами, съ ордами?
  - Полно, братецъ, не дешеви себя, приглядывайся.

Въ концъ вечера, когда у гостей и у самого государя глаза стали особенно веселы отъ безпрестанно разносимыхъ гданскихъ, токайскихъ и иныхъ винъ, государь всталъ изъза стола, за которымъ игралъ въ карты съ Долгоруковымъ, Ягужинскимъ и Апраксинымъ, и подозвалъ къ себъ Румянцева. Онъ приблизился съ нимъ къ залъ, гдъ оживленныя пары танцующихъ только-что кончили веселую, шумную куранту, и, медленно двигаясь въ менуэтъ, то присъдали другъ передъ другомъ, то плавнымъ шагомъ отходили и, снова присъдая, сближались и кланялисъ.

- Приглянулась, нашелъ?—спросилъ Петръ Румянцева.
- Прости, государь! Что вижу.— неприступно, что нравится—и думать страшусь.
  - Ну, а эти три? указалъ государь на среднее

противъ котораго, съ морякомъ и гвардейцами, танцовали

три дввушки.

Румянцевъ зналъ ихъ. То были былокурыя княжны Шелешпанская и Щетинина и черноволосая дочь хозяина дома, графиня Матвыева. «Неужели могу мыслить объодной изъ этихъ? — подумалъ, замирая отъ волненія, Румянцевъ.—Ныть, царь только испытываеть, шутить, послы самъ засмыеть... У каждой за полмилліона приданаго. Отцы же ихъ, за дерзость одного помысла, опозорять, разнесуть!»

— Что же молчишь?—спросиль, пристально вглядываясь въ красавиць, Петръ.

- Умъ цвиенветь, не смъю и взора поднять.

— А ты подними, пріударь! — усм'вхнулся Петръ. — Съ малыми, да крабрыми батальонами не такія еще фортеціи беруть. Вотъ коть бы княжна Щетинина, да и графинюшка Марья Андреевна... отчего бы теб'в не просить ихъ въ пару?.. Музыка перем'внилась; ну-ка, не плошай, — начинають гавотъ...

Государя ждали у карточнаго стола. Ему была очередь сдавать. Онъ возвратился туда. Продолжая игру, онъ видёль, однако, что Румянцевъ, какъ вкопанный, оставался на мѣстѣ, слъдя за танцующими, и не пригласилъ ни Шелешпанской, ни Матвъевой. «Храбрецъ по этой части, видно, не изъ смълыхъ, — подумалъ Петръ. — Надо инымъ путемъ».

«Шутить государь или правду говорить? — терался, въ то же время, въ догадкахъ Румянцевъ. — И неужели дѣло идеть и онъ намекаль о графинь Марьв Андреевнѣ? Нѣтъ, это несбыточно, невозможно!» Краска выступила на его ищѣ. Облокотясь о притолокъ двери, онъ пристально вглядывался въ высокую и стройную, черноглазую красавицу, со вздернутымъ носикомъ и приподнятою верхнею губой, обнажавшею при улыбкѣ бѣлые и острые, какъ у бѣлки, зубы. Онъ все забылъ, музыку, ярко-освѣщенный залъ и танцы, помня одно—эти пышные, черные волосы, вздернутый носикъ и бѣлые, сверкающіе зубы.

#### VI.

Музыка разомъ затихла, танцы прекратились. Гостей авали уживать. Къ государю подощли хознивъ в хозяйка.

Они, съ нажими поклонами, пригласили его откушать въ цвъточную, носившую названіе зимняго сада. Цетръ прошель туда съ немногими изъ приближенныхъ. Румянцевъ удостоился также ужинать съ государемъ. Не любивний вообще гдъ-нибудь долго сидъть, Петръ и здъсь то и дъло вставалъ, обходя ужинающихъ. Съ бокаломъ вина, а то и съ крылышкомъ недовденной дичи въ рукахъ, онъ одного изъ сотрапезниковъ уговаривалъ выпить налитый хозяиномъ ему, какъ и прочимъ, ковшъ аликанте; другому приказывалъ, при общемъ смъхъ, разсказать, какъ онъ нъкогда былъ пойманъ и уличенъ своею женой въ тайной любовной авантюръ; третьяго заставлялъ осущить, присужденный, по примъру царскихъ ассамблей, общимъ приговоромъ пирующихъ, за молчаливость, уныніе и скуку, огромный кубокъ мальвазіи.

Среди ужина, въ цвъточную, двумя слугами, на серебряномъ блюдь, быль внесень и поставлень на столь огромный, обложенный цукатами и облитый вареньемъ и ромомъ пудингъ. Едва слуги отошли отъ стола, пудингъ распался, изь него выскочили карликъ и карлица, одътые паступками, и, подъ музыку изъ залы, начали туть же, на столь, между тарелками и бокалами, плисать менуеть. Веселью пирующихъ не было конца. После пирожнаго принесли корзину глиняныхъ трубокъ съ табакомъ. Дымъ поднялся коромысломъ. Разговоръ сталъ шумне. Начались споры, даже перебранки хмельныхъ. Государь, куря трубку, всехъ подзадориваль. «Какой ты слуга? я върнъе тебя! — кричаль, стуча по столу, сенаторъ Бутырлинъ сенатору Юшкову. — Васъ на алтынъ мъняли!» — «По-нъмецки пьешь, выпьемъ по-московски! — твердиль Салтыковъ Стрешневу, воть какъ, видишь? — воть!» — «Древнему другу и благодътелю! въ поминанье старыхъ благь! -- обращался Головинт къ Писареву. — «Маменька, другь мой! воть какъ люблю!» отвічаль совсімь растроганный Писаревь. Раздался звонь разбитой къмъ-то посуды. Всъ хохотали, говорили безъ умолку. Кто-то, желая обнять соседа, полезь къ нему черезъ столъ и сапогомъ попаль прямо въ блюдо съ пирожнымъ. Кого-то за руки, а наконецъ и за воротъ оттаскивали оть зеркала, которое с разбиль головой. принявъ его за дверь...

Среди общаго шума, гамя

сударь, какъ видъть Румянцевъ, былъ, по обыкновенію, свъжъ и бодръ. Онъ всталь изъ-за стола и, съ коротенькою голландскою трубкой въ зубахъ, прошелъ съ графомъ Матвъевымъ въ сосъднюю комнату. «О чемъ онъ съ нимъ бесъдуетъ?» — размышлялъ Румянцевъ, глядя въ раскрытую дверь на Петра. Лицо государя казалось озабоченнымъ. Онъ то вынималъ изо рта трубку, поправлялъ въ ней пенелъ и разсматривалъ лъпныя на ней изображенія, то опять порывисто курилъ.

— Завтра ѣду въ Копенгагенъ, — сказалъ онъ Матвъеву: — а душа неспокойна, — царевича все сбивають; имъю несомнънный суспеть на стороннихъ, и чего боядся паче всего—связей съ Суздалемъ, съ тамошнею моею черницей, —

то, кажется, какъ разъ и действуетъ.

Въ чемъ же твои подозрвнія, государь?

 Умру, все погибнеть и, вмъсто славы, пойдеть у насъ одно безславіе.

— Не понимаю, прости, произнесъ Матвевъ.

— Алексія, скажу тебі, склоняють, по приміру матери, также въ монастырь, — связь понятна... По кончині моей оба скинуть черныя рясы, облекутся въ иныя одежды и все повернуть по-своему.

— Въ такомъ разъ не соглашайся, батюшка, не давай своего благословенія, — и кто же противъ воли твоей пойдеть?

Нетръ положилъ трубку на столъ.

- Въ томъ-то и довушка, самъ я ему, какъ вдовцу и лѣнивцу, въ острастку, предложилъ монашество, сказалъ онъ: а простака, видимо, научили, онъ и согласился, проситъ пострижения. Одинъ цуть Алешъ жениться бы снова на здоровой, доброй бабъ. Не знаешь ли подхожей какой, изъ видѣнныхъ тобою, опять-таки иноземныхъ, не худородныхъ принцессъ?
- Не мало пожелали бы съ вашимъ величествомъ породниться, на какую только страну изволишь бросить взглядъ.

Нетръ подумалъ, прислушивансь къ цвъточной, откуда, попрежнему, неслись веселые голоса пирующихъ.

— Эта метерія еще терпить, теперь объ иномъ, — сказаль онъ, положивь руку на плечо Матвіева, — выражусь прямо, безь утайки... Одно сватанье въ сторону, другому, надіюсь,

пособинь; у тебя, Андрей Артамоновичь, невыста, я къ тебъ привезъ жениха.

Матвыевъ растерянно взглянуль на государя.

- Твоя дочь, Марьюшка, ты знаешь, какъ я къ ней расположенъ, - продолжалъ Пстръ: - умна, мила, приветлива; но, извини, по молодости, легкомысленна... да, да, не смущайся, это върно! Ее надо выдать за такого, кто любиль бы ее, но, притомъ, держаль бы въ рукахъ...
- Развъ, ваше величество, что за нею замъчено? или проглядьла глупая, слабая мать? Да я ее, негодницу, если въ чемъ провинилась, разражу, собственными руками убыю...
- Успокойся, не стоить; лучшая, братець, исправка дъвичьяго нрава — вынопъ, ли и потому-то у тебя нынче и сватомъ...
- Много чести, великій государь; но кто, извини, выбранъ тобою?
- Вонъ онъ, у края стола, -- указаль государь въ цвъточную на Румянцева, -- этого предлагаю въ женихи твоей Марьюшкъ; просимъ честью, не осуди жениха и свата.

Матвьевъ сталь былье стыны. Его грудь дынала тяжело; вь опущенныхъ глазахъ проступили слезы. «Какое униженіе и какой стыдъ!--мыслиль онъ, не помня себя,--мелкопомъстный дворянчикъ, изъ самыхъ обдныхъ, и это женихъ моей графинюшкы! За что такая немилость?»

 Ты недоволенъ, вижу, сватовство не по тебь?—спросилъ Петръ. — Говори прямо: считаещь его недостойнымъ твоей дочери и тебя?

- Затрудняюсь, великій государь... Теб'ї повельвать, намъ слушать и покоряться.

🛶 Не ладно говоришь, Артамоновичь, — не приказую и не насилую твоего решенія... А только помий, этоть слуга изь близкихъ мив, и я люблю его, какъ любилъ и тебя; ты за труды сенаторъ, министръ и графъ, -- отъ меня, отъ моей милости, самъ ты знаешь, зависить и его сделать счастливъйшимъ между вами, превознести выше всъхъ. Не знатенъ, не богатъ теперь, будеть богатъ и знатенъ черезъ часъ.

Матвьевъ молчаль. Поть крупными каплями падаль съ его лица на расшитый золотомъ кафтанъ. — Что же скажешь? согласенъ?—спросиль Петръ.

- Весь въ твоей милости, о<sup>т</sup> евъ. - Необиженъ тобою донынъ.

— Отлично, Артамонычъ, — сказалъ, обнявъ его и цълуя, Петръ. — Дъло, значитъ, слажено; только заповъдь тебъ: до срока о томъ, чуръ, никому.

— А жениху, государь, изводишь объявить? — спросиль

Матввевъ.

— Никому, повторяю, и ты — ни женѣ, ни дочкѣ; приданаго тебѣ не готовить, —чай, давно полны сундуги; сговоръ останется тайнымъ, промежъ меня только да тебя. И тому важный резонъ: завтра надолго ѣду въ чужіе края, беру съ собой и жениха. Будемъ, съ Господомъ, живы, вернемся, напомню тогда, —за парадною помолвкой, сыграемъ и свадьбу.

Государь позваль Румянцева. Тоть подаль ему шляпу и шпагу. Провожаемый Матвьевымь, Петрь вышель вь свин. Здісь съ матерью, накинувь на плечи желтую тафтиную шубку, въ зеленой бархатной шапочкі, съ алымь верхомъ, стояла раскраснівшаяся оть танцевь графиня Марья Андреевна.

— И ты вышла проводить? — улыбнулся, увидя ее, Петръ. — Простудишься, плуговка! Береги здоровье, — оно надобно тебь, — иди...

Онъ обняль и поцеловаль девушку въ обе щеки. Малвевъ подаль государю теплый плащь. Петръ укалъ.

 Что же, братецъ, такъ и не выбралъ себъ суженой? спросилъ онъ Румянцева, подъежая съ нимъ ко дворцу.

— Превыше силь, прости, не смъю...

— Я за тебя выбралъ... только до времени носмотрю еще на тебя, не скажу. Готовься, завтра ъдешь со мной въ Данцигъ и далъе въ Копенгагенъ.

Въ ту ночь совсимъ не спалось Румянцеву. Онъ ложился на правый бокъ и на лівый, закрываль глаза, вызывая дремоту, думалъ о морі и спінощей, колеблемой вітромъ ржи,—ничто не брало, сонъ біжалъ отъ него. Въ мысляхъ неотлучно были всселые черные глаза, вздернутый носикъ и зеленая шапочка, съ алымъ верхомъ, надъ шышными черными волосами.

Въ ожидании отъбъда съ государемъ, Румянцевъ всталъ до зари, одътся въ парадную форму, уложилъ небольшой дорожный свой скарбъ и готовился вхать во дворецъ. Онъжилъ у просвирни Казанской церкви, въ Мъщанской сло-

бодей, возлі Невской першпективы, занимая дві горенки, изъ которыхъ въ одной ютился самъ, а въ другой поміщались его отець и мать, прійхавшіе провідать его изъ костромской деревушки. Отецъ привезъ ему волчью шубу, своей охоты, которой сынъ теперь, въ виду дальняго вояжа, особенно былъ радъ. Старики тоже встали рано, побывали въ бані и, красные, съ повязанными головами, хлопотали надъ укладкой сыновнихъ вещей.

- Ну, Александръ, что же государь? спросиль отецъ, увязывая узелъ съ бильемъ. Какъ насчетъ, то-есть, сватовства? Выбралъ, наконецъ, указалъ тебь какую кралю?
- Молчитъ,—съ недовольствомъ отвътилъ сынъ,—и что у него на умъ, не пойму...
- Молчить? А припасенную, указанную отцомъ и матерью, отвергь?.. Ему что?—терпится; намъ-то каково? Хоть бы, примёромъ, бёлье,—нешто въ такомъ ходить гвардейскому офицеру, да еще капитану? Сорочки одно званіе, карпетки—въ заплатахъ... Степанидушка, глянь сюда, ужли сына этакъ-то въ дорогу и снаражать?
- Пусти, постылый, не видишь развѣ? съ сердцемъ вскрикнула мать, вырывая у мужа обноски сына, вотъ новые чулки... не помнишь нешто, какъ сама вязала? А веть и сорочекъ трое изъ фражскаго холста. Гдѣ былъ? или опять запамятоваль, какъ о Спаса пять ройковъ продали, кума за холстомъ ѣздила?
  - Такъ, такъ, сорокоумовцамъ продали.
- То-то, сорокоумовцамъ. Носи, Сашенька, насъ поминай. Безъ матери-отца кому вспомнить, приголубить тебя?

Старушка отерла слезы.

— Вотъ пирожки, съ сигомъ, да съ курятинкой, а на дорогу хозяйка печеть блинцы. Не торопись, родимый, успъешь еще, —духомъ принесу.

Старуха ушла къ хозяйкъ.

### VII.

— Ужъ не думаеть ли царь, —сказаль Румянцеву отецъ, когда они остались вдвоемъ, —не затіяль ли онъ выдать за тебя одну таковую персону?

— Какую?

Старикъ оглянулся.

Сочиненія Г. П. Данилевскаго Т. VIII

- Новую одну матресишку, последнюю... это съ нимъ
  - Кто же она?
  - Ужли не знаешь?
- Я отсутствоваль, только что вернулся изъ похода, почемь же мнв всв здвшнія новости знать?
  - Да тебя же туда онъ и возилъ.
  - Не понимаю, батюшка, о комъ рачь.
  - О дочкъ графа Андрея Артамоновича.

Румянцевъ не взвидъль свъта. Комната заходила въ его глазахъ.

- Клевета, родной, какъ же не видишь? Небылица!
   вскрикнулъ онъ. И кто теб'я такія сплётки наплелъ?
   Не сплётки, Ликсаша, а истинная, должно быть, правда.
- Не сплетки, Ливсаша, а истинная, должно быть, правда. Дворецкій изъ Катерингофа, — ну, старый знакомець ты знаешь его...
  - Знаю, только что изъ того?
- Вечоръ это, какъ повезъ тебя государь къ Матвъеву.
   онъ зашелъ и сказывалъ... и такое открылъ, что лучше бы не слышать...
- Эхъ, батюшка, не мучь; что же онъ, лысый чортъ, говорилъ такое? Языкъ бы ему клещами пощупать...
- Не горячись и не шумаркай, все скажу, только не прочувль бы кто посторонній.

Старикъ всталь, посмотръль за дверь въ съни и заперъ ее на крючокъ.

— Такъ-то будеть спокойнъе, — сказалъ онъ. — Господи, какія дѣла! Вышнимъ полюбилась эта графинюшка Марья Андреевна и самой дѣвкъ, видно, пріятны были милости оттоль. Да, да, не вскакивай, слушай... Какъ жилъ государь, лѣтось, съ царицей въ Катерингофъ, и Матвѣевы на своей мызъ, по близости, тамъ же въ тъ поры пребывали. Государь ихъ чествовалъ и дочку ихъ, изъ пріязни, тоже отличалъ, бралъ въ одноколку съ собой кататься по садамъ и рощамъ, на буеръ съ нею по Невъ и по взморью до-поздна плавалъ. Тъ ногъ подъ собой отъ радости не чуяли; счастье, молъ, такое имъ выпало. И все шло будто ладно, все лѣто они въ удовольствіяхъ и восхищеніяхъ проводили. А осенью, какъ царю пришлось переъзжать уже на зиму во дворецъ, онъ и подмѣтилъ, что графинюшка Марья, такъ же, какъ съ нимъ, по рощамъ и по взморью каталась еще и съ нъ-

кінмъ другимъ. Выследиль государь, самолично уб'едился, позваль ее на допросъ, та и повинилась.

— Фу, ты, Господи! Не върится!.. И что же, родителю

открыль государь?

— Для чего? Нешто опять-таки его не знаешь? Самолично все прикончилъ... Никому не говоря, припасъ въ сънникъ пукъ березовыхъ, пригласилъ ее туда, будто новую царицыну корову-голландку посмотреть, да собственноручно и высвкъ.

Румянцевъ вскочилъ.

— Нъть, нъть, это влевета, умысель на Матвъевыкъ! И кто могь это видъть, узнать?

— Да полно тебъ фуфыриться! Говорять тебъ — върно,

ну такъ же, какъ мы вотъ туть сидимъ.

Старикъ еще что-то говорилъ, но сынъ не слушалъ его. «Графиня Марья Андреевна, красавица, гордая, недоступная, и такой о ней слухъ, -- мыслиль Румянцевъ. -- Отецъ сердить, что не удалось сватовство за Кикину, и въритъ всяческой небылицѣ».

- Но зачёмъ, батюшка, все это передаль ты мий? спросиль онъ. - Изъ ревности за предложенную тобой невъсту? Да, въдь, государь, повторяю, никого еще не указаль, а что до Матвъевой-и намека о ней не бросиль. Съ нею танцовали Шелешпанская, Щетинина и много другихъ,--можеть быть, изъ тёхъ, кого онъ имълъ на примъть:
- Какъ знаешь, Ликсаша, а только нашему роду еще не бывало подобнаго покора и стыда... И ужъ лучше, помни ты мое слово, въкъ въ нищетъ доживать, чъмъ таковую персону брать за себя.

Въ дверь постучались. Вошла съ крынкой блиновъ мать. Наскоро закусивъ, сынъ уложиль на подводу свои пожитки, получилъ благословеніе родителей, простился съ ними, одълся въ привезенную отцомъ шубу и отправился ко дворцу.

 Своей охоты, Ликсаша, своей!—говорилъ отецъ, крестя сына и указывая ему на шубу.—Въ двъ пороши затравиль,

одного живьемъ связаннаго привезъ.

Государь увхалъ послв ранняго объда. «Правъ отецъ, неподхожее было бы дело, --- разсуждаль Румянцевь, едучи въ одной изъ кибитокъ въ свить восударя. — Брошошен баворитка, --- какъ ни говори, т, ненул И любить-то тебя, послъ торовт

будеть, да и выгоды, пожалуй, никакой!» Петербургь вскорв скрылся за снъжными холмами. Дорогу обступили ствны темныхъ, въковъчныхъ льсовъ. Издали блестълъ только шпицъ адмиралтейской башни. Вечеръло; начиналъ падать снътъ. Вороны взлетали надъ вершинами елей и березъ. Тройки царскаго поъзда мчались безконечною льсною просъкой.

Румянцевъ, укутавшись съ головой въ шубу, вспоминалъ недавнее прошлое, походъ въ Швецію, разговоръ съ царемъ на дежурствъ, ассамблею у Кикиныхъ и ассамблею у Матвъевыхъ. «А нышность и роскошь ихъ дома, а эта боярская сановитость ихъ рода! Нътъ, быть не можеть!--разсуждаль онъ. — Все слышанное отцомъ сущая злобная влевета! Государь недаромъ меня туда возиль. Что въ его мысляхъне угадать... Но если-бъ онъ имълъ въ виду, не теперь, хоть современемъ...» Снъгъ валиль безъ остановки. Сумерки сгущались болве. Лошадей изъ кибитки трудно уже было разглядать. «Да и вдругь все это, по правда, небылица и ложь?--мыслилъ Румянцевъ, -и что, если государь и въ самомъ дъль решить и скажеть: воть тебе невеста, графиня Марья? Воже-Господи, удостой этого выбора. Лучшаго счастья, полагаю, и во сив не видать, не испытать. И ужъ коли суждено было бы мив стать зятемъ графа Андрея Артамоновича, Царица Небесная! какой колоколъ пожертвовалъ бы на церковь въ графскую вотчину, -- въ пудъ, мало того, въ два-три пуда, изъ чистаго серебра!»

Паревичь провожаль государя до заставы. Онъ простудился дорогой и нъсколько дней послъ того не выважаль изъ дому, удивлянсь, что никто изъ «собинныхъ» друзей его, даже Кикинъ, не навъщаль его. «Объ отоппедшемъ, кажись бы, всюду промчалось, —разсуждаль онъ, —не для кого болье подглядывать, а видно и теперь боятся!» Онъ послаль за Кикинымъ; тотъ отвътилъ, что угоръль послъ бани и явится, когда одужаетъ. «Лукавить, дозора опасается, случая ждетъ!» —подумалъ Алексъй. Онъ отъ скуки взошелъ наверхъ къ дътямъ и до вечера игралъ тамъ въ шахматы съ ихъ гофмейстериной. Возвратись при свъчахъ, онъ сталъ просматривать присланныя Меншиковымъ изъ сената дъла. Скучно было ихъ читать. Ему подали письмо. Онъ по почерку узналъ руку попа Созонта Печунина, у котораго въ

Вязёмахъ жила нёкогда Афросинья и который теперь, по милости Алексёя, состояль при церкви въ Поречьи.

«Многолътно, благополучно и радостно здравствуй, батюшка-церевичъ, —писалъ попъ Созонтъ. — Высокоблагородствію твоему искатель милостей твоихъ челомъ земно быо; а посылаю превысочеству твоему білужью тёшку, щукъ провъсныхъ четыре, балычка прута два, да полпуда икорки,--изволь во здравіе кушать: помаранцевой настойки такожде малое ведёрце, и его кушайже, во здравіе, съ пріятели. Покровенъ десницею Вышняго да пребудеть домъ твой въ благодати на многіе предыдущіе годы. Про здравіе же твое слышати ежечасно желаю. Въ прівздишки твои кормиль ты и поиль насъ, сиротъ, доволь, а нынь безъ тебя зъло мы оскудьли. О, горе мив, мизирному! Никто прошеньишка моего принять и честь не хочеть. Младоумножаемая вътвь прекраснаго, цвътущаго и превысочайшаго царскаго древа! Возари на нуждишки наши, ждемъ тебя, яко Миссію. Въ Вязёмахъ лугъ намъ давали, хлебушка съ копны, лесусколько вришь; туть все твоимъ старостою Мосеичемъ урфзано, а за что, одинъ создавый ны вся въсть. Афросинью Оедоровну просиди, ее не слушають, — твое-де бабье дѣло токмо птичня, да огородъ, да кудель. А по-нашему воть вому, ей быть здѣся старостой. Яви божескую милость, а Мосенчу поведи намъ пособить. У самого великій роскошь и деспотичество во всемъ, загребаетъ съ огуменниковъ, съ • амбары и кладовыхъ, а на слугь церковныхъ помощи никакой. И не ходи къ нему, всякой мольбъ отсъченіе, правдъпосрамленіе, добру-погубленіе, душів-углубшій гвоздь. За твою же милость азъ писавый, за весь праведный домъ твой и за всвхъ любящихъ многолетнее здравіе твое, нын'в и впредь, безъ урыву, въчный твой богомолецъ — смиренный Совонтъ».

«Надо вхать въ Порвчье, воть какъ надо бы, —подумаль царевичь, прочтя посланіе Печунина. —Но какъ вхать? какой къ тому видимый предлогь, да еще зимой? Донесуть отцу, а тоть сыщика следомъ пошлеть, —какія, моль, такія хозяйскія нужды унесли его, оглашеннаго, оть важныхъ штатскихъ дель на мызу въ такіе холода?» Жалобу Созонта Алексей вкратце изложиль въ цидулкъ порыченскому старость, приказавъ дать Печунину все, последования ось въ Вязёма. 

Виль въ ко «А о

прочемъ, что доносятъ и слышу, разберу, коли Господь позволить самому быть въ вашихъ оныхъ местахъ».

## VIII.

Въ половинъ февраля надъ Петербургомъ носился и гудъль сильный снъжный буранъ. Мятель сугробами устилала площади, преграждала улицы и заваливала переулки. Нъкоторые дома были заметены снегомъ до крышъ. Ни провзда, ни прохода. Царевичъ, слушая свисть и яростный ревъ бури, уже собирался на ночлегъ, когда слуга доложилъ ему, что его желаеть видеть Кикинъ. Алексей обрадовался и приказаль звать его въ кабинеть.

. — Это банный угарь досель не пускаль? — спросиль онь, встрвчая гостя, стряхивавшаго съ волосъ и собольей шапки хлопья сныгу.

— Всякаго угару вдоволь, — ответиль, оглядываясь, Ки-

— Садись, Александръ Васильевичъ, будь гостемъ; пріятно видать хоть одного, когда остальные всв забыли.

— Да помнимъ ли мы сами себя и свою жизнь? Какъ живется-то намъ, спросилъ бы ты,-сказалъ Кикинъ, припирая дверь и садясь на софу рядомъ съ царевичемъ.
— Или стряслось что новое? — спросилъ, глядя на него,

царевичъ.

— Все старое, батюшка Алексви Петровичь. Довольно одного: Питерь, гдъ живемъ съ тобой. Что онъ? Съ одной стороны-море, съ другой горе, съ третьей-можь, съ четвертой-охъ...

Царевичь улыбнулся. Онъ любиль находчивость и всегда замысловатыя выраженія умнаго, бойкаго и наблюдательнаго

эконома своей тетки, царевны Марыи Алексвевны.

— Ну, слушай, — сказалъ царевичъ, взявъ за руки гостя: — скажу безъ утайки, и мив туть тяжело; а гдв быть? куда укрыться?

— Бажай въ чужіе края, у тебя великая протекція, австрійскаго кесаря супруга-твоей покойной женъ сестра; оть нея и оть самого кесаря всегда тебв будеть защита и покой. Ты, въдь, россійскій кронпринць, и кесарю немалый резонъ тебв секундовать во всемъ.

чкъ решиться? Опасно это, да и жаль родины,

- Съ весны мою царевну, въдомо, можетъ-быть, тебъ, шлютъ, изъ-за ея больстей, на воды въ Карлсбадъ; ну, и я ъду, въ провожатыхъ, —буду не вдали отъ Въны и о тебъ могу, отъ чего же нътъ, промыслить тамъ.
- Ой, страшно, Васильевичъ! Гдѣ у кесаря скрыться? Батюшка легко, черезъ клевретовъ; откроетъ въ Вѣнѣ, вѣдь, она на большой дорогѣ.
- Отпросишься, какъ уйдешь, въ итальянскія владычества кесаря,—тамъ не откроютъ; а ужъ тъ палестины—неземныя красы, сущій рай, не разстанешься съ ними во въкъ.
  - Ты же нешто быль въ Италіи?
- Былъ, съ гардемаринами, на первой посылкъ въ выучку. Царевичъ задумался. Большіе черные глаза его съ грустью были устремлены на коверъ. Носкомъ башмака онъ водилъ по его узору.
- А скажи, Васильичъ, каковы тамъ люди и какъ живутъ?—спросилъ онъ, взглядывая на Кикина:—и впрямь н похоже на нашихъ?
- Ужъ истинно сказать, все не по-нашему; на улицахъ, въ городахъ, ночью, великая свътлость отъ фонарей, какъ днемъ; древнія и новыя хоромы больше все въ два жилья, а есть по четыре и пяти житій въ высоту; окна вевдѣ стекольчатыя, не слюдяныя. А сады? Вездѣ, по препорціи, цвѣты—дивными штуками, першпективы зѣло изрядныя, на полянахъ лимоны, персикъ, померанцы, дули и миндаль; въ огородахъ кудрявые салаты, капросы и всякій дивный овощь. Въ садахъ и на больвардахъ бесѣдки писаны хитрымъ, тамошнимъ письмомъ; пропускныя воды многоструйно прыщуть вверхъ фонтаною, а на тѣхъ фонтанахъ часы бываютъ, невиданнаго строенія, быютъ водой перечасье въ великіе и малые колокола...
  - А люди, народъ?
- На площадяхъ и улицахъ, по всякъ день, гулянье въ кале́шахъ предивной французской работы. И въ каждомъ, почитай, городъ театрумъ, а въ немъ для увеселенія—опры, либо зъло хитрая комедь.
  - И ты видълъ опры и комедь?
- Бываль не разъ; между дъйствами, гдѣ Аполло, либо Венусъ выходятъ и говорятъ вирши, дивные хоры увеселяютъ гостей на фрейтахъ, скрипицахъ и фіолгабалахъ предивнаго мусикійскаго мастерства.

- А какъ тамошніе баре?
- Главы женъ и дъвицъ непокровенны, какъ и въ Дрезенъ, и Карлсбадъ ты видълъ. Только женскъ полъ къ лорамъ въ тъхъ краяхъ больше охочи, къ дълу непримежны, ко гръху же зъло слабы и нрава часомъ весьма зазорнаго. Ну, да ты, въдь, на нихъ и не взглянешь, —слышно, и впрямь собираешься въ монастырь.

Алексый отвернулся.

— Тебъ шутки все шутиты—сказаль онъ съ досадой.— До того ли миъ, и какой я монахъ?

— На что же, батюшка, въ такомъ разъ, ръшаешься,

чвиъ задумалъ кончить, по требованию отца?

— Объ одномъ мысль, къ одному стремлюсь, —произнесъ, задумчиво глядя передъ собой, царевичъ: — когда бы отъ всего меня уволили, чтобъ жить мнв, какъ Богъ изволить, въ деревнв, и ни до чего бы мнв дъла не было.

Ну, на это, самъ пойми, врядъ ли согласятся вышніе,
 возразилъ, качая головой, Кикинъ:
 потребуютъ не-

сомнительно, жестоко притянуть къ иному.

— Да не могу же я, Александръ Васильичъ, душа не лежитъ, — сказалъ Алексъй. — Самъ ты говоришь: Питеръ — горе да охъ... Изъ-за чего отецъ старые порядки бросилъ, потопталъ? изъ-за чего, что ни день, заводитъ все новые? Мучитъ всёхъ, во снъ и наяву, шпыняетъ, теребитъ. Жило же царство безъ этихъ новшествъ, — безъ гвардіонцевъ и потышныхъ, — въ славъ и силъ состояло. Стръльцы били шведовъ, нъща и ляховъ. Всъ сторожко и честъю блюли нашъ народъ и санъ. Батюшка въру дъдовъ и прадъдовъ презрълъ, патріарха синодскими канцеляристами замънилъ. И на что намъ это, прости Господи, чортово болото—нован столица? На что кургузые кафтаны солдатства, а вмъсто древнихъ, урядныхъ сарафановъ, хотъ бы эти хвостатые роброны, на фижмахъ, да пудра? Истерзалъ отецъ родину, уродуетъ, кромсаетъ, какъ мясникъ телку, по живому тълу ножомъ...

Алексви всталь. Лицо его залиль румянець.

— И все потатчики подбивають его на эти новшества,— продолжаль онь, порывисто ходя по комнать, — измънники заповъдямъ роднымъ, боголживцы, церковные и мірскіе мятежники,—Головкинъ, Шафировъ, Ромодановскій, Трубецкой и сколько иныхъ! Какъ попустить Господь взойти, послъ

батюшки, на древній предковскій престоль, быть на колахъ головамъ супостатовъ. Алексашка Меншиковъ особливо попомнить; міста на его шев не станеть, гдв упасть топору!

Алексий, опершись о столь, перевель дыханіе. Глаза его

горъли гивомъ и негодованіемъ.

— Быть Петербургу пусту! — вскрикнуль онь, ударивь кулакомъ по столу. — Кораблей не стану строить, гвардію распущу, воевать брошу, — со всіми будь мирь и покой. Зиму стану жить въ Москві, літо въ Ярославлі... Плюю на всіхъ, абы здорова была мив чернь.

— Такъ-то такъ, —промолвияъ Кикинъ: — да чернь-то -стадо безсловесныхъ; имъ нуженъ съ доброю клюкой па-

стухъ, а ты мягокъ сердцемъ, вельми добръ.

— А тёзка мой, дъдъ Алексей? Нешто не жилъ онъ въ Господней благодати, въ общей любви и уважении отъ иноземныхъ и своихъ? Никуда-то онъ, тишайший, непрошенно не лёзъ, никого не тормошилъ и не тиранилъ, а былъ счастливъ. Такъ, съ Господнею защитой, буду царствовать и я.

 Сядь, батюшка, царевичъ, сядь, произнесъ Кикинъ, ловя Алексия за руку: угомонись, для Бога, и слушай;

объясню съ иной стороны.

Алексый, со вздохомъ, опустился въ кресло.

— Царствовать думаешь ты... великое слово, — продолжать Кикинъ:—только надо еще добиться того. А удастся ли, бабушка на-двое сказала.

- Такъ что же мив двлать и о чемъ мыслить? тихо проговориль царевичъ, ломая руки. По волю батюшки, съ нищими, что ли, да съ дъячками, схоронить себя въ монастырю или отъвхать, по-твоему, въ такое царство, где приходящихъ пріемлють и никому не выдають? Какъ решиться на его или на твои слова? Вёдь, я человюкъ, Васильичъ, жить на волю, какъ всякій последній смердъ, хочу, а разве въ черной рясе или на чужбине вольная жизнь, по душе?
- Видишь ли, Алексви Петровичь, не обезсудь, опять прямо скажу... Ты зъло невоздержанъ въ ръчахъ... Именно такъ... Миъ открываешься, но повъдаль, можетъ статься, и другимъ, а отцу-то долго ли отъ дозорцевъ про все узнать? Ну, раздълка и не далека...
- Ну что же отецъ, хоть и царь онъ, можеть сотворить со мной?

Кикинъ сдвинулъ брови.

— Какъ что?—спросиль онъ, глядя на царевича. — Да развъ не знаешь, какъ таковы дъла творились и творятся у насъ? Очень даже просто, — слышалъ, полагаю, про ядъ, потопленія и прочія наши галантереи?.. Въдь, даже Грозный царь Иванъ, какъ сравнить его съ батюшкой Петромъ Алексъевичемъ, передъ нимъ, въ хитромъ неустанномъ тиранствъ, малый шаловливый ребенокъ, шутникъ...

Алексый снова всталь. Въ глазахъ его были слезы.

— Помоги, Александръ Васильичъ,—сказалъ онъ:—молю тебя, какъ мнъ быть и какъ избавиться отъ отца?

— Невидимымъ учиниться! Былъ, молъ, человъкъ и нътъ его, по-французскому термину, знаещь, чай, его, — il est

eclipse...

— То-есть опять-таки говоришь о бъгствъ, о чужеземщинъ? Кикинъ молча кивнулъ головой. Царевичъ нъсколько мгновеній смотръль на него, не находя выраженій тому, что вставало и кипъло въ его душъ. Грудь его дышала тяжело.

— Ахъ, другъ любезный, ахъ, радътель, — выговорилъ онъ черезъ силу: — ужели не понимаешь? Не могу я жить безъ Афросиньи... Вразуми, наставь, какъ не покидать мив ея? Ну, вотъ птицъ, малому звъренку нуженъ воздухъ, рыбъ вода... Она миъ — вода и воздухъ...

Кикинъ опустилъ глаза въ землю. Теребя свою курчавую, косматую голову, какъ бы въ тяжеломъ смущения, молчалъ.

- Быль я въ Венеціи, произнесъ онъ: и слушаль тамъ въ кляшторъ езувиту; онъ передъ принципомъ венецкимъ сказывалъ казаніе. Самъ въ чѣпи золотой, въ алмазныхъ запонахъ, фіолетовой робъ и въ крахмальныхъ полотняныхъ брызжахъ около шеи, а недоросли-ребятки, въ бѣлыхъ стихарикахъ, педолъ той робы держали, какъ его на золоченомъ сѣднѣ покоевые камереры въ церковъ внесли. Езувита сказывалъ, а наши, бывшіе тамъ долѣ, переводили. Ето проповѣдь была про зѣло высокую гору, что въ Неаполѣ, отъ сотворенія міра, неустанно день и ночь горитъ. Ничѣмъ ея не угасить и не повергнуть въ темь. И равнялъ езувита ту гору Везувій съ душою людской; не угасить и въ человѣкѣ жара палящихъ страстей. Горячесть наша нынѣ спадетъ, завтра опять дымомъ и пепломъ бьетъ и огненные пускаетъ ручьи.
  - Къ чему это ты ведень?--спросиль царевичь.

- Помяненный сказатель навель, въ тв поры, на мою мысль и тебя. Не дивись, такъ оно и есть. Видвлъ я твой предметь, Афросьюшку, впервое на Москвв, въ непригожемъ, бъдномъ уборъ видвлъ, но и тогда она пріятствомъ плъняла. Брови черныя, союзныя, тъломъ дородна, вся быдто облита молокомъ; возрастомъ изрядна, глаза велики, умные, а косы русыя, велики же, трубчатыя, падаютъ по плечамъ.
- Такъ и тебъ, Васильичъ, она приглянулась?—съ счастливою улыбкой спросилъ Алексъй.
- Еще бы, батюшка! А какъ нарядиль ты ее и увидълъ я ее послъ въ Питеръ, просто диву дался. И не платъеце алъ-атласъ, не чулочки узорные, синій шелкъ, не башмаки съ каблучками, и не золото, серебро, канителью строченное по платью,—сама она, словно Венусъ планета, свътила между другихъ... И скажу безъ утайки, великаго ума и нъжныхъ проницательствъ твоя Афросинья, хоть ты ее и не изъ высокаго ранга примътилъ и сблизилъ къ себъ. Не въ такой,—въ высшей долъ слъдовало бы ей быть...

Алексви, въ безмольномъ восхищении, слушалъ эти слова. «Переборщилъ, превысилъ похвалы Фроськъ,—думалъ тъмъ временемъ Кикинъ,—ну, да ладно, масломъ каши не испортимъ; а взойдетъ онъ на отчій престолъ, Смолокурову царицей наречетъ,—быть мнв изъ первыхъ въ министрахъ».

- Такъ ты не шутишь, Васильичь?—спросиль Алексви:—одобриль бы этоть союзь? Вёдь батюшкина нынёшняя жонка изъ простыхъ полонянокь, люторка, чухонкой въ услугахъ была... моя тоже полонянка, да русская и правой вёры... Отецъ при живой жене ее взяль къ себе, а я—вдовый...
- Что и говорить!—отвътилъ Кикинъ.—Еще и еще повторю: какъ замътишь что неладное, неумедлительно бъги; вручи себя въ добрую пріемность кесаря.
  - А какъ же съ Афросиньей?
- Бери и ее. Только не сразу дълай; снабдъвай недостатки, порывы нрава благоразуміемъ. Отведи глаза досмотрицикамъ: начни умненько охать, на недомоганье главы и всъхъ мыслей жалуйся, съ недълю, двъ не умывайся, не брейся,—сочтутъ тебя скорбнымъ и слабымъ... тутъ разомъ, все-изготовя, и бъги.

Паревичъ задумался.

— A ты побываещь въ Вѣнѣ? — спросиль онъ, не спуская глазъ съ Кикина. сбросили чехлы съ цвътовыхъ почекъ. На нолянахъ лъсовъ Васильевскаго острова и Охты дружно прорастали зеленыя травы и по нимъ выдълялись голубые и желтые пролъски. Распускались вздутыя почки липъ и березъ. Съ оръщника свъшивались сърые цвъточные локонцы. Въ садахъ пахло смолой раскрывшихся листьевъ тополей. Грачи и вороны, справивъ прошлогоднія гивада, съ крикомъ носились надъ ними. Появились мошки и жуки. Въ лесныя затишья налетвли зяблики, долгоносые удоды, сърые и черные дрозды. Зазеленъла черемуха и на вскрывшихся ръкахъ показались первые дикіе гуси и утки.

Ко двору царевича, передъ Пасхой, прибыль весенній обозъ изъ Порвчъя съ живностью, -- кончеными окорожами, масломъ, творогомъ, балыками, яйцами и провесными гусиными полотками. Съ обоза ему подали два письма. Первое вскрытое было отъ попа Печунина. Отецъ Созонтъ благодариль Алексвя за оказанныя щедроты и дары. «О-ле, чудное милосердіе, Христе Боже!-писаль онъ царевичу.-Хитродътелецъ и злопамитогубецъ, староста Мосеичъ, какъ ни роскошенъ и честолюбивъ, все по твоему указу исполнилы. Не корить болве, не унзвляеть каменнометными словесы; дай, Господи, тебъ своего времени и лътъ царствованія твоего благольшно устроити, аки устроиль и хозяйствишко твое на мызахъ. Молился азъ многогръщный тезоименнику твоему, человъку Божьему Алексью, и оный преподобный мученикъ милости намъ отъ щедроть твоихъ излія: дадены намъ лугъ и л'ясъ, пашенка и помощь въ скоть и прочемъ, на прокормленіе мучицы аржаной и ячной. а для просфоръ матушкъ кладушечекъ двъ и пшеничной крупчатки. И во всемъ томъ добросердная и къ помощи склонная моя питомка Ефросиныя, ващей худобы блюстительница, совітомъ и діломъ помогла совершить. Азъ же, многогръховный и мизирный, пишу сіе, а оная къ милостямъ радътельница, Ефросинья Оедоровна, вышла отъ себя, супротивъ, на крылечко, зрить въ вашъ садъ и онаго съ зимы, ей Господи, больше не познать. И егда убо дверцы въ оный садъ нынъ на солнцъ отверзлись, отъ тъхъ древесь и кустовъ, яко аромать изліянный, духъ сладкоуханъ и благоуханъ всёхъ объя, -- дворъ и церковка наша исполнися аки смирны и ладона. Въ прежнемъ житіи, въ Виземахъ, было хорошо; въ твоей же, батюшка-царевичъ. здесь

купленной мызъ, ей многократь лучше! Сему же письму конецъ предлагая и твоихъ милостей ввъкъ не забывая, азъ писавый словесъ ставлю конецъ, да сохранитъ твое превысочество Богъ-отецъ».

«Виршами на радости кончилъ! — подумалъ съ улыбкой царевичъ, дочитавъ посланіе Созонта. — Что же, дай ему Господи! добрые люди оба они...»

Но во второмъ письмѣ онъ увидѣлъ надпись Смолокуровой. Краска восторга залила его лицо. Торопливо распечатавъ вчетверо сложенную бумагу, Алексѣй прочелъ слѣдующія строки:

«Государю моему, царевичу Алексью Петровичу. Прійтить близко, поклонитеся низко, честь весело, быть радостну. Съ особливымъ увеселеніемъ извъщена есмь дюбительнъйшимъ вашимъ писаніемъ. И мое письмишко честно да вручится тебъ, государю моему, и ты впредь забвенно не учини, а мы о здравіи вашемъ хоть одну строку слышати на всякъ часъ желаемъ. Доношу же твоей милости, не видя ясныхъ твоихъ очей, несносная мив печаль, сердечная, смертоносная язва. А кругомъ развів не рай? да кому безъ тебя, желанный, любоватися? Ховяйство ваше, аки младенецъ пріятный, ласковый, досмотрівно мною паче зеницы. А которыя слова приказаны, все то сделано. Солодовня починена, винокурня и маслобойня труждаются по всякъ день; ледники набиты и въ нихъ изъ медоварни и пивного завода вкачаны бочки новаго варева, до ващего пришествія къ намъ. Каменная рига покрыта, съ чешуйнымъ, зѣло краснымъ, обвиваніемъ по тёсу и съ пътушки. Въ хоромахъ. потолокъ, по воль твоей, зъло штучно, итальянскою работой, изъ гипса кладенъ, и слуги ваши, кормилицыны оба хлопчика, красно же одъты, — плащикъ дологъ, бъло сукно, шапочка бархать-синь, съ обручикомъ смушковымъ, --сама съ матушкой шила. Ахъ, прівзжай, любонька-светь, все повидишь, самъ не нахвалишься нашимъ трудамъ. На птичьемъ дворъ-веселіе отъ крику и радости велія. Гуси, павлины, утки и куры вывели малыхъ птенцовъ. Отъ мельницы, какъ приказаль ты, радость, ъдучи, гирями въ огородъ тянется вода. Ръки, ручьи въ мъстахъ полистыхъ и лугахъ взыграли. Роща листьемъ кроется. Цвъты изъ теплицъ выставлены и скоро аки бы цвъсть яблонямъ, дулямъ, сливамъ и всему. Не прівдешь — въ конецъ я пропала. И какая это Богъ

мой, будеть тоска! Виждь, свёте мой, братець, прость а сердцемъ человекь, а всему свёту доказала, въ любви вёрна. Ажь сердце, ажь, лапушка! Зови къ себе, либо пріважай. Твой вёрный другь Афросинья».

«Надо вхать, — подумаль царевичь. — Какой ни приду-

мать резонъ, нать силь, -- вырвусь и укду!»

Волга, Кама, Оба и Донъ въ то время уже вскрылись. Въ Воронежъ готовились къ спуску на воду вновь построенныхъ кораблей. Алексъй объявилъ въ сенатъ, что, выполняя всегдащнія желанія отца и чувствуя себя нынъ вполнъ здравымъ, онъ ръшилъ отбыть въ Воронежъ, для осмотра тамошнихъ судовъ и верфи. Получивъ отъ морской коллегіи прогоны и подъемныя, онъ собрался и вскоръ, со слугой и поваромъ, двинулся на ямскихъ въ Москву, а оттуда на Муромъ и Арзамасъ, въ влатырскую свою вотчину, Поръчье. «Въ Воронежъ еще успъю, какъ просохнетъ, — думалъ онъ. — Давно собственнаго не видълъ хозяйства».

Ноябрь 1890 года.

# СТАРОСВЪТСКІЙ МАЛЯРЪ.

(PASCRASTA.)

«Ты куколка, я куколка, «Ты маленькая, я маленькая-«Приди но мић въ гости». Изь старой сказки.

**Было знойное лъто.** По гребню высокаго косогора, на возу съ пшеницей, по степи ъхалъ старый хуторянинъ. Свесивъ ноги съ воза, лениво сгорбясь и наклонивъ голову на грудь, онъ покачивался подъ мірный шагь воловъ, дремалъ и пълъ. Напъвалъ онъ все одно и то же, а именно, скъдующія слова, повидимому, начало любимой его пъсци:

> «Ой были у кума пчелы, «Ой... да были-жъ... у кума... пчо-о-лы!»

Онъ пълъ исно первую строку, начало второй слабъе, а конецъ уже-засыпая. Встричный толчовъ будиль его. Онъ просыпался, затягиваль ту же песню, засыпаль на словахь: «Ой... да были у кума... пчёлы»—и, проснувшись на новомъ толчкъ, опять принимался за старое.

Далье новости о томъ, что «у кума были пчёлы», онъ

не шель, и такъ вхаль уже несколько часовъ.

ъхаль онь въ Полтаву. Навстричу ему, также подремывая и напивая, на телеге въ одну лешадь, двигался другой хуторянинъ-казакъ, молодой. Вхали казаки и сцъпились возами.

Необычный скрипь снастей разбудиль ихъ. Они очнулись и молча стали погонять, старый — воловь, молодой своеге коня.

- Cочнескія Г. П. Данияєвскаго. Т. VIII.

Возы не трогались съ м'еста. Посыпались отрывочныя восклицанія.

- А! чтобъ тебъ было пусто... произнесъ старикъ, зъвая и потягиваясь.
- Ишь, колодою развадился и не сворачиваеть,—замътиль молодой, также зъван...
- А ты что губы разв'єсиль? в'врно тотку схорониль? прибавиль старикь и, снустившись съ воза, принялся копаться около колесь.
- Ты вѣрно тётку схоронилъ! обиженно произнесъ молодой, помолчавъ и усаживаясь на окраинъ воза: у тебя върно тётка умерла, да и отецъ твой пъяница!
- Какъ пьяница?—съ удивленіемъ спросилъ старикъ: врешь ты! Не отецъ мой пьяница, а ты—такъ пьяница!— Синяки подъ глазами гдъ взаль?

Тотъ, къ кому относилось замвчание о синякахъ, такъ часто этимъ укращался, что синякъ подъ его глазомъ скорве можно было принять за родимое пятно, чвмъ за синякъ. Молодой хуторянинъ привскочилъ на мъстъ.

- Пьяница? Я пьяница? А чтобъ твоя жена была воровкою, чтобъ ты самъ проворовался, да еще пусть тебя поймаютъ и отдерутъ...
- Это тебя върно отдерутъ! сказалъ старикъ, безусившно потигивая за колесный ободъ и очевидно теряясь отъ причитываній своего противника.
- Меня? Ахъ ты, старая подошва! Ахъ ты, бродяга... ишь, слюни распустилъ...
- Чтобъ тебь было пусто!—плюнулъ старикъ, не зная, куда дъться оть брани молодого, который гремълъ, какъ труба, сидя на окраинъ воза.

Молодой не угомонился и еще прибавиль:

 Чтобъ у тебя въ метель, посреди степи, кобыла распряглась, поясъ лопнулъ и руки окоченъли...

Старикъ окончательно растерился, выпустиль ободъ и съ изумленіемъ замітиль:

— Ахъ, да какъ же вы такъ удивительно ругаетесы!

Хуторяне развели возы, приподняли шанки и молча разъъхались. Скоро отлогій косогоръ остался у каждаго за спиною. Странники раскинулись на возахъ и заснули.—Когда они снова открыли глаза, была уже ночь, возы ихъ стояли гдв-то, передъ низенькою хатою шинка, и стояли, къ удивленію ихъ, опять сцёпившись колесами... Молча покачали путники головами и слъзли съ возовъ. — «Надо ночевать туть!» — сказаль одинь изъ нихъ. — «И то правда! надо ночеваты!»—прибавиль другой. Хуторяне распрагли воловъ и улеглись подъ открытымъ небомъ.

Скажемъ теперь, кто таковы были путники, такъ отранно оведенные судьбою. Младшій быль чумакъ, Омелько Брусъ, въ большихъ обозахъ и въ одиночку вздившій літомъ за солью, а зимою, съ утра до ночи, лежавшій на печи, въ своемъ хуторъ. Старшій... но о старшемъ надо сказать

подробиве.

Старшій быль старосвітскій малярь, изъ Борисовки, по имени Ефинъ Сояшница. Старосвътскіе маляры вынче пе--ревелись; но въ Борисовкъ еще кое-гда ихъ встратишь. Соящница быль украшениемъ и гордостью Борисовки; его носили на рукахъ. Это былъ худенький, низепький человикъ, совершенно съдой и обстриженный въ кружокъ, въ зеленомъ длинномъ кафтанъ изъ набойки и въ синемъ жилеть. Его жилеть быль съ непомерно-глубокими карманами, куда Сояшница собираль все, что ни попадалось; ему стоило только опустить въ эту кладовую руку, и оттуда, когда нужно, появлялись: иголка съ нитками, наперстокъ, или медная гребенка, ножницы, сломанный циркуль, пуговка, восковой огарокъ, пуля. Соящница бриль затылокъ, носиль большой отложной вороть рубахи, читаль по воскресеньямь Апостоль и любиль, ставь на клирось, подтягивать тоненькимъ дискантомъ соборнымъ пъвчимъ. Вслъдствіе разныхъ тревогъ въ жизни, Сояшница, и прежде ъздившій довольно часто съ работою по сосъднимъ слободамъ, ръшился окончательно бросить родимую Борисовку, вблизи которой родилси на слободскомъ хуторъ, и кончить въкъ въ работь по добрымъ ... JUNEROIL

Чуть крикнули пътухи, путники уже проснулись. Но прежде проснулся маляръ. Вътеръ колыхалъ пучокъ бълаго ковыля на длинномъ шестъ корчмы, и стая скворцовъ съ шумомъ летъла на ближнюю поляну, засъянную горохомъ. Роса блестъла по тракъ. Издалека неслись звуки церковнаго колокола. Въ полъ раздавалось веселое ржанье жеребенка. Маляръ сталъ противъ восходящаго солнца, остинвъ глаза рукою. Онъ молчалъ. Грудъ его дышала спокойно, и въ маленькихъ карихъ глазахъ отражалась такая безмитеж-

ность, что никто бы не повършть, что ихъ хозяину давно стукнуло семьдесять лъть.

— А знаете, оно хорошо было бы выпяты! — раздался за его спиной голосъ. Соящница обернулся. Передъ нимъ стоялъ, протирая глаза и зъвая во весь роть, его вчеращній зна-комецъ, Омелько.

Шаровары Омельки были сильно выпачканы дегтемъ, ноги-босыя, шанка въ заплатахъ.

— Выпить, такъ и выпиты — ръшиль маляръ.

Шинкарь вынесъ водки. Путники потребовали хлаба и сали подъ возами. О встрача и перепалка прошлаго дня не было и помину. Первый налилъ водки Омелько Брусъ.

- Будьте здоровы! сказаль онъ, осущая стаканчикъ, покривился, сплюнулъ, покачалъ головою, выпилъ еще стаканчикъ, посмотрълъ на его дно, махнулъ рукой, какъ бы говоря: «ну, теперь уже довольно!» и бережно поставилъ графинчикъ на траву.
  - Откуда вы? спросилъ маляръ.
- Ъздилъ въ Крымъ за солью, —жена посылала; да только не добхалъ, чтобъ нечистый побилъ ту канальскую водку. Всъ деньги пропилъ на дорогъ, и кисетъ съ табакомъ пропилъ, и сапоги пропилъ, и теперь меня жена ужъ непремънно побъетъ...

Соящница покосился на плечи-Бруса и нъсколько усомнился въ томъ, что его можетъ побить жена.

- Ну, а вы, дядюшка, откуда?—спросиль Брусь, опять посматривая на стаканчикъ.
- Б̂ду въ Полтаву къ одному знакомому человѣку хату писать.
- Э, друже, такъ вы маляръ? вскрикнулъ Омелько Брусъ не безъ радости: такъ вы уже лучше постойте. Лучше вы меня выслушайте.
  - A что?
  - Поцвауемся прежде!
  - Поцълуемся...

Странники, снявъ шамки, чмекнули другь друга въ усм!

- Бросьте вы Полтаву,—сказаль Брусъ:—на нечистаго вамъ Полтава? ничего вы тамъ не сдълаете!
- Н'ыть! сказаль малярь, помолчавь: никакь уже нельзя теперь, даль слово, пріятель обругаеть!

— Не обругаеть. Повдемъ въ наши мъста, работы не ерешься!

Малярь задумался.

- Нать, никакъ нельзя! отватиль онъ рашительно: даль слової и какъ это можно. Пріятель скажеть, что у меня языкъ даромъ во рту колотится!
- Не скажеть пріятель. Поблемъ въ нашъ край! наны у насъ-все люди хорошіе, а картинами все панскія хоромы

уввшаны.

Маляръ взглянулъ на Бруса и подумалъ: «Какой же ты, однако, должно-быть, добрый человекъ! Оно сейчасъ видио: и не спъсивъ, и водку хорошо тинешь»...

— Ъду, такъ и быты! — сказаль малярь, махнувь рукою. Шинкарь вынесь новую флягу горылки. Малярь скинуль свитку и обратился къ другимъ путникамъ, съ любопытствомъ обступившимъ новыхъ друзей:

— А ну, братцы, садитесь и вы, да помочимъ усы въ

roptant!

Омелько Врусъ взялся за флягу, и пошла попойка. — Солнце, между тъмъ, стало сильно припекать. Распряженные волы маляра паслись за шинкомъ; лошадь Бруса щипала траву на взгорыв, за выгономъ.

Въ это время по дорогъ показался какой-то человъкъ, въ картузь, съ коротенькою трубкою и кнутомъ. Онъ шель прямо

къ коню.

- Смотрите, кто-то идеть къ вашему мерину!—замѣтилъ маляръ.
  - Идеть!--отвътилъ Брусъ, спокойно лежа на животъ.
  - Въдь онъ украдетъ вашего коня! сказалъ маляръ.
  - Ніть, не украдеть.
  - Какъ не украдеть? Да въдь онъ идетъ прямо къ нему!
- Такъ что же? отвътиль Брусъ: развъ коня ужъ нельзя и на выгонъ выпустить?
  - Да въдь онъ уже берется за гриву!-сказаль маляръ.
  - Мало ли что! теперь день, и насъ семеро.

Человъкъ въ картузъ оглянулся, взобрался на коня, хлестнуль его кнутомъ и понесся по полю: только пыль столбомъ взвилась за нимъ.

Вскочили озадаченные хуторяне. Они безъ шапокъ бросились въ догонку за похитителемъ.

— Отдай, отдай коня, вражій сынь!—кричаль Брусь: держи его, держи...

Но всадникъ мелькнулъ въ луговой травь и скоро исчезъ

за косогоромъ.

Вернулись хуторяне къ корчић и, снова охая, усълись подъ возами.

— Коня теперь нътъ, — сказаль Брусъ: — такъ зачъмъ и телъгъ оставаться! Продадимъ телъгу! Деньги на дорогу понадобятся: что-нибудь сломается, или за постой нужно будеть заплатить.

Отуманенный маляръ сказалъ-было: «Не совътую! тельга совстви новая!» Но туть же привсталь, повозился зачемъто въ шароварахъ, опять съгь и, сказавъ: «А не то, продавай тельгу; она теперь совсымь уже не нужна!» клюнулся головою въ траву и заснулъ... Омелько Брусъ продалъ тельгу подъехавшимъ чумакамъ и, отведя ихъ за шинокъ, объявиль, что хочеть танцовать. Чумаки вытащили изъ корчмы мальчика съ дудкой. Мальчикъ утеръ носъ, уселся на земль и принялся играть.

— Пейте, братцы! гуляйте! — кричаль Брусь, взявшись подъ бока и съ трубкой въ зубахъ отвертывая ногами бъшеную присядку:--гуляйте такъ, чтобъ тошно стало самому

нечистому...

Сперва Брусъ плясалъ подъ корчмой, а потомъ и въ самой корчив, уже полной народа. И чего только онъ ни двиалъ: билъ себи по бокамъ и по головъ, кидалъ направо и налево руки и ноги, и каждая складка платья, каждая жилка, руки и губы, --- все въ немъ плясало...

Вспомнилъ Брусъ свое прошлее время, когда еще у него / не было жены и онъ украдкою отъ дяди-кузнеца бъгаль на

вечерницы.

Смерклось...

Омелько растолкаль маляра, и широкій возь хуторянь снова заколыхался по пыльной дорогь.

#### IT.

Бхали хуторяне долго, и въ дорогъ съ ними было не мало приключеній. Когда въ пол'я попадался имь въ потертомъ халать и съ кисетомъ за поясомъ прохожій и, приподнявъ передъ ними картузъ, говорилъ: «Душечка, дайте ми грошикъ!» Омелько спрашиваль: «На что вамь грошикъ?» Получая въ отвътъ: «Я за ваше здоровье, душечка, вынью!» онъ опускалъ руку въ карманъ маляра и, вынувъ оттуда деньги, говорилъ: «Вотъ вамъ грошикъ, только выпьемъ виссты» и подвозилъ его къ шинку.

По ночамъ путники не тадили, а всегда съ вечера гдънибудь останавливались. Тутъ языкъ Бруса, при помощи денегь, вырученныхъ за телъгу, развязывался, и онъ угощалъ маляра разными любопытными разсказами.

Nало вниманія обращали странники на то, что у нихъ, наконецъ, не стало ни конейки денегъ.

Населенный и богатый край, родина Бруса, быль не за герами. Какъ-то подъ вечеръ странники встрітили красноносаго геродского скрипача. Едва державшійся на негахъ, 
съ трубкою во рту и съ маленьною, потертою скрипкою подъ 
мышкой, музыкантъ, покачивалсь и пенуривъ гелову, подошелъ вензелями къ странникамъ. Снявъ шапку, онъ принялся нашливать на скрипкъ что-то заунывное, закончилъ 
трепакомъ и, по обыкновенію всёхъ слобожанскихъ скрипачей, пепросилъ скрипкою пить: «пи-и-ти, пи-ти-ти». Но, 
увидъвъ, что пить ему не даютъ, онъ объявилъ, что если у 
добрыхъ людей есть кнутъ и хворостина, то его надо побить, потому что онъ ръшительно никуда не годится... Онъ 
тутъ же положилъ скрипку на траву, снялъ поясъ, растянулся по срединъ дороги и отъ души сталъ просить хуторянъ исполнить его желаніе.

— Что же? побить, такъ и побить!—ръшилъ Брусъ:—это ужъ такъ ему, видно, нужно, душа захотъла...—И сталъ его слегка хлестать.

Въ другомъ мість странники встрытили мужа, несшаго на рукахъ подкутившую жену. — «То, вырно, съ веселья идуть!» — сказаль при этомъ маляръ. — «У кума были!» — отвытиль Брусъ, умильно слыдя за счастливою четою.

Скоро потянулись хутора. Все здёсь было спокойно и уютно. Жизнь тугь текла, какъ тихая, дремотливая струйка воды вь лёсу. Народъ сидёлъ у своихъ хатъ и, кажется, почти не замѣчалъ, какъ солнце всходило и садилось за цвѣтущими полями, какъ смѣнялись вечеръ, угро и темная ночь. Омелько качалъ головою и говорилъ: «Вотъ жизнь!» Маляръ ему вторилъ.

Маляръ любилъ засматриваться на какого-нибудь казака или на бабу, написанную на вывъскъ шинка. Омелько же,

большею частью, снажь безъ просыпу, какъ только могуть спать хуторяне, прогулявшіе до конейки свое добро и вдущіе, подобно ему, домой къ сердитой и бойкой жен в, нославшей мужа продать, напримерь, на ярмарко метокъ пшеницы, или годовалаго бычка. Прівзжаєть такой хуторянинъ домой, козийка ласково встречаеть его и сажаеть за столь. — «Воть это жъ тебь — вареники, а воть это — блины! Кушай на вдоровье, а я тебъ еще и водочки поднесу!--Сидить пропашій мужь, ни живь, ни мертвь, уплетаеть молча вареники и блины и не знаеть, какъ ему выпутаться изъ бъды!--«Ну, говори же!»-- начинаетъ хозяйка:-- «почемъ была пшеница на ярмаркъ и почемъ бычки?» -- Мужъ, утирая усы, нринимается разсказывать.—«Ну, а кофту купиль ты мив?» робко спрашиваеть хозяйка, наливая мужу водки. — «Купиль!>--отвычаеть мужь.--У хозяйки душа готова выпрыгнуть отъ радости. — «Гдв же она?» — «Тамъ!» — отчаянно отвъчаеть мужъ, махая рукою. — «Гдъ тамъ?» — «Пропала наша ишеница, да пропать и бычокъ. Сижу я, голубочка ты моя, на возу и думаю, какъ бы это ихъ не украли...» — «Ну?»—«Вотъ, сижу я и думаю. Утро пришло, не украли!.. Объдъ пришелъ, не украли! Солнце стало садиться»...— «Ну?? Пу??»—«Да уже вечеромъ украли, вражьи люди!»замъчаетъ мужъ, утирая усы. Хозяйка, бледная и вабышенная, вскакиваеть изъ-за давки... Только такіе куторине и могуть такъ спать, какъ спаль во всю дорогу Брусъ. Наконецъ, путники увидели пристань своего странствованія.

Рано, на разсвіть теплой и влажной зари, передъ ними и съ косогора развернулась широкая долина, съ синфющими лъсами, курганами и лугами по берегамъ ръки. Солице только-что начинало подниматься изъ-за пригорковъ, и легкій туманъ висълъ по долинъ.—Омелько Брусъ остановилъ воловъ, приподнялся на возу и, на вопросъ маляра, сказалъ:

— То, будто овцы по долинъ бъльють, деркачёвскіе хутора; на этихъ хуторахъ живеть панъ добрый и богатый; мы у него тоже побываемъ...

#### III.

Вылъ полдень.

На крыльце хуторянского домика стояль низенькій господинь, въ шелковомъ стеганомъ бешмете, въ нанковыхъ панталонахъ и въ гарусныхъ ботинкахъ на босу ногу. Это быль Михви Михвичь Деркачь, обладатель деркачёвских в хуторовь.

На голова Михая Михана была широкая, изъ степной травки, шляна. Онъ держаль въ рукахъ нанковую трубку съ большимъ янтаремъ и потиралъ въ раздумы небритый подбородокъ. Этотъ подбородокъ имълъ обыкновеніе, какъ бы гладко его ни брили утромъ, къ вечеру того же дня обростать изсиня-черною щетиною.

Михви Михвичь пошель-было купаться, но уже было жарко. Мухи нестерпимо жужжали. Онь вынуль носовой платокъ и повязаль его, въ видв вуали, на соломенную плану. Шедшія по дорогі бабы, присматриваясь къ білому клатку, который, какъ султанъ каски, отъ вітра то поднимался, то опускался на поляхъ шляны, недоумівали, кто бы это могь быть, и думали про себя: «Не то адъктанть, не то дама!» — а подходя ближе, распознавали лицо добраго Михвя Михвича.

Передъ Михвемъ Михвичемъ у крыльца стояли, съ шапками въ рукахъ, уже извъстные странники, маляръ Сояшница и его спутникъ Омелько Брусъ.

Воловъ у маляра также уже не было, и отъ самаго воза осталась одна пустая дегтярная мазница, да и ту онъ заложиль въ кабакъ, при входъ на деркачёвскіе хутора.

Помѣщикъ прошелся по крыльцу и, потягивая изъ трубочки, спросилъ:

- Что же вамъ отъ меня нужно?
- Я-маляръ!-сказалъ Сояшница.

Окинувъ глазами съдую голову, долгонолый зеленый кафтанъ и вообще всю слабую и плохенькую фигурку маляра, Михъй Михъичъ ватянулся трубкой и, пуская дымъ колечками, произнесъ:

- Истъ... идите съ Богомъ... мив васъ... не нужно! Маляръ съ уныніемъ взглянулъ ка него и спросилъ:
- Отчето же... не нужно? Я вамъ такую вещь наимну, что еще сроду не видано!

Михви Михвичь помолчаль.

- A карету распишешь?
- Распишу...
- Да въдь ты, я внаю тебя, заломишь, Богь въсть какую цъну? Маляръ изъ Бахмута брался расписать ее за пятьлесять пълковыхъ.

- А я возьму... двадцать, а не то и меньше! сказаль Сояшница.
  - Когда такъ, то я согласенъ! отвътилъ помъщикъ.

Сдълка туть же была заключена на условіяхъ, что Сояшница будеть жить на барскихъ харчахъ до той поры, пока окончить всю работу; съ нимъ будеть жить и Брусъ, въ качествъ подмалярія; и каждому изъ нихъ, за объдомъ, будеть подноситься по рюмкъ водки, а за ужиномъ, по окончаніи дневныхъ трудовъ, по двъ. Сверхъ того, имъ дозволено, разъ въ недълю, ходить въ гости къ сосъднимъ хуторянамъ и, если пожелаютъ, напиваться пьяными, слъдовательно, ходить на четверенькахъ. Полная расплата за работу должна была послъдовать, когда деркачёвскій баринъ прокатится въ заново-отдъланной кареть.

Маляръ и его другъ перешли на новое жительство.

Это быль курень, съ навъсомъ и погребомъ, въ садовой пасекъ. Омелько Брусъ скоро огласилъ своды новаго жилища звонкимъ храпомъ, а черезъ недълю, въ куренъ, нензвъстно откуда, появилась круглая и «полновидная» басёнка, съ бълымъ лицомъ и въ аломъ платкъ на черныхъ, доснящихся волосахъ. И когда деркачёвская дворня, примітивъ эту гостью, иронически спрашивала у Бруса: «Чтоэто за баба?» — Брусъ отвъчалъ: «А то я сюда свою жену перевелъ, потому что какъ же на свътъ человъку жить безъ жены?» — А у тебя, Сояшница, есть жена?» — спрашивала любопытная дворня. — «Есть! — нехотя отвъчалъ маляръ: — только она ходитъ теперь... на заработкахъ!» — Дворня болъе не разспрашивала. — Маляръ съвздилъ въ уъздный городъ, накупилъ кистей и красокъ, перетащилъ карету изъ сарая подъ навъсъ пасъки и принялся за работу.

Старая, пыльная карета была вымыта, высушена, до половины закрыта инфокою полотияною тканью, и маляръ, соскобливъ съ ея боковъ старую краску, началъ покрывать ее грунгомъ. Омелько Брусъ, получившій титулъ подмалярія, на гладко отполированномъ жерновъ вытряной мельницы принялся растирать былила, охру, сурикъ, синьку, и мъдянку.

Работа пошла, какъ по маслу, и Сояшница до того расходился, что, покрывая желтымъ слоемъ грунта кожаные бока кареты, захватилъ налету и стекла кареты, и порядочную часть собственнаго фартука. Михъй Михънчъ, какъ человъкъ знающій и старательный, хотя до того безтолковый, что, по замічанію сосідей, муха преспокойно могла усъсться на кончикъ его носа и загнать его въ болото, часто заходилъ въ мастерскую Сояпіницы.

- Это у тебя ямочки и негладко! —-говориль онъ, водя рукой по загрунтованнымъ бокамъ кузова.
- И въ самомъ дътъ, ямочки и негладко! подхватывалъ маляръ, издали пришуриваясь на свою работу и тоже водя по ней рукою: —и какъ это могло случиться?
- Это нужно поправиты! говорилъ Михъй Михъичъ,
   сжавъ губы и вопросительно смотря на Солиницу.
- Поправлю!—отвічаль Сояшница:—безь того нельзя.,. вонъ, трещины...

Михъ́й Михъ́ичъ черезъ нъсколько дней снова заходилъ на nàchny.

- А відь у тебя, погляди опять ямочки и не заглажено!—говориль онь, нагибая нось къ кареть.
- И въ самомъ дълъ, не заглажено!—удивлялся маляръ, недоумъвая, какъ это могло случиться.

И сколько Михъй Михъичъ ни приходилъ на пасъку, — медомъ тамъ удивительно пахло, — а ямочки и трещины на каретъ оставались въ прежнемъ положени...

Между прочимъ, онъ крайне любопытствовалъ узнать, какъ маляръ обойдется, при своей работъ, безъ должныхъ инструментовъ.

- Какъ это ты выточищь и вылощищь? спрашиваль онъ, указывая на разныя мъста: у тебя нътъ ни стамесокъ, ни пемзы!
- А вы не безпокойтесь!—отвъчаль малярь:—я это все отлично сдълаю!—я это сапожнымъ шиломъ сдълаю!
  - Какъ, сапожнымъ шиломъ?
- А такъ же: где вогнуто, я остріемъ-съ, а где гладко, проведу плания-съ...

Михът Михътичъ на это теръ у себя переносицу и молча отправлялся смотрътъ пчелъ, за которыми, скажемъ мимоходомъ, въ свободное отъ работы время, было поручено смотрътъ Брусу.

Среди занятій по подмалёвкі и окраскі кареты неза-

Одинъ бокъ кузова былъ выправленъ и загрунтованъ.

Малярь принялся за другой бокъ. Экономка Михъя Михъича аккуратно подносила малярамъ за объдомъ по рюмкъ водки, а за ужиномъ по двъ, и Михъй Михъичъ спокойно смотрълъ изъ окна гостиной, какъ, по условію, по праздникамъ, маляры прогуливались на четверенькахъ передъ корчмою его хутора, несказанно тъмъ потъщая пеструю слобожанскую толпу.

— А знаешь что, Сояшница?—сказаль однажды Михви Михвичь, навъстивъ маляра: — ты бы тогда, какъ не пишешь кареты, и она сохнеть, другое что хорошее написаль.

— И въ самомъ деле! Что даромъ время тратиты!

— Что же ты напишешь?

— Все на світі. Для того мні нужна только та краска, что зовуть «кошечьи румяна», да коть чуточку настоящихъ свинцовыхъ білиль.

«Кошечьи румяна», бѣлила и прочее были доставлены, и въ одно прекрасное утро Михѣй Михѣичъ обратился къ маляру съ слѣдующимъ вопросомъ:

— Ну, что же ты теперь мив напишешь?

Маляръ опустилъ кисть и, глядя на оставленную работу, сказалъ:

— Напишу бъднаго Лазаря, или прекраснаго Іосифа, высокую гору, или какъ мать сына въ походъ провожаетъ; напишу турецкаго пашу...

Черезъ нісколько неділь Сояшница принесъ Михіво Михімчу что-то завернутое въ клітчатомъ синемъ платкі. На вопросъ барина: «это что такое?» онъ отвічаль: «я вамъ, михіві Михівичь, снігиря поймаль». — Снігирь, однакоже, оказался картиною, и Михіві Михівнуъ, взявъ ее въ обів руки, сталь ее глубокомысленно разсматривать... На полотні быль изображенъ кавказскій плінникъ.

— Хорошо, весьма хорошо!—сказалъ Михъй Михъичъ: усы вышли нъсколько будто голубые, но хорошо... очень

хорошо... горы, черкесы и лесъ...

Услышавъ похвалу, Сояшница размахался руками.

— Эхъ, Михъй Михъичъ! Эхъ, сударь вы мой!—восклицалъ онъ:—да если бы мев да этакое помъщеніе, да краски, такъ я бы не то написалъ! Ну, что это? Пустяки. Нътъ, я славную бы вещь написалъ! Эхъ, я уже знаю... да что... лучше и не говорить.

Расковырявшемуся маляру, однакоже, пришлось получить

неожиданный щелчокъ судьбы. Михъй Михъичъ нечанно взглянулъ на одно мъсто картины и сдвинулъ брови.

— Послушай, — свазаль онъ: — а рука плънника куда дъвалась? ты рукавъ написалъ, и даже саблю на воздухъ около него написалъ, а про руку и позабылъ.

— Ахъ! и въ самомъ дъль! — вскрикнулъ Сояшница: — совсьмъ позабылъ! изъ головы вылотьло, Михъй Михънчъ!

право, выдетьло!

И онь тугь же совгаль на пасъку, усълся на перевернутомъ ведрв и пририсоваль къ рукаву плвиника забытую руку.

### IV.

Прошло еще ивсколько ивсяцевъ.

Другой бокъ кареты быль окончательно загрунтовань, и малярь принялся покрывать его изсиня зеленою краской.

- Знаешь, Сояшница, сказаль баринь: я дунаю на дверцахъ написать свои гербы.
  - Что же ничего... оно точно хорошо, какъ гербы...
- Какъ же ты думаешь, голубою или зеленою враскою нашисать гербы?—спрашиваль онъ.
  - Ни голубою, ни зеленою...
  - Какъ такъ?
- А такъ же! Ужъ если что рисовать, такъ я вамъ съ каждой стороны, на дверцахъ, нарисую лучше по два самоварчика...
  - Какъ, по два самоварчика??
- А видите ли: я въ Зміёвь нарисоваль одному купцу, на вывъскъ, рядомъ по два одинаковыхъ самоварчика, и повърите ли, весь городъ повалилъ въ гостиницу къ тому купцу, и онъ разжился въ нъсколько мъсяцевъ, и мнъ зато даль плису на жилеть и совстмъ почти новую шапку...

Михви Михвичь улыбнулся.

- Нътъ, ужъ ты мив самоварчиковъ лучше не рисуй.
- Отчего же не рисовать?
- Да такъ; это, кажется, теперь не въ модъ.
- Такъ какъ же? Въдь этакъ вся карета будеть безъ украшеній...
- Н'ыть, ужъ пусть лучше будеть безъ украшеній, а самоварчики... это не въ модё...

Прошло еще нъсколько мъсплевъ съ той поры, какъ мадяры поседились на пасъкъ Михъя Михъча.

Омелько Брусъ блаженствовалъ. Сомшница, однакоже, замътилъ, что его пріятель съ нъкотораго времени начинаєть впадать во многія, не совстви благовидныя наклонности, хмурилъ брови и дулся. Такъ, напримъръ, оказалось, что въ ульяхъ садовой пасъки, за которою Брусу было поручено ходить, когда ихъ осенью принесли къ подвалу, чтобы, по обыкновенію, подръзать соты, не отыскалось ни крошки меду.

Варинъ удивился.

- Куда дълся медъ? говори!—спросилъ онъ строго Бруса.
- A Богъ его знаеть, куда!—отвытиль спокойно Брусь: можеть-быть, высокъ, или кто-нибудь его съблъ.
- А вотъ, я тебя какъ положу, да вспрысну березникомъ, такъ ты и будень у меня разсказывать.

Михъй Михъичъ, впрочемъ, напрасно храбрился, такъ какъ во всю жизнь онъ наказалъ одно только существо, а именно, голландскаго гуся, который во время купанья укусилъ его за голую икру, за что въ тотъ же день и попалъ въ горшокъ съ борщомъ.

За Брусомъ быль учрежденъ строгій надзоръ, и было вельно перевести его изъ пасыки въ особую хату.

Оказалось также, что Омелько Брусъ и его жела навъдываются безъ спроса въ огородъ, гдь стали исчезать ягоды, картофель и бобы. Михъй Михъичъ замъчалъ объ этомъмаляру, маляръ Брусу, но Брусъ на это отмалчивался или принимался икать.

Не радоваль сердце друга Брусь, какъ въ тѣ времена, когда они странствовали по степи и дѣлили вмѣстѣ счастье и горе, смѣхъ и слезы.

Работа подходила въ концу.

Колеса кареты были осмотрвны и окрашены, и малярь принимался за покрыте всего кузова лакомъ. Злая грусть, между твмъ, съвдала сердце маляра. Онъ выходиль изъ пасъки, глядълъ на улицу, гдв жилъ Брусъ, и молча хмурилъ брови. Омелько, видимо, его избъгалъ, не являлся растирать на жерновъ красокъ и водился либо съ зажиточными хуторянами, либо съ поповичами сосъдняго мъстечка. И часто, изъ-за ограды сада, маляръ слышалъ, какъ при его имени, произнесенномъ Брусомъ, головы хуторянъ

обращались къ пасъкъ и раздавался хохоть чернобровыхъ хуторянскихъ красавицъ.

— Эхъ-ма! — говорилъ на это маляръ: — въдь воть человъкъ! Ну, не говорилъ ли я? въдь только даромъ живеть на світві Такіе ли бывають подмадяріи? Знаемъ мы васъ, шеромыжниковъ... Эхъ, дай-ка мнв хорошихъ рабочихъ, написаль бы я славную вещь... И всь бы тогда сказали: «ишь ты, сидълъ-сидълъ, да и написалъ такую вещь, что еще и не видано...»

Зам'ятивъ, что маляръ начинаетъ сильно тосковать, Михъй Михъичъ, въ утъщение его, подарилъ ему старенькое охотницкое ружье.

Малярь, однакоже, не прикасался къ ружью и даже съ сердцемъ говорилъ Брусу, который иногда являлся на пасъку постредять въ отсутствие Соящницы воробьевъ: «оставь ты эту бісову вещь, Омелько, оставь: еще глазъ выбьешь! ---«Ничего, не выбыю!» — отвічаль на это Брусь. — «Какь, не выбьешь! оставь, говорю тебі: забыль ты разві, какъ Михьй Михьичь хотьль тебя высьчь за медь? забыль?»— «Гдв забыль, вовсе не забываль! только ужь не знаю, можно ли кого на свътв высъчь за воробьевъ!» --- «Воробьи, Омелько, тоже хотять жить, и ты -- дрянь, а не человъкъ, если станешь ихъ убиваты!»

Однажды маляръ шелъ за мукою черезъ господскій дворъ. Въ окнажъ дома раздался крикъ. Помещикъ, бледный и растерянный, выбъжаль на крыльцо.

— Маляръ, маляръ!--кричалъ онъ:--бъги скоръе на пасвку и неси свое ружье; мои заперты въ кладовой; а въ чуланъ вскочилъ бъщенный котъ, только-что взбъсился!

Маляръ оглянулся, выхватилъ изъ-подъ плеча пустой хлебный мешокъ и сказаль: «на пасеку далеко, а я и этимъ кота поймаю!» — Съ этими словами онъ вобжалъ на крыльцо, отперъ дверь чулана и остановился на порогв.

Жирный сърый котъ ключницы дъйствительно взобсидся и, элобно вращая помутившимися глазами, съ пъною у рта,

ходиль по чулану...

Маляръ присълъ на корточки, разставилъ передъ собою мышокъ и сталь подходить къ коту. Михый Михычъ, блыдный, стояль за нимъ. Котъ вытянулся, ощетинился, замяукаль и бросился на маляра; малярь бросился на кота.

Поміншикъ вскрикнуль и пошатнулся. Когда онъ раскрыль

глаза, коть сидёль уже вь мёшьё маляра, и послёдній молча закручиваль надъ нимь веревку.

 Въ воду, въ воду его! — кричали дворовые, когда маляръ вытащилъ и торжественно вынесъ кота на крыльцо.

Маляръ пошелъ въ ръбъ. Помъщисъ и двория слъдили

33 HHM'b.

«Зачёмъ, — разсуждалъ маляръ, — я кину кота въ воду вмёсте съ мёшкомъ? Мёшокъ можеть на что-нибудь пригодиться!»

Онъ сталь развязывать мешокъ...

Но едва узель развязался, коть стремительно удариися въ его руки, весь въ пънъ выскочиль изъ мышка и вспрыгнуль ему на шапку. Маляръ въ ужасъ присълъ къ землъ...

Ощетинившись на немъ и дико мяукая, котъ сталъ его

скрести когтями...

Михъй Михънчъ окончательно потерялся и бросился бъжать къ дому безъ памяти, крича и махая руками.

Въ тотъ же мигъ раздадся выстрелъ, и котъ, завергевшись кубаремъ, полетелъ съ головы маляра въ воду. Все съ изумленіемъ оглянулись на звукъ неожиданнаго выстрела...

Ижь двери пчелинаго шалаша голубою струйкой тянулся дымовъ. Омелько Брусъ, склонившись надъ ружьемъ, блёдный стоялъ у порога шалаша и молча осматривалъ курокъ.

Соящища увидьть, кто быль его спасителемь, и въ безумной радости кинулся къ своему другу.—«Голубчикъ мой, Омелько! Такъ это ты убиль кота?»—кричаль онъ, смаргивая крупныя, катившіяся по усамъ слезы.

Брусъ на это не поднять даже головы, какъ будто это быль не онъ, и сквозь зубы ворчаль, пристально разглядывая ружье: — «Воть такъ ружье, Ей-Богу, и не думаль, чтобы не промахнуться, а оно и убило кота! Славное ружье, чтобъ бъсъ забраль его батька!»

Въ груди маляра похолодьло.

 Такъ ты не радъ, Омелько, что спасъ меня? — спросилъ маляръ.

— Гді не радъ! Я только говорю, что какъ это я такъ върно попалъ въ кота! И не думалъ совсимъ попадать, а уже на удачу...

Случилось около того же времени, маляръ завелся соб-

ственнымь боченкомъ полынной водки и тщательно сберегаль этоть напитокъ въ погребь около палаша.

Онъ долго имъ пользовался втихомолку и вдругь замѣтижь, что боченокъ началъ пустьть, будто усыхать, и скоро водки осталось на его див не болье ивсколькихъ стакаловъ... Изумился малиръ, осмотрълъ боченокъ: ни одной щели не было на его бокахъ. — «Должно-быть, новадился воръ!» — ръшилъ Соншница и задумалъ, во что бы то ни стало, ноймать вора.

Онъ залъзъ на ночь подъ лавку, на которой стоилъ боченокъ, и только-что успълъ уместиться, какъ дверь погреба тихо скрипнула, и къ него сталъ спускаться какой-то человекъ съ фонаремъ.

Боленокъ снять со скамьи; кто-то опрокинуль его надъголовой.

Солиница быстро выскочиль изъ своей васады и остолбенвлъ: передъ нимъ стоилъ Омелько Брусъ...

Малярь стиснуль зубы.

- Такъ это ты, Омелько, мою водку воруешь?—спросиль онъ глухимъ голосомъ.
- JI! отв'втилъ Омелько, безсознательно разглядывя боченовъ...

Маляръ вздохнулъ.

: :

::

; :

.:

T. 1.

1

Į.

6 5

11.3

ď

- И полюбилась теб'в моя годка?
- Какъ не полюбилась!..
- Отчего же ты не пришель ко мив и не попросиль?
   Брусь молчаль.
- Зачёмъ же ты... сюда... по ночамъ... сюда, Омелько? Голосъ маляра дрогнулъ.
- Лучше бы ты, Омелько, взяль ножь да и заріззаль меня, какъ стараго барана!—сказаль Сояшница и вышель изъ ногреба; слезы душили его, и опъ зарыдаль, какъ ребенокъ.

На другое утро малиръ, позабывшись, за чёмъ-то опить вошелъ въ погребъ: боченокъ, ужъ окончательно донитый, лежаль на полу.—«Собака!»—сказаль съ холоднымъ пегодованіемъ малиръ, отгалкивая ногою боченокъ.

Съ той поры онъ заперси въ шалангь, пересталъ пускать къ себь Бруса и болье не промодвиль съ нимъ ни слога. Да и не къ чему уже было говорить съ Омелькой.

Омелько въ это времи неожиданно приказалъ всемъ долго кить...

Произопило это такимъ образомъ.

Было то тажелое время, когда повсюду стали запрещать ъсть дыни, арбузы, яблоки и всякую овощь, потому что появилась страшная бользиь, холера. Омелько Брусъ, незадолго до того времени, сталъ окончательно пропадать по оврагамъ и пропивать последній платокъ жены. Но вдругь онъ неожиданно остепенился и даже сталь заводиться козайствомъ. Онъ, между прочимъ, посъяль огородъ и день и ночь его караулиль, не трогая ни капли водки. Огородъ у Бруса созрълъ, но никто не покупалъ у него овощей.--«Что! — подумалъ Брусъ, — повезу и ихъ коть по помъщикамъ; можетъ, на кормъ скоту купяты!» — И онъ навалилъ дынями и арбузами огромный возъ. Солице процекло его до костей. Воды негде было взять, и Брусь, забывшись, проткнуль пальцемъ большую дыню, выпиль ее съ свиечками до дна, заболълъ-да дорогою и умеръ. - Лонгадь его привезла къ чьей-то усадьбв. Дворня со страхомъ обступила возъ и повернула его оглоблями назадъ; лошаль обратно повезла хозяина въ деркачёвскіе хутора.-- Шумъ поднялся на тихой улиць. Народъ сбежался, но никто не рышился коснуться беднаго Бруса. Сама его жена, увидевъ трупъ мужа, забъжала неизвъстно куда, захвативъ съ собою все упълвищее добро покойнаго. Коснулся Омельки Бруса, сняль его съ воза, одблъ и похорониль одинъ только человъкъ на всемъ хуторъ. И быль этоть человъкъ — старый маляръ Соящница. --- «Всвыть былть добрый и хорошій человъкть, всемъ, да проворовался, какъ собака!» -- говорилъ седой маляръ, стоя съ лопатой надъ могилою отошедшаго друга...

Вѣтеръ шумѣлъ между черными крестами хуторскаго погоста, волнуя траву, покрывавную одинокія могилы, и никто не видѣлъ, какъ горевалъ маляръ надъ покойнымъ другомъ.—«Экъ-ма! — говорилъ старикъ, качая головою: — вачѣмъ ты, Омелько, проворовался!»—И глухія рыданія прерывали сѣтованія осиротѣлаго маляра.

V.

Карета была окончательно окращена, и чистенькая и свътлая, какъ новый поливянный кувшинчикъ, стояла нодъ навъсомъ пчельника. Маляръ видълъ, что дъло пришло къцъли, что настала пора расилаты; но все еще ходилъ и возился возлъ кареты, смотрълъ на ся дверцы и колеса и не

рвивася сказать ен обладателю, что работа совершенно окончена. Жаль было старику покинуть пригрътое и обжитое жъстечко. Онъ кашдяль и смотръль въ землю, встръчаясь съ Михъемъ Михъичемъ, и всегда заводилъ посторонній разговоръ. Да и Михъй Михъичъ, впрочемъ не торопился съ каретой. Онъ очень удобно тадилъ въ самодълковыхъ деревянныхъ дрожкахъ, которыхъ имя было «чертацханы».

Соящница не зналь, куда дёться оть тоски. Скитаясь безь цёли изь угла въ уголь, онъ привязывался то къ голубямъ, то къ последней дворовой собаке, которую все гнали и били безъ милосердія.

Неожиданно судьба послала ему утвиненіе.

Стоять однажды, по своему обыкновенію, Михви Михвичь на крыльць. Изъ кухни вышель заспанный лакей, Терешко. Онь быль любимець барина и имъть право заговаривать съ нимъ во всякое время, заложа руки за жилеть и отставивь одну ногу впередъ.

- Чего тебъ, Терешко? спросилъ баринъ.
- Да я къ вашей милости.
- A что, развѣ?
- Да тамъ такое диво, что я и родился, и выросъ, и вашей милости служу, а не видълъ еще такого, убей Богъ...
  - Что-жъ тамъ за диво?
- Гляну я въ окно, идетъ по улицъ фокусникъ, а за нимъ бъжитъ весь хуторъ, и мужики, и бабы. Вынулъ фокусникъ дудку и мъщокъ, а въ мъшкъ сидълъ ученый иттухъ.
  - Hy?
- Вынулъ фокусникъ того пътуха, подвязалъ ему къ ногамъ ходули изъ налочекъ и сталъ играть на дудкъ.
  - Такъ что же?
  - Да бабы просять зазвать фокусника...
  - А зазвать, такъ и зазвать.

Передъ домомъ собралась густая толна двории.

Фокусникъ, оказавнийся скромнымъ продавцомъ гребенокъ и ножей, явился, весело поглядывая на окружающихъ; онъ поклонился барину, попросилъ рюмку водки, выпилъ, и представление началось. Пътухъ сталъ огромными плагами расхаживать подъ дудку хозяина. Присутствующие заликались дружнымъ хохотомъ. Баринъ всталъ. — «Терепко. а бъги въ комнаты и принеси сюда моего пътуха! — сказалъ онъ ждугь: - «пусть онъ побыется съ петухомъ фокусника. Я япаю, мой петухъ хоть съ кемъ угодно побыется».

Терешко побъкалъ исполнять приказаніе Михвя Михвича. Ивтухъ, за которымъ онъ побъжалъ, быль въ своемъ родъ замвчательный. Михви Михвичь где-то прочель, что если птичьи яйца положить въ теплый песокъ, на солице, или даже просто подъ мышки, во что-инбудь мягкое, то изъ нихъ, въ определенный срокъ, выйдугь маленькіе итенцы. Онъ приказаль себв принести свежихъ куриныхъ янцъ и, обернувъ ихъ ватою изъ теплой фуражки, подвязалъ себъ подъ иышки платкомъ, да такъ бережно и носилъ ихъ тамъ чтого около шести недель. Въ ваточныхъ гивадахъ вывелись цыплята: подъ однимъ плечомъ курочка, а подъ другимъ пвтухъ. Курочка скоро пропада, а пвтушокъ выросъ и сталъ бытать по комнатамъ. Михый Михычъ обвиль ему ножки краснымъ гарусомъ и продълъ въ ушки серьги. Пътухъ получиль ими Пътуха Иваныча, подросъ, завелся дюжилой женъ.

— А пу-ка, Тере́шко, бросай его на ученую птицу!—за-

хричаль Михви Михвичь, сбытая съ крыльца.

Гребенщикъ снялъ своего пѣтуха съ ходуль. Произошли два воинственныхъ скачка. Шен, съ ощетинившимися перьями, протянулись, крылыя развѣсились, и головы, съ налитыми кровью глазами, стали носъ противъ носа. Воинственные скачки повторились. Пѣтухи опустили головы до самой земли.— «А ну-ка, Терешко, подталкивай нашего пѣтуха!»— сказалъ Михѣй Михѣичъ. Пѣтухи сразились. Перья на спинъ каждаго встали и раздулись. Смертельный ударъ готовился съ обыкъ сторонъ. Присутствующе смотрым, едва переводя дыханіе... Пѣтухъ Иванычъ еще свирытье ринулся на своего соперника. По соперникъ привскочилъ и со всею силою стукнулъ его по головъ... Пѣтухъ Иванычъ клюнулся въ траву и распласталъ крылья. Болъе онъ не пикъчулъ: опъ былъ убитъ на повалъ...

— Ка́-а-къ!—закричалъ съ западъчивостью Михѣй Микѣичъ:—такъ ты пришелъ монхъ пѣтуховъ убиватъ? Взить у исго пѣтуха и отдать его на жаркос...

Поб'вдитель безъ жалости быль унесенъ на кухню.

Греб: ницикъ оглянулся. Всё разоплись. Слезы закапали съ его усовъ. Онъ съ силою ударилъ дудку о крыльцо. Дудка разлетелась въ дребезги. Онъ пошелъ въ кабакъ.

Тамъ его отыскаль Сояппица. Онъ придаскаль его, утъ шиль и даже рышился перевести въ свой шалашъ. Гребен щикъ съ той поры, въ самомъ дёлё, и поселился у маляра И когда Михёй Михеичъ, выходя прогуляться, спрашивалъ маляра: «а скажи меё, Сояппица, что это у тебя за человёкъ живетъ тамъ въ шалашё?»—Сояппица на это отвё чалъ: «то ничего; то я себё нанялъ опять краски растираты!»—Михёй Михеичъ довольствовался отвётомъ Сояшницы и не тревожилъ его новыми разспросами.

Недолго, однако, наслаждался Сояппница обществомъ в

новаго своего друга.

Однажды (это было въ началѣ первыхъ зимнихъ морозовъ, когда холодный вѣтеръ неожиданно потяпулъ изъ-за
рѣчки) Сояшница жарко истопилъ печь, легъ на лежанку и до
глубокой ночи не могъ закрыть глазъ, ворочалсь съ боку набокъ
и невольно сравнивая своего молчаливаго гостя съ покойнымъ Омелькой Брусомъ. И сквозъ легкую дремоту видѣлось ему былое, невозвратное время, статный, широкоплечій
парень, съ синикомъ, похожимъ на родимое пятно, подъ
гдазомъ, цвѣтущая степь, широкій косогоръ и море травъ,
по которымъ ныряетъ пара круторогихъ воловъ и тяжелый
хуторянскій возъ.—Гость маляра также не спалъ и поминутно ворочался.

Когда малиръ проснулся и протеръ глаза, въ шалашѣ не было ни души. Кровать, на которой спалъ его гость, была пуста, и вѣтеръ прорывался въ раскрытую дверь. Сояшница накинулъ на плечи шубу, выскочилъ изъ шалаша, заглянулъ подъ навѣсъ, гдѣ стояла карета, заглянулъ въ погребъ: нѣтъ ни души, и только первый снѣгъ кружился и сыпался на землю тяжелыми, волнующимися хлопыми. Первою мыслію маляра было, что молчаливый гость обвороваль его и убѣжалъ. Но онъ тутъ же отклонилъ отъ себя это недостойное подозрѣніе и рѣшилъ, что гость, вѣроятно, соскучился и пошелъ искать себѣ инаго пріюта и иныхъ друзей.

Горько усм'яхнулся Сояшница, надвинуль на уши шапку и вышель изъ шалаша, съ ц'ялью, во что бы то ни стало вернуть назадъ безумнаго сожителя. Св'яжіе сл'яды видн'ялись подъ нав'ясомъ куреня, у двери, на занесенной полоск'я сн'ягу. Онъ кинулся по этимъ сл'ядамъ. На двор'я его оклик иулъ сторожъ, одниъ изъ его пріятелей:

- Куда ты въ такую пору, Сояшинпа?

 А вотъ, я на амбаръ: хочется на голубей посмотрътъ не подмерзли бы!—отвътиль старивъ, и онъ скоро сврымся.

изъ глазъ сторожа...

Следующее за этимъ утро было ясно и безобдачно. Солице весело катилось по голубому небу. Равнины искрились серебромъ перваго снежнаго убора. Михей Михеичъ, въ тепломъ бениете и въ ваточномъ картузе, съ суконными клананчиками на ушахъ, сходилъ съ крыльца, собираясь побродить по хозяйству. И только-что онъ подумалъ: « а по-смотримъ, много ли девки надрали пуху», — какъ къ его дому подъехалъ возъ, покрытый рогожею. Сотскій шелъ возлевоза и что-то говорилъ рыжему въ веснушкахъ парию, который погонилъ воловъ.

— Что тебь, Никита? — спросиль Михый Михычь

сотскаго.

— А воть, работникъ мой вхаль по степи съ свиомъ и подъ стогомъ нашелъ двухъ замеращихъ людей.

Парень откинуль съ воза рогожу. На куче сена лежали окоченелые маляръ Сояшница и гребенщикъ.

#### VI.

Судьба сжалилась надъ маляромъ и не допустила его отойти изъ дольняго міра такимъ печальнымъ путемъ. По распораженію Михѣя Михѣича, тѣла замерзшихъ со всѣми усиліями были оттираемы, и когда ничто не пологало, ихъ поставили въ такъ называемый мертвый домикъ, который читатель всегда встрѣтить на многихъ стенныхъ кладбицахъ.

Михъй Михъичъ нъсколько трусилъ, не зная, кому отдать слъдуемую плату за карету, и опасаясь, какъ бы малярь самъ, въ видъ мертвеца, не пришелъ за нею ночью. Мертвецъ, однако, его не безпокоилъ. Когда, передъ вечеромъ, сторожъ вошелъ въ мертвый домикъ, замерзшій гребенщикъ лежалъ на столь, а маляра тамъ не было. — Сторожъ заглянулъ подъ столъ и въ канавы, окружавшія кладбище, даже на колокольню: нигдъ не было старика. Сояшнида ожилъ, покинулъ мертвый домикъ и притащился къ себъ въ шалашъ, истопилъ тамъ печь, сварилъ себъ каму, обогрълся, про налъ чуть не цълыя сутки и снова, какъ ни въ чемъ не бывало, сталъ жить на бъломъ свътъ.

Но уже лучінія струны его души были порваны, и онъ болбо не выходиль изъ холодной, постоянной тоски. Твиь

перваго его друга, Омельки Бруса, посилась перель ниль. и онъ съ печальнымъ раздумьемъ смотрелъ черезъ заборъ сада. Однажды онъ пробоваль-было расхрабриться передъ хуторянскими молодицами и объявиль, что вы, воть, не смейтесь, что онь самъ женать, и что его жена молода и не уступить никакимъ на свете молодицамъ. И когда въ его словахъ усомнились, онъ пошелъ въ Михвю Михвичу, заняль у него, въ счеть будущей платы за карету, денегь и сообщиль, что пойдеть за женою и приведеть ее на хуторъ. Отправился маляръ въ дорогу. Весь путь его мочиль холодный дождь и била острая осения стужа. Иззябіній и измученный, добрался онъ къ купцу, у котораго проживала работницею его жена. — Несколько десятковъ версть, пройденныхъ пъшкомъ, дали себя знать старику. Купецъ посмотрвиъ на него съ изумленіемъ и спросиль: «Да развъ это твоя жена: »— «Моя! » — отвътиль Сояшница. — Купецъ задумался, повелъ его въ свои комнаты, накормилк его, напонлъ и сказалъ: «Жены твоей теперь у меня нътъ!»---«Какъ нътъ? Гдъ же она?»—спросилъ маляръ измънившимся голосомъ. — «Она, — вотъ видишь ли... она теперь уже не у меня, а у одного аптекаря, въ Харьковв, нанимается... ключницею». — Маляръ разставилъ руки и вперилъ глаза въ землю. Слеза выкатилась изъ-подъ его ресницы и, задрожавъ, повисла на небритомъ подбородкъ. - «Ступай и возьми свою жену! она здорова, сыта и тебъ обрадуется!» — сказаль купець.

Маляръ печально улыбнулся.

- Нътъ! отвътиль онъ: жена теперь не пойдеть за мною! Лождь, и теперь очень мокро!
  - Какъ не пойдетъ? Да ты ее возьми силою; на то ты мужъ..,
- Мужъ!.. нътъ, она не пойдетъ!—замоталъ головою маляръ:—я ужъ знаю свою жену! не пойдетъ, потому дождь и мокро.

И, несмотря на всв увъщанія купца, онъ покинуль Харьковь и опять пустился въ длинный путь. Ночуя подъ копнами и въ старыхъ кирпичныхъ заводахъ, пришелъ онъ къ Михъю Михъичу и молча подалъ ему гривенникъ.

- Что это?-спросиль его изумленный баринь.
- Это осталось отъ денегъ! Возьмите, отдадите разомъ, при расплатъ за карету; а то еще пропъешь его, какъ паршивый бродяга.

- А гдв же твоя жена?
- Осталась тамъ.
- Какъ осталась! ты развѣ не былъ въ Харьковѣ?
- Быль, да она не пошла бы за мпою!
- Какъ не пошла бы?—Что ты городишь?

— Мокроі.. Я ужъ знаю свою жену; не пошла бы, потому что дождь и очень мокро.

Съ той поры маляръ точно преобразился, сталъ совершенно спокоенъ. Еще опъ иногда возился съ подпилкомъ у вистовъ и у ручекъ сареты. Но уже работы надъ нею но доводилъ до конца. Прислонясь къ забору сада, онъ смотрелъ по пелымъ часамъ въ поле, по которому носились, каркая, черныя вороны. Онъ ужъ не встрихивалъ седыми волосами, говоря о томъ, что вотъ придетъ время, и онъ папишетъ такую славную и хорошую вещь... Маляръ видимо угасалъ и, какъ бы предчувствуя близкій конецъ, не заводилъ ни съ кёмъ разговора.

Баринъ звалъ его иногда къ передъ-объденной порціи водки. Но маляръ отводилъ рукой поданную ему рюмку и молча устремлялъ въ землю глаза, нежданно залитые словами. Баринъ съ изумленіемъ смотрълъ на маляра.

- Что съ тобою, Сояшница? спрашиваять опъ.
- Скучно мив, сударь, воть что...
- Какъ скучно?—что за чепуха...
- Такъ-таки совсвиъ скучно!

Варинъ смотрълъ на донышко рюмки.

- Но отчего же тебъ скучно?
- А врать его знаеть!—отвычаль малярь, утирая рукавомъ катившіяся на кончикъ носа слезы:—везді скучно: н въ шалаші скучно, и на хуторі, и въ полі, просто—на світь бы не гляділь...
- Что жс? вёрно война будеть? спрашиваль Михій Михінчь.
- Ну, войны не будеть! а просто скучно—руки бы на себя наложилъ...
- Тебф, върно, жаль... кого?—допрашиваль Михфй Михфичъ:—върно, жены?
- Не ее, а Бруса! отвычаль тихо малярь и уже не могь удержаться... Глухія рыданія вырывались изъ его старой груди.

Въ свътный іюньскій вечеръ, когда въ прозрачномъ воздухъ, противъ солнца, роились мошки и облака прко блистали за рекою, --- когда дружно звучали въ несколькихъ местахъ поля песни идущихъ съ работы косарей и на хуторъ передъ колодцемъ, тихо бестдуя, стоили поселяне и носелянки,-маляръ Солшница, лежа на тулупъ передъ шалапюмъ, вслушивался въ шопотливые звуки степного вечера. Отрадно было ему дышать свёжимъ воздухомъ, напоеннымъ благоуханіями цветовь. Онъ робко улыбался, вглядываясь въ отдаленные очерки полей. Солнце золотило круглую вершину клена, одиноко поднившагося на просъкъ зеленаго сада. Кукушка звонко куковала въ кустахъ за ръчкой, въ осиновой рощь... Малиръ сталъ считать крики кукушки, далеко разносившіеся въ чистомъ вечернемъ воздухі, -- сталь считать съ мыслыю:-«а посмотримъ, сколько еще мив латъ остается жить на свыть»... и не досчиталь. Стараго Солиницы не стало въ живыхъ...

Случилось мив, въ качествъ депутата крестьянскаго комитета, пробажать мъста, гдъ происходило дъйствіе разсказа. Вечеръ засталь меня въ поль, и я завернуль на постоялый въ деркачевскихъ хуторахъ. Постоялый былъ вблизи хуторского кладбища.

 Я вспомниль о лицахъ, похороненныхъ здёсь, и захотълъ взглянуть на ихъ одинокія могилы.

Свитиль полный мислив. Въ конци хутора показались двое крестьянъ.

Я подозваль одного изъ нихъ, онъ вызвался меня проводить на кладбище.—«Гді туть могила маляра Сояшницы?»—спросиль я его.

Провожатый указаль палкой на деревянный гресть и отпытиль:

- Вонъ она.
- Я подошель къ кресту.
- А гді могила Омельки груса, что похоропенть туть? Провожатый помолчаль и отвітиль:
- Да это она же и есть.
- Какъ она? Ты же сказаль, что это могила маляра! Мукикъ вывнулъ и сказаль:
- Ну, да, она п есть могила маляра!
- А Омелько Брусъ гдв похороненъ?-спросить я.

- Омельке Брусъ?
- Да! Не знаю. Такого туть и не бывало. Да и малярь, постойте, должно быть, не туть похороненъ! - прибавиль онъ, немного помолчавъ.
- Ну, а не внасшь ли ты, где похоронень у вась прохожій гребенщикъ? онъ тоже, если помнишь...
- Мужикъ надвинуль шапку, запахнуль полы зипуна и молча пошель обратно къ кабаку, не удостоивъ меня отвътомъ... У кабака слышалась песня.

- На постоямомъ мећ не спалось. Я всталъ, посмотрелъ на часы, закуриль сигару и вышель на улицу.

Деревушка стихла.

Посидъвъ нъсколько времени на откосъ канавы у барскаго двора, я уже хотыть идти обратно на постоялый, вакъизъ-за угла кухни, отъ села, раздались мерные шаги и какое-то мурлыканье грубымъ голосомъ, точно кто едва двигался и бормоталь, или, вздыхая, п'ыль. — «Конкуррентусь, винентусъ, бабентусъ»...-отдавалось въ тишинъ.

Я подняль голову. При блески месяца, на поляни повазалась, съ палкой и въ какомъ-то беломъ длинномъ балахонъ, фигура старика, повидимому, слъпого. Опципывая палкой знакомую дорогу и напіввая про себя непонятныя слова, онъ поровнялся со мной, остановился и вдругъ скинулъ шапку.

— Здравін желаю! — сказаль онь, шамкая губами и въ нось. Это меня сперва удивило. Но потомъ я понялъ, въ чемъ дело. Запажь сигары даль ему средство угадать мое присутствіе.

— Кто ты?—спросилъ я старика.

— Крвпостной его благородія Михвя Михвича... крвпостной и усердный рабъ или холопъ, Емельянъ Иванычъ Бутко... Отставной музыканть, капельмейстерт, сочинитель ноть и певчій, — отъ малыхъ леть, отъ холопства имель необычайный голосъ!.. А вы кто?

Я назваль себя и объясниль свое депутатство. Онь гордо выпрямился, отставиль ногу и, помахивая шапкой, съ презрвніемъ отвернулся.

- Это все—пустяки, дрянь, ваша милость.
- Какъ пустяки, отчего?
- Пустяки,-повториль онь и даже плюнуль:-сами не знають, что делають! Я сь малыхъ леть быль певчимь у

діда и у отца моего нынішняго владільца: дискантище у меня быль бідовый! А теперь? Воть, вчера и сегодня я пьянъ; ну, пьянъ, и пьянъ, даже въ канаві вонъ проспаль цілый день... Ну, а баринъ мой, значить, Михій Михімчь наидобріющій, только глянуль на меня, да и полно, а прежде дали бы дерку, посватали бы съ березой, на пять неділь закаялся бы...

Я не оспариваль отставного музыканта, сказавъ только, что, пожалуй, ему-то вольность и не нужна, да молодые-то ва нее поблагодарять. Онъ опять усмъхнулся, замигаль слабыми глазами и смолкъ. Выражение его безбородаго, желтобледнаго и морщиноватаго лица изъ насмъщливаго перешло въ грустно-задумчивое.

— Скучно на свътъ, вотъ что-съ, добавиль онъ: скучно, а выньень, и веселъе станетъ... Эхъ, сударь вы мой, покачаль онъ съдой, плотно остриженной головой: — гдъ она, вольность-то, у насъ на свътъ? Птицы ее, что ли, имъютъ? нан мухи крылатыя? или звърь полевой? Нътъ ея, нъгъ, и обсъ одинъ, видно, знаетъ, гдъ она! Нъту. И пустъ на нее молодые не таращатся. Нъту-ти, и лучше не ищите!

Онъ тряхнулъ картузомъ, какъ-то всхинпыван, вздохнулъ, клопнулъ по картузу ладонью разъ и другой, надълъ его на затылокъ и пошелъ далъе черезъ дворъ къ какой-то кануръ, коверкая опять на латинскій ладъ безсмысленныя слова. Я ему крикнулъ вслъдъ: «Емельянъ Ивановичъ, погоди, я объясню тебъ кое-что... ты не понимаешы!» — Но старикъ не воротился.

Ночь свежбла. «Стожаръ», или «волосожаръ», по местному названию—золотая горсточка звездъ на северной стороне неба—высоко поднималась надъ землей, — признакъ близости угра. Большая Медведица, по-здешнему—возъ, склонила къ земле свое дышло и подняла бока своей воздушной колесницы...

Со стороны кладбища, къ которому принадлежалъ огородъ и садъ хутора, послышался въ тишинъ протяжный окликъ. Онъ замолчаль и отдался опять. Я сталь вслушиваться. Кто-то изъ гущины вербъ, ограждавшихъ огороды и кладбище, должно быть, парень, кричалъ товарищу: «Иване, Иване! А чи не хочешь ты Гапки?» — И этотъ окликъ повторился нъсколько разъ, разносясь по огородамъ и по ръкъ, уже подернутой туманомъ близкаго разсвътъ.

~~~~~~

ХРИСТОСЪ-СЪЯТЕЛЬ.

РАЗСКАЗЪ.

Жиль старый и вдовый казакь Наумь. У него было два сына, Андрей и Иванъ. Наумъ разбогатить извозомъ соли и торговлею скотомъ, выселился изъ родной деревни и сълъ невдали отъ нея особнякомъ, завелъ въ степи, у лъса, свой хуторъ.

Люди завидовали счастью и богатству Наума. Хата у него была просторная, крыта подъ гребёнку камышомъ и раскращена цвътными разводами, дворъ обнесенъ заборомъ. А во дворъ-чего не было? телята, куры, гуси, свиньи, крыкія доморослыя лошади и раскорыленные, круторогіе волы, да не одна пара, а паръ пять--какъ вытянутся въ возахъ подъ солью, точно писанные, цдуть важно и тащать каждый за двухъ и трехъ.

Старикъ былъ еще въ силахъ, но почувствоваль близкій конець и позваль старшаго сына Андрея. Говорить ему:

--- Ты уже женать, хозяйка у тебя добрая, имвень малыхъ дътокъ, — а Иванъ еще холостъ: оставляю вамъ наслідство. Бери заступъ.

И повель Андрея къ л'юу.

Быль вечерь, взошель місяць. Они доститли ліса и здісь остановились на полянь, вь кустахь, у коряваго дуплистаго дуба.
— Копай,—сказаль отець:—а я буду сторожить.

Андрей сталь конать и выкональ чугунный котелокъ съ прышкою. Отецъ поднять крышку: котелокъ полонъ сетебряныхъ дукатовъ, а между ними желтьють на мёсяцё 🚁 червонцы.

— Слупай, — сказаль отецъ Андрею: — ты теперь знаспіь, гдв наше добро. Люди считають меня колдуномъ, а двло простое: все нажито моими и вашими трудами. Говорять, золото віско, а къ верху тянеть, и что всего веселів свон деньги считать. А я скажу: трудись, наши и свії; какова пашня, таково браніно. Пёсъ космать, сму тепло; мужикъ богать, ему добро. Только деньгами не чваньтесь и Вога чтите. Иванъ молодъ; когда женится и будеть у него первый ребенокъ, отдайте часть этихъ денегь на домъ Божій, остальнымъ и прочимъ поділитесь по-ровну и, чтя Господъ, разживайтесь даліве. Богъ вінчаєть труды; маль муравей, а горы роеть. Я тебі, какъ старшему, повідаль эту тайну; блюди ее и всю семью накрібико.

Котелокъ опять зарыли въ землю и возвратились. Старикъ прожилъ еще лето, дотянулъ до осени и осенью померъ.

Прошли три года. Андрей и Иванъ живутъ дружно, трудятся, торгуютъ и ведутъ хозяйство, какъ и при отцъ.— «Вотъ лихой не взялъ колдуновыхъ дѣтей,—толкуютъ люди: они еще гораздѣе отца. Все имъ спорится. Золотой молотокъ и желѣзныя ворота прокуетъ!»—Весною третьяго года Иванъ, на проводахъ, на родныхъ могилахъ, разглядѣлъ чернобровую и румяную Ганну. Ганна полюбилась ему. Любовь—не пожаръ, загорится—не потушишь; Иванъ рѣщилъ посвататься.

Миновала жітняя страдная пора, поспіль, быль убрань и обмолочень хлібов. Пошли по селамь и хуторамь гулянки и веселье; извістно, осенью и у воробьевь—пиво. На Покровь Андрей послаль братниных всатовь къ отцу Ганны, а передъ Филипповками справиль и братнину свадьбу.

Жены Андрея и Ивана зажили мирно; по очереди прибирали хату, пекли и варили, пили и пряли, доили коровъ и ходили за птицею и скотомъ. Не налюбуются братьи своими хозяйками. Такъ прошелъ еще годъ.

Андрей видить, что Иванъ все бездётень, и стало ему жаль брата. Онъ вспомниль вав'ящаніе отпа. Хочется ему утіншть Ивана, разділить съ нимъ отцовы деньги и прочее наслідство, и боится нарушить вапов'ядь отца. Придумаль другое. Выждаль время и, когда оба они пахали, выпригь воловъ, пустиль ихъ на пашню и повель брата къ дубу.

— Ты, Иванъ, добрый и мив почтительный братъ, — сказаль онъ: — и твоя хозяйка уважаеть мою. Скажу я тебъ отцову тайну. Онъ намъ, кромъ хозяйства, оставиль деньги. Вотъ у этого дуба, съ этой стороны и подъ этимъ корнемъ, зарытъ котелокъ съ дукатами и червонцами. Говорю это тебъ на случай моей смерти. Никто, кромъ меня, даже моя хозяйка, про то не знаетъ. Видниъ, я тебъ открылся; не дълиться мы до срока не можемъ, — отецъ положилъ зарокъ.

И онъ разсказаль брату этоть зарокъ. Иванъ поклониюм

Андрею въ ноги. Говорить:

— Спасибо тебь, что ты мив довърпил; другой на твоемъ мъсть утаниъ бы такое наследіе; вижу—настоящій ты мив брать. Можеть-быть, ожидать намъ уже недалеко, — соблюдемъ волю отца.

Иванъ говорилъ отъ сердца. Какъ свазаль, такъ и поступиль; не настаиваль на раздёле отцова наслёдства, продолжаль трудиться вмёстё съ братомъ, но не утерпёль обрадовать жену. Быль Иванъ съ нею на ярмарке. Видить, что все, даже последніе, завалящіе мужиченки снують у красныхъ товаровь, женамъ покупають наряды. Иной и въ вешній день, какъ обгорёлый пень,—ни хижи, ни крыши, пыль, да копоть, что нечего и лопать,—а тоже на последнюю полтину тащить жене обновку. Тоть красную плахту, этотъ коралловое монисто, цвётные сапоги, либо платокъ.

И взяла Ивана досада. Въ тотъ годъ былъ неурожай, скотъ дешевъ, и всё обратно гнали домой непроданный товаръ. Гдё тутъ было просить у брата денегъ на наряды женъ? Андрей же и съ своею хозяйкою былъ на это скупенекъ, говоря въ шутку: «лучшее ожерелье— женино

смиренье! »

— Не тужи, — сказаль Иванъ дорогою хозяйкъ: — будуть и у насъ деньги; тогда все тебъ куплю, будешь какъ писаная краля. Пойдемъ на богомолье, отслужимъ молебенъ, и Господь намъ дастъ дътей. Дъти — благодать Божья; у кого ихъ много, тотъ не забыть отъ Бога.

Ганна и безъ того въ последнее время была сама не своя, а тугъ совсемъ задумалась: на что это намекаетъ мужъ? Дело не простое; у него что-нибудь особое на умъ. Она стала допытывать мужа; онъ не сдается. Но когда они сходили на богомолье и возвращались домой черезъльсь, Иванъ, будто отъ усталости, присъть нодъ дубомъ,

заставиль жену побожиться, что она никому не выдасть его словь, и не только разскаваль ей завёть отца о кладії, но и показаль ей самое м'ёсто, гді кладь быль зарыть. Жена оть радости заплаваль и всёми святыми поклалась, что никому не откроеть сообщенной ей тайны.

Съ той норы Ганна повеселела и еще более стала угождать мужу и семье брата. Ранее других встанеть, позже всёх ложится спать. Копасть въ огороде—пость; треплеть кудель, или по колена въ воде мость белье, голосистам иёсня не умолкаеть. Люди говорять: «Андреева баба—молодецъ, а Иванова и того лучше; никто противь нея не смолотить и не сожнеть; по ихъ хутору и по ихъ земле Богь походиль».

Было о Петровкахъ. Стояло грозовое лѣто. Тучи сходились, застилая небо. Раздавалное раскаты грома и надали обильные, благодатные дожди. Хлѣба зазеленѣли на диво. Травы стояли по поясъ. Въдорожалъ скотъ, овцы и всякая живность. Братья погналь на ближній торгъ старыхъ коровь и лишнихъ овецъ и отлично продали. Рѣшили— и на другой, болѣе дальній торгъ погнали откормленныхъ за зиму воловъ. Съ ними но пути поѣхала и Андреева жена, показать знахарю больное дитя. Дома осталась одна Ганна. Она управилась по хозяйству, уложила Андреевыхъ дѣтой спать и сама легла. Не спится ей. Смутныя мысли проносятся въ головъ. Лѣсной кладъ не выходитъ изъ ума.

. Ганна вышла изъ хаты, постлала зипунъ у порога и легла. Свъжъе на воздухъ. Ночь темная, тихая. Все небо усъяно звъздами; то и дъло онъ золотыми искрами сыплются съ неба на землю.—«Точно червонцы!»—подумала Ганна, накрывая зипуномъ голову, чтобы не видъть этихъ падучихъ огней, этого непрестаннаго сверканія.—«Нътъ, то—Божій теремъ,—думаетъ она,—звъзды—окна, и черезъ нихъ ангелы вылетаютъ на землю!»

И вдругъ она вздрогнула, не понимая, во снѣ или на яву она испытывала то, что потомъ съ нею сталось. Ганна подумала: «Зачѣмъ Ивану дѣлить кладъ съ Андреемъ? Иванъ лучше Андрея: такъ красивъ и добръ, а ужъ любить меня... Завладѣемъ сами отцовскимъ богатствомъ; не даремъ всѣ смѣются, зовугъ насъ скопидомами; покажемъ водямъ, какъ слъдуетъ жить, —да мужъ еще и болѣе по-

любить меня». — Она вспомнила, куда поставила заступъ, взяла его и, не обувшись, на босу ногу, пошла въ люсъ.

Въ лъсу было тихо и темно. Ганна отыскала поляну и дубъ, стала рыть у его корня, а руки трясутся, едва держать заступъ. Поборола она страхъ, выконала котелокъ и заровняла землю, даже травою прикрыла то мъсто, гдъ онъ былъ зарытъ. Открыла крышку, тронула подъ нею рукой и обомлъла: котелокъ, дъйствительно, былъ полонъ денегъ.— «Ну, куда же съ этимъ теперь?—стала думать Ганна: — дома не спрятать, не уберечь; кинутся, отыщутъ и все отберутъ».—Она прошла въ глубину лъса, исколола ноги и руки и, разглядъвъ при мерцанін звъздъ суховерхую, далеко съ поля всегда видную липу, зарыла подъ нею котелокъ.— «Теперь не найдутъ!» — подумала Ганна и ушла, оглядывалсь, чтобы получше запомнить выбранное мъсто. Пришла домой, поставила на мъсто заступъ, легла у порога и заснула.

Долго ли Ганна спала, она не помишла и даже ясно не сознавала, спала ли здёсь въ ту именно ночь, когда сходила въ лесъ, или это было спусти несколько времени,--только слышить, надъ нею говорять. Тихо повернула она голову: видить, будто светаеть, и возле неи лежить воротившійся съ торгу Иванъ, а къ пему нагнулся, будить его и ему что-то тихо и пспуганно говорить бледный и на себя не похожій Андрей.—«Что тебь?»—спросиль его проснувнийся Ивань.—«Какъ что? большое горе.»—«Какое?» кладь украли.» — «А ты почемь знасшь?» — «Ходиль повърять; стащили.»—«Кого повърять?»—Андрей молчалъ. — «Не и укралъ!» — проговорилъ Иванъ. — «Кто же?»—«Не знаю.»—«Слушай Иванъ,—сказалъ Андрей: кром'в теби никто про это не зналь и не знаеть; покайся, укажи, куда ты деньги спесь, и теби прощу». — «Не и украль, божусь. >-- «Ивть, ты. »-- Иванъ вскочиль. Ганна, ни жива, ни мертва, лежала, боись шелохнуться и выдать . себи. Кругомъ еще болье носвытько.—«Такъ я-воръ?» спросиль Иванъ.— «Да, ворт,—отвътилъ Андрей:—и если ты не признаешься, но скажень,—консцъ тебъ».—Иванъ бросился на брата; а у того въ рукахъ ножъ. Ганна приметила лезвіе ножа, увидела искаженное злобою лицо деверя и обиженное лицо мужа, хотела крикнуть имъ, сознаться во всемъ, и не могла произнести ни слова. Надъ нею въ сумеркахъ началась нѣмал, страшная борьба родныхъ братьевъ. Ни криковъ, ни стоновъ. Теплая кровь закапала на лицо Ганны.

Она очнулась. Видить, — давно наступило утро; мычать въ хлівахъ коровы, отзываются телята и овцы, просясь въ поле. Ганна вскочила, оглянулась по двору, бросилась ть хату и туть поняла, что ей привиділся сонъ: клада она не вырывала и Андрей съ Иваномъ еще не возвращались ломой.

«Такъ это быль сонъ? — подумала, крестясь, Ганна, — сонъ—смерти брать; но хоть грозенъ сонъ, да милостивъ Богь». И принялась опять за свое дѣло. Братья возвратились. Жизнь на хуторѣ попла по прежнему. Не по прежнему только на душѣ Ганны. Ел не покидала мысль о сонномъ видѣніи. — «Что бы это значило? — разсуждала она, — педаромъ такое привидѣлось. Сонъ правду скажетъ, да не всякому. Или я ступила въ чужой, лихой слѣдъ? или до утренней зари посмотрѣла въ окно? Братъ кинулся на брата... пустяки! Они такъ дружны; изъ-за денегъ не схватятся за ножи». —И стала она думать-думать, поглядывая въ поле, на лѣсъ. Байракъ пожелтѣлъ; съ него осынались листья. Наступила зима. Снъгъ занесъ поле, завалиль сугробами оголълые деревья и кусты.

Весною Ганна сходила, будто за ландышами, въ лѣсъ. Поляна около дуба уже зеленка; земля у его корни не была рушена.—«Все цкло,--успоконлась Ганна:—будь, чт будеть; и то правда, лучше подождемъ. Да и что богатство! богатые на томъ свити голыми руками каленые пятаки считають!»

Наступила небывалал жара. Люди съ тревогою поглядывали на небо, напрасно ожидая дождя. Небо было безоблачно. Зной стоять пеугасимый. Растрескалась вемля; все увядало и сохло. Иванъ и Андрей съ женою пахали, подъозими, въ полъ. Гапну оставили дома, варить ъсть и доглядать дътей. Она съ осени недомогала; все ей было какъ-то тошно и пе мило: она то вздыхала и молилась, то плакала, и отъ слабости едва ходила. Андрей, глиди на нее и на брата, думалъ: «Ну, теперь уже, кажется, и вправду не долго ждать».

Быль обеденный чась. Ганна выглянула въ окно и не сочинения г. п. данилевскаго. т. упг. 6

узнала выгона. Небо потускийло. Облаковъ и туть не было видно, но въ воздух стояла какан-то игла, сквозь которую туманомъ синить чуть видный люсь. Ганна вышла изъ хаты. Слышить, куры кудахчуть; видить, воробы купаются въ ныли. Думаеть: «Слава те, Господи, къ дождю; недаромъ небо было красно до зари». Она накормила Андресвыхъ дътей, прибрала посуду, налила въ чистый горшокъ горячаго борщу, наризала хлюба и все увизала въ платокъ, чтобы нести въ поле. Обулась, сказала дътямъ: «сидите же смирно, пока возвращусь» — и вышла съ узломъ въ съни. Туть она увидъла въ углу заступъ и замерла. — «Сонъ, сонъ!» — подумала она, не помня себя отъ страха и мучительной, ей самой непонятной радости. Отворивъ дверь въ каморку, она ткнула туда узелъ, схватила заступъ и безъ оглядки ношла къ люсу. Идетъ, какъ на крыльяхъ.

Идоть, а навстречу ей изъ-за леса подымается и растотъ темная, грозная туча, мигаетъ голубыми и алыми молніями. — «Пойдетъ дождь, меня не спохватятся, — думаетъ Ганна, — усп'во откопать и зарыть и въ иное м'есто». — Ужъ она надъ деревьями завиділа маковку старой суховерхой липы. Ганна подошла къ лесу. Огромная дождевая

капля упала ей на лицо.

Туть откуда-то вырвался и взыгрался страшный вихорь. Раздался оглушительный ударь грома. Все завертнось вы пыли, сорванных вистьяхь и сучьяхь: поле, травы, явст и сама Ганна. Она видить, что заступъ выпаль у нея изъ рукъ и ее, какъ былинку, несеть куда-то высоко высоко, съ листьями и сучьями, что-то былое, туманное и гремящее непрерывными раскатами грозы. Она съ ужасомъ поняла, что ее подхватиль налетышій полевой вихорь. Ни молиться, ни думать отъ страху она не могла. Взглянула внизь—земля чуть видна; кругомъ облава, молніи, а громъ реветь и стонеть.

Вихорь унесъ Ганну на небо.

Облака разсвиянсь. Выглянуло солнце. Поверхъ облаковъ—другая земля. Зеленскоть травы, а по свежей нахоти ходять какіе-то старцы. Ганна очутилась возлів нихъ и поняла, что впереди—самъ Господь Христось, а за нимъ апостолы Петръ и Навелъ и угодникъ Божій, побідоносецъ Юрій. Удивилась Ганна: Господь-Христосъ въ съромъ зипунів, простоволосый и съ лукопикомъ черезъ плечо. Інсусь браль горстью зерна ишеницы и съяль; Пстръ ему подсыпаль изъ мърника, а Навель и Юрій, ведя сзади воловь, боронили следомъ землю.

И увидълъ Господь Ганну и позваль ее. Та упала ему въ ноги.

— Господи, Інсусе сладчайшій, —ріппилась, не смім глянуть на Спаса, проговорить Ганна: —вижу твое чудо, я на небі; но зачімъ ты мени, гріппую и глупую рабу, взяль сь земли, отъ мужа и близкихъ, въ твое высокое царствіе?

Раздалось властное слово:

- Чтобъ ты видъла все.
- Но, Воже милый, Боже правый, —проговорила Ганна: я грвиными мыслями мыслила, что твое царствіе въ вічномъ сіянін солнца, что ты на престолів облачномъ, въ вінців изъ звіздъ и въ одеждів изъ утренней и вечерней зари; а ты въ простомъ зипунів и, какъ убогій пахарь, съещь землю. Тебів служать ангелы и апостолы, не тебів ли быть въ візчномъ достатків и насъ, всіхъ бідныхъ, сдівлать богачами? Мы бы тогда не работали, жили бы на покоїв и вічно прославляли бы имя твое.

Прозвучала тихая, милостивая рычь.

- Рабыня добрая, но малосмысленная! Богатому сладко встся, но плохо спится. О деньгахъ не думай; когда деньги говорять, тогда правда молчить. Нёть выше благодатнаго, земельнаго труда. Въ немъ, послѣ молитвы, все спасеніе и все счастье на землѣ. Трудись и тому же учи своихъ дѣтей.
- Но какъ же, какъ же?—взмолилась въ слезахъ горестная бабенка: мужъ у меня хорошій человікъ, но денегъ у насъ мало; все, что наживается, идетъ на хозяйство; домъ, какъ яма, никогда не наполиппы; у меня же, боженька, ни пелковаго платка, ни добрыхъ коралловъ, ни красныхъ сапоговъ. И мужа до сихъ поръ не слушаютъ на міру...

— Все вырастеть изъ земли отъ вашихъ рукъ, —прозву чалъ ей отвътъ: —будеть колосъ, будеть и голосъ.

Ганна слышить, опять взыграль вихорь. Она подняла голову. Видить: она сама лежить ничкомъ, на полянь, у дуба. А надъ льсомъ, гремя и сверкал молніями, въ небо уносится бълотуманная туча, и отъ той тучи, какъ отъ кадильнаго дыма, идеть благоуханіе по всему льсу.

Ганна встала. На томъ мѣстѣ, гдѣ былъ зарытъ владъ, росъ спѣлый и сочный, несмотря на засуху, пшеничный колосъ. Ганна все передала мужу и привела его сюда. Иванъ, сорвавъ колосъ, сообщилъ о случаѣ съ женою Андрею. Братъя подумали и рѣшили отдатъ кладъ, на поминъ отца, цѣликомъ на бѣдныхъ и на церковъ.

Въ ихъ сель и донынь показывають иконостасъ, надиво расписанный на ихъ жертву. Ганнь, вскорь посль того, когда съ нею было видьніе, Господь даль сына, и родители назвали его Богданомъ. Отъ найденнаго колоса пошла въ той сторонь пшеница-усатка, какой дотоль и не видывали. Урожай всьхъ хльбовъ вышель диковинный, и обрадованные братъя накупили женамъ всякихъ нарядовъ-

1886 г.

СТРБЛОЧНИКЪ.

(СВЯТОЧНЫЙ РАЗСКАЗЪ.)

На одной жельзной дорогь жиль стрылочникь, отставной, уже пожилых льть, но еще бодрый солдать, Емельянь. Его стрылка была вы поль, вы конць выбада изы большого города. Оны помыщался вы ближней сторожкы, сы женою Ариной и сы подросткомы сыномы, Васей, веселымы и шустрымы мальчикомы. Емельяны женился, лыть семь назады, на молодой, работящей бабы и служилы, вообще, исправно. Прежде оны сильно пилы, но, женившись и получивы хорошее мысто, одумался, а сы недавняго времени опять втайны началы выпивать, и пе то, чтобы сы горя, или возвратился прежній запой, а такы, — попробоваль на радости, потомы для компаніи, да и пошель куликать.

Жена въ страхъ стала уговаривать его.

- Стыдись, —говорила она ему, когда онъ, бывало, опять опомнится: —жалованье пропиваещь, пропьешь скоро вовсе и совъсть!
- Мнв что, отгрызался Емельянъ: шутка ли? Господь сына на старости далъ, да какого! Вырастеть, будеть молодецъ, прокормить и тебя, и меня.
- A, не дай Богь, во хмелю спутаешь стрыку? Великому-горю быть... Сколько погубинь невинныхъ душъ!
- И видно, что баба дура, отвічаль Емельянь:— нішто виділа, чтобы я хмельной да осмінлился когда къ стрілкі стать?

Жена со страхомъ разсказывала кумѣ, кухаркѣ городского лъкаря, что Емельянъ иной разъ, послъ запоя, говорилъ несуразныя вещи: то опъ видѣлъ въ сторожкъ мно жество змій и жабъ, будто бы ползавінихъ кучами по полу и по окнамъ; то ему казались противные, какъ мыши, бъсенята, съ рожками, во всіхъ углахъ и за печью, и онъ, просыпаясь, плевался и отгонялъ ихъ, точно мухъ. Временами Емельянъ брался за умъ и не касался до чарки, особенно, если никто изъ товарищей не подвертывался ему и его не соблазнялъ. Онъ усердно посъщалъ церковь, былъ грамотный, съ чувствомъ читалъ, въ часы раскаянія, житія святыхъ—и тъмъ, хотя отчасти, сдерживалъ себя.

Васв пошель шестой годь. Еще красивые сталь вертуны: румяный, кудрявый, черноглазый. Всв имъ любовались. Арина ходила въ городъ прачкой, поденно мыла былье въ хорошихъ домахъ. Она справила, на свои заработки, Васв картузъ и козловые сапожки, на высокихъ каблукахъ. Емельянъ посмотрыть, подумалъ: «опередила баба»— и купилъ сыну на базаръ красную шерстяную рубашку и плисовые шароварцы; не мальчикъ вышелъ—сущая картинка!— «Развъ въ сапогахъ дъло? — думалъ онъ: — походилъ бы и босикомъ, а въ рубашкъ—настоящій купеческій дворникъ».

Передъ Спасомъ, Емельянъ былъ не на очереди. У кабака онъ увидълъ своего кума, дистаночнаго десятника, угостилъ его—и самъ наръзался. Загорълась въ немъ опять жажда къ водкъ; казалось, море бы выпилъ; только онъ пересилилъ себя. Хотълъ-было закуритъ трубку, но увидълъ, что забылъ дома табакъ. Пришелъ къ вечеру въ сторожку; жена стряпала въ печи. Набилъ онъ трубку, напустилъ табачища въ сторожкъ и давай куражитъся надъ хозайкой.

- Мой сынъ!—сказаль онъ:—любуйся! Не видать бы тебь, глупой, безъ меня такого!
- Такой же твой, какъ и мой, отвъчала жена, съ досадой гляди на его хмельную рожу: — обоимъ Господь пославъ.
 - Нъть, мой!
 - Ифтъ, нашъ, -обоихъ.

Емельянъ обезуміль. Искры завертілись у него въ глазахъ.

- А! такъ вонъ оно какъ! крикнулъ онъ въ злобъ: надо мной похваляещься? Вонъ изъ моего дона! Чтобы и духу твоего тутъ не пахло.
 - Да за что же, Емсльянъ Мосенчъ? С.ыхано ли?
- А за то... Я голова всему, я! Скомандоваль и проваливай.

- Но нуда же мив, противъ ночи, подумай?
- Куда знасшь, мало ли въ городе у вашей братів угловъ.

Обиделась Арина, въ слезы.

- У полицмейстерши, говорить: все намедни помыли; у лъкарши еще черезъ два дня главная стирка, теперь только постирушка дътямъ, куда мнъ, постыдись, въ такую темь?
- Вонъ, чортова голова, не перечь, ватопаль погами Емельянъ: — не уйдешь съ глазъ долой, полвномъ выгоню, искалечу въ труху.

Пуще заплакала Арина; видить, ничего съ окаяннымъ ие подвлаешь. Отерла слезы, увязала въ узелокъ одеженку, заслонила печь, взила краюху хльба, перекрестила спавшаго въ уголку Васю и пошла въ городъ.

«Такъ ей, сатанъ, и надо! — подумалъ Емельянъ, усъвшись у дверей сторожки и глядя въ темноту, вслъдъ за женой, — тоже, лапотницы, важничаюты! Взялъ ее въ лаптяхъ, да въ дерюгь; теперь въ ситцъ стала ходить; начальствовать, вишь, затъяла, укорять. Не усмири, не притопчи бабу, — верхъ возьметь. Давно пора! опостылъла! а мы и сами сына вырастимъ, сбережемъ!»

Настала ночь... Хмель сильне стала разбирать Емельяна. Впотьмахъ иммо него гремъли товарные, длинные повзда, ныхтыи законтылыя трубы, сынались искры и свистым горластые свистки. Онъ курилъ, глядалъ передъ собой, и вдругь ему жутко стало: впотьмахъ ему опять померещились разныя чудища, а при этомъ, какъ живой, привиделси изможденный, нъкій преподобный старець, съ длинною, съдою бородой, о которомъ опъ недавно вычиталъ въ житіяхъ святыхъ. Онъ вспоминлъ, какъ этотъ страстотерпець-угодникъ божій, спасался въ аравійской пустыні, и какъ къ его пещерв подошель ночью кто-то изъ пустыни и сталь молить его-сдвинуть камень оть входа. - «Впусти меня, -- молился плачущій голось: -- пусти, старче, левь рыкаяй гонится за мной, хочеть разорвить; я безъ одежды, на холодь, и три дня безъ вды». -- Старецъ засвытиль лампаду, отодвинуль камень; вошла женщина-неописанной красоты. То было, какъ помнилъ Емельянъ, виденіе. Старецъ зажегъ хворостъ и сталъ палить свою руку на огив; кожа трескалась, сукровица и жиръ капали на угли, смрадъ наполнилъ пещеру, — но преподобный молился, — не прикоснулся къ гостъй. Бълодилейный ангелъ явился туть въ туманъ, вывель гостью,—то быль дьяволь,—и спасъ старца.

— Чуръ меня, чуръ! — шепталъ, вспоминая это видъніе, Емельянъ: — и меня тянуло и тянетъ... не пойду, не стану пить!

Онъ перекрестился.

«Вырастеть Васька, — разсуждаль онь: — обучу его грамоть, а кумъ-десятникъ пристроить его на правленскій счеть въ дорожное училище. Станеть онъ человъкомъ. Да, не бабъ-дурь оборудовать такое дъло, — нашему только брату, потому къ намъ, за наши заслуги, благоволитъ начальство. Станетъ Васютка слесаремъ, кочегаромъ, а далъе — и машинистомъ, будетъ водить поъзда, и за мои клоноты доглядить отца до кончины дней. Что мать? молитвамъ только выучила сына... оно ладно, да не прокормитъ...»

Емельянъ вздохнулъ.

«А надо правду сказать, — какъ онъ, постръленовъ, ловко за нею молится, всякія молитвы знаеть: отъ несчастій разныхъ, отъ злого случая и тяжкой, нежданной бъды. Выучила сына, а есе-таки, треклятая баба, мужа пьяницей зоветь, пе уважаєть, озорница... А какой я пьяница? изъ встхъ слугь первый и главный слуга! И теперь воть хочется вышить, да не пойду... Руку на костръ сожгу, бакъ тоть преполобный, а ужъ въ роть—ни-ни...»

Емельянъ собранся въ сторожку спать, да глянуль по направлению пъ гореду. Издали, черезъ дорожное полотно, плать продений глазъ, еще свътплось окно въ крайнемъ городом мъ казбаль.

«Видит, еще ранот у набатчина гости и все, должно-быть, наши! — подумаль Емельянь, — пойти развы такъ на ало жен!, — тольно потладать. Пусть плачеть, чортова баба! Обленил, — хоть не дарень же слушать бабы угоды».

И снь спять пошель вы кабакк. А тамъ и вправь были ые св и. — смениць ваговоев, привеньній сесілній стрылення вів корол вы пъ п ст рішь при провать. Онь вынить съ всуг в то тоту и пругую. Въ пебакъ завервуль и пашений пов беная ихъ принтеста, весеньнась и въяниць—вамуюрь съ вст почанти. Вся, въ соп таки спупа съ угра, пор жений спе по с реденов и по пругай, и, когда разегали. Ек и пут уге не почанть, пать сев војеть въ

пещера, гдв уже не прасавица, а онъ водкой соблазняль старца. Въ ужаст онъ искалъ словъ молитвы — и не нахолилъ.

На зарв его разбудилъ голосъ Васи:

— Тятя, тятенька! — повторяль на всѣ лады мальчикъ, теребя его за рукавъ: — твоя очередь, старшой кликаетъ давно!

Емельянъ вскочилъ, сталъ протирать глаза. Утро только что начинало брезжить въ окна сторожки. Какъ ни трещала голова Емельяна, онъ умылъ Васю, причесалъ его, обулъ, одълъ и накормилъ вчерашнею кашей. Но вее это у него плохо выходило; вепривычными къ дитяти руками онъ и рубашонку его облилъ водой, и больно гребнемъ дергалъ его встрепанные волосы, и насилу розыскалъ подълавкой и напялилъ ему на ноги сапожки, а все-таки остался доволенъ, что обрядилъ сына.

— Такъ-то, — сказалъ онъ себѣ, вспоминая, какъ съ вечера прогналъ жену: — не провалюсь! и безъ бабъяго духа все, какъ слъдуетъ, наладимъ!

Онъ заставилъ сына прочесть молитвы.

Вася прочелъ «Отче нашъ» и «Богородицу» и сталъ проситься ноиграть, съ деревенскими ребятами, въ ближній березовый лісокъ.

- Да чего ты тамъ не видълъ?
- Галчата, тятенька; на берез'в цівлое гніздо!
- Зачыт такъ рано?
- Ребята сказывають, что теперь они одни, матки въ разлеть за толень. Пусти; галчата прежде были махонькие, голенькие, а теперь воть какие, въ перт.
- Ну, иди, Богъ съ тобою! объявилъ Емельянъ: только не лазь на дерево, еще оборвешься; собакъ тоже берегись; не забодали бы коровы въ лѣсу...
 - Вона! не боюсы!

Васька поб'єжалъ въ поле. На дворѣ посв'єтлікло, хотя падъ полемъ и окраинами города былъ еще туманъ. Поворхъ тумана блеснула маковка соборной колокольни. Емельять вспомниль, что онъ ставилъ сына на молитву, но не молился самъ, и, снявъ шапку, уже повернулся-было на восходъ солнца, но ему почудился гді-то въ поль сигнальный свистокъ.

— Понолюсь послеі—решиль Емельянь и, застегиваясь, бросился нь стрелев.

Вправо забіліло облако дыма и сталь видень вдали медленно подходившій, изъ-за пригорка, товарный пойздь. Прямо противъ стрілки, по другой бокъ чугунки, шлепан по грязи, двигалось городское стадо коровъ, за ними, въ разсыпную, овцы; еще далье, проселкомъ, тащились теліги съ кладью и одинокіе півшеходы.

«Куда имъ всвиъ до чугунки! — подумалъ Емельянъ, потягиваясь и разминаясь съ трубой у стрвлки, на угрениемъ колодку: — все одно, что бабв до солдата! Загудитъ, загремитъ — и всвхъ ихъ обгонитъ нашъ кормилецъ — скороходъ!»

За дорогою, надъ березами, поднялась стая галокъ.

Емельянъ всиомнилъ о Васћ и галчатахъ. «Маху далъ,—подумалъ онъ,—отпустилъ сына къ ребя-

тамъ; не напроказиль бы чего, будеть отъ жены! Ну, да ладно; пропущу товарный, отзову его».
Сліва тімъ временемъ нежданно послышался другой, бо-

Сліва тімъ временемъ нежданно послышался другой, боліве сильный свистокъ. Емельянъ удивился, соображая, неужели время уже подходить отъ города скорому, курьерскому пойзду?

«Проспаль во хмело!» — съ досадой подумаль Емельянъ. Издали въ туманъ послышались, перекликаясь, трубы ближайшихъ къ городу стрълочниковъ. На ихъ сигналы отоввался и кривенькій, сосъдній Емельяну, стрълочникъматросъ, бывшій ночью въ кабакъ; затрубиль о свободномъ пути и Емельянъ, а самъ зорко смотритъ влъво, за ближайшій мостъ: вотъ-вотъ, съ нъмцемъ-машинистомъ, выскочить изъ-за холма на мостъ утренній курьеръ.

Громыхнули, слъва, еще въ туманной дали, тяжелыя комеса и скрѣны поѣзда, выдвинулся грузный, троеглазый паровикъ, и длиннымъ змѣемъ, по насыпи, стала приближаться вереница вагоновъ. Дымъ валилъ изъ черной трубы и стлался надъ дорожнымъ полотномъ и его откосами. Стало слышно пыхтѣніе широкотрубнаго, американскаго силача-паровика.

Но опять, видимо не по положенію, отгуда же, сліва, повторился свистокъ и другой. Емельянъ ухватился за руконтку сгрълки.

«А, понимаю!—подумаль онъ,—меня завидья и распозналь глазастый немець-машинисть; полагаеть, не выниль ли я? Врешь, не собыссь. Вижу все, какъ на ладони; вонъ справа—подходитъ товарный, съ углемъ; ему—одна дорога, а тебъ—другая...»

Тревожные свистки, однако, не унимались. Потадь слъва

летвит по насыпи, не убавиля хода.

«Что за оказія? — подумаль, теряясь, Емельянь, — дасть сигналы, а тормозить не успъють, да и зачёмъ?»

Онъ глянулъ вдоль дорожнаго полотна и замеръ.

Товарный повздъ также носся къ березамъ. Тамъ, гдъ деревья за стрълкой разошлись и къ нииъ изъ-за пригорка приближался товарный повздъ, машинистъ съ курьерскаго, эчевидно, примътилъ на рельсахъ что-то живое, не то овцу, не то человъка, потому и давалъ свистки.

— Да что же это? — вскрикнулъ Емельянъ, не номня себя:—Господи, Господи!

На полотив дороги, между двухъ, на полномъ ходу близившихся другь къ другу, повздовъ, онъ увидвлъ что-то красное, — точно лоскуть кумача несло по рельсамъ и поддувало вътромъ. Емельянъ въ ужасъ узналъ красную рубашку Васи.

— Бъги, бъги въ сторону! — хотълъ-было онъ крикнутъ сыну и не могъ. — «Нътъ, онъ еще испугается, споткнется и попадетъ подъ колеса! — пробъжало въ мысляхъ Емельяна, — но какъ снасти его, какъ?»

Оставалось одно средство, — повернуть стрълку и направить курьерскій побадь по другому пути, навстрічу набізнавшему товарному.

«Столкнутся; будеть крушеніе, великій гріхъ!—колебался Енельянъ,—да что же? сынъ віды единственный сыншика...»

Оставалось полминуты... Емельянъ уже налегъ-было ногою на стрълку. Курьерскій поёздъ гремѣлъ сліва, въ ста шагахъ, перебѣгая невысокій каменный мостикъ, за которымъ, у насыпи, стоялъ Емельянъ. Дымъ отъ подходившаго справа товарнаго застилалъ березы и рельсы, среди которыхъ все еще мелькала красная рубашечка Васи. Ребенокъ, наконецъ, самъ, очевидно, понялъ угрожавшую ему бѣду. Онъ на мгновеніе остановился, бросился вправо, бросился влѣво и, второпяхъ зацѣпясь за шпалы, упалъ ничкомъ прямо на рельсы.

— Отче, Пресвятая Богородица!.. Ариша! — гдв ты? прости, касатикъ, молись!—прошенталь Емельянъ.

Оставалась секунда...

Балый, какъ полотно, Емельянъ вытянулся и подумаль: «Будь, что будеть... всьмъ ли погибать за одного?» — и,

придерживая стрыку, остался неподвиженъ.

Курьерскій повздъ помчался мимо товарнаго. Крикъ ужаса раздался на обоихъ паровикахъ. Цепь вагоновъ, въ дыму и выпущенномъ паръ, налетъла на то м'есто, гдъ, среди рельсовъ, прицалъ комочкомъ Вася.

Наръ свился въ облачко, поднялся, протянулся и, словно бъломилейное легкокрылое видьніе, понесся въ воздухъ.

Оба повзда, разминувшись, остановились. Емельянъ бросился туда. Онъ бъжалъ, не переводя духа и стараясь не думать о томъ, почему остановились вагоны и соскочившіе съ повадовъ кондукторы и кочегары столиились у еткоса, какъ бы разсматривая что-то, лежавшее на земль.

— Гдв онъ, отцы родные, гдв?-крикнулъ Емельянъ, добъжавъ до насыпи: — пустите, соколики, дайте взглянуть... убитъ?..

«Раздавленъ до смерти, въ куски!--думалъ Емельянъ, карабкаясь на откосъ, -- Аринушка! не жить мив теперь... Одна пьяницъ дорога-въ омутъ!»

Емельянъ, обрываясь и падая по зеленому откосу, взобрался на насыпь. Бывшіе тамъ разступились Среди нихъ, на корточкахъ, съ галченкомъ въ рукв, сидълъ, тараща глаза и плача, измаранный грязью Вася.

- Живъ, живъ!--крикнуль Емельянъ, подбъгая къ сыну и подхватывая его на руки:-сыночекъ, сынъ мой!
- А коли и вправду ты ему отецъ, вотъ на что гляди,сказалъ старичекъ-кондукторъ съ курьерскаго повада: -- эва, какъ его укоротило!

Емельянъ опустилъ сына на земь, посмотрълъ, - Вася и вирямь сталь будто короче на вершокъ.

На каблукъ гляди, на каблукъ! — кричали стоявшіе

кругомъ.

Емельянъ опять приподняль сына, осмотръль его—и упаль на кольни. Онъ сталь молиться, кладя земные поклоны. Вася быль невредимъ. Цалый повадь пролеталь надъ нимъ, не придавивъ его. Колесами вагоновъ на его ногв отчахнуло только, точно ножемъ, одинъ каблучекъ, сорвавъ часть сапожнаго задника. Есь дивовались и ахали.

Повзда засвиствли опять, загремвли и разошлись. Долго

Емельянъ не могь опомниться. Онъ смотрелъ вдоль дороги, крестился и шепталъ молитву.

- Она тебя спасла!—проговориль онъ, наконецъ, взявъ сына за руку.
 - Кто, тятя?-спросиль мальчикь, всхлипывая.
- Материнская молитва! больше некому... Отстоимъ очередь, пойдемъ къ мажѣ въ городъ.
- Нѣтъ, тятя, меня сдвинуло что-то бѣлое... я упалъ, а оно, точно дымъ, навалило—и отпихнуло меня...

Емельянъ пошелъ съ сыномъ къ старшому — проситься въ городъ. Вася бъжалъ рядомъ съ нимъ, держа въ рукъ оравшаго галченка.

— Эхъ, Васютка, не ладно,—сказалъ отецъ:—зачвиъ му чинь божью тварь?

Сынъ удивленно посмотрълъ на отца.

 Пусти его на волю, — сказалъ Емельянъ: — пусть живеть и за насъ, грѣшныхъ, Господа славитъ.

Вася пустиль галченка. Тоть полетьль въ кусты. Емельянъ не спускаль глазъ съ неба. Ему казалось, что надъ кустами и полемъ не переставалъ парить белолилейный, крылатый ангелъ.

У явкарши стрвлочнику сказали, что его жена кончила постирушку и пошла на рвку. Онъ засталъ Арину на городскомъ плоту. Кругомъ мыли бвлье и тарантили во все горло другія прачки. Онъ прямо къ женъ.

— Прости, Аринушка,—сказалъ Емельянъ, кланяясь ей въ ноги при всёхъ:—былъ на свётё старый пьяница и баловникъ, загуливалъ и не по правдё жилъ; пойдемъ молебенъ править,—ты своими молитвами спасла сына, спасла и меня.

Всв въ городъ узнали о чудъ надъ Васей. Но случилось и другое чудо. Съ той поры Емельянъ хмельного не пьетъ и въ кабакъ даже съ товарищами не ходитъ. Въ сторожкъ, у образовъ, онъ помъстилъ новую икону. На ней изображенъ въ бълой ризъ крылатый Георгій Побъдоносецъ, на конъ и съ мечемъ, надъ поверженнымъ дъяволомъ. Когда Емельяна спращиваютъ, откуда онъ взялъ этотъ образъ, онъ отвъчаетъ:

— Ходилъ на богомолье; человъкъ слабъ, а въ одномъ Богъ и его угодникахъ — сима въ борьбъ противъ окаянства и зма.

1886 r.

УКРАИНСКІЯ СКАЗКИ.

Пом'вщаемыя здёсь сказки принадлежать къ дётскимъ воспоминаніямъ, къ той же семейной старина автора.

Въ сказкъ каждаго народа дорогъ прежде всего вымысель, илънительный, въками созданный миоъ. Передается народная сказка почти всегда «своими словами», причемъ неизмънными остаются въ ней одни вставочныя мъста, а именно пъсни ея героевъ. Подобныя мъста — и въ этомъ только сходство сказки съ народною пъсней — неизмънно передаются въ стихахъ и непремънно, при повъствовани, ноются. Въ народныхъ сказкахъ есть ненужныя длинноты и дословныя повторенія однихъ и тъхъ же, почему-либо характерныхъ выраженій. Предлагаемыя сказки — не переводъ. Въ михъ сохранены только народные мнем и особенно мъткія и живописныя присловья тъхъ, кто ихъ передавалъ.

Большинство приводимыхъ здёсь украинскихъ сказовъ авторъ слышалъ отъ своей няни Аграфены и отъ ен мужа Анисима, человъка во многихъ отношенияхъ замъчательнаго. Анисимъ былъ огромнаго роста, силачъ, но дътской доброты, и всё его привычки были женския. Онъ постоянно портияжитъ, но больше по бабъей части, —шилъ рубахи, мережилъ полотенца; прялъ, вязалъ чулки, занимался шептаньемъ отъ глаза, отъ боли зубовъ и живота, кормилъ куръ и доилъ коровъ. Умеръ онъ семидосяти літъ. Аграфена его пережила.

Сказки этихъ стариковъ производили глубокое внечатлъніе. Вывало, разсказъ давно конченъ, свъча потухла. Всъ спятъ, а у дътскаго изголовъя всю ночь до утра отзывается жалобный голосъ рыбки, бывшей когда-то красавицей-хуторянкой; стучить-гремить по лесу страиная кобылья голова, шепчутся и шелестать степныя травы, которымъ внимаетъ казакъ-пленникъ въ Крыму; плачеть переселенная въ свирель душа зарезанной девочки; колить носатый каратышка, солнце беседуеть съ матерью, вечерней зарей; поетъ Ивашко, котораго хочеть съесть ведьма; а изъ-за угла выглядывають рога лукавой козы и уши пронырливой лисички-сестрички...

Любилъ сказки и мой дёдушка. Онъ, подобно герою повёсти Даля, говорилъ подъ вечеръ своему слугі: «ну, теперь ты меня положи, да укрой, да подоткни; еще перекрести и разскажи сказку, а ужъ засну я самъ»... — Но слуга дёдушкё говорилъ сказки иного рода, богатырскія, о Еруслані, Бові-королевичі. Я ихъ не любилъ; сказки няни и ея мужа—бытовыя, напоминающія жизнь хуторовъ и слободокъ, мні боліе нравились.

I.

Кума-лисица, пастухъ, рыболовъ и возница.

Жили были дёдъ да баба, Да убогіе такіе, Что у бабы на хозяйстив Только курочка ходила; А у дъда, у съдого, Пътушокъ золотоперый. Воть, какъ все они повли, Стали думать, чемъ кормиться. И надумала туть баба: -«Знаешь, есть у насъ но птицѣ: Кто скорьй свою поймасть, Ту къ объду и заръжемъ!» Идуть оба на курятникъ, Стали но двору гоняться; Только смотрить дедь, а баба Загнала насъдку въ уголъ. Съла на земь, будто ловить, Да надъ нею, какъ слвная, Руки даромъ и разводить...

«Э! хозяйка, надуваешь!» Дъдъ помыслилъ и промолвилъ: «Нѣтъ, постой-ка ты, старуха; Лучше мы по чистой правдь, Никого не обижан, Обоихъ заръжемъ разомъ!» Призадумалась старуха; **І**тьду ножъ несеть изь хаты; Дъдъ попробовалъ, востёръ ли, На крыльцо съ ножомъ садится; Да какъ глянуть другь на дружку, И расплакались, какъ дети. -«Ну, старуха, Богь съ тобою! Пусть живеть твоя наседка!» —«Пътушка жъ и я не трону!» Говорить ему хозяйка; Посудили, порядили, И пустили куръ въ курятникъ. Въ тотъ же день пътухъ за это Натаскаль пшеничныхъ зеренъ, А насъдка постаралась, Раздобыла гдв-то маку.

Заходилась стрянать баба,
Пирожовъ съ начинкой мѣсить.
А подъ лѣсомъ, той порою,
Сѣрый волкъ, съ кумой-лисою,
Выходиль на заработки.
— «Ты, кума, пди по селамъ,
Я жъ пойду кругомъ, полими;
И дѣлить лотомъ мы станемъ,
Что путемъ дорогой стянемъ!»
Разошлися кумъ съ кумою;
На село пошла лисица.

Туть, пирогь набивши макомь, Баба печь ужъ затопила; Слышить, кто-то стукъ въ окошко, — «Охъ, впусти меня ты, баба!» Голосъ плачется подъ хатой: «У меня въ печи погасло!»

Ваба угли раздуваеть, Говорить:— «Войди, сосёдка!» Гостья входить, носомъ водить, А ужь ушки на макушкв; Хвость колечкомъ подвернула, Подползла тайкомъ къ печуркћ, Пирожокъ схватила съ макомъ, Въ двери пимыгъ, да и пропала... Баба чуть успёла ахнуть!

Съ пирожкомъ бъжитъ лисица, На пути проголодалась; Съ макомъ выбла середку, Пирожокъ трухой набила, Да подъ ночь и обмънила На бычка пирогъ ребятамъ, Загонявшимъ стадо къ хатамъ...

Стережеть бычка лисица Думу думаеть такую:
«Кумъ сытёхонекъ навѣрно; Поживлюсь и и добычей!» Поднялася спозаранку, Всласть наѣлась, отдохнула; Кожу листьями набила, Оперла бычка на кустикъ, Въ сетедину напустила Вэробъевъ и гълченять, И подъ лѣсомъ, какъ живого, Сторожить усфлась снова...

Бдеть въ санкахъ понамарь.
— «Что, кума, бычокъ продажный?»
— «И не спранивай, бери:
На корма совсвиъ провлась!»
Вотъ, ударивъ по рукамъ,
Сторговалась съ нимъ лисица,
Отдаетъ бычка за санки,
Отдаетъ за непростыя,
За рвзныя, росписныя.
Увезла лисица санки...

Понамарь опять въ дорогу; Потяпуль бычка за поводъ, А бычокъ—бултыхъ съ сугроба, Бокъ распоротый раскрылся: И взвилися надъ сугробомъ Воробьи и галченята.

Понеслась лисица полемь; Ей навстрічу воль голодный — «Помоги кума: ни крошки Не усивль я заработаты!» -- «Охъ, и и три дни не фла!» Говорить лиспца куму. Посудили, порядили, Да возокъ и подълиди: Кумъ себь оглобли выбраль, А кума усълась въ кузовъ, Приги вздилась, развалилась И, раскинувъ хвостъ и данки, Приговариваеть тихо: «Тощій сытаго везеть, Тощій сытаго везеть!» — «Что, кума, ты говоришь?» -- «Да о томъ, что мы по ілн»...

Смотрять нутники, навстрічу Бдуть съ рыбой чумаки.
— «Ну, теперь скорій біги ты!— Говорить лисица волку:— Дожидай меня подъ стогомъ, Что подъ тою подъ горою; И-жь діла пока устрою!»

Кумъ съ санями потащился, А кума, какъ неживая, Разметавши хвостъ и ноги, Улеглася у дороги. Чумаки съ ней поровнялись, Стали думать вкругъ лисицы: «Мѣхъ какъ разъ на рукавици!» Посудени, да находку Примо въ рыбу и свалили.

На возу лежить лиспца,
А сама буравить дырку;
И давай кидать въ оконце
Замороженную рыбку...
Воть очистила до кропики,
Прыгь сама, давай въ охабку
Подбирать съ дороги рыбку,
И устлася нодъ стогомъ,
Но не въ нолъ, нодъ горою,
А въ слободкъ, надъ ръкою,
Рыбу теть, ждеть кума въ гости,
А за стогь кидаеть кости.

Воть, когда ужь постемнёло, Видить—кумь быжить долиной, Еле-еле тащить саньи...
— «Охъ, кума, куда зашла ты? Всё поляны и обёгаль; НЕть ли чёмь прочистить горло?»— «Да и и, какъ неживая!— Говорить лисица волку, Лапкой рыльце утпрая:— Мерэлой рыбкой поживилась; Просто кости, а не рыба, Воть бы свёжей наловиль ты»...

Носъ повісл, у сугроба Кумъ съ кумой усілись оба, Долго-ль, нічть ли, горевали, Собираться къ річкі стали.

Кумъ, какъ былъ запряженъ въ санки, Хвостъ лохматый, словно певодъ, Окунулъ со льдины въ прорубь; А кума, присъвъ къ сторонкъ, Приговариваетъ тихо: — «Мерзии, мерзии, волчій хвостъ, Мерзни, мерзни, волчій хвость!»
— «Что, кума, ты говоришь?»
— «Охъ, все счастье намъ звала я:
Ты ховись, ловися рыбка,
Рыбка малая, большая!»

Воть примерзъ ко льдинъ хвостъ; Показались дровосвки, Увидали рыболова И давай его въ дубины... Безъ хвоста и весь избитый, Волкъ ушелъ отъ нихъ полями И столкнулся туть съ кумою. А кума не оплошала, На селв ужъ побывала, Вся опачкалася тестомъ И бъжить навстрычу куму, Громко жалуясь, что бабы Въ кровь всю голову избили... Пораздумаль волкъ голодный И кумъ жъ подставиль санки... Та спокойно съла снова, Пригивадилась, развалилась И, раскинувъ хвость и лапки, Приговариваеть тихо: «Бить небитаго везсть, Вить небитаго везеты» — «Что, кума, ты говоришь?» – «Да о томъ, что мы съ тобою И не сыты, и побиты!

Вдругъ откуда ни возьмися, На дорогу выбъгаетъ Изъ курятника насъдка, А за ней, раскинувъ крылья, Пътчинокъ золотопёрый.

Волкъ забылъ совсвиъ про санки Мигомъ кинулся за ними И завязъ съ кумой въ воротахъ... Цакъ ужъ тугъ они ни бились, Какъ изъ силъ всёхъ ни возились, Пётушокъ вскочиль въ окошко И во все-то горло крикнулъ:

— «Выбёгайте, дёдъ и баба, На дворё у насъ добыча, А добыча не простая». Дёдъ схватилъ съ прилавка вилы, А старуха съ печи донце, Въ двери выскочили разомъ И въ воротахъ уходили Кума съраго съ кумою...

Съ той поры у дѣда волчья, А у бабы лисья шуба. Дѣдъ съ старухой, по задворью, Дружка дружку возять въ санкахъ; А пѣтухъ съ насѣдкой ходятъ Каждый день на заработки, И хозяевамъ таскаютъ На оладън ежевику, На водянку комонику.

II.

Живая свиръль.

Вдали жилья и всёхъ дорогь, въ степи, Гдё пахнеть такъ клубникой, васильками, И то желтееть все отъ сонъ-травы, То ало все отъ мака до горошка, Жилъ пасечникъ съ женою и дітьми.

Раздолье — степь, лёнись себё на волё. Онъ такъ и ділаль, думаль да куриль, Лежаль въ тёни прохладной шалаша, А на зарё стредаль гусей да утокъ. Не спориль онъ съ хозлёкою сердитой, Не выходиль изъ пасёки отъ пчелъ, И на пролеть всё дни лежаль въ травё. Въ полудремоте, глядя въ синій воздухъ... А въ воздужё недвижно и неслыпно,

Какъ сонпые, какъ ньяные отъ жара, Предъ нимъ висили мошки, комары, Шмели сновали, золотыя мухи И гуломъ струнъ звенили въ ульяхъ ителы...

Разъ позвала дътей своихъ **хозийка**, Двухъ дочерей**, да сына— невеличку,** И такъ сказала имъ:---«ступайте дочки, Вонъ за курганомъ, у ручья, явсокъ, Грибы посибли, ягода клубника, Да кстати ножь возьмите, лыкъ наражьте, И будеть вамъ по лентв на сестру». Меньшал дочь взяла на руки брата И весело пошла къ кургану въ лесъ; Дочь старшая - была то баловинца, Любимица и прженка по сомов---Надулася, въ сердцахъ взила лукошко, Л'вниво, чуть бреда, ношла къ опущки, Легла въ камышъ, свернужась и заснужа... И синтси ей, что у сестры въ коск Двв ленты, у нея жь на шев лыко.

Воть дочь меньшая набрала грибать, Навлась ягодь, брата угостида; И видить: яблонька невдалекв, На яблонв жь два яблока такія, Что чудо, сочныя, да золотыя. Сорвавь находку, дввочка тайконъ Оть брата—прыть вь кусты и убъжала. Подъ люсовъ, слышить, ей кричить сестра:
— «Постой, куда сившишь, домой усивань—Сядь я тебъ головку расчещу»... Сестра послушалась, къ сестрв присъда И, утомленная, заснула скоро. Увидъла завистница находку. «Какія яблоки—воть чудої спить дурынка». И въ сердце ножь сестра сестрв коткиула...

Не пикнула бъдпяжка, а убійца Въ тростинкъ ее стащила и домой Вернулась, хвастам своей находкой... — «А гдёжь сестра?»—спросня отець.—«Не знав И какъ мив знать! мы порознь съ ней ходили». Искала мать, искали всё, напрасно... «Звёрь утащиль, на то, знать, Божья воля»... Погоревали такъ, потолковали, Года прошли, и бёдную забыли.

Вотъ и подросъ, сталъ бытать братъ убитой, А надъ ея костьми—какъ лысъ, камынъ Шумитъ, звенитъ, и чуть подуетъ вытеръ, Въ сто голосовъ такъ жалобно поетъ.

Заслышаль звуки ть однажды мальчикь, Пошель къ ручью, нагнуль и срвзаль стволь, Очистиль, навертыль съ боковь отверстій, Къ губамь поднесь,—и та свирыль запыла, Какь оживленная, такую пьсию:

«Потише, тише, братецъ, играй; Не рази сердца мосго въ край! Меня сестрица сгубила, Ножъ въ мое сердце воизила, За клубочекъ Ягодъ, За волотое яблочко!»

Услышаль тв слова отець, поднесь Свирыль къ губамъ, и та опять запыла:
«Потпше, тише, отець, играй, Не рази сердца моего въ край! Меня сестрица сгубила, Ножъ въ мое сердце вонзила, За клубочекъ Ягодъ, За волотое яблочко!»

О чудв томъ узнали на сель, Сбъжались люди, требують убійну, II у иси въ рукахъ свирвль запъла: «Потищо, тище, сестра, играй, Но рази сердца моего въ прай! Меня, сестра, ты сгубила, Ножь въ мое сердце вонзила, За глубочевъ Ягодъ, За золотое яблочко!»

Народъ убійну осудиль на смерть.
Онъ привизаль ее къ хвосту кони
И такъ пустиль его по вольной степи.
И гдв сестра безжалостная грудью
Ударилась, тамъ выросъ тернъ колючій;
Гдв русою ударилась косою,
Тамъ забъліла сплощь ковыль-трана;
А гдв рукой ударилась грѣховной,
Тамъ протянулись черныя могилы.
Мать бросилась за дочкою любимой,
Да какъ взглянула, такъ и замерла:
Въ степь отъ кургана руки протянула
И обратилась въ темнолистный яворъ.

III.

Озеро-слободка.

Какъ-го по озеру съ удочкой вздиль рыбакъ въ пережескъ; Рыба почти не ловилась, и сталъ онъ домой собираться. Вдругь и поймалась одна, да такая красивая рыбка, Что ни перомъ описать, ни въ словахъ разсказать не сумвешь.

Чуть онъ въ ведерко успълъ перебросить вертлявую рыбку, Тихо предъ нимъ поднялась надъ пучиною рыбка постарше, — Влъдная вся, будто кто испугаль ее, вышла наружу И человъческимъ голосомъ вскрикнула такъ надъ водою: — «Гдъ ты, дитя мое, гдъ, моя неразумпая рыбка? Стадо пора загонять; погляди, закатилося солице... Гдъ ты, откликнись, дита! али хищная цапля ръчная Въ когти изъ волнъ подхватила тебя, моя рыбка рэдная!»

Долго сновала по озеру, въ страхъ и въ трепетъ, рыбка; Долго рыбакъ, опустивни весло, съ челнока дивовался... Взялъ напослъдокъ ведро опъ, привсталъ и откликнулся рыбкъ: -- «Воть твое дигитео, воть: ты возвии свою дочку, пожалуй, По уговоръ лучие денегь: повідай по истинной правдів, Что ты за диво сама и бакіе края ваши воды?»

Выстро плеснувшись въ водё и уставя пугливые глазки, Такъ начала говорить замирающимъ голосомъ рыбка:
— «Охъ, человътъ, много лётъ той поръ, какъ на этой полянъ.

Вмісто веды, камышей и густовь, красовалась слободка, Вь шумной слободків жила на дворів па широкомъ молодка. Много добра и богатства у пей по амбарамъ лежало, Много далекихъ купцовь и мірянъ къ ней во дворь заізжало. Разъ, о полудни, она на крыльців на тесовомъ сиділа; Дочь на рукахъ убаюкавъ, съ крыльца за ворота гляділа. Видить, идеть отъ села человікъ, утомился бідшяга— Низко поклоны кладеть у вороть и у оконъ слободки: Просить онъ ковішкъ студеной воды у ребять и у старшихъ... Только не слышать ребята, играють себів по затишьямъ; Старшів жъ, кто на гумнів, кто съ иглой, али съ пряжей усілся.

Воть подошель она ке мий, говорить: -- «Твоя хижина съ право,

Глушь за гобой и поля; я же оть жары изнываю; Встань, захвати гді-нибудь мив хоть каплю водицы студёной!»—

Умъ ли померкъ у меня, и теперь разгадать не уміво; Только въ отвітъ старику и промолвила такъ, усміхансь: — «Какъ, старина, разбудить, какъ покинуть мий малую почку?

Хочешь напиться, такть воять, погляди, и ручей подъ горою; Полемъ успъешь дойти и авось не умрешь на дорогъ,— Здъсь же у насъ, въ слободъ, ты и капли воды не отъщешь!» Странникъ поникъ головой и, какъ тънь, изъ околицы вышелъ...

Вдругь слышу я, въ гишяна, по околица ввуки несутся; Точно носыпался градъ, али гда-то западали зерна... Вижу — и замеръ мой духъ: на стола самъ собой, за порогомъ,

Брызлужь кувшинъ, а за пыжъ у дверей изъ печурки илеснуло; Возгв, изъ погреба, струйка воды, словно димъ, подиялся; Миски, лохании и ведра всилывають, иссутся къ воротамъ; Имъ же навстречу, смотрю, выбъгають друге потоки! Въ ближнихъ дворахъ та же притча: исплывають шесты и заборы...

И не опомнилась я, какъ кругомъ берега поднялися; Зелено стало въ глазахъ; колыхаясь, осала слободка; Тамъ же, вверху, какъ туманъ, заходили студеныя волны...

Ты не дивися, рыбакъ, если въ озеро дневъ ты посмотрянь: Темныя кочки на див—это хижины нашей слободки; Мелкія травки—сады, а ложбинки—пруды да колодцы. Ранней зарею, пока не шелохнулись по лесу листыя, Съ берега ухо наставь ты къ водь, туть сейчасъ и услы-

Какъ далеко-далеко, подъ тобой, въ потопленнои слободкъ, Вътеръ по кровлялъ шумитъ, словно плещутся мелкія струйки,

Куры кудахчуть, п'єтухъ на гумн'в заливаєтся авенье...
И раздаются въ вод'в колокольные тихіе звуки,
Будто засохшій тростникъ оть дуновенія в'єтра
Тихо звенить надъ водой, надъ пустыпнымь прибрежьемъ
качансьі»

Рыбка замолкла, едва отливансь на зыби стемв'ввшей... Въ волны ей бросилъ рыбакъ ц'ялыхъ сутокъ добычу обратно; И, привизавши челнокъ межь осокой, обратно въ нотемкахъ Вышелъ на берегъ, безлюдный и дикій, съ нустыми руками.

IV.

Братъ и сестра.

Жили-были спроточки.
Пошли они искать себв
Промежь людей пристанища.
Не день идуть, не два идуть,
И стала ихъ жара томить;
Измучились путемъ они—
Путемъ чудо увиділи...
Наветрічу имъ мужикъ идеть,
Весь білый самъ и съ білою

Певозкою и лошадыю.

— «Не видыть ли ты, дядюшка, Ручы путемъ дорогою?»

— «Не видыть я ручья путемъ, А видыть, межь двухъ дубовъ, Пробиль погой конь ямочку— И въ ней съ дождя воды глотокъ!» Хотълъ испить усталый братъ, Сестра ему въ отвыть на то:

— «Не пей, не ней, Иванечко, Пе пей, конемъ прикинешься!»

Пошли опять съ сестрою брать, Опять жарой измучились, Онать чудо увиділи: Навстралу имъ мужикъ идеть, Весь огненный, какъ жаръ горитъ, И огненныхъ воловъ ведсть. --- «Не видель ли ты, дидюшка, Ручы путемъ дорогою?» --- «Не виділь я ручья путемь, А видель я, подъ горкою, Ступаль козель копытцами, Пробиль вы земли двв ямочки-И въ нихъ съ дождя воды глотокъі» Хотыть исинть усталый брать, Сестра ему въ отвіть на то: — «Не пей, не пей, Ивалиечко, Ие ией, козломъ прикинешьси!»

Сестра соснуть въ копив легла; Усталый брать ослушался... Испиль воды съ земли сырой И сталь мохнать, съ бородкою, И съ рожками, и съ хвостикомъ; Пошель блеять по-козьему, Траву щинать по рытвинамъ... Сестра его, какъ вскинулась, Увидъда и ахнула; Усълася подъ кочкою, Плететь косу, рыдаючи: — «Пасись, пасись, козлёночекъ, Тебя теперь не брошу я». Взошла зари вечерняя; Домой съ торговъ купецъ спъшитъ, Сталъ дъвочку разспрашивать, Узналъ про все и ей сказалъ: — «Пойдемъ со мной, спроточка; Тебъ я дамъ пристанище, А козлика рогатаго Я выкормлю и вырощу На всемъ добръ, на роскоши».

Пошла къ нему сироточка; За всемъ глядить, ночей не спить, И стала вновь кручиниться... Что день-глядить на улици Зарей стада съ полей идуть, Веселыя, сытёхоньки; Одинъ козелъ, понурившись, Домой идеть непоенный. Покормленный, всю ночь стоить-Солому рветь съ плетней и крышъ, Давай сестра купца просить; II радъ бы онъ помочь білді: Жена, въдьма сердитая, Вськъ гонить прочь оть козлика, На зло моритъ голоднаго. Пошла сестра зарей къ ракв, Да въ глубь ея и бросилась

Припаль къ ръкъ козлёночекъ, Дрожить, кричить у берега:
— «Сестра, сестра родимая!
Ты встань ко мић, ты выплыви; Меня, козла рогатаго, Колоть хотять, губить хотять, Вросать въ котлы кипучіе!»
Со дна ръки сестра ему:
— «Охъ, брать ты мой, родименькій, Не встать ужъ мић, не вынырнуть: Пески въ воді: усыпали

Всю косу мив, всю русую; Въ камышъ руки увазнуди, А грудь мою зава-тоска Сосеть-грыветь безь устали!»

٧.

Крымскій плінникъ.

Давно то было—жиль казакъ, Вакула, А по прозванію—Нальво Хатка. Быль добрый онь, быль ласковый, непьющій; Уміль колеса ділать, миски, грабли, Зимой портняжиль, льтомь по лугамь Ходиль сь ружьемь; да какъ-то зазывался И угодиль сь охоты вь плынь къ татарамь.

Его хозяннъ быль богачъ и князь, Стадамъ его въ Крыму не знали счета; Онъ пленника назначилъ пастухомъ. Зайдетъ Вакула въ стень, въ траву забъется; Да день-денской на воле и лежитъ: И голова лежитъ, и обе руки Раскинулись привольно и лежатъ; Лежатъ и ноги, шапка, чубъ и трубка... И весь лежитъ, какъ будто не живой! А тамъ, внизу, въ траве, жужжитъ комаръ, Вверху звенятъ и мчатся журавли; И не решишь, куда глядетъ, что слушатъ; Подумаешь, съ собою погадаешь, И кончишь темъ, что цёлый день проспишь.

Одна біда—тагары горемыку
Кормили власть, но строго заказали
Не пробовать того, что сами вли...
«Что туть за притча?» мыслить сталь Вакула.
Онъ разъ пришель со степи, думаль-думаль
(Татары въ лісь тогда пошли за чімъ-то),
Да и хлебнуль сь хозяйскаго горшка...
Тесть не поіль, невкусно и несытно—
Взяль палку и опять погналь овець.

Но вдругъ, чуть вышелъ въ ноло,—что за дам Сталъ попимать онъ говоръ каждой травки... Безчисленные, пестрые цвъты Качаются на тонкихъ стебелькахъ, Поводить желтыми и голубыми, Лиловыми и алыми глазками, Какъ пчелы шепчутся и шелестятъ...

И кланяются травы казоку, И говорять ему по-человічьи. Канјперъ говорить: я оть запол; Полынь кричить: а и оть лихорадки; Любистокъ увћряетъ, что ему Изивстны тайны двичьихъ сердопъ, Переступень кричить: я оть надрыва; Бодягь оть рань, исопь-оть зуда въ горти; Сорочье-мыло-отъ морщинъ, веснущекъ; И вскур ихъ голосъ чортова орешка Надъ полемъ покрываеть: «Кто меня Сорветь, тому всь клады стануть видны». — «А л,—звенить сь поляны сонъ-трава:— Я больше всъхъ васъ, тетушки и дяди, Доставлю счастыя; кто меня сорветь, Тотъ сладко, на привольт всемь уснеть, Надъ всякою работою, надъ сказкой, Надъ топоромъ, у стада, надъ указкой... И кто сорвать меня рышится, съ нимъ За тридевить земель мы улетимъ»...

— «Воть такъ находка», —думають Вакула; И онъ сорваль нахучей сонъ-травы, Понюхаль, опынныть и, вивсто травь, Вокругь себя вдругь увидвль человычковь; Всв зелены и ростомъ со стрекозу, И счета ивть въ травъ тъмъ человычкамъ. Такъ день лежаль и два лежалъ Вакула, Все слушая, что травы говорять, И глидя на зеленыхъ человычковъ... И такъ лежаль онъ, все курилъ, да думалъ, А рой годовъ надъ нимъ незримо мчалси,

И зарастать казакъ травою сталъ... И такъ сто лёть онъ ровно пролежаль.

Сто леть!—Онъ легь подь тонкить стобельномъ, А всталь подъ старымъ, коренастымъ дубомъ; Легь черноусымъ, статнымъ казакомъ, А всталъ горбатымъ, съсрючившимся дедомъ, Въ истлевшей свите, съ бородой по подсъ... И только недокуренная трубка Торчала у него между усовъ.

VI.

Снъгурка.

Жиль да быль старикь со старухой, Не было у нихъ двтей. - И сидели подъ окошкомъ, Горевали дъдъ и баба; А на улиць, падъ ръчкой, Вереница ребятишесъ Гору сибжную ленила. Воть и спрашиваеть баба: «Не пойти ли, человъче, Намъ на улицу съ тобою?» — «А и въ самомъ двлв, баба!» Отввиаеть двдь на это; И пары лепить изъ сиегу Начинають дедь и баба. — «Что вы двлаете, старцы?» Молвить, кланяясь, прохожій-Старый дряхлый, съ бородою. --- «Лвпимь дитятко!» съ усмвшкой Отвычають дідь и баба. — «Помогай же Богъ вамъ, старцы!» Молвить, кланяясь, прохожій И за ръчкой исчезаетъ...

Лъпить дъдъ изъ сиъгу ножки, Лъпить носикъ, лъпитъ ротикъ; Только вдругъ изъ губокъ бълыхъ Теплый паръ поввяль струйкой, Глазки синіе раскрылись— И красавица Сивгурка, Отряхал мягкій иней, Передъ старцемъ встрепенулась, Встрепенулась, какъ живан.
— «Крошка!—молвила старуха:— Будь отнынів нашей дочкой!» И, въ тулупъ закутавъ теплый, Унесла Сивгурку въ хату.

Воть идуть за днями ночи, За ночами дни проходять; Не по днямъ, а по минутамъ Хорошветь и милветь Русокудрая Сивгурка. Не успыть старикть съ старухой Оспотръться, оглядъться, Стала девочкой-реквушкой Русокудрая Сивгурка. Не успъли дъдъ и баба Справить ей на косы лепты, А на шубку позументы, Стала нышною невъстой Русокудрая Сивгурка. Женихи, какъ дистья въ оссиь, Къ нимъ посыпались въ ворота!

Всёмъ была она красотка, Только вовсе безъ румянцу, Безъ одной кровинки въ тёлё; Да още бывала рада Тучамъ, будто милымъ сестрамъ, Вольнымъ бурямъ да метелимъ, Будто сватымъ да золовкамъ, А туману— солвно брату...

Вокогрій-февраль спустился, Марть плачи въ долинахъ отперь, И затапли потоки... Призадумалась, замолкла И головкою поникла Русокудран Сивгурка...

Разъ, зарею ранней было, Вешнихъ водъ струи грембли; Вышелъ дъдъ, присълъ у двери И старухъ тихо молвилъ: «Посмотри, какою павой Выступаетъ наша дочка!»

А красавица Снѣгурка
Отъ рѣки, промежь заборовъ,
Коромысло взявъ на плечи,
Инла, былинкой изгибалсь
И былинкой колыхаясь,
Вся въ дукатахъ, вся въ гранатахъ,
Инла по улицѣ широкой.
Только вдругъ остановилась,
Иошатнулась, оступилась—
И тихонько стала таять.
Стала таять, словно свѣчка;
Заклубилась легкимъ паромъ
Тихо въ облачко свернулась
И разсѣялась въ лазури.

VII.

Дѣдовы козы.

Были козы у стараго двда. Посылаль старый двдь въ поле дочку, На привольв насти свое стадо; Самъ подь вечерь въ тесовыхъ воротахъ Становился въ червонныхъ сапожкахъ, Выжидалъ милыхъ козъ изъ-за сада, Вопрошаль у любимаго стада:

— «Козы дорогія, Козы непростыя! Бли-ль вы и пили, Какъ весь день ходили?» Сотписия Г. И. Данплевскаго. Т. VIII. Туть выходить поза-лиходейка, Говорить громкимь голосомь деду:

— «Ніть, не вли мы, дідь, и не нели, Кабь весь день въ чистомъ нолі кодиль Кабь біжали мы черезъ лісочекь, Ухватили пленовій листочебь; Кабь біжали потомъ надъ рівсою, Поживилися каплей одною; Только іли мы, только и пили, Кабъ весь день въ чистомъ полі кодили!»

Осерчаль старый дедь, расходился, Сталь бранить и корить свою дочку: — «Не пасла, не кормила ты стада, Наказать тебя, вижу я, надо!» И сажаль онь се въ темный погребь, Козъ пасти высываль въ поле сына. Выходила коза-лиходыйка, Дъду илакалась громко на сына, А потомъ обнесла и старуху... Дедъ корилъ ихъ, бранилъ, дивовался, Да за умъ напоследокъ и взился. Сапоги надъваль постарье, Самъ пасти своихъ козъ вышель въ поле; Накормиль ихъ травой шелковою, Напоплъ ихъ водой ключевою; А подъ вечеръ, другою дорогой Обогнавъ ихъ, въ тесовыхъ воротахъ Выжидаль милыхъ козъ изъ-за сада, Вопрошаль у любимаго стада:

> — «Козы дорогія! Козы непростыя! Бли-ль вы и пили, Какъ весь день ходили?»

Выходила коза-лиходьйка, Громко плакалась старому дъду: — «Нъть, не тли мы, дъдъ, и не пили, Какъ весь день въ чистомъ полъ ходили!

Какъ бъжали мы черезъ льсочекъ, Ухватили кленовый листочекъ; Какъ бъжали потомъ надъ ръкою, Поживилися каплей одною; Только тли мы, только и пили, Какъ весь день въ чистомъ полъ ходили!»

Туть не вытеривть дідь, на расправу За рога потащиль лиходійку: «Лиходійка-коза, лиходійка, Расплатиться теперь ты сумій-ка!» И срамиль онь ее передь стадомъ, Сікь ее за лихія лукавства, Сняль съ боковь напослідокъ ей кожу И пустиль ее такь въ чисто поле...

Но и туть та коза не смирилась;
Прибіжала въ лисичкину хатку,
Стала прыгать по окнамъ, по лавкамъ,
На чужое хозяйство насълась.
Къ ночи въ хатку вернулась лисичка,
Слышить—возится что-то такое...
Постучалась лисичка-сестричка:
— «Кто такой, кто въ лисичкиной хаткі?»
Завозилась коза за дверями,
Страшнымъ голосомъ ей отвічаеть:

— «Я коза сѣчена, Съ боковъ перемѣчена; Топъ-топъ ногами, Заколю рогами, Ножками загребу, Хвостикомъ замету!»

Безъ оглядки лиса убёжала; А навстречу ей серенькій зайчикъ.

— «Помоги ты мий, серенькій зайчикъ,
Врыкъ тебя я за то не забуду: У меня что-то страшное въ хаткв!» Прибъкали они; тихо зайчикъ Лапкой—стукъ въ затворённыя двери:
— «Кто такой, кто въ лисичкиной хаткв?» Завозилась коза за дверями, Напугала и съраго зайку:
«Охъ, боюсь я, лисичка-сестричка; Лучше мы побъжикъ за другими!»

Забъгали они во всв норы, Приводили съ собой на подмогу И грача трубача, и лягушку-Скакуна, и сжа пъхотинца, Всьхъ великихъ звърей и звърющекъ... Но никто самъ собой не рышался Посмотреть, кто забрался къ лисице; И рышился линтай и трусишка, Ракъ ползунъ и хромой лежебока... Онъ тихонько, бочкомъ, перебрался За порогъ; увидалъ, что за диво Расходилось въ лисичкиной хаткв, И пошелъ расправляться клещами... Безъ оглядки коза припустилась; Иа нее пападали всв эвери-И гуртомъ за лихія лукавства Разрывали ее по кусочкамъ.

VIII.

Младенцы-утопленники.

Пиль себв человыть небогатый, Съ молодою женою и съ сыномъ.

Разъ ходиль опъ по нивів за плугомъ, Видить: возлів, за нимъ, по полишів, Ходить старець, съ сідой бородою.

Воть и сталь человыть побогатый Говорить за работою старцу:
— «Ты скажи мив, скажи, человыте, Для чего за волами ты ходишь, И какая теб'й нь томь охота?» Отв'ячаль ему старець прохожій: — «Для того я хожу за волами, Что хочу у тебя допытаться: Ты скажи мні, но правді, по чистой, Легче-ль юношів тажкое горе, Или дряхлому, старому старцу?» Отв'ячаль челов'якь небогатый:——Легче юношів тяжкое горе». Но, едва онь слова ті промолвиль, Надъ поляною старца не стало; Обломались колеса у плуга, И волы на траву повалились...

Воротился домой горемыка, Ни двора, ни хозяйки, пи сына— Все огнемъ у него погоріло! Погляділь на свое пепелище, Покачаль головой горомыка И пошель наниматься по людямъ.

Не сгорвять его сынть, не почибнуять; Приключилось ст нимть дивное диво... Онть сидвять въ тростник в надъ водою И поймалъ окунька да плотичку. Только чуть потянулъ онть плотичку, Краснопёрая рыбка плеснулась И на дно за собой утащила Вмъсть съ удочкой въ волны малютку...

Сталь играть день и ночь у плотички, Въ водныхъ плёсахъ, утопшій малютка; Съ дітворой платовливой плотички Сталь изъ раковинъ домики строить, Изъ травы городить огороды. И такія жъ, какъ самь онъ, пичужки, По ріжамъ утонувшія крошки, Отовсюду къ нему собралися; Сталь надъ ними онъ въ играхъ владыкой И забыль въ водномъ омуті землю,

И отца, и родимую катку...
Такъ промчалися многіе годы!
А отецъ его съ лютаго горя
Одряхліль, посіділь, бросиль домі, свой
И съ сумою пошель вдоль по міру...
Много літь онь ходиль неутінный
И присіль отдохнуть надъ рікою.
Той порой, съ своимь войскомъ подводнымъ,
Въ вольныхъ плесахъ різвился малютка;
Изъ воды погляділь на прибрежье
И оть жалости чуть не заплакаль...
Видить возлів, у самаго плеса,
Пригорюнился старець прохожій
И, какъ малое дитятко, плачеть.

Опустился на дно соглядатай— Сталь скликать свое вёрное войско И повёдаль, что видёль на свётё... Расшумёлося рёзвое войско: Это, вёрно, завистинцы-рыбы Разобидёли бёднаго старца! Бросимъ ихъ мы зато всёмъ народомъ, «А его, чёмъ сумёсмъ, утёшимы»

Поглядёли малютки, какъ старецъ Надъ рёкой задремаль, потихоньку Наносили къ ногамъ его всякихъ Спелыхъ ягодъ, дупистаго меду, А въ суму драгоценныхъ жемчуживъ. Той порой надъ полями, холмами, Паутинное лёто столю, — По холмамъ, по доламъ паутинки Надъ землей до небесъ протянулисъ. Колыхалсъ, по вётру летёли... И по тёмъ золотымъ паутинкамъ, Какъ по нитямъ развешенныхъ лёстищъ, Поднялосъ, успоконешнсъ, войско Утопувшихъ на свёте младенцевъ, — Въ небо синее всё улетъли.

IX.

Смоляной бычокъ

Жиль да быль старикь съ старухой.
Воть старуха и давай просить:
— «Ты слепи мив, дедь, слепи бычка
Изъ смолы, изъ вару чернаго!»
Какъ слепиль старухе дедъ бычка,
Гнала въ степь она пасти его;
Подъ ракитою садилася,
Да и стала приговаривать:

«Ты пасись бычокъ, по выгону, Пряжу я тімъ часомъ выпряду; Ты пасись, пасись по травушкѣ, По муравушкѣ-дубравушкы»

Поплелась старуха къ выгону. Ивъ-за темныхъ горъ медведь бъжить, Раскричался, разаукался:

— «Кто туть ходить, кто такой, Откінай передо мной!» Смоляной бычокь вь отвіть ему: «Такъ и такъ, бычокъ я маленькій, Изъ простого вару слаженный!» Говорить медвідь, подумавни:

— «Коль бычокь ты не простой, Коль и вправду смодяной, Дай смоды ты инъ комокь, Позамазать рваный бокы»

Смоляной бычокъ на эту рѣчь Не перечить, соглашается. Принился медвъдь смолу сдирать И завизиль зубы вострые...

Смотрить баба, передь вечеромь, Къ воротамъ бычокъ бычомъ быжить, Волочетъ медвади бураго. Увидалъ старикъ, разахался; Заперевъ въ погребъ косолапаго, А зарей старуха, до свъту, Гнала въ поле вновъ бычка пасти.

Выбёгаеть волкь изъ темныхъ дозъ, Сталъ кричать, съ бычка смолу сдирать, И завязилъ зубы вострые...

Приволокъ билокъ и страго, Черезъ день стащилъ къ околицъ Онъ лисицу Патрикъевну, Нобродягу и курятницу, А за ней и зайку бълаго, Скомороха и капустника.

Вотъ, когда ихъ понабралося, Дъдъ садился передъ погребомъ, Начиналь точить на камив ножь. Той порой медвідь разспрашиваль: – «Для чего, чего ты, старый дідъ. У порога точишь вострый ножь?» — «Для того, что шубу зимнюю Шить мы съ старою задумали!» — «Ты меня не трогай, діздушкаі— Говорить медвідь изъ погреба:— Прикачу тебь за это я Бочку меду, меду чистаго!» Дъдъ пускаль на волю Мищеньку, Вновь точиль на камив вострый ножь. Сърый волкъ изъ ямы спрашивалъ: -- «Для чего, чего ты, старый діздь, У порога точишь вострый пожь?» - «Аля того, что шапку на зиму НІнть съ старухой мы задумали!» – «Ты меня не трогай, дѣдушка!— Говорилъ ему изъ ямы волкъ:---Отплачу тебі за это я, Пригоню табунъ коней степныхъ!» Дъдъ пускалъ и волка съраго, Вновь садился ножъ точить-вострить

На лису онъ Патриквенну
И на зайку косолапаго.
Дъду нужны были о-зиму
Рукавицы на морозный день,
На метель, на снъгъ наушники.
Слезно дъду оба плакались,—
Притащить лисица старому
Всякой птицы вызывалася,
А старухъ бълый заиныка—
Лентъ, мониста самоцвътнаго.

Выпускаль на волю всёхъ старикъ, Самъ садился на завиленку, Говорилъ съ своей старухою.

Не успъла зорька ясная Закатиться за околицу, Стало слышно, долъ шумить, гудить, По горъ медвъдь къ околицъ Катить бочку меду чистаго; Гонить волкъ табунъ коней стенныхъ. Не успъль туманъ нокрыть луга, Замолчать, заснуть околица, Стали слышны крики всякіе: Ко двору лисица хлыстикомъ Гонитъ куръ, гусей и лебедей; А укъ зайка, зайка бъленькій, Просто диво сдълаль дивное,...

Прибъжать въ село онь дальнео (Посидълки тамъ сбиралися),—
Подъ порогомъ мегъ и ну кричать:
— «Охъ, спасите, дъвки, заиньку;
Обогръйте меня, красныя!»
Взяли дъвки въ хату заиньку,
Обогръли его, куцаго.
А когда его на радостяхъ
Нарядили дъвки красныя
Въ ожерелы, въ ленты алыя
И въ монисто самоцвътное,—
Началь бъгать бълый заинька,

Да къ окошку ближе, ближе все, Поглядълъ, прыгнулъ и былъ таковъ... Ужъ и гнался жъ онъ проселками, Ужъ и гнался жъ опъ окольными

Прибъжать къ избъ, запыхавнись, И давай стучать, въ окно кричать:
— «Отворяй ты двери; бабушка!
Принимай ты гости дальняго;
Гости дальняго, знакомаго,
Не съ пустой мошной, съ подарками;
Полно охать да печалиться,
Часъ пришелъ и покуражиться!»

X.

Б в сы.

Разь въ судв было двло такое: Сталъ богачъ за избенку тигаться Съ сиротою, убогой вдовою. За него и почетъ, и попойки, И дукаты усердно хлопочатъ; За нее только слезы да горе. Долго двло по судамъ тянулось; Разорилась совсвиъ горемика.

Вогачу не въ избенкѣ находка, Да себя показать захотвлось.
Вотъ, зовутъ ихъ на судъ напоследокъ!
Передъ ними читаютъ решенье:
Богачу все отдать присуждають...
Залилась сирота тутъ слезами:
— «То была я бёдна и убога,
А теперь еще стала бёднѣе!»
Поклонилась она низко судъямъ
И пошла со двора безъ оглядки.
А богачъ ей кричитъ изъ окопика:
— «Такъ и надо вамъ всёмъ, нопроизатамъ,
Чтобъ не очень носы задирали!»
Тутъ откуда передъ нижъ на возъяксъ

Человвчекъ, какъ уголь, весь черный, Курьи ножки и хвость закорючкой; Говорить богачу сь укоризной: · «Эхъ, ты свать, какъ тебь не зазорно! Оттягаль ты у нищей избенку, Да еще и глумишься надъ нею!» Раскричался богачь, расходился: — «Какъ ты смень соваться съ укоромъ? Да мое, слышь ты, правое дёло Такъ решили законно и честно, Что и чорту бъ во снв не приснилосы!» Отозвался ему человвчекъ: -- «Какъ тамъ дело твое ни решили, Только чорта напрасно ты вспомнилы!» Оъ этимъ словомъ онъ ножкою шаркиулъ И пропаль, какъ сквозь поль провадился. По дворамь разошлися всв судьи, Скоро смерклось, и всв улеглися.

А въ глухую-то самую полночь-Растворились всв окна и двери. Стали всв выбъгать за ворота.. Въ темнотъ, межъ дворовъ, тихимъ шагомъ, Оть конца до конца черезъ городъ, Показался невиданный повздъ: Поднимая десятки чернильницъ И неся очиненныя перья, Вдоль по улицъ двигались черти... И такія все рыла да хари: На одномъ былъ мундиръ полицейскій, На другомъ канцелярскій фрачишка; По бокамъ пауки, черепахи, На метлахъ съ протоколами крысы; **А** съдые, стольтніе бъсы Съ сургучомъ и съ большою нечатью. Въвхаль победъ на главную площадь. Распахнулись въ судв настежь двери, Стали бъсы всходить по ступеныкамъ; Они свли рядкомъ, засветили Вкругь стола погребальныя свички И всю ночь напролеть судъ суднан;

А на-угро, передъ тою порою, Какъ кричать пътухамъ приходилось, Всей ордой на гербовой бумагъ Черти свой приговоръ прописали, Приложили бъсовскія лапы И опять черезъ городъ, попарно, Потинулися тъмъ же порядкомъ...

Стали судьи къ крыльцу собираться; На судейскомъ столь, посрединь, На гербовой бумагь такое Изреченье передъ ними лежало: - «Душегубы и воры вы, судьиі Покривили душой вы не мало; Воротите вдов'в все, что взяли, За убытки жъ ея и обиду, Всякъ именьемъ своимъ поциатитесь... А не то-будеть вамъ на орвхи!» Межь собой переглянулись судьи: - «Н'Іть! не дурни на севть мы родились, «Чтобъ послушать лукаваго бъса!» Со стола подъ сукно тихомолкомъ Они сунули туть же рышенье И судить по м'встамъ вновь усвлись. Только глядь, а стряпня-то нечистыхъ На сукио виовь предъ ними ложится...

И ужъ какъ они тутъ не вергілись, А послушались воли бізсовской.

XJ.

Ивашко.

Жилъ-былъ себв когда-то двдъ да баба; У нихъ былъ сынъ, по имени Ивашко. Подросъ онъ, справили ему челнокъ, И сталъ онъ вздить съ удочкой по рыбу. Отъвдетъ озеромъ, молчитъ и ждетъ, Покамъстъ рыбка поплавокъ не клюнетъ. А въ темной глубинъ нодъ нимъ, вверхъ днемъ, Другой челновъ, качанся, плыветь,— На челновъ сидить другой Ивашко, И вкругъ него такая тишь, да глушь... Придеть въ объдъ къ нему старуха-мать И такъ поеть, зоветь его на берегъ:

> «Ивашко мой, Ивашечко, Приплынь, приплынь ты къ берегу; Я съ слободки пришла, Тебъ всть принесла!»

Услышить голось матери Ивашко И такъ на зовъ ей тихо отвъчаеть:

> «Плыви, плыви ты, челнокъ, Выплывай на бережокъ; Ко мив мать пришла, Мив всть принесла!»

Заслышала тв пвсни злан ввдьма И рвчью матери изъ-за кустовъ Ну подзывать на берегь рыболова. Ивашко ни гу-гу, узналъ уловку И про себя вполголоса поеть:

«Дальше, дальше ты, челнокъ, Не плыви на бережокъ...»

Вебесилась вёдьма, въ кузницу бёжить: «Кузнецъ, кузнецъ, скорве скуй мнё голосъ Такой, какой у матери Ивашки!..» Раздуль кузнецъ огонь, досталь клещи, Нагрёль ихъ, ухватиль за горло вёдьму И сталъ ковать, причитывая такъ:

«Куйся, куйся, голосъ злой! Стань добрый, Пой нёжнёй...»

Вернулась відьма въ лість, запіла ніжно, Въ прибрежный иль Иванку заманила, Въ мъшкъ снесла его къ себъ домой И такъ Алёнкъ дочкъ приказала:

— «Неси дрова, топи скоръе печь, Да жарче протопи мић, баловница! Умой, напой и накорми Иванку, И на объдъ его зажарь въ печи, - А и пойду, провътрюся маленько».

Нагрвла нечь Алёнка, накормила
Ивашку и наставила лопату:
— «Ну, сердце, пользай да погляди,
Я хорошо ли вытопила печку?»
Прикинулся Ивашко, что не поняль,
И голову слегка просунуль въ нечь.
«Не такъ!»—Съ лопаты онъ продвинуль руку.
«Не такъ!»—Опъ погу въ печку протянуль.
«Не такъ, не такъ!»—«Такъ какъ же? я не знаю!
Ты покажи сама мив папередъ».

Бочкомъ Алёнка сёла на доцату; Ивашко толкъ ее, приперъ заслонкой, Да за порогъ и на осину взлёзъ. Приходить вёдьма, дочь Алёнку съёла И пачала внизъ по горё кататься:

> «Покачусь, повалюсь, Закусивъ мясцомъ Ивашкиі»

А съ дерева Ивашко ей въ отвътъ:

«Покатись, повались, Закусивъ мясцомъ Аленки!»

«Что бъ это было?»—мыслить людовдка И говорить, покатываясь вновь:

> «Покачусь, повалюсь, Закусивъ мясцомъ Иванки!»

Ивашко ей съ осины отвичаеть:

«Покатись, повались, Закусивъ мноцомъ Алёнки!»

Завыла відьма, кинулась къ оснив И ну ее въ безсильной алобі грызть. Грызеть она, Ивашко жъ видить—гуси Летять, и ихъ съ вершины сталь просить:

> «Гуси-гуси, лебедята, Дайте мив свои крылята! Унесите вы скорви Сына къ матери моей! Тамъ мы будемъ въ волв жить, Сытно всть, медъ, пиво пить!»

Но гуси надъ Ивашкой пролегаютъ И такъ ему изъ облаковъ въ отвътъ:
«Пускай теби возьмуть иные гуси!»
Тъмъ часомъ въдьма зубъ переломила И къ кузнець опять въ село бъжитъ:
— «Кузнець, кузнецъ, скоръе скуй миъ зубъ, да поплотивій, изъ чистаго желіза!»
Бъжитъ назадъ опять къ осинъ въдьма, А гуси надъ Ивашкой пролегаютъ И съ облаковъ опять ему въ отвътъ:
«Пускай тебя возьмутъ иные гуси!»
Качнулся стволъ, Ивашко сталь ужъ падать...

Но туть последній гусь изъ всей ватаги, Общипанный, голодный, безъ хвоста, Его услышаль, подхватиль съ осины И поднялся съ нимъ вплоть до самыхъ тучъ. Оть злости ведьма обернулась въ вихорь, За беглецомъ вдогонку понеслась; Но дунуль ветеръ и развелль вихорь.

А той порой Иванко опустился
На крышу хатки; слынить—подъ окномъ
Вечеряють отецъ и мать-старуха
И дълять межь собою пироги:
— «Вотъ пирожовъ тебъ, а этотъ мий»

«А мнв?»—Ивашко спращиваеть сверху.
«Что бъ вто было?»—крестится старуха
И вновь со старымъ двлитъ пироги:
«Вотъ пирожокъ тебв, а этотъ мнв!»
«А мнв?»—опятъ перебиваетъ кто-то.

Туть оть окна вскочили дідъ и баба, Ивашку съ гусемъ на землю спустили, И не было ихъ радости конца.

XII.

Каратышка.

Въ некоторомъ царстве небываломъ, Въ нашемъ увздв немаломъ, Жиль мужикь, небогатый человькь, Плотничаль и кручинился весь свой выкъ. Воть и родила ему хозяйка сынишку, Да такого-то Каратышку-невеличку, Что усвлен бы онъ верхомъ на муху, Когда бъ на мухв верхомъ кто вадилъ; И пролъзъ бы въ иголочное ухо, Когда-бъ притомъ не носище, Величиною чуть не съ топорище. Пожалъ плечами горемыка, Говорить хозяйкѣ:-«Воть, поди-ка; Родила ты мнв на смвхъ ребенка, Не то воробы, не то котенка!» Невеличка выглянуль съ печи И къ отцу на такія річи: — «Это еще не беда, что и невеличка; Когда-бъ не посъ, ко всему бываетъ привычка. Ты подай-ка мив все, что пожелаю, Такъ л тебв и за десятерыхъ наверстаю!» Сталь мужикъ за ухомъ чесаться, Сталь, глядя на сына, слегка утвшаться.

А сыпишка и впрамь догадался, За умъ, не тераючи времени, взялся: — «Собирайся ты, батько, съ дълами; Побдемъ мы въ лѣсъ за дровами!»

— «Да какъ же намъ ѣхать, когда нѣтъ у насъ вовсе
Ни коня, ни хомута, ни воза!»

— «Ничего,--говоритъ весело Каратышка:
На такое дѣло станетъ умишка!»
Откопалъ башмакъ, изловчился
Запрягся въ него и пустился.

Воть вдеть навстричу, въ рыдвани, Панъ судья, а съ нимъ вельможная пани. «Пади!» — кричитъ Каратышка съ мосточка. Конюхъ смотрить: не то человъкъ, не то кочка. Спрашиваеть судья:—«Эй ты, плотникъ, Что это у тебя за работникъ?» Отвъчаетъ мужикъ безъ утайки: — «Дождался я сына отъ хозяйки; . Ростомъ онъ совсемъ съ рукавицу, А, поди, раскуси эту птицу! Хоть и маль, а въ дъль не сплощаетъ И за десятерыхъ наверстаеть!» Расходилась въ рыдванъ судьиха... — «Это не тебь чета!»—говорить мужь тихо: Покупай мив сейчасъ Каратышку; Если спросять, давай и лишку, А безъ него я жить не стану, Засохну и завяну!» Дълать нечего, судья вздыхаеть, Кошелекъ вынимаетъ, въ торги вступаетъ И береть Каратышку вь бумажку, За анисовой водки фляжку, За пригоршию цваковыхъ, Да за три кафтана новыхъ. Повхаль Каратышка въ рыдванв; Судьиха держить его въ карманъ. Дорогой онъ толкался и возился, У господъ пров'втриться просился. Господа бумажку раскрывали, Его побъгать, опростаться пускали; И онъ обгаль, скакаль, кругиль носомъ, Прибиваль пыль по колесамъ... А отецъ домой воротился, Сочиненія Г. П. Данилевскаго. Т. VIII. 9 Строить новую хату заходился; Накупиль полотна, хлёба въ волю И сталь благодарить долю: «Ай да сынишка! кабы онъ догадался; Да почаще бы судьихамъ попадался!»

Вотъ, не прошло недѣли, Двери новыя въ хатѣ заскрипѣли. Прибѣжалъ домой Каратышка, Еле ноги волочитъ, напала одышка; Тоненькій, дрябленькій, еще жиже: Узналъ жизнь-то поближе! Только ничего, переждалъ, откормился, Опять думать о дѣтѣ заходился:
— «Это что еще, батько, за доля, Что у тебя хата, а нѣтъ своего поля? Нельзя ли намъ приловчиться, Чтобъ и вовсе на волю откупиться?» Отецъ сказалъ: «ладно!» И дѣло пошло у нихъ складно.

Говорить Каратышка: «Нашу поляну
Пахать я однимь воломь стану».
— «Да какъ же однимь? воть заврался!»
Каратышка, однако, подобрался;
Поюлиль, пофинтиль и прыгь волу въ ухо,
Начинаеть тамь ёрзать и орать, что есть духу.
Воль струхнуль, замоталь головою
И пошель илугомь рыть, какъ иглою...
Не успъль отець надивиться,
А ужъ дъло къ концу и валится.

Смотрить, тыть часомы вдеть карета, Въ ней помыщикъ и дочка куколкой разодыта; . Такая барышня красотка, Хоть какому женику находка. Увидыль помыщикъ, дивуется диву: «Какъ одинъ воль пашеть цёлую ниву?» Закричаль мужику: «Эй ты, пахары! Колдунъ ты какой, или знахарь? И какъ это воль у тебя посиваеть,

Что съ плугомъ такъ по полю шныряеть?» Мужикъ говоритъ: «Это мой сынишка; Ростомъ онъ Каратышка И цочти съ рукавицу, А, поди, раскуси эту птицу!» Вышель помъщикь изъ кареты, Крикнулъ Каратышкь: «Гдв ты?» Парень на землю фертикомъ вышелъ, Подбоченился, козыремъ ходитъ, будто не слышалъ; Взядъ у отца трубку, курить, На пом'вщичью дочку глаза щурить... Стала туть барышня влюбляться, Стала съ отцомъ въ кареть шептаться: «Ахъ, папенька, какое жъ это диво, Что такой невеличка и одинъ пашеть ниву! Ты купи мив, купи Каратышку, Если спросять, давай и лишку, А безъ него я жить не стану, Засохну и завяну!»

Дълать нечего: помъщикъ вздыхаеть, Кошелекъ вынимаетъ, въ торги вступаетъ И береть Каратышку съ собою, За шкатулку, съ дорогою казною, За непростую, росписную; Въ той шкатулкъ лежали барышнины гребни, Духи, колечки, наперстки и серьги И всякія зелья и примочки, Чамъ барышни румянять себь щечки, И отчего женихи ихъ любять, И чемъ оне родъ мужской губять... Завернули господа Каратышку въ бумажку И примчали домой въ одну упряжку. Барышня его въ кармашкъ держала, Всю дорогу на воздухъ не пускала; Какъ онъ ни толкался, ни возился, Какъ у господъ провътриться не просидся... А мужикъ воротился съ казною, Припъваючи, зажилъ на покоъ И забыль совсьмъ про сынишку, Про лихого «пройди-свыта» Каратышку.

Только разъ колокола загремъли
По улицѣ новыя сани пролетъли;
Барчёнокъ подъѣзжаетъ къ хатѣ:
Въ собольсй шанкѣ, въ шелковомъ хадатѣ,
Въ зубахъ торчитъ трубка, бровями моргаетъ,
Руки въ боки, самъ фертомъ выступаетъ;
Совсѣмъ-то красавчикъ, когда-бъ не носище,
Величиной чуть не съ топорище.
На крыльцо съ надворъя важно онъ всходитъ,
За бълую ручку жену свою вводитъ,
Да такую толстушечку, пыхтушечку,
Изъ лица совсѣмъ игрушечку:
Поступь лебединая, щеки--красны маки,
И что вся не краля, это только враки!

Молодые прямо, какъ вошли съ дороги, Слова не сказали, родителямъ въ ноги; Съ ними шли рядочкомъ малыхъ два сыницка, Точь-въ-точь, какъ отецъ ихъ —оба каратышки. Вслёдъ за ними слуги несли изъ кареты Всякое добро и тряпьё безъ смёты, Строили господамъ новую палату, Не то, чтобъ курень или хату— На славу жилище, Чуть не съ гору, какой городище!

Вотъ вамъ и сказка, Мић бубляковъ вязка, Говорилъ дћдъ Лукашка, Латанная рубашка.

XIII.

Лъсная хатка.

Какъ жили, да были старикъ и старука, У старой и стараго было по дочкъ. Вотъ баба и стала приказывать дёду: «Вези, старый хрънъ, со двора свою дочку, Вези куда знаешь, вези, да и только!»

Старикъ не перечить, береть свою дочку, Везеть ее льсомъ: въ льсу стоить хатка.

— «Сидн моя дочка, сиди, дожидайся, Нока я въ овражекъ схожу за дровами!» Уходитъ старикъ, првцвиялъ потихоньку У самой у хатки на ввтку дощечку... Дощечка отъ ввтра стучитъ по березв, Долбитъ словно дятелъ, о бвлу кору. Ждетъ двдова дочка, сама размышляетъ: «То батюшка рубитъ въ овратв полвнъя!» Румяная зоръка по залесью гаснетъ, А двдъ не приходитъ съ дровами изъ леса!

Вотъ стало темиве, кругомъ затихаетъ, И вдругъ въ отдаленьи послышался грохотъ: Стучитъ и гремитъ, сукъ за сукомъ ломаетъ, Безъ ногъ «Голова Лошадиная» мчится...

Къ избъ Голова подкатилась и молвить: — «Дівионка! дівионка! открой мив ворота!» Послушалась двдова дочка, открыла. — «Дъвчонка! дъвчонка! съ порога на лавку Меня посади ты, меня накорми ты И спать на постелю меня уложи ты!» Послушалась дочка: ее посадила, Ее накормила, въ постель уложила И сказки ей на ночь еще говорила. — «Дівчонка! дівчонка! теперь полізай ты Мить въ левое ухо, а въ правое вылызь: Тебя награжу за почеть, за послугу!» Туть дедова дочка, не молвя ни слова, Нагнулась, полъзла ей въ лъвое ухо, А правымъ наружу, какъ дверкою, вышла... И стала она красоты несказанной, Царевною села въ рыдванъ золоченый, Серебряный конь ее вывезъ изъ льса; Къ отцу завезла на слободку подарки, И всь выбытали-глядыли, какъ бдеть Царевна въ свои государскія земли...

. и выть ли, за холодомъ зимнимъ, по бълому свъту; . . ізла баба приказывать дізду: при ты теперь, старый хрвнъ, мою дочку, живозилъ и свою, да скорће!» старакь не перечить, береть ея дочку, у кочка была преехидное зелье; она и руками, она и ногами, (а только осилилъ ее старичина. Побхать онъ лесомъ, въ лесу стоить хатка... И сталь говорить онъ: «сиди, дожидайся, Пока я въ овражекъ схожу за дровами!» Ушель и опять прицапиль потихоньку У самой у хатки на вътку дощечку... Дощечка отъ вътра стучить по березъ, Долбитъ, словно дятелъ, о бълу кору... Ждетъ бабина дочка, въ сердцахъ размышляеть: «Когда бъ его волки скорве завли! Сидишь, какъ колода, а толку ни крошки!»

-Онять затемнило по старому лису; Опять въ отдаленьи послышался грохотъ: Стучить и гремить, сукъ за сукомъ ломаеть, Безъ ногь «Голова Лошадиная» мчится... Къ избъ Голова подкатилась и молвитъ: — «Двионка, двионка, открой мив ворота!» «Не знатная пани, сама ты отворишь!» «Дѣвчонка, дѣвчонка, съ порога на лавку Меня посади ты, меня накорми ты, И спать на постелю меня уложи ты!» -- «Не знатная пани, сама ты и сядешь, Сама и натшься, сама же и ляжешь!» — «Дівчонка, дівчонка, теперь полізай ты Мић въ левое ухо, а въ правое выльзь: Тебя награжу за почетъ, за послугу!» Туть бабина дочка смекнула, въ чемъ дъло: Нагнулась, пол'взла ей въ л'вое ухо, А правымъ наружу, какъ дверкою, вышла,--И стала, да только не пышной царевной, А старой-престарой, беззубой каргою!..

Домой доплелася, стучится въ ворота— Взглянулъ на пее старый дедъ, да и плюнулъ.

XIV.

Смерть

Въ чистомъ полъ косарь косилъ съно, Вдругь за что-то коса зацъпилась И въ рукахъ у него зазвенъла.

— «Эхъ, коса наскочила на камень!» Говорить онъ, и все себъ коситъ.

— «Да! держи ты карманъ, простофиля!--- Говоритъ у него подъ ногами:— Гдъ ты видълъ такіе каменья?»

Смотрить въ землю косарь: что за чудо? Передъ нимъ поднимается кочка, Будто кротъ ее роетъ, все больше, И становится лютою Смертью, Что въ церквахъ на страхъ людямъ малюютъ, Что на ней и тряпья, и лохмотьевъ, И лица человъчьяго ивту; Замахнулся косарь на хрычовку, Извести ее думаетъ разомъ. - «Нѣтъ, постой, куманёкъ; что за радость Извести меня, старую, даромъ? Ты меня отпусти, а за это Я тебя научу, да такому Что какъ выйдешь, да по міру глянешь, Загребать станешь деньги лопатой!» Уговоръ тутъ они заключили; Посудили слегка, порядили, И пошли всякъ своею дорогой — «Ты ступай, —ему Смерть провъщала: — По дорогь льчи всьхъ недужныхъ; Съ этихъ поръ я тебъ стану зрима. Только глянь, гдв въ светлице я стала: Если стала въ ногахъ у больного, Значить, кинеть недужнаго немочь; Если же въ головы и помъстилась,

Отъ недуга ему не подняться!» Въ путь собрался косарь тёмъ жё часомъ, Сталь лёчить всёхъ больныхъ и недужныхъ; И засыпали знахаря въ волю Самоцвётные камни и жемчугъ, Дорогія парчи и дукаты...

Только воть, какъ ужъ онъ пообжился И въ мъшки какъ по горло зарылся, Призывають его о полночи Къ одному богачу на подворье. Глянуль онь и задумался крыпко: Надъ больнымъ, у пуховой постели, Прямо въ головы Смерть помъстилась, Держить косу въ рукахъ наготовв. А богачь его голосно молить: -- «Помоги ты мнь, брать, сдълай милость; Л'вчишь ты всвхъ больныхъ и недужныхъ; Я въ долгу у тебя не останусь---Дамъ тебъ по заслугамъ награду: Половиной добра и богатства За твои за труды поклонюся». Началь туть про себя думать знахарь: «Что за бъсъ, да и что за причина? Отчего не надуть мит и Смерти? Въдь случается льчить же въ свътъ И такихъ, что давно отпевають!» Принимается онъ за больного, Говорить: «ты не бойся, я справлюсь». Только къ утру больной, передъ светомъ, Свою душеньку Богу и отдалъ...

Не усибло пройти и недбли, Непохожь на себя сталь и знахарь: Ходить, голову низко повъсиль, Все ему и противно, и тошно, И на свъть не глядъль бы, казалось. Повалился какъ снопъ онъ въ постелю, Зажигаетъ кругомъ себя свъчи, Куритъ ладаномъ, молитси кръпко, А въ окошко швыряетъ дукаты,

Созываеть убогихь и нищихъ; Вкругь себя самъ боится и глянуть: Смерть стоить у него въ изголовье!

Кличетъ върныхъ онъ слугъ на нодмогу, Переставить велитъ свое ложе, Повернутъ головами къ порогу...
Переставитъ его потихоньку, Въругъ себя по свътелъв онъ глянетъ—Смертъ опятъ у него въ изголовъв, Держитъ косу въ рукахъ наготовъ! Напослъдокъ она провъщала:
— «Отложи ты свое попеченье; Не быватъ тебъ больше поблажки! Какъ лъчилъ бы ты честью, да правдой, То еще бы на свътъ ты ножилъ!» Тутъ недужнаго кара лихая Подхватила и кинула д-земь...
Такъ и отдалъ онъ душеньку Богу!

XV.

Сонъ въ Ивановскую ночь.

Три брата, и они же три Кондрата, Задумали повхать въ степь когда-то, Чтобы втроемъ, полночною прохладой, Засъять лугъ арбузною бакшой. Побхали за дъломъ казаки И захватили въ путь съ собой припасовъ: Одинъ Кондратъ взялъ трубку и кремень, Другой Кондратъ табачныхъ корешковъ; А третій задумалъ взять огниво, Да какъ-то замотался и забылъ... Вспахали братья къ ночи десятину И вздумали вздохнуть и покурить...

Туда-сюда, табакъ и трубка есть, А вырубить огия, хоть тресии, нечвиъ. Вотъ младшему Кондрату два Кондрата Изъ старшихъ. помолчавъ, и говорятъ: — «Вонъ подъ горой, у рѣчки, огородникъ, Поди, не раздобудешься ль огнива?»

Идеть Кондрать и видить въ темнотв, У куреня сидить седой старикъ И молча курить глиняную трубку. «Дай, дъдъ, огня».—«Дамъ, а разскаже́шь сказку?» «Да не ум'єю...» — «Присказку скажи!» «Не смью!»--«Ну, такъ я съ твоей спины, «Оть головы до пять, скрою ремень». — «Нъть, дъдъ, постой, ужь такъ и быть: я сказку Надумалъ. Только слушай, -если ты Меня собьещь на словь, или скажещь: Сбрехалъ, неправда!-я съ твоей спины Ужъ не одинъ, а два ремня скрою». — «Изволь».—«На ярмарку, за бочкой дёгтю Отецъ мой на твоемъ отцъ верхомъ...» — «Какъ, на моемъ отцъ? да врешь...»—«А слово? Давай-ка снину!.. стой, не убъжишь». Но дъдъ вскочилъ, заткнулъ за поясъ полы И ну бъжать... Кондрать вследь за нимъ, Кричить, ножемъ ему грозить и машеть, Да вдругъ впотьмахъ о что-то поскользнулся, Упалъ и ножъ куда-то уронилъ, Глядить -- а ножъ его воткнулся въ дыню И, какъ въ водъ, въ ней съ ручкой утонулъ.

Кондрать въ досадь, жаль ему ножа; Разулся и пользъ въ отверстье дыни—
Глядить, а тамъ ужъ бродить человъкъ.
«А! кумъ Кондрать!»—«Здорово, кумъ Данило! Куда тебя нелегкая несеть?..»
— «Ищу воловъ, а ты?»—«Ищу ножа».
— «Напрасно, брать, смотри, какая темень! Ни зги не видно... Подождемъ зари!»
— «Готовъ, но скука; развъ скажешь сказку?»
«Изволь, но чуръ—дослушать до конца...
«Жила-была красавица казачка, Высокая, степенная, лихая, И многіе къ ней сватались въ селъ.
Но больше всъхъ ей два пришлись по нраву,

А именно-сапожникъ и кузнецъ. Кузнецъ еще и такъ, и сякъ, сапожникъ Такъ тотъ и свадьбу скоро заварилъ. – «Постой же, —думаеть кузнецъ въ досадѣ: — Я проучу тебя, ременный шовъ!» Идетъ онъ разъ съ казачкой по селу И видить, пара новыхъ сапоговъ Торчить въ окно сапожниковой хаты. — «Воть диво!»—говорить кузнецъ.—«А что?» Да то, что твой женихъ мертвецки пьётъ, Чуть выпиль, и протянеть въ окна ноги. Да такъ весь день-денской лежить и спитъ». Задумалась о жених в казачка, Но думала недолго: пьяный мужъ. Зато какіе шьеть онъ башмаки! Сошлось на свадьбу целое село. Кузнецъ туда жъ, но прежде потихоньку На угольяхъ подкову раскалилъ, Щипцами взялъ ее, подъ полу спряталъ И такъ пришелъ къ красавицъ на свадьбу И рядомъ сълъ съ соперникомъ своимъ «Здоровы будьте, сыты и богаты!» Сказалъ и опустилъ за голенище Сапожнику горячую подкову. Но не моргнуль, не подаль вида тоть... Закрывъ полой прожженное кольно, Онъ стиснуль зубы, крякнуль, усмъхнулся, Налиль вина и пожелаль злодъю: Богатства, счастья, правды у людей, Жены красивой, нравомъ неспъсивой... И досидълъ всю свадьбу до конца. Жена любила мужа-молодца».

[«]Воть, кумъ Кондрать, и сказка».— «Хороша!»
— «Теперь теб'в чередъ; заходить мъсяцъ,
И знать заря—кричать ужь півтухи».
«Шли,—началь такъ Кондрать:—два казака,
Отецъ и сынъ, и видять: по дорог'в
Идетъ барышникъ съ парою воловъ.
— «А хочешь, батько, я воловъ украду?»
«Ну, гдъ тебъ, дуракъ! Съ твоимъ ли рыломъ?»

-- «Съ моимъ ли? ну, смотри же, замвчай». Скидаеть сынъ съ одной ноги сапогь, И на пути барышника бросаетъ, А самъ въ оврагь и спрятался въ травъ, Дошель барышникь, видить—на дорогв Лежить въ пыли новешенькій сапогъ. Подумалъ онъ: «вогъ притча! върно съ пьяну!» И далье погналь себь воловь. Встаеть опять казакъ, какъ-следъ, обулся, Варышника полями обогналъ II на пути его другой сапоть Оставиль, самъ запрятался въ траву. Дошелъ барышникъ, видить-на дорогв Лежить другой новеше#ькій сапогь... - «Эхъ!—думаеть:—досада! и другой!.. Вернуться надо...» Ну, и возпратился, Оставя на пути своихъ воловъ А казаку того и было нужно! Обулся онъ, пригналъ къ отцу воловъ; Глядять---у нихъ же ихъ весной украли...»

— «Воть и моя, товарищь, небылица! Теперь рѣшай, кто лучше разсказаль, Тому изъ дыни первому и вылѣзть... Ну, кумъ Данило, что же ты молчишь? Эге! да гдѣ же я?.. Воть, право, чудо: Ни кума, ни бакши, ни ночи,—утро...» Глядитъ Кондрать—а онъ въ своемъ саду, Подъ вишней, рядомъ съ нимъ его два брата: Пахать они не ѣздили къ рѣкѣ И напролетъ Ивановскую ночь, Спокойно развалясь себѣ, проспали.

XVI.

Доля

жиль себь въ свъть чумакъ, небогатый и вовсе безродный: Мучилась кръпко въ родахъ у него, дни и ночи, хозяйка. Разъ, перелъ вечеромъ было, она и давай просить мужа: «Видно, приходить мой часъ: не дожить миъ до бълаго утра;

Встань, побыти ты въ лысокъ и нарви мны хоть горсточку яблокъ».
Всталъ и попледся онъ въ лысъ изъ слоболки, съ мышкомъ

Всталь и поплелся онь въ лъсъ изъ слободки, съ мъшкомъ за плечами;

Ходить, а день все темньй, и въ льсу потеряль онъ дорогу. Видить, ограда.—«То, върно, льсиичихи нашей избушка!» Тихо онъ стукнуль въ ворота; ворота передъ нимъ растворились:

Встрътила старая баба, усталаго на печь пустила. Легь онъ, не спить, все молчить, и въ глубокую самую полночь Слышить, къ окну кто-то тихо впотьмахъ подошелъ и удариль:

- «Бабушка, бабушка, слушай - ты! — голосъ въ окно отозвался: —

Сто двадцать-пять человікть въ эту ночь вновь на світь народилось;

Будетъ ди ихъ житіе долговічно и мирно на світі: модча старуха подумала и такъ отвітила: «будеть!» Голось затихъ подъ окномъ, и впотьмахъ стало слышно, какъ вітеръ

Вдругь по кустамь побѣжаль, зашумѣль по трубь и оградь. Вновь сквозь просонокъ мужикъ слышить, кто-то въ потемкахъ подходить.

— «Бабушка, бабушка, слушай!.— опять тихій голосъ раздался:

Сто двадцать-пять человъкъ вновь на свыть въ этотъ часъ народилось;

Будеть ли ихъ житіе, какъ и тіхъ, долговічно и мирно?» Съ лавки старуха опять поднялась, отвічала съ досадой: — «Охъ! надобль ты съ своимъ мні постылымъ докладомъ сегодня!

Вновь нарожденнымъ на свъть не видать долгольтья и счастья!»

Голосъ у хатки замолкъ, зашумъло въ лѣсу, загудѣло. Утромъ чумакъ воротился домой, поглядъгъ, да и ахнулъ: Въ хатъ хозяйка лежитъ, а у печки, на лавкъ, съ ней рядомъ,—Двое дѣтей-близнецовъ, въ эту самую полночь рожденныхъ! Вспомнилъ про ръчи ночныя чумакъ и задумался кръпко.

Воть начинають расти близнецы, не по днямъ, по минутамъ. Только отъ горя отецъ, что ни день, то печалится больше.

Все хорошо: молодцы, словно кровь съ молокомъ, волосъ въ волосъ.

Оба лицомъ, красотой и умомъ, какъ одинъ, дружка въ дружку. Только одна лишь бъда: братъ постарше, во всемъ, что-бъ ни дълатъ,

Былъ и востеръ, и гораздъ, и въ рукахъ его дѣло кипѣло; Братъ же меньшой ни успѣху въ работь, ни проку не видѣлъ! Такъ проходили года; сыновьямъ, что ни день, онъ дивился... Кажется, что бы? Ни силой, ни смѣткою не были разны. Вотъ и задумалъ отецъ попытать съ ними лютую долю... Взялъ и послалъ сыновей за дровами, а самъ потихоньку Легъ у рѣки на мосту и, какъ разъ на срединъ помоста, Кинулъ онучи, глядитъ и тайкомъ самъ съ собой размышляетъ:

— «Бѣдный сынишка ты мой! родился ты не въ пору и время;

Доля рожденнымъ тогда предрекала несчастье и горе! Можеть, ошиблась она; на онучи путемъ ты наткнешься; Въ свътъ же молвятъ: съ находки всегда разживаются люди!» Ждетъ онъ и ждетъ у ръки; сынъ меньшой показался изъ

Тихо идеть, на мостокъ ужъ ступилъ и къ онучамъ подходить, Да заглядълся, увидъль, что братъ припоздалъ на работъ; Сълъ съ топоромъ у моста, сталъ дремать и заснулъ, какъ убитый.

Старшій же брать подошель, на дорогі находку увиділь, Подняль и началь толкать подъ бока задремавшаго брата:
— «Соня ты, соня, вставай; погляди, что нашель близь тебя я:

Это къ добру; въдь съ находки всегда разживаются люди!» Братъ поглядътъ, помолчалъ, и, толкуя, они поплелися. Чуть же они отошли, всталъ отецъ и со вздохомъ промолвилъ: — «Нътъ! вижу я, какъ ни бейся, а доли своей не минуещь; Съ нею родишься на свътъ, съ нею и въ могилу ты ляженъ!»

XVII.

Папоротникъ.

Похвасталъ разъ нашъ деревенскій писарь. Что не бывалъ онъ отъ рожденья трусомъ И никогда не върилъ въ домовыхъ; И, въ подтвержденье истины, ношелъ Подъ самаго Купала, ровно въ полночь, За папортникомъ, на болото, въ лесъ... Пришелъ храбрецъ, запрятался въ кусты И ждеть, когда цвътокъ травы завътной Средь темноты полночной зацвытеть, Ждаль чась---другой, кругомь вдругь засіяло, И голубой дымящійся цветокъ, У ногь его на стебельк' сталь видень. Но чуть къ цвътку онъ руку протянулъ, Тотъ злой собакой мигомъ обернулся И ждеть его, оскалясь и рыча. Хотьль идти онъ, вдругь еще ужасный: Межь лопуховь, въ травь, змыя ползеть Зеленая, съ пътушьей головой; На решеть по ветру мчится ведьма; Безрукій мальчикъ вышель изъ воды, Смется, въ омуть за собою манить; А далье мышей летучихъ рой Вспорхнуль, моргаеть красными глазами; Крылатые проносятся коты, Лягушки, скрипки, перья и страницы, Оторванныя изъ какой-то книги... Не подался той чертовщинъ писарь: Онъ смело огненный цветокъ сорвалъ И, завязавь его въ платокъ, пустился Сквозь новыя препятствія домой.

Чуть онъ ступиль вь околицу села, Откуда не возьмись, ему навстръчу Съ цыплятами насъдка: такъ въ глаза, Кудахча, и кидается ему. Но онъ идеть своимъ путемъ-дорогой, Насъдка и цыплята исчезають. Идеть онъ дальше: травы и хлъба Становятся водою... Всю поляну Ръка, шумя, по горло заливаеть; Но онъ идеть, —расходится вода. «Ну!—писарь мыслить, —домъ не за горами!» И видить, на жеребчикъ, въ телъжкъ, Знакомый дъякъ спъпптъ ему навстръчу.

«Откуда?»—«Съ полн».—«А въ платкѣ что держишь?»
— «Гостинецъ».—«Ну, садися же со мнею,
«Вотъ вожжи, правь, я же сберегу гостинецъ».
Сълъ писарь, ну каураго стегать—
Домъ близокъ: «вотъ теперь разбогатѣю!»
И слышитъ вдругъ, какъ будто невдали
Пропъли пѣтухи... Глядитъ—и что же?..
Исчезло все: дъячокъ, цвѣтокъ и лошадь;
Онъ самъ сидитъ на палочкѣ верхомъ,
Слободкою по улицѣ гарцуетъ
И погоняетъ плеткой рысака...
Такъ писаря надулъ лукавый чортъ,
А ужъ куда умиъй былъ чорта писарь!

XVIII.

0хъ.

Жиль-быль себь казакъ, и сталь онъ думать, Куда-бъ въ науку сына поместить. Отдаль въ сапожники—забраковали; Попробоваль въ ветошники отдать, Въ ветошники—забраковали тоже; Онъ отдаль сына въ лежни, но и въ лежняхъ Ответь одинъ и тотъ же: не годится. Задумался отецъ, махнулъ рукою, Взялъ сына и пошелъ бродить по свету.

ПІслъ день онъ, два, вошелъ въ дремучій лѣсъ, Присѣтъ на цень, да съ горя и вздохнулъ: «Охъ, охъ!.. Судьба, судьба моя лихая!» Глядь, изъ земли вдругъ вышелъ человѣкъ И говоритъ: —«А что тебь, старикъ? Ты звалъ меня, я—Охъ, и вотъ явился: Приказывай, служить какую службу?» Не оплошалъ казакъ, все разсказалъ. — «Ну, кумъ, постой, тебъ я помогу. Въ ученье миъ отдатъ попробуй сына, И въ эту пору, ровно черезъ годъ, За нимъ приди: останешься доволенъ». Старикъ подумалъ, отдалъ сына Оху,

А тоть раздвинуль сучья и юркнуль Съ ученикомъ подъ оголёлый цень, Въ свое лесное царство-государство...

Тамъ, подъ землей, его онъ накормилъ И говоритъ: «фу-фу, какъ пахнетъ свътомъ! Носи дрова,—все старое долой». Онъ навалилъ костеръ, ученика На томъ костръ спалилъ и самый пепелъ На всъ четыре стороны пустилъ. Къ ногамъ его скатился уголёкъ; Онъ взялъ его, какимъ-то зельемъ спрыснулъ, И передъ нимъ вновь ожилъ ученикъ.

Срокъ наступилъ, и въ лѣсъ къ тому же пию Отецъ явился; смотритъ: сизокрылый Къ нему летитъ навстрѣчу голубокъ, Обнялъ его и на ухо воркуетъ: «Отецъ, отецъ! Когда у Оха нынче Меня просить ты станешь, не забудь—Онъ обратитъ насъ всѣхъ, учениковъ, Въ барашковъ; какъ одинъ мы будемъ схожи, Но я начну блеять—и ты узнаешь». Настало время выбора.—«А ну-ка,—Смѣется Охъ:—который твой? рѣшай. Узнаешь, такъ и быть, бери безъ платы».
— «Вотъ сынъ мой»—указалъ казакъ барашка.— «Ты угадаль! но погоди, почтенный, Вновь черезъ годъ за сыномъ приходи!»

Къ тому же пню, на савдующій годъ Пришель отець, и снова сизокрылый Къ нему слетвль, воркуя, голубокъ:

— «Сегодня, батюшка, передъ тобою Хозяинъ обратить насъ въ пвтуховъ; Всв будуть, какъ одинъ, всв будуть схожи; Но ты гляди и выбери того, Чей гребешокъ немного будетъ на бокъ!» Настало время выбора, отецъ Вновь указалъ межъ пвтухами сына. сочивенія г. п. данплевскаго. т. VIII.

«Бери,—сказаль ему съ усмъщкой Охъ:— Но помни, съ нимъ легко я не разстанусь».

Казакъ взяль сына, съ нимъ пришелъ на торгъ.
— «Постой-ка,—сынъ ему:—я обращусь
Въ персидскаго, лихого жеребца.
Ты продавай меня, бери дороже,
Но ни за что не продавай съ уздечкой».
Торгуется отецъ съ покупщиками
И самъ себъ не въритъ: за коня
Даютъ червонцевъ ковитъ, двъ скирды съна.
— «А я прибавлю бочку запеканки!—
Кричитъ, въ толну протискавшисъ, цыганъ:—
Но съ уговоромъ: продавай коня
Не одного, а какъ естъ, съ уздечкой!»
— «Что,—думаетъ отецъ,—какое диво
Въ уздечкъ? запеканка жъ не пустякъ».
И отдалъ онъ коня съ уздечкой...

Взяль старый деньги, приняль и придачу. А покупщикъ (то былъ волшебникъ Охъ) Укоротиль коню уздечку, мигомъ Вскочиль къ нему на спину и давай Его гонять, что силы, вдоль по полю. А вечеромъ его въ конюшню заперъ И привязаль вы высокому столбу, Чтобъ тогъ не могъ достать и горстки свиа. Но чуть ушель онь вь хату, слышить крикъ: «Что дълать намъ? — работники вовгають: — Мы повели коней на водопой, Глядимъ, а конь, что ты купиль сегодня, Къ водъ приналъ, съ него свалилась въ воду Уздечка, стала окунемъ, плеснулась II уплыла, а съ ней исчезъ и конь!» Помислея Охъ къ ръкь и въ волны-бухъ! Становится въ вознахъ зубатой щукой II, окуня догнавши, говорить:

> «Окунь, окунь, окунецъ, Ненаглядный молодецъ, Обернися головой,

Побес'ядуемъ съ тобой!»
Окунь ей на то въ отв'ять:
— «Коли ты, кума, быстра,
То лови меня съ хвоста!»

Уйдя отъ щуки, окунь обернулся Касаткою и полемъ полетълъ; Глядитъ, а Охъ за нимъ орломъ несется И, когти выпустивъ, вотъ-вотъ догонитъ. Касатка обратилася въ копну, А Охъ въ огонь, и запылало съно. Насилу вырвался казакъ изъ дыма И побъжалъ по степи сърымъ зайцемъ; Охъ волкомъ, заяцъ—бабечкою сталъ... За нимъ въ догонку Охъ совой помчался.

И видить бабочка—внизу, подъ садомъ, Въ дому окно раскрыто; у окна Сидитъ за прядкой панночка-красотка И, поводя веретеномъ, прядетъ. Въ окно влетаетъ бабочка нежданно, Становится красавцемъ-казакомъ И говоритъ, склоняясь на колъни:

— «О, панночка, спаси меня, спаси! Я обращусь въ кольцо, меня надънь ты; И, чуть сюда войдетъ волшебникъ Охъ И у тебя потребуетъ тотъ перстень, Ты брось его о землю и скажи:

Пусть ни тебк, ни мнк колечко это! Я жъ предъ тобой разсыплюся пшеномъ; Одно зерно ты ножкой придави И такъ держи, моя душа въ немъ будетъ». Туть распахнулась дверь, въ нее вошли Отецъ красавицы и жйдъ-мкняло.
— «Послушай, дочка, что за штуки вновь? Зачкмъ взяла ты у него кольцо?»
— «А!—я взяла? такъ вотъ ему за это: Пусть ни ему, ни мнк оно не будеть!» И о землю ударила кольцо.
Оно пшеномъ разсыпалось; одно

Зерно ногою панночка прижала. Охъ въ пътуха тъмъ часомъ обратился, Крыломъ захлопалъ, носомъ въ полъ застукалъ И улетълъ въ открытое окно.

Казакъ же вышель изъ-подъ ножки пани И такъ хозяйской дочкъ полюбился, Что въ тотъ же день засватали его... На свадьбъ той и я когда-то быль, За молодыхъ гулялъ, медъ-пиво пилъ.

XIX.

Путь къ солнцу.

Мужикъ продалъ свою душу бѣсу, Богачу и злому чародѣю. Какъ пришелъ часъ расплатиться И взять свой зарокъ обратно. Приходитъ мужикъ къ бѣсу, А тотъ и говоритъ ему:
— «Я тогда отдамъ тебѣ зарокъ обратно, Какъ узнаешь ты мнѣ, по правдѣ, по чистой Отчего солнце по утру весело, И темно и печально въ сумерки?» Мужикъ бѣсу поклонился И пошелъ отыскивать солнце...

День идеть, два идеть, ужь и близко; Только солнце постоить надь землею, И окунется за лёса, за горы, И за дальнее синее море. Закручинился мужикъ; идеть полемъ, Смотритъ, на курганъ колышекъ,

А на колышкѣ, на ножкѣ, человѣчекъ; И мотается тотъ, куда повѣетъ вѣтеръ, И всего-то его вѣтромъ истрепало, Бурей-непогодой измотало, А сорваться съ колышка не можетъ. Спрашиваетъ мужикъ:—«куда путь къ солнцу?»

Отвъчаетъ человъчекъ:— «Я отвъчу, Коль узнаешь ты отъ самого солнца: Долго ди миъ еще на колышкъ мотаться, И за что я такою напастью наказанъ?» Говоритъ мужикъ:— «Я узнаю!» Тутъ человъчекъ на ножкъ повернулся И сказалъ:— «Иди ты прямо; Будетъ тебъ на дорогъ ръчка, Тамъ ты все и узнаешь!»

Приходить мужикъ къ рвчкв, Видитъ: стоитъ человъкъ въ водъ по горло; Студёныя струйки б'вгутъ мимо его, Надъ головой посиввають яблоки; Только онъ не можеть къ водъ нагнуться, Ухватить студёной струйки, Сорвать съ вътки яблока. Спрашиваеть мужикъ:—«Куда путь къ солицу?» Отвичаеть человикь:—«Я тогда отвичу, Коль узнаешь ты оть самого солица: Долго ли мив туть еще мучиться, И за что я такою напастью наказань?> Говорить мужикъ:--«Я узнаю!» Тутъ человъкъ промодчалъ и промодвилъ: - «Иди ты отсюда все прямо; Будеть тебъ на дорогъ избушка-Въ ней всю правду ты и узнаешь!»

Пришелъ мужикъ къ избушкъ...
А въ избушкъ живетъ сестра Солнца,
Старшая сестра, Заря Утренняя;
На часахъ надъ ней стоитъ Мъсяпъ,
Стережетъ Зарю Утреннюю,
А приказовъ ждутъ ясныя Звъзды,
Солнцевы сестры младшія, золотистыя,
На посылкахъ у Зари слуги върные...

Какъ пришелъ мужикъ къ Заръ Утренней, Поклонился ей въ самыя ноги, Говорилъ ей всю правду, всю чистую. Жалъла его Заря Утренняя, Призывала себв върныхъ слугъ, Отряжала ему путь указывать. Провожали его Звъзды по край земли, Подстилали ему подъ ноги лунный лучъ... Поднимался онъ по лучу въ небесный край, Въ самое царстве Солнца краснаго, Гдв дорога идеть въ адъ и въ рай И гдв спать ложится Солнце красное.

Какъ поднялся мужикъ до облаковъ, Увидаль онъ дорогу въ адъ и въ рай. По пути туть сидели покойники, Души правыя и дупій виноватыя, Всь по отделамъ сидели души усопшія. Передъ тъми, кто помогалъ на землъ неимущимъ, Такъ вся милостыня туть и лежала: Краюшка ли хльба, грошъ, иль одежда.. По сторонамъ ходили быки тощіе, голодные: То были все богачи криводушные; А въ самомъ огив, въ полымъ, Гдв ужъ начинались муки въчныя, Двв собаки косматыя грызлися: То были два брата родимые, Что на земл'я межъ собою все ссорились, Дружка на дружку съ ножами шли...

И вступилъ мужикъ въ хоромы Солнца. Встрвчала его Заря Вечерняя, Златовласая Солнцева матушка, Сажала она его за перегородку, Изъ чистаго серебра кованную; Спрашивала о своихъ дочкахъ любимыхъ, О Заръ Утренней и о Звъздахъ: Что когда-то она съ ними встрътится, И хорошо ли ихъ стережетъ Мъсяцъ-братъ? Отвъчалъ мужикъ все по истинъ. Долго съ ней въ хоромахъ разговаривалъ. Вскоръ засіяли высокія горенки: Стало подходить отъ земли Солнце красное. И какъ бы не та перегородка,

Изъ чистаго серебра кованная, У мужика бы глаза выжглися.

Вступало Солнце въ двери высокія, На золотую кровать ложилося; Чесала ему голову Заря Вечерняя, Начинала сына допытывать: -- «Ты скажи мнъ, скажи, Солнце красное, Отчего на свъть человъкъ есть, На одной ногь онъ вертится, Съ колышка сорваться не можетъ, И долго ли терпъть ему такое горе?» Отвъчало Солнце:—«Милая матушка! Онъ за то наказанъ, что былъ изменникомъ, Продаль родину, отцовь и прадъдовъ; И будеть онъ вертиться до конца вика!» Спращивала Заря Вечерняя: — «Ты скажи мнь, скажи, Солнце красное, Отчего человъкъ на свъть въ водъ стоитъ, Студёныя струйки бысуть мимо сго Надъ головой зрекоть яблоки, А онъ не можетъ ухватить капельки, Сорвать съ вътки яблока, И долго ли терпъть ему такое горе?» Отвъчало Солице:--«Милая матушка! Онъ за то въ водъ, что гналъ немощныхъ, Не даваль голоднымь ни пить, ни всть, И будеть онъ мучиться до конца вѣка!» «А скажи мнѣ, скажи, Солнце красное, Отчего ты утромъ весело, И темно и печально въ сумерки?» Отвъчало Солице, задумавшись: – «Оттого я поутру весело, Что иду въ обиходъ по поднебесью, Не видя еще зла житейскаго! А печально я потому въ сумерки, Что иду съ обхода на отдыхъ, И нечемъ мне тебя, матушка, Повеселить часто и порадовать! Воть, хоть бы и теперь я скажу тебь: Есть на свёть богачь и злой чародый:

Коли онъ собою не покается, Я отдамъ его бъсенятамъ безъ жалости: Пусть они имъ тъшатся, Палятъ и жарятъ его на угольяхъ»... Съ тъмъ заснуло Солице красное... Провожала гостя Заря Вечерняя. И опять становился онъ на лунный лучъ, Опускался вновь на бълый свътъ, Богача-чародъя отыскивалъ... Приходилъ богачъ въ смертный страхъ. И когда онъ покаялся, Простило его Солице красное.

1847-1860 rr.

пъсня бандуриста.

Сълъ на курганъ съ бандурою слъпецъ, И сталь играть и пъть съдой пъвецъ. Пустыня пъсни старда повторяла-И ни одна душа имъ не внимала... «Охъ, лугъ-отецъ! охъ, мать ты наша Съчь! О васъ летитъ недаромъ птица-ръчь... Какъ по Украйнъ нашей смерть гуляла, Съ бойцами пиръ кровавый пировала! Одинъ лишь Богъ святой на небъ зналъ, Что запорожецъ думаль, да гадаль, Зачёмъ кидалъ онъ степь съ родимымъ домомъ, Куда онъ мчался молніей и громомъ, Гдв комаровъ казакъ собой кормилъ, Въ какихъ огняхъ усы и чубъ палилъ, И гдѣ леталъ онъ, славы добывая, Да буйную головушку слагая! Какъ грянулъ громъ на сто холмовъ и рвовъ, На тысячу лесовъ и городовъ, И застонали ръки и равнины, И застонали горы и долины! Не Божій громъ въ поднебесіи гремълъ: То колоколь надъ Свчею гудвлъ! Межь темныхъ тучь мерцають свычки-звызды, Цари-орлы бросають съ шумомъ гивады;

И застилаеть черной пеленой Ночная тьма курганъ береговой, А месяць, словно лысый дедь, выходить Изъ-за него, по длиннымъ селамъ бродитъ, По хатамъ стелетъ бълые платки И сыплеть искры по волнамъ ръки. Набать затихь. -- Гонцы сторожевые Бъдутъ по селамъ; бочки смоляныя Горять, и дымъ встаеть—летить столбомъ, И грозно степь стихаеть надъ Дивпромъ, И, полные смятенья и тревоги, Ревуть во тым'в Днипровскіе пороги! Береть казакъ завътное копье, Беретъ кинжалъ, черкеску и ружье, И ятаганъ, звъзду казацкой славы, Наточенный о вражескія главы, Подъ образа оружіе кладеть И на могилы праотцевъ идстъ. Тамъ, поклонясь гробамъ бойцовъ могучихъ, Береть онъ горсть земли съ могилъ сыпучихъ, Кладеть ее на грудь къ себъ съ мольбой, Чтобъ и во гробъ сойти съ родной землей, И крестится, и слезы утираетъ. Идеть въ курень, товарищей сзываеть, И до утра казаки пьють, шумять, О стародавнихъ битвахъ говорятъ. Нахмурившись сидять ихъ атаманы, Сидять, да молча правять ятаганы, И до утра танцують гопака Межъ бочками два пьяныхъ казака... Вотъ поднялись туманы отъ земли, Надъ синей степью маки зацвъли,-Кунтуши запорожскіе альють, На бунчукахъ султаны гордо въють, Въ походъ идеть казакъ, и гайдамакъ, И строится походъ тремя полками, Тремя полками, подъ тремя горами. Какъ первый полкъ-ведеть Самко-Мушкеть, А на Самкъ китайчатый бешметь, Къ казаку мать-старуха выбъгаеть, За стремя сына милаго хватаетъ:

- «Охъ, сынъ мой, сынъ! Меня ты погубилъ! Меня живую въ гробъ ты положилъ!» И голосить, и плачеть соколица, Какъ сирота въ поляхъ перепелица. «Мив тошно, мать! Убей тоску мою, Я, какъ мертвецъ, лежу, не вмъ, не пью! Ужъ что же мив, родимая, не пьется, Вкругь сердца моего ехидна вьется?... Знать, мив пора на воль погулять, Кудрявымъ чубомъ съ вѣтромъ поиграть!» - «Охъ, сынъ мой, сынъ! меня ты покидаешь, Меня съ сестрой теперь не приласкаешы! «Не для того мнв матерь и сестра, Чтобъ не бросать мив хаты да двора! Ужъ если надо мнв кого ласкать, Такъ не сестру ласкать мив и не мать! Есть у меня дончакъ лихой коняка Товарищъ смълый, бъщеный гуляка: Того коня я буду въкъ любить, Его за ковшъ червонцевъ не купить! Есть у меня и върная сестрица: У бока сабля, пани соболица! Спроси ее, спроси, голубка-мать, Чвиъ ей со мной не жить, не гарцовать. Охъ, сабля-жъ, сабля, съ ляхомъ ты встрвчалась, Да и не дважды съ нимъ ты цъловалась!» Походный рогь въ последній разъ трубить, Казакъ своей родимой говорить: – «Не убивайся, матушка, съ печали, Уже въ сурьмы и бубны занграли. И заиграль мой буйный вороной.--Иди скоръй, родимая, домой! Ты горькими слезами умывайся, Ты рукавомъ узорнымъ угирайся, И вспоминай ты чаще обо мнъ, Какъ буду и въ далекой сторонв... Припомнишь-червь костей мив не источить, А не припомнишь-горной кошкой вскочить На плечи бысь ко мны и загрызеть, И прахомъ очи въ битвъ замететъ!» Второй отрядъ, въ черкески билой, новой,

Выводить Кукуруза чернобровый. За кушакомъ его горитъ, какъ жаръ, Наследіе пяти родовъ татаръ-Алмазами усыпанная шашка; Жемчужиной пунцовая рубашка Застегнута; во фляжкъ за съдломъ Качается столетній польскій ромъ; И шелкъ усовъ курчавыхъ, и ланиты Лучомъ зари пурпуровой облиты,— И на бекрень заломлееъ на ушахъ Барашковый серебряный папахъ. Какъ лучъ изъ тучъ, хорунжій выступаетъ И такъ оестру съ усмъшкой утвшаеть: - «Не плачь, сестра, довольно жить да спать: Пришла пора по свъту погуляты! Тоть не казакъ, кто водъ не пиль Подольскихъ, Не цаловаль въ уста красавицъ польскихъ, И дорогихъ атласовъ и парчей Не привозилъ сторонушкъ своей. Охъ, степь ли, степь! не одного съ сестрою, Аль съ чернобровой, върною женою, Ты разлучала, буйная, навыкъ... Да не сидить чубатый человыкь! Я объ одномъ молю тебя, родная, Есть у меня коханка молодая, Ужъ я жъ ее лельяль, да ласкалъ! Возьми, сестрица, въ домъ къ себъ голубку, Одвиь ее въ матерчатую шубку, Дукатами ей шейку убери, А лаской слезы жгучія утри. И ужъ обуй ты бъленькія ножки Въ сафьянные съ подковами сапожки, И ужъ люби-жъ ее, да почитай, Да милою сестрою называй!» - «На все, на все твоя, соколикъ, воля: Ужъ такова твоя лихая доля... Ступай, гуляй, съ лихимъ врагомъ играй, Да къ Покрову съ похода прівзжай!» — «Охъ, я бы и скорый къ тебь вернулся. Да что-то конь мой въ воротахъ споткнулся: На грудь мою печаль свинцомъ легла,

И сдовно смерть меня за чубъ ванда». Последній подкъ равниною песчаной Вель Полтора-Кожуха безталанной... Никто бойца, никто не провожаль, И громкимь крикомъ степь онъ оглащаль:
— «Сестра моя въ Крыму, а мать въ Полтаве! Гуляй, казакъ, на всей казацкой славе!» И словно барсъ по камьямъ, мчался конь, И вылеталь изъ-подъ копыть огонь... Такъ курени вояки покидали, Казачки, молча, у вороть стояли, И, молча, милыхъ взоромъ провожали, И, плача, руки бёлыя ломали...

Какъ на четыре поля шли казаки, На пятое, Подолье, шли вояки. Однимъ путемъ пошелъ Самко-Мушкетъ, А за хорунжимъ вхало во следъ Едва чамъ менье трехъ тысячь братьевъ, Все храбрыхъ душъ, все запорожцевъ-хватовъ. Они стамбулки синія дымять, Какъ пчелы въ ульв, шепчутся, гудять, Гремять въ сурьмы, въ литавры, въ барабаны, И словно жаръ пылають ихъ жупаны, На длинныхъ пикахъ въють бунчуки, Ревуть волы, гарцують сердюки; Идеть обозь тяжелымь караваномъ, Летять стрвики, разсыплясь по полянамъ; На плащаницахъ шелковыхъ знаменъ Сверкають лики дедовскихъ иконъ; И булавы польовь заповъдныя Несуть на плечахъ старцы-кошевые, И вдеть сзади писарь войсковой Съ чернильницей, Хмельницкій молодой! Казаки шапки черныя скидають И Господу хваленыя возсылають, Кладуть кресты, поють святой канонъ И молятся до войсковыхъ иконъ: «Дай Богь пожить намь съ воеводой славнымъ, Какъ жили мы-вст братствомъ православнымъ, Ъсть хльбъ его, конемъ враговъ топтать,

Да славы Запорожью наживать!» Отрядъ несется пыльною дорогой-Одинъ хорунжій занять думой строгой. Онъ на конъ не вьетси, не кипить, Все сивый усъ кусаетъ, да молчить: Чтобъ сто бісовъ убили то молчанье. То крвпкое и грозное гаданье! Самко-Мушкеть поникнуль головой И говорить въ раздумы самъ съ собой: «Что, если какъ въ аду, насъ ляхи сжарятъ Да изъ костей казацкихъ пиръ заварять? , Что, если нашимъ бъднымъ головамъ Да лечь во прахъ по вражескимъ полямъ? Закрячеть воронь, степь перелетая, Застонеть лебедь, въ небѣ утопая, И сизый соколь станеть тосковать, И сизый коршунъ станеть горевать Все по своимъ товарищамъ, казакамъ, Все по могучимъ братьямъ, гайдамакамъ? Аль занесло ихъ пылью на ходу, Аль ихъ враги пожарили въ аду. Что не видать ни по степямъ чубатыхъ, Что не видать ни по лугамъ усатыхъ, Ни по турецкимъ землямъ и морямъ, Ни по подольскимъ рекамъ и полямъ? Хрустять, какъ щепки, кости по долинъ, Звенять мечи и копья по равнинъ, А сърая сорока быеты крыломъ, Оскалилась и прыгаеть сверчкомъ... Висять чубы бойцовь съ головь провавыхъ. Какъ будто ляхъ наплёль жгутовъ кудрявыхъ, Въ крови чубы, въ крови позапеклись, Воть такъ-то славы всв мы набралисы!» И горестно Самко-Мушкеть вздыхаеть, Покинулъ поводъ, думаетъ, гадаетъ, И отстаеть отъ войска своего, И, словно коршунъ, рветь мысль ero! И видить онъ: лихого казачину Беруть враги за сивую чуприну, На крюкъ цыляють храбраго ребромъ И жгуть его медлительнымъ огнемъ,

По пояст кожу съ рыцаря сдирають, Кровавый черенъ солью посыпають — И въ нолымъ свистящаго огня-Костлявый трупъ качается три дня!

Какъ на четыре поля шли казаки, На пятое, Подолье, шли вояки. Однимъ путемъ пошелъ Самко-Мушкетъ, Другимъ, за Кукурузою воследъ, Пошло не менће трехъ тысячъ братовъ, Все храбрыхъ душъ, все запорожцевъ-хватовъ. Они горой зеленою идуть, Шумять, поють и въ барабаны быють, И молвять такъ хорунжему лихому, Степанкъ Кукурузъ молодому: — «Здоровъ ли ты и живъ ли, панъ Степанъ? Что плачешь ты, иль спозаранку пьянъ? Или тебя, казакъ, заворожили, Любовнымъ зельемъ свахи опойли? Печаль да слезы храбрымъ не рука, Лихая смерть найдеть и казака. Когда-нибудь и насъ съ тобой зароють, И будуть насъ старухи поминать, А по тебѣ... красотки горевать». И молвить рыцарь: -«Все ты одинаковъ, Будь ты Якимъ, аль будь ты просто Яковъ... Воть, какъ прійдемъ мы до горы седьмой, Да какъ грозой на насъ ударить бой, То будеть намъ все то, что куковала Кукушка, что въ сыромъ бору летала! А что она выщала, вырь тому, Какъ въришь, рыцарь, сердцу своему! И занесуть насъ прахомъ ураганы, И обовьють насъ саваномъ туманы, И станеть ждать добычи стрый волкъ, Какъ разобьють враги нашъ славный полкъ. Лихая смерть сравняеть всёхъ насъ, дётн Не долго жить орламь на быломъ свыты!» Ужь и по правдежь, ясный пань-отець, Ужъ и по чистой правдѣ удалецъ, Ты говориль: не миновало году,

Отпъли запорожцы воеводу... Нечистый ляхъ тебя въ цъпяхъ держаль, И, какъ раба, въ цъпяхъ колесоваль!

Какъ на четыре поля шли казаки, На пятое, Подолье, шли вояки. Однимъ путемъ шель удалой Самко, Другимъ путемъ шелъ молодой Стецько, А третьимъ шелъ, безъ чуба и безъ уха, Карио, прозваньемъ Полтора-Кожуха. Онъ на конт передъ полкомъ игралъ, Въ одной сорочки рыцарь гарцоваль, И волновались въ буйномъ безпорядкъ Его шальварь безчисленныя складки, Сверкали шпоры желтыхъ сапоговъ, Чернъли змъи длинныя усовъ, А вътеръ въялъ шелковой уздечкой, Уздечкой съ кабардинскою насѣчкой, Да съ сивой шапки алый плать висьль, Да ятаганъ у пояса звенълъ. Ведеть Карпо три тысячи казаковъ, Все храбрыхъ братьевъ, славныхъ гайдамаковъ. Они стамбулки синія дымять, Какъ пчелы въ ульв, шепчутся, гудятъ, Гремять въ сурьмы, въ литавры, въ барабаны, И, словно жаръ, пылають ихъ жупаны, На длинныхъ пикахъ въють бунчуки, Ревуть волы, гарцують сердюки; Идеть обозь тяжелымь караваномь, Летять стрыки, разсыплясь по полянамъ; И бодро полкъ волнуется, идеть, И панъ Карио передъ полкомъ поетъ: «На горъ-ль зеленой да жиецы жиуть,

А подъ той горою,

Подъ горой крутою,

Въ барабаны быють!
Передъ казаками вождь похода
Ведетъ свою лаву,
Запорожцевъ славу,
Воевода!
Середи казаковъ атаманы,

У нихъ кони злы Кони вороные, Ураганы!

А панъ Сагайдачный въ хвостъ забился! Онъ отдалъ за трубку Ясную голубку—

И напился!

Охъ. вернись, вернися, казачина, Возьми свою радость, Отдай мою сладость, Молодчина!

Мить съ женою твоею не возиться, А безъ трубки въ полъ Казаку на волъ

Не ужиться... Гей, кто въ буйномъ лѣсѣ, отзовися. Да костерь навалимъ, Да тютюнъ запалимъ,

Веселися!»
Такъ на конъ, гремя и распъвал,
И бунчукомъ надъ головой махая,
Карио на бой кровавый выступаль,
Въ одной сорочкъ рыцарь гарцоваль,
И волновались въ буйномъ безпорядкъ
Его шальваръ безчисленныя складки,
Сверкали шпоры желтыхъ сапоговъ,
Чернъл змън длинныя усовъ,
А кътеръ въялъ шелковой уздечкой,
Уздечкой съ кабардинскою насъчкой,
Да съ сивой шапки алый платъ висъль.
Да ятаганъ у пояса звенъль.

Охъ, братъ казакъ, ты всласть навеселнися. Въ лихомъ пиру ты смерти полюбился! Пьяно было кровавое вино, Тебя, какъ снопъ, свалило въ прахъ оно, А надъ бойцомъ и люба насмъялась, Съ другими смерть въ бою нацъловалась... Летитъ гроза, ковыль-трава шумитъ, Карио въ степи застръленный лежитъ, Припалъ къ кургану бъдной головою, Сотшения Г. П. Данилевскаго. Т. VIII.

Пакрыль глаза осокою речною. И жметь въ груди изрубленный жупанъ, II кровь бѣжить изъ трехъ широкихъ ранъ, А въ головахъ казака воронъ крячеть, Въ ногахъ любимый конь тоскуеть, плачеть, И въ землю бъетъ копытомъ и храпитъ, 11 съ наномъ такъ въ пустыне говорить: — «Ой, панъ мой, панъ, безъ чуба и безъ уха, Ой, пань хорунжій, Полтора-Кожуха! Кому теперь покинешь ты меня, Кому отдашь ты вврнаго коня? Отдашь ли немцамъ ты, аль янычарамъ, Аль подаришь ты крымчакамъ-татарамъ? - «Тебя, мой конь, нечистымь не поймать, Теби лихимъ врагамъ не осъдлать! Бъги, детунъ мой, синими степями, Бъги, соколикъ, топкими лугами, II ирибѣги ты на мое крыльцо, Ужъ и ударь ты въ звонкое кольцо. іть тебь навстрычу выбыжить сыдая Казачка, руки бѣлыя ломая. Она тебя за поводъ станетъ брать, Начнеть тебя даскать, да миловать, Омоеть ныль съ тебя водой студеной, Тебя укроеть післковой попоной, Начнеть кормить душистою травой, Начнетъ поить янтарною сытой. И, плача, станеть спрашивать о сынь, О гайдамакъ, славномъ казачинъ: «Ой, конь мой, конь, летунъ ты вороной, Скажи-ка, гдв вздокъ твой дорогой: Аль ты убиль его въ бою кипучемъ, Аль оброниль его въ лѣсу дремучемъ?> Я казака, скажи, не убиваль. Его въ лѣсу дремучемъ не ронялъ: Казакъ женился, взяль себъ панянку. Во чистомъ пол'в взялъ себ'в землянку: Туда и вътеръ вольный не зайдетъ, Туда и солице свъта не прольеть, Тамъ пъ бочкъ винной чумаки степные Зарыли въ землю кости удалыя...

Печаленъ былъ усатаго конецъ, Да крвико спить рубака-молодецъ,— И спитъ онъ весь, и спятъ, во тъмв могилы, Его на ввтеръ кинутыя силы, И сторожитъ далекая земля— Въ чужомъ краю кормило корабля!»

Слець замолкъ. Подавленный тоскою, Поникъ на грудь седою головою, и очи онъ незрячія возвель На даль небесъ, на безграничный доль. А вкругъ него тянулися курганы, Песлись столбовъ песчаныхъ караваны, Да буйный вътеръ бущеваль кругомъ, Струя ковыль волнистымъ серебромъ, Да стражь степей, орель, подъ небесами Сноваль, кружиль зловъщими крылами. И всталь старикъ, и громко зарыдаль, И надъ своей бандурою припаль: «Охъ, ты, бандура, дюба ты моя, Орломъ влетала въ душу пъснь твоя! Что-жъ сиротой ты горемычной плачешь, Что-жъ воронёнкомъ ты безкрылымъ крячешь? Не я ль тебя подъ грозой прижиль, Не я ль тебя безвременьемъ повилъ, Сограль печалью, выкормиль бадами, Да безталанными вспоиль слезами? Иль душу я на торжище продаль, Иль намять я по вътру разметаль?.. Греми-жъ, бандура, плачь и надрывайся, Да въ сумрачной бывальщинъ купайся! Греми и пой о славъ казаковъ, () славъ храброй Съчи соколовъ! За то греми, что тв латинство гнали, Что бусурманъ нещадно побъждали, Что православный крестъ своихъ отцовъ Спасли ценой казаческих головь, Что за свою за славу погибали, Да внукамъ мечъ свой грозный завъщали... И будеть слава по міру летать, И будуть славу славно поминать,

Промежь казаками, Промежь удальцами, Промежь всёми въ свётё молодцами,

Горами И долами!

Промежъ люда царскаго, Народа христіанскаго.

Народа христіанскаго, Съ долиною Дивпровою, Низдвою,

На многія літа До конца світа!..

Марть 1852 г.

Оглавленіе

VIII TOMA.

| | | | | | | | | | | | | | | | CTP. |
|---------------------------|------|------|-----|------|----|---|----|-----|------|----|---|---|---|----|------|
| Царевичъ Алексъй | | | | | | | | | | | | | | | 3 |
| Старосвътскій маляръ. Ра | 3CK2 | ιзъ. | | | | | | | | | | | | | 49 |
| Христосъ-съятель. Разска: | ъ. | | | | | | | | | | | | | | 76 |
| Стрълочникъ. Святочный | | | | | | | | | | | | | | | 85 |
| Украинскія сказки | | _ | _ | | | _ | _ | | | | | | | | 94 |
| І. Кума-лисица, пас | TVX | ъ |)MC | O.LO | ВЪ | П | B0 | зни | 118. | | | | | | 95 |
| II. Живая свиркль. | | | | | | | | | | | | | | | 101 |
| III. Озеро-слободка. | | | • | | | | | | | | | | | | 104 |
| IV. Брать и сестра. | | • | | | | | | | | | | | | | 106 |
| V. Крымскій плання | IКЪ. | | | | | | | | | | | | | · | 109 |
| VI. Снъгурочка | | | | | | | | | | • | | | | | 111 |
| VII. Дѣдовы козы. | | | | | | | • | | | | • | • | • | • | 113 |
| VIII. Младенцы-утопле | нни | κи. | Ī | Ī | - | · | · | | | | Ċ | Ċ | Ī | Ĭ. | |
| IX. Смоляной бычокъ | | | • | · | • | • | • | | Ċ | | • | Ċ | | | 119 |
| Х. Бъсы. | | | | | | | | | | | | | | | |
| XI. Ивашко | | • | • | • | • | • | • | • | • | Ĭ. | - | | • | Ċ | 124 |
| XII. Каратышка | | • | | • | • | • | · | • | Ţ | • | • | Ċ | • | Ċ | |
| XIII. Льсная хатка | | • | • | • | • | ٠ | • | Ċ | • | • | · | Ċ | • | • | 132 |
| XIV. Смерть | | | | | | | | | | | | | | | |
| XV. Сонъ въ Ивановск | 410 | ноч | ъ. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | · | 137 |
| XVI, Доля | ,, | | | • | • | • | • | • | • | • | • | · | • | • | 140 |
| XVII. Папортникъ. | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 142 |
| XVIII. Oxb | • • | • | • | ٠ | • | • | • | • | • | • | • | ٠ | • | • | 144 |
| XIX. Путь къ солнцу. | • • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | |
| Пасня бандивиста | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | : | • | • | • | 159 |

• • • .

СОЧИНЕНІЯ

Г. П. ДАНИЛЕВСКАГО.

томъ девятый.

изданіє ВОСЬМОЕ, посмертноє, въ двадцати четырекъ томахъ, Съ портретомъ автора.

Приложеніе къ журналу "Нива" на 1901 г.

С.-ПЕТЕРВУРГЪ. Изданіе А. Ф. МАРКСА. 1901. Типографія А. Ф. Маркса, Измайл. по., № 29.

мировичъ.

(1762—1764 г.)

РОМАНЪ.

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ.

ЦАРСТВЕННЫЙ УЗНИКЪ.

— «Да,—скажуть наши правнуки: имъ было больно угнетеніе Россіи». Ледяной домъ.

I.

Курьеръ изъ завоеванной Пруссіи.

Императрица Елисавета Петровна скончалась 25-го декабря 1761 года, въ самый разгаръ войны Россіи съ Пруссіей. Войска Фридриха были уже не тв: лучшіе его офицеры убиты или взяты въ плънъ.

За годъ передъ тёмъ, отрядъ генералъ-поручика Петра-Ивановича Панина овладёлъ Берлиномъ. Казаки, съ союзниками-кроатами, опустошили столицу Фридриха-Второго, разграбили въ ней до трехъ-сотъ домовъ, не пощадили и вагороднаго королевскаго дворца: изломали въ немъ дорогую мебель, перебили фарфоръ, бронзы и зеркала, изорвали штофные и гобеленевые обои, изрубили итальянскія картины и разнесли въ клочки кабинетъ ръдкостей.

Начальники не отставали отъ подчиненныхъ. Дано было приказаніе прогнать сквозь строй «Подъ-Липами» берлинскихъ «газетировъ» за то, что эти публицисты слишкомъ обидно и дерако писали о русскихъ. Вследствіе такого при-

ефилими Россія, печатныя въ газетахъ письма» тель памень подъ высыпней, а сочинителей техъ навазать, ва приняти приняти приняти Пенерать Чернышевь ихъ при стительно на вино, на сигары и менти вы принами русской армін было истребовано отъ Бердина сто такжеть. Изжина командира отдильнаго рустранически примен Тетжебена, и его аресть, съ общаго опольный волковых командировь, на маршъ ть Понеражи и какими рвенія побъдоносной армін. Повыжение франция вых отчаннюе. Онъ изъ прусскаго кором сталу при в стоемих бранденбургский курфюртосельная русскій губернаторъ, отецъ Суверева. Выя Пруссія была завоевана и, — посяв роковой вышени выпланеты «быть по сему» на докладв о ея притула въ подланство русской императрадь Вълга води «губернін» стали вводить русскіе выше в рег выпась русская инссія съ архимандрипомень высым технить русскую монету. И вдругь обстоя-PULLUTER BUNGERINGS...

еты Петровны, императоръ Петръ III-й, ти тётки, вошель съ обожаемымъ имъ
въ нереговоры о перемиріи. Губерменному указу, сдаль войска и упрапроцевствомъ генераль-поручику Петру
самъ укаль въ Петербургъ и сталь,
иковать въ вёдомостихъ о продаже свонимъ, радуясь манифесту «о вольности
разными предлогами въ Россію
обенно штабные. Огорченія обидныхъ
Всьхъ волей-неволей манило изъ дол-

1762 года, на курьерской тройкі вы Пруссіи вы Петербургы выйхалы двадцати-двухь, сухощавый, сы чернеколько разсіянными и какы бы недофицеры изы Кёнигсберга. Былы второй оны спішиль застать присутствіе вы военвыйзда вы городы у Калинкина моста, штегельмановскій домы на Мойкі, у

Краснаго моста, - гдъ нынъ институтъ глухонъмыхъ), офицеръ всячески торопилъ ямщика. Десять дней пути въ ростепель и половодье по Литвъ сильно его утомили. Онъ везъ собственноручныя бумаги Панина, съ робкимъ, хотя яснымъ предложениемъ-попытаться продолжать войну. Въ мысляхъ офицера рисовался ожидаемый имъ, полный неизвъстности, пріемъ, борьба Панина съ дворскими партіями и въроятное сочувствіе и поздравленія товарищей. Онъ добрался до коллегін, одернуль на себ'в поношенный зеленый, съ такимъ же воротомъ, кафтанъ и красный камзолъ, обмахнулъ снъгъ съ черныхъ штиблеть и тупоносыхъ, безъ пряжекъ, истоптанныхъ башмаковъ, и оправилъ ненапудренныя букли и космы развившейся въ дорогь свытло-русой, запорошенной инеемъ, косы. Спросивъ въ коллегін генерала, къ которому везъ отъ Панина еще частное письмо, онъ сдаль пакеты и, измученный дорогой, ожидаль, что его стануть разспрашивать, готовиль въ умѣ ответы, подбираль убедительныя слова. «Войско,—думаль онъ,—рвется сражаться, смелый прожекть Петра Иваныча одолбеть... Себя не пожалью, всю правду докажу. Лишь бы отечеству польза, -- лишь бы оцвинли смвлость столь честного и неподкупного командира!..>

Бълодицый, важный ростомъ и повадкой, дежурный генераль Бехлешовъ прочиталь привезенное письмо, остальныя бумаги отложиль къ сторонъ, пристально вглядълся въ посланнаго, сердито потоптался на мъсть и, презрительно фыркан, сказалъ: «Новости твои, сударь, вовсе не важиы... А Петръ Иванычъ хоть и почтенный патріотъ, почтенный,--но... да это не твое дело... Война--- экіе смельчаки! тутъ о перемиріи, а они о войнъ! Завтра, сударь, воскресенье... а, впрочемъ, навъдайся послъзавтра...» Офицеръ вспыхнулъ. «Ахъ, ты, кукла плюгавая, пувырь!-хотьть онъ сказать:еще о патріотахъ судить. Ну, да этоть еще не Вогъ-въсть какая птица! Что скажуть другіе, вся коллегія?» Онъ вздохнуль, вышель, постояль, несколько опешенный, на улице, и вельнь ямщику вхать на Васильевскій Островъ. На сердце у него отлегло. Видъ знакомыхъ, когда-то близкихъ, мъстъ отрадно повъяль на него. И солнце встати выглянуло и такъ весело осветило улицы, дома и душу путника.

Провзжая мимо шляхетнаго кадетскаго корпуса (домъ Меншикова, теперь Павловское военное училище), онъ снять шляпу и перекрестился; адёсь прошло его ученіе и отсюда, изъ кадетовъ, два года назадъ, онъ былъ посланъ въ заграничную армію. На углу одной изъ дальнихъ линій и набережной Невы, онъ завидълъ почернълый заборъ и ветхую крышу домика, съ давнихъ поръ принадлежавшаго вдовъ лейбъ-кампанца, Настасьъ Бавыкиной.

Сердце путника сжалось. Сюда по праздничнымъ днямъ, бездомный, круглый сирота, столько лѣтъ сряду, хаживалъ онъ изъ корпуса въ гости. Здѣсь привѣтная и твердан нравомъ, бездѣтная и сердобольная старуха, Настасья Филатовна, прозваніемъ «царицына-сказочница», ласкала его, и въ немъ, бѣдномъ кадетѣ, находила утѣшеніе въ своемъ одиночествѣ и сиротствѣ. Домъ ея былъ въ ту зиму, какъ зналъ изъ ея писемъ офицеръ, проданъ за долги, и его ховяйка переѣхала куда-то на квартиру, не уснѣвъ ему сообщить новаго своего адреса. Офицеръ остановился у знакомыхъ воротъ.

— Вамъ кого?—спросилъ его какой-то мъщанинъ, сидъвшій подъ навъсомъ сосъдняго крыльца.

Офицеръ назвалъ Бавыкину.

 Рухнулъ древній, кріпкій столбъ, — сказалъ міщанинъ: — и она, властная, сократилась: изъ домохозяйки жилицей стала... Приходять, зчать, послідни времена.

Да куда жъ она перевхала? гдв живетъ?

— У ввіздочета какого-то, ученаго... Убла ныні насъ всіхъ эта анавема — дороговизна... Приступу ни къ чему нізту-ти, коть ложись, да помирай... На погоріздыхъ, слышно, містахъ, на Мойкі, каменный домъ чей-то противъ Събзжей, а Филитовна во дворі, внизу, въ деревянномъ фатеру снимаеть, — тамъ вывіска портного... Спроси звіздочета — всякъ тебі тамъ покажеть...

Офицеръ повхалъ къ Синему мосту, а оттуда вправо, берегомъ Мойки, и остановился противъ мѣста, гдъ теперь, у пѣшеходнаго мостика, помѣщаются зданія почтамта. Здѣсь на пустынный и низменный, безъ набережной и ограды, берегъ Мойки выходилъ кирпичный, одноэтажный, похожій на фабрику, домъ, съ высокой трубой. На заборѣ была вывѣска портного. За каменнымъ зданіемъ, въ глубинѣ двора, высился обветшалыми стѣнами другой домъ, деревянный въ два яруса, съ красною голландскою черепичною крышей. Снизу въ верхнюю половину этого дома вела открытая, съ площадкой, лѣстница, навѣсомъ для которой служили вѣтви высокой, въ нъсколько обхватовъ, березы, росшей на дворъ у крыльца и, безъ всякаго сомивнія, видвишей еще щведовъ и Перваго Петра. Влево, за вторымъ домомъ, вытлядываль безлистый, обсыпанный снёгомъ садъ.

Смеркалось, когда голубая, цвета васильковъ, тогдашняя обще-армейская шинель путника показалась во дворь, гдв теперь жила Бавыкина. Чуть не потерявь на крыльца истрепанной вътромъ, съ тремъ угловъ подвернутой, поярковой шляны, офицеръ съ тощимъ чемоданомъ подъ мышкой быстро вошель въ нижнія сіни. Онь сунуль въ уголь чемоданъ, шагнулъ въ полуосвъщенную комнату направо, оттуда въ какую-то «боковушку» налъво и, растерявшись, остановился у новой двери. За нею была опять перегородка. Въ щель этой двери пробивался светь. «Верно туть, — подумаль гость, оглядываясь и переводя дыханіе: воть уди-Butcal>

- --- Настасья Филатовна, здравствуйте!--- сказаль онъ, постучавшись въ дверь.
- Никакой Настасьи Филатовны здёсь нету-ти-съ! отозвался недовольный суровый голось изъ-за перегородки:дессіянсь-академіи академикь туть живеть... извините...
 - «Что же это значить?»—подумаль озадаченный гость.
- Академіи-дессіянсь академикь здісь, богь мой! добавиль нетерпаливо голось: — а къ жилица, благоволите, изъ прихожей нальво... но ея нъть дома.

Офицеръ поблагодарилъ, — хотвлъ идти.

— Вы же, извините, кто? — послышалось за дверью: какъ сказать, коли возвратится?

— Заграничной арміи курьеръ, генеральсь-адъютанть

прусскаго губернатора Панина, — отвътиль офицеръ.

За перегородкой послышался торопливый шорохъ. Дверь отворилась. На ея порогв, въ халать, показался высокаго роста, лъть за пятьдесять, плечистый и плотный человъкъ съ умнымъ, усталымъ, въ красивыхъ морщинахъ, лицомъ, съ недоумъвающими, добрыми глазами, лысый и съ крупными жилистыми руками, изъ которыхъ въ одной была табакерка, въ другой перо.

— Изъ армін? что вы сказали?.. изъ Пруссін?..

— Точно такъ-съ... Нарвскаго пъхотнаго полка подпоручикъ, ордонансъ Панина, курьеромъ съ бумагами.

— Знакомецъ моей жилицы?

въ кадетовъ, два раничную армію абережной Невы рышу домика, ейбъ-кампанца, Сердце путни бөздомный, круг энъ изъ корпус вомъ, бездътна говна, прозван въ немъ, бъді одиночествъ и зналъ изъ ея зяйка переъх щить новаго иыхъ воротъ — Вамъ шій подъ на Офицеръ — Рухну инъ:--и о ищей стал — Да і - y ₃₁ съхъ эта ъту-ти, х Естахъ, Филито аетъ,— 7 бь там Офице Гомъ 1 шеход Пусті ЭЙКИ 1 іку, THOL CA (яр: ısy . ща,:

дцати, тоненькая, бёлокурая, въ локонахъ, — голубыми азами и улыбкой похожая на отца. За нею, съ тазомъ и увшиномъ воды, — повторяя снова: «bitte, bitte», вошла ще красивая, полная, въ бёломъ фартукъ, чепцъ и съ асученными по локти рукавами, жена хозяина. Всё они самыя комнаты, теплыя, уютныя, казались офицеру такими добрыми, ласковыми.

— Вотъ вамъ, голубчикъ вы мой, мыло и вода! — сказалъ академикъ, когда дамы ушли: — дълайте свой туалетъ безъ церемоній, а я—простите за любопытство—еще коео-чемъ васъ разспрошу... Такъ, перемиріе? Ахъ, они окаянные, слъщы...

— Панинъ хочеть поправить дёло и прислаль рапорть; жалко, армія стремится къ бою.

— И что жъ? есть надежда поправить діло?

 Богъ въсть, какъ посудять; союзниковъ нынче, скавывають, у Пруссіи немало и здъсь.

— Рвань поросятья! Канны! Черти особые, ихъ же и кресть россійскій не береть! — шагая по горенкѣ, сердито вскрикнуль академикъ: — иродовы души! травка гнусная, фуфарка!..

Онъ вакашлялся и, поборая волненіе, остановился у стем-

- Бѣсъ шелъ сѣять на болото всякія плевелы и дрянь, сказалъ онъ не оглядываясь, да и просыпаль нечаянно это велье —фуфарку; ну, изъ него и отродился весь нѣмецкій синклить, —самъ старый лукавецъ Фрицъ, его генералы Гильзенъ и Циттенъ, а съ ними и наши доморослые колбасники —Бироны, Тауберты, Винцгеймы, и вся братія... И ихъ еще не ругать? Вздоръ! обернулся и махнулъ кулакомъ академикъ: я ихъ ругаю за нелюбовь къ кормящей ихъ Россіи, позорно, въ глаза, самою сугубою и ихъ же пакостною нѣмецкою бранью. Говорю-жъ съ ними въ конференціи не иначе, какъ по-латыни. Не выносить ихъ бунтующая противъ такой напасти и такого безстыдства душа.
- Но ихъ сила, господинъ академикъ! произнесъ офицеръ: — не лучше ли имъть съ ними волчій зубъ, да лисій хвость?
- Одинъ волчій зубъ, безъ всякаго хвоста! болѣе и болѣе раздражаясь, крикнулъ академикъ: не церемонюсь я съ несытыми въ алчной влобъ проходимцами, и потому

у нихъ не въ авантажѣ... Таковъ, сударь, моей натуры чинъ и складъ!.. Ахъ, дерзость! Ахъ, нескончаемая литость, поправшая вснкій естества законъ... Такъ это правда? Успъла голубица мира, успълъ Гудовичъ доставить масличную вътку въ Берлинъ? Боже-Господи! Ужли-жъ побъжденному королю ввърятъ судьбы россійской исконной политики? Да этого, другъ мой, Россія съ ордынскихъ баскаковъ не видывала...

- Жилъ я между нъщами, сказалъ офицеръ: извините, хоть и враги наши, а у нихъ хорошо: порядокъ, науки.
- Да насъ-то они ненавидять, не признають. Бить бы тамошнихъ до конца, здащніе бы присмирали!.. Ни одобренія къ возрастанію родныхъ наукъ, ни чести но рангу, ни: вниманія къ каторжному, въ здішнемъ краф, ученому труду! Я мозаику, сударь, я стеклянный заводъ завелъ,--а они, — конюховъ да сапожниковъ креатуры, — жалованье мнъ завалящими книжками изъ академической лавки платили. Я открытія дёлаль, оды писаль, а съ меня, когда я жиль въ казенномъ домъ, деньги за двъ убогихъ горенки высчитывали. Истомили, меня, истерзали кляузами... Поневоль другой сталь бы пригинаться, слабыть, какъ иные, не хочу ихъ называть, -- Лазаря знатнымъ барамъ пъть, на заднихъ лапкахъ за подачкой стоять... Да не буду стоять! не буду подличаты!.. Друзья у меня не по знатности, — по генію и по усердству наукъ... И душа моя, сударь, плебейская, поморская... Воспиталь ее въ соловецкихъ-быломорскихъ зыбяхъ студеный, надполярный океанъ... Оттого-то вътеръ соленый, морской ходить въ ней, бушуеть по-часту...

«Вотъ человъкъ, открытая, смълая душа!» — подумалъ офицеръ, съ горячимъ, почтительнымъ сочувствіемъ глядя на матерого плебея - академика, съ распахнутою, могучею грудью, шагавшаго передъ нимъ въ старенькомъ китайчатомъ халатъ.

— Охъ, извините, — сказалъ тотъ, остановясь: — вы привезли зъло печальныя, волнующія въсти; не удержишься. А потому, — вдругь добавиль онъ, понижая голось и какъ-то дътски-робко оглядываясь на дверь, — если вы въ сей моменть, какъ военный, походный человъкъ, готовы и расположены, то померекайте туть съ вашею старою пріятелькой, а черезъ част, черезъ два, за калиткой будетъ стоять

договоренная мной городовая коляска... Дома, въ горни цахъ, бесёдовать по душё тёсновато... Я-жъ проболёль и давно не выёзжалъ. Такъ мы съ вами, сударь, коль согласны, поёдемъ въ гербергъ къ Иберкампфу; сыграемъ на бильярдё, разопьемъ бутылочку и потолкуемъ обо всемъ на своболё...

— He по рангу мнъ, господинъ-академивъ... притомъ же дорога... мои финансы...

— Полно, полно, другъ. Дамно я, говорю, соблюдалъ лъчебный дигетъ, ну, и постъ; а сегодня вотъ кстати и жалованье изъ конференціи прислади... Поъдемъ; тамъ, государь мой, устерсы фленскія, анкерки токайскіе, бургонское и осебый, скажу вамъ, новоманерный пуншъ...

Дверь распахнулась.

— Какой пуншъ? кто пуншъ? —вскинувъ руками, произнесла на порогъ полная, съдая, но еще румяная и бодрая, въ темной душегръъ и въ такой же кичкъ, съ калитой и ключами у пояса, шестидесятильтняя старуха. Это и была свътъ-матушка, древній, властный столбъ, Настасья Филатовна.

Она взглянула на офицера, отступила.

— Вася! ой, да стой же... что это?.. Василёкъ, голубчикъ ты мой!—вскрикнула и повисла на шей гостя старуха.

Смуглыя, обвътренныя щеки офицера дрогнули. Онъ горячо припалъ къ Филатовнъ, съ радостными слезами безмольно обнимавшей нежданнаго гост

- Охъ, милый, воть такъ утвшиль, сказала она: одначе, стой... Такъ и есть, не стыдно ли? Не свло, не пало, а ужъ и за компанство, за пуншъ... Да и вы, ваше высокородіе хоть и хозяинъ мой... Стыдно! Воть я супружницъ вашей все отлепортую...
 - Долгъ гостепріимства, сударыня, отвътилъ, глядя на

офицера, академикъ.

— Гостепріимства! а ты?—ласково обратилась къ гостю, по уходъ хозяина, старуха:—ну-ка, испиватель пуншей, кадеть, разсмотрю, каковъ ты нынче сталъ.

Бавыкина обведа его свъчой.

— Сердечный мой, радостный! едва тебя спознала! воть она, походная-то доля, какъ возмужаль! Ну, ангель мой Васенька, пойдемъ же въ мою конуру, — не своя теперь, чужая...

Они прошли въ съни. за которыми Бавыкина скимала двъ комнаты.

— Вася! соколикъ мой! — сказала, припавъ опять къ гостю, старуха: — повидала я тебя, а не чаяла боле... Не такою ты оставилъ вдову сударя Анисима Поликарпыча... Дубъ оголелый — нынче я... облетели все листочки, ветромъ ошарпало ихъ, сдуло... Не въ этакой узкости и тесноте суждено было векъ доживать. Ахъ! и где-то, Вася, те счастливые, да шумные старые годы?...

Вдова Анисима Поликарпыча, -- кто не зналъ общей печальницы и утышницы?--самой государынь Елисаветь Петровив угодила, безсонныя ночи ей грешнымъ рабымъ языкомъ коротала. Сильно скучала иной разъ ласковая царица, и хаживали ее утвшать изъ предивствевъ да съ базаровъ бабы-цокотухи, умълыя, бъдовыя на явыкъ. Хаживала и лейбкампанша Настасья. Сидить, бывало, ея величество въ кофтв, да въ платочкв поверхъ русыхъ, пудренныхъ волосъ, и спращиваеть гостью: «отчего ты, Филатовна, темна будто становишься?»—«Старвю, матушка, запустила себя, ласковая; прежде пачкалась былилами, брови марала, румянилась... Нынъ все бросила»... — «Румяниться не надо,-говоритъ царица:-а брови марай... Ну, сядь же, соври про разбойниковъ, или про какія иныя діла». — «Казни, всевластная, не въ мочь; вся душенька во мнв трепехчется»... — «Отчего жъ она у тебя трепехчется?» см'вется государыня. — «Какъ иду къ теб'в, милостивая, будто на испов'вдь, а вышла, точно у причастія была»...— И припадеть Настасья къ постели царицы, ножки, юпочки ея цълуеть, до утра ей тараторить. — «Въ чемъ счастье, Филатовна?» — «Въ силъ, матушка-государыня, въ знатности, да въ деньгахъ. По деньгамъ и молебны служатъ». — «А горе въ чемъ?» — «Безъ денегъ, всемилостивая». — «Да ты нешто, въдьма, жадна?» — «Жадна, охъ, жадна, и все, пресвътлая, что пожалуешь, возьму... Деньга, — охъ! — она нъдь и попа купить, и Бога обманеть»...-Весело царицъ.-«Нотъ, было въ старые годы»...» — начнетъ Филатовна, и говоритъ про все, что видела и слышала на свете, на долгомъ въку. Фавориты ее побаивались, и самъ канплеръ Вестужевъ, въ праздники, посылалъ ей подарки — муки, меду, пудовыхъ бълугъ и осетровъ. И хоть недолго Фила-— вна пожила за вдовцомъ, сержантомъ дейб**кампаніи, зато**

всласть, въ полную волю. Анисимъ Поликарпычъ нередко загудивалъ и буянилъ, но уважалъ Настю и тоже побанвался, а по смерти, отказаль ей домъ на Острову у Невы. Падчерицу она пристроила за повара графа Разумовскаго, но вскорв ее схоронила и осталась круглой сиротой. Зато, кто ее не зналъ? Совътъ ли дать, навъстить ли въ горъ, похлопотать ин ва кого-ея было дело. Не только светскіе, духовные ее уважали... Церкви Андрея попъ взялъ ее къ себъ кумой. Домъ, хозниство Филатовны славились въ околоткъ. Сама она стряпала, окна и полы мыла, безъ очковъ на старости лътъ шила бисеромъ, волотомъ, копала огородъ и доила коровъ. И не разъ сама государыня Елисавета Потровна лично удостоивала ее завздомъ къ ней, -- малины тарелку откушать, прямо съ кустовъ, либо выпить изъ холодильни стаканъ свъжаго, неснятаго молока. И деньги водились у Филатовны. Они-то ее и погубили. Отдавала она ихъ тайкомъ богатенькимъ господамъ въ ростъ. Но попуталъ бъсъ. Одна знакомка дала совътъ. Погналась Бавыкина ва большимъ барышемъ, ссудила немалый кушъ извъстному гвардейскому моту, и всю казну потеряла. Хотвла извернуться молчкомъ; поплакала, погоревала и заложила свой участокъ банкиру Фюреру, но не выдержала срочныхъ платежей, и домъ ея со дворомъ были проданы въ началь той зимы съ молотка.

Таковъ-то безлистый, оголёмый на вытры дубъ стоялъ теперь передъ залётнымъ гостемъ.

 Ну, да что тутъ, садись, соколикъ, — сказада Бавыкина офицеру.

Они съли.

- Не тв времена, Вася; все ушло, все улетвло, какъ почила наша пресвътлая благодвтельница... Что сберегла добра, рухлядишки, все перевезла сюда... Остальное—разобрали люди.
- Ничего! дастъ Богъ, поправитесь; вотъ я прівхалъ, подумаємъ...
- Поздно, другь сердечный, поправляться да думать. Другимъ, видно, черёдъ насталъ. Вотъ, къ грекент къ одной, въ никанорши зовутъ, за хозяйствомъ глядътъ; приходится въ наймы на стирости лътъ... Все прахомъ пошло... А я мыслила о тебъ, тебъ сберегала... Ну, да вой, не вой, не

то и велика рыба, чтобъ мелкихъ-то живьёмъ глотатъ... Повъдай лучше о себъ.

Офицеръ вздохнулъ. Ръчь не слушалась. Два года разлуки немало унесли молодыхъ ожиданій, въры въ счастье, надеждъ.

- -- Въ карты, Вася, по-былому, извини, играешь?—спросила, взглянувъ на него, старуха:—да ты не сердись: дъло говорю.
- Что вы, помилуйте, отвётиль гость: жалованье какое! а туть, сами знаете, походы, контужень быль, — до того ли?.. притомъ...

Офицеръ хотълъ еще что-то сказать; слова ускользали съ языка. По лицу прошло облако. Глаза смотръли разсъянно, куда-то далеко. У губъ обозначилась сердитая, угрюмая складка.

Вавыкина покачала головой.

- Ужли и тамъ не забылъ? спросила она.
- Воть, пустяки, охота вамъ...
- Да ты, выюнъ, не финти; говори, въ резонтъ спрашиваю.

Офицеръ всталъ, оправилъ волосы. Точно отгоняя тяжелую мысль, онъ провелъ рукой по лицу, подумалъ и снова молча присълъ къ столу.

«Такъ, такъ, изъ-за нея, — мыслила твиъ временемъ старуха, — изъ-за Поликсены ты и прівхалъ, чуть смогь вырваться оттоль... Знаю тебя! отъ гордости молчишь, — а самъ бы кинулся, готовъ просить: голубушка, родная, здорова ли она, жива ль?»

Офицеръ, сгорбившись, молчалъ. Филатовна не выдержала.

— Не закусишь ли съ дороги? Молочка, сбитню не сограть ли?

Гость отказался.—«Ну, Богь съ нимъ, сердечнымъ, усталость, знать, одольла». — Старуха постлала ему постель въ собственной спальнъ, дала ему огарокъ свъчи, а разспросъ о сердечныхъ его дълахъ отложила до другого раза: «всякъ божій день не безъ завтрашняго».

Офицеръ раздвися, досталъ изъ чемодана святцы и образокъ, поставилъ его въ углу на столв, раскрылъ святцы, разсвяннымъ взоромъ прочелъ нъсколько страницъ, поревелъ глаза къ темному окну и долго молился, кладя земные поклоны и прося у Бога новаго терпвнія и новыхъ силъ. «Родина, дорогая родина!—мыслиль онь, —воть она, наконець, и я опять среди нея... Храмъ Соломона!.. далеко, кажется, до него... На чемъ-то они теперь стоять, чего держатся? Освътиль ли ихъ хоть малость свъть истинной жизни, свъть разума и вышней братской любви? Или все тоть же этоть край, хмурный, непривътный, запустыми и въющій холодомь?..»

— Что? легь спать? — перегодя, спросиль Бавыкину,

встретясь съ нею въ общихъ сеняхъ, академикъ.

— Спить, — нехотя отв'ьтила Филатовна: — еще бы! намаялся сердечный: столько дёнь, сломя голову, скакаль. А вамь, сударь, что до него?

- Да я такъ, новостей онъ привезъ, и любопытно разспросить.
 - Ну, только, ужъ извините, это завтра...
 - А какъ, бишь, упомнилъ, фамилія этого вашего гостя?
- Родомъ малороссіянецъ, и имя ему Василій Яковлевичъ Мировичъ... Сызмальства... Да что! спокойной ночи, сударь... Только опять же совътую,—хоть вы и хозяинъ—не держите долго огня... Все-то у васъ бумаги, да книжки... пожаръ еще, упаси Господи, не напроворили бъ... и то воть на погоръломъ дворищъ построились...
- «Ишь козырь, доброобычайная старица, какъ распекаетъ! — улыбнулся академикъ, съ потупленной головой, вновь пробираясь въ свои горницы: — да оно и лучше! и здоровью легче. — Вотъ печень намедни какъ было опять разгулялась! и дѣлъ, по правдѣ, не оберешься. Мозаику кончать, о метеорахъ писать... Баста!.. Скудель тѣсная существа предѣлъ!.. Прощай, былые годы!.. Mens sana in corpore sano»...
- Настасья Филатовна, кто, скажите, вашъ хозяинъ?—спросилъ Мировичъ изъ спальни, уже впотьмахъ:—я и забылъ осведомиться.
- И этотъ тоже! да что съ вами подълалось?.. точно сговорились! Пара онъ тебъ, что ли? Коллежскій совътникъ,—почитай бригадиръ... Спать пора! индо напугалъ.

Василій Яковлевичъ Мировичъ крѣпко заснулъ. Міръ давно забытыхъ картинъ охватилъ его. Ему грезились давніе, дѣтскіе и отроческіе годы, угрюмая Сибирь, потомъ украинскій тихій хуторъ, старый заповѣдный лѣсъ и пчелы, обдирсть и горести некогда богатой и знатной, потомъ гонимой судьбою, разоренной и обедневшей семьи.

II.

Прошлое Мировича.

Предокъ Мировича, во время казни гетмана Остраницы, быль въ Варшавв, съ другими пленными казацкими сотниками, прибить гвоздями къ осмоленнымъ доскамъ и сожженъ медленнымъ огнемъ.

Его прадедь, Иванъ Мировичъ, переяславскій полковникъ, былъ бъщеной храбрости человъкъ. Гетманъ Мазепа выдаль за него, вторымъ бракомъ, выписанную изъ Польши свою сестру, Янелю. Разгромивъ татаръ у Перевона и Очакова. Иванъ Мировичъ возилъ въ Москву планиковъ и пушки, и, возвратись оттуда съ щедрыми подарками, началь строить каменный переяславскій покровскій соборь. но вскоръ скончался. Здъсь, по его заказу, на большомъ запрестольномъ образъ, весьма схоже, быль изображенъ Петръ I, возяв него гетманъ Мазена и духовенство, поодаль придворныя дамы, народъ и казацкое войско, а надъ встии, въ облакахъ, Покровъ эллинской Божіей Матери. У этой еще неоконченной церкви, по преданію, гетманъ Мазепа, поскользнувшись, упаль съ конемъ. — «Не къ добру!» — сказаль народь и вспомниль это после полтавскаго боя.

Сынъ Ивана отъ перваго брака, Өедоръ Мировичъ, былъ генеральнымъ есауломъ Орлика. Посланный вельможнымъ дядей-гетманомъ въ Польшу, подъ команду Паткуля, завзятый рубака, Өедоръ Мировичъ не вынесъ «муштры» нъща, бившаго казаковъ палками, и возвратился съ даннымъ ему полкомъ въ Украйну. Мазепа отплатилъ племяннику. Въ 1706 г. огромныя силы шведовъ осадили Мировича въ Ляховичахъ. Мазепа, сославшись на половодье, не доставиль ему помощи. Брошенный своими, тъснимый врагомъ, полковникъ Өедоръ Мировичъ сдался съ отрядомъ и былъ увезенъ въ цёняхъ въ Стокгольмъ. Церковь въ Переяславив, заложенную его отцомъ, достроила впоследстви его жена, племянница гетмана Самойловича, Пелагея Захаровна, урожденная Голубина. Освободившись изъ плена, Өедоръ Мировичъ жилъ некоторое время въ Турціи, потомъ въ Вар-

шавъ у Вишневецкаго, гдъ и умеръ. За сношения Оедора Иваныча съ угнетенной родиной, Петръ I-й сослалъ его жену и сыновей въ Сибирь и отобралъ въ казну имънія не только виноватаго передъ нимъ Оедора Мировича, но и ни въ чемъ неповинной его жены.

Юныхъ сыновей Оедора Иваныча государь, спустя нъкоторое время, помиловаль. Мировичей отпустили изъ Сибири въ Черниговъ, къ ихъ дядъ, знаменитому Павлу Полуботку который въ 1723 г. отвезъ ихъ въ Петербургъ, и помъстиль, для прохожденія наукъ, въ академическую гимназію. Здёсь они были недолго. Полуботокъ кончилъ жизнь въ крепости, племянники остались безъ средствъ и отъ бъдности бросили науку. Старшій изъ нихъ, Йетръ, получиль мѣсто секретаря при дворѣ великой княжны Елисаветы Петровны; младшаго, Якова, взяль къ себъ изъ милости польскій посланникъ, графъ Потоцкій, съ которымъ тотъ побываль и въ Польшъ. Но было вскоръ перехвачено письмо Петра Мировича въ Варшаву къ отцу, съ копіей указа о Полуботкъ и съ извъстіемъ о притъсненіяхъ малороссійскаго народа. Братьевъ опять арестовали и перевезли въ Москву, потомъ въ 1732 г. снова выслади, подъ видомъ боярскихъ детей, въ Сибирь, где Петръ Мировичъ дослужился мъста управителя заводской исетской конторы, а впоследствіи даже быль назначень воеводой енисейской провинціи.

Во время коронаціи Елисаветы въ Москвъ бывшій еще недавно пъвчій цесаревны, Алёшка, теперь же всесильный и вельможный графъ Алексъй Григорьевичъ Разумовскій напомнилъ императрицъ о судьбъ своихъ забытыхъ земляковъ, Мировичей. Государыня лично въ сенатъ, въ 1742 г., объявила именной указъ, которымъ обоимъ братьямъ Мировичамъ, послъ вторичной десятилътней ссылки въ Сибирь, даровалось прощеніе и предоставлялось служить, гдъ они захотятъ. Они пожелали докончить въвъ на покоъ, на родинъ, куда, послъ нъкотораго пребыванія въ Москвъ, и перевхали.

Старан «Мировичка», мать Петра и Якова Оедорычей, Педагея Захаровна, была отпущена изъ Сибири въ Маллороссію двумя годами позже сыновей. Тщетно она подавала изъ ссылки и изъ Малороссіи прошенія царицамъ Аннъ и Елисаветь, умоляя ихъ о возвращеніи ей, если не мужниныхъ, то хотя бы части ея собственныхъ, приданыхъ и благог брѣтенныхъ имѣній. На всѣ ея прошенія были получены отказы. Нѣкогда вольможная пани-есаульша, родня по мужу Полуботкамъ, Мокіевскимъ, Забѣлло и Ломиковскимъ, и жена гетманскаго племянника, Пелагея Захаровна умерла, по возвращеніи на родину, въ бѣдности. Богатая и знатная, также ограбленная ея родня не туда смотрѣла, сыновья пособлять не могли, а что получала она отъ немногихъ старыхъ друзей, употребляла на додѣлки неконченнаго свекромъ и мужемъ собора.

Отставной енисейскій воевода, Петръ Федорычъ Мировичъ, быль нрава буйнаго, заносчиваго и дикаго. Въ Сибири онъ, между прочимъ, быль одно время подъ слёдствіемъ за то, что, въ качестві управителя енисейской провинціи, явился въ воеводскую канцелярію въ халать и въ колпакъ, и тамъ передъ зерпаломъ обругалъ первостатейныхъ купцовъ самыми непотребными словами. Слёдователи, впрочемъ, его оправдали. Возвратясь изъ Сибири въ Москву, а потемъ на родину, онъ не укротилъ своего нрава. Будучи бёденъ и гордъ и доживая въкъ гдъ-то въ глухомъ містечкі, на небольшомъ пособіи отъ какого-то сосёдняго магната, онъ никому не уступалъ и умеръ отъ запоя, изрубивъ передъ кончиной полицейскаго офицера за то, что тотъ передъ нимъ не снялъ шляпы.

Братъ Петра, Яковъ Мировичъ, былъ нрава кроткаго и тихаго, притомъ съ дътства слабый здоровьемъ. Наука ому плохо далась. Петербурга, гдв онь некоторое время быль въ академической гимназіи, какъ и нахожденія у Потоцкаго, онъ почти не помнилъ. Во время первой ссылки, въ Тобольскъ, онъ обучался въ школь у нъкоего «несчастинвца» Сильвестровича, который хорошо играль на скрипиць, но по-русски почти не говорилъ. Женившись на небогатой купеческой дочкъ Акишевой, во время пребыванія въ Москвъ, Яковъ Оедорычъ, при жизни матери и брата, кое-какъ еще содержалъ семью. По смерти же ихъ, онъ впалъ въ окончательную нищету, овдовѣлъ, огрубѣлъ и, одичавъ отъ бѣдности, ужъ мало чемъ отличался отъ любого простолюдинабатрака: ходиль въ сермягь и въ дегтярныхъ сапогахъ и нанимался у сосъдей-помъщиковъ то въ ключники, то въ объёздные, торговаль некоторое время водкой, гоняль на продажу гурты скота, а состаръвшись и не видя себъ ни въ чемъ удачи и успъха, сълъ у хуторянина-кума Данилы

Майстрюка, въ лъсу на пасъкъ, глядъть пчелъ. Кумъ Данило держалъ отъ какого-то графа на арендъ клочекъ той самой земли, которая была отнята у отца Мировича. — «Тутъ и умру! — сказалъ себъ Яковъ Өедорычъ, сидя у стараго омшенника, въ заповъдной, медвяной яворщинъ кума: сложу здъсь кости! земля все-таки наша»...—«А сынъ? а дочери?»— спрашивалъ себя старикъ.

У Якова Оедорыча Мировича, отъ рано-умершей и такой же, какъ онъ, плохой здоровьемъ жены, остались четверо дътей: три дочери, Прасковья, Аграфена и Александра, и сынъ Василій. Дочекъ разобрали по рукамъ добрые люди.

Мальчикъ подросталъ при отцъ.

Зимой Вася учился на хутор'в у дьячка, л'втомъ помогалъ отпу у пчелъ, носилъ ему въ л'всъ об'вдать и ужинать, плелъ корзины, строгалъ бабамъ ложки и веретена, игралъ на дудкъ и торбанъ. Кто-то забросилъ въ р'вку с'враго щенка; Вася съ плачемъ кинулся, чуть не утонулъ, но усп'влъ его спасти и выростилъ.

Разъ услыхалъ отецъ, какъ его десятильтній Василь въ церкви поеть и читаеть апостола, и задумался. — «Нътъ, ему жить не въ льсу, не на сель! — сказалъ себъ Яковъ Оедорычъ, —другимъ удается, — попытаюсь и я о немъ! Всеже онъ дворянской крови... Предки знатные были и не подътыномъ валялись... А царица Лизавета Петровна до Украйны милостей своихъ еще на замуровала въ стъну»... Думалъ онъ долго, и ръшился, наконецъ, устроить судьбу сына.

Это случилось восемь льть назадь, а именно въ 1754 году.

Быль жаркій літній день.

Изъ Малороссіи въ Петербургъ, на парѣ воловъ и на простомъ мужицкомъ возу, прівхаль путникъ—высокій, костлявый, лѣтъ за пятьдесятъ. Онъ былъ въ долгополой, черной свитѣ и въ сѣрой, барашковой шапкѣ. Самъ сѣдъ, а черные глаза, какъ угли, свѣтились изъ-подъ насупленныхъ бровей. На возу у него сидѣлъ мальчикъ, лѣтъ тринадцати, съ небольшимъ. У воза шла сѣрая лохматая собака. ѣхали они проселками, продовольствовали воловъ на подножномъ корму, сами питались сухарями. Отправились изъ дому въ срединѣ апрѣля, прибыли въ Петербургъ въ началѣ іюня. Въ дорогѣ, слѣдовательно, находились почти два мѣсяца. То были Яковъ Федорычъ Мировичъ и его сынъ Василітъ

Остановились они на отдыхъ на обширномъ, поросшемъ густою зеленою травой, Адмиралтейскомъ лугу (нынъшняя Исаакіевская площадь, съ новымъ садомъ). Выпрягли воловъ, умылись въ Невъ, Богу помолились и закусили. Мальчикъ, болтан босыми ногами въ ръкъ, примътилъ подъ бастіонами кръпости (на мъстъ нънъшняго адмиралтейскаго бульвара) стадо пасшихся на травъ придворныхъ коровъ, и подогналъ къ нимъ своихъ круторогихъ. Старикъ вынулъ изъ-за пазухи бумагу, долго думалъ надъ ней, сунулъ ее опять на мъсто и, съ кнутомъ въ рукъ, пошелъ кого-то отыскивать по Невской «першпективъ».

Мальчикъ, темъ временемъ, вышелъ съ собакой на шлощадь и сталь разглядывать городь. Все его занимало: врасота и обширность зданій, пушки на бастіонахъ, шумъ уличной вады и суста рабочихъ, съ криками и песнями выгружавшихъ въ то время съ канала, у нынъшней разводной дворцовой площадки, последній камень, кирпичь, громадныя бревна и доски для постройки, тогда заложеннаго Растрелліемъ, нынъшняго Зимняго дворца. Залюбовался мальчивъ и золотыми, ярко горъвшими на солнцъ, шпицами адмиралтейства, Петропавловского собора и прежней Исаакіевской церкви, стоявшей близъ того мъста, гдъ теперь памятникъ Петру. Обернулся мальчикъ назадъ, передъ нимъ, въ безконечную даль, тянулась, вся въ яркой зелени густыхъ, въ четыре ряда, высокихъ липъ, Невская першпектива. А по ней шли нарядные господа, скакали верхомъ военные, мчались цугомъ раззолоченныя кареты.

Яковъ Федорычъ, со словами: «а будьте ласковы, скажите, гдв туть?»—снималъ шапку чуть не передъ каждымъ прохожимъ. Всв дивились на него, на его рвчь, одежду и на почернвлое отъ зноя, съ свдыми усами, лицо. Прохожіе пожимали плечами и шли далве. Горожанамъ было не до него; да украинца рвдко кто и понималъ.

Поняль и выслушаль Якова Оедорыча случайно встрыченный имъ у тогдашняго деревяннаго Аничкова моста, нъкій важный и съ виду гордый человъкъ. Съ двойнымъ подбородкомъ и объемистымъ животомъ, этотъ господинъ, отдуваясь и еле передвигая ноги, щелъ въ вощанковой зеленой шляпъ, въ голубомъ камзолъ и въ красныхъ башмакахъ.

День быль душный. Незнакомець, несмотря на свой на-

рядъ, несъ съ живейнаго рынка, бывшаго за мостомъ, на Литейной, въ одной рукъ—пукъ зелени, а въ другой—пару, перевернутыхъ вверхъ ногами, живыхъ каплуновъ. Мировичь съ поклонами передалъ и ему, въ чемъ дъло. Пузанъ оказался его землякомъ.

- Такъ тебъ, землячекъ, графа Разумовскаго?—сказалъ онъ, поморщившись и крякнувъ.
 - Его-жъ, его-жъ... Розума нашего и кормильца!...
- Квартируеть онъ въ самомъ царскомъ дворцѣ, а съ мѣсяцъ, за передѣлками тамъ, вотъ гдѣ проживаетъ! гордо ткнулъ пучкомъ зелени важный господинъ, указывая, черезъ поросшій травой берегъ Фонтанки, на жестяные куполы Аничкова дворца: то будетъ его хижка... Царица ему подаровала... Что хорошо?
- Фить-фить!—засвисталь удивленно старый Мировичъ: а вы-жъ, ваше сіятельство, чъмъ будете? и какъ васъ титуловать?
- Кофи-шенкомъ у графа! —еще важите пыхнулъ сквозъ зубы толстякъ: —и я тебъ, землячекъ, подозволь, такъ и быть, въ чемъ нужно, помогу...
- Какъ же это кофи-шенкъ? въ какомъ будеть рангъ?
 А то же, почитай, что гофъ-диннеръ,—пускалъ пыль въ глаза толстякъ:—мало чъмъ меньше тафельдекера, а то и больше того...

Мировичъ снялъ шапку и ужъ ее не надъвалъ.

Землякъ привелъ его къ Аничкову саду, занимавшему въ то время все мъсто, гдъ теперь площадь съ Александринскимъ театромъ, памятникомъ Екатерины и Публичной библіотекой. Они обогнули этотъ садъ со стороны Гостинаго двора, и отъ заводей Фонтанки и Чернышовскихъ прудовъ, бывшихъ на мъстъ нынъшнихъ министерствъ народнаго просвъщенія и внутреннихъ дълъ, подошли къ небольшой садовой калиткъ. Вожатый, на разставанъъ, далъ Мировичу нъсколько наставленій и объщалъ, если понадобится, пристроить его на квартиръ.

— Вонъ, малый, крыльцо, — указаль онъ въ калитку на одинъ изъ лътнихъ павильоновъ дворца: — ступай прямо туда... Изъ прихожей будетъ тебъ, братецъ, свътличка, — въ ней графъ завелъ теперъ приниматъ просителей... Тамъ, коли не опоздалъ сегодня, и дожидайся...

Мировичь, тенистыми, пахучими аллеями, прошель къ

указанному павильону, заглянуль въ прихожую — ни души, заглянуль въ пріемную — тоже никого: постояль у порога, раза два кашлянуль и, какъ быль, въ черной свить и смазанныхъ дегтемъ сапогахъ, поджавъ ноги, присълъ на голубую, штофную, съ золотыми точеными ножками софу.

Долго онъ дожидался. Никто не приходилъ и не подавалъ голоса. Пріемъ, очевидно, кончился. Но разъ попавъ такъ легко къ высокому графу,—о которомъ онъ, какъ о благодътелъ своей семьи, столько наслышался и про котораго такая слава и такой говеръ стояли на родинъ,—Мировичъ ръшился, во что бы то ни стало, ждатъ. «А какъ выгонять?... Ну, дворянина, пожалуй, и не посмъютъ...»

Въ комнатъ было еще жарче, чъмъ на дворъ.

Мухи то-и-дёло садились на потное, оброещее за дорогу, лицо украинца. Мировичь то дремаль, отъ усталости, то, съ досадой и бранью, отмахиваясь отъ мухъ, ловиль ихъ на-лету и давиль. Одна особенно назойливо и долго приставала къ нему. Онъ ее согналъ съ шеи, — она укусила его за щеку и пересёла ему на колёно. Стиснувъ зубы, онъ прицёлился на нее, хлопнулъ по ногѐ, но промахнулся: муха увильнула, посновала по комнатѐ и опустилась на большую, японскую вазу. Задремалъ въ тишинѐ Мировичъ. Солнечные лучи, врываясь сквозь вётви тихо трепетавшихъ липъ, яркими, извилистыми просвётами играли по паркету, бронзѐ и зеркаламъ. Муха опять сѐла на щеку Мировича, жужжа и путаясь въ усахъ, укусила его и вновь улетѐла на вазу. «А, каторжная!—проворчалъ Мировичъ:—постой же! шкода! теперь не уйдешь!»

Онъ всталъ и тихо, на цыпочкахъ, началъ подкрадываться къ обидчицѣ; изловчился, размахнулся, но муха снова мимо, а ваза съ громомъ рухнула съ поставца и разлетълась вдребезги.

Рѣзная лаковая дверка отворилась въ углу комнаты. За нею показалась пола бархатнаго вишневаго халата, звѣзда на лацканѣ и румяное, удивленное, а вмѣстѣ смѣющееся лицо: густыя черныя брови, каріе, съ поволокой и краснинкой, глаза и вздрагивавшія отъ позывовъ къ смѣху, крупныя и влажныя, добрыя губы...

--- A що, земляче, піймавъ?—раздался голосъ пынгущаго здоровьемъ, сорокалътняго вельможи, узнавшаго въ гостъ земляка.

Яковъ Оедорычъ упалъ передъ нимъ на колѣни. Графъ Алексый Григорьевичъ Разумовскій милостиво ободриль растерявшагося просителя, ласково ввелъ его въ свой кабинеть, усадилъ въ кресло и сталъ разспрашивать, кто онъ и какъ сюла попаль?

- Знаю, знаю, сердце!.. Но неужто на волахъ? спросилъ, удивленно поднявъ брови, Разумовскій; — не шутишь? такъ-таки, голубе сизый, на воликахъ, да еще, можетъ, и на сърыхъ?..
 - На сирыхъ, ваша графская свътлость, ни сирыхъ...
 - И погоныча, хлопчика, върно, взялъ?
 - Сына... подросточка...
- Давай же его, голубоньку, сюда, можеть, и пъсни играеть? гдв онь?
 - На лугу, у новаго дворца, скотину съ собакою пасетъ.
 - Какъ? гдѣ?..

Мировичъ объяснияъ. Графъ окончательно покатияся со смъху...

 Вотъ такъ придумалъ! — бархатнымъ пъвучимъ горломъ выводилъ Разумовскій: — кто жъ тебя ко миъ направилъ?

Мировичъ разсказать о своей встрёчё съ кофи-шенкомъ графа, который и на квартира, у тещи своей, объщаль его пристроить.

— Какой кофи-шенкъ? и что ты, диду, городищь?—опять зашевелиль поднятыми бровями графъ:—землякъ? и толстый? А!.. такъ воть оно кто... Юрченко Абрашка! Ну, назвался же, собачій сынъ, какимъ титуломъ... А онъ у меня за подручнаго въ поварнѣ на людской... Кофи-шенкомъ же, друже, у меня французъ Бріошь, и такая, скажу тебѣ, шельма искусная, да гордая, что Абрашку еще за вихры отдубасить, какъ узнаеть о его самозванствъ... Такъ, такъ, онъ самый и есть! и у его тещи, Бавыкинши, свой домъ на острову... и отлично...

Разумовскій позвониль.

— Ъзжай же ты, сердце, къ ней, — сказаль онъ: — а завтра въ эту же пору—или нъть, постой, —лучше къ вечеру, —будь ты опять у меня, да, непремънно, съ сыномъ и на волахъ... Тогда и о дълъ твоемъ потолкуемъ. А теперь некогда, —ъду во дворецъ.

За ствной послышалась суета. Поспвшио вошель разодетый въ золотую ливрею слуга, за нимъ—другой.

— Торохъ, торохъ, посыпался горохъ!.. Эка, пентюхи... Вы спите тамъ, — сказалъ Разумовскій: — а тутъ, чтобъ чортъ такъ и этакъ побилъ вашего батька — добрый человъкъ дожидается... Позвать повара Абрашку.

Вощелъ Абрамъ. Мировичъ глазамъ своимъ не вѣрилъ: куда дѣлась важность мнимаго кофи-шенка,—и животъ осунулся, и куда-то въ камзолъ спрятался двойной, вспотъвшій

подбородокъ.

— Не пьянъ сегодня? — спросилъ, строго хмуря брови, графъ: — ну, и отлично! ръдко съ вами, архибестіи, бываеть... Такъ вотъ же что... Бери ты, Абрашка, вотъ сего сизаго голубя къ своей тещъ на постой, да береги его, слышишь, пуще глазу... Угости тамъ, успокой и покажи ему и его хлопцу столицу... А это ему пока на расходъ.

Графъ бросиль повару кошелекъ.

На другой день государыня Елисавета Петровна пила у графа, въ Аничковскомъ саду, вечерній чай. Прибыла она изъ льтняго дворца, гдв теперь инженерный замокъ, на катеръ съ гребцами и съ роговою музыкою. Катеръ въвхалъ изъ Фонтанки прямо въ прудъ, бывшій тогда среди Аничкова двора.

Государынъ въ саду графомъ были представлены Яковъ Өедорычъ и его сынъ Василій. Мальчикъ игралъ императрицъ на торбанъ, пълъ «Горлицу», «Гриця», — плясалъ «трепака» и декламировалъ хвалебный, въ честь царицы сложенный въ то время кіевскими бурсаками кантъ. Государыня прослезилась. Но, спустя недъли три, когда ей отъ сената доставили справку о томъ, за что ея покойный родитель отобралъ въ казну имънія Мировичей, она не нашла возможнымъ исполнить просьбу Якова Өедорыча.

— Чудасія мосьпане, да и полно!—воскликнуль, топорща брови, неуспъвшій въ своей протекціи Разумовскій: — не все, братику, по-нашему! — пивень каже кудкудакь, а курочка—не такъ! Но дъло твое, не унывай, еще выгорить... Докажи, чуешь, что въ отобранныхъ у васъ помъстьяхъ были родовыя, собственныя маетности твоей матери. А безъ того — чтобъ имъ болячка, — не можно... убей Богъ, не можно... Посуди... сенатъ въ твою пользу не доложитъ... Сказано: москали! лыкомъ вязано, въ лыкахъ ходитъ, подъ дыкомъ спить... Видишь, сердце, какія у нихъ прицъпки,

да щупы,—на три аршина, собаки, подъ землей щупаютъ. Нельзя... финанціи, казенный интересъ!..

Слевы прошибли Мировича. Онъ не ожидалъ отказа и неуспъха, когда добился свиданія не только съ графомъ, но и съ царицей, подбиралъ, что бы еще сказать, и не находилъ словъ.

— А о хлопчикъ твоемъ, о сынъ, и не думай!—сказалъ тронутый его горемъ графъ: - государыня, до его великовозрастія, возьметь его подъ свою опеку и милость. И такойсякой я буду, слышишь, коли вру! Наплюй тогда въ глаза... Завтра же велить его записать въ кадеты, въ шляхетный здвшній корпусь, --- бо онъ у тебя, братику, все-таки дворянинъ, нельзя! э! того нельзя!.. Да еще вонъ какой до чорта письменный... стихи важно дуеть-и дисканть преизрядный... Безъ каммертона, сразу верхнія ноты, собачій сынъ, береть... Гордицу, не ходи Грицю, какъ отчикрыжилъ!.. Херувимскую московскую тоже вонь знатно спыть, безь ошибокъ; да, полагаю, и по придворному, концертному, скоро насобачится... А воловъ своего кума, сердце, знаешь, лучше оставь тутъ, — продай ихъ хоть и мив... Славные волы! и жалко ихъ, диду, опять гнать, бъсъ его знаетъ, и куда... Я бы, слышинь, послаль ихъ на дачу туть свою, въ Гостилицы... У меня, сердце, тамъ дворецъ, а какіе луга! Нехай бы ходили, шановались, да радовались по пашть... Гей, гей, родина, хуторы наши, раздолье... Эхъ-ма! А, впрочемъ, какъ знаешь. Брать Кирило въ Батуринъ новоманерную мебель посылаеть себь на-дняхъ въ гетманскій дворецъ... Такъ и ты бы, можеть, повхаль съ его хлопцами...

Яковъ Оедорычъ поблагодарилъ, но, пристроивъ сына въ корпусъ, повхалъ съ лохматымъ свркомъ домой на волахъ.

По возвращеніи на родину, старикъ протянуль недолго: простудился осенью на пасъкъ и умеръ. Объ этомъ написали молодому Мировичу сестры, жившія по людямъ въ Москвъ. Зать Бавыкиной, Юрченко, потерявъ отъ преждевременныхъ родовъ жену, запиль съ горя на графской кухнъ и также въ томъ году скончался.

Настасья Филатовна, на своемъ сиротствъ, незамътно и кръпко привязалась къ Васъ Мировичу; брала неуклюжаго и на первыхъ порахъ медвъдеобразнаго, а потомъ ръзваго

и шустраго, миловиднаго кадетика къ себѣ по праздникамъ, ласкала его, журила и няньчила, какъ родного. Изъ кадетика вышель вскорѣ кадетъ, изъ тощаго заморыша-мальчёнки— рослый и полный здоровья юноша, который не зналъ, куда дѣть вытянувшіяся руки и ноги; не по днямъ, а, казалось, по часамъ, такъ и выпирало его изъ казеннаго узкаго кафтанишки.—«И куда ты это, Васёнька, лѣзешь въ гору, такъ растешь?—говорила старука:—инъ скоро ужъ, пожалуй, и

рукой не досягну до твоего вихра!»

Сперва Вася лазилъ во дворъ у Настасьи Филатовны по крышамъ, по яблонямъ и березамъ, гонялъ голубей, въ свайку да въ бабки играль съ уличными мальчишками. Ссадины не сходили у Васи съ носа, синяки съ висковъ. Филатовна то-и-дело чинила его камзольчики и штанишки, штопала ему чулки. Но воть Вася окончательно вытянулся и остепенился. Сухощавый, скулистый, плечистый, будто увалень, а въ черныхъ глазёнкахъ такъ и быгають огоньки. Ландшафты рисуеть красками и миніатюрой, хитрыя виньсты къ нотамъ Разумовскому чертить и ему носить. Ходить съ книжкой по саду Бавыкиной, вслухъ читаеть какіе-то стихи; говорить, что твердить роль для кадетскаго театра. Зеленый ученическій кафтань на немь чисть, русая коса въ завиткахъ и припомажена; шляпа на три угла, какъ съ иголочки, бълыя манжеты и чулки отнюдь не примараны. Ему исполнилось восемнадцать леть. Въ корпусе онъ быль уже шестой годъ.

- Кто же васъ тамъ актерству этому обучаетъ?—спранивала его Филатовна.
- Самъ Александръ Петровичъ, самъ господинъ Сумароковъ!—отвъчалъ Вася Мировичъ:—и мы играли намедни, на домашнемъ нашемъ театръ, его комедію «Чудовищи», а въ скорости при дворъ, въ собственныхъ внутреннихъ аппартаментахъ государыни, будемъ играть его же тражеди «Гамлета»... Ахъ! какіе стихи, какіе!
 - «... Люблю Офелію, но сердце благородно «Быть должно праведно, хоть плънно, хоть свободно...»

Сердце кадета Мировича, на самомъ дѣлъ, вскорѣ было илъвнено. Онъ нашелъ свою Офелію и сразу влюбился въ нее страстно, безъ ума, о чемъ признался товарищу, уроженцу харьковскаго намъстничества.

Случилось это въ 1759 году, незадолго до выпуска стар-

шаго курса изъ корпуса. Въ Петербургъ и въ окрестныхъ дачахъ вельможъ, по случаю прівзда принца Карла Саксонскаго, шли непрерывныя празднества и торжества, — съ качелями, каруселями, катаньемъ съ горъ, рыбными ловлями, стрельбой въ цель и театрами.

Въ Гостилицахъ, на дачъ Разумовскаго, давали переведенную съ французскаго пьесу: «Пастухъ и прегордая пастушка». Кадетъ старшаго курса, Мировичъ, кончившій геометрію и фортификацію съ аттакой и изучавшій въ томъ году у корпуснаго ученаго адъюнкта, Флюга, гражданскую юриспруденцію, натуральное право и нъмецкій штиль, игралъ родь пастуха. Роль пастушки исполняла одна изъ хорошенькихъ и веселыхъ камеръ-медхенъ императрицы Елисаветы, Поликсена Ивановна Пчёлкина, — непомнящій родства подкидышъ. Свою фамилію она получила вследствіе того, что государыня, встретивъ въ коридорахъ дворца кудрявую, съ сёрыми глазками и съ золотистыми волосами, девочку, остановилась и сказала: «Вотъ распеваеть, жужжить, точно пчёлка!» — Съ той поры она и осталась Пчёлкиной.

Влюбленный въ неприступную и гордую пастушку на сценъ пастужъ-Мировичъ поймалъ ее врасплохъ за кулисами, обнялъ за талію и, страстно припадая къ ея розовымъ, съ ямочками, набъленнымъ и облъпленнымъ мушками щекамъ, нъжно прошепталъ изъ своей роли:

«Когда жъ бѣдняжку-пастуха— «Когда полюбишь ты, пастушка?..»

Пчёлкина вырвалась отъ него, оправила смятыя блонды и ленты и, сдёлавь вздыхателю реверансь, съ насмышливой важностью, отвытила также стихами разыгранной пасторали:

> «Когда ты будешь богачомь, «Вельможей, а не пастухомь,— «Чтобъ не въ убогой жить намъ хать, «А въ роззолоченной палать...»

Тънь всякаго спокойствія, съ той поры, покинула влюбленнаго кадета. Гражданская юриспруденція, нъмецкій штиль и натуральное право Флюга были заброшены. Ихъ замънили безсонныя ночи, вздохи, писаніе страстныхъ и нъжныхъ мадригаловъ, а въ промежуткахъ, съ горя— попойки съ городскими кутплами и карты.— «Хохлёнокъ сду-

рълъ!» — говорили товарищи. И точно: Мировичъ сталъ раздражителенъ, мраченъ, ушелъ въ глубъ себя. Бавыкина собираласъ не разъ вызватъ на голову завертввшагося своего любимца громы и молни со стороны Разумовскаго. Но всесильный графъ давно забылъ и думатъ о юношъ, который когда-то пълъ кантъ и плясалъ «журавля» въ его саду, хотя при встръчахъ съ нимъ обыкновенно шутилъ: «Виньеты славно чертишь, и херувимовъ, и гербы... А постой, одначе, постой! Хочешь, куконочка, варенниковъ? и когда на волахъ до дому?»

Днемъ, повидавъ украдкой Пчёлкину, Мировичъ вписывалъ въ свой дневникъ стансы къ милой:

«Лишенъ любовныхъ разговоровъ, «Я вижу тънь твою съ собой... «И, ахъ! твоихъ не зрю хотъ взоровъ, «Но мысль всегда, вездъ съ тобой...»

Вечеромъ, въ корпусномъ дортуарѣ или въ дупномъ служительскомъ чуланѣ, онъ рѣзался съ богатыми изъ товарищей въ ля-мушъ и въ фараонъ. Жажда выиграть, разбогатъть тянула его къ себѣ, и онъ, къ собственному удивленію, выигрывалъ. Сперва серебро, а потомъ и золото завелись у кадета. Нерѣдко полные карманы рублевиковъ таскалъ онъ къ Настасъѣ Филатовнѣ.

- Откуда берешь, пострыль?—допрашивала она.
- Спрячьте, голубушка, спрячьте береживе, а то опять спущу!..—отвычаль онъ:—это для Полиньки! все ей... какъвыйду въ офицеры, посватаюсь и женюсь...

Молва о счастливой игръ Мировича дошла и до начальника корпуса, богатаго и знатнаго князя Юсупова. Строгій распорядитель и любимецъ ввъренныхъ ему питомцевъ, онъ тоже былъ страстный игрокъ.

 — А играешь ли въ рокамболь? --- спросилъ его однажды князь.

Мировичъ въ это время готовился къ окончанію экзаменовъ.

- Во что угодно-съ...
- И въ вистъ-руаяль?
- И въ вистъ...
- Почемъ роберъ?
- Хоть по десять рублевъ.
- Воть какъ! А въ пикетъ знаешь?

— Знаю.

— Ну, приходи ко мић: завтра Сретеніе, праздникъ, —

сыграемь во что-нибудь...

Мировичъ за два дня передъ тъмъ видълся съ Поликсеной у знакомой Настасьи Филатовны, у поручицы Птицыной, и все время послъ встръчи съ обожаемой, неприступной красавицей былъ какъ въ чаду. Онъ усердно помодился объ успъшной игръ, даже объщалъ поставить свъчку у Исаакія, если выиграсть, и, вопреки совътамъ товарищахарьковца, пошелъ на квартиру къ Юсупову.

— Ну, сядемъ въ бириби, — сказалъ вельможный начальникъ, кладя карты на столъ: — огурчики, огурцы, пошли въ дъло молодцы!.. такъ ли? ну-ка, сивая, пойдемъ въ походъ!..

деньги есть?

Кадетъ показалъ дукаты. Юсуповъ поставилъ возлъ себя зарецъ. Они стали игратъ. «Мать пресвятая, владычица Казанская помоги!—думалъ Мировичъ,—что, если выиграю у него, не то что сотню, полтысячи, тысячу рублевъ?.. Онъ богачъ, въ игръ, слышно, зарывается, неотходчивъ... Тогда... о! тогда Поликсена моя...»

И онъ дъйствительно сталъ выигрывать.

Когда стемневло и подали свечи, серебро, а потомъ и золото изъ карца Юсупова наполовину перешли въ шляпу кадета. Руки князя дрожали, брови удивленно шевелились, старческое, апоплексически-красное лицо покрылось бёлыми пятнами. Онъ не переставалъ сыпать любимыми поговорками.

— И начала она сомнъватися!.. и начала! — возглашаль онъ, судорожно хлоная картой по картъ: — ура, сивая, не отставай!.. окунулся по уши, валяй и по маковку туда жъ...

Ларецъ Юсунова опустыв.

- -- Эй, вина! венгерскаго! выпьемъ, братъ! -- забывшись, крикнулъ начальникъ:-- что-то душно...
- Не пью-съ! пролепеталъ блёдный, взволнованный успъхомъ Мировичъ.
 - Вздоръ, приложимся! у меня, брать, старое...

Подали бутылки и рюмки. Князь выпиль, налиль и партнёру, выпиль и еще; труня надъ своей неудачей, распахнуль окно въ оранжерею, а дверь заперъ на ключь, досталь изъ пузатаго, выложеннаго бронзой, бюро горсть коралювь и нъсколько ювелирныхъ вещицъ, и началъ удваивать ставки.

— Ахъ вы, Сашки-канашки мои, куда дёли подтяжки мои?—шутиль онъ, щелкая картами по столу.

Къ полночи Юсуповъ выбился изъ силъ и откинулся на спинку кресла. Все вынутое было вновь проиграно. Глаза князя лихорадочно сверкали, на углахъ губъ проступила пъна.

— Ты магь, кудесникъ!—прохрипъль онъ, въ охмеленіи глядя на кадета и срывая съ горла обшитый пуанъ-дешинами платокъ: — не вывезла, сивая, усомнилася!.. отстала?.. Уходи теперь, братецъ, какъ есть, будто не игралъ... иначе, —прибавилъ вдругъ Юсуповъ: —я тебя за карточную игру подъ судъ...

Мировичъ помертвълъ.

- Ваше сіятельство, князь! вы шутите? проговориль онъ, заикаясь.
- Не шучу, не шучу... Иди по добру, по здорову... Не то я тебя, каналья, выпровожу... нечисто, знать, играешь...
- Какъ смъсте! вскрикнулъ, вскакивая, Мировичъ: вы забылись... Такія слова природному дворянину... Мои предки не меньше вашихъ вельможами были...

На Мировичѣ не стало лица. Руки и подбородокъ его дрожали. Онъ какъ пьяный піатался, стоя чрезъ столъ въ угрожающемъ положеніи противъ князя. Глаза его застилало пеленой.

— Вонъ, молокососъ, вонъ! — закричалъ Юсуповъ, также поднимаясь съ кресла и толстыми прыгающими нальцами загребая снова въ ларецъ лежавшія на столѣ деньги, кораллы и ювелирныя вещицы: — я тебя, сударь, только пыталъ!.. Аль не догадался? Вижу нонѣ, какова ты птица... Юсупова, братъ, князя не проведешь...

Свъть окончательно померкъ въ глазахъ Мировича.

Онъ опрокинулъ столъ съ картами и съ виномъ, рванулся къ князю, выбилъ у него ларецъ и ухватилъ его за руки. Борьба между сильнымъ, тучнымъ старикомъ и ловкимъ дерзкимъ юношей началась отчаянная. Огромный парикъ князя слетълъ подъ софу, часы были обронены въ схваткъ и растоптаны подъ ногами, рубаха и манжеты изорваны въ клочки. Сильно досталось и кадету. Съ отхваченнымъ лацканомъ кафтана, лопнувшимъ по швамъ камзоломъ и съ развитой косой, онъ въ рукопашномъ бою не- чаянно далъ выскользнуть сопъвшему въ его объятияхъ князю, получилъ отъ него мъткій ударъ чъмъ-то тяжелымъ въ голову, но изловчился, опять поймалъ его за каминомъ въ углу и, съ крикомъ: «молись! теперь тебъ, извергъ, капутъ!» — тонкими пальцами изо всъхъ силъ ухватилъ его за жирное горло.

Мировичъ задушилъ бы князя Юсупова, но изъ прихожей къ кабинету, на возгласы ихъ и возню, сбъжались слуги.

Въ двери стали стучать. Мировичъ опомнился, выпустнлъ князя. Юсуповъ, задыхансь, молча указалъ ему окно въ теплицу, откуда былъ особый выходъ въ садъ. Тотъ медлилъ. Князь, злобно хрипя и потирая горло, отвъсилъ ему низкій поклонъ. Мировичъ схъатилъ шляпу и выскочилъ.

Юсуповъ пришелъ въ себя. Не отворяя двери, онъ крикнулъ, что никого не звалъ и чтобъ его оставили въ поков, привелъ въ порядокъ свою одежду, мебель и вещи, и закрылъ окно. Опустивъ гардины, онъ выпилъ цёлый графинъ воды, крестясь и охая, прошелся нёсколько разъ по комнате и сёлъ писать къ фавориту государыни, Ивану Иванычу Шувалову, длинное письмо.

Черезъ недѣлю послѣ этого казуса, кадетъ Мировичъ, за лѣность, а также за продерзостное и кутежное поведеніе, не кончивъ курса, былъ отосланъ солдатомъ въ пѣхоту, въ заграничную армію, гдѣ въ два года дослужился до подпоручика.

Юсупова разбилъ параличъ. Послѣ долговременнаго управленія кадетскимъ корпусомъ, онъ былъ уволенъ отъ этой должности и вскорѣ скончался. Онъ словесно передъ смертью пожелалъ выслать за границу исключенному кадету крупную сумму денегъ. Но ближніе его посмотрѣли на это, какъ на излишнюю поблажку, и приказа его не исполнили.

III.

Петербургъ временъ Петра Третьяго.

Крвико спалось съ заграничной дороги Мировичу у Настасьи Филатовны, да и было такъ тихо въ теплой, уютной горенкъ. Городской взды по берегу Мойки въ томъ мъстъ почти не было слышно. Бавыкина и въ церкви побывала, и на рынокъ сходила, и кончила въ кухиъ объденную стряпню. «Вотъ засиался, сердечный», — разсуждала она. Разбудили Мировича неразлучныя канарейки хозяйки. Онъ такъ весело растрещались на солнце, что онъ проснулся, открылъ глаза, но не сразу пришелъ въ себя, гляделъ по комнате, припоминалъ...

Воть старый, почерналый, дубовый комодь Филатовны,березовый, со стеклами, посудный поставецъ. Въ комодъ лежали когда-то его кадетскія рубашенки, тетрадки, потертые въ беготив чулки. А изъ поставца всегда такъ пахло корицей, имбиремъ, и лежали тамъ, ждали его къ праздникамъ пряники, оръхи, шептала. На ствив — поясной портреть, красками, покойнаго Бавыкина. Сударь Анисимъ Поликарпычь, въ кафтанъ, шитомъ золотомъ, и въ лейбъкампанской, съ перьями, шапкъ, гордо и важно глядитъ изъ рамы и будто повторяеть слова манифеста Елисаветы Петровны: «а особливо и наиначе лейбъ-гвардіи нашей шквадрона по прошенію престоль нашь воспріять мы соизволили». Мировичъ не засталъ уже Бавыкина въ живыхъ. Но власть и мочь покойника еще признавались памятью знавшихъ его. Одинъ изъ трехъ-сотъ гренадеровъ, возведшихъ Елисавету на тронъ, во дни загула онъ-«подпіяхомъ съ пріятелями», --бывало, подниметь такое веселье, что ванцлеръ Бестужевъ, слыша изъ своего дома, черезъ Неву, буйные пъсни и крики у его вороть, посылаль цидулки къ генералъ-полиціймейстеру о командированіи пикетовъ для охраны спокойствія соседнихъ улицъ и домовъ.

— Все отдамъ, все тебъ послъ смерти откажу, — говорила въ оные дни Настасья Филатовна кадету Мировичу: — учись только уважать начальство, въ люди выходи. Станешь въ чинахъ, будешь знатенъ, анбиціи своей не преклонишь, и меня до конца въку доглядишь... Оно точно: на рать съна не накосишься, на міръ хлъба не насъещься. А бери, сударикъ, примъръ хоть бы съ меня... Самой царицъ угождала, ен душеньку брехнёю услащала... И былъ зато бабъ Настасъъ почетъ и привътъ... Дъвка гуляй, а дъло помни... Даромъ, братъ, ничего; даромъ и чирей не сядетъ...

Все измѣнилось, все прошло. Бѣдность видимо прогладывала теперь во всей обстановкѣ Бавыкиной. Не оправдаль ся надеждъ и былой ся питомецъ. Мировича замѣтили, за отличіе подъ Берлиномъ, гдѣ онъ былъ контуженъ, произ-

вели въ офицеры. Но тяжело дались ему двухлатніе походы, лишенія всякаго рода, обиды старшихъ, изміны и подкопы товарищей, и та же суровая бідность, бідность безь конца. Онь еще боліве сосредоточился, сталь скрытенъ, завистливъ, раздражителенъ и гордъ. Чужіе края во многомъ открыли ему глаза. Онъ сходился тамъ съ умными людьми, въ томъ числів съ масонами, читалъ книги, немало неренялъ, сунулъ носъ и въ такія річи и діла, о которыхъ ему прежде и не снилось. Грубость генерала Беклешова на утреннемъ пріемів въ коллегіи не выходила у него изъ головы. «Скрыть хотятъ пропозиціи Панина, — не выходило у него теперь изъ мыслей: — измівники! берлинскіе угодники!.. не скроють... Завтра опять пойду и добьюсь».

Мировичъ всталъ, быстро одълся и вышелъ на улицу. У него что-то сидъло въ головъ. Добхавъ на извозчикъ на Литейную, онъ высмотрълъ чей-то дворъ, между свътлицъ придворныхъ чиновъ, обошелъ его, долго глядълъ на окна и двери, и спросилъ кого-то вышедшаго изъ того двора. Ему вызвали слугу. Отвъты послъдняго не привели ни къ чему. Еще постоялъ Мировичъ передъ завътнымъ домомъ, еще поглядълъ на окна. Онъ чернъй тучи возвратился на Мойку, пробрался въ горенку Филатовны и молча прилегъ опять на постель. Бавыкина вошла къ нему съ завтракомъ.

съ завтракомъ.

 Думала спить, а ужъ онъ и по дѣламъ, сказала она, присѣвъ противъ него и съ любопытствомъ его разсматривал.

Онъ молчалъ.

— Это же что у тебя?—сказала она, взглянувъ на истрепанную тетрадку, лежавшую на кучъ хлама, вынутаго изъ чемодана.

Мировичъ и на это ничего не отвътилъ. На заголовкъ тетради, красивыми росчерками. стояла надпись: «Храмъ Апрантифской». Вокругъ заглавія были рисунки тушью,— два столба, треугольникъ, отвъсъ, молотокъ и другіе знаки. То былъ масонскій катехизисъ, ложи св. Іоанна, ученической степени (арргепі).

- Дипломъ, что ли, на чинъ? спросила, просіявъ, Филатовна.
- Да... нътъ, бишь... артикулъ.—товарищи дали,—нехоти отвътилъ Мировичъ.

— Служи, Василій, служи; времена тяжкія; добивайся!.. Песъ космать, ему тепло; намъ зато воть какъ холодно... А золотой молоть, паря, онъ и желізны вороты прокусть. А почему? Потому нонішній світь онъ самый, какъ есть динуній... Табо надъ нами пахнеть... Нынче корова, а завтра падаль...

Бавыкича вздохнула, оперлась на руку головой.

— И ужъ такъ-то плохо, такъ... Все махонькое въ большаки, вишь, просится. Да не быть медвъдю стадоводникомъ, а свиньъ огородникомъ. А что прогоръда, то еще ве бъда. Города—и тъ чинять, не токмо рубашки.

Мировичь не отзывался. Бавыкина пристальнъе изгля-

нула на него.

- Да ты не на Литейну ли отмахаль? Что смотринь? Угадала, небось? Признавайся.
 - Гдв Полинька?—спросиль Мировичь.
 - Нешто самъ не знаешь, не списывался съ нею?
- Четыре мѣсяца ин слуху про нее, молчить, на письма не отвѣчала, — отрывисто и грубо проговориль Мировичь.
- То-то, Василій, скрытинчаешь, сказала, покачавь головой, Филатовиа: а я. признаться, нной разъ справиввала. Поминла твои гонянья... Вотъ и сегодия... Только, брать, ни Итицыны, ни Прохоръ Ипатьичъ. кучеръ покойной царицы, ни Шепелёвыхъ кума. дворцовая кастелянша, никто не знаетъ. Какъ померла на Рождество государыня, твоя-то, върншь ли, точно въ воду канула. Да и дива нътъ. Порядки, самъ въдаешь, пошли все иные. Дворъ покойной царицы распустили, ослобонили, кто куда. Ну, а она, навъстно, —голячка, сирота; гдъ ей въ злъщиемъ-то Бавилонъ болтаться. Куда-иноудь отъ глазырниковъ въ тихости дъвка и съютилася... Самому знакомъ ейный правъ. недотрога, гордецъ, и обидъ, этакая, подумаешь, пама, не любитъ. За границу развъ?.. Такъ нътъ: знали бы. Безъ паспорта, чай, сразу и не уъдешь...
- Чудеса! произнесъ Мировичъ: ужъ жива ли, или впрямъ куда убхала?
- А про то, братець, говорю тебь, не сивдома!—съ медовольстьомъ отвътила Филатовиа: дв ръ, соколъ ты мой, новый и порядки новые. Не то, что камеръ-медкены, гофъенералы, у новаго царя и у его козяйки—всь почти пере-

мънились. А въдь твоя-то, правду сказать, человъкъ небольшой; разсчитали, ну, вътеръ ее, мелкотравчату, и сдулъ съ земли долой.

Мировичъ не слушалъ Филатовны. Та взялась за подносъ, брякнула тарелками.

— А я воть что тебь скажу, — заговорила опять Филатовна: — что твоя Поликсена? ну, говори! Голь безшабашная и только. Тебь, сударь, не того нужно. Неть грах хуже бъдности. Помни зарокъ бабы Насти, — тутъ вся правда. Ну, посуди! Ты молодъ, изъ себя красивъ, чинъ у тебя тоже вонъ ужъ офицерскій, и всякая за тебя теперь, ну, писаная краля пойдеть... Да воть, на прикладъ, хоть бы и дочка самой Птицыной... чемъ не невеста? Повиднив, какая пава стала, — выровнялась за это время, станъ тебь полненькій, ходить, вертить хвостомь какъ уточка, — а волосы, а глазищи... Да притожъ, Василій, домъ какой на Литейной, дача на Каменномъ; а по смерти матери, въ сходствіе ейнаго счастья, еще и капиталь. Прокорминься, ну, и меня въ ть поры не забудень... Вонъ я последнюю холопку Гашку изъ-за бедности продала енералу Гудовичу, какъ сюда съвзжала на фатеру. Въришь, пухомъ да перьями нонъ торгую, — продолжала, всхлиннувъ и утираясь, Филатовна: -- скупаю по господамъ, да перепродаю въ Гостиный на подушки и пуховики... Право, подумай, голубчикъ, не спыти. На рызвомъ конъ свататься не пытайся; а жена. брать, не гусли, понгравь, на сукъ не повъсишь...

Мировичь въ досадв и нетерпвніи постукиваль о поль ногою. Онъ сидвль молча, понурившись. Его божество, стройная, худенькая пастушка, съ лукавымъ взоромъ холодныхъ, сврыхъ и загадочныхъ, какъ у сфинкса, глазъ, съ ямочками и мушками на щекахъ и съ гордо-вздернутой, насмъшливо-дрожащей губкой, не отходила отъ его мысленныхъ взоровъ.

Филатовна оздилась. Гремя въ посудномъ поставцѣ, она путь не разбила любимой чашки.

— Да чімь бы вы жили?—ну, отвічай! и каковы нынче ціны? Да ты не круги носомь, прокурать, а толкомъ разбери: фунть чаю два съ полтиной, сажень дровь рубь шесть гривень... а? Да что! Слыхано ли: пудъ аржаной муки двадцать шесть копеекъ. Сивтопредставленіе, да и все... Говя-

дины, говядины фунть-меньше двухъ копескъ не отдають... Какъ туть жить?

- Ну, какъ жить, про то ужъ не знаю, полупрезрительно ответиль, вставая, Мировичь: — и пойдеть ли за меня Поликсена... А подруги ся, Птицыной, прежде не примвчаль, да и теперь видеть не хочу... Вы спрашивали, что это воть за книжка?--Мудрыя въ ней слова.
 - -- Каки-таки слова?
- Міръ на трехъ основахъ сотворенъ, продолжалъ гордо и какъ бы въ раздумы Мировичъ: —на разуми, силь и красоть.—Разумъ-для предпріятія, сила-для приведенія въ дъйство, красота — для украшенія... Жизнь нашахрамъ Соломоновъ, и каждый камень въ немъ да кладется безъ устали и ропоту... Впрочемъ, вы того, простите, не поймете... Но стойте, одно слово. Окажите такую милость. Сходите еще разъ къ кучеру Прохору Ипатьичу, къ Птицинымъ и къ Шепелёвымъ кумѣ, кастеляншѣ... Узнайте, куда отъ двора могли доставить Пчёлкину? Чай не выкинули же на улицу, въ придворномъ экипажћ везли.
- Такъ воть тебь, высуня языкъ, и стану быгать за дівками! — отвічала, отмахнувшись, Филатовна: — стара, брать, стала! пора бы и на покой... Садись развів самъ, на и пиши публикацію въ газетахъ, какъ въ старину письма къ любовницамъ писали: сладостныя, моль, гортани словеса медоточныя, гдв вы, отзовитеся! Красоты безмерной власы! стопы превождельным, улыбаніе полезное и пріятное, нравъ веселый и пресвытный, ластовица моя златообразная, откликнись!.. Неть, брать, уволь, — винты развинтилися, не гожусь... въ ломку пора...

Филатовна, однакожъ, только храбрилась. Нодъ предлогомъ сношеній съ перинщиками, она сказала, что надо посяв обеда сходить въ Гостиный, накинула поношенный шушунчикъ, взяла какой-то узель, вышла за калитку и онять поплелась къ лейбъ-кучеру, къ Шепелёвыхъ кумъ, кастеляншь, и къ Итицынымъ.

Возвратилась Бавыкина въ сумерки. Она была сильно

не въ духв, хмурилась и бранилась.

— Эки концы, прости Господи! Воть она торговля... Коли не камерь-фуриры Герасимъ Крашениниковъ, да Василій Кирилычь Рубановскій, — сказала она, бросивь въ уголъ ношу и глядя на Мировича: — такъ никто ужъ въ светв и не скажеть тебі, гді ноні Поликсена... Они заправляли списками при похоронахъ государыни; имъ только теперь и знать, куда направила лыжи твоя Миликтриса Кирибитьевна.

Она вышла. Мировичь записаль въ бумажникъ названныя ею имена и засустился надъ чемоданомъ. Заперевъ дверь, онъ принялся чистить сильно поношенный кафтанъ, шинель и башмаки, досталъ изъ какого-то свертка иглу, заштопалъ штиблеты и долго, вздыхая, возился надъ распоротымъ у подошвы башмакомъ; расчесалъ и тщательно завилъ косу и букли, — обвязалъ ихъ, для сохранности, на сонъ грядущій, платкомъ и попросилъ разбудить себя на зарѣ, чтобъ успѣть напудриться, побриться и, отбывъ утромъ явку къ начальству, пуститься на поиски камеръ-фурьеровъ Крашениникова и Рубановскаго. — «Доля проклятая, — гдѣ-жъ ты? — ворчалъ онъ, раздѣваясь: — на днѣ моря, въ вемлѣ, или выше того?»

Утромъ Мировичь изъ первыхъ явился въ коллегію. Тамъ его, сверхъ ожиданія, задержали долго. Толпились приказные, гвардейскіе и армейскіе офицеры. Изъ заграничнаго отряда въ ночь прискакалъ новый курьеръ. Къ полудню пріемная и л'ястница коллегіи гуд'іли отъ говора разномастнаго люда, какъ улей. Бряцая шпорами и дерзко волоча палаши по ногамъ встричныхъ и поперечныхъ, съ наглыми казарменными ухватками, ръчами и громкимъ смъхомъ, прошли вследъ за какимъ-то, белобрысымъ и куцымъ, голштинскимъ бригадиромъ, ново-испеченные гвардейскіе любимцы. Между мелкосошною мундирной братіей стали говорить шепотомъ, а потомъ и громче, что общія смутныя предсказанія сбылись: голштинцы торжествовали, и Волконскому въ пограничный корпусъ посылалось предписаніевойти въ формальные переговоры о прекращении военныхъ дъйствій съ принцемъ Бевернскимъ. О «пропозиціяхъ» Панина не было и помина. На Мировича, сидъвшаго въ углу на скамых и поджимавшаго заштопанную кольнку и плохо зашитый башмакъ, теперь ужъ никто не обращаль и вниманія. Вчерашній, сердитый и надутый, какъ п'ьтухъ, генераль Бехлешовь, выйдя съ озабоченнымъ и, казалось, невыспавшимся лицомъ въ пріемную, замітиль его и кивкомъ, пренебрежительно, подозвалъ къ себъ. Пыхтя и разглядывая свои былыя, маленькія ручки, онъ помолчаль и

наругъ, погладвет на него въ упоръ, напустияся: «Такъ ты — Мировичъ? а? а? Мировичъ? ордонансъ Панина?.. А отчего у тебя, сударь, кафтанъ стараго образца? Да и галстукъ—папильономъ, сиръчъ, бабочкой, не по формъ повязанъ! Ордонансы! баловники! — кричалъ топая ножками, генералъ: — развъ вамъ не были посланы указы о новыхъмундирахъ? а? Вольнодумствомъ вы только занимались тамъ, по театрамъ, по обержамъ, вертопрашили, да дусёргельды дълили на пирушкахъ!.. Шалберники, роскошники, моты..»

- Не заслужиль, не заслужиль! отвътиль, вспыхнувъ и самъ не помня себя, Мировичь:—подобный афронть офицеру... я... вы...
- Здёсь столица, самъ, государь,—а не ордеръ-де-баталія!..—крикнулъ еще запальчивъе Бехлешовъ:—ступай, сударь, да берегись... слышь, говорю тебъ, берегисы Любимчики штабные! ордонансы! А понадобишься, за тобой пришлють.

«Ахъ ты ракалія!—подумаль сь дрожью Мировичь:—да, что-жь это? и за что? только что прівхаль, и вдругь»...

Горло его схватили судороги. Онъ молча повернулся, спустился блёдный съ лёстницы и, стиснувъ зубы, глотая слезы негодованія, поёхаль домой, повторяя: «ну, родина! угостила съ первыхъ же разовъ»...

Бавыкиной онъ не засталъ дома. За нею пришли изъкакой-то лавки. Прождавъ ес часъ-другой, Мировичъ успо-коился, пришелъ въ себя. Онъ вспомнилъ объ академикъ, освъдомился о немъ у прислуги и смъщался. — «Такъ вотъкто это!» — пробъжало въ его мысляхъ. Онъ въ раздумъъ подиялся по наружной лъстницъ флигеля. Академикъ былъвъ верхней, угольной комнатъ, выходившей въ садъ.

Ломоносовъ стоялъ за простымъ кругинмъ столомъ. Солице ярко свътило въ окна. Онъ курилъ небольшую пънковую трубку и, нагнувшись надъ картой Съвернаго океана, чертилъ на ней предположенный имъ путь, въ обходъ Сибири, въ Китай и въ Индію. Теперь онъ былъ принаряженъ; — въ парикъ, безъ пудры, въ суконномъ, кирпичнаго пъйта кафтанъ, въ чистыхъ манжетахъ и въ бъломъ шейномъ платкъ. Въ кресяъ у камина, съ книжкой въ рукъ, сидъла бълокурая Леночка. Въ книжку она смотръла разсънию,

украдкой следя за серыме котенкоме, играниями съ бахромой ковра на полу.

— А! господинъ офицеръ! — сказалъ съ улыбкой, подвигал стулъ, Ломоносовъ: — очень радъ... Садитесь, батюшка... Давеча вы меня порядкомъ смутили. Старъ становлюсь, да и болъть эту зиму, ноги остудилъ, на смертной постели лежатъ; ну, и не удерживаюсь иной разъ. Да и какъ удержаться! Я дописывалъ новую оду, а поговоривъ съ вами, бросилъ ее въ печку и, какъ есть, всю-то ночь не спалъ. Выбхалъ сегодня въ академію, — ваши слова подтверждаются, — только и говору вездѣ, что о перемиріи... Совраль видно я, писавъ сгоряча на новый этотъ годъ:

Истра Великаго обратно Встрачаеть русская страна...

— Миръ! да лучше бы кнугомъ меня на площади били, самого напиемъ сдалали, чамъ это слышать! — произнесъ Ломоносовъ, бросая трубку на столъ и закашливаясь.

Краска залила его изъ-желта бледныя, въ суровыхъ морщинахъ щеки. Желтизна проступила и въ затуманенныхъ годами, большихъ, строгихъ и вмете ласковыхъ глазахъ.

— Леночка! пивца бы намъ аглицкаго! — сказалъ онъ дочери: — возьми у мамы ключи, да холодненькаго, изъ занадни... душу отвести... пару бутылочекъ, не больше...

Леночка нъсколько разъ бъгала въ вападню.

Циво развязало языки новыхъ знакомцевъ. Ломоносовъ сталъ на картъ объяснять Мировичу выгоды отъ придуманнаго имъ, мимо Сибири, пути въ Индію.

- И все ферфлюхтеры, все нѣмцы мѣшають, сказаль онъ: —сегодня въ конференціи, вѣрите ли, чуть глотки въ спорѣ съ ними не перерваль... Скопъ злобы! Ничего, какъ есть не подълаешь съ толикимъ препятствомъ, съ толикимъ избыткомъ завистливой кривды и лжи...
 - А что, Михайло Васильичъ, спросилъ Мировичъ: не уступи нашъ новый государь, Петръ Оедоровичъ, своему другу, решись, по мысли Панина, продолжать войну, въдъ на въкъ бы немцевъ мы урезонили.

Лицо Ломоносова омрачилось.

- Плохо,—сказаль онь, махнувъ рукой и подвигалсь съ кресломъ къ камину:—и не приведи Богь, какъ плохо.
- Что же-съ? Развъ здоровьемъ слабъ государь?—спросилъ Мировичъ.

Ломоносовъ кивнулъ дочери, чтобъ ушла.

- Слушай, молодой человъкъ, и суди!—началь онъ, помолчавъ: — о тебъ много наслышался отъ своего стараго друга; да и прівхаль ты изъ такой дализны... Взвісь, оціни, на свъжую голову, неудобства нашихъ темныхъ, бурливыхъ дней, и скажи, по сердцу, свое мивніе. Чай, знаешь двиа-то великаго Петра... Что въ Рим'я въ дв'єсти л'ять, отъ первой пунической войны до Августа, вс'я эти Сципіоны, да Суллы, да Катоны сдвлали, то онъ въ свою токмо жизнь, онъ одинъ въ Россіи совершиль. Первые преемники были куда не по немъ! Хоть бы дворъ при царицъ Аннъ Ивановив...—какъ бы тебв выразиться, —быль на фасонъ ивмецкаго, плохонькаго владетельнаго дворика. Но и тогда русскіе лучшіе люди всюду, въ глубинь-то страны, еще порусски жили и говорили. Царица въ оперу, въ спальномъ шлафрокъ, ъздила, Бироновыхъ дътей няньчила, курляндскимъ конюхамъ, да ловчимъ все правленіе въ опеку отдала. Да въдь эти-то Бироны, Остерманы и Минихи, они все-таки были подданные русскіе, во ния Россіи дъйствовали. И повальнаго, брать, онемечения еще у насъ въ те поры не было... Правительница Анна Леопольдовна — слыхалъ ли ты про нее и про ея тяжкую судьбу?
- --- Мало слышалъ... въ школъ и на службъ-съ было не до того... кое-что говорили...
- Ну, такъ скажу въ краткости и о ней... Она драмы Аддисона, «Зайру» Вольтера любила декламировать и по три дня, простонравная безпечница, не чесалась... При ней зато нъмцы нъмцевъ ъли и намъ оттого было не безъ пріятства и пользы... А покойная государыня, божество мое, Лисаветъ-Петровна? Охъ! что гръха таить! при ней! не на твоей, разумъется, памяти, все у насъ иноземнымъ, французскимъ стало, —обычаи, нравы, моды и языкъ... Но все-жъ, голубчикъ ты мой, хохликъ, —лучшіе русскіе люди, лучшіе умы и сердца ее окружали... Умъла она ихъ выбирать и цънить... И я, россійскій, природный поэтъ и витія, я—Ломоносовъ—не даромъ, слышь ты, по сердцу, отъ души ее воспъвалъ...
- Помню ваши стихи, съ чувствомъ перебиль Мировичъ: —
- «Царей и царствъ земныхъ отрада»... и другіе о ней же:

«Владвешь нами двадцать льть»...

— Она смертную казнь отмънила въ Россіи! — продолжаль Ломоносовъ: — въ Москвъ, по моей мысли, открыла университетъ; на родинъ твоей, на Украйнъ, въ Батуринъ, тоже, въ сходствіе моего прожекта, открыла бы, если бъ не померла, — и свято чтила, лебедь моя бълал, дъла своего родителя, великаго и единаго въ міръ моего героя, Петра...

— Однако, — замътилъ, подумавъ, Мировичъ: — то были женщины, — Екатерина, двъ Анны, Елисавета, и почти подърядъ... Бабье царство, — говорили въ народъ. Войску надовло бытъ подъ женскою управой... Теперь у насъ на тронъ

монархъ, и снова Петръ...

— Петръ, да не первый! — сказалъ Ломоносовъ: — не было и не будеть такого другого. По примъру дъда-то великаго думаеть онъ управлять? Далеко, другь любезный! Дудки! Я самъ надвился... Оно, конечно... и Петръ, Второй, мальченочекъ, въ сенать, торжественно объщаль, подобно Веспасыну, править, никого не печалить... А что содъялось потомъ? Я неотесанъ, я грубъ, и меня, дикаго помора, сударь, --- за непорядочные поступки и озорничество съ седою обезьяной Винцгеймомъ, Таубертомъ и съ другими академическими нашими колбасниками, — подъ арестомъ при полиціи держали. Но, іздивь еще съ отцомъ, на рыбачьемъ карбасѣ, по съверному ледяному морю, я привыкъ бороться съ злыми стихіями... Великая и грозная, сударь, природа студёнаго надполярнаго океана воспитала меня... Я просто-совъстенъ, братъ, но не податливъ... И ничъмъ ты не купишь недовольства и угрюмства обиженпой и бунтующей моей души... Скажу тебь, юноша, правду... У насъ теперь нашествіе не русскихъ нѣмцевъ, а вѣмецкихъ, самыхъ сугубыхъ и лютыхъ... И нынъ, братецъ, прибавиль вполголоса Ломоносовь, склонясь къ Мировичу:-коли не найдется у насъ генія, чтобъ нами побитаго лукавца Фридриха водрузить въ прежнихъ умфренныхъ предълажь, то всю инфлюэнцію нашу на европейскія діла у нась исторгнуть. И будеть нашь великій канцлерь, а мой давній благопріятель, Воронцовь, министромь токмо не своего монарха, а того же, черезъ насъ вновь оживающаго, Фридриха. Шутка ли, въ военной коллегіи, въ конференціи, гдв Шереметевыхъ, Апраксиныхъ, Бестужевыхъ витаютъ имена, нын'в компасомъ всъхъ дълъ являются только-что прибывшій изъ Берлина, Фридриховъ посланникъ, Гольцъ, и дядющка государевъ, командиръ его голитинцевъ, принцъ Жоржъ.

— A что слынию о государевой супругь, о Екатеринь Алексьевиь?—спросиль Мировичь.

— Погоди, дойду и до нея... Тяжкій грахъ взяла на себя покойная императрица Елисаветь-Петровна... По особымъ важнымъ политическимъ и статскимъ резонамъ, она, необъявленная въ бракт, выписала себт въ преемники, въ-Голштиніи, своего родного племянника, нынашилго государя, Петра Оедоровича, когда ему исполнилось уже четырнадцать леть. Помню, какъ привезъ его изъ Киля во дворець теперешній адепній генераль-полицмейстерь, баронъ Николай Андреевичъ Корфъ. Грустно было смотретъ на этого ласковаго—и скажу—съ добрымъ сердцемъ юношу. Худенькій, щуплый, бледный, верой притомъ, отъ случайныхъ обстоятельствъ, лютеранинъ... чуточку по-французски зналь, но, представь — ни слова не говориль по-русски. Такого ли ожидать было въ преемники къ россійскому наследію великаго Петра? Ученье его въ Голштиніи совсемъ было заброшено. Учителя-шведы готовили его на стокгольмскій престоль и воспитывали, разум'єтся, не токмо въ холодности, а даже въ презрѣніи къ далекимъ русскимъ варварамъ. И таковъ-то именно онъ явился, двадцать лътъ назадъ, въ Петербургъ... Говорю, добрый онъ, и къ наукамъ не безъ склонностей; кое-что и въ искусствь сведаль: егерь Бастіянъ выучиль его въ Голштиніи на скрипкв играть... Но не повезло племяннику императрицы въ Россіи: чуть его доставили, бъднаго посетила оспа. Государыня-тетка полюбила его, жалбла, сама первымъ русскимъ молитвамъ обучила. Потомъ обвенчали Петра Оедорыча, и взяль онъ за себя. — выборъ счастливый, — принцессу, разумную, обстолтельную, нравомъ женерозную, твердую и пылкую, сущій огонь... Ты спросиль о Екатеринь Алексвеннь, какова?.. Да, другъ мой... Воть гдв сила воли, воть ума палата и всякихъ даровъ и качествъ пріятство!.. Да что! Развъ, среди нахлынувшей, подобной заморской челяди, убережень сердце свято? А Пстра Оедорыча окружили какими наперсниками! Изъ Киля ему целое войско грубейшихъ голштинскихъ скотинъ вывезли. И начали его новые друзья, Цвейдели, да Штофели, да Катцау, отклонять стъ

разумницы, преданной жены. Ел общество онъ променять на номпанію скоихъ капраловъ, на смехи да утёхи съ вертухой Лопукиной, съ дочкой нервоначальнаго нашего элоды, Бирона, съ девицей Карръ и съ княжной Шаликовой... Государыня-тетка увидёла все ясно, только ужъбыло поздно. Она даже хотёла выслять племянника опять за границу...

— Что вы? — спросиль съ удивленіемъ Мировичь: — кого жъ въ такомъ разв объявили бы наследникомъ?

Ломоносовъ носмотрълъ на него и вздохнулъ.

- Есть одинъ... быль, сказаль онъ будто про себя: и судьба ему улыбалась, столько было у его колыбели ожиданій, надеждь... На пурпурной бархатной подушкъ дитятею его народу показывали, чеканили съ его портретомъмонету, присягали ему, манифесты имонемъ его издавали... Прочили русскихъ ему учителей, и меня, нижайшаго ещо въ той поръ студента, думали пригласить...
 - Что жъ онъ? умеръ?
- Умерь, или, върше... живой погребенъ!.. Царственный узникъ!.. и живъ, и виёсте мертвъ...
- Какъ живъ? Какъ узникъ? Отчего жъ онъ не правитъ? и гдъ онъ?
- Не спращивай объ этомъ, голубчикъ ты мой, Василій Яковлевичъ:—когда-нибудь въ другой разъ! А лучше и вовсе никогда.

Ломоносовъ задумался. Большіе строгіе его глаза еще больше затуманились. Изъ взволнованной далекими воспоминаніями, широкой груди вырывался тревожный хрипъ. Общее молчаніе длилось нісколько минуть. Маятникъ на стінів кабинета мирно тикалъ.

— А воть я вамъ, государь мой, — отвітнять, вдругъ різко засмілявнись, Ломоносовъ: — я вамъ, для увеселенія, могь бы прочесть сочиненный на меня, на Ломоносова, здішними німецкими тупицами злой и преострый нашквиль... На-дняхъ въ академіи на мой столь подбросили... Да очень ужъ много чести... Гунсвоты! Рвань поросячья!.. Это любимая моя данная имъ кличка... Попрекаютъ, что я мужикъ и что не прочь подъ часъ покомпанствовать... То правда... Ругайте, наглецы, слабости, страсти непреодолівны!.. Ругайте и за то, что я — прочивъ нашествія языковъ, а самъ, сміху нодобно, у німцевь учился и на німків

женать... Браните. Все это върно... Учился я у нъмцевъ, умнъй насъ они, и долго еще намъ не обойтись безъ нихъ... Но сами-то, сами ругатели хороши-ль? Потатчики ошибокъ и слабостей властелина! Льстецы!.. Подбили монарха дать вольности дворянству. И господа сенать до того обрадовались, что депутацію прислали благодарить, золотую статую, въ честь новаго Солона, хотели отлить... Дмитрій Стичновъ хвалебную рычь на это сказаль... И я, грышный, до того всіми быль увлечень, что больной оду написаль. Да теперь думаю: ну, нешто барамъ нужны вольности? Народу, вотъ, другъ мой, кому!.. Не твон сытые родичи, -- извини, -мои сермяжники въ нихъ нуждаются, по нимъ всуе молятся Господу Богу... Оно точно, правду ты, Василій Яковлевичъ, сказалъ, не женщина теперь на престолъ. Да что, . и у тебя спрашиваю, въ томъ толку? Вы тамъ кровь продивали, безсердечнаго хитроумца и льстеца Фридриха били, и туть передъ его портретомъ на колънки въ Рамбовъ становились, кричали ему съ виннымъ бокаломъ: hoch! и еъ насміхательствомъ, всякими шпыняньями встр'ячали наши надъ німцами побіды...

— Можетъ ли это быть?—сумрачно спросилъ Мировичъ:—

не клевета ли? это черезчуръ.

— Богомъ тебв клянусь, не шучу... Говорять новымъ совътникамъ государя — нътъ у насъ настоящаго уложенія; онъ кодексъ-фридериціанусь для Россіи указаль переводить. Бъдная Екатерина Алексъевна совсьмъ нынче брошена, забыта; набитый пентюхъ, Лисавета Воронцова въфаворъ. Единственнаго сына государева, Павла, о-сю пору не объявляють наслъдникомъ. И стоятъ, сплошной стъной стоятъ, вокругъ добраго, довърчиваго, но слабаго волей монарха не мудрые совътники, а молодые вертопрахи, жадные чужеземцы... И ужъ такъ-то его берегутъ... Хотълъбыло я, вглядъвшись поближе, посатирствовать, войной пойти на эту челядь. Да, ну ихъ... Мудра пословица: не гоже въ крапиву... садиться...

Мировичъ не спускалъ глазъ съ собесћаника. Онъ слушалъ, и не върилъ своимъ ушамъ. Все, что вскользъ говорилось въ иностранныхъ газетахъ и что на ихъ враждебимхъ столбцахъ могло казаться умышленно-злою издъвкой надъ Россіей, подтверждалось устами великаго ученаго. — «Богъ отвернулся отъ вашей Россіи, — сказалъ Мировичу, въ засвданіи масонской ложи въ Кёнигсбергв, одинъ каноникъ:—она на распутіи между востокомъ и западомъ, тьмой и свътомъ, свободой и рабствомъ... Нужны великія жертвы, нужны смёлые мужи добра, иначе уйдеть она въ Азію... будетъ проклята Богомъ и людьми..»

- О чемъ говорено, чуръ, изъ избы сметья не выносить! — сказаль въ заключеніе Ломоносовъ: — а къ Иберкамифу, на Милліонную, на бильярдъ поиграть и распить ренского, върно ужъ не пойдемъ? Ну, ну... Настасья Филатовна не услышитъ. Да я, сударь, и шучу. Инъ и вправду, мы на огнедышащемъ кратеръ... Не праздновать, не застольныя пъсни, видно, нынъ пъть. Смиреніе древнихъ и постъ!.. Будемъ трезвости слугами, будемъ мудры... Такъ, къ соблазнителямъ ни ногой?
 - Ни ногой,--ответиль, задумавшись, Мировичь.
 - Зарокъ?
 - Зарокъ...
 - Рукуі

Новые знакомпы ударили по рукамъ.

На другой день Мировичъ молчкомъ пустился въ поиски указанныхъ Филатовной камеръ-фурьеровъ Крашенинникова и Рубановскаго. Приглядывался онъ къ домамъ, къ улицамъ и площадямъ Петербурга, гдв мелькнули годы его ученья, и весь онъ теперь, после чужихъ краевъ, показывался ему такимъ непригляднымъ, суровымъ и беднымъ.

Петербургь въ 1762 году быль все тотъ же, въ зимніе мъсяцы—грязный, а въ льтніе—пыльный, малоосвъщенный, до крайности разбросанный и на двъ трети бревенчатый, чухонско-нъмецкій городокъ. Жителей въ немъ тогда считалось съ небольшимъ сто тысячъ. Воды его были безъ набережныхъ, съ навозными плотинами и деревянными мостами, ухабы зимой по улицамъ чуть не по поясъ человъка. Вмъсто улицъ, вдоль линіи Васильевскаго острова, шли, какъ въ Венеціи, каналы съ разводными мостами на перекресткахъ проспектовъ. Кучи навоза и всякой брошенной дряни загромождали тротуары и углы перекрестковъ, валялись и, испуская вредныя испаренія, тліли на площадяхъ. Соръ, грязь и мертвечину съ улицъ и пустырей очищали колодники. Бездомныя одичалыя собаки, наводя страхъ на пішихъ и конныхъ, бродили стаями по городу, бъсились н кусали людей. Оть нищихъ, калъкъ и всякихъ попро-

шаокъ не было прохода.

Покойная государыня Елисавета Петровна, въ бользняхъ которой подъ конецъ чаще и чаще стала грезиться первал ночь ея царствованія, страдала безсонницами. Она то-ипъло мъняла свои опочивальни. Въ девять часовъ вечера никто уже не смълъ ъздить мимо оконъ ел временного, деревяннаго зимняго дворца, бывшаго на Мойкъ у Полипейскаго моста. Въ девять часовъ смолкалъ весь Петербургъ. Раздавался по городу только безконечный лай ценныхъ и праздношатающихся собакъ, да окливи, на стънахъ адмиралтейства и криности, часовыхъ, которыхъ, для безопасности, иной разъ ставили и на перекресткахъ. Всв помнили еще недавнее время, когда петербургскія улицы, изъ-за поджигателей, грабителей, воровъ и всякихъ непотребныхъ людей, на ночь на-глухо заширались рогатками, такъ какъ назначаемыя для обхода по городу «пристойныя партіи фузилировь и драгунь» оказывались недостаточными. Еще въ присутствіи государыни діло городского благопридичія шло кое-какъ. Во время же ся отъвздовь въ Москву, - а она тамъ живала по полугоду и болье, улицы Петербурга приходили въ окончательное запуствніе и поростали травой. Городскія австеріи, гдв Петръ І по праздникамъ любилъ чинно выпивать, среди матросовъ и шкиперовъ, чарку тминной водки, обращались въ притоны буйства и дикаго разгула.

Въ грязь по Петербургу не было прохода. Городскихъ извозчиковъ состояло въ то время весьма немного. Петръ III завель съ нихъ сборъ по два рубля въ годъ и далъ имъ особые кожаные ярлыки. Люди средняго сословія въ тъ норы болье ходили пъщкомъ. Богатые и знатные, особенно гвардейскіе офицеры, ъздили въ своихъ экипажахъ или верхомъ. Модные щеголи и щеголихи то-и-дъло давили иъщеходовъ. Разъ они чуть не до смерти смяли фельдмаршала Миниха. Зато доставалось и барамъ: уличные мальчинки, на Гороховой, Луговой (т.-с. Морской) и даже по Невскому, несмотря на объявленія полиціи, пускали бумажныхъ змевъ и тъмъ пугали и бъсили різвыхъ вельможныхъ рысаковъ. Генералъ-полицеймейстеръ Корфъ, съ скакавшими у его кареты адъютантами, не поспъвалъ являться туда, где оказывалнсь безпорядки. Неръдко, среди бълаго

дия, на рынкахъ или у новаго оканчиваемаго постройкой зименго продизи между неубранныхъ еще хибарокъ, избушекъ, шалашей и всякихъ сарайчиковъ, раздавались отчаянные крики подравшейся черни: «караулы! грабяты!

Невская першпектива въ полдень покрывалась гуляющими. Шли статскіе щеголи, въ черных бархатных кафтанахъ, мосиненихъ панталонахъ и ботфортахъ выше воленъ, либо въ розовыхъ и желтыхъ, шелковыхъ фракахъ, съ огромными лористами, а когда было холодно — съ куньими и сободьими муфтами. Щеголихи, съ затянутыми, въ видь осъ, тальями, несли на головахъ хитро-устроенныя прически, на манеръ рыцарскихъ замковъ, цветочныхъ корзинъ, китайскихъ беседокъ и кораблей. Но и на этой первостатейной умиць не обходилось безъ непріятностей. У кофейной Мура или у магазина модъ госпожи Токе, не обращая вниманія на разряженныхъ въ пухъ и прахъ прохожихъ, лежалъ, растянувшись по тротуару, избитый въ кровь и съ разорванными портами, мертвецки пыяный матросъ. Верховой конногвардеецъ, съ громкою бранью и съ обезображеннымъ отъ злобы лицомъ, у чьего-то дома, стегаль хлыстомь чужого напудреннаго и важнаго кучера зато, что тогь не свернуль раззолоченной, съ кожаными занавъсами, кареты, и тъмъ помъщаль ему проскакать въ догонку за какою-то умчавшейся красавицей.

Въ срединъ великаго поста, въ 1762 г., прошелъ слухъ о появленіи на Фонтанкі, въ деревні Матисовкі, близь нынышней Коломны, цьлой шайки вооруженныхъ грабителей. Петръ III вышель изъ себя. - «O-ro-ro! Tausend Teufel!—сказаль онь Корфу:—пора опять приняться за висьлицы! Дедъ мой Петръ зналь это лучше всякаго изъ насъ... Наниму: «аррговатиг, — Peter», и кончено, — увидите... •. ја...» — Висћлицы, однако, не поставили. Безпорядки длились и къ нимъ привыкали, какъ къ чему-то, безъ чего нельзя было обойтись и ужиться. На всякій уличный переполохъ, какъ на театръ, въ сосъднихъ домахъ поднимались окончины, и нарядныя дамы выглядывали оттуга. следя съ любопытствомъ, изъ-за модныхъ вверовъ, чемъ кончится казусъ.

Частныя зданія на Невскомъ, со стороны адмиралтейства, тогда начинались лишь отъ Полицейского моста. Отсюда, вплоть до Аничкова, по правой и лавой сторонамъ проспекта, было немногимъ более десятка домовъ, да и то на-половину деревянныхъ. Домовладальцы на главныхъ улицахъ были большею частью иностранцы или инородцы. У разъвздной площадки временного зимняго дворца, выходившаго на Мойку, на Невскій и Луговую, нынів Морскую, быль домъ купца Дюбиссона, съ надписью на вывъскъ: «Продажа гамбургскихъ канареекъ и попугаевъ». Въ Кирпичномъ переулкъ, наискось противъ нынъшняго ресторана Дюссо, былъ домъ банкира Кнутсена. На углу Гороховой и Луговой домъ врасильщика Краузе; у Синяго моста-вывъска шорника Матыяса Заккова. Немного далее, по Мойкв-пветочный магазинъ Вольфа, съ надписью: «Изрядныя ананасныя планты». Еще далье, по Вознесенскому проспекту — дома: Пильхау, Рашке, Зушке, Хабасова и Клуга. У Вознесенскаго моста, на берегу Глухой речки, ныне Екатерининскій каналь-заведение оконнаго мастера Берга.

Придворные сады-Летній, Итальянскаго дворца на Литейной, въ Екатерингофъ и на цвъточныхъ променадахъ **Парицына Луга—были открыты для публики. Но въ нихъ** не пускали матросовъ, ливрейныхъ лакеевъ, женщинъ съ платками на головахъ, мужчинъ въ сапогахъ, а не въ башмакахъ, и вообще, -- какъ тогда говорили въ газетахъ и въ публикаціяхъ полицін — «подлаго народа». — Требовались модныя и красивыя одежды. По указу императрицы Елисаветы, ставили клейма на фалды господь, являвшихся ко двору въ старыхъ или вышедшихъ изъ моды «несообразныхъ кафтанахъ». После самой императрицы осталось питналцать тысячь почти новыхъ платьевъ, несколько тысячь башмаковъ и два сундука чулокъ и лентъ. Между тамъ, илсныя, зеленныя и рыбныя лавки, кабаки и постойдые дворы невозбранно распространяли запахъ грязи и всякаго сора, валявшихся въ нихъ и возла нихъ. Утонченная Европа и дикая, неумытая Азія—уживались рядомъ другь

Болотныя лихорадки, повальныя горячки, оспа, скардатина и корь не покидали Петербурга. Врачей въ то время было мало, и тв брали непомврно дорого. Модные врачи, Монсій и Фузадьє, брали, не ственяясь, по пятнадцати червонцевь за визить. Обученіе дітей силошь было въ рукахъ певообразимыхъ проходимцевъ. Нівкая иностранная фамилія

«шляхетнаго и честнаго рода» печатала о себѣ въ тогдашнихъ газетахъ, что она «учитъ дѣвицъ, по понятію каждой, языкамъ, шитъю, экономіи, танцамъ, а притомъ и чтенію вѣдомостей». Другая, иноземная же особа, а именно, —нѣкоторая г-жа Ренуардъ (адресъ: Милліонная, въ домѣ портного Экка) публиковала, что обучаетъ дѣвицъ языкамъ, арнеметикѣ, географіи, исторіи—«а также и писать». —Въ казенные и домашніе учителя нерѣдко попадами забираемые по понедѣльникамъ со съѣзжей уличные «шататели» и «пьянчужки», замѣшанные иногда въ дебошахъ, кончавшихся смертоубійствомъ.

Благородныя девицы перенимали другь у друга тайны, какъ затягивать получше таліи, какъ дёлать реверансы и налыпливать на лицо мушки. Въ косметическихъ лавкахъ продавались особыя, красивыя коробочки съ черными мушками. При наймъ женской прислуги спращивали тогда: «на хозийскихъ ли румянахъ и бълилахъ?» Знатные и богатые люди заботились о составленіи библіотекъ изъ французскихъ книгь, въ которыя, впрочемъ, немногіе изъ нихъ заглядывали. Мужчины учились у мужчинъ, какъ надъть круглую вощанковую, или трехъ-угольную пуховую шляпу; какъ открыть табакерку, оправлять на манжетахъ алансоны и пуандешпаны, нюхать табакъ и вынимать и встряхивать цвътной, пропитанный духами а la Reine, фуляровый платокъ. Парикмахеры на Морской и на Невскомъ завивали букли и заплетали и пудрили косы русскимъ петиметрамъ, назначавшимъ другъ другу вечернія свиданія въ невышедшемъ еще изъ моды, со временъ Лестока, трактиръ савояра Берляра и Иберкамифа, въ гербергахъ, погребахъ Гантовера, Ретса и въ вольныхъ домахъ, австеріяхъ Винклерши, Шмидши, Кохши и другихъ.

Государыня Елисавета Петровна тадила запросто на вечеринки къ вельможамъ, кутая своею муфтой и платкомъ руки и горло провожавшему ее графу-мужу Алекство Григорьевичу Разумовскому, подъ письмами къ которому она въ шутку подписывалась: «вашъ первый дишкантистъ». У постели же ея, по простотт, со временъ еще ея дівичества, на разостланномъ тюфячкъ, для охраны ея, спалъ на полу старичекъ, любимый ен камердинеръ, впослъдствіи генералъаншефъ Василій Ивановичъ Чулковъ. Государыня, вставая иной разъ ранъе его, будила върнаго слугу, а онъ трепалъ

ее по плечу, зъвая и ворча: «Ну-ну, лебедка моя! ужъ ты и встала». — Другъ Елисаветы, Мавра Егоровна Шувалова, урожденная Шепелёва, писала къ ней: «ваша раба и дочь, и холопка, и кузына», а мужа Шуваловой Алексей Разумовскій, подгулявъ на охоті, билъ батогами.

Ко двору Елисаветы Петровны, для ловли въ ея аппартаментахъ мышей, особыми указами выписывались изъ Казани умълые в «пристойнаго вида» сибирскіе коты, а изъ-за границы мартышки «столь малыя, чтобы входили въ индъйскій кокосовый оръхъ». Костромская помъщица, Анна Ватазина, письменно предлагала государынъ, коли произведуть оя мужа въ коллежскіе асессоры, поднести въ даръ четырехъ собакъ: Еполита, Женету, Маркиза и Жулію. Въ молодости Елисавета, цесаревной, писала нѣжные мадригалы:

«Я не въ своей мочи огонь утушить, Сердцемъ болью, да чъмъ пособить?»

При Елисаветв, по улицамъ было видно болве мирныхъ статскихъ. При Петрв III, Петербургъ сталъ наполняться разнокалиберными и дравшими носъ военными.

На дворцовомъ плацу, чуть не ежедневно, производились шумные — съ криками вивать, маршпровками и всякими муштрованіями—вахтпарады. По улицамъ озабоченно и торопливо скакали адъютанты, сновали пізшіе и конные вістовые. Петровскіе, широкіе и длинные кафтаны гвардія и арміи замінлись куцыми и узкими мундирами, на майеръ прусскихъ. Исконный зеленый цвіть кафтановъ и красный — воротниковъ и камзоловъ разрішено замінять, по произволу командировъ полковъ, оранжевымъ, голубымъ, лиловымъ, канареечнаго цвіта и всякимъ. Петръ III ввель еще аксельбанты и эспантоны, трости у офицеровъ и урядниковъ. Онъ же отмінить ношеніе на вахтпарады, за капралами и унтеръ-офицерами, слугами ихъ, ружей и алебардъ.

Въ началъ великаго поста, Пстръ Федоровичъ издалъ повельніе: всвиъ сановникамъ и вельможамъ, носившимъ титулы командировъ взводовъ, баталіоновъ и полковъ, быть неотлучно на ученьяхъ, во главъ своихъ частей. Это приказаніе привело всьхъ въ неописанный конфузъ. Публика съ изумленіемъ увидъла, по улицамъ, марширующихъ по щиколку въ грязи, передъ своими батальонами и взводами, гоноралъ-фельдмаршаловъ: графовъ Алексан гра Иваны ча

Шувалова и изн'єженнаго сибарита и сластуна Алекс'я Рааумовскаго, дядю государя—принца Жоржа и больного одышкой, въ бархатныхъ штиблетахъ на опухшихъ, подагрическихъ ногахъ, князя Никиту Юрьича Трубецкого. Гетманъ Разумовскій даже нанялъ особаго голитинскаго офицера для уроковъ новой муштровки. Придворные и статскіе чины были не мен'ве озадачены. Парикмахера своего Брессана государь назначилъ въ директоры фабрики гобеленей и произвелъ въ камергеры; ямщика же, какого-то Патрикъева, въ титулярные сов'єтники.

Передъ пасхой Петръ III писалъ къ своему другу королю Фридрику, что, не остерегаясь ничего и никого, онъ предаетъ себя на волю Бога и въ охрану своему народу, и безъ провожатыхъ по Петербургу ходить пъшкомъ.

IV.

Дрезденша.

У Вознесенскаго моста стояль обветшалый и огромный, съ кучею амбаровъ, конюшенъ и покосившихся флигелей, деревянный, съ поросшей мхомъ кровлей, домъ царевича Леона Грузинскаго. Черезъ переулокъ за нимъ былъ такой же старый домъ камеръ-фурьера Рубановскаго. Сюда, послъ неудачной справки у Крашенинникова, подъ вечеръ, подошелъ Мировичъ.

Его озадачили крики и пъсни пъяной черни, вырывавшіеся изъ грязнаго темнаго кабака, на углу этого дома, рядомъ съ вонючею рыбною лавкой. Онъ подняль глаза на сосъднемъ балконъ, выходившемъ на проспектъ, были вывъшены, для провътриванія, какія-то шубейки, подушки и дътское бълье. Убитая кошка валялась среди улицы.

«Нівть, Кенигобергь не въ приміврь лучше и чище Пе тербурга: тамъ аккуратніве и такого нерящества не позволять!» — подумаль Мировичь, съ трудомъ перейдя черезъ растанвшую общирную лужу, у спуска съ Вознесенскаго моста. Онъ вошель къ Рубановскому. Ему сказали, что Василій Кириллычь хотя и у себя, но послів обіда передъ всеношной почиваеть, а потому, если ему есть надобность, — не угодно ли подождать

Дълать нечего. Сталъ дожидаться Мировичъ въ кабинетъ. Онъ усталъ за день въ ходьбъ по городу и сильно проголодался. Комната, куда его ввели, была маленькая, душная. Пахло ладаномъ и къ тому какъ бы пригорельмъ, постнымъ масломъ. Со стены глядёлъ портретъ какого-то толстаго, крупноносаго протојерея. Въ пяльцахъ у окна стояло неконченное женское шитье по бархату. На столе у диванчика лежало неколько тощихъ и серыхъ тетрадокъ, въ четвертку, тогдашнихъ «С.-Петербургскихъ Ведомостей», две-три книжечки академическихъ «Ежемесячныхъ Сочиненій», колода старыхъ пгральныхъ картъ и въ кожаномъ, закапанномъ воскомъ переплете, объемистая книга «Камень веры».

«Ну-ка, что пишуть о нашихъ двлахъ съ пруссаками?— нодумалъ Мировичъ, — какъ цвнять наши побъды и ито случилось новаго послъ меня?» — Онъ сталъ просматривать «С.-Петербургскія Въдомости».

Новости этой газеты сильно опаздывали. Въ нумерѣ отъ 1 марта, вѣсти изъ Парижа были отъ 1 февраля, изъ «Гиппаніи» отъ 18 января. Гдѣ-то была даже просто оговорка отъ редакціи: «Иностранныя газеты не бывали». О дѣлахъ Россіи съ Пруссіей ни слова.

«Ну, нашихъ газетировъ, — злобно усмъхнулся Мировичъ, — нъмцы не будуть съчь на Невскомъ, коли когданибудь возъмутъ Петербургъ!»

Онъ началъ перелистывать литературный журналъ «Ежемъсячныя Сочиненія». Въ одной книжкъ было длинное разсужденіе о кубовой краскъ, въ другой — о строеніи погребовъ. Въ нумеръ за январь была статья изъ англійскаго «Снектатора»: «Разговоръ между любовью и разумомъ». Мировичъ, отъ нечего дълать, сталъ ее перелистывать.

Разумъ.—Весьма бы трудно было, любезная сестрица, сойтиться намъ съ вами.—Любовъ.—Не вижу я благоразумія въ бракахъ, сдѣланныхъ только для одной корысти... Когда я возжигаю любовь, то возвышаю низкое состояніе до знатности, или повергаю высокое по подлости... Кто много разсуждаетъ — тотъ худо любитъ, а кто горяно любитъ — тотъ мало разсуждаетъ...

Мировичъ закрылъ книгу, вздохнулъ и задумался. — «Это върно! — утвердительно сказалъ онъ себъ: — кто горячо любитъ, тотъ не разсуждаетъ».

На дворь, между тымь, стало темныть. Бада по улицамы затихла. Въ сосъдней комнать чирикали стыные часы. Сверчокъ трещалъ вблизи за сундукомъ. Тяжелая, темная

лампада теплилась въ углу, у кіота. Мировичъ взглянулъ на иконы. — «Я былъ во тъмѣ, — подумалъ онъ, — и увидѣлъ свѣтъ... Да, я его увидѣлъ... Съ остріемъ шпаги у груди, меня ввели въ засѣданіе франмасоновъ... И я клася быть совершеннымъ и справедливымъ. Я обновился, — иной становлюсь теперь человѣкъ. Болѣе не злиться, не проклинатъ. Всепрощеніе, вѣра въ людей и любовь къ нимъ, высокая любовь... Но кого я люблю болѣе всего? Поликсену... Да гдѣ же она? Ея нѣтъ... и неужели я никогда, никогда болѣе ея не увижу?»

За дверью, въ прихожей, раздался удушливый, старческій кашель. Шлепан туфлями, въ комнату вошель, въ халать на мерлушкахъ, сгорбленный, сонный, худой и съ крючковатымъ носомъ старикъ. То былъ Рубановскій.

— Авдіенціи у государя ищете? просьбица есть?—спросиль камерь-фурьерь, скрипя табакеркой и изъ-подъ кустоватыхъ бровей подозрительно щурясь на гостя.

Мировичъ объясниль, зачемъ пришелъ.

- Бабы интрижки, сударь, кхе! сміхи да волокитство! продолжаль Рубановскій, сердито тряся головой: не по нашей части... гм!.. пустобрёшество одно! просимь извинить... кхе-кхе! Часъ, въ онь-же ко всенощной добрые люди, а вы...
- Василій Кирилычь, помилуйте!—заговориль, хмурясь, Мировичь: — къ вамъ пришли, на васъ только и надежда. Вамъ однимъ можно знать, куда отъ двора отъбхала дъвица Пчёлкина... а вы...
- Не шаматонъ я гвардейскій и не шаркунъ! и любовными дуростями, сударикъ, не занимаюсь, вотъ что-съ!—свиръпо набивая носъ, отръзалъ Рубановскій:—да коли бы и зналъ, то-бъ не сказалъ. У меня, сударь, дъти, дочки.. А мало ли, не въ проносъ слово, не въ обиду сказать, нонъ всякихъ шалберниковъ, совратителей дъвицъ?
- Но я... Василій Кирилычь, развів изъ такихъ! возвысиль голосъ Мировичь: и притомъ, какъ вы можете? это, наконецъ, обидно... афронтъ...
- Да не о тебѣ, батюпіка, не о тебѣ... Что вскинулся! Экъ, испугаль! Нечего пугать! Сами не изъ робкихъ... А что до твоей сударушки, такъ и и посесть часъ несвѣдомъ, гдѣ она, да—кольми паче—и знать мнѣ, слышишь, по моему рангу, не для чего... Дорожка, сударь, скатертью! дорожкг

склонивъ голову и сердито топчась на мѣстѣ, отвѣтилъ Рубановскій: — просимъ извинить и не осудить... да-съ, не осудить...

Бѣшенево проняло Мировича. Иголки заходили у него въ рукахъ. Не помня себя отъ ряда неудачъ и гивва, онъ вышелъ на улицу. — «Будь не старикъ, да не у себя въ домѣ,—сказалъ онъ себѣ, сжавъ кулаки:—я-бъ тебѣ, постнику, показалъ!» — Голова Мировича кружиласъ. Горло подергивали судороги. Съ трудомъ дыша, онъ, какъ пьяный, шатаясь, прошелъ нѣсколько шаговъ. На улицъ кое-гдъ тускло зажигались фонари.

«Куда же теперь?—злобно спросиль онъ себя:—или идти къ государеву секретарю Волкову, добиться пріема и просить, за воинскія мои старанія и услуги, о розысканін во что бы то ни стало дівнцы Пчёлкиной? Ха-ха!.. Безумір! За воинскія заслуги! Какія оні? Разві къ Разумовскому? Но онъ, послі моей стычки съ Юсуповымъ, совсімъ отъменя отказался. Писаль я ему съ походовь не одну цидулку; онъ и не откликнулся... Неужели-жъ опять за границу, въ Кёнигсбергъ, когда армія и безъ того вотъ-вотъ повернеть оглобли въ Россію?.. Есть, кажется, выходъ, и простой,—да подлые, малодушные люди! все ихъ тянеть въ водоворотъ, въ суету, — уёхать бы на Украйну, къ другу Якову Евстафьичу, или въ Кіевъ, выйти въ отставку, на тихомъ хуторів поселиться, въ раю...

За спиной его послышался окликъ. Его назвали по имени-

У Вознесенскаго моста стоялъ добродушный, невысокаго роста, круглый, съ краснымъ, въ веснушкахъ, лицомъ и съ манерами безпечнаго кутилы и щеголя, нъсколько навеселъ, лътъ тридцати-двухъ-трехъ, пъхотный офицеръ. То былъ дълившій съ Мировичемъ частъ заграничнаго похода, его знакомый, поручикъ великолуцкаго армейскаго полка, Аполонъ Ильичъ Ушаковъ. Онъ мъсяцемъ раньше Мировича былъ присланъ, по фуражнымъ дъламъ, изъ арміи въ Петербургъ, гдъ и осталси. Племянникъ знаменитаго Андрея Ивановича Ушакова, грозы розыскной вкспедиціи прежнихъ лътъ, онъ давно промоталъ отцовское состояніе и жилъ аферами, дружбой съ повъсами и мотами всевозможныхъ слоевъ и неизмънымъ посъщеніемъ трактировъ, харчевень

и кофейныхъ домовъ. При деньгахъ онъ быль веселъ и смалъ; безъ денегъ—тряпка-тряпкой.

- Камими судьбами? воть не ожидаль! воскликнуль оперившійся въ Петербургь и бывшій въ эту минуту, точно на крыльяхъ, Ушаковъ!
- По служов; какъ и ты, разумъется, съ порученіемъ!
 отвътиль, отвернувшись отъ него, Мировичъ.
- Ну, и гуть, хохландія; значить, запылинь! Хочешь, пойдемь, сокрушимь по маленькой? Финансы въ авантажь... Откуда въ сей моменть?

Мировичь указаль назадь, за церковь.

- Отъ Дрезденши?—спросилъ, не спуская съ него веселыхъ, на выкатъ смъющихся глазъ, Ушаковъ.
 - Оть какой Дрездении?
- Такъ ты Дрезденши не знаешь? шреклихъ!.. вотъ невинность, недоросль изъ Чухломы...

Мировичъ быль не радь этой встрвчв и нетеривливо поглядываль въ ближайний переулокъ.

- Голоденъ? спросилъ, будго что-то вспомнивъ, Ушаковъ: — желаешь кстати и черепочекъ раздавить? желаешь, такъ угощу и разскажу...
 - Кошелекъ забыль, отвътилъ Мировичъ.
- Экъ, дура, дура, дѣвка Тимофѣевна! насмѣшливо сказалъ, обыкновенно уступавшій и благоговѣвшій передъ сдержаннымъ Мировичемъ, Ушаковъ:—а еще офицеръ прозывается!—Срамъ и всему воинству обида... Parole d'honneur... Не масонство-ли воспрещаетъ?.. Такъ и я, смѣю доложить, съ этого мѣсяца масонъ, хоть и не принадлежу къ вашему lata observantia... Дрезденши не знаетъ! Пойдемъ же; на угощенье товарища и у насъ хватить казны... Вонъ Дрезденша!..

И онъ, обернувшись, подмигнуль съ набережной на красный фонарь особаго подъезда въ доме князя Леона Грузинскаго, неосвещенная часть оконъ котораго глядела на Вознесенскій проспекть, а другая, въ веселыхъ огонькахъ, была обращена на берегь Глухой реки (ныне Екатерининскій каналъ).

[—] Дрезденша, рыцарь ты мой, она же и Фёлькнерша, это воть что! и ты сію комедіянтскую фабулу послушай!—лихо выпрямившись, сказаль Ушаковь, замедлясь у крас-

наго фонаря:-жила она при покойной государынь не здысь, а подалье, въ домъ Бълосельскаго-Бълозерскаго. Не повезло только ей тогда. Спознала государыня Елисаветь-Петровна добронравная, что въ вольный домъ, въ австерію, къ Дрезденигь, множество статскихъ и чуть не вся гвардія іздять, не токмо на бильярдь, али въ кегли забавляться, но и ради чего иного. Была туть другая, Василій Яковличь, приманка: аки-бы для музыки и въ услужение мужеска пола посътителей, было у нея не мало иноземныхъ и здешнихъ дъвицъ, да все, душечка, ахтительныя красавицы... На бандорахъ, гитаркахъ играли, пъли и плясали... Окромя-же того, на вечеринки къ Дрезденшъ, съ другого хода, стали ъздить, надо тебъ тоже сказать, не одни мужчины, а и барыни-модницы, на свиданіе съ миль-дружками, въ тайности отъ своихъ мужей. Ну, королевичъ ты мой, ревнивые глаза анъ видятъ еще подальше орлиныхъ!.. Донесли о томъ государынь. А Елисаветь-Петровна, самъ ты знаешь, какъ любила такія явныя дурости, да шаматонства...

- Что-жъ она?—спросиль Мировичь.
- Отдала престрогій приказъ... И вся сія потайная и противная аки-бы добрымъ нравамъ торговлишка кончилась, братецъ ты мой, плохо, не токмо для Дрезденши, а и для другихъ. Съ нею пострадала и всёмъ любезная Амбахарша, ея землячка, въ Конюшенной, и шведская поручица Деле гринша, на Литейной. Но паче всёхъ скопъ лютости упалъ на Дрезденшу!.. Ее выслали за границу, а всёхъ ея соблазнительницъ земфиръ, безъ жалости, отправили на прядильный дворъ, въ Калинкину деревню. Кабинетъ министръ Демидовъ производилъ тогда следстве, и многе важные модники и барыни-щеголихи сильно притомъ поплатились. По именному повеленю государыни, астронома Попова, да асессора мануфактуръ коллегіи Ладыгина отлучили отъ церкви, а потомъ повенчали въ соборной казанской церкви, да съ такими красавицами, что тъ молодчики и не спохвативнось
 - Не слыхаль я про то, сказаль Мировичь.
- Гдѣ тебѣ слышать! Ты тогда еще въ бабки игралъ. Да не только посѣтители, офицеры, поставленные на часахъ у заключенныхъ на прядильномъ дворѣ дѣвицъ, и тѣ не устояли противъ лукаваго, ударились въ волокитство на сараулѣ, захотѣли бандоръ да гитарокъ послушать, пѣсенкой

побаловаться, и за то подверглись также немалому афронту и несчастью... Такъ воть тебъ, сударь, кто Дрезденша...

- Но изъ-за чего-жъ, изъ-за чего?—вдругъ упѣпился Мировичъ:—не можетъ быть, чтобъ даромъ все это... малоли, куда внѣ фронта гвардія ходила и ходить... Кому какое дъло?
- Правду ты сказаль, Василій! всегда справедливь и прозорливь!—пріятно удивясь, отв'втиль Ушаковъ:—были и другіе резоны... Искали, не хаживаль ли къ этимъ восхитительницамъ близкій въ то время къ другой особ'в повыше—Бутурлинъ... Ну, помощница Дрезденши, Лизута Черная, подъ кошками и покаялась...

Мировичъ вздрогнулъ.

- Подъ кошками?
- Да...
- Экое варварство...

Пріятели помодчали.

- Но ты, Аполлонъ,—спросилъ Мировичъ:—ты сказалъ, что Дрезденша была выслана за границу?
- Да, была выслана, при покойной царицѣ. А кактолько на престолъ взошелъ нынѣ нами владѣющій государь-императоръ, такъ эта Дрезденша,—а за нею и другія ея землячки,— вновь, и еще съ болынею бомбардира́дой, проявились здѣсь, сѣли себѣ попрежнему—и вотъ она первая... любуйся!
- Не пойду, сказалъ Мировичъ: Боже Господи! кошки...
- Э, полно! то было вонъ когда! вздоръ! пойдемъ. Теперь тутъ благороднъе, вальяжнъе, чище. И Дрезденша состарълась, и нравы смягчились. Внизу закуски и бильярдъ, скажемъ: здравствуйте стакашки, канашки, каково поживали, насъ поминали? — а наверху, Василій, карты, бываетъ музыка и всякій тебъ горе-отгонительный куплеть увидишь...

Вздохнулъ голодный, раздосадованный неудачами Мировичъ и противъ желанія вошель за Ушаковымъ въ нижнее отділеніе ресторана Дрезденци.

Ему было не по себъ. Онъ чуть не вслухъ бранился. «Тьфу ты, малодушіе, подлосты—ворчаль онъ и язвительно улыбался:—что сказала бы Филатовна и какъ посудило бы начальство, если бъ увидъли меня здъсь?»

Первое, впрочемъ, что бросилось ему въ глаза, при входъ вь освъщенную восковыми свъчами, прокуренную кнастеромъ и полную шума и говора, нижнюю залу, было лицо сердитаго и важнаго генерала Бехлешова, такъ распекавшаго его тымъ утромъ за галстукъ и вообще за не въ порядкі оказавшійся его нарядь. Надутый, суровый видь генерала исчезъ. Онъ, съ растегнутымъ камзоломъ и съ веселымъ, безпечно-ухмылявшимся лицомъ, сидя въ углу, допиваль четвертый, съ гданской водкой, пуншъ и, то-и-дело отирая лобъ и былыя, полныя щеки, жадно следиль за бильярдною игрой. Не успыть Мировичь съ Ушаковымъ потребовать въ соседнюю комнату подоваго, съ сигомъ и севрюжьей головой, пирога, не успыть онъ «раздавить» съ нимъ по маленькой, а потомъ и по бодьшой,—въ залу во-шель, за полчаса такъ удивившій его строгимъ нравомъ, сосёдъ Дрезденши, Рубановскій. Охранитель чести девицъ, усердный молитвенникъ и постникъ, вынулъ пънковую, съ витымъ чубукомъ, трубочку, потребовалъ и себъ здоровенный стаканъ пуншу и также усвлея къ сторонв глядеть на бильярдныхъ игроковъ.

«О, люди! — съ тайнымъ негодованіемъ подумаль Мировичъ, —просителя считаютъ за собаку, изреченія какія отпускають. Сами же... А будь деньги, будь богать...»

Онъ, злобно передернувшись, громко разсменися.

- Что ты?—спросиль, обведя его глазами, Ушаковъ.
- Такъ, мерзости, братъ... Подлецовъ, ухъ, да какъ же много нынче на свътъ развелось. Тъсно отъ нихъ.

Проговоривъ это, Мировичъ опять резко, отрывисто за-

- А ты знаешь настоящее средство отъ всякихъ, тоесть, навожденій?—спросиль Ушаковъ.
 - Kakoe?
- Выпьемъ, Василій Яковличъ, сотворимъ во благо еще... Или вашъ Obidienz-und-Unterfügungsact мъшаетъ тому? Вздоръ... Жизнь, милый, вотъ какъ коротка и скучна... Да и родила насъ мама, что не принимаетъ и яма... Что хмуришься? Аль подрядился на собакъ съно косить?.. Эй, малый, еще бутылочку рижскаго!

Подали пива, и опять подали. Изъ дальнихъ комнатъ доносились звуки музыки.

— Кутять гвардейцы, - произнесь Ушаковь.

- Дьяволы, анаоемы!—оцять, точно сорвавшись, сказалъ Мировичь.
- Да о комъ ты это, разскажи?—спросиль, уставись на него, Ушаковъ.

Мировичь вздохнуль. Въ его черныхъ, безъ блеска, сердитыхъ глазахъ начиналъ свётиться дикій, блуждающій огонекъ.

- Изъ-за чего такія несправедливости? Ну, изъ-за чего? произнесъ онъ, посмотръвъ куда-то въ воздухъ:—върншь ли, фу—какая тоска!
 - Какія несправедливости?
- Да какъ же, посуди. Ну, какъ могъ человъкъ, по контракту съ обществомъ и государствомъ, передать другимъ то, на что самъ не имъетъ права, располагать своею свободою, совъстью, жизнью?
- Фю-фю!—засвисталь, что-то смутно, явниво припоминая, Ушаковъ:—ты это по Мартинецу? Опоздаль! Не знаю, брать, этихь вашихь новыхь откровений; хоть и слышаль о вашей ложь, имчего особаго въ ней исть... А воть въ «Трехъ глобусахъ», такъ согласись...
- Drei Weltkugeln, или ложа св. Іоанна,—это все едино, глупець!—презрительно и грубо перебиль Мировичъ:—горе въ томъ, что всё въ темноте, всё смотрять врозь. А сколько силой воли одного человека можно сдёлать!..
- Да опять-таки ты не о томъ, ахъ, опять не туда, ответнить, не обижансь и весело замахавъ руками, заметно хмельній Ушаковь:—я бы тебь все изложиль, все... все... Только, канальство, надо бы воть зайти... Ну, да, слушай... ты воть куда взгляни, это чемъ пахнеть? -- сказаль онъ, разставивъ передъ собой ладони:--слышалъ ты, какую силу забирають немцы? Везде, брать, ползуть, везде, да не простые, самые патентованные, изъ Киля... Командиры полковъ назначены сплошь голштинцы: коннаго-Цобельтишъ, инфантерін—Цеге-фонъ-Мантейфель... Крюгерь, Одельрогь, Кеттенбургъ, да Вейссъ, а въ кавалеріи—Лёвенъ, Лотцовъ, Шильдъ и дядюшка государевъ, новый генералъ-фельдмаршаль, принцъ Жоржъ... Имена полковъ тоже измѣнены... Нарвскій твой уже не нарвскій, а Эссена; смоленскій, что въ Шлиссельбургъ стоить, Фудертоновымъ прозывается... Иного колбасника-собаку даже не выговоришь, цепляется языкъ... А все-таки, ну вонъ, что хочешь, а я государя-

люблю... Добрякъ онъ, веселый, откровенный и ужъ простота... Видълъ ты его? И глаза у него такіе добрые, а хохочеть, заливается, точно школьникъ... Одно—любитъ не наши поговорки... Я на вахть-парадь намедни его слынгалъ... Душа человъка! Скажи, въ огонь и въ воду пойду за него... Да ты, Василій, можеть, катериновецъ?.. Признайся!.. Царёва жена подбираеть, слыхомъ-слыхать, партію, да какую... И у Дрезденши, скажу по секрету, здъсь иной разъ собирается главный ихъ притонъ. Давеча, какъ смеркалось, пятеро санокъ, должно, сюда съ медвъжьей травли катили. Что имъ дълать! Кружатъ веселыя головушки, негдъ удали дъть!

— Катериновецъ! Петровецъ! — съ дрожью въ голосъ, злобно воскликнулъ, обыкновенно сильно, мертвенно-блъднъвшій отъ возліяній, Мировичъ: — экъ разнесло ихъ! ха-ха! Тоже о партіонныхъ кличкахъ толкуютъ... Англія, что-ли, здъсь, или французскіе парламенты? Плевать я хотъдъ на клички, плевать! дуракъ! Гляди вотъ куда... Читалъ ты господина Руссо? читалъ его «Contrat social?» Ну, что тамъ сказано о правахъ человъчества! Понялъ теперь о правахъ? То-то же. И если что по-правдъ плохо у насъ, такъ это, что нашего брата, мелку сошку, вездъ нынче считаютъ за ничто... собаками, какъ есть собаками... Ни нажиться, ни произойти въ чины...

Въ это время изъ бильярдной комнаты раздался взрывъ дружнаго и громкаго хохота. Перекаты его черезъ минуту возобновились.

Въ раскрытую дверь было видно, какъ молодцоватый и лихой, лѣтъ двадцати-семи-восьми, въ подбитомъ себолями кафтанѣ, огромнаго роста, съ римскимъ носомъ и замѣчательно-красивый артиллеристъ-гвардеецъ, обыгравъ старичкамаркера, съ кіемъ въ одной рукѣ и съ голландской трубкой въ другой, слегка перегнувшись и разставивъ обутыя въ дорожные ботфорты ноги, повторялъ: «пуць-пуць-пуць», и до слезъ хохоталъ среди комнаты. А тучный, съ кривыми ногами и желтымъ, отекшимъ лицомъ, маркёръ въ пятый разъ, кряхти и охая, пролѣзалъ подъ бильярдъ и, съ тупоудивленной недовольной рожей, принимался, по уговору, пить новый стаканъ холодной воды. Толпа зрителей—въ томъ числѣ Рубановскій и утренній генералъ — глядя съ своихъ мѣстъ на эту картину, въ неудержимомъ смѣхѣ

вскрикивали, хватались за животы и махали руками и ногами.

Мировичъ, оправивъ на себъ кафтанъ и прическу, съ нервической дрожью, сказалъ Ушакову: «низость какова, а еще гвардейцы! Расплатись, Аполлонъ, да дай взаймы чуточку»...—И не успълъ Ушаковъ опомниться, — онъ торопливо протиснулся сквозь толпу и подошелъ къ артиллеристу, черты котораго были ему какъ-бы нъсколько знакомы.

- Любители на бильярдь? спросиль онъ вѣжливо, косись на него.
- Да-съ... а вы? удивленно и бъгло окинувъ его глазами, произнесъ гвардеецъ.
 - И въ моей манеръ эта игра не послъдняя-съ!
- Такъ не угодно ли? спросилъ, брякнувъ шпорами и улыбаясь, артиллеристъ. Его улыбка была обворожительно-добрая, женственно-безпечная.
- «Эка сволочь! холодно и злобно про-себя усмъхнулся Мировичь: а разрядился какъ!.. да какъ баба и смазливъ... букольки на вискахъ распомажены, точно прилизаны у болвана языкомъ...»
- Оно ничего-съ и съ охотой, отвътилъ, пуще хмурясь, Миро́вичъ: — только извините, ха-ха! вотъ никакъ не пойму... Отчего это вы играете съ подлымъ слугой, а не съ къмълибо изъ благородной публики?
- 0! нынче, сударь, я въ превеликомъ амбара! простодушно опять улыбнулся красавецъ-гвардеецъ: никто вотъ хоть тресни, а ни-ни! не хочетъ со мной помъряться.
- Въ такомъ разв, съ моимъ съ преведикимъ удовольствиемъ! сказалъ, раздражительно торопясь, Мировичъ.
- На деньги, или тоже въ шутку, на подобный уговоръ? — спросить, насмъщливо глядя на него и на присутствовавшихъ, гвардеецъ.
 - Инъ хоть и на уговоръ!

Игра началась.

Съ первыхъ ходовъ Мировичъ, и безъ того бледный, еще более смутился и оробелъ. Дрожащей рукой наметилъ онъ кій, угловато-ухарски повелъ плечомъ и нацелился. Его шаръ такъ ловко щелкнулъ шаръ противника, что гвардеецъ изумленно покосился на него и замялся.

- Можетъ-быть, вы, сударь, на деньги?—спросиль онъ: что даромъ время терять?
- А вотъ ужъ мы сперва по-уговору-съ... смажемъ вотъ этого, — сказалъ Мировичъ: — а потомъ хотъ и этого... я не чинюсь... готовъ...

Кій опять щелкнуль. За краснымь съ громомь въ лузу влетьль былый, за былымъ опять красный шаръ. Игра была кончена.

— Пуць-пуць, или какъ вы тамъ, судары ха-ха! лѣзъте, значитъ, подъ бильярдъ,—неестественно зѣвнувъ и откидывая волосы, презрительно произнесъ Мировичъ:—а для прохлады, не въ проносъ слово, испейте кстати и холодной водицы...

Артиллеристь прикипѣль на мѣстѣ. Румянець залиль его бѣлыя, женственно-нѣжныя щеки. Въ блестящихъ, карихъ, съ поволокой, глазахъ, выразились удивленіе, почти дѣтская досада и невольный стыдъ. Онъ бросиль растерянный, робкій взглядъ по сторонамъ, подумалъ: «вотъ бестія! а уговоръ исполнять слѣдуеть, — расплачивайся!» — и ловко скинулъ съ себя дорожный, расшитый золотомъ, на соболяхъ, щегольской гвердейскій кафтанъ. —Дѣлать нечего, онъ присѣлъ, съ улыбкой пролѣзъ на четверенькахъ подъ бильярдомъ и залпомъ выпиль поданный хихикающимъ маркёромъ стаканъ воды.

— А что-жъ? другую партію! — сказалъ онъ, не одъваясь: — три дня за медвъдями охотились, только-что съ Волхова... будто промахнулась рука... Угодно ли?

«Оставь его, оставь!—шепталь, дергая Мировича за рукавь, красный, какъ ракъ, Ушаковь:— Катериновецъ въдь это!.. какъ бы онъ тебъ не отплатиль»...

Мировичъ его не слушалъ. Игра возобновилась. И во второй разъ молодцоватый гвардеецъ, въ то утро, посадившій на рогатину медвѣдя, полѣзъ подъ бильярдъ и онять пилъ поданную ликующимъ маркёромъ воду.

Зрителей надвинулось на эту картину множество. Явились, съ тоненькими кривыми сигарами и трубками, — другіе—военные, статскіе и моряки. Между ними протискался, въ ермолкі, въ ваточномъ халаті и въ плисовыхъ туфляхъ, самъ царевичь, старикъ Леонъ Грузинскій, имівшій обыкновеніе въ такомъ наряді, какъ хозяинъ поміщенія, проводить большую часть вечеровъ въ вольномъ домі Дрезденши. Посяв новой, неудачной партіи, гвардеець остановился.

— Да вы заговорённый, — сказаль онъ, отходя съ Мировичемъ къ сторонъ: — попроворили какъ разбить... Не угодно ли въ такомъ разъ и въ карты?

— Всеодолженнъйшій слуга!—съ радостной дрожью произнесь, не поднимая глазъ, и надменно поклонился Ми-

ровичъ.

— Такъ пойдемте на-верхъ, — сказалъ, опять облекаясь

въ кафтанъ, гвардеецъ.

-- Только я вотъ товарища что-то потерялъ изъ виду!-оглянулся Мировичъ:--коли проиграюсь, а счастье не вычно везеть, не у кого будетъ взять здёсь сикурсу...

— Въ долгъ повъримъ, — съ усмъшкой смърявъ пъхотинца глазами, сказалъ гвардеецъ: — мы по простотъ, сударь,

безъ фасоновъ...

— И намъ, государь мой, фасоны не надобны! — съ достоинствомъ отвътилъ Мировичъ: — а въ долгъ, къ слову сказать, еще не игрывали...

Внутренней, витой лъстницей они взошли въ верхнія комнаты Дрезденши.

«И этого-то человъка и какъ стопталъ, разбилъ! — шентали между тъмъ гости, при проходъ среди нихъ щеголивртиллериста и его побъдителя: — всъ пуандешпаны ему перемялъ этимъ лазаньемъ... Слыхано ли? Перваго въ гвардіп директора веселостей и всякихъ игорныхъ затъй»...

— Съ къмъ имъю честь? спросилъ гвардеецъ.

Мировичъ назвалъ себя.

- А вы? спросиль последній.
- Цальмейстеръ гвардейской артиллеріи, Григорій Григорьичъ Орловъ, отвѣтилъ красивый офицеръ, концами вѣжныхъ, въ кольцахъ, пальцевъ оправляя букли и на груди кружева.

«Онъ самый и есть! такъ вотъ это кто!»—подумалъ Мировичъ, съ новой, презрительной злобой вглядываясь въ нышущее здоровьемъ, румяное и удалое лицо Григорія Орлова, котораго онъ засталъ когда-то на нѣсколько мѣсяцевъ въ корпусѣ. Орловъ потребовалъ шампанскаго, бутылка котораго тогда стоила рубль тридцать копеекъ. Они чокнумись и выпили по нѣскольку бокаловъ.

 — Коли въ карты, — сказалъ Орловъ: — такъ пойдемъ дальше.

Онъ провель Мировича въ следующія комнаты. Тамъ увеселенія некогда потайной, а ныне явной, модной австеріи— шли въ полномъ разгаре. Играли въ бириби, въ ламушъ, въ тогдашній банкъ-фараонъ и въ «камписъ», любимую игру новаго государя и его голштинцевъ, въ которой каждый получаль несколько «жизней», и кто переживаль, тотъ и выигрываль. Дымъ кнастера клубами стлался по комнатамъ, смешнвалсь съ дымомъ сигаръ фидибусъ. Изъ большой соседней залы явственнее доносились звуки венгерской струнной музыки, нанятой возвратившимися съ медвежьей травли гвардейцами. Тамъ шли танцы и слышались смехъ и веселые голоса итальянскихъ и французскихъ хористокъ придворной оперной труппы, любившихъ здёсь делить время въ обществе столичныхъ богачей.

Сама Дрезденша, она же и Фелькнерша, пятидесятилътняя, набъленная и плотная женщина, появлялась среди карточныхъ столовъ. Подбоченясь, она останавливалась передъ играющими; сърыми ястребиными глазами слъдила за тъми, кто побъждалъ, съ возгласами: «Ась, Herr Jе...», громко хохотала надъ тъми, кто проигрывалъ, — предлагала яства и питія и исчезала во внутреннія комнаты всякій разъ, когда выходилъ какой-нибудь дебошъ. Военные звали Дрезденшу командиршей, моряки — адмиральшей, статскіе — танточкой.

Въ одной изъ игральныхъ комнатъ, куда, вслъдъ за Орловымъ, вошелъ Мировичъ, за большимъ круглымъ столомъ сидълъ атлетическаго вида, девяти пудовъ въсомъ, съ мужиковатою повадкой и площадными французскими и русскими присловьями лицомъ, впрочемъ, очень похожій на старшаго брата — красавца Григорія, — расфранченный и раздушенный преображенскій сержантъ, Алексьй Орловъ. Его окружали прівхавшіе съ медвіжьей травли другіе гвардейцы. Здісь играли въ фараонъ. По просьбі богатаго товарища-однополчанина, Михаила Егорыча Баскакова, Алексій Орловъ металъ банкъ. Другіе, стоя, сидя и съ вынутой картой въ волненіи прохаживаясь, понтировали. Оживленіе было общее.

[—] М'єсто, Ласунскій! дай пустить ерша, — подходя и

также беря карту, шепнуль Григорій Орловъ невысокому расфранченному въ серебряныхъ галунахъ, измайловцу.-«Не пускай его,-усм'вхнулся длинный, въ очкахъ и вялый сь виду, другой измайловець, Николай Рославлевь: — безпрем'вино проиграется! намедни насилу ихъ розняли въ Волочкъ съ Несвитскимъ и съ Хитрово»... — Да я не для себя, господа... parole d'honneur! — произнесъ Григорій Орловъ, указывая глазами на подведеннаго имъ новаго понтера. — Мировичь долго не ръшался ставить карты. — «Гвардейцы, катериновцы,-ухари, богачи,-мыслиль онъ, замирая:--не пара... Съ ними свяжешься, не радъ будешь. Проиграешься, на див моря найдуть; выиграешь, какъ бы еще не кончилось, какъ тогда съ Юсуповымъ... Н'втъ! два года терігіль, не зарывалсч... Великій Руссо, учитель мой! Помню твои слова. . Сплой воли, воли одного человъка, все достигнешь... Баста, картъ въ руки не возьму».

У игрального стола шелъ оживленный, русско-французскій

разговоръ. Слышался изръдка смъхъ.

— Что-жъ, отче многомилостивый? — уставясь въ него и продолжая толстыми, жилистыми нальцами метать фараонъ, пробасиль исполинъ Алексви Орловъ: — уважьте компанию-съ... отвъдайте въ прусскаго короля счастья. Кому теръть, кому въ теркъ быть. Либо дупеля, либо пуделя... voyons, allez vite...

Кто-то изъ постороннихъ, ставя карту, прошепталъ: — «Была не была, отвѣдай еще, Хавронья!» — Мировичъ оперся рукой о столъ. Лица понтеровъ были ему неизвѣстны. Передъ нимъ лежала колода. — «Поликсена, далекая, дорогая, недобрая, выручай», — подумалъ онъ. прикрывъ занятымъ у Ушакова червонцемъ илтерку, пазваніе которой начиналось одной буквой съ именемъ Поликсены. — «О-го, свернулъ овцѣ шею! Дана», — пропустилъ воселымъ басомъ банкометъ. Ознобъ пробѣжалъ съ головы до пятъ Мировича. Онъ удвоилъ ставку на той же картѣ. Алексѣй Орловъ принялся опятъ метатъ и, снова вскинувъ на него удалыми, смѣющимися глазами, сказалъ: «Дана, сударушка, и эта-съ!» — Подошли новые игроки. Снизу явился и Рубановскій. — «Молодецъ, молодецъ! — шепталъ теперь старикъ Мировичу: — такому можно постараться... можетъ и найду!..»

Мировичъ не обращалъ вниманія на окружающихъ. Духъ пгрока воскресъ въ немъ съ прежней, давно-неиспытанной силой. Глаза , него помутились, ноздри расширились, духъ захватывало. Забыль онь и Руссо, и ложу св. Ісанна, и силу воли, и все. Загибан пароли и ставя уголь на пе, онъ выиграль почти сряду еще нъсколько карть. — «Экоо счастье, — анаеемское, дьявольское счастье!» — шептали кругомъ. — «Qui est ça?» — «А шуть его зпаеть»... — «Да откуда взялся?» — «Григорій, что ли, привель»... — «Sacré nom! Некврачный, а какъ загребаеть». — «Но это случай, parbleu! не все же будеть брать»... — Мировичь, между тъмъ, подняль глаза къ потолку. Держа колоду карть, онъ подумаль: «Пчёлкина... Поликсена... двъ одинаковыхъ буквы въ началь имени и фамиліи... Попробуемъ еще такъ» — вынуль пятерку пикъ, загнуль на ней всъ четыре угла и пустилъ такимъ образомъ все, что было у него выиграно. Карта снова, къ общему изумленію, взяла.

- Банкъ сорветь! что вы! дернулъ за руку Алексія Орлова Бредихинъ:— гді Баскаковъ?
- Съ Машутой амурится...—отвътилъ, указавъ на дверь, Хитрово.
- Mais allez donc, шеннуль брату Алексый Орловъ: пусть бросить амуры и выручаеть... какого козыря притащили!..

Гурьевь и Хитрово привели Баскакова. Понтеры разступились. Кто-то сказаль: «Поздио, други; скоро стануть гасить свычи. Не сбрызнуть ли поле?»—Подали шампанскаго. Ласунскій съ Рославлевымь и Гурьевымь принялись сводить міломъ счеты проигрыша, вынгрыпа, за карты и за вино. Посторонніе зрители стали понемногу расходиться. Губ-то въ сосідней компаті пісколько человікъ несвязно піли: «Ленъ, ленъ, молодой»... Раздавалось ухарское тренканье гитары. Хлопали пробки, звеніли бросаемые о-польстаканы.

— Что-жъ, господа, если не хотите, если... я самъ готовъ метать банкъ! — сказалъ Мировичъ, неловко суя по карманамъ дукаты и рубли: — только въ этомъ и радость... Живемъ въ сумнительныя времена... Ахъ какъ, матушка, въ Кіевѣ хороню... — вдругъ прибавилъ онъ, ни съ того ни съ сего.

Его душилъ сміхъ, давно-неиспытанная воселость подмывала, раздражала. Онъ начиналь несвязно болгать, замътно покачивался. Глаза слипались. Хиель отъ выигрына смъщался съ хиелемъ отъ вина.

Григорій Орловъ переглянулся съ пріятелями.

— Если продолжать, такъ не лучше ли у меня? — сказалъ онь: — или доиграемъ у князя Чурмантъева! у него нынче рокамболь съ ужиномъ... просилъ прямо съ охоты...

Товарищи ръшили, что къ князю Чурмантвеву на Ва-

сильевскій далеко, лучше къ Орлову.

— А вы? — спросилъ Григорій Мировича: — сани мои готовы, и я живу на Мойкъ, въ домъ Кнугсена, возлъ

дворца.

- Знаю, знаю, банкиръ! а то хоть и къ Чурмантвеву... готовъ! ответилъ, хватаясь за спинку стула, Мировичъ: я пехотный, значитъ, не богатъ человекъ... инфантерія-съ... пехтура!.. одначе, нетъ... извините, господа! не уступлю никому, ни-ни... Ахъ, какъ матушка, то-есть, въ Кіеве хорошо...
- А вы были въ Кіевѣ? кто-то спросилъ, подойдя: тамъ есть медвъди?

Мировичъ мутными глазами модча посмотрель на него.

- Григорашъ, бери его!-сказалъ Баскаковъ Орлову.
- · Но какъ бы онъ не учиниль дебоща?
 - Пустяки, бери...

Всѣ были согласны, что жаль такъ бросить среди ночи крабраго, охмелѣвіпаго въ-конецъ армейца, котораго и фамилію какъ-то въ суетѣ забыли, да и его адреса теперь врядъ ли можно было добиться. Гвардейцы свели Мировича на улицу, посадили въ сани Григорія Орлова и повеали на квартиру послѣдняго. Но тѣмъ приключенія той ночи не были кончены.

Помниль впоследствім Мировичь, что когда его подсаживали вы сани, у подъезда Дрезденши, какой-то сгороленный, вы камлотовой шинельке, старичокъ протискался къ нему сквозь толпу провожающихъ и, ёжась отъ холода, шепнуль: «Молодчина... козырь... и все пятеркой, пятеркой!.. умру, а найду»...

Припомниль также Мировичь, что по пути къ квартирћ Орлова вся эта развеселая и шумная ватага молодыхъ повъсъ, гремя колокольцами, шумя и громко смъясь, заважала еще въ двъ какія-то австеріи. Въ одной Мировичу услужливые весельчаки давали, для осв'женія, умыться, и онять играли на бильярд'в и пили. Онъ приэтомъ быль безм'врно веселъ, также пилъ, шутилъ и даже п'ыть какую-то ухарскую, плясовую украинскую п'всню.—∢Расходились орлята-пельмецы!»—тольовали окрестные горожане, слыша сквозь двойныя рамы и ставни топотъ коней, звонъ гремушекъ, хохотъ и возгласы носившихся по морознымъ улицамъ, знакомыхъ забубенныхъ гулякъ.

Въ другой австеріи, а именно, у землячки и друга Дрезденши, Амбахарши, случился казусъ. Тамъ компанія разгулявшихся пов'єсъ нежданно наткнулась на изв'єстнаго и непримиримаго соперника силачей Орловыхъ, на бывшаго

кронштадтскаго коменданта Шванвича.

Каждаго изъ Орловыхъ порознь въ борьбѣ Шванвичъ легко осиливалъ; двое же брали надъ нимъ верхъ. А потому между ними, разъ навсегда, было условлено, что если гдѣ-нибудь въ австеріи Шванвичъ встрѣтитъ одного изъ Орловыхъ, то они должны были немедленио уходить, оставляя въ его распоряженій все вино, бильярдъ и красавицъ. Гдѣ же Шванвичъ заставалъ двухъ изъ семьи Орловыхъ, то самъ, безъ дальнѣйшаго разговора, долженъ былъ имъ уступатъ поле дѣйствій. Повѣсы ворвались въ австерію Амбахарши на этотъ разъ именно въ то время, когда изъ ея дверей вылетѣлъ во дворъ, вытолкнутый Шванвичемъ, третій изъ Орловыхъ—Оедоръ.—«Какъ? кому? лаптю кланиться? отступать?—гаркнулъ обезкураженному брату Алексѣй Орловъ:—нѣтъ, Өедя, дудки! secré nom! впередъ!»—Всѣ встали съ саней.

Въ комнатахъ Амбахарии поднялся невообразимый шумъ. Шванвичъ не уступалъ. Одни изъ гостей держали сторону Орловыхъ, другіе съ осиншими глотками кричали, что такъ нельзя, что они должны въ точности исполнить уговоръ. Шванвичъ увъенстою ланой сгребъ онять за шиворотъ рослаго Оедора Орлова. На выручку младинаго птенца двинулся громадина Алексвй... Два плечистыхъ буяна общими силами смяли протившика, опрокинули его навзничъ, и Алексвй Орловъ, съ налитымъ кровью лицомъ, вытащилъ подъ иышки блёднаго отъ злости, брыкающагося моряка за дверь и, въ свой чередъ, столкнулъ его съ крыльца австеріи въ снёгъ.

Товарищи потребовали съ Орловыхъ при этомъ случаћ

новаго угощенія. Опять явилось вино. У бедора Орлова оказался изорваннымъ рукавъ и текла изъ носу кровь. Алексьй растиралъ снъгомъ вывихнутые пальцы. Шумъ, гамъ и смъхъ слышались изъ трактира далеко. Туть были и цыгане. Неугомонные гуляки перешли въ большой кегельный залъ и стали тамъ прыгатъ другъ черезъ друга въ чехарду. Мировичъ возилъ кого-то при этомъ на себъ верхомъ... Григорій Орловъ, съ красивой, чернобровой цыганкой Аксюшей, подъ хоровую пъсню и звуки бандуръ, снявъ кафтанъ и камзолъ, въ кумачной рубахъ, размахивая платкомъ, плясалъ въ присядку трепака. Гремъла опять пъсня: «Ленъ, ленъ»...

Но когда толпа, вдоволь угостившись, двинулась къ санямъ, Алексви Орловъ, не доходя вороть, вдругъ охнулъ и, съ окровавленнымъ лицомъ, упалъ среди двора на снъгъ. Кто-то въ то же время кинулся отъ крыльца бъжать по улицъ...

— Tiens, comme il l'a balafré!—вскрикнуль Бредихинъ, съ подосп'ввшими камрадами, въ силу поднимая Алекс'я Орлова, у котораго Шванвичемъ изъ засады была наискось разс'вчена л'явая щека.

Н'вкто изъ толны выхватилъ шпагу и съ крикомъ: «Такъ вотъ какова честь! вотъ подлость! смерть предателю!» — бросился въ догонку за уб'вжавшимъ Шванвичемъ. «Удержать его, удержать, — всю улицу разбудитъ и переполошить!» — раздались у воротъ голоса. Непрошеннаго защитника привели обратно въ трактиръ. То былъ Мировичъ. Никто его не могъ унятъ. Пока суетились, перевизывая рану Орлову, онъ, не выпуская изъ рукъ шпаги, продолжалъ шумътъ и, съ п'ьной у рта и скрежетомъ зубовъ крича: «убъю изм'внника, убъю подлаго труса!» — порывался къ двери.

Изъ толны трактирнаго люда, съ краснымъ отъ возліяній лицомъ, озабоченно выдвинулся плотный, въ мѣховой епанчѣ, господинъ. Замѣтно покачиваясь, онъ нагнулся къ Мировичу, взялъ его ласково за руку и со вздохомъ сказалъ:

- Уймись, Василій Яковлевичь, уймись... Видишь, и и, и ты... дали зарокъ, а сами...
- Balafré... зарокъ!.. у Чурмантвева доигрывать... умру, а найду! безсознательно повторяль про себя Мировичь, уносимый по улицъ въ саняхъ Ломоносова.

Загоралась блідная заря. Дома, заборы и перекрестки

начинали выръзываться изъ темной морозной мглы. Сани, скриня, остановились на берегу Мойки. Мировичь взошель, шатаясь, на лъстинцу второго этажа, и какъ былъ одътъ, въ шляпъ, въ шинели и въ башмакахъ, свалился на первый попавшійся диванъ и какъ убитый заснулъ.

. V.

Следъ найденъ.

Два года назадъ, а именно, въ началв зимы 1760 года, носле высылки Мировича въ заграничную армію, Пчёлкина обратила на себя вниманіе разомъ несколькихъ придворныхъ вздыхателей.

Поликсенъ тогда исполнилось восемнадцать лътъ. Она подросла и стала не столько пригожъе, сколько миловиднъе, находчивъе, бойчъй. Ея сърые глаза, продолговатые, какъ у сфинкса, были также загадочны, безстрастны и насмъшливо-холодны. Золотистые волосы, когда она ихъ не пудрила, густыми янтарными волнами падали съ ея сухой, строгой и гордо посаженной головы. Ухаживали за красивою, худенькою камеръ-медхенъ государыни военные и статскіе. «Пчелка златая, что ты жужжишь?»—сочиниль, по слухамъ, именно о ней одинъ стихотворецъ, и городскіе модники распъвали подъ клавикорды эту пъсню. Первые столичные щеголи, на холостыхъ пирушкахъ, не разъ бились объ закладъ, что не пройдетъ недъли—если они только захотятъ—Пчёлкина будетъ ими побъждена. Заклады проигрывались. Вздыхатели ошибались.

Поликсену сердили ихъ преслѣдованія. «Безмозглые, противные!—дрожа и блѣднѣя, шептала она сквозь слезы: — и все потому, что я подкидышъ, ни роду, ни племени... По милости государыни, хорошо одѣта, въ моду вошла и нравлюсь всьмъ, —вонъ цѣлая корзинка амурныхъ цидулокъ на полсъ... И ужъ хоть бы ухаживали отъ сердца... Гнусные пустозвоны! Вертопрахъ этотъ, богачъ Нарышкинъ, слъдомъ бъгаетъ пѣлый мѣсяцъ; камергеръ Лоскутьевъ вздумалъ ухаживать, голитинецъ Цобельтишъ... Отъ уличной щеголихи къ актрись, отъ актрисы... ну, и за нашею сестрой, за камеристкой, отчего не погоняться?»

Часто вспоминала и обсуждала Поликсена свое прошлое, странное, не какъ у другихъ, — одинокое дътство, бъганіе по лестницамъ, коридорамъ и переходамъ стараго зимвяго дворца и первыя сознательныя тревоги, редкія радости, зато частых горькія слезы босоногой швейки, потомъ коверницы у статсъ-дамы Апраксиной, и, наконецъ, кружевницы и камеръ-медхенъ самой государыни. По случаю одного изъ придворныхъ спектаклей, когда заболела какая-то актриса, ее начали учить по-французски, потомъ по-немецки. Она оказала большія способности. Иванъ Ивановичъ Пуваловъ вадумалъ опредёлить Пчёлкину въ оперный хоръ и поручилъ ее попеченію тогдашней первой певицы Либеры Сакко, которая давала своей новой ученице читать драмы, комедіи и повести, и успёла ее развить. Черезъ нее Пчёлкина ознакомилась и съ Руссо, прочла его «Эмиля» и коечто изъ его философскихъ сочиненій.

Никогда не могла забыть Поликсена одного дня въ своемъ дътствъ. Ее, ръзвую и дикую дъвочку, сильно побилъ въ игръ какой-то дворцовый злока-грапченокъ. На ея угрозу: «вотъ, постой, чортъ лупоглазый, маменькъ пожалуюсь!» — лупоглазый чортъ, скаля зубы и наставя черный кулакъ, ей отвътилъ: «никакой матери у тебя, рыжутка-Полька, нътъ и не было... да и отца не было!.. а ты, Полька, нищенка, подмётышекъ, сорочье дитё!» — «Какъ подмётышекъ, сорочье дитё?» — стала накидываться и допрашивать встръчныхъ и поперечныхъ дъвочка. Ей объяснили, что дъйствительно ее нашли въ опоркахъ какой-то пубейки, на кучъ сънныхъ выгребковъ, подъ дворцовымъ конюшеннымъ крылъцомъ. Горько заплакала Поликсена, и съ той поры, забиваясь въ углы чернаго двора, все высматривала на сметъъ сорокъ: какая ей будетъ матерью?

Прочла однажды Поликсена французскую драму, данную ей Либерой Сакко, и чуть не сопла съ ума. Въ драмъ изображалась Ормеанская Дъва, избранная Провидъніемъ для совершенія великаго подвига. Съ той поры судьба Іоанны д'Аркъ не давала покоя Пчёлкиной. Ей грезились громкія дъла, міровая слава, общая признательность. Неръдко дни напролеть, въ гардеробной императрицы, она просиживала молча, какъ истуканъ. Ей мерещился въковъчный, дремучій дубовый лъсъ, мхи и скалы. Войско стоитъ у опушки. Сверкають латы, гремить оружіе. Гонимый король, Карль VII, лежить у палатки. И воть, изъ лъса, въ племъ и съ мечомъ, выходить свътозарная дъвица. «Я спасу

тебя, возведу на престолъ», -- говорить она королю. И эта дъвица — Поликсена... Работа валилась изъ ея рукъ. Роброны и блонды государыни долгіе часы она гладила соверщенно остывшимъ утюгомъ, жгла воротнички, вынинвала по канкь, вивсто алыхъ, синія и зеленыя розы. «Влюблена, влюблена», — шептали о ней подруги-камеристки. Явилась въ Петербургъ знаменитая ярославская ворожея, Варварушка. Всь у нея гадали. Обратилась къ ней и Ичелкина. Она пробрадась къ ней на Охту, съ женой Ипатьича, кучера государыни, въ платочкъ и старенькомъ платьицъ. Варварушка долго отказывалась гадать. — «Силы у меня ноньче нъту-ти, въ косточки вся ушла», -- говорила она. Провожатая Поликсены положила передъ ною два рублевика и конецъ холста. Варварушка стала гадать на кофе. Кучеровой жень, страдавшей запоемъ, такъ и сказала: «Смерть тебъ не скоро; блинкомъ подавишься, только оживешь». — Поликсенъ предсказала двухъ молодыхъ и красивыхъ жениховъ.

- Оба будуть тебя воть какъ любить, и за одного, дъвка, ты бы и пошла, да не станется; не выйдешь и за другого.
 - Почему?—спросила съ испугомъ Пчёлкина.
 - Черезъ шумъ и черезъ кровь.
- Что же, милостивая, вміналась кучерова жена: родственники они эти-то кровные межь собой, или просто побыются?
- Не родные, а дальніе, и не побыются; только выходять черезь кровь и черезь шумъ, —подтвердила Варвара.

Кучерова жена приказала долго жить въ ту же зиму, опившись до смерти запеканки-перцовки, на именинахъ кумы, и никакимъ блиномъ не давилась. «Ну, и обо миъ знать ворожея наплела», —думала, неравнодушно вспоминая гаданье Варварушки, Пчёлкина. Она читала «Эмиля» и виъстъ отдавала дань въку — върила снамъ и гаданьямъ. Когда въ числъ вздыхателей подвернулся ей кадетъ Мировичъ, она, разглядъвъ тогдашній скромный, простой и добродушный до глупости видъ влюбленнаго юноши, не разъ съ досадой спрашивала себя: «да неужели жъ этотъ?» —Ей льстили страстный ухаживанья Мировича, его преданность. Но она гнала прочь всякую мысль о возможности остановиться выборомъ надъ нимъ. «Армейскій нъхотный офицеришка будеть — не велика находка!» — говорила она себъ,

охораниваясь, въ пышныхъ янтарныхъ локонахъ, передъ зеркаломъ. И вотъ, его нътъ, онъ разжалованъ, высланъ. Пожалъла его Пчелкина, даже поплакала о его судьбъ. Но прошелъ годъ, — о Мировичъ ни слуха. Живъ ли бъдный, робкій вздыхатель?

Наступила новал, особенно веселая зима. Придворные балы сменялись концертами, концерты—маскарадами. По-койная императрица любила, чтобы хорошенькія изъ ем свиты, не только фрейлины, даже камеристки, за-просто являлись поплясать въ ем присутствіи на обычных в куртагахъ.

- Пора Ичелкину замужъ отдавать, объявила разъ государыни статсъ-дамѣ Аграфенѣ Леонтъевнѣ Апраксиной, на одномъ изъ маскарадовъ, гдѣ Поликсена, съ другими изъ свътскихъ дѣвицъ, въ костюмѣ нимфы, танцовала минуэтъ съ наслѣдникомъ престола: ишъ, Петръ-отъ Өедорычъ какъ передъ ней ферлакуритъ.
- А и то правда, матушка-государыня, отвѣтила Апраксина: нуко-си, лѣтомъ и впрямь найдемъ ей жениха, а осевью, передъ филипповками, сыграемъ и свадьбу.
- Но у Пчелкиной чуть ли ужь не припасенъ суженый, да онъ на войнь,—замътиль кто-то при этомъ.
- Тімъ лучше, сказала Елисавета Петровна: выпишемъ молодца, — амуры раскончить... а къ той поръ, чай, и войнъ ужъ не бывать.

Въ концъ той зимы подвернулся особый случай.

Служившій въ военной коллегіи, женатый на богатой купеческой дочкъ Ульянъ Пусловой, полковникъ Бехлешовъ—
долженъ былъ везти въ чужіе края, на воды въ Спа, больную жену, и вызывалъ для нея, черезъ «Въдомости», знающую иностранные языки компаньонку. Ухаживанья Петра
Федоровича за Пчёлкиной не прекращались. «Пусть провздится», — ръшила имератрица, и сторомой, черезъ Апраксину, велъла посовътовать своей камеръ-медхенъ принять
приглашеніе Бехлешова. Пчёлкина была изумлена и вмъсть
обрадована. — «Откуда такое счастье? — повторила она себъ: —
удаляютъ, кажисъ, отъ важнаго лица. Стало быть, я опасна...
Вотъ что сулитъ и куда ведетъ жребій». — Она получила
отпускъ до сентября, и въ мав, черезъ Дрезденъ и Въпу,
съ Бехлешовыми уъхала за границу.

Поликсена часто писала оттуда Птицынымъ. Все занимало ее въ чужихъ краяхъ: невиданные нравы и обычаи, отмінные отъ всего того, къ чему она пригляділась въ Россін, росконные сады и парки, чистота и красота нівмецкихъ городовъ и деревень. Разнообразное и оживленное общество събхалось къ моднымъ цілебнымъ водамъ. Здісь былъ цвітъ разслабленной и изніженной тогданней европейской аристократін. Между больными было видно немало и раненыхъ на войні, гремівшей невдали, въ разбитой русскими войсками Пруссін.

Пчёлкина съ Бехлешовой посъщала курзалъ, съ жадностью читала и переводила больной газетную болтовию и новые романы. На водахъ также произопло итсколько романовъ. У какого-то лорда австрійскій кирасиръ увезъ дочь; жена рейнскаго богатаго виноторговца бъжала съ парижскимъ актеромъ. Поликсена тоже почувствовала себя неладно.

Полковникъ Бехлешовъ, привезя жену, думалъ пробытъ въ Спа не болъе недъщ, и жилъ здъсь цъный иъсяцъ. Сопровождая жену и ея компаньонку въ прогулкахъ, онъ сперва былъ весьма сдержанъ, потомъ сталъ, какъ бы случайно, оказывать ту или другую услугу Пчёлкиной: съ заботливой въжливостью подсаживалъ ее въ экипажъ, приносиль ей съ почты письма, покупалъ любимыя лакомства, фрукты, а разъ при женъ педарилъ ей моднаго штофа на платъе. Поликсена отъ педарка отказаласъ. Бехлешовъ началъ искать предлеговъ для бесъть съ нею наединъ.

«Что бы это значило?» — думала она, тернясь въ догадкалъ, и всякій разъ обрывала эти встрічи. Больной стало куже. Она разнемоглась отъ наибинищейся погоды и ивсклько времени не выходила изъ своей комнаты.

Быль теплий, влажный послё недавней гросы вечерь. Беклешить встрётиль Пилисену вы небельность саду при свей квартира, пипроспль ее сёсть на сканыю и, нослё вёкотирате кисебанія, пецвуль ей:

- Blamidainal a ers rela less yun
- CTREATYCK, ELECTRICASHOS! RUDNINGER, CERSAM HOMERCER, J. RUCS CHR. 1841 BS J.S. HAR. MING THE INSPECTA, 2 SHILL BELLTY COLD, ESSURANT, MAIN MAINTHEAL.
- Ha melan lady dra etertions. Reliebber, sampetyre landy definite d—n regula refa, rec.,

Harring market market and market market market.

Погоди жъ ты, рыжая гордячка! дамъ тебъ отплату!
проворчалъ ей вслъдъ взбъшенный неудачей Бехлешовъ.

Любезничанья съ Пчёлкиной толстенькаго, сёдого и короткаго ростомъ куртизана прекратились. За чаемъ, обёдомъ
и за ужиномъ онъ не говорилъ съ ней ночти ни слова.
Жене его стало лучпе, и Бехлешовъ началъ укладываться,
съ цёлью возвратиться въ Петербургъ. Пчёлкина, чтобъ
смягчить разладъ, собиралась просить его разузнать въ коллегіи о Мировиче, съ которымъ она переписывалась и отъ
котораго, передъ выгездомъ изъ Россіи, получила къ-ряду два
нежныхъ письма. — «Спроситъ, не женихъ ли? — думала она: —
нарочно скажу — женихъ... и побесится, и отстанетъ скорев... А чёмъ же Мировичъ и не женихъ? — съ горечью прибавила она и вздохнула: — и влюбленъ, и веренъ... чего же
больше?»

Сидћаа Поликсена какъто у себя наверху. Была ночь. Она дописывала письмо къ Птицыной о приключеніи съ Бехлешовымъ и задумалась. — «Вѣдь это, пожалуй, всегда такъ будеть, —сказала она себѣ: —гдѣ жъ конецъ? И неужели выхода нѣть?.. Мировичь! Ну, что онъ такое? Да какъ всѣ: добрый, незнатный, безродный, какъ и я; говорять, склоненъ къ картамъ, мотовству... Но отъ мотовства и отъ картъ можно еще исправиться, въ люди выйти... Молодъ, — остепенится... Слышно, имъ теперь довольны; даже за отличе повысили... Но не то, все не то... Бѣденъ, и то пустяки... Жить нечѣмъ будетъ, —государыня поможеть. Да о томъ ли я мечтала, того ли ждала!»

Поликсена остановилась писать. Воспоминанія вновь заронлись въ ея голов'я: злой арапченокъ, сорочье дите, Іоанна д'Аркъ, съ мечомъ и шлемомъ, у опушки дремучаго дубоваго л'яса, предсказаніе ворожен... кровь и шумъ...

Она сидъла, склонясь горячимъ лбомъ на холодную, исхудалую руку. Слезы навертывались на глаза. Снизу по лъстницъ послышались шаги. Кто-то будто поднялся на нъсколько ступенекъ и остановился.—«Мнъ почудилось,—скавала себъ Поликсена:— счастье! не дождаться мнъ видно его... А у другихъ,—вонъ въ газетахъ, — только и говору, что о романахъ, о любви... И почему мнъ не видать счастья? Почему къ другимъ оно приходитъ, да такое щедрое,— негаданно, нежданно?... Мужья знатные, въ чести...»

Она опять взялась за перо.

Въ раскрытое окно мезонина виднелись очертанія окрестных арденских колмовь и лесовь, надъ ними—усеянное звездами, тихое іюльское небо. Подъ окномъ быль скалистый обрывь надъ ручьемъ. Въ доме давно все улеглись, заснули. На утро Бехлешовъ убажалъ въ Россію. Недалеко оставалось до зари.

Пчелкина медленно протянула руку къ чернильницѣ, обмакнула перо и стала вновь прислушиваться. Пламя свѣчи въ тяжеломъ шандалѣ будто колыхнулось. Видно, съ надворья пахнуло свѣжимъ передразсвѣтнымъ вѣтеркомъ... На коврѣ, за стуломъ, что-то шелохнулось... Поликсена подняла глаза: передъ нею, расфранченный, завитой и напудренный, съ пучкомъ лилій и розъ въ рукѣ, стоялъ кругленькій толстенькій Бехлешовъ.

— Добрый вечеръ, Поликсена Ивановна,—произнесъ онъ, робко улыбаясь.

Она вскочила, взглянула на дверь.

- Здѣсь и снизу заперто: тш!—сказалъ онъ:—мы одни... выслуппайте меня...
- Что это значить? спросила Поликсена: какъ смъсте вы?..

Бехлешовъ протянуль ей букетъ.

- Райскій цвітикъ, волшебница! шепталъ онъ, не сходя съ міста: сна ність, страдаю, томлюсь...
- Романъ! усмѣхнулась Пчёлкина: но, довольно! идите, ударь; не васъ мнъ жаль, —вашей жены...
- Королева! зорька моя! сказаль, опускаясь передь ней на кольно, Бехлешовь: клянусь тебь, люблю... убей, только выслушай... Все бери, деньги, алмазы... Осчастливь, убъжимъ...

Поликсенъ вспомнились слова ворожеи.

— Все бери,—ничего не пожалью!—шепталь Бехлешовъ, прижимая къ груди букетъ: — слово только скажи... Семью брошу, службу, хоть на край свъта съ тобой... Озолочу, въ кабалу отдамся: сто душъ на Ураль на тебя отпишу...

Поликсена сложила руки.

— Какое униженіе, какой позоръ! — сказала она съ дрожью: — вонъ отсюда, слышите? вонъ! — бъшено топнувъ ногой, продолжала она, указывая на дверь: — уходите; иначе, не ги-ввайтесь, подниму крикъ, разбужу весь домъ...

Бехлешовъ подошелъ къ ней. Она бросилась къ окну.

— Шагъ сделайте, — вскрикнула она, указывая за окно: — брошусь туда... на вашей душе будеть смерть...

— Стойте, стойте, — прошепталь Вехлешовъ: — ужли на

томъ и конецъ?..

Пчёлкина молчала. Негодующіе сёрые глаза холодно и б'ёшено смотр'ёли на него отъ окна.

 Будешь меня помнить! — проговориль, уходя, Бехдешовъ.

Поликсена утромъ явилась къ больной, попросила свое выслуженное жалованье, отперла сундукъ, взяла свой паспорть, узелокъ съ вещами и сходила на почту. Къ объду она вошла въ кабинетъ къ Бехлешову. Въ рукахъ ен были книги и газеты. Полковникъ, сиди у раскрытаго бюро, сводилъ счеты. При входъ Пчёлкиной, онъ слегка поблъднълъ, но не оглянулся, будто ен не замътилъ.

— Ошиблись вы, Валерьянъ Ильичъ, — почтительно и сдержанно сказала Поликсена: — но бол'в васъ ошиблась и сама. Не знала я доподлинно, каковы нон'в люди на св'ьтъ. Теперь знаю... Гнусн'ве, ничтожн'ве иного челов'вка — охъ, ничего не найдешь...

Бехленовъ упорно молчалъ. Лицо его слегка залила синева. Онъ тяжело дышалъ, попрежнему, не оглядываясь на говорившую.

— У васъ даже совъсти нъть, — съ горькой усмъшкой продолжала Поликсена: — ужли-жь и впрямь нъту? И всь ли нынче таковы? Опозорить, погубить, раздавить бъдную, нишую сироту — вамъ нипочемъ. Съ такою-де можно!.. Но не всъ сироты одинаковы... Опибаетесь... И не всякой непомнящей родства, подкидышу, по плечу грязь, ничтожество и позолоченное безчестіе, изъ-за куска хлъба. Иная, сударь, въритъ и въ лучшую долю...

Губы Бехлешова шевельнулись. Онъ хотълъ что-то сказать и опять не отозвался.

— Вы молчите?—кончила Пчёлкина:—горды вы, чтобъ покаяться передъ такою пустошью?.. Подъ крыльцомъ въ выгребкахъ ее нашли!.. Будьте жъ вы прокляты, съ вашимъ богатствомъ и съ вашею низкой, одного токмо себя любящей душой... А это — данное вами, сударь, для чтенія... Вразумили вы меня окончательно многимъ изъ этого... особенно жъ вотъ этимъ: въ книгъ я нашла къ вамъ письмо отъ вашей фаворитки изъ Россіи...

Поликсена бросила книги, газеты и найденное письмо на столь, медленно вышла и въ тотъ же вечерь, въ почтовомъ омнибусъ, уъхала въ Въну и далъе въ Цетербургъ.

Осенью минувшаго 1761 г. императрица сильно захворала, а въ декабрћ скончалась. Пристроить Поликсену, съ Апраксиной и съ Шуваловымъ, она не успъла — ни въ оперу, ни замужъ. Хотя, во время болъзни государыни, Пчёлкину всв дворскіе волокиты оставили въ поков, — имъ тогда было не до нея, — но Бехлешовъ не упускалъ ея изъ виду. Со смертью государыни все измѣнилось. Шуваловы пали. Вліяніе Апраксиной замѣнилось вліяніемъ Лизаветы Воронцовой. Къ новому году Бехлешовъ, благодаря покровительству своего родича, Гудовича, былъ назначенъ помощникомъ оберкригскомиссара, голіптинца Цейца, и произведенъ въ генералы. Служебное значеніе его въ военной коллегіи, а съ нимъ и его связи повысились. Несмотря на возврать изъ чужихъ краевъ жены, онъ то носылалъ Пчёлкиной, черезъ ся подругь, словесные поклоны, то письменно клялся ей въ неизмѣнной любви.

Поликсена колебалась недолго. По сов'ту Апраксиной, она сходила къ Лизавет Воронцовой, просить м'вста при супруг в государя. Воронцова послала ее къ своей состръ, Дашковой. Взглянувъ на худенькую и бъдно-одътую камеристку стараго, пенавистнаго ей двора, надменная Екатерина Романовна презрительно улыбнулась и, отвернувшись, вполголоса сказала по-французски Никитъ Панину: «какая дерзосты всякая горничная м'втитъ въ наперстницы къ новой государынъ».—Поликсена стала бълъе стъны, смъряла взглядомъ Дашкову и молча удалилась.—«Сочтемся когданибуды!»—подумала она.

Оставнись за штатомъ, она решилась не ждать более ничего, не просить и не ходить ни къ кому, а выбхать изъ столицы, скрыться въ такую глушь, где бы и следовъ ел никто не могь найти. Задумавъ это, она выискала случай, и въ средине зимы 1762 года, после похоронъ императрицы, не простивнись дажо съ знакомыми, на-скоро собралась, написала прощальное письмо—также уезжавшей изъ столицы актрисе Сакко, — и, безъ сожаленія, такъ быстро оставила Нетербургь, что ни Бавыкина, ин близкіе ея знакомые не знали, куда она делась.

Ночная понойка заставила Мировича болже сутовъ не выходить сверху изъ комнатъ Ломоносова. Оба они скрывались тамъ, — одинъ отъ жены, другой отъ Настасьи Филатовны. У Ломоносова, вследствіе невоздержности, возвратился особенный, судорожный, съ страннымъ и смешнымъ присвистомъ, кашель, которымъ онъ, какъ и опухолью ногъ, страдалъ въ последніе годы. Ломоносовъ въ шутку называль его своимъ «соловьемъ». И этотъ соловей имель своеобразный обычай: онъ начиналъ въ немъ распевать именно всякій разъ, когда Ломоносовъ не выдерживаль и заходилъ въ ресторанъ Иберкамифа, Гантовера или бывшей невдали отъ Синяго моста Амбахарши.

Беседуя съ Михаиломъ Васильевичемъ, въ кабинете последняго, о масонстве, о чужихъ странахъ и новостяхъ дня. Мировичь вкратив передаль ему и о своемь, такъ печально кончившемся, сердечномъ романъ. Поликсены не было, и гдв она — рвшительно нельзя было узнать. Ломоносовъ, выслушавъ исповедь Мировича, нахмурился. — «Вотъ она, судьба, — думаль онь, — что любимъ, чего жаждемъ, того и нътъ... И она-то что за птица? И чъмъ онъ ей не пара? Писалъ, перестала отвъчать... А можеть, только прячется, испытываеть молодого человъка, каковъ онъ и будеть ли верень ей?» — Хозяинь и гость делали разныя предположенія, судили, рядили. Міръ фантастическихъ грезъ охватиль опять и не покидаль Мировича. Ночью къ постели его слетались странные, тревожные образы: опять война, онъ раненъ, брошенъ гдв-то въ незнакомомъ городъ. Соборъ залить огнями; пышные экипажи, разряженная публика. Кого-то вънчають. Новобрачная сходить по ступенямъ паперти, -- это Поликсена. Мировичь въ рубищъ, на костылъ, пробирается сквозь томпу, хочетъ крикнуть—и просыпается...

Вечеромъ вторыхъ сутокъ дочь Ломоносова, Леночка, принесла наверхъ записку, доставленную съ придворнымъ лакеемъ. То было письмо къ Мировичу отъ камерфурьера Василія Кирилыча Рубановскаго.

«Любленія ради человіческаго, — писаль ему старый риторъ-бурсакь, — оть ветхаго и годами источеннаго древа, листвію зеленому и многоцінному, въ разумі же, діліхть, а такожде и въ забавахъ испусствомъ умиляющу и всіми дарами сілющу, государю моему, подпоручику Мировичу, — поклонті! А я, — государь мой и многомилостивый патронъ, —

дознался для тебя о мѣстѣ, гдѣ днесь пребываетъ лѣпокудран и нравомъ достойная, искомая вами, отроковица Пчёлкина. А отъѣхала она, въ генварѣ, въ городъ Шлиссельбургъ и живетъ нынѣ тамо въ крѣпости бонною, сирѣчь губернёркою, при дѣтяхъ вдоваго капитана гвардіи, князя Чурмантѣева. Числится же тотъ Чурмантѣевъ съ новаго сего года главнымъ приставомъ при тамопней статсътюрьмѣ; а и какъ вамъ попасть туда, я не свѣдомъ. Цидулку же сію доставитъ вамъ камерлакей внутреннихъ аппартаментовъ покойныя государыни, Тихонъ Касаткинъ. Онъ же и отвозилъ дѣвицу Пчёлкину отъ двора въ городъ Шлюшинъ. Засимъ, а ревуаръ, здравствуйте... А о петеркъ чудодѣйствемной не забыть мнѣ отнынѣ и до вѣку».

Прочитавъ разъ и другой это письмо, Мировичъ передаль его Ломоносову, а самъ поспъщилъ внизъ—объясниться съ Касаткинымъ. Онъ возвратился радостный, взолнованный...

- Воже мой, слышишь? вскрикнулъ ему павстричу Ломоносовъ: тайная государственная тюрьма! князь Чурмантывъ...
 - Да, такъ написано и посланный то же подтвердилъ.
- Но знаешь ли ты, кто въ этой тюрьмѣ сидить? спросилъ, уставясь въ него, Ломопосовъ.
 - Не знаю, Михаилъ Васильичъ, почемъ мић знать...
- Опъ... онъ!—продолжалъ, волнуясь и заглушая рвавшійся изъ груди судорожный, свистящій кашель, Ломоносовъ: — отъ колыбели! двадцать второй годъ онъ томится въ душномъ застенке...
 - Да кто же онъ?
- Царственный узникъ!.. помнишь, я тебъ говорилъ?.. Богомъ назначенный, а людьми свергнутый, россійскій, природный царямъ и въ Россіи рожденный императоръ, Іоаннъ Третій, какъ его именовали въ актахъ, Антоновичъ!..

Лепочка, видя смущеніе и даже какъ бы испугь отца, присыла въ темномъ углу, робко выглядывая изъ-за шкаца. Ломоносовъ всталь, прошелся по кабинету, вздохнулъ, провелъ рукою по глазамъ, хотълъ что-то сказать и не могъ. Онъ ухватился за сердце, бросился къ рабочему столу и изъ потайного ящика, дрожащими руками, досталъ нъсколько пожелтълыхъ, истрепанныхъ, печатныхъ листковъ.

 Оды мон! вотъ лучшія хвалебныя мон оды въ честъ этого императора!—сказалъ Ломоносовъ, блуждающимъ взоромъ глядя какъ бы въ нѣкоторую свѣтозарную даль:—я, государь мой, прибылъ сюда изъ Германіи лѣтомъ, въ правленіе именно этого младенца-царя... Ты поймешь, какъ мнѣ дорого это имя! Я писалъ отъ сердца, я былъ искренно, глубоко восхищенъ... слушай...

«Нагрёты нёжнымъ воды югомъ
«Ликують свётло другь предъ другомъ—
«Златой начался снова въкъ...
«Природы царской вътвь прекрасна,
«Мон надежда, радость, свёть,
«Счастливыхъ дней Аврора ясна,
«Монархъ-младенецъ, райскій цвътъ!..»

- И ты знаешь? я пошелъ съ этими стихами въ прежній дворецъ, прочелъ ихъ передъ правительницей Анной Леопольдовной и младенцемъ, и она при всемъ дворѣ, въ благодарность, склонила мнѣ съ подушки августѣйшую головку сына... Понимаешь ли, что я тогда чувствовалъ? Вотъ, смотри, читай...
- Странно!—произнесъ Мировичъ:—стихи напечатаны, а я ихъ нигдъ не встръчалъ...
- Они явились въ отдёльномъ прибавленіи при «Вёдомостяхъ»... Но ихъ отобрали, когда на престолъ взощла Елисавета; мало того, —ихъ жгли съ манифестами, указами, присяжными листами и другими актами, гдё только упоминалось имя этого несчастнорожденнаго...
 - Манифесты были его имени?
- Какъ же! Четыреста четыре дня страна читала: «Божією милостію, мы, Іоаннъ III, императоръ и самодержець всероссійскій...»
- Извините меня, Михайло Васильичъ! сказалъ въ глубокомъ изумленіи Мировичъ: — мало я, какъ есть, знаю объ этихъ событіяхъ. У насъ въ корпусь о томъ молчали, за границей, видно, забыли... Слышать я отъ одного товарища и отъ Настасьи Филатовны, да смутно... Скупа она всегда была на этотъ счетъ. Какъ и почему все это произопло?
- Злополучные аргонавты! отвётиль Ломоносовь: роковое же, золотое руно, выпавшее имъ на долю, быль императорь-застёнщикъ... Изволь, я тебё, что знаю, когданибудь при случаё разскажу. Печальный трактаменть услышинь, печальный...

Онъ спряталъ листки обратно въ столь, подложилъ въ каминъ полъньевъ, сълъ въ кресла, закрылъ лицо рукой и

задумался. Мировичь сидель возлё него, не спуская съ него глазъ, и ждалъ, чуть переводя дыханіе. Минуть черезъ десять Ломоносовъ очнулся, но заговорилъ о другомъ. «Разспрошу Филатовну»,—подумалъ, уходя отъ него, Мировичъ.

VI.

Несчастнорожденный.

Дня черезъ два Ломоносовъ, поздно вечеромъ, позвалъ Мировича наверхъ и подвелъ его къ окну. Все небо было валито съвернымъ сіяніемъ.

— Сполохи отворённаго воздушнаго моря!—сказаль Михайло Васильевичь, наводя въ форточку новую изобрётенную имъ трубу.

Долго оба они следили за пышными, будто двигавшимися, то розовыми, то голубыми огненными столбами. Вдругъ Ломоносовъ всталъ, прошелся по комнать и опять сёлъ.

— Эпокъ царствованія моей богини, — Елисаветь Перовны, - началь онь, покашливая: - цыв ни высть какихъ противорвній! И я тебв, государь мой, въ разсужденіе прерваннаго намедни нашего трактамента доложу -- не инако, какъ съ прискорбіемъ — много, много лежить грвха на ен советникахъ... Сколько она страдала, сколько ждала! Дщерь Пстра — и не была допущена на родительскій престолъ... Всъми была оставлена, и ей не помогали; отринута, пренебрежена, — и за нее не отмщали!.. Но сама героиня сввера о себв подумала... Слушай... Всвив памятна ночь, на двадцать пятое ноября, семьсоть сорокъ перваго года... Елисаветь Петровна, богоравная, надъла кирасу на платье, помолясь, съла въ сани и поъхала, съ своими партизантами, въ преображенскія казармы. Тамъ объявила она себя императрицей, пошла съ върными гренадерами въ зимній дворецъ и арестовала всю спавшую брауншвейтскую фамилію: правительницу государства, Анну Леопольдовну, ея мужа, добряка-заику, генералиссимуса Антона Ульриха, и ихъ сына, младенца-императора, Ивана Антоновича. Малютка быль объявлень самодержцемь двухъ месяцевь отъ роду... Въ манифесть его назвали Іоанномъ Третьимъ; другіе же именовали впосл'ядствіи Пятымъ и Шестымъ, памятуя древнихъ Іоанновъ. Была въ честь младенца-монарха выбита медаль, и на ней поднимавшаяся къ небу императрица Анна вручила ему корону... Россія, отъ его лица, управлялась годъ и тридцать довять дней, а всего четыреста четыре дня...

Ломоносовъ остановился.

- Четыреста-четыре дня!.. И зато страдать годы, всю жизнь!—продолжаль онъ:—гдѣ, въ какой странѣ, отыщешь подобный, столь трагическій и роковой исторіи примѣръ? Желѣзная маска? да и тому государственному узнику было легче...
- Спрашиваль я Настасью Филатьевну, проговориль Мировичь; чудныя дёла.
 - Ну, и что жъ разсказала она тебь?
 - Сильно скорбить объ участи несчастного.
- Жестокая, жестокая издъвка судьбы, продолжаль Ломоносовъ:--когда императрица Елисаветь-Петровна привезла въ своей шубъ, по морозу, низвергнутаго малюткуимператора въ собственный свой дворецъ, - задилась она, добросклонная, слезами и воскликнула: «бідное дитя! Ты ни въ чемъ неповинно... Виноваты твои родители...» — Вышель вскоръ манифесть. Въ немъ было объявлено, что всю брауншвейтскую фамилію государыня, предавъ всё ихъ поступки забвенію, повельла съ надлежащею имъ честью и достойнымъ удовольствіемъ, отпустить навсегда обратно за границу—въ ихъ отечество. И повезли ихъ на родину, въ Германію. Но чего хотіли добрые, того не попустили злые... Едва элосчастные странники, подъ надзоромъ генералълейтенанта Салтыкова, пробираясь къ Кёнигсбергу, дофхали до Риги, едва съ бывшей правительницы взяли тамъ присягу новой государынь, Елисаветь- Цетровна, по совыту усерднаго Фридриха, своего лейбъ-медикуса Лестока, новелвла имъ далве не двигаться. Въ то время, надо тебв сказать, изъ Голштиніи, съ великой тревогой, ждали въ Петербурга другого генерала, дайствительного камергера. барона Корфа, а съ нимъ родного племянника Елисаветы,— «чортушку, что жилъ въ Голштиніи», какъ звала царица Анна ненавистнаго ей принца Петра Оедорыча. Государыни шепнули — какъ бы германские родичи низложеннаго императора, въ отместку ей, не задержали на границъ избраннаго ею наследника. Но онъ благополучно прибыль въ Петербургъ. И затъяли его учить, а вскоръ и женить. Пріъхала инкогнито изъ Цербста, подъ именемъ графини

Рейноўшъ, — его невъста, Екатерина Алексвена. Несчастнаго жъ правнука царя Ивана Алексвича, съ семьей, стали держать въ рижской цитадели. Выгодно было пугать государыню. Ну, Лестокъ съ братіей и пугалъ. Щеголь и говорунъ былъ онъ, а ужъ сквернавецъ перваго ранжиру... На маковкъ пудра, подъ маковкой тундра... Да что — не могу, не могу... Душа разрывается. Спроси другихъ, всякъ тебъ нынче о томъ скажетъ.

Ломоносовъ смолкъ опять. Мировичъ, видя его волненіе, болье не разспрашиваль. Ему и безъ него, въ эти дни, удалось узнать немало новаго. Филатовна была въ духъ и, не то что прежніе годы, не стьснялась. Пптомецъ ея быль теперь взрослый человъкъ, и страшнаго тайнаго приказа уже третій мъсяцъ не существовало. Тряхнула она своими воспоминаніями. А чего только по этому поводу не знала влова лейбъ-кампанца, какъ отъ мужа, такъ и отъ его товарищей!

- Охъ, терпън высланные мученики, разсказывала. Мировичу Филатовна: — прожили въ Ригь болье года. А императрицъ, свътъ-матушкъ, доносили всякіе слухи и сплетни о задержанныхъ. Бывшая правительница ее-де не признасть, да не почитаеть; а наперсиица ся, фрейлина Менгденша, подбиваетъ-де ее къ быству. Ходилъ, Вася, слухъ, будто правительница и взаправду покушалась бъжать, въ мужицкомъ простомъ платьт, на корабли. Изъ Риги ихъ перевели въ другую крипость. У Анны Леопольдовны здесь родилась дочь, Елизавета. Въ честь новой царицы назвали ее бідную... да не къ добру... Пробрехался въ Питеръ спьяну одинъ камеръ-лакей, что вскоръ снова ждать перемены, что быть опять царемъ Ивану Третьему. Твой землякъ какой-то, изъ старинны, писалъ другому, будто всь въ Интерв за Ивана, и это самое письмо было перехвачено... Да и фонъ-Минихи съ Оштерманомъ, во время суда надъ ними, думая, что сосланная-то фамилія ужъ за границей, немало на нихъ илели.
- Гнусные трусы, себялюбцы! произнесъ Мировичъ, не спуская съ разсказчицы пылавинать, негодующихъ глазъ.
- Такъ, такъ, Вася... А передъ тъпъ пришелъ доносъ и о самомъ генераль Салтыковъ, чай, слышалъ о немъ? Опъ состоялъ при арестованныхъ. Ребеновъ-отъ импера-

торъ, -онъ въ ту порусбыль по четвертому годку-игралъде въ комнать съ собачкой и удариль ее, этакъ шутя, по лбу ложкой. Нянька и спроси Иванушку: «кому-де, батюшка, какъ вырастешь, голову отсечешь?» — А ребенокъ будто и отв'втиль: «Василію, моль, Оедорычу», — сирвчь Салтыкову. Вспрыгались туть оть этакихъ выстей. Норовъ дитяти, вишь, сказывался преострый, догадливый. — «Сослать ихъ подаль, въ самую глубь Россіи!-сталъ твердить государын в лекарь ейный, Лештокъ: — безь того-де тронъ твой новый непроченъ». — А туть поспыть, ст волчымъ совътомъ, и пъмецкій король. «Не худо, — цисалъ онъ государынъ: -- сослать Иванушку и его родителевъ въ такой уголь, где-бъ о нихъ и память умерла... Въ вашей, моль, странь, ваше царское величество, таковыхъ мьсть немало... Иначе ждите бъдъ». — Таки-то ръчи и поръщили дъло... Подумала свъть-матунка-государыня, погадала и послала указъ: извъстныхъ персонъ тайно отвезти въ городъ Ранибургь, Рязанской, это выходить, губерніи. Снарядили бідныхъ, взяли, и по зимиен стужь, въ метели и въ бездорожье, черезъ Калугу и Тулу, доставили въ Ранибургъ, въ началь весны. Приэтомъ ошиблись, Василій, конвойные и мало не завезли ихъ къ киргизамъ, -- выбото Ранибурга въ городъ Оренбургъ...

— Эка, варвары!—прошепталъ Мировичъ.

— Варвары? Слушай, другь. То ли еще было впереди. На новомъ мьсть несчастнымъ вышло хуже прежнято. Помъстили ихъ, -- о томъ мужу моему въ тайности сказываль опосля конвойный капраль, —помьстили въ ветхомъ и запущенномъ деревянномъ домі, гді въ стары годы содержался въ ссылкъ царевъ любимецъ, князь Меншиковъ. Не было тамъ ни годной провизіи, ни прислуги; вода гнилая, болотная. Принцесса была опять въ тягости. --- Иванушка хворый. А туть въ Интера снова пошли толки о возврата къ правленію Ивана Антоныча. Осенью были страшныя казни: ожъ! сама ходила -- видъла! А на допрось и не то еще подтвердилось... Въ гвардейскихъ полкахъ, другъ ты мой, такъ сдуру притомъ надвялись, что говорили: уповаемъ, и за ружье, въ такомъ разі, не возьмутся... А туть, по весив, стала слышна новая молва... Въ городъ шопотомъ, украдкой начали толковать, будто къ заключеннымъ въ Ранибургъ, -- сама я слышала отъ кумы-протопопицы, — дошель для сборовь на перковь нёкій, сказать тебі, раскольничій монахъ, и что онъ уговорился съ принцессою и съ принцемъ, тайно, съ ихъ согласія, похитилъ Иванушку, а дабы его укрыть, до возраста, среди своихъ единовърцевъ, бъжать съ нимъ въ раскольничьи слободы, на Вятку, въ Польшу... Бёглецовъ яко-бы настигли въ лъсахъ подъ Смоленскомъ; монаха повезли на розыскъ въ Питеръ, а Иванушку въ Валдайскій монастырь... Да не отложить ли, Васенька, сказъ назавтра? Поздно, стемнъло...

--- Ахъ, матушка, вы мон родная, говорите, говорите!---

сказаль, ухвативъ за руки Филатовну, Мировичъ.

-- Ну, после такихъ слуховъ, Василій, въ рязанскую-то губернію къ заключеннымъ, какъ сивгь на голову, и прискакаль нонішній нашь енараль-полицмейстерь, баронь Корфъ. Ему велено было техъ арестантовъ отвезти, подъ сильной стражей, еще далье, а именно въ городъ Архангельскъ, и оттолъ ночью, по тайности, въ Соловецкій монастырь... Аки громъ сразила заключенныхъ эта въсть о новомъ перевздв. Думали они, что ихъ везутъ въ Сибирь, въ тогь городъ, гдв жилъ всеми клятый Биронъ. — «Не видать мив болв сына!--вопила, безъ памяти, принцесса:-прощай, Ваничка, мой царь, прощай навъки!» Разлучили ее съ любимыми слугами и съ наперсницей, фрейлиной Менгденшей. Отобрали всв ея вещи, баулы, часы, дорогіе гребни, перстни... Сестру Менгдении я у Шепелёвых в послъ видала, и она имъ про то сказывала... Аспиды, какъ есть, аспиды, последнюю атласну юпчёнку съ принцессы сняли, повезли ее въ простомъ платьв...

Бавыкина отерла глаза.

— Иванушку, по пятому годку,—продолжала она:—подъ охраной енарала Корфа, повезъ съ собой въ коляскъ мајоръ, не помню, какого полку, а по прозвищу Миллеръ. Двинулись осенью, опять въ бездорожье, дождь, а потомъ въ сенътъ и холода. Подводы впередъ и квартеры для ссыльныхъ готовилъ полковникъ — прости Господи! — Чёртовъ... Помню я его. Страшное этакое имя, а добрый былъ человъкъ. Къ кучеру покойной царицы хаживалъ. Для сбереженія Иванушки вельно ему было имъть при коляскъ нарочитаго солдата, а ребенка звать, —надо думать, въ напоминаніе о проклятомъ Гришкъ Отрепьевъ, — не иначе, какъ Григоріемъ, и, кого везеть, никому не объявлять, а

верхъ въ колискъ держать повсегда закрытымъ. Привхали путники къ Бълому морю... И хотя въ тайнъ отъ всъхъ держали тотъ отъвздъ, только слухи о немъ все-таки допым до Питера. Полковникъ Чёртовъ вдругъ, представь, тронулся умомъ, — Господень перстъ. А пока узнали о томъ и увезли его тоже куда-то, онъ, среди всякой пустоши, болталъ и о тъхъ несчастныхъ. Болъ, Васинька, ничего про нихъ не знаю. Таковъ-то нонъ свътъ: самый онъ измънчивый, линущій; тлёю вездъ пахнетъ... смертью..

Передавъ разсказъ Бавыкиной Ломоносову, Мировичъ, недълю спустя, улучилъ минуту и, будто мимоходомъ, спросилъ его, что потомъ произошло съ бъдными заключенными? — Изволь, разскажу, — ответиль Ломоносовь: — какъ сбянзился я съ фаворитомъ покойной государыни, съ Иваномъ Иванычемъ Шуваловымъ, сталъ этотъ юный вельможа, а мой патронъ и другь, взжать ко мив, на беседу о пользв наукъ и на уроки стихосложенія... Туть онъ иной разъ довъряль мив сказывать и о томъ, что слышаль о младенць-императорь... «Гдь они теперь?» — спросиль я разъ Ивана Иваныча. — «На твоей родинь, говорить, въ архіерейскомъ подворью, въ Холмогорахъ». — Такъ у меня, другь ты мой, сердце и замерло. — «А развъ не въ Соловкахъ?» — «Коммуникаціи, — отвічаеть, — по полугода съ берегомъ тамъ не бываеть, такъ боятся этакъ-то ноодаль держать... Да и ледъ съ осени помъщалъ тронуться въ Быое море».—«Какъ же они, спрашиваю, тамъ живуть?»— «Иванушку, объясняеть, порознь содержать оть родителей и сестерь... Внесли его, бъднаго, въ монастырскій дворь, закрытаго съ головой, чтобъ никто и не зналъ, гдъ и кого тамъ спрячуть?» — Тяжело стало здёсь заключеннымъ. Въ Раненбургъ, самъ понимаешь, всъ были вмъстъ, да и свободный жили, гуляли по рощь, по рыкь. А туть не только за ограду двора, — изъ комнатъ на крыльцо ихъ не выпускали. Надо, впрочемъ, правду сказать о доставитель арестантовъ, о баронъ Корфъ: онъ сильно заботился о сосланныхъ. Но его отозвали, а надзоръ за секретными персонами поручили капитану Миллеру. По веснъ принцесса родила второго сына, Петра, а черезъ годъ родила третьяго, Алексія, и оть тіхъ родовъ, на двадцать-восьномъ году жизни, кончилась. Тъло ся, по именному указу, было тайн

въ спиртъ привезено въ Петербургъ и съ церемоніей ногребено въ Александровской лавръ, рядомъ съ ея матерью, царевной Катериной Ивановной. Императрица, при похоронахъ, много плакала... Самъ я видълъ... Приставъ Миллеръ неотлучно находился при Иванушкъ, чтобъ онъ въ двери не ушель, либо оть рызвости вь окно не выскочиль. Высокая деревянная ограда окружала дворъ, церковь, прудъ и дома, гдв поселились несчастные. Ворота постоянно были заперты тяжелыми замками. Въ такомъ уединеніи, уныніи и скукъ приставъ Миллеръ, какъ и капитанъ Чертовъ, тоже было тронулся умомъ. Ему разръшили выписать и помъстить съ собой жену, но съ тъмъ, чтобъ и она, блюдя сепреть, въ принцевыхъ комнатахъ неисходна была... На десятомъ году Иванушка чуть не умеръ отъ повальной въ тьхъ мъстахъ какой-то злокачественной хворобы. На двънадцатомъ его разлучили съ Миллеромъ, коего наградили деревнями и перемъстили полковникомъ фузилернаго какого-то полка въ Казань. Передъ его вызадомъ изъ Холмогоръ, съ принцемъ одновременно произопли два весьма важныхъ событія...

- Какія?—спросиль Мировичь.
- А вотъ постой, стемийло, растопимъ каминъ... Леночка, обратился Ломоносовъ къ дочери, сидввшей туть: глянь-ка, открыта-ль труба? По словамъ однихъ, караульный солдать, а по уверенію другихъ, изъ жалости къ мальчику, жена Миллера сообщила Іоанну о его происхожденіи.
 - Что вы?—изумился Мировичъ.
- Отецъ принца, Антонъ Ульрихъ, до той поры, надо тебъ сказать, жилъ въ нъсколькихъ стахъ шагахъ отъ тюрьмы Иванушки и даже не подозръвалъ, въ какомъ небреженіи, за зеленъющими противъ его оконъ вербами огорода, томился и чахнулъ его сынъ... Тутъ онъ умолилъ, сказываютъ, жену Миллера, и та, передъ вытядомъ въ Казань, тайно съ мужемъ выучила принца молитвамъ и грамотъ... Послъ того Іоаннъ прожилъ въ Холмогорахъ еще нять лътъ... Чаша бъдствъ еще не была переполнена... На семнадцатомъ году злополучнаго принца перевезли въ Шлиссельбургскую кръпость...
 - Но по какой же причинъ перевезли принца въ Щлис-

сельбургъ? — спросилъ Мировичъ: — сколько теперь и въ корпусъ я ни допытывался о томъ, никто не объяснилъ.

Михайло Васпльовить затуманеннымъ взоромъ взглянулъ на него.

- Тоть же лукавый и гордый Берлинъ, тоть же безсердечный себялюбець Фридрихъ, загнавшій несчастныхъ въ ледяную могильную глушь, былъ тому причиной, а если хочешь, то и я самъ! сдавленнымъ, глухимъ голосомъ добавилъ Ломоносовъ, поднявъ и опять безсильно опустивъруки: да, государь мой, я въ томъ виноватъ, на мнъ гръхъ...
 - Что вы, Михайло Васильевичь, можеть ли это быть?
- Не удивляйся! Именно такъ; слушай теперь ужъ до конца... Дивны дъла твои, Господи... дивенъ перстъ Божій...

Нъсколько мгновеній Ломоносовъ, понурясь, молча гля-

- Года за три до того, или нътъ, постой, не такъ! началь онъ:-приходить разъ ко мнь въ лабораторію пребольшущій этакой, пустобородый, русь волосомъ и ражій изъ себя купчина... Зовется тобольскимъ посадскимъ, Иваномъ Зубаревымъ. Просить образцы сибирскихъ рудъ испробовать въ академической лабораторін. Подаль я о нихъ аниробацію. Думаль ли, что стрясется такое горе! Посль, представь, -- образцы оказались не изъ Сибири. А между тыть, онъ выспрашиваеть о Холмогорахъ. — Вы, говорить, оттоль родиной; такъ и такъ, моль, собираюсь туда торговать, коли казна не дастъ пособія на разработку рудь. — Я съ нимъ сталъ водить компанію. Ну, не безь того, что и въ герберги хаживали, по душћ толковали... Зашла рфчь и объ Иван' Автонычь. Сердце у меня всегда по немъ больло. Я, значить, то и другое ему о немь и высказаль. Слушаеть купчина, а самъ на усь могаеть. — «Воть бы, вдругь сказаль онъ:- выкрасть бывшаго императора. То-то пошель бы сполохъ...»
- Что жъ вы ему на то?—спросиль блідный, охваченный волненіемъ, Мировичъ.
- Привожу такіе и такіе статскіе и политическіе резоны, «Какой, говорю, можеть быть онъ государь? онъ одичаль, не учился». Какъ попался Зубаревь съ фальшивыми рудами, его въ сыскной приказъ. Но онъ оттуда далътяту. А черезъ годъ его поймали на посольской границѣ,

въ раскольничьихъ слободахъ, какъ шпіона прусскаго короля. Посяв ужъ я вспомниль, что онъ крестился двуперстно, быль раскольщикъ, да чуть ли къ тому и не скопецъ... Привезли его сначала въ Кіевъ съ бъглыми конокрадами, потомъ опять въ Петербургъ. Тутъ онъ, въ тайной канцеляріи, по довольному ув'вщанію, съ пристрастіемъ. ко всемъ Александру Ивановичу Шувалову и покаляся... что же оказалось?.. Изъ приказа онъ бъжаль, черезъ Стаполубъ, на Вытку, прямо въ раскольничій Лаврентьевъ моизстырь. — куда передъ темъ метилъ и укрывшій Иванушку монахъ-бытунъ, — а оттуда пробрался чрезъ Кролевенъ въ Верлинъ. Бывшій въ нашей службь, выходецъ Манштейнъ представилъ его королю Фридриху. Фридрихъ далъ ему чинъ нолковника своего регимента и посладъ его къ раскольникамъ. Тамъ, за объщание свободнаго выбора поповъ, онъ волженъ быль подготовить бунть въ пользу Іоанна и затыть фхать вы Архангельскъ, - куда къ весив быль снаряженть прусскій король, -- подкупить солдать и портомойку и похитить Ивана Антоныча въ Берлинъ... На дорогу Зубареву фридрихъ собственноручно далъ тысячу червонцевъ и при медали, съ портретами-своимъ и двда бывшаго императора. Во всемъ этомъ Зубаревъ сознался на допросв и вторично то же подтвердиль передъ смертью, на исповеди, иь тайной экспедиціи, гдв и умерь... Не защити меня фаворить государыни, быль бы и я на розыскв... Впрочемъ, епасло и то... о нашихъ рвчахъ про Холмогоры Зубаревъ пе сказалъ на розыскъ ни слова. Чуть онъ все объяснить. и Холмогоры поскакалъ сержанть лейбъ-кампаніи Савинъ. Онъ въ наглухо закрытой кареть секретно ночью и вывезъ оттуда принца Іоанна... А приставу, сторожившему принца, мумянии повельніе—никому не подавать ни мальйшаго вида вывозв арестанта, въ кабинетъ же рапортовать, что онъ, съ семьей, подъ его карауломъ находится, какъ и прежде, а за остальными наикрѣнчайше смотрѣть, чтобъ не учинили утечки. Савинъ доставилъ секретно Ивана Антоныча въ пилесельбургы по веснъ и всю дорогу отнюдь не сивлъ говорить, куда онъ его везеть и далеко ли будеть то оть столиць. Здёсь принцу Іоанну дали прозвище приставами надъ назначили какого-то прапорщика да сержанта... жить Шуваловь не мало удивлялся, что одинь изъ нихъ

судился за убійство на экзекуціи солдата и помиловань, съ переводомъ въ эту должность, а другого самого солдаты чуть не запороли, за жестокости,—такъ ихъ сквозь строй гоняли, а его въ крѣпость упрятали... Въ инструкціи приставамъ было сказано: кромѣ ихъ, въ казарму принца никому не ходить и его не видѣть; каковъ арестанть, старъ или молодъ, русскій или иностранецъ, никому не говорить; и въ нисьмахъ въ дома свои не упоминать, гдѣ сами они находятся и изъ котораго мѣста пишуть. Съ воцареніемъ новаго государя, въ прошломъ январѣ, главнымъ стражемъ надъпринцемъ назначили капитана гвардіи, князя Чурмантѣева...

- Вотъ случай! вотъ кстати!—радостно перебилъ Мирдвичъ. Ахъ, Боже мой! всв эти дни и думалъ-думалъ... представьте, вечеръ-то у Дрезденши... тамъ именно толковали... и Рубановскій пишетъ...
- Не радуйся, Василій Яковличь, не радуйся!—какъ бы не разслышавь его, продолжаль Ломоносовь:— помни одно, строгостей въ этомъ, думаю, отнюдь не убавили... Тамошнему коменданту давно данъ такой приказъ, чтобъ въ крѣпость, кто бы ни прівхаль, хотя бы генераль, или фельдмаршаль, или подобный имъ, никого не пускать. Но вотъ что еще ему добавили: что если и комнать его высочества, великаго князя Петра Федорыча, камердинерь въ крѣпость прівдеть, то и того камердинера не пускать, а объявить ему, что безъ указа тайной канцеляріи—не вельно. Много сатирствоваль надъ этой добавкой къ указу фаворить покойной государыни... И твхъ инструкцій не отмѣнили...
- Умереть—не понимаю!—сказаль Мировичь: изъ-за чего туть быль упомянуть великій князь?
- Упомянуть онъ быль здёсь не даромъ... Въ то времи наслёдникъ особенно враждоваль съ своей женой. А, разойдясь съ ней, по слёпотству къ прусскому королю, онъ чуть въ конецъ не разошелся и съ государыней-теткой. Императрица до глубины души была возмущена такимъ шиканствомъ и противностями своего племянника. Примирить его съ женой ей не удалось, даже для вида. А въ поклоненіяхъ Пруссіи онъ былъ до того продерзостенъ, что не вёрилъ побёдамъ русскихъ и даже сообщалъ Фридриху тайные иланы нашей арміи. Тогда-то одумавшійся канцлеръ Вестужевъ далъ Елизаветь совъть: выслать племянника обратно за гра-

ницу, а на его мЪсто, въ наслѣдники русскаго престола, призвать изъ заточенія Ивана Антоныча...

- Быть не можеть! произнесь, чуть не привскочивь, Мировичь:—опять на тронь этого узника? жельзную маску?...
- Върь мић, знаю это, какъ тебя вижу... Пять лътъ назадъ, — такъ кончу я печальную отповъдь, — государыня Елисаветъ-Петровна объявила желаніе тайно видъть принца Іоанна.
 - И видьта
- Одни говорять, что это свиданіе было вь дом' Шувалова, на Невскомъ, у стараго дворца; другіе же, что государыня, при пособіи канцлера Воронцова, виділась съ иринцемъ у Смольнаго, въ домъ бывшаго сепретаря тайной экспедиціи... Принца, подъ предлогомъ совета съ докторомъ, привезли на курьерскихъ къ ночи; рано утромъ онъ опять быль въ Шлиссельбургь. Одели его въ дорогу прилично. Петербургскій форштадть онъ приняль за слободу и не догадывался, съ къмъ, черезъ шестнадцать лътъ, ему пришлось снова встратиться... Елисаветь-Петровна на это свиданіе явилась въ мужскомъ платьв. Кроткій и важный видъ несчастнаго юноши глубоко ее тронулъ. Она взяла его за руку, несміло, подъ видомъ доктора, сділала ему дватри ласковыхъ вопроса. Но, когда ничего не знавийй принцъ взглянуль ей въ глаза и, въ отвъть ей, послышался его жалобный, раздиравшій душу голось, государыня вздрогнула, залилась слезами и, прошентавъ окружавшимъ: «голубь, иодстръленный голубы! не могу его видьты!» — увхала и божве его не видъла и о немъ не спрашивала... А на замыслы Фридриха освободить принца объявила: «ничего пе подкласть король; сунется, велю Иванушке голову отрубить ...

Ломоносовъ помъщать въ каминъ. Посыналось нъсколько искръ, но дрова, запылавшія вначать, понемногу угасли. Въ комнать окончательно стемнью. Столоы съвернаго сіянія сильнъй разыгрались, пышно мерцая голубыми и розовыми полосами сквозь вътви безлистыхъ, глядъвшихъ въ окно деревъ.

— Высылка за границу Петра Федоровича, — заключиль Ломоносовъ: — разумъется, была отмънена. Но великій князь дознался о секретной встръчъ тетки съ Иваномъ Антонычемъ. Опъ сильно сталъ опасаться этого тайнаго соперника и—странно сказать! —въ то же время, по природной добротъ,

всьмъ сердцемъ ему сострадалъ и сочувствовалъ. — Каковъ онъ. да гдв и какъ содержится? — допытываль во дворцв Петръ Оедорычъ встръчныхъ-поперечныхъ, распудренныхъ дворянчиковъ: — да что онъ говорилъ съ государыней, въ какомъ мъсть было рандеву и что между нихъ, при той конверсанцін, условлено? — Точныхъ ответовъ на это онъ ни отъ кого, разумъется, не добился, а только больше и больше сердиль безь того недовольную государыню... Такъ прошель годь и два, и целыхъ пять... Со смерти императрицы, всв снова забыли о принцв... И живеть онъ, двадцать-второй годь живеть вы застыкь, подъ замкомъ... И не видить, не слышить никого, кром'в своей стражи. И врядъ ли знаетъ онъ, живы ли его родители, что дълается на божьемъ свъть и гдь, на какомъ конць его былого царства находится его тюрьма... Что и говорить! царствовать онъ уже не можеть: куда о томь и думать!.. Да хоть бы на волю его, дать увидеть светь, умягчить сердце беднаго, умъ... Ахъ, если бъ теб'в удалось... побывать тамъ и узнать!.. только узнать... Да неужели-жъ не явится божьяго, сильнаго чуда, чтобъ избавить ни въ чемъ неповиннаго этого мученика?..

Ломоносовъ смолкъ. Въ темномъ углу, за шканомъ, послышался подавленный вздохъ. Кто-то незримый тамъ тихо дышалъ и будто плакалъ.— «Неужели? — суевърно, съ шевельнувшимися на головъ волосами, подумалъ Мировичъ, неужели духъ принца слетътъ и слушаетъ насъ?» — Ломоносовъ всталъ. За шканомъ была его Леночка. Онъ притянулъ ее къ себъ, осыналъ поцълуями.

[—] Да за что же, за что? — повторяла, дрожа и ломая руки, потрясенная разсказомъ отца, дѣвочка: — ахъ, скверные люди!.. Какіе они злые!.. Иди, папа, къ царю — проси за бѣднаго...

[—] Слышишь, Василій Яковлевичь? — произнесъ, прижиная дочь къ груди, Ломоносовъ: — слышишь?.. дъти вопіютъ!.. А они въдь увидять царствіе небесное!..

[—] Я повду въ Шлиссельбургъ, къ приставу Чурмантвеву!—сказалъ, отирая пылавшее лицо, Мировичъ:—что бы ни случилось, а я проникну туда; авось что-нибудь провъдаю и о бъдномъ, забытомъ всъми затворникъ... Генераловъ,

вонъ, даже фельдмаршаловь туда не пускають... ну, да по-

— Эхъ-ма, старъ становлюсь, а то бы и я съ тобою покатилъ, — произнесъ Ломоносовъ: — погоди, не отыщу ли какой-нибудь, подходящей тебъ въ ономъ любовномъ дълъ, протекціи...

Ломоносовъ не могь оказать пособія Мировичу. Выручиль последняго знакомець Григорія Орлова, князь Чурмантевь, къ которому тоть съ товарищами собирался, въ намятную кутежную ночь, донгрывать въ карты. Этоть Чурмантевъ быть отцомъ пристава шлиссельбургской тюрьмы. Мировичь добыль отъ него, черезъ Орлова, нисьмо къ его сыну Юрію Андреевичу, справить себъ на выигранныя деньги полное обмундированіе, по новому прусскому образцу, наняль чухонскую тройку и поёхаль въ Шлиссельбургь. Пріятель Ушаковъ оказаль ему при этомъ случать другую услугу, досталь ему рекомендацію къ коменданту Бередникову, съ племянникомъ котораго оба они служили въ последнюю прусскую войну.

Шестьдесять версть, берегомъ Невы, а потомъ лъсными, глухими проселками, мелькнули незамътно. Нъкоторыя свъдънія, переданныя камеръ-лакеемъ Касаткинымъ, сильно смутили Мировича. Тотъ, между прочимъ, сказалъ: «какъ было не уйти барышнъ? За нею здъсь такъ гонялись, что другая, не токма въ Шлюшинъ, на край свъта бы ушла»...

- Боюсь я за тебя, боюсь, толковала, провожая съ Ушаковымъ Мировича, все узнавшая отъ него Филатовна.
 - Но, чего вы, смѣшно право, боптесь?
- Да відь я жъ виділа, Василій, сказываю тебі, какъ полосовать катъ на Сытномъ рынкі,—за эвтаго за самаго, за Иванушку,— первую статсъ-даму, Наталью Лопухину, а съ нею писаную красавицу Анну Бестужеву... Ой, смертный страхъ и вспомнить!.. Билъ тройчаткой въ клочьи тіло, разсікалъ въ кровь спины, тянулъ клещей изо ртовъ, при всемъ народі, языки... Куда ідешь? опомнись...
- Вогъ съ вами, что вы, не бойтесь; не тв нынче времена, сказалъ Филатовнъ Ушаковъ: вернется съ носомивниымъ успъхомъ, свадебку сыграемъ...
- Тебв все свадьбы, шилохвость, блюдолизъ!—огрызнулась Бавыкина.

Была суббота въ концъ четвертой недъли великаго поста.

Мировичь все это хорошо помниль, такъ какъ отлучка изъ Петербурга ему была разръшена только до Пасхи, на первый день которой императоръ собирался перейти въ новый, оконченный постройкой зимній дворець, и всъмъ находившимся въ столицъ офицерамъ быль объявленъ приказъ: явиться въ тотъ день ко дворцу, на вахтиарадъ.

Отпустивъ чухонца, Мировичъ переночевалъ въ Шлиссельбургъ, на постояломъ, побродилъ по городу и по берегу Ладожскаго озера, а когда стало смеркаться и въ кръпостной церкви зазвонили къ вечернъ, онъ прошелъ по льду къ кръпости. Здъсь у воротъ Мировичъ объявилъ, что привезъ письмо коменданту и приставу Чурмантъеву. Его впустили въ кръпость. Онъ взглянулъ на церковъ. — «Спрошу когонибудь изъ богомольцевъ, какъ лучше пройти къ киязю?» подумалъ онъ, всходя на паперть. — Въ мягкомъ мглистомъ воздухъ еще морозило, но уже слышалась близость недалекой весны и тепла.

VII.

Въ Шлиссельбургъ.

Вечерня кончилась. Богомольцы стали выходить изтцеркви,—горожане—къ воротамъ, гарнизонные обыватели по разнымъ угламъ кръпости. Мировичъ обратился къ священнику.

- Письмо къ Юрію Андреевичу?—ласково спросиль его илотный, рябой и бёлолицый, съ темно-русой бородой, отецъ Исай:—отъ родителя, сударикъ, изволили доставить?
- Точно такъ-съ; комиссія отъ его отца—лично отдать. Священникъ пожевалъ губами, погладилъ пушистую бороду. Онъ былъ большой добрякъ, не лънтяй невообразимый; день-денской лежалъ у себя на диванчикъ, даже иной разъ, лежа, и пищу принималъ отъ столько же лънивой, добросердечной и располнъвшей дочери. А когда жилъ онъ въ селъ, до перевода въ кръпость, то ни плетня, ни канавъ не было у его двора, сарай много лътъ стоялъ безъ крыши, и лошаденки съ коровой пребывали на привязи на открытомъ воздухъ, либо мыкались по сосъднимъ дворамъ. Его и самого звали тамъ «попъ мытарь».
- Видите ди, какъ бы вамъ, то-есть,—въ раздумъв произнесъ отецъ Исай, косясь въ глубь двора: — князь нашъ

боленъ теперь, да и живеть онъ не здёсь, не съ нами сс всеми, а въ отдёльномъ домъ, за тою—вонъ видите—особок стенкой, за мостомъ... Эвось, макушечка-то... темной крыши макушечка... видно вамъ?

Отецъ Исай придержать рясу на правой рукћ, кашляпулъ и указалъ на башню поверхъ высокой ствны, замыкавшей особо-огражденное мъсто въ лъвомъ углу кръпостного двора.

— Какъ же быть?-произнесь Мировичъ.

- Да вамъ очень, тово... нужно?—спросилъ, поглядывал мягкими, сонными глазами въ лицо Мировича, священникъ.
- Еще бы... затъмъ и ъхалъ!.. издалека-съ!.. дъло нетерпящее... и съ племянникомъ коменданта въ походъ былъ... нельзя ли, батюшка, какъ-нибудь?
- Вотъ-вотъ... а въдь и не удастся, не удастся, пожалуй!—сказаль, опять задвигавъ губами, отецъ Исай:—и ворота скоро запруть... и все! оно, если хотите, вольготиве у насъ нынче стало... вотъ и я въ кръпости теперь, а не въ городъ живу... только все еще, ой, какъ строго!.. Изъ Питера прибыли?

— Изъ Питера...

— И будете недовольны! а-а? сколько ѣхали!.. Развѣ вотъ что-съ: заверните-ка сюда... Это вотъ, за комендантскими, мои келейки. Обождите; попробую, снесусь цидулочкой съ княземъ. У насъ съ нимъ частыя передачи. Его гувернёрка и моихъ подросточковъ въ бурсу теперича готовитъ; сойдутся—чистый пинцыонъ... Третій мъсяцъ ужъ этакъ-то живемъ; прежде не то было. Отслужилъ службу, да и за ворота въ Шлюшинъ... а теперь слободиће, при государѣ-то Петрѣ Өедоровичъ... пожалуйте-съ.

Священникъ провель Мпровича къ себъ, усадилъ его, а самъ вышелъ отправить объщанную цидулку къ Чурмантвеву.

— За письмомъ отъ князя пришли-съ, погодя, сказалъ онъ Мировичу.

Онъ отворилъ дверь въ боковую, внугреннюю горницу. Мировичъ вошелъ туда. Тамъ, лицомъ къ окну, залитому блескомъ заходящей зари, стоялъ княжескій посолъ. Мировичъ вздрогнулъ, попятился: передъ нимъ была Поликсена.

Отеңъ Исай увидълъ, какъ офицеръ и дъвушка смъщались, какъ въ лицахъ ихъ изобразилось недоумъніе и радость, и какъ первый—горячо, вторая—растерянно протянули другь другу руки и нъсколько мгновеній молчали, глядя

другь на друга.

«Воть оно что! влюбленныя, сирвчь, пташки! тайная встовча! — подумаль священникь, отступивь за порогь и притворяя за собою дверь, — чего не бываеть! и въ нашей трущобъ свъть жизни взойдеть: Реввеку открывый, Исааку уневъстивый... Исаійя, ликуй!»

- Какими судьбами? вотъ нежданно!—вся вспыхнувъ и чрезъ мгновеніе поблёднёвъ, произнесла Пчёлкина, въ загорёломъ, сдержанномъ и мужественно-погрубевшемъ воинъ узнавая черты когда-то застёнчиваго, робкаго и до глупости влюбленнаго въ нее кадета:—откуда Богъ принесъ?
- Изъ армін, васъ видіть жаждаль! отвітиль Мировичь: все бросиль, службу...
 - Узнали?
 - Васъ-то?

Мировичъ не сводилъ тихо радостныхъ, сыпавшихъ искры глазъ съ Поликсены. Она, опустивъ руки и, по привычкъ, слегка склонивъ голову, въ полъ-оборота, съ улыбкой, какъ бы что-то обдумывая, глядъла на него.

- Нъть больше вашей пастушки,—сказала она, путливо хмуря брови:—не та, не та... не правда ли? Унесло время... Зачъмъ прівхали?
- Все въ васъ то же, полноте! не измѣнились вы!—отвѣтилъ Мировичъ:—я только не выполнилъ завѣта... Не сталъ ни знатнѣй, ни богаче. Только васъ зато, видите, не забылъ... чуть вырвался, пріѣхалъ. Отчего вы не писали? отчего вдругъ замолкли? Или еще больше помучить хотѣли?

Поликсена усадила гости рядомъ съ собой, еще разъвзглянула на него, ласково улыбнулась. Онъ сообщилъ ей о письмахъ къ Чурмантъеву и къ коменданту Бередникову.

- Воть какъ устроиль, —заключиль онъ.
- Ну, можно ли,—сказаль она:—какое дётство! изъ-за меня ёхать, бросать дёло. Стоило ли того! А сколько событій съ нашей разлуки, сколько перемёнъ!
- Вы такъ исчезли, скрылись, продолжаль Мировичъ: что и слъдъ вашъ замело. Върите ли, ужъ отчаявался, насилу васъ отыскалъ.
- А что здёсь дёлается, что здёсь!—сказала Поликсена, указывая въ окно на мрачныя, внизу стемнёвшія, вверху кос-гдё еще освёщенныя зарей стёны крёпости:—слышали?...

И какъ васъ пропустили, какъ вы рышились явиться сюда?

— Есін бъ вы были на днв моря, въ могилв, я бросился бы къ вамъ... Скажите, я кое-что слышать... кто васъ преслъдовать. Назовите его... Оть кого вы скрылись?

— Здёсь могила, —ответила Пчёлкина: —и знаете ли, с іы-

шали, кто здъсь заключенъ?

— Знаю.

- Навъки, въдь, съ дътства, —продолжала Поликсена: ребенкомъ запертъ въ четыре стъны, —безъ воздуха, свъта, безъ живого людского слова, а онъ теперь ужъ не дитя, человъкъ!
- Да, произнесъ Мировичъ: слышалъ я, не върилось;
 не приведи Господъ никому другому.

Внезапная мысль мелькнула въ голов'в Поликсены. «Отваженъ, смъть, —подумала она, —попытаться?..»

- Вы хотьли видьть Юрія Андренча?—спросила она:— зачьмь?..
- Никого! васъ однъхъ хотълъ я видъть, васъ! прошепталъ Мировичъ: — князь только предлогъ...

— И съ племянникомъ коменданта были въ походъ?

— При мив онъ быль раненъ, подъ Берлиномъ, въ отрядв Хорвата, при бомбардировкв Галльскихъ воротъ. Я съ товарищемъ Ушаковымъ былъ и на его похоронахъ.

— Давайте, давайте скорве письма! — сказала, заторопившись, Поликсена: —приходите завтра. Сегодня ужъ поздно. Князь боленъ; но съ оглядкой, помните, къ намъ надо идти... Будьте остороживи... Есть на то особая причина.

— Какая?

- Юрій Анренчъ заболѣлъ, отвѣтила Пчёлкина, помедливъ: недѣли двѣ назадъ, онъ сильно потревожился, испугался, какъ загорѣлось ночью въ казармѣ той персоны. Труба, что ли, въ печкѣ лопнула, затлѣлась перегородка, а тамъ и дверь.
 - Что-жъ, спасли узника?
- Спасли, но князь свихнуль себ'в ногу, какъ выб'вжалъ на морозную л'встницу ночью, съ просонковъ. Вс'в, въ этомъ переполох'в, потеряли головы. Казематъ починяютъ теперь, передълываютъ.
 - А куда же діли, на время перестройки, принца?
 Ичёлкина опять замолчала, прислушалась.
 - Иска стали передалывать печь и чинить дверь, князь,

видите ли, — открою вамъ по секрету: — перевель принца въ свое помъщение.

— Какъ? онъ и теперь у Чурмантвева?

- Ну, да... у него... Никому князь не довъряетъ... Только, ради Бога, молчите про это. Никому не скажете? даете слово?
- И вы видёли принца? видёли?—спросиль, задыхаясь, Мировичь.
 - «Какъ ему отвътить? что сказать?» подумала Пчёлкина.
- Да... то-есть, нътъ, отвътила она: разумъется, не видъла... видъть нельзя... Но если бы и случилось, вамъ что изъ того?
 - Какъ? принца Іоанна? при такихъ строгостяхъ?
- Да, было бы чудо, не правда ли?—произнесла Пчёлкина:—коменданть, всёмъ извёстно, строгій-престрогій, одна форма, машина, и не допустиль бы принца перейти къкнязю. Только самъ онъ, понимаете ли, виненъ въ этой печи; ну, и боится, что чуть не удушили принца... Не заслышь караульный дыма изъ сёней,—все бы пропало... Теперь же молчить главный начальникъ, молчать и остальные.
 - Чъмъ же тутъ виновать Бередниковъ?
- Князь и его помощники неоднова репортовали коменданту, что нужны починки въ томъ помещении, пророчили обду... По статуту, князь тоже долженъ былъ донести въ Питеръ, что комендантъ его не слушаетъ; и его, стало, есть доля отвёта въ этомъ.
 - Гдѣ-жъ помѣщается у князя принцъ?
- Нашего дома отсюда не видно, отвътила Поликсена:—онъ въ два этажа, въ томъ вонъ дворъ, за стъной. Вверху мы помъщаемся, внизу караульные. У насъ семъ комнатъ... Принцъ... ахъ, нътъ... даете ли слово молчатъ?
 - Клянусь...
- Принцъ запертъ въ дальней, подъ замкомъ; тамъ и окно съ рѣшеткой. Одинъ ходъ отъ арестанта къ намъ, другой наружу, къ кухнъ, гдъ часовой. Съ той стороны комнату ему чистятъ; отъ насъ носятъ пищу. И ключи отъ дверей у князя.
 - Кто-жъ носить пищу принцу?
 - Самъ князь, отвътила, подумавъ, Поликсена.
- Но онъ боленъ, вы говорите; какъ онъ можетъ прислуживать?

Глаза Пчёлкиной сверкнули досадой.

- Самъ, говорю, черезъ силу подаетъ, кому-же больше?
 отвътила она недовольно:
 хоть трудно, однако, другихъ не пускаетъ.
 - А помощники князя? ихъ, слышно, двое...
- Да... но принцъ давно не выносить ихъ присутствія. Больно ужь они его обижали, при прежнихъ старшихъ приставахъ. Знаете, какія строгости предписаны? Буде кто отважился бы освобождать арестанта, живого въ руки не вельно его отдавать... А за непорядки и противности приставу, дозволено сажать его на цъпь, пока не усмирится, а то бить палкою и плетью.
 - --- Страшно! сказаль Мировичь.
- Уходите, Василій Яковличь, до-завтра. Но, ради всего святого, о слышанномь оть меня ни слова. Еще наговоримся... И, можеть-быть, вы... или кто другой... мало ли... впрочемь, это послѣ... Да воть еще, не забудьте попросить князя и Бередникова о разрышенін вамъ и впредь видыться... До свиданія.

Мировичъ припаль къ протянутой ему рукъ.

«Ну, цѣлуются! — подумаль подошедшій вь то время къ двери отець Исай, — дѣло идеть на ладъ... На Өоминой, пожалуй, и свадьбу сыграемъ... Воть они, новыя-то времена!.. Уневъстивый Исааку, открывый Реввеку»...

На утро Мировичъ явился къ князю Чурмантвеву. Онъ не показалъ вида, что знаетъ, какая особа теперь гостила у него. Подготовленный Пчёлкиной, больной, — хотя и былъ въ постели, — принялъ Мировича отменно-ласково. Онъ сказалъ, что ушибъ ногу на ледяной горке, устроенной о масляной для его девочекъ. Благодарилъ Мировича за вести объ отще и долго его разспрашивалъ о племяннике коменданта.

— Радъ будетъ старикъ услышать отъ васъ... А пока вотъ наша общая опекунша и утвшительница, — сказалъ Чурмантвевъ, обратясь къ Пчёлкиной: — и сиротъ, моихъ дъвочекъ, досматриваетъ, и меня больного. Только недолго теперъ видно, быть ей съ нами! Улетитъ съра утушка за сизымъ селезнемъ, —прибавилъ князъ, подмигивая гостю.

Подиксена его не слушала. Мысли ен были далеко.

«И здъсь, чародъйка, всъхъ плънила и обворожила!» жно подумалъ Мировичъ. Онъ всталь и обратился къ приставу съ просъбой о дозволеніи продолжать ему визиты. Чурмантьевъ потеръ переносицу.

- А коменданть? сказаль онъ въ раздумьв: развъ воть что, сударь,—не играете ли въ шахматы? Нашъ старикъ великій охотникъ.
- Игрываль, да ужъ давно, отвътилъ Мировичъ: развъ для развлеченія.
- И отлично, снесемся, —рёшилъ приставъ: —зайдите къ нашему шефу, окажите решпектъ. Не снимутъ, чай, головы за то, что женихъ... извините, что такъ говорю... ну, влюбленный Адонисъ станетъ къ своей Филомелъ каживатъ, котъ бы и въ такой, прости Господи, гробовой трущобъ, какъ наша... Не тъ времена... У меня не дозволитъ видъться, у него самого просите встръчаться...

Въ качествъ искателя руки Поликсены, хотя и непомольденнаго съ ней, Мировичу были разръшены посъщенія кръпости. Коменданть приняль его холоднье и суще, чъмъ Чурмантьевъ. Но, когда въ слъдующій вечеръ Мировичъ проиграль ему нъсколько новенькихъ рублей, съ портретомъ Петра Третьяго, дъло и туть устроилось.

- Юрій Андреичъ просить за васъ,—сказаль съ важностью Бередниковъ: любовные, сударь, резоны извинительны. А просить, то пусть за васъ и отвъчаеть. Не крадете, впрочемъ, невъсту, сама идеть за васъ... Приходя къ князю, не забывайте и насъ.
- А что, государынька, теперь, небось, и веселье стали, спросиль Чурмантьевы Поликсену: — эхъ-эхъ, опоздаль я... Дай вамы Богь, дай... Я же, паче всего, теперь надыось на вашу скромность... съ молодымы человыкомы о чувствахы можете, а о прочемы-съ ни гу-гу. Понимаете?

Пчёлкина всёми святыми клялась не выдавать тайны. Она, между тёмъ, была далеко не по себъ: провела безъ сна нъсколько ночей, плакала и томилась, не помня себя.

Гарнизонъ къ Мировичу вскоръ приглядълся. Часовые у вороть кръпости и у входа въ особый дворъ, гдъ помъщался главный приставъ, пропускали его безпрепятственно. Василій Яковличь заходиль къ коменданту, бесъдовалъ съ нимъ, игралъ въ шахматы, потомъ къ Чурмантъеву, и оставался у послъдняго неръдко до поздняго вечера. Въ разговорахъ съ Поликсеной и съ княземъ, онъ съ невольнымъ трепетомъ приглядывался къ стънамъ, прислушивался къ

мирной домашней хлопотив, не мелькиеть ли хоть ивкое ввяніе того, кто, какъ онъ зналь, быль гдв-то въ одной изъ этихъ самыхъ комнатъ, подъ одною съ нимъ кровлей, дышаль однимъ съ нимъ воздухомъ.

Ничего не примъчалось. Стъны были нъмы, либо оглащались смъхомъ и бъганьемъ дъвочекъ Чурмантъева, комнаты которыхъ были, какъ угадывалъ Мировичъ, смежны съ временной тюрьмой узника. Онъ даже разглядълъ въ глубинъ дътскихъ нокоевъ перегородку съ наглухо запертою дверью. За цею, очевидно, и былъ ходъ къ арестанту.

Поликсена, въ хорошую погоду, брала своихъ питомицъ и, въ сопровожденіи Мировича, выходила съ ними въ церковный садъ, либо за стѣны крѣпости. Дѣвочки рѣзвились, играли. Мировичъ велъ нескончаемыя рѣчи о прошломъ, о корпусѣ, о походѣ, строилъ планы о будущемъ, перебиралъ въ умѣ, какъ и когда ему приступитъ къ концу, просить о помолвкѣ и о назначеніи срока свадьбы. Поликсена слушала его съ раздраженіемъ, съ тайною болью въ сердцѣ. Еѣ было и жаль его, и досадно, жутво думать, что не тѣмъ были заняты ея мысли. «А тотъ бѣднясъ, тотъ застѣнщикъ, сидитъ и нисто о немъ не помышляетъ!» — говорила она себѣ, разсѣянно внимая рѣчамъ Мировича.

Было решено: едва Чурмантевь переведеть въ прежнее помещение ввереннаго ему затворника и оправится въ своемъ здоровъе, Поликсена уедеть въ Петербургъ, остановится у Птицыныхъ и оттуда на свое место, къ детямъ Чурмантева, вышлеть другую ияню.

- A тогда и свадьба, не правда ли? спрашиваль, вглядываясь въ нее, Мировичъ.
- Не уйдеть отъ насъ, отвічала она: больше ждали, еще подождемъ... Не въ томъ діло. Ахъ, поймите же, не въ томъ...
 - Да въ чемъ же? спрашивалъ Мировичъ.
 - Испытать васъ хочу, что вы за человъкъ...
 - Пытайте, налагайте искусь, да тяжелье, поскорый.
- Нътъ, о, нътъ! въ другой разъ... время идетъ, будъте готовы...
 - Когда же?
 - Увидите; будьте только готовы...
 - «Что у нея на умъ?» терялся въ догадкахъ Мировичъ. Чурмантъевъ обратился къ Пчёлкиной съ просъбой.

— Вы отходите отъ насъ, — сказаль онъ ей наединв: — что двлать. Судьбы законъ! помоги вамъ Богъ. Но, пока вы здвсь, мнв котвлось бы, чтобъ мой дввочки при васъ отговъли, а чтобъ ихъ шалости и бытотни въ конецъ не десаждали принцу, начните, Поликсена Ивановна, хоть нынче.

Пчёлкина стала водить своихъ воспитанницъ утромъ и вечеромъ въ церковъ.

Мировичь, въ ея отсутствіе, не удалялся отъ ширмы, за которою лежаль въ постели больной Чурмантьевъ. Онъ разсказываль князю о видънномъ и слышанномъ въ чужихъ кранхъ, перевязываль ему больную ногу, подаваль лъкарства, а когда Чурмантьевъ въ томившей его лихорадкъ страдаль безсонницей, читалъ ему любимую книгу покойной жены князя, купленный ею гамбургскій переводъ на нъмецкій языкъ «Робинзона Крузе».

Разъ, — то было на второй неделе пребыванія Мировича въ Шлиссельбурге, — пришеле онъ, по просьбе Чурмантесва, передъ вечеромъ, изъ города въ крепость. Пчёлкина напоила больного и гостя сбитнемъ, взяла изъ-подъ подушки князи связку ключей, куда-то отнесла закрытый, съ закуской, подносъ, щелкнула въ дальней комнате ключомъ, помедлила, снова возвратилась и, положивъ ключи обратно подъ подушку князя, ушла съ девочками въ церковь. Тамъ после всенощной, оне и ихъ старуха-нянька должны были въ тотъ вечеръ исповедываться. Чурмантесвъ остался съ гостемъ, къ которому за это времи онъ невольно привязался.

Мировичь раскрыль «Робинзона», прочеть съ десятокъдругой страниць, и когда дошель до того мъста, гдъ Робинзонъ отъ людовдовъ спасаеть отца Пятницы, — изъ-за
ширмы больного раздался тихій, а потомъ болье и болье
явственный храшъ. Мучимый долгою безсоницей, Чурмантьевъ на этотъ разъ крышко и сладко заснулъ. «Ну, пустъ
себъ спить!» — рышиль, понижая голосъ, Мировичъ. Онъ
закрылъ книгу, свычку перенесъ на другой бокъ ширмы,
самъ плотнъе пригнъздился въ кресль, задумался и тоже
сталъ дремать. «Кризисъ бользни, — мыслилъ онъ, — скоро
встанетъ... Но какой искусъ на меня хочетъ наложить
Поликсена? Куда ея мысли глядятъ? Себя не пожалью, а
ужъ все, что скажетъ, сдълаю...»

Долго ли, нётъ ли, сидёлъ такъ, разсуждалъ и дремалъ Мировичъ, онъ этого не помнилъ. Но вдругъ онъ очнулся и сталъ прислушиваться.

Ему гдв-то, въ дальнихъ комнатахъ, явственно послышался скрипъ перегородки или двери и легкій шорохъ шаговъ. Точно какъ бы кто двинулъ мебелью, пошелъ и остановился. Сперва онъ подумалъ, что ему такъ померещилесь, а потомъ, что звуки тъ шли снаружи; съ крыльца, — изъ нижняго яруса дома... Шорохъ шаговъ затихъ, но опять возобновился. — «Няня, видно, — подумалъ Мировичъ, — прошла мимо меня, постлала дътямъ постеди и теперь идетъ во-свояси... Такъ нътъ, и она отправилась ко всенощной...»

Дверь изъ ближайшей комнаты медленно, беззвучно полуоткрылась. На ея порогъ обозначилась фигура человъка. Мировичъ прикрылъ глаза ладонью, взглянулъ отъ ширмы на эту фигуру и остолбенълъ. Волосы невольно шевельнулись на его головъ...

Въ дверяхъ, со свъчей въ исхудалси бледной рукъ, стоиз з сухощавый, футовъ шести ростомъ, съ длиннымъ прямымъ носомъ и выдающейся большою нижнею челюстью, молодой человъкъ. У него были большіе свътло-голубые глаза, каштановая, чуть пробивавшаяся клиномъ бородка и длинные, какъ у монаха, до плечъ спадавшіе білокурые пушистые волосы. На немъ были-старая, заношенная, на-распашку, матросская куртка, грубая, бълая посконная рубаха, синіе, холщевые, полосатые шаравары и на босу ногу башмаки. Поразительно бълый и нъжный цвъть его лица показываль, что солице никогда не роняеть на него своихъ лучей. Видъ его быль, какь у ивкоторыхь схимниковь-постниковь, важно величавый и вмъсть кроткій. Блуждающій, робкій и пытливый, какъ у дикаря, взглядъ быль напряженно устремленъ впередъ. Полуотврытыя, детски - недоумевающія, бледныя губы что-то шептали. Завидя незнакомаго офицера, онъ нъсколько мгновеній помедлиль, отступиль обратно въ сосъднюю комнату и продолжаль оттуда пристально, несмъло смотрать.

«Неужели? — молніей проб'яжало въ голов' Мировича: неужели это она, царственный узникъ,—она—двадцать л'ять томящійся въ тюрьм'в подъ замкомъ? И какъ онъ вышель? непостижимо! отомкнулъ, взломаль задвижку? Перел'язь черезъ перегородку? или Поликсена, второпяхъ, забыла запереть дверь?»

— Подойдите! — раздался тихій, странно звенящій, разлиравцій лушу, полотъ: — о, умодяр! госполинъ офицеръ, сюда...

диравшій душу, шопоть:—о, умоляю! господинь офицерь, сюда...
Мировичь подумаль: «Поликсена!.. ей, бъдной, придется отвътить за все!» — взглянуль на спящаго Чурмантъева, быстро всталь и, не помня себя оть смущенія и страха, на цыпочкахъ шагнуль въ раскрытую дверь.

— Я духъ! безплотный! — шепталь, озираясь, узинкъ:—

святой Григорій, -- не бойтесь...

Сказалъ и замолчалъ, вглядываясь въ Мировича.

- Я душа принца Іоанна,—продолжаль онъ:—меня въ заперти... о! спасите! гдъ та ласковая?..
- Кто ваше... величество? не спуская съ него глазъ, проговорилъ Мировичъ.
- Та... женщина... тоненькая, не знаю, какъ звать... святая Евфразія...
- «Бредитъ... или сошелъ съ ума! пробъжало въ мысляхъ Мировича, и какъ заикается, едва его разберешь, родная, знать, черта въ его фамили...»

— Какая Евфразія? — спросиль, не двигаясь съ м'еста,

Мировичъ.

— Да дъвушка та... золотые волосы... пахнутъ ладаномъ, что ли... няня при дътяхъ этого!.. позови ее, батюшка-офицеръ...

Мировичъ молча глядълъ на колодника.

— Какого вы чина, извините, несвъдомъ, — продолжалъ, жалко торопись и заикаясь, узникъ: — ска иътъ, всё такіе сны... все ей, все, когда вырвусь отсель...

«Что слышу, влюбился въ Поликсену! — замирая отъ новаго страха, подумалъ Мировичъ, — такъ вотъ что... она проникала къ нему и скрыла отъ меня...»

- Ея ивтъ... что вамъ угодно?
- Она новую книжку объщала, книжечку... листки...
- Какую?

Принцъ медлилъ отвътомъ. Недовъріе, боязнь изобразились въ его лицъ.

- Не бойтесь, продолжаль Мировичь: какія книги она вамъ приносила? Можеть и я достану... ей передамъ...
 - Л'втописецъ краткій... родословіе царей... опять же...

Арестанть остановился опять, боязливо поглядывая на незнакомца.

«Неужели книги Ломоносова? — подумаль Мировичь, воть судьба--ожидаль ли того Михайло Васильичь?».

— Про царей тамъ, —продолжалъ узникъ: —про Петра и его брата, моего прадъда, царя Ивана...

Волненіе болье и болье охватывало Мировича.

- Я вамъ все, какія угодно, -сказаль онъ.
- Въ Маргаритъ Златоустаго сказано, какъ погубяли престителя Іоанна... Я ведь, сударь, тоже Іоаннъ и меня Иродіада съ Фридрихомъ со света гонитъ...
- Какая Иродіада? Читали вы про законную? читали?—спросиль, съ силой ухватя за руку Мировича, узникъ:—о! паки Иродіады бъ-сится и плящеть, требуеть главы!

Арестанть замодчаль. Глаза его сверкали бышенствомь, ужасомъ и отчаяніемъ. Губы судорожно вздрагивали.

- Скажите, —вдругь произнесъ онъ, улыбнувшись: —върно рыжей-то нъть ужъ на свъть?
 - Koro?
- Да Петровны, сударь... царицы Лизаветы! продолжаль онъ:--не единь убо звърь подобень женъ злъй... Змън и аспиды въ пустынъ убоящася; Иродіада же на объдъ его усъчъ.

Далће трудно было разобрать арестанта. Глаза его были широко раскрыты, губы, покрытыя пеной, шептали безсвазныя слова.

- Государыня скончалась, ответиль Мировичь: и притомъ, сударь, это была великаго сердца монархиня.
- Такъ померла? Иродіады нізть болі на світі: чуть не выронивъ свъчи, вскрикнулъ арестантъ.

Грудь его тяжело, порывисто дышала. Онъ не спускаль глазъ съ Мировича.

- Кто-жъ нонъ въ моемъ дворць? спросиль Иванушка.
- Новый государь.
- Кто?
- Петръ Өедорычъ.
- Такъ... Вольный быдго стало. Добрый онъ? Будеть прибавка провизіи? или останется два полтивы на обадъ и на все?
 - Неть сомнения, о вась вспомнять. сказаль Мировичь.

- Мучители, подло, продолжалъ затворникъ: нътъ сердца у женъ... Никого же, безстудная, щадитъ, ни левиты стыдится... ни священника чтитъ...
- Откройте, прибавиль онъ, помодчавъ и съ трудомъ подыскивая слова: — какой онъ изъ себя, этотъ новый царь?

Мировичь вынуль изъ кармана и подаль принцу новый рублевикъ, съ портретомъ Петря Оедорыча. Тотъ жадно схватиль его, поднесъ къ свъчв и долго пристально на него смотрълъ.

- Силы, силы Давида! шенталъ Иванушка, путаясь въ словахъ и задыхаясь: слышите убо людіе, виждь Господи... невиненъ погребенъ...
- Мировичъ онять не разобрадъ нъкоторыхъ словъ прица.
 Ваше благородіе, вы не здышній, помогите! вдругъ обратился къ нему узникъ.
 - . Въ чемъ, государь?
- Уйти отсюда можно... по галлерев, въ окно, зашепталъ арестантъ:—пилку мив, пилку, рышетка, катеръ на озерв... на берегу-бъ лошадей... Лъсомъ, горами!.. горы за озеромъ видны...
- Сударь! мий васъ жаль, воть какъ жаль! душимый слезами, проговориль Мировичь: но я присягаль императору Петру Оедорычу... измённикомъ быть не желаю...
- Вы читаете, върно умъете и писать, продолжалъ Мировичъ: напишите вашему дядъ-императору. Голову отсъкутъ, а ужъ я ему ваше письмо доставлю. И если когда-нибудь, сорвалось вдругъ отъ сердца у Мировича: если вы и послъ того будете также несчастны и угнетаемы, дайте миъ знатъ... я явлюсь въ вамъ... положу за васъ жизнь...

Принцъ Іоаннъ, съ удивленіемъ и дътскою радостью, глядя на Мировича, робко протянулъ ему руку, тронулъ его за плечо.

- Спасибо, прошепталъ онъ: они подло, а за васъ мелиться буду...
- Черниль и пера не достанете, продолжаль Мировичь, вынувь записную книжку: воть вамъ клочокъ бумаги и карандашъ... Выбросьте цидулку въ окно, въ форточку... Все откровенно изложите государю... Онъ добрый; лично не отзовется, вспомнить черезъ другихъ... Умъете писать? два слова!..
- --- Мировичъ не кончилъ. Сзади его послышался заглушен-

ный возгласъ, торошивые шаги. Онъ оглянулся: то была Поликсена.

— Безумцы! что вы надълали? скоръе, скоръй! — проговорила она, схвативъ за руку принца и увлекая его обратно въ его комнату: — спъщите; дъти раздъваются, войдуть съда съ няней, и мы пропали...

Черезъ мгновеніе дверь Іоанна Антоновича была опять замкнута на задвижку. Пчёлкина бережно, мимо спящаго Чурмантьева, вывела Мировича на крыльцо, возвратилась къ ширмъ, вновь убъдилась, что больной еще не просыпался, взяла у него изъ-подъ подушки ключи, заперла дверь къ принцу на замокъ, уложила дътей спать, погасила свъчу и, горько, нервически рыдая, упала лицомъ въ подушку.

Въ слъдующее утро Меровичь явился къ Чурмантъеву насмурный, терзаемый ревностью, сомивніями, догадками. — «Такъ воть въ чемъ діло! — разсуждать онъ, — но какая причина заставила ее утаить отъ меня правду? Что у нея на умъ? Та же саганинская гордость, безуміе? Или сульба несчастнаго такъ ее тронула, потрясла, что она сама невольно стала къ нему неравнодушна? Мудренаго ніть, — сколько было примъровъ, —жены, дочери тюремщиковъ влюблялись въ заключенныхъ... отдавались имъ, біжали, или гибли съ ними...»

- Такъ вы видълись съ узникомъ? угрюмо спросилъ Мировичъ Поликсену.
- Видълась... Ну, и что-жъ изъ того? Надо было помочь князю. Никому не обязана отчетомъ...
 - Но зачемъ же вы скрыли отъ меня? Ужли не доверяли?
- Ахъ, полноте... какое дѣтство!.. Дѣло ясно... Неужто не догадались? Не моя вѣдь это тайна... А досталась она вамъ, мимо меня, берегите ее свято... Шутить съ огнемъ опасно. Знаете, чѣмъ грозить здѣшній статуть? Вы же при томъ военный; съ васъ взыщется строже.
- Знаю, знаю, а вы все-таки не довърнии миъ! Это обидно... Чъмъ я заслужилъ?... Я ли не вызывался выцолнить всякій вашъ искусъ, наказъ?

Поликсена пересилна себя. Ласковой кошечкой проникла она къ Мировичу, ваяла его за руку, взглянула ему въ глаза съ довърчивой дътской улыбкой.

— 0! много еще испытаній впереди! — сказала она: — другь мой... вы не знасте меня! Жизнь передъ вами цълая,—

мало ли... все еще, всего можно ждать... А онъ-то, онъ! въ томъ же заточени, въ той же могиль въдь останстся... и никто, никто не придеть ему на помощь, не облегчить его судьбы.

Искреннія слезы хлынули и не дали кончить Поликсенъ... Она плакала, не отрывая головы оть плеча Мировича и какъ бы не чувствуя, какъ тоть осыпаль эту полную загадокъ, гордую и чуткую къ бъдствіямъ ближняго, голову жаркими, давно сдержанными поцълуями.

Къ концу пятой недвли поста, казематъ Іоанна Антоновича быль эправленъ. Нога Чурмантъева также настолько поджила, что онъ могъ подняться безъ костылей, и ночью, подъ своимъ надзоромъ, перевелъ арестанта Безыменнаго въ его прежнюю казарму, въ среднемъ этажъ Свътличной башни.

Мировичь торопиль Поликсену къ отъваду, а самъ съ сердитой тревогой поглядываль на окна башни и все поджидаль, не выкинеть ли принцъ Іоаннъ въ форточку, или не перешлеть ли ему какимъ-либо способомъ письмо къ государю? Ему вспоминалось, какъ онъ когда-то спасъ утопавщую, слабую собаченку. «Спасу и его» — повторяль онъ себъ.

Прошло еще нъсколько дней. Форточка въ казематъ арестанта была на-глухо заперта и никто письма отъ него Мировичу не приносилъ. Попытался-было Василій Яковлевичъ спросить Поликсену, была ли она при переводъ принца отъ Чурмантъева и въ какомъ настроеніи оказался при этомъ узникъ, что говорилъ и на кого и на что надъялся? Поликсена жаловалась, что арестанта перемъстили въ ночное время и въ такомъ секретъ, что она о томъ узнала лишъ на другой день.

Отъйздъ Пчёлкиной въ Петербургъ былъ условленъ въ конци страстной недили. Въ исходи пятой, она пригласила Мировича на совъщание къ священнику. Они остались влюемъ.

— Виновата я передъ вами, Василій Яковлевичъ, — сказала она, въ смущенін опустивъ голову: — столько заставляла васъ тревожиться, ждать; объявляла, простите, — въ то время, — невозможныя дётскія условія. Теперь я вижу все ясно... Я васъ оцінила, я вірю вамъ...

Мировича подхватили эти слова, унесли въ седьмое небо. Его бросало то въ холодъ, то въ жаръ. Онъ жадно слушалъ.

- Но я забыла, продолжала, еще ниже склонясь инцомь, Поликсена: — скажу вамъ откровенно... я упустала изъвиду главное, именно, свои собственныя къ вамъ обязанности. Если бъ случилось... ну, положимъ, если бъ все было кончено... скажите, что принесу я вамъ сама? Въдъ я сирота, — чай, знаете, безъ роду, безъ племени... Я бъдна... притомъ мон привычки, мой несдержанный, строптивый правъ...
- Не думайте о томъ, скажите слово, будьте моею, и ничего намъ больше не надо...
- Нъть, нъть! не говорите такъ... Я отъ васъ тогда въ шутку требовала; теперь, не шутя, требую того же отъ себя... Жизнь въдь это териистый путь; я узнала... Слу-шайте.

Она обернулась, подскла ближе къ Мировичу.

— Я выросла при дворъ, —продолжала она: — сколько лътъ служила покойной государынъ. И мною были довольны. Не оставять меня и теперь, авось, непричемъ. Такъ вотъ что я придумала, — вотъ мое ръшеніе... Довъряю вамъ эту мою тайну.

Она остановилась, подумала.

— Повзжайте въ Петербургъ немедленно, завтра, даже сегодня и отпустите въ ящикъ, что у дворца, вотъ это мос письмо.

Поликсена вынула изъ-подъ лифа запечатанный и обернутый въ бумагу пакеть.

- На имя государя? удивился, взглянувъ на надинсь, Мировичъ.
- Да... государь самъ отмыкаетъ тотъ ящикъ, и прочтеть это письмо. Выполнять онъ мою просьбу, я ваща... безъ того, простите, не могу... я прошу о пособіи...

Мировичь сталь отговаривать, доказывать, что инчего подобнаго не нужно. Поликсена стояла на своемъ.

- А если отвъта не будеть: спросиль онъ: сколько-жъ опять ждать?..
- Не отвътять къ Паскъ,—ну, въ такомъ разъ, даю слово, повдемъ отсюда на Ооминой...

Мировичъ съвздилъ въ Петербургъ и опустилъ вручение ему письмо въ ящикъ у дворца.

VII.

Два Императора.

Было семнадцатое марта. Въ воздухъ замътно тянуло тенломъ. Съ крышъ дружно капало. Снътъ на солнечныхъ пригръвахъ таялъ и исчезалъ. Ледъ вокругъ кръпости посинълъ, взбухнулъ и, хрустя подъ ногами, пророчилъ близкое вскрытіе Невы. Изъ Шлиссельбурга утромъ шли рабочіе по льду въ кръпость, ожидая, что къ вечеру на берегъ, быть - можетъ, придется вернуться на веслахъ. Туманъ далеко залегъ по озеру. Но подулъ кръпкій, порывистый вътеръ и сталъ его разгонять. Къ ночи поднялась сильная съ метелью буря. Она рвала крыши, кружила вороха падающаго свъга, ревъла въ бойницахъ и башняхъ, стучала желъзными ставнями и дверьми.

Утромъ 18-го, коменданть Бередниковъ и старшій и младшій тюремные пристава взощли на кріпостную стіну, взглянуть на ріку. Вітеръ стихъ. По вскрывшейся, вкругь острова, Неві плыль сплошными білыми грудами ледъ. Лодки перевозили ужъ съ берега въ кріпость и обратно рабочій и служебный народъ. На берегу, — какъ ясно увиділь въ подзорную трубу Бередниковъ, — стояли два, шестерикомъ, крытыхъ возка. Кучка лодочниковъ озабоченно толпилась возлів нихъ.

- Кто бы это быль? спросиль въ раздумы Бередниковъ.
 - Изъ Питера, знать, машуть...

«Ужъ не ревизія ли?—пронеслось въ старой головь Бередникова,—не провъдали-ль въ столицъ о пожаръ въ тайной тюрьмъ? Ну, да все теперь благополучно кончено»...

— Веребьёвъ! надо послать катеръ, а пожалуй и лишнюю шлюнку!—сказать онъ капралу, оправляя на себв портупею и тревожно косясь на поношенные, старой формы кафтаны какъ свой, такъ и прочихъ господъ офицеровъ.

«Видно, новенькаго какого опять привезли!»—со вздохомъ

сказаль себь, тымь временемь, князь Чурмантыевь.

Офицоры сошли со ствиы. Шестнадцати-весельный каторь, а за нимъ восьмивесельная шлюпка, расталкивая баграми льдины, двинулись отъ крвпости къ Шлиссельбургу.

На городскомъ берегу, прикрывая медвъжьими шубами

звізды, въ треуголкахъ и собольихъ шапкахъ, стоям у взмыленныхъ шестериковъ нежданные - негаданные гости: рыжій, въ веснушкахъ, літь подъ тридцать, любимый генераль-адъютантъ императора, баронъ Карлъ Карловичъ Унгернъ-Штернбергъ, петербургскій генераль-полицеймейстеръ, сухощавый, круглолицый, добродушный старикъ, Николай Андреевичъ Корфъ, щеголеватый и надменный оберъ-шталмейстеръ, Левъ Александровичъ Нарышкинъ, генералъ Мельгуновъ и, літь тридцати четырехъ, средняго роста и замітно-сутуловатый, тайный государевъ секретарь, статскій дійствительный совітникъ, Дмитрій Васильевичъ Волковъ. Ямщики и ледочники, глядя на Нарышкина, бывшаго представительніс и выше остальныхъ ростомъ, принимали его за государя. Народъ, стекаясь изъ города, толимлся въ сторонъ и, безъ шапокъ, глазіль на прибывшихъ. Унгернъ клопоталь о переправів.

Въ кругу пышно-разряженныхъ, важныхъ вельможъ, — въ небольшой, на прусскій образецъ треуголкѣ, съ тростью, съ огромнымъ палашомъ, въ высокихъ ботфортахъ и въ простой безъ мѣха епанчѣ, — стоялъ средняго роста, вертлявый, невзрачный, плоскогрудый и сильно тронутый осной, гвардейскій штабъ-офицеръ. Круглые, съроватые глазки его были заспаны, прямой, добрый носикъ покраснѣлъ отъ вѣтра, невыбритый въ то утро, полный, бѣлый подбородокъ, какъ и простоватыя, веселыя губы то-и-дѣло вздрагивали отъ громкаго, почти дѣтскаго смѣха. Онъ шутилъ съ вельможами. А тѣ, несмотря на свою важность и на его скромный видъ и нарядъ, почтительно внимали какъ его шуткамъ, такъ и вообще его рѣзкому, «скоросому» — далекослышному, съ замѣтнымъ акцентомъ, и отличному отъ прочихъ голосу.

- Да знаешь ли, Дмитрій Васильичъ,—продолжаль офицерь, обращаясь къ тайному государеву секретарю, Волкову: — говорять, что ты, батюшка, съ этимъ... dass Ihr Beide mit diesen renommirten Chicaneur,—съ этимъ съ надутымъ придирщикомъ Ломоносовымъ прожектецъ составиль всёхъ нёмцевъ изъ Россіи выгнать? Правда ли то? ха-ха! Отвъчай-ка миъ...
- То, ваше величество, сугубая напраслина,—покраснывы и низко склонясь, отвытиль Волковы—и я сему негоціатору вольнодумцевы не похлыбникы!..

- То-то, Васильнчь, берегись, —и сивись скороговоркой продолжаль Петръ Оедоровичь: —и и тебя, каналью, за то намедни чуть не закололь... Und noch ein Punkt... и вотъ еще одинъ пункть, Васильнчь... Сарегшент! Voyons... Долженъ бы ты, батющка, за это нодъ арестойъ посидъть... Милости пожалуйста!.. Попровориль въ газетномъ артикуль, про кончину покойной государыни, мою жену императрицей назвать!.. Но я помию прежнія твои услуги... Сей грандъ-д'эспань, господа, мнъ, какъ великому князю, копін съ секретныхъ протоколовъ тайной конференціи выдаваль... Покойной государынь изміняль, мнъ зато върно служиль... Ха-ха!.. Что, братецъ, выдаль твои илутни? Погибнетъ птичка отъ своего язычка...
- Никогда того не было, ваше величество! наъ краснаго ставъ блёднымъ и еще ниже склонясь, ответилъ Волковъ.
- Но, можеть, ты, Васильичь, не унимался трунить Петръ Оедоровичь: можеть, ты и моей жень теперь все такъ же переносищь, какъ провориль и мит?... Pah! s'ist mir Alles Eins!.. Мит, господа, все одно! Милости пожалуйста!.. Мадамъ «La Ressource», и безъ усердныхъ предателей, пожалуй, все знаеть... Безсердечныя и хитрыя женщины тъ же колдовки... А вотъ и катеръ... Карлъ Карлычъ, Левъ Александрычъ, герръ баронъ! садитесь... Nun vorwärts!.. тдемъ...

Унгернъ, Корфъ и Мельгуновъ съли съ государемъ въ катеръ. Нарышкинъ и Волковъ повхали, вследъ за ними, въ шлюпкъ.

- И такое великое хохотаніе постоянно! какъ видите! усівшись въ шлюпку, вполголоса и нісколько по привычкі заикаясь и въ носъ, воскликнуль Волковъ:—срамить и шпыняеть при всіхъ: не знаешь, куда и глядіть...
- А сама эта повздка?—нагнувщись въ Волкову, сердито произнесь обыкновенно-веселый и безпечный Нарышкинъ:—собрался, представь, какъ на пожаръ. Даже дядя принцъ Жоржъ о томъ не провъдалъ. И меня взялъ случайно, ужъ садясь въ возокъ... Что ему! была бы корзина съ кнастеромъ, да съ коллекціей солдатскихъ трубокъ. Надумалъ что, крикнетъ: vorwärts drauf los! и вся недолга...
- Да что же, что онъ надумаль теперь? допытываль Волковъ: въ чемъ тугъ новыя конъюнктуры? И какъ о томъ же предупредили Александра Иваньча?

Сочиненія Г. И. Данплевскаго. Т. ІХ

Волкову ясно вспомнился, въ эти мгновенія, сердитый правый глазъ Александра Иваныча Шувалова, разстроенный неръдко потрясавшими сценами допросовъ и пытокъ въ недавно-закрытой тайной канцеляріи. — «Какъ замигаль бы этотъ глазъ, — думалось Волкову, — какъ скривиль бы и всю правую сторону лица, если бъ ему сказали, что государь, очертя голову, бросился на такое неподобающее свиданіе!»

- Вся сія препозиція, ясно ужъ видно, на какой фасонъ, — косясь на гребцовь, презрительно отвътиль Нарышкинъ: — государь, очевидно, получиль отсель изъ Шлюшина нъкое подметное письмо: ну, и поъхаль... Иванушка, вишь, сильно ему понадобился...
- Но для чего, для чего? продолжать допрашивать Волювь.
- Дѣло иснос... чтобъ насолить женѣ... Твердитъ одно: не зналъ и, каково принцу... надо, вишь, ему помочь...
 - Что-жъ ты на то скажешь?
- Да пустяки, отвътиль Нарышкинъ: дурачовъ въдь принцъ Иванъ, совсвиъ умишкомъ высохъ! Александръ Иванычъ еще недавно о немъ вспоминалъ... А ужъ ему ли доподлинно не знать про то? Всъ репорты шли черезъ его руки. Безнамятенъ, сказываетъ, косноязыченъ сталъ и скорбенъ главой... И съ этакой-то дурафъёй еще возиться затъяли... Одинъ смутъ и толченіе воды... Вотъ и вечеръ у Воронцовыхъ пропущенъ, — а нынче тамъ бириби въ двухъ салонахъ и графъ Сенъ-Жерменъ о мертвыхъ объщалъ разсказать! — съ досадой прибавилъ Нарышкинъ.
- Будеть намъ и съ живыми немало возни!—произнесъ Волковъ:—подметное письмо! чья рука тутъ колобродитъ? ц какъ отвратить?
- «Ужли изъ Берлина, Фридриховы новые ходы биять? прибавилъ про себя Волковь, — или здёсь, поближе, искать новыхъ затъй?»

Катеръ и шлюпка причалили къ острову. На катеръ шелъ иной разговоръ.

- Боюсь, боюсь я этого свиданія! не выдержу! въ искреннемъ волненін и страхѣ, шепталъ, между тѣмъ, порусски Петръ Өедоровичъ Корфу:—какъ хочешь, брать, а онъ вѣдь человѣкъ, притомъ какой семьи!
 - И и въ немаломъ амбара, отвъчаль Корфъ: везъ

когда-то его дитятичкой въ Холмогоръ... Но, courage, Majestät, смълъй!.. являйте себъ достойно вашъ санъ...

— Да відь,—schlicht und recht!—по-правдів, не мит бы слівдовало на тронів быть, а ему,—не унимался Петръ Осдоровичь:—какъ я на него посмотрю и что ему скажу?

— Въ такомъ разъ, Majestät,—чопорно и важно вившался Унгернъ:—напрасно было уфъ-въ эти мъста и вхать...

— Напрасно, напрасно!.. двадцать літь бідный взаперти сидить... Экіе вы! Но вы еще про меня услышите...

Сойдя на плоскій берегь у крыпости, императорь и его свита пошли вліво къ воротамь. Здісь ихъ встрітиль, ставній оть страха хуже малаго дитяти, коменданть Бередниковь. Хотя императорь желаль выдержать строжайшее инвогнито, Бередниковь сразу его узналь. Петръ Федоровичь взяль у Унгерна, за собственнымъ своимъ, отъ 17-го марта, подписаніемъ, именной на имя Бередникова указъ и, приложа руку къ шляпъ, почтительно вручилъ его коменданту.

Въ указъ было изображено: «Имъете тотчасъ допустить нашего генераль-адъютанта Унгера и прочихъ съ нимъ, когда онъ прикажеть, высокихъ подателей сего монаршаго повельнія, къ осмотру государственной шлиссельбургской тюрьмы, а буде они того пожелають, то и къ свиданію, даже безъ свидътелей, съ извъстною, тамо заключенной персоной. И если Унгернъ прикажетъ Чурмантъеву, съ арестантомъ и его командою, изъ кръпости въ другое какое мъсто по нашему соизволенію выбхать, то того не воспрещать».

- Это что?—спросиль, ткнувъ тростью въ тяжелыя, дубовыя ворота, императоръ. На лъвой половинъ воротъ государевой башни была шведская надпись: «1649 года— 16-го ман».
- Виновать, ваше... казните, какъ есть, забыль соскоблить... стереть!—заговориль, отдувансь, весь красный Бередниковъ.
- Но развъ такія надписи, господинъ коменданть, стирають?—насмъщливо его оглядъвъ, произнесъ императоръ:— эти литеры, господа, со временъ шведовъ... Я въдь учился. маракую... По симъ же плитамъ шестьдесять лътъ назадъ семъ Петръ Великій изволилъ прохаживаться...

- Плиты не вынуты, такъ точно-съ! утирая лицо и жалобно взглянувъ на свиту, сказалъ Бередниковъ.
- Еще бы вамъ крылечко изъ нихъ помостить!---ульюнулся императоръ: — гдв арестантъ Безыменный? ведите насъ къ нему!

На дворів, у церкви, высокимъ посітителямъ Бередниковъ представилъ князя Чурмантівева.

- Хромаете? въ войнъ съ Пруссіей ранены? нахмурясь, спросиль государь.
- —. Упаль здісь намедни съ лістницы, отвітня старшій приставъ.
- Зять Ольдерога,—шепнуль государю Унгернъ:—нзъ Риги in der Garde переведенъ...
- А, очень радъ! веди же насъ, сударь, —обратился императоръ къ Чурмантъеву: —только и намъ, батюшка, просимъ, ноги или руки при върной оказіи не сломай...

Посътители обогнули церковь. Влъво, по двору, вдоль кръпостной куртины, шли въ два яруса, съ открытой галдереей, тяжелыя каменныя казармы внутренней стражи. Домъ коменданта особняемъ стоялъ вправо, у церкви. Въ глубинъ двора, за внутреннимъ каналомъ, цосътителямъ предстала другая, мрачная, обросшая мхомъ стъна. Черезъ каналъ велъ подъёмный мостъ. Противъ моста были ворота и возлъ нихъ стоялъ часовой. За стъною, какъ объяснилъ комендантъ, находияся другой внутренній дворъ и тамъ, вправо, домъ старшаго пристава Чурмантъева, въво — отдъльная, въ два ръшетчатыхъ окна, двухъ-ярусная Свътличная башня, съ казематомъ извъстной персоны.

— Ist aber fest zugestopft alle Wetter!—сказаль, входя въ этоть дворъ, Петрь Оедоровичь:—свету маловато, окно узко и то, saperment, заграждено снизу дровами...

Государь отозваль Чурмантаева къ сторонъ.

- Каковъ темпераментомъ принцъ? спросилъ онъ, разглядывая лицо пристава.
- Какъ вамъ доложить?—смѣшался Чурмантьевъ:—недавно я, государь, при немъ и потому...
- Правду, правду мић говори, переонлъ Петръ Оедоровичъ: — по душћ, откровенно, als ein Soldat...
- Временемъ робокъ онъ, уклоненъ,—началъ приставъ: въжливъ и даже стыдливъ; нрава тихаго, бываетъ же, сударь, и вотъ какъ понятливъ... Какъ спокоенъ — говоритъ

обо воемъ добропорядочно, толково; сказываетъ евангеліемъ, Минеево, Прологомъ и книгою Маргаритъ; толкуетъ, гдъ и что въ нихъ написано...

- Но какъ же, tausend Teufel!.. какъ же твой комендантъ доносилъ, — сердито топнулъ ногою государь: — все Шуваловымъ на угоду... Sclavisches Packl.. увърялъ, что принцъ слабоуменъ и вообще выглядитъ точно звърь лъсной.
- Какъ не быть звъремъ, коли выведуть изъ терпънія,— покосившись на помощниковъ, сказаль Чурмантьевъ:—взбаламутить его какая прижимка зоветь всъхъ еретиками, шептунами, самъ плачетъ, говоритъ нъмо, невнятно, и такъ отъ смуты косноизычитъ, что и привычнымъ въ силу его разумътъ. Да и не всъмъ открываетъ свои способности...

— Скрытенъ? o! я угадалъ!.. Den Nagel auf dem Kopf getroffen!.. гвоздемъ въ центрумъ попалъ. Ну, а когда

тихъ?

- Въ тихости весело и кротко такъ смѣется, продолжатъ Чурмантѣевъ:—и, дерзаю доложить, на прикладъ даже становится забавенъ... веселъ, надъется на все и прыгаетъ, аки малый ребенокъ... а то строитъ рожи...
- Кто его здъсь дразнить? говори, поглядъвъ вокругъ, произнесъ государь.

Онъ достать изъ камзола инбирную карамельку и, съ цълью отбить изжогу минувшей безсонной ночи, опустилъ ее въ ротъ.

- Не усмотринь за всеми, больше солдаты съ галлереи, сказаль Чурмантевъ: а бываеть, кто и выше... Ну,
 и не стеринтъ... Гордъ притомъ и любитъ, чтобъ быль во
 всемъ порядокъ... Неучъ иной часовой, у его дверей, ночью
 начнеть вертёться, ногу объ ногу чесать, либо громко кашлянеть, ружьемъ невёжливо стукнеть, принцъ тотчасъ
 осерчаеть, жалуется мнё утромъ: смёеть ли, грубіянъ,
 тотъ солдатъ, такъ его обижать? я-де, говоритъ, вотъ какъ
 его уйму... И въ ту пору вновь старается доказать, какова
 онъ для всёхъ высокая, важная персона...
- И что-жъ ты ему на это? спросиль Петръ Оедоровичъ.
- Говорю, полноте, сударь: все то вранье! и лучше вамъ такой пустоши о себъ не думать и впередъ не врать... Куда! весь почернъеть отъ гнъва, клянется, дрожить... Звъри вы, говорить, колдуны и еретики! мучите меня, и Господь васъ,

за невиннаго страдальца, разразить и прахъ вашъ по вътру развъетъ...

«Такъ, такъ! наклеветалъ Шуваловъ! — подумалъ госу-

дарь, - въ письмъ истина повъдана....

Онъ подошелъ къ башнъ. Изъ-за дома пристава выбъжала съ саночками дъвочка, за нею другая. Увидъвъ нежданныхъ гостей, онъ въ испугъ остановились и бросились къ крыльцу, у котораго ни жива, ни мертва стояла Поликсена.

— Ба-ба-ба! это что? — воскликнулъ государь: — юныя милыя созданія и съ ними комендантшей фея, прекрасное существо!.. въ такихъ ужасныхъ мъстахъ!

— Мои дъти и ихъ бонна,—пояснилъ князь Чурмантвевъ. Петръ Оедоровичъ взглянулъ пристальнъе. Онъ узналъ Пчелкину и ласково, разсъянно ей поклонился.

«Воже, неужели все это черезъ меня?» — замирала тамъ временемъ, боясь поднять глаза, Поликсена.

По стоптаннымъ, бълокаменнымъ ступенямъ внутренней лъстницы гости вошли налъво, въ тъсныя съни государственной тюрьмы. Чурмантъевъ вынулъ изъ кармана большой черный ключъ, отомкнулъ имъ низенькую, черную, окованную желъзомъ дверь, ввелъ гостей въ другія съни, отворилъ изъ нихъ новую дверь, прямо, и отступилъ. Свита гакже посторонилась. Унгернъ первый вошелъ въ казематъ Ивана Антоновича, за нимъ, сбросивъ верхнія одежды, государь, Волковъ, Корфъ и остальные.

Каземать принца Іоанна быль аршинь въ десять длины и въ пять ширины. Мрачныя, подновленныя его стъны были со сводомъ. Узкое, съ толстыми ръшетками окно, вправо, невысоко отъ пола, выходило на галлерею. Влъво отъ входа стояла большая, изъ зеленыхъ кафлей печь, съ топкою изъ съней. Поперекъ всей комнаты шла тесовая пирма. За ширмой помъщалась постель. Возгъ окна—столъ; у стола скамья. Дрова скрадывали свъть, и безъ того слабо падавшій въ комнату.

— II только?.. Oh, über das Elend!.. какой ужасъ! гробъ. а не жилье! — сказалъ вполголоса Петръ Оедоровичъ Унгерну: — душно и темно... А Шуваловъ какъ расписывалъ!.. Nichts als Lug und Trug!.. Ненавидую гнусныя интриги, обманъ... Но гдѣ же онъ въ этомъ каменномъ мѣшкѣ?

— За ширмой, — отвътилъ Чурмантъевъ: — онъ по ста-

туту... думаеть, что пришли его комнату убирать... запрещено его видьть даже слугамъ...

— Зовите его. — не громко сказаль, не сходя съ своего

мъста, государь.

Чурмантвевъ крикнулъ арестанта. Иванъ Антоновичъ вышелъ изъ-за ширмы. Видъ блестящей государевой свиты его осленилъ. Онъ защатался, чуть не упалъ, и, озираясъ какъ пойманный жалкій зверекъ, смешнымъ и неловкимъ движеніемъ попятился назадъ за перегородку.

— Не опасайтесь, сударь! — съ напускною смёлостью, дрогнувшимъ голосомъ сказаль Петръ Оедоровичъ: — я къ вамъ посломъ... отъ самого государя. Подойдите ближе; смёльй... вотъ такъ... Ну!.. скажите, что-нибудь вамъ въ этихъ мёстахъ недостаетъ?.. Скажите! ваши слова приму

не инако, какъ съ должнымъ вниманіемъ.

Иванушка бросилъ бъглый взгиядъ на узкоплечаго, плоскогрудаго, невзрачнаго и рябого офицера,—въ бъломъ, съ бирюзовыми обшлагами, кафтанъ, съ доброй улыбкой и грубокапральской выправкой,—стоявшаго впереди другихъ. Что-то странное, что-то хватавшее и уносившее куда-то далеко отозвалось, заговорило въ душъ узника. «Гдъ-то видълъ, видълъ... но гдъ...»—обливаясь кровью, шептало ему бъдное, робко бившееся сердце. Онъ ступилъ шагъ впередъ, протянулъ руки.

— 0, 0,—началь онъ, не спуская глазъ съ Петра:—я... я...

Онъ упалъ предъ нимъ на колъни.

— Встаньте, принцъ!—съ рыцарскою въжливостью, тронувъ его лосинной перчаткой по плечу, сказалъ Петръ Федоровичъ: — будьте бодры, куражъ, я облегчу... я попрощу государя... облегчить и улучшить вашу участь... Я близокъ къ нему; меня онъ слушаетъ. Просите, что вамъ нужно?

Лицо узника страшно побледнело; губы исказились отпусили проронить слово. Речь отказывалась ему служить. Языкъ коснелъ. Кровь молотомъ стучала въ голову. Онт.,

озираясь на всехъ, не вставалъ.

— Просите, просите милостей! — шептали стоявшіе во-

кругъ.

— Я не тоть, за кого... Душно!—проговориль узникъ:—
туть вовсе душно — воздуху ньту-ти... — прододжаль онъ скороговоркой, сдерживая рукой дрожавшій, какъ въ лихорадкь, подбородокъ:—повидать бы небушко... зелень тоже...

походить бы на земле, по цветамъ!.. отъ всего за то, все отдамъ... Я ихъ прошу, а они... подло...

Онъ не могъ говорить далье, робъль и дико на всъхъ смотрелъ.

— Кто вы?-спросиль, поднимая его, государь.

Принцъ медлиль ответомъ.

— Кто вы и какъ сюда попали? — ласково повторилъ, улыбаясь, Петръ Өедоровичъ.

Арестанть вздрогнуль, вытянулся, сталь шептать.

- Я... императоръ, точно сорвавшись, проговориль онъ громко: Божією милостью... пу, Іоаннъ Третій, императоръ... царь!
- Кто тебъ сказалъ, что ты императоръ? нахмурясь и брякнувъ палашомъ, спросилъ Петръ Өедоровичъ.
- Я не тоть, за кого!—отвътиль, боязливо попятившись, узникъ: да, да! Іоаннъ давно померъ, взять на небо. Я видъль его—онъ здъсь, во миъ...
- Кто тебя увършть, что ты государь? спокойнъе повториль Петръ Оедоровичь.
- Кто сказаль?—стойте—вспомниль!.. учитель сказаль... потомъ караульный...
- Императоръ не сидълъ бы въ такомъ мъстъ, притомъ въ бородъ...—произнесъ Петръ Өедоровичъ.
- Меня заперли. Но... я лучше ихъ... чистый духъ,—а они—злюки, еретики.
- Что вы помните о детстве, о прошлыхъ годахъ?— спросилъ государь.
 - Гдв помниты голова темна, тошнехонько...
 - Однакоже, повъдайте, что вспомятовано будеть.
- Все мучили... Быль я воть какой ребенокъ, махоткадътка. Разлучили съ матерью, отцомъ... Живы ли, не знаю...
 - Ну, ну...
- Стали звать меня Гришкой, ты не царь, а колодникъ! — отдали въ руки аспидовъ, колдуновъ. Да, да... колдуны... У нихъ дымъ изо рта... И начали возить изъ крвпости въ кръпость... И вотъ теперь Иванушкинъ дворецъ...

Узникъ смолкъ. Окружавшіе молча на него смотрым.

- Вст ли приставленные къ вамъ были алые люди? ке было ли межъ нихъ и добрыхъ?—спросилъ государь.
- Было двое... Одинъ старикъ съ женой! въ Холмо-

горахъ выучилъ молитвамъ, письму... Другой—помоложе... да, совсёмъ молодой...

- Ну, и что жъ этотъ другой? не бойтесь, говорите...
- Онъ меня, ребенка, махотку, провожаль отъ матери, и всю дорогу, всю, какъ это ъхали, во-какъ ласкалъ. Жалълъ и плакалъ.
 - А потомъ?
- Какъ прівхали это къ морю, даваль этоть-то молодой бігать по берегу, въ саду: садъ большущій, пахло такъ—цвіты... и отъ монаховъ приносиль игрушки...
 - Гді жъ онъ теперь? -- спросиль Петръ Оедоровичъ.
- Видно померъ, снится вс... Въ книгахъ написано... оскудена... налися слава во прахъ...
 - «Начетчикъ, все по-словенски!»--- подумалъ государь.
- Помните ли вы имена этихъ людей? спросилъ Петръ Федоровичъ.

Лицо арестанта опять исказилось, выражая ужасъ и волненіе.—«Онъ, онъ!—звучало у него гдћ-то на див души, онъ... не во сив ль я его видвлъ?»

Иванушка хотвлъ говорить, и не могъ.

- Courage, prince, courage! я васъ слушаю!—обратился къ нему государь.
 - -- Перваго звали... постойте... охъ, забылъ...
 - A Broporo?
 - Второго... вспомнилъ... Корфъ, да, Корфъ...

Государь оглянулся. Николай Андреичъ Корфъ, усиливаясь что-то достать изъ задняго кармана, кривился и хмурился, всячески удерживаясь, чтобъ не заплакать. Слезы, между тымь, катились по его вздрагивавшимъ, морщинистымъ щекамъ.

· — Merkwürdig, Majestät, o! fabulös, — громко сморкансь, крякнуль онь вь платокъ.

Государь быль искренно, глубоко тронуть. Обыкновенно безпечный, Нарышкинь стояль сердитый и опыпенный. Мельгуновь и Волковь угрюмо смотрым въ землю.—«Не малоумный, не дурафья, чорть возьми!»—думали они. Унгернъ не спускаль растерянныхъ глазъ съ государя.

— Бъдный, жаль мнъ тебя, —сорвалось чуть слышно съ языка Петра Өедоровича: —видите, баронъ, добрыя-то дъла?..

Онъ хотъль еще что-то сказать, но и его круглые, выпуклые глазки замигали. Онъ странно, по-дътски, всхлип-

нуль, повернулся и, гремя шпорами и палашомь, неуклюже пошель вонь изъ комнаты.

- Государы! о, государы!—закричалъ вдругь, кинувшись за нимъ спвозь толпу окружавшихъ, Иванъ Антоновичъ.
- Какъ знаешь ты, что я государь? спросить, обернувшись къ нему, Петръ Өедоровичъ. — Измѣна! предупредили? — продолжалъ онъ, съ гнѣвомъ взглянувъ на окружавшихъ.
- По портрету! объясниль Иванъ Антоновичъ: монета!.. вотъ, вотъ!.. это ты... Мы одной крови... ты дядя мнъ и ты братъ по престолу... Братъ! помоги... Братъ! Освободи... въ глушь, въ Сибирь... только волю...

Петръ Оедоровичъ остолбенълъ.

Было меновеніе — императоръ царствующій былъ готовъ броситься въ объятія императора-узника.

— Я подумаю... готовъ!.. о, я свъть удивлю!—искренно воскликнуль Петрь Оедоровичь: — мучители, бандиты человъчества! Истины не упрячешь, сквозь щели тюрьмы, сквозь крышку гроба: вездъ она пробьется.

Николай Андреичъ, Дмитрій Васильичъ, — обернулся онъ: — и вы, господа гарнизонный караулъ, на пару словъ.

. Таскаюсь надеждой — взять резонабельных в м връ...

Онъ съ облегченнымъ сердцемъ быстро вышелъ изъ каземата во дворъ. Следомъ за нимъ вышли Корфъ, Нарышкинъ, Волковъ и тюремное начальство. Съ принцемъ остался одинъ Унгернъ.

— Проклятый Фридрихъ, змей, сатана!—завопилъ, стуча себъ въ грудь, Иванъ Антоновичъ:—это онъ, черезъ него...

— Что ты, батюшка, ш-ш!—зашипѣль на него Унгернъ: да Петръ-то Өедоровичъ молится на него... Герръ Готтъ! А ты ручку лучше его величеству поцѣлуй, въ ножки поклонись, да проси его, проси...

Иванъ Антоновичъ бросился на колѣни передъ темнымъ, стараго письма, образомъ Спаса. Длинные, свътлорусые волосы его падали на холодный полъ, при каждомъ его поклонъ. Онъ крестился большимъ крестомъ и торопливо шепталъ горячія, несвязныя молитвы.

IX.

Оранжевый воротникъ.

Петръ Оедоровить, мърными шагами, ходилъ взволиованный передъ башней. Рядомъ, прихрамывая и стараясь попадать съ нимъ въ ногу, ходилъ старшій тюремный приставъ, князь Чурмантьевъ. Нарышкинъ и Волковъ, персшептываясь, стояли здысь же во дворъ, за дровами; Унгернъ и Корфъ—въ глубинь площадки, у воротъ.

На коменданта государь осерчаль, при выходь изъ каземата, и прогналь его за ворота. Тамъ, у входа на мость, робко жались младшіе тюремные пристава, Власьевь и Чекинъ, и прочіе гарнизонные офицеры. Далье, у церкви, стоили—подосивышая посадская полиція, священникъ кръпости и кое-кто изъ семействъ офицеровъ и именитыхъ

горожанъ.

i. 3

....

137

EE.

Ξ..

7.

14 I

Γ,

ŀ

<u>;</u> ·

Между последними быль и Мировичь. Онъ узналь императора еще на берегу и, проникнувъ вследъ за посадскими, стоялъ сильно озадаченный.—«Что бы это значило?—разсуждалъ онъ съ легкою дрожью,—какъ нежданно подъехаль государь! Что, какъ принцъ выдастъ ему о свидании и разговоръ со мной?.. Могутъ найти у него мою бумагу. Надо бытъ готовымъ ко всему. Могутъ потребовать, спрашивать. Не отрекусь ни отъ чего... Пропадай голова, все разскажу. Ужли мучиться ему доль?»

Императоръ остановился.

— Ну, а послушай-ка, сударь, теперь, — обратился онъ къ Чурмантъеву: — скажи-ка ты мнъ, да опять по чистой

правдь, была рычь принцева и на мой счеть?

Чурмантьевъ замялся. — «Какъ ему сказать? — подумаль онъ, — и что изъ того выйдеть? И двиствительно ли онъ желаеть облегчить участь принца?»

— Увольте, государь, — ответиль онъ: — не сметь мн в,

рабу...

— Сказывай, одинъ вёдь тебя слушаю! — съ дётскимъ нетеривніемъ, хлопая лосиной перчаткой по перчаткі, настаиваль Петръ Оедоровичь.

Онъ вынулъ изъ камзола другую инбирную карамельку

и опустиль ее въ пересохиній отъ волненія роть.

 Съ новаго года, какъ я сюда прибылъ, — началъ Чурмантъевъ: — принцъ ни разу не упомянулъ про васъ; п

= === : I THE PERSON NAMED IN -- -le en en la comparte de la comparte del la comparte de la comparte del la comparte de la compart no a tro ten sa trans. Design ____

- FIRE LIPETER - LIN XIII.

— Tem to man we we man a man we appe in i ilian tan a

-limani in in man minera nolighte and out to the control of the

:: 32

BLE 45 TENHELLE ELEM 41 LICENTE DE LOTTE.

- ORGANIZA CHELL-COLLEGE OR - NO CORPLINE

себъ, государь, клянусь вамъ, опаснаго, гибельнаго соперника! И одни лишь отечества предатели, льстецы, могутъ давать такія антиполитическіе совыты... Да и еще осмыльсь прибавить...

-- Говори, -- охъ, ужъ разумники! Что тамъ еще умыслилъ и на бобахъ развель? не испытывалъ, видно, самъ

тюрьмы, оттого и храбришься...

— Обижать изволите, государь... Не въ моемъ нравъ давать совъты о тюремныхъ закрвнахъ, да о цъняхъ... Въдать изволите, кто возымълъ счастье преславный манифесть о вольностяхъ дворянства поднести къ вашему подписанію?.. Шагъ одинъ отнынъ, сами такожде то сознать удостоили — къ освобожденію и прочихъ россійскихъ рабовъ... Но не слъдуетъ упускать изъ виду гласа безсмертіемъ одаренныхъ геніевъ...

Волковъ помолчавъ и еще болье оболонися.

— Его величество король Фридрихъ, — сказалъ онъ, вновь склоняясь: — неоднова дружески совътовалъ вамъ остерегаться и покръпче держать взаперти принца Ивана, дабы чъя-либо горячая голова, отъ мечтательной дерзости и лжемыслія, не вздумала возвести его на престолъ...

— Пустяки! суесловство! — різко перебиль и отвернулся оть Волкова Петрь Оедоровичь: — о тронів різи нізть!.. Кто тебів навраль?.. Я одинь, олышь ты, одинь о томъ

могу говорить...

Имя Фридриха, однако, замѣтно смутило государя. — «А вѣдь, пожалуй, и правду сказаль этоть безсердечный и ловкій всезнайка-говорунъ? — подумаль онь, сердито глянувь въ продолговатое, сухое, съ большимъ бѣлымъ лбомъ и красивымъ носомъ, лицо Волкова, сѣрые, умные глаза котораго гочтительно и съ строгимъ вниманіемъ слѣдили за нимъ, — у такихъ краснобаевъ-совѣтниковъ всегда найдутся резоны кстати... Опасцо-неопасно, а дѣло и впрямь надо бы похитрѣе и ловче обдѣлать... Я уже писалъ королю, что держу Ивана въ надежныхъ рукахъ, взаперти»...

Петръ Оедоровичъ еще разъ бросилъ взглядъ на Волкова, досадливо одернулъ на себъ портупею и не такъ ужъ смъло

взялся за скобу тюремныхъ дверей.

— Господа! — обратился онъ къ свитћ: — комендантъ, сюда, и вы следуйте за мной... Что можно и что политическое и штатское резоны посволять, все сделаю, не глидя ни на

что. Я не забочусь о его мнимыхъ правахъ, — выбыю глиную дурь изъ его головы — сдълаю его человъкомъ, слугатрона... изъ него выйдеть бравый солдать...

Онъ снова вошелъ въ казематъ Ивана Антоновича. Свита пристава и комендантъ размъстились за нимъ у порога.

— Князы! — обратился императоръ къ принцу: — скордень Благовъщенія... Въ народъ принято въ этогъ день на волю выпускать... Вы... вы...

Туть різкій, странно дребезжавшій голось Петра Оедровича мягко дрогнуль и оборвался. Добрыя, искреннія слезк выступили на его глазахъ.

— Я объщать... я слово даль мірь удивить! — продолжаль онъ съ дътски-ласковой улыбкой: — не отъ своей персоны говорю! и вы ошибались, если меня приняли... думали... Я простой офицерь; но меня государь любить в мнъ аудіенціи даеть... Господинь коменданть, слушайте... Положеніе арестанта, по истинь надо то сказать, ужасн... Поглядите на эти аркады, эти стыы! съ ръшеткой окне... Du lieber Gott!.. Здъсь и при солнць, безъ свычки, трудь оставаться... Воздухь душень... Государь изъ одного откровеннаго письма все узналь... Мнъ дали комиссію въ этих дълахь убъдиться, и я убъдился. Содержится принцъ кужечьмъ посльдній колодникъ, злодьй... Стыдитесь, господа. — фуй, стыдитесь...

Государь остановился. Всь взоры были устремлены в Ивана Антоновича. Онъ стояль, понурившись, и, тяжел дыша, длинными быльми пальцами судорожно разглаживал свою шелковистую, каштановую бородку.

— Не въ кушанъв двло, господинъ комендантъ, — вобхожденіи! — строго крикнуль государь Бередникову: — принца въ неввжествв оставляють, въ дикости, безъ наук. Вы про то молчать изволили; я огъ постороннихъ персов все узнаваль. Это должно быть измвнено... А потому, г сподинъ главный начальникъ здвсь, и вы тоже, старилириставъ... Іт Namen, — отъ имени государя императора. — и въ силу данной мив высочайшей резолюци, вмвняю вах отнынъ — надъ лучшимъ положеніемъ принца наблюден имъть... Колесо фортуны — гексенмейстерскій капризъ! — сегодня внизу, завтра вверху. Извольте — слышите ли то? выводить принца, время отъ времени, гулять внутри кульности, а тамъ и за ствнами. Пусть прогуливается, укът

пляется добрымъ воздухомъ. Учите его. Читать онъ знаеть; но того мало... Сего пункта надо усиливать... Свыть науки да засвытить его умъ... Sind aber hier?.. есть ли въ этихъ мъстахъ хорошіе учителя?.. Ласкаюсь надеждой, найдете...

Узникъ бросился къ ногамъ Петра Оедоровича. Грудь

его вздымалась отъ сдержанныхъ рыданій.

. 142 - .

711.

ART E T

HIN.

B III

1 Bb 3.

energy for

.1. 21 -

10050

ge (T.)

58 1 3-

0.15 .ai.7. -

i pizzi.

Ъ 5.--

:: 3 5

1 82 1 5

THE STATE

23. E

... 10.25 ___ i L

12 F1"

WE E 孙正

- EE.

11:11

. . . .

 $\{(\mathcal{L}_{i}^{n})\}$

. Yi ... E.

73 To

ТЪ...

 — 0! — визгливо вскрикнулъ онъ, хватая императора за полы кафтана: --Петръ, Петръ!.. братъ мой!.. Все бери себъ, все отдаю...

Государь положиль ему руку на плечо.

— Выстроить ему, господинъ коменданть, особый, хорошій, пространный домъ, — продолжаль Петръ, ласково кивая принцу: — да чтобъ окошки были не узенькія и на солице. А когда зданіе будеть готово, самъ я прівду сюдя, чтобъ персонально его туда переводить. Къ моему... къ государеву тезоименитству... чтобъ все то было готово!.. А потомъ мы васъ, принцъ, въ военную службу-будете бравымъ воиномъ, въ офицеры, въ генералы дослужитесь... Довольны ли вы, принцъ?

. — Сжалься, не уходи, не откладывай! — крикнуль, порываясь къ императору, узникъ: - братъ!.. Петръ! не скрывайся, ты ведь государь!.. Зачемь отсрочка?.. смилуйся!

Унгернъ и Корфъ бросились къ принцу. Государь ихъ остановилъ.

— Выпусти меня сейчась, выпусти!.. Призвахъ имя твое во гробъхъ, -- косноязыча и дико озираясь, кричаль узникъ: -дай жить съ нею!.. видеть ее, слышать!.. (Волненіе боле и болье охватывало его, путало слова)... Въ льса, въ Сибирь... только не здісь... Уйдешь, ни тебя, и ея не увижу... брать, брать!.. помилуй...

Присутствовавшіе были изумлены, потрясены.

 — О комъ это? съ какою персоной онъ думаетъ жить? спросиль государь Унгерна. Тоть взглянуль на Берединкова, последній на Чурмантева.

. — Бредить, знать: изъ Маргарить что-нибудь вычиталь и-простите - врёть! - отвётиль до крайности озадаченный Чурмантвевъ:- что ни день, новыя, какъ видите, пустоши, новое вранье...

Иванъ Антоновичъ плакалъ, вставалъ и снова бросался на кольни передъ императоромъ, хватая его за руки, водочась за нимъ и цълуя ему ноги, одежду. Безсвязной, дикой, молящей его рёчи нельзя ужъ было понять. Окружав-

— Herr Gott... Armes Kind! силь нъть смотръть, пустите его!—сказаль государь, замедлясь на порога и добродущно, глазами, полными слезъ, смотри на принца;—пусть выйдеть... пусть свъжимъ воздухомъ вздохнеть... на крыльцо его, на крыльцо...

— Но у него нътъ теплаго, — вившался Волковъ: — еще

простудится...

— Э, батюшка! вогда я хочу, такъ ты!!.. колпакъ! — сердито врикнулъ и топнулъ государь: — вотъ мой плащъ, пусть надъвастъ пока! Auf Wiederschen!.. до свиданія, принцъ: — торопливо и сконфуженно отворачивалсь отъ Іоанна Антоновича, кивнулъ ему головой Петръ Осдоровичъ: — Карлъ Карлычь! sagen Sie dass man... вели ему изъ кареты мой шлафрокъ въ презентъ принести... пусть себъ, пусть...

Свита, съ своей стороны, посившила вручить узнику подарки — кольца на память, табакерки, часы. Онъ неумълыми, похолодъвшими руками неловьо брадъ эти вещи, тыча ихъ въ карманы куртки и шароваръ.

Лица, стоявшія на дворё и въ чесле ихъ Пчёлкина, видьли, какъ у Свётличной башни вновь показалась царская свита и какъ, рядомъ съ государемъ, между Унгерномъ и Чурмантевымъ, вышелъ на крыльцо высокій, съ свётлорусыми, монашескими волосами и въ голубой гвардейской епанчё, бледный юноша. Государь, размахивая перчаткой, что-то съ сердцемъ высказывалъ коменданту. Этотъ съ рукой у шляпы, вытянувщись, модча стоялъ передъ нимъ.

«Чѣмъ-то рѣшено, какой конець? — мыслида тѣмъ временемъ, жадно пожирая глазами государя, Поликсена: — освободить ли онъ бѣднаго, раздавленнаго судьбой родича? Что говориль онъ съ нимъ? что рѣшено? Столько я учила принца, наставляла и все, все ему разсказывала... Какъ онъ жаждаль свободы! какъ вышытываль о свѣтѣ, о людяхъ, клялся»...

«Ужли, — разсуждаль въ то же время у церкви, въ толић другихъ, Мировичъ: — ужли, наконецъ, и мећ окажетъ милость мачиха-форгуна? Не върштся! Кто обратить внимана

на столь мелкаго человіка? Но если произойдеть чудо, если рішать возвратить ко двору принца? Кто лучше его сумість тогда быть защитникомь, охраной всёхь несчастныхь, сирыхь всіхь, оділенныхь судьбой?... Тогда и я подамъ прошеніе о возвраті дідовскихь иміній... Эка, чорть, какія мысли! Такь воть о тебі, собакі, и подумають! О голштинці какомъ-нибудь, о лакей подумають, а не о тебі. Воже, Господи! Ну, отчего бы теперь государю, и безъ принца, не обратить на меня вниманія? Что ни говори, — проклятыя связи! а відь я быль на войні, трудился... Ніть!—заключиль Мировичь, прячась за спины другихь:— лучше пусть онь, добрый, безсильный, нерішительный, лучше пусть и не замітить меня, еще, пожалуй, узнаеть, что черезь меня доставлены пропозиціи Панина о продленіи войны... Пронеси его мимо, злосчастная судьба»...

 Тосподинъ офицеръ! эй! оранжевый воротникъ! — долетълъ до него изъ-за моста громкій, стремительный голосъ.

Мировичъ оглянулся. Всё взоры почему-то были устремлены на него. Кто-то усердно толкаль его подъ бокъ. Онъ подался впередъ. Толпа передъ нимъ разступилась. Въ несколькихъ шагахъ отъ него, вывернувъ врозь тупоносыя ступни тяжелыхъ ботфортовъ и держа наотмашъ огромный палашъ, стоялъ императоръ.

— Kreuz schock-bomben-donner-wetter-element! Формъ не соблюдаете:—сильно горячась, кричалъ на кого-то Петръ Өедоровичъ:—а вотъ примърный офицеръ,—прибавилъ онъ коменданту, указывая на куцый и узкій, новой прусской формы кафтанъ Мировича: — но это, сударь, жалко, — не изъ вашихъ! Срамъ, срамъ, говорю я. шалберничество, вертопрашіе! У того шляпа, какъ съдло на коровъ, у этого—сукно неуказанной толщины, портупел безъ бляхи. Не потерплю того, — слышите ли? — Saperment! не потерплю... У васъ самихъ, господинъ комендантъ, епанча не по табели... кошкинымъ мъхомъ подбита... Бабамъ шубки такія носить, а не военнымъ! Служба тутъ ни ползетъ, знать, ни ъдетъ...

«Великій Боже!—думаль тымь временемь, глазъ-на-глазъ передъ государемь, Мировичь, — о, люди! видять ли меня? чудо чудное! Война, каторга походовъ не вывезла, вывезъ новый кафтанъ... Иные всю забитую, затертую, оплеванную жизнь добиваются, стремятся, а мнв легко такъ выпало на

долю... Ужли жъ сейчасъ подойдеть, станеть, въ отличіе другимъ, говорить со мной, разспрашивать?..»

— А это, это что? — шагнувь вь сторону оть Мьровича, напустился вдругь Петрь Өедоровичь на помощника пристава, выпялившаго глаза, солдафона Власьева: — мало тебъ, сударь, что въ старой, отмъненной формъ, да и ту еще небрежительно изволишь содержать!.. Что глядишь?.. Третья пуговка оть галстука — ногами вверхъ пришита... Развъ то порядокъ? дисциплина? Такъ по обержамъ только шляться, а не на службъ!.. Чтобъ то было все записано и мнъ доложено! — заключилъ Петръ Өедоровичъ, направляясь къ выходу изъ кръпости: — пріъду въ маъ, чтобъ все было въ аккуратъ, да не инако, какъ со старательствомъ... Будьте на-сторожъ, господинъ комендантъ... узнавайте гарнизонный уставъ... Васъ перваго заставлю прометать весь артикулъ...

Государь подошель къ воротамъ. Унгернъ накинулъ на него снятую съ Ивана Антоновича шинель. Петръ Оедоровичъ глянулъ къ башнѣ, гдѣ оставилъ принца. На опустѣвшей площадкѣ, попрежнему, расхаживалъ часовой. — «Бѣдный! опять заперли тебя!»—со вздохомъ подумалъ государь. Онъ отвернулся, взглянулъ къ дому Чурмантѣева, гдѣ стояла Поликсена, но и ея тамъ ужъ не было.

«И только, — сказаль себь, оставленный отхлынувшей толой, Мировичь: — и для того были ожиданія принца, грезы, мечты? Чёмь порёшиль онь судьбу несчастнаго? Ужли ничёмь? Ужли уйдеть, и никогда болье хоть бы и мнь, мелкой сошкь, ничтожеству, праху оть его ногь, никогда болье не придется стоять такъ близко возлѣ него, глядёть на него, его слушать? А я готовился всю правду сказать о принцѣ, просить о себь... Проклятая судьба, проклятая!.. Быль одинь случай, и тоть пропустиль...»

- Эй! оранжевый воротникъ! долетълъ до него тотъ же ръзкій, далеко слышный голосъ: милости-съ, пожалуй-ста-съ. Интересоватъ васъ видъть поближе...
- Васъ зовуть, васъ! заговорили вкругъ Мировича бледныя, заискивающія лица.

«Иди, говори, проси!.. все теперь исполнить!» — жгучей волной пронеслось въ головь Мирэвича. Онъ встрепенулся, журавлемъ, въ темпъ отоивая на прусскій ладъ шаги, по-

шель къ воротамъ и, съ рукой у треуголки, вытянувшись, замеръ передъ императоромъ.

 — Эссена, бывшаго нарвскаго полка? — спросилъ Петръ Федоровичъ.

— Точно такъ, ваше величество...

-- Фамилія?

Мировичъ назвалъ себя.

- Въ командировкћ или въ отпуску?

— Въ командировкъ былъ изъ штаба, теперь по домашнимъ дъламъ въ отпуску.

Чурмантвевъ объяснилъ императору, что Мировичъ женихъ, посватался за его бонну.

Глаза государя весело блеснули.

- А! очень радь!—добродушно усмъхнулся онъ:—вкусъ недуренъ, шельмовская парочка будетъ, хоть куда... Aber voyons!.. Невъсту я, кажись, ужъ встръчалъ; при покойной теткъ служила... мы вмъстъ танцами забавлялись... А ты при комъ въ штабъ атташированъ былъ?..
- Генеральсъ-адъютантомъ при Панинъ, отвътилъ Мировичъ.

Государь поморщился.

— Перемиріе, господа, подписано! — сказаль онь, круто обернувшись къ гарнизоннымъ властямъ и щелкнувъ шпорами:—gratulire, поздравляю! скоро и вовсе конецъ войнъ...

Всь модча отвъсили поклонъ.

— Собираясь сюда, — продолжаль Петрь Өедоровичь: — я въ печать отдаваль полученныя кондиціи перемирія; скоро явятся въ въдомостяхь... Доводьно изъ пустяковъ кровь проливать. А тебя, господинъ подпоручикъ Мировичь, — за добропорядочное выглядвнье и молодецкую муштровку даже внѣ фронта, — жалую, не въ примъръ прочимъ, персональнымъ моимъ порученіемъ... отчисляю отъ Панина въ столичный гарнизонъ...

Кровь бросилась въ голову Мировичу.

- «Вотъ когда, вотъ! мелькнуло у него въ умѣ: Боги! фортуна! внемлю твоимъ велъніямъ!» сказалъ онъ себь, съ забившимся сердцемъ, опускаясь передъ государемъ на одно кольно.
- Явись завтра на вахтпарадъ! продолжалъ Петръ Федоровичь: — или нътъ, еще день даю тебь въ презентъ... побудь съ невъстой, — послъзавтра... Рапортуй себя на

плацу оберъ-кригскомиссару... Понялъ?.. Онъ ужъ дальше о тебь доложить... Оть коллегіи курьеромъ повдешь, дальнъйшими негоціи о миръ, къ Бутурлину... А какъ возвратишься назадь, -- глаза императора опять добродушно и весело забъгали: — вови, батюшка, на пиръ, на свадебку... Très content, très content!.. Въ память тетки, изволь, самъ я и посаженымъ быть готовъ... не просишь?

Мировичъ былъ ошеломленъ, потрясенъ. Вокругъ него раздавались поздравленія. Ему жали руки, что-то ему говорили. Онъ ничего не понималъ. Безсознательно ответивъ на вопросъ тайнаго государева секретаря, на ходу записавшаго объявленное о немъ повеление, онъ увиделъ, что всв бросились изъ крвпости на берегъ за императоромъ, и самъ пошелъ туда же, вследъ за другими.

— Herr Du mein Heiland ist das ein Volk!—садясь въ катеръ, сказалъ Унгеру Петръ Оедоровичъ: — крокодилово отродье! — б'ёдный принцъ!.. Изъ ума нейдегъ... А гд'ё-жъмы, voyons, господа, важныя діла сділавши, нашу солдатскую трубку выкуривать будемъ?

— Alles ist im Posthause bereit, Majestät!—подсаживая

государя, отвътилъ баронъ Унгернъ. На городскомъ берегу Петра Өедоровича встрътила депутація отъ крестьянъ и мінанства. Впереди нісколькихъ, безъ шапокъ, старыхъ и молодыхъ, въ тулупахъ и охабняхъ, бородачей, къ нему выступиль, съ хлюбомъ-солью, высокій, тощій, сь тусклыми оловянными глазами желтолицый и, какъ юноша, безбородый петербургскій мізшанинь, недавно записавинійся въ здішніе купцы. Посадскій приставь, з івидівь его съ лодки, сталъ бълъ, какъ снъгъ. Купчина былъ тамошній салотопенный заводчикь, изъ толка бігуновь, извъстный въ околоткъ и въ столицъ скопецъ Кондратів-Селивановъ. Онъ содержаль въ Шлиссельбурга подворье, гдв стояль и Мировичъ.

 Государь-батюшка, второй нашь искупителы—сказаль, опускаясь на кольни, Селивановъ: — быотъ насъ, мучатъ іуден, злы посадски фарисеи! ты одинъ нашъ надежа! Сокатился съ небеси... Удостой, батюшка, своимъ зайздомъ върныхъ, хоть и малыхъ твоихъ людишекъ... Заводъ мой тута неподалечку, въ лесу, и тебе, сударь, по дороге...

 Уважь, родимый, уважь, батюшко!—поклонились прочіе изъ толиы.

— Сектантъ! — вполголоса сказалъ Унгернъ: — приставъ аттестуетъ, — раскольщикъ...

— Въроправность... der Glaube muss frei sein — отвъ-

тилъ императоръ.

Петръ Оедоровичъ завхалъ къ Селиванову. Тамъ государь кушалъ завтракъ, было притомъ куреніе всею компаніей трубокъ и обильное угощеніе всей свиты. Доставались и приносились изъ погребовъ водянки-холодянки, бархатное пиво, вина и сладкій медокъ.—Уъзжая, государь пригласилъ Селиванова на свои именины въ гости, въ Ораніенбаумъ.—«Къ попу въ кръпости не зашелъ, не заглянулъ и въ церковъ»—шептали по курнымъ, темнымъ хатенкамъ, на рынкъ и по кружаламъ въ городъ: — «а къ толстосуму-скопцу за-ъхалъ... Знать, близки послъдни времена».

На обратномъ пути съ Петромъ Оедоровичемъ въ возкѣ ѣхали Корфъ и Волковъ. Волковъ дремалъ. Корфъ усердно бесвдовалъ съ государемъ. Угощенія на Седивановскомъ заводѣ развязали словоохотливый языкъ стараго барона. Онъ то смѣялся, то сыпалъ забавными, городскими анекдотами. Передразнивая тѣхъ, о комъ говорилъ, онъ сообщилъ, между прочимъ, свѣжія сплетни о недовольствѣ уволеннаго на отдыхъ отъ всѣхъ дѣлъ, графа Алексѣя Разумовскаго и о новыхъ любовныхъ интрижкахъ стараго и беззубаго подагрика, князя Никиты Трубецкого. При этомъ зашла рѣчь и объ Орловыхъ... Корфъ помолчалъ, что-то подумалъ и спросилъ государя, слышалъ ли онъ о томъ, что Шванвичъ, изрубившій младшаго изъ Орловыхъ, вновь показался въ Петербургѣ?

- Фанфаровъ и трусъ, этотъ твой Шванвичъ! и чего онъ ретировался! сказалъ, нахмурясь, Петръ Оедоровичъ: не худо бы и другого, старшаго изъ Орловыхъ, ему въ дисциплину привести... Нашъ риваль Григорій ужъ больно фанаберитъ... да не по носу табакъ... А съ жонушкой мы еще посчитаемся...
- Обсервирую, ваше величество, обсервирую! сказалъ Корфъ: всв акціи, всв плутовства ихъ у меня пренумерованы... Моментъ, ассюрирую васъ, моментъ, и всвхъ накрывать будемъ...

Государь улыбнулся, весело посвисталь.

— И у меня, баронъ, резонабельный и бравый прожек-

тецъ изготовленъ, — сказалъ онъ: — свътъ изумится! Потер-

Поздно за полночь оба возка въёхали въ Петербургъ! Волковъ, уткнувшись въ уголъ кареты, храпълъ. Корфъ также начиналъ подремывать.

- Э, браво, тайный мой конференцъ-секретарь спить, обратился Петръ Өедоровичъ къ Корфу:—даешь слово молдать?.. ein Wort—ein Mann?
 - Ich schwöre! клянусь, ваше величество!
- Такъ держи-жъ секретъ--вотъ, что мив соввтуютъ... И ты, какъ честный солдатъ, пособляй мив во всемъ... Въ мав, или—что то же—въ іюнв, возьму Иванушку изъ крвпости въ Петербургъ, обвенчаю его съ дочкой моего дяди, принца Голштейнбекскаго, и прокламирую, какъ своего наследника...

Корфъ помертвълъ.

— Herr Gott!.. А государыня, а вашъ сынъ?—спросилъ онъ подъ скрипъ тяжелаго возка, нырнувшаго въ уличный громадный ухабъ.

Дремота мигомъ слетъла съ головы барона.

- Мейне либе фрау, улыбнулся императорь: я постригу въ монахини, какъ сдёлалъ мой дёдъ, великій Петрь, съ первою женою пусть молится и кается! и посажу съ сыномъ въ Шлиссельбургъ, въ тотъ самый домъ, который для принца Ивана велёлъ построить... Ну? was willst du sagen? И домъ тотъ будеть имъ похоронный катафалкъ, каструмъ долорисъ...
- Lieber Gottl ist das möglich, Majestät? Чтобъ съ того не вышла гибель для государства, а то и для васъ самихъ...
- Пустяки! vogue la galère!.. сдумано, сдѣлано! сказалъ Петръ Оедоровичъ: — таковъ мой рыцарскій девизъ... Не отступать, чортъ поберн, не отступать! Что? форсировано маленько? Трусишь? Wir wollen, голубчикъ, ein bischen Rebellion machen...
- Что моей роли касается, можете, ваше величество, фундаментально спокойны быть, отвётилъ генералъ-полицеймейстеръ: — meine Ergebe nheit... моя преданность къ вамъ, Majestät, изъ мрамора, изъ гранита... и тайну эту изъ моей души до смерти не вырвутъ...

На другой день, поздно вечеромъ, Корфъ подъвхаль, съ

Мойки, къ аппартаментамъ императрицы, былъ тайно, по черной лъстницъ, къ ней введенъ и сообщиль ей все слышанное отъ императора. Но его предупредили...

Волковъ еще ранве, а именю утромъ того дня, проникъ къ каммеръ-фрау государыни, Катеринв Ивановив Шаргородской, и черезъ довъренную особу,—съ которой онъ давно ужъ велъ на всякій случай переговоры,—сообщилъ Екатеринв Алексвевив не только то, что говорилъ государь Петръ Оедоровичъ, но и то, что было притомъ отвъчено Корфомъ.

«Петровцы» замътно начинали переходить въ дагерь «Екатериновцевъ». Приближались событія, такъ характерно названныя въ одномъ изъ украинскихъ мемуаровъ того времени «похожденіями извъстныхъ петербургскихъ дъйствъ».

МИРОВИЧЪ.

(1762—1764 r.)

TOMAND

ЧАСТЬ ВТОРАЯ.

похожденія повъстныхъ петербуріскихъ дъйствъ.

-«Роковая минута приблежалась...» Арапъ Петра Великаю.

X.

Помощница пристава.

Нежданное посъщение императоромъ Петромъ Өедоровичемъ шлиссельбургской тюрьмы и посылка Мировича съ бумагами въ заграничную армію возбудили немало толковъ и подозрвній въ высшей столичной петербургской средь.

Голштинская партія еще болье подняла голову. Хотя ея вожаки старались соблюдать тайну, но по ихъ лицамъ, движеніямъ, двусмысленнымъ улыбкамъ и рычамъ можно было догадаться, что при дворы затывалось нычто необычайное. Представители русской партіи — друзья императрицы — съ тревогой всматривались въ близкое будущее.

Пчёлкина изъ первыхъ узнала о последствіяхъ свиданія государя съ его несчастнымъ родственникомъ. Въ участи секретнаго арестанта, очевидно, готовились новыя облегченія. Комендантъ и старшій приставь, князь Чурмантевь, суетились, шептались, готовились приступить къ чему-то, что волновало и смущало ихъ всёхъ.

Мпровичь вывхаль въ Петербургъ, черезъ сутки послъ

отъйзда государя изъ Плиссельбургской крипости, и написаль оттуда Пчёлкиной, что его снарядили за границу, дали ему щедрое пособіе на подъемъ, а вскор'й изъ Нарвы онъ сообщилъ ей, что ужъ находится по пути къ отряду Бутурлина.

Пчёлкина старалась собраться съ мыслями, обдумать свое положение, успоконться,—и волновалась болье. Все, что съ нею произошло въ послъднее время, было такъ неожиданно,

такъ странно.

Она вспомнила свой прівздь въ Шлиссельбургь, перебирала въ умв мальйшія подробности первыхъ дней своего пребыванія въ семьв Чурмантвева. Здісь она думала найти миръ отъ треволненій недавней дворской жизни; но, узнавъ нъкоторыя подробности о неизвъстномъ арестанть, томившемся въ соседней съ домомъ пристава Светличной башив, она потеряла душевный покой. Таинственный, незнаемый свътомъ образъ несчастнаго колодника сразу приковалъ къ себъ вниманіе Пчёлкиной. Дни и ночи на-пролеть она думала о немъ, жадно прислушивалась къ малейшему о немъ намеку въ крвпости, старалась по своему представить себв его незримыя, скрытыя за ствиами Светличной башии, черты. Тогда еще не было случая съ пожаромъ въ помъщеніи принца; таинственный, столь оберегаемый узникъ находился черезъ дворъ, противъ квартиры пристава, въ особомъ секретномъ кавематъ. Поликсена не спускала глазъ съ крыльца этой башни, гдъ, молча, ходилъ съ ружьемъ часовой и всякій вечерь вверху тускло освіщалось, огражденное черной ръшеткой, узкое окно. Разспрашивать Чурмантьева Пчелкина боялась; но добродушный приставь самъ иной разъ роняль то или другое слово о заключенномъ. Онъ отъ души жалълъ порученнаго ему страдальца и радовался всякому слуху, изредка долетавшему изъ столицы о возможности улучшенія его судьбы. Перемінь, однако, тогда еще не было. Дни шли за днями въ той же, давно размъренной, мертвенно-тихой и однообразной средъ.

Кончивъ занятія съ дѣтьми, Поликсена садилась съ работой въ ихъ классной, и въ то время, когда дѣвочки Чурмантѣева играли въ куклы, бѣгали и рѣзвились, принималась упорно думать о «молчаливомъ призракѣ», томившемся въ таинственной башаѣ. Каковъ онъ, да что съ нимъ? Какъ отразилась на бѣдномъ затворникѣ двадцатилѣтняя, ной туда арестантской аммуниціи и провизіи, у наружныхъ дверей поставили особаго часового. Такія перемъщенія въкрыпости не были новостью.

Чурмантвевъ могь успоконться. Кромъ гарнизоннаго фельдфебеля да фельдшера, никто бы и не зналъ, гдъ именно находится ввъренный ему Безыменный арестантъ. Но, сперва незамъченный, вывихъ ноги вскоръ далъ себя знать Чурмантвеву.—«Вогь, сударыня, одного буйнаго колодника перевелъ я подъ свой кровъ и фаворъ»,— сказалъ онъ Пчелкиной, пробираясь утромъ съ ключами и съ чашкой арестантской стряпни, черезъ двъ нежилыя горницы, бывшія за дътскою спальней и носившія названіе «старой кладовой». Этихъ комнатъ давно никто не видълъ, и онъ въ послъдніе годы были подъ замкомъ. Сходилъ туда Чурмантвевъ еще разъ въ объдъ, потомъ вечеромъ, въ ужинъ; но къ ночи слегъ и разохался: ни спать, ни състь отъ опухшей, ломившей ноги.

- Охъ, къ Власьеву написать, что ли, въ Ладогу, говорилъ со стономъ приставъ: вызвать бы его... и куда, въ самомъ дълъ, одному со всъмъ справиться?
- Хорошо сдёлаете,— сказала Поликсена: диктуйте, и принесу бумаги и перо.

— Нътъ, матушка, подожду ужъ... Не полегчить ли къ утру?

А за ночь хватила лихорадка, жаръ и бредъ. Чурмантъевъ метался въ безсонницъ, поминутно звалъ къ себъ няню-чухонку, что-то все собирался ей сказать и не могъ: она была совсъмъ глухая и мало понятливая баба.

«Не догадается, не пойметь,—думаль о ней, мучась, Чурмантьевь, — но другимъ можеть придти въ голову, станутъ ее пытать, и она объявить секреть».

На разсвътъ Поликсена пришла провъдать больного князя. Онъ лежалъ съ открытыми, горъвшими, испуганными глазами.

- Что съ вами?-спросила она.
- Тотъ-то... колодникъ-то, прошепталъ Чурмантвевъ, поднимаясь и шаря рукой подъ подушкой: свъжей водицы бъ ему, клъба, молока... дура эта чухонка... фельдфебеля звать не хочется.
 - Давайте, я ему снесу; д'вти еще спять.
 - И онъ кстати спить... Отнеси, матушка; тамъ пере-

городка, и опять дверь... отомкин, поставь бережно и скорехонько уходи. Охъ, онъ въдь... за всъмъ слъдять...

Голова Чурмантъева закружилась. Онъ не договорилъ, подалъ ключи и въ изнеможени упалъ на постель. Поликсена была въ красивой ночной блузъ. Накинувъ на голову платокъ, она пробралась въ бывшую кладовую. Няни и дъти. еще спали. Утренніе лучи уже пробивались съ надворья Пчёлкина отперда первую дверь, вторую; тихо нажавъ последнюю дверную ручку, она ступила за порогъ. — «Кто, однако, этотъ заключенный?—спрашивала она себя: фанатикъ-раскольникъ, бунтовщикъ противъ власти, или важный военный дезертиръ? И каковъ онъ изъ себя? где спитъ? старый или молодой? Или впрямь это тотъ самый... таинственный, запратанный сюда, принцъ, о которомъ говорять?»

Поликсена помедлила при входъ. Въ комнатъ было темно. Она отодвинула складной, внутренній, оконный ставень, оглянулась вокругь себя. Вправо отъ входа, на железной, заржавленной кровати, покрытой старымъ сбитымъ войлокомъ, въ посконной мужичьей рубахв и въ запошенныхъ, на босу ногу, башмакахъ, спаль худощавый, блёдный молодой человъкъ. Русые, длинные волосы мягкими прядями укрывали подушку и часть красиваго, съ рыжеватой бородкой, лица. Нъжная, женственно-бълая рука свъщивалась изъ-подъ наброшеннаго на спящаго грубаго матросскаго плаща.— «Такъ молодъ-и ужъ колодникъ, — подумала Поликсена, бережно ставя воду и завтракъ на столъ, гдв лежала полураскрытая, почерньлая, старой церковной печати, книга, -- скорбе -- раскольникъ, ихъ архимандрить или епископъ — и, видно, опасный», — досказала себъ Поликсена, отходя къ порогу.

Арестантъ проснулся, вскочилъ, присълъ на кровати; его испугало невиданное явленіе. И никогда, въ остальные годы жизни, Поликсена не могла забыть этихъ кроткихъ глазъ и этого изумленнаго лица.— «Принцъ!» — подумала она, чувствуя, какъ молнія пронеслась у нея въ мысляхъ, обдавъ ее страхомъ и мучительной радостью. Она окаменъла.

Арестантъ протянулъ передъ собой руки, протеръ себъ глаза и что-то заговорилъ несмълымъ, молящимъ шопотомъ. Что говорилъ онъ въ это время и за кого принималъ, въ полу-сиъ, въ полу-сознании, вошедшую къ нему гостью— трудно было ръшитъ. Въ его дътскихъ впечатлъніяхъ оста-

лись смутныя воспоминанія о другомъ подобномъ, ласковомъ и нежномъ существе; но то была жалкая, высокая и худая особа, съ въчно-заплаканнымъ лицомъ, въ черномъ, траурномъ платью, и съ глазами, полными ужаса и скорби. Арестанту впоследствіи казалось, или ему это говорили, что то была его несчастная, сосланная съ нимъ мать, принцесса Анна Леопольдовна. И онъ часто, съ болью сердца, раздражительно думаль о прошломъ, приставаль къ окружавшимъ съ разспросами о ней, старался мысленно себъ представить эту далекую, дорогую, заплаканную мать. Нередко, въ смутномъ тяжеломъ сне, Иванушке мелькалъ на мигь ея неуловимый, скорбный и вывств плвнительный, куда-то, въ безжалостный мракъ, убъжавшій образъ. И вдругь ему снова теперь показалось, что онъ спить и во сив нежданно увидель этоть образь. Неть, это не она. Той нельзя было разглядеть, какъ онъ ни усиливался, какъ ни мучился. А эта — вонъ она стоить, у двери; ея свытыме, чарующіе глаза смотрять на него съ удивленіемъ и участіемъ, легкій стань ея колеблется, ярко-цевтная блуза шелестить... Щелкнулъ дверной замокъ, -- гостья скрылась...

Съ того дня Пчёлкина стала безпрепятственно навъщать арестанта. Чурмантвевъ хоть и сознаваль неудобство этихъ свиданій, но было трудно ихъ изб'яжать: онъ лежаль больной, неподвижный. Въ Петербургъ о его бользии не рапортовали. Притомъ изъ столицы неслись утвшительныя въсти; вездъ сказывались облегченія, послабленія. — «Авось вспомнять и насъ, забытыхъ, не казнять, — думаль приставь, прикованный вывихомъ ноги къ постели, - Богъ мнв послаль помощницу разумную, скромную». -- И действительно, Ноликсена держала себя такъ обдуманно, строго. Лишиняю слова не скажеть: осмотрительна, горда. Сторожей надо ли впустить, убрать комнату принца, — она выведеть арестанта, запреть въ смежную пустую горенку, - впустить фельдфебеля къ князю, за ключами, — а сама накинетъ шубку и стоить у наружныхъ дверей, пока гарнизонные солдаты метуть, моють полы и проветривають помещение принца.

Днемъ Поликсена приносила пищу, питье и книги арестанту; ночью сама читала съ нимъ, учила его писать, чертила ему виды кръпости, озера, окрестныхъ мъстъ, разсказывала о Петербургъ. Замътивъ его заиканіе, а при волне-

нін даже косноязычіе, она заставляла его медлемно, внятно читать и повторять за нею трудныя для него слова. Затворникъ оказался вовсе не такимъ малосмысленнымъ, слабымъ ребенкомъ, какимъ его представляла себъ Поликсена. Онъ былъ смътливъ, находчивъ, и когда ничто его не раздражало, — быстро усвоиваль новыя понятія и радовался всему безгранично. Эта радость иногда переходила въ веселость, неудержимую смешливость. Принцъ вскакиваль, прыгаль по комнать, делаль забавныя выходки. — «Боже, когда бы скорве, скорви! — торопилась и трепетала Поликсена, со страхомъ приглядываясь къ работъ, производившейся въ постоянной тюрьм'в арестанта: — усп'яю ли все ему передать, разсказать?»—Она видёла, какъ по ночамъ, черезъ дворъ, съ фонарями, выносили изъ башни мусоръ, закопченный кирпичъ; новая труба поднялась на крышъ; вымели кучу щепокъ съ крыльца; устроили у лъстницы творило для извести, и, подъ конвоемъ инвалидовъ, сталь ходить въ башию, съ ведеркомъ и съ кистью, посадскій маляръ. Переділки подходили къ конпу.

Разъ, — это было вечеромъ, — къ больной ногѣ Чурмантъева, дня за два передъ тъмъ, привязалось рожистое воспаленіе, и онъ чувствовалъ себя очень неладно. Поликсена прошла, съ корзиной кушанья и новой книгой, къ арестанту. — «Пусть себъ, — думалъ, глядя на нее, приставъ, — не велика бъда: не встану, умру, — хоть добромъ помянутъ за неповиннаго, всъми забытаго страдальца!» — Поликсена вошла къ узнику, замкнула за собою дверь, надвинула оконный ставень, зажгла принесенную восковую свъчу и раскрыла книгу. Арестантъ сълъ рядомъ съ нею у стола. Она смотръла на него, стараясь проникнуть въ его мысли. Что думалъ о ней принцъ? чего ждалъ отъ нея, отъ своей судьбы? Онъ былъ не по себъ; смотрълъ сумрачно. Тихо взявъ ее за руку и нъжно глядя ей въ глаза, онъ робко коснулся къ этой рукъ губами.

- Что вы?—спросила, вспыхнувъ, Поликсена.
- Всв ли вы... таковы?—произнесъ Иванушка.
- Много есть лучие, отвътила Поликсена
- Имя твое?
- На что вамъ имя? зовите другомъ...
- Останься, не уходи... будь въчно со мной!
 Арестантъ прижалъ руку гостьи къ своей груди.

- Другъ, прикажи меня выпустить,—сказалъ онъ:—въдь всъ тебя послушаютъ.
 - Ошибаетесь, я вдёсь подначальная.
 - Ты не человъкъ... духъ съ неба, планида.
 - Человъкъ, и самый послъдній, ничтожный.
- Ножь возьми и ихъ убей!—сказаль арестанть, сверкнувь глазами.
- Одного убить, останется много другихъ, отвётила Поликсена:—-терпите, молите Бога, принцъ! время придетъ, вы будете свободны.

Колодникъ слушалъ и не могъ понять, почему эта стройная красивая дъвушка, отъ каждаго движенія, слова, отъ каждой складки платья которой въяло такимъ обаяніемъ, была не въ силахъ дать ему волю, его спасти.

- Меня всего лишили?—спросиль онъ:-всего?
- Что вы хотите этимъ сказать?
- Были другіе такіе мученики?
- Были... Несчастныхъ, какъ и васъ, лишали престола, царства.
 - А скажи, кому-нибудь возвращали то, что отнято?

Пчёлкина разсказала узнику о французскомъ королъ Карлъ Седьмомъ, и о его избавительницъ, крестьянской дъвушкъ изъ Орлеана. Иванъ Антоновичъ слушалъ ее съ замираніемъ сердца, и когда она кончила разсказъ, схватилъ ее за руку и, страстно прижимаясь къ ней, сталъ проситъ, чтобъ и она вымолила у Бога чудо, спасла его отъ гонителей и тюрьмы. Его дътски-молящая, несвязная ръчь, слезы и сильныя, мужественныя объятія заставили Поликсену опомниться. Она его отстранила, стараясь его успокоить.

- Вы будьте готовы, если думаете уйти, можеть-быть, я приду или дамъ знакъ, — сказала она.
 - Приказывай, зови.
 - А если откроють, догонять, убьють?
- Пошли, Боже, муки, смерть! лишь бы ты... лишь бы съ тобой...

Поликсена встала. Въ ея спокойныхъ, строгихъ глазахъ блеснулъ ръшительный лучъ. Она положила руки на плечи узника, растерянно и съ робкой надеждой смотръвшаго на нее; судорожно сжала тонкіе пальцы, притянула его къ себъ

и, страстно прикоснувшись губами къ его блёдной, исхудалой щекъ,—пошла къ двери.

Арестанть обезумыть, замерь.

— Куда, куда? — крикнулъ онъ, кинувшись за ней: — свътъ... радость!

Дверь захлопнулась, все стихло.

Весь слѣдующій день Поликсена ходила, какъ потерянная. Вечеромъ этого дня, послѣ долгой разлуки, она неожиданно свидѣлась, у священника, съ Мировичемъ. Мысль о помощи принцу возродилась въ ней съ новой силой. Она терялась въ предноложеніяхъ, планахъ, догадкахъ. И подыскался случай, указавшій, какъ ей дѣйствовать.

Ведя дітей на исповідь, она впопыхахь забыла замкнуть дверь временного поміщенія узника и тімъ вызвала нежданную встрічу съ нимъ Мировича.—«Судьба!»— сказала она себі, и туть ей пришло въ голову — откровеннымъ, безыменнымъ письмомъ побудить государя къ посіщенію Шлиссельбургской тюрьмы. Ея смілый планъ удался, но не такихъ она ожидала послідствій. Царственный узникъ оставался, попрежнему, въ заточеніи; женихъ Поликсены былъ усланъ за границу, а Чурмантівеву къ Пасхі объявили, что онъ заміненъ другимъ и переводится, въ уваженіе его заслугь, на покой, въ одну изъ пограничныхъ крівностей, за Волгу.

Князь Чурмантьевъ, передъ вытадомъ, быль вызванъ въ Петербургъ, для нъкоторыхъ объясненій въ особой комиссіи — изъ Нарышкина, Мельгунова и Волкова, которымъ отнынъ было поручено въдать дъла арестанта Безыменнаго. Князь уталъ, а дътей съ Пчёлкиной на время оставилъ, вслъдствіе весенней распутицы, въ домъ священника.

Преемникъ Чурмантъева, премьеръ-майоръ Жихаревъ и его помощники, капитаны Батюшковъ и Уваровъ, приступили съ Бередниковымъ къ обсужденію мъръ для исполненія личныхъ приказаній императора объ арестантъ. Имъ, по поводу этого, изъ Петербурга писалъ Унгерцъ: «арестантъ, послъ учиненнаго ему посъщенія, легко можетъ получить какія-либо новыя, неподходящія мысли; а потому всячески удерживайте его отъ новыхъ пагубныхъ вракъ,—о здоровьъ жъ, о воздухъ заботьтесь».

Первую прогулку съ арестантомъ сдѣлали послѣ Пасхи, сочиженія г. п. давилевскаго. т. 1х.

- Я всё планиды знаю, сказаль вдругь арестанть:— всё, всё, до одной...
- Что же вы знаете о нихъ?—спросилъ, зѣвнувъ, Жихаревъ.
 - Въ окно высмотрълъ... какъ и что кому обозначено...
 - И что-жъ на нихъ обозначено?
 - Вонъ та, бълая... вонъ одна-то... видишь?.. это моя.
 - · Ну, а тъ, подалъе?
- Голубенькая государева... Всъ ночи глядъть на нихъ, допытывался... спрашиваль ихъ.
 - И что-жъ вы спрашивали?

Арестанть замолчаль; въ досадливомъ нетеривніи, молчаль и приставъ. Ночная какая-то птица въ это время налетвла на нихъ и, пугливо шарахнувшись, унеслась въ сторону, къ темному бастіону.

— Не выпустить царь, —продолжаль арестанть: — не быть

ему въ счастьв...
– Врете, сударь; охота пустое врать!

- Видишь? голубая планида, раньше былой, за облакъ зашла?.. Ну, раньше моей закатится его доля...
- Чепуху, несуразное, сударь, говорите, —строго сказаль, оглядываясь, Жихаревъ: —не бросите вранья, по начальству отпишу... Вамъ облегчение, милости, а вы... пора по угламъ...

Арестантъ и его стражъ спустились съ куртины, сощли въ крѣпость и, церковнымъ садомъ, приблизились къ гауптвахть. Изъ-за распускавшихся деревъ показался домъ священника. Принцъ взглянулъ туда, тихо вскрикнулъ и бросился впередъ.

- Куда вы, куда?—сказаль Жихаревь, схвативь его за руку.
- За выступомъ дома, у крыльца священника, стояла Пчёлкина.
- Ой, да пусти же ты, грубіянъ!—крикнулъ, вырываясь, арестантъ:—другъ, другъ!.. Ты здёсь? вотъ я, спаси...
- Сударыня, уходите, произнесъ приставъ: прошу васъ, приказываю.

Арестанть вырвался, добѣжаль къ крыльцу.

— Гдѣ была? гдѣ? — задыхаясь, шепталь онъ Поликсенѣ:—столько дней не слыхаль голоса... — Идите, покоритесь, —проговорила Пчёлкина: —и помните, гдъ бы вы ни были, —я васъ не покину, найду...

Жихаревъ крикнулъ стражу съ гауптвахты. Караулъ окружилъ арестанта, который кидался на солдать и бъщено отъ нихъ отбивался.

- Дикіе вы авъри!—кричаль онъ:—кого слушаете? государь волю миъ далъ, а вы не пускаете... самъ я государь...
- Успокойтесь, сударь; что вамъ угодно? спросиль Жихаревъ.
 - Не хочу въ старую нору.
 - Новое помъщение не готово.
 - Къ попу переведи, вотъ сюда...
 - Здъсь тъсно, да и негоже для васъ, не пустятъ.
- Иди, собака, и проси... Знаешь самъ, каковъ я родомъ человъкъ!
- Слушаю, сударь, отвътиль, найдясь, Жихаревъ: вы точно не простая персона, а потому надо по приличности очистить здъсь горницы. Пойду къ священнику, а пока переждите на старомъ мъстъ.

Арестантъ сдался. Жихаревъ его заперъ попрежнему въ казематъ и поставилъ къ нему у башни двойной караулъ. Ичёлкину на утро выпроводили изъ крвпости. Написавъ Чурмантвеву, она съ его двтьми перебралась въ шлиссельбургскій посадъ.

Такъ прошло двъ недъли. Узникъ впалъ въ безнадежное отчаяніе. Имъ овладъли порывы неукротимой злобы и сви-

рвнаго, звърскаго бъщенства.

Часовые, на утренней смінів, сообщали приставу и коменданту о безсонных в ночахъ, проводимыхъ принцемъ. Свин и узкій проходъ передъ казематомъ оглащались раздирающими душу стонами и криками узника. Онъ бісновался безъ умолку, съ бранью и проклятіями, стучалъ скобой желізныхъ дверей, опрокидываль мебель въ комнатів, билъ стекла, рваль на себі платье и білье.

- Что вамъ, сударь, надобно?—спрашивали его часовые въ дверное, ръшетчатое окно:—эвтимъ манеромъ аммуницію искальчите... себь и казив ущербъ.
 - Ведите Жихарева, его, пса, надо...
- Аспидъ ты, крокодиль!—съ пъной у рта кричалъ узникъ Жихареву:—ее приведи... слышишь? ее...
 - Нельзя-съ, по статуту, убхала.

Разлюбить... въдь разлюбить... слово одно, хоть взглянуть!..

Арестанть грызъ себъ руки, хватался зубами за окон-

ную ръшетку.

«Еще въ Питерѣ узнають про экое озорство, — думаль, замирая въ страхѣ, приставъ, — ужъ когда бы скорѣе рѣ-шали, что съ нимъ и какъ! все Чурмантѣевъ натворилъ! донести о немъ, — да жаль бѣднаго, засудятъ»...

 Скорпіоны, аспиды! запали ихъ, Боже, сокруши! кричалъ день и ночь въ окно и двери узникъ: — змъй на

нихъ! камни! кляни ихъ! Боже, кляни...

— Бъсъ обуяль, испортили! сердечнаго — шептали въ съняхъ гарнизонные солдаты: — быль тихъ, а теперь бурябурей...

Забываясь краткимъ, тревожнымъ сномъ, арестантъ просыпался ночью, и еще тяжелье и горше было у него на душъ. Каменный сводъ давилъ, какъ гробъ. Отъ молчаливыхъ, бълыхъ ствнъ въяло холодомъ. Когда-то разсвътъ: Иванушка звалъ Поликсену, слалъ ей нъжныя слова. Бросится къ форточкъ каземата, распахнетъ ее, торопливо привстанетъ на ципонки и жадно вдыхаетъ свъжій, ночной воздухъ. Виденъ край темнаго хмураго неба. Вонъ бълая и голубая звъзды; высоко онъ мерцаютъ надъ кръпостью, ныряя въ налетающихъ облакахъ.

«Имъ вольно въ далекомъ небѣ, — мыслилъ онъ, — а я опять въ норѣ, опять взаперти». — Ночь проходитъ. Загорается блѣдное утро. Воробън чирикаютъ, галки ввлетаютъ, чистятъ длинные, жадные носы. Солнце поднимается. Крики жаворонковъ, соловьевъ доносятся съ полянъ, изъ лѣсистыхъ, просынающихся тайниковъ. Тамъ радость, тамъ жизнь. А эдѣсь? И кажется Иванушкѣ, что не соловьи и не жаворонки отзываются на берегу, а трубятъ чудотворныя золотыя трубы, нѣкогда рушившія стѣны Іерихона. — «Осанна въ вышнихъ! — шепчетъ узникъ: — Египетъ даде руку, Ассуръ въ насыщеніе ихъ... Но гдѣ Египетъ и гдѣ освободитель Ассуръ?..»

Арестантъ силился валомать ржавую, оконную решетку и

до крови ръзалъ себъ руки.

Нътъ спасенія, нътъ воли... Почернълая, закапанная воскомъ книга разогнута на столь. Слабый утренній свыть скользить по ней, и кропять ее горькія, жгучія слезы. Ива-

нушка читаеть, но нъть смысла и отрады въ прочитанномъ. Стъны глухи и нъмы, какъ могила. Кругомъ тишина.

«Бысть яко медвадь ловяй, яко левъ отъ сокровенныхъ» читаетъ Иванушка, добиваясь ответа на свои терзанія.

«Не левъ я,— жалкая мошка, комаръ!.. А тамъ, за ствной... тепло, воздухъ, люди и она... ха, - ха!.. звъри, убійцы! звъри»...

Дикій хохоть, будя утреннюю тишину, несся изъ темнаго окна узника.

XL

Надпись на воротахъ.

Мировичъ оставилъ Петербургъ съ легкимъ сердцемъ и полный давно неиспытанныхъ, радостныхъ ощущеній. Подъщумъ и плескъ вешнихъ водъ, онъ несся за границу на перекладной. Вотъ Луга, Псковъ, Двина—какъ море, берега Нѣмана. Весна въ Литвѣ стояла во всемъ разгарѣ. Тянулись вереницы дикихъ гусей, журавлей. Лѣса, водныя эаросли синѣли въ туманѣ, стонали отъ птичьихъ криковъ и свистовъ. Пахло березовыми, смолистыми листьями, ландышами.

«Женюсь, все брошу, — думаль Мировичь, миновавь границу, — возьму абшидъ, выйду въ чистую, и убду на родину — хлопотать о своихъ правахъ. Что намъ столица, блескъ жизни, фанфары, суета-суетъ? Поликсена сказала: когда не Питеръ, лучше убхать на твою Украйну, въ Переяславскій убадь, нагулялись бы мы тамь, по поясь въ полевыхъ травахъ, надышались бы цв втомъ яблонь да грушъ!.. Повезу ее. Нътъ своего угла на родинъ, добъемся его,--не черезъ себя, черезъ добрыхъ людей, а пока погостимъ у друзей. Никогда, кажись, такъ не жаждаль достатка; а ужъ для нея... она хочеть, и все будеть!.. И Михайло Васильичъ Ломоносовъ одобрилъ, когда я ему все разсказаль, по возвращении изъ Шлиссельбурга. Тамъ, на Трубежь, возль былого дъдовскаго Липоваго-Кута, — гдъ пчелы отцовскаго кума и гдв я бъгаль мальчикомъ... Вотъ гдъ рай... Хоть бы клочокъ родной земли! Панъ на загородъ равенъ воеводъ... Цъла ли та пасъка и живъ ли старый отцовъ кумъ. Майстрюкъ?..»

Солице грф 10. Мировичь дремаль и видель себя въ поле.

Золотыя волны высокой, спілой пшеницы шуршали и колебались кругомъ. Онъ шелъ гдів-то нивой, въ гору. На горів перковь; въ ней півнье, горять свівчи. Его ждуть вівнчать съ Поликсеной. А золотой пшеничной нивів нівть конца. Колышатся и шепчутся душистыя волны; онъ тонеть въ нихъ, выбивается изъ силъ. Мелькають алые маки, васильки; на нихъ качаются сизыя, съ рогами, жуколицы, глазатые, пушистые пауки... «Что же я-то? у меня віды крылыя есты» — думаетъ Мировичъ, распахнулъ крылья и летить надъ шуршащимъ моремъ и не видитъ колосьямъ конца. Поспіветь ли?.. Церковь даліве и даліве... Сердце замираеть. Онъ очнулся. Передъ глазами сірый жидовскій балахонъ. сгорбленная спина и рыжіе пейсы возницы. Станція, сміна лошадей...

Переговоры съ Пруссіей о заключеніи окончательнаго мира начались еще до прітада Мировича въ отрядъ Бутурдина. Съ одной изъ такихъ экспедицій, въ числѣ другихъ офицеровъ, попалъ снова въ Берлинъ и Мировичъ.

Къ концу мая, онъ прислать изъ-за границы презенты невъстъ: сърое тафтяное платье, бархатный алый камзолъ, черепаховыя подвъски, браслеты, склаважъ и модную, изъ оълой шали накидку—барбаръ. Презенты были присланы, съ оказіей, на имя Бавыкиной. Настасья Филатовна по-хвастала ими Ломоносову.

- Вкусу немало, сказалъ, разглядывая жениховы подарки, Михайло Васильевичъ.
- Такъ-то такъ, произнесла, покачавъ головой, Филатовна: — только гдв онъ, прокуратъ, денегъ на все это досталъ? Ужли въ карты опять резаться началъ? Какъ думаете, ваше высокородіе?
 - Ужь и въ карты, матушка, экія вы!..
- А и въ самомъ дѣлѣ, можетъ, не въ карты! сказала, обрадовавшись, Филатовна: въ гору, пожалуй, пошелъ; вѣдъ смышленый, хотъ куда; ну, и отличаютъ... гляди-косъ, еще съ оргеномъ воротится...

«Мий-то только, бездольной, что двлать?—подумала, вздохнувъ, старуха, — куда двться? ужли такъ-то все торговлей на старости лътъ по улицамъ маяться? видно и впрямь, вълюди на мъсто идти!»

Къ первому дию Иасхи императоръ Петръ Оедоровичъ

перевхаль вы новый зимній дворець. Строитель его, Растрелли, получиль голтшинскую Анненскую звізду, съ надписью: «Атаптівия justitiam, pietatem, fidem». — Императрицу государь пом'єстиль въ отдаленномъ конців дворца; ближе къ себі восьмилітняго сына Павла, съ наставникомъ его флегматическимъ и мішковатымъ, но хитрымъ и умнымъ Никитою Ивановичемъ Панинымъ. На антресоляхъ было отведено пом'єщеніе Елисавет в Романовні Воронцовой, а въ особомъ флигелі дворца государь назначиль аппартаменты предположенной имъ невістів заключеннаго принца Іоанна Антоновича, несовершеннолітней дочери своего дяди, генераль-губернатора Петербурга, принцессі Екатерині Петровні Голштейнъ-Бекской, съ ея гувернанткой, дівицей Мирабель.

Объдалъ и ужиналъ Петръ Оедоровичъ съ небольшой свитой. Голштинскіе любимцы окружали его тъсной толпой. Императрица навъщала мужа изръдка и то больше по утрамъ.

Заходя на половину къ сыну, государь трунилъ надъ его прошлымъ женскимъ воспитаніемъ и, теребя худенькаго, слабаго мальчика, со см'яхомъ говорилъ: «изъ Павлухи выйдетъ еще п'ялый молодецъ, лишь бы я усп'ялъ съ нимъ заняться и сд'ялать изъ него браваго солдата. А теперь, что онъ? телепень, бабій баловень и только... Въ походъ, сударь, въ походъ!»

Своего учителя на скрипкѣ, итальянца Пьери́, Петръ Өедоровичъ назначилъ придворнымъ капельмейстеромъ. Во дворцѣ давались концерты изъ знатныхъ любителей музыки. Братья Нарышкины, —одинъ изъ нихъ андреевскій кавалеръ, —участвовали въ этихъ музыкальныхъ состязаніяхъ, рядомъ съ важнымъ звѣздоносцемъ Адамомъ Олсуфьевымъ, правой рукой гетмана, президента академіи—статскимъ совѣтникомъ Григоріемъ Тепловымъ и академикомъ Штелиномъ. Императоръ являлся здѣсь запросто.

— Музыка у меня будеть первый сорть, — весело говориль онъ партнерамъ: — выпишу изъ Падуи знаменитаго ветерана скрипки, Тастини... Въдь онъ, saperment! между нами-то сказать, — одной со мной школы... Specialissime за ивжные, ласкательные, а индъ маэстозные тоны и переходы... Нигдъ грубыхъ эффектовъ, нигдъ балаганныхъ увертокъ и штукъ... мелодія, одна мелодія!

Голштинцы протирались всюду, захватывали себь и своимъ «партизантамъ» главныя мъста.

За два дня до Пасхи, въ прибавленіяхъ къ «С.-Петербургскимъ Відомостямъ» явилась, обратившая на себя общее вниманіе столицы и, какъ полагали, писанная подъдиктовку посланника короля Фридриха, Гольца, слідующая передовая статья: «С.-Петербургь, апріля 4-го 1762 г.— Всемилостивійшій нашъ государь, съ самаго восшествія своего на престоль, не пропускаеть ни единаго дня безъ изліянія новыхъ милостей, или не подавая существительныхъ опытовъ отеческато своего о пользахъ подданныхъ попеченія и глубокаго въ государственныхъ ділахъ проницанія», и пр., и пр.

Ропотъ противъ голштинцевъ усиливался. Старые слуги Елисаветы не выносили этихъ незваныхъ пришленовъ. Новыя преобразованія и льготы не искупали грубаго и обиднаго обращенія заморскихъ гостей съ русскими. Ломоносову приписывали слова: «Капуста и ріпа еще не взошли въ огородахъ, за то всходять голштинскія реформы».

Всякъ, просыпалсь въ ту весну въ Петербургѣ, спрашиваль себя: что объявлено отъ сената сегодня и что готовится на завтра? Всѣ ходили въ чаяніи нежданныхъ, негаданныхъ перемѣнъ. Даже всезнающій генераль-полицеймейстеръ Корфъ не разъ подсылалъ тайкомъ во дворецъсвоихъ адъютантовъ, говоря имъ: — Вызови-ка тамъ, батенька, Карла Иваныча Шпрингера, да узнавай отъ него, — hörst du! — умненько, чѣмъ и съ кѣмъ нынѣ занимается государь?

Вследъ за уничтоженіемъ тайной канцелярін и дарованіемъ вольности дворянству, новые фавориты Петра Третьяго посоветовали ему заняться, оставленнымъ со временъ Петра Великаго, проектомъ объ отобраніи монастырскихъ поместій и о назначеніи оть казны содержанія, какъ черному, такъ и белому духовенству.

Баронъ Унгернъ сказалъ однажды, за объдомъ у Алексъп Разумовскаго, Волкову:

— Не худо бы передать архіспископу Димитрію объ отмьнь постовъ... Ваше постное масло, ръдька и щи не по желудкамъ ныньшняго свъта. Да сказать бы ему, а propos, что пора ужъ пересмотръть и во многомъ измънить и весь вашъ старый монахизмъ, а духовенству разръшить брить бороды и ходить, какъ въ Европъ, въ цивильныхъ кафтанахъ.

- Чей въ этомъ совътъ? спросилъ Волковъ.
- Ну, да ты ужъ скажи преосвященному Димитрію, загадачно улыбнулся Унгернъ:—пусть подумаетъ.

Эти слова быстро разнеслись по городу. Не въ однихъ боярскихъ хоромахъ вспомнили, что тосударь Петръ Өедоровичъ, вслъдъ за погребеніемъ императрицы-тётки, посътилъ торжественную по ней панихиду въ католической церкви, гдъ исполнялась печальная кантатареквіемъ, сочиненія Манфредини, и что, послъ панихиды, онъ завтракатъ у патеровъ этого храма.

На Ооминой было приказано приступить къ немедленной постройъв, для иноземныхъ придворныхъ слугь, лютеранской церкви при ораніенбаумскомъ лътнемъ дворцв.—«Лютеранство вводять въ Россіи», — стали толковать въ средъ русскаго духовенства. Повторяли даже слова манифеста о въротерпимости, будто бы ужъ составленнаго на все готовымъ, генералъ-прокуроромъ Глъбовымъ, гдв въ числъ другихъ доводовъ приводились слова Евангелія: «Взгляните на птицы небесныя, иже не съють, не жнуть и не собираютъ въ житницы».

— И все-то голштинцы! — прибавляли въ народі: — все они, проклятые нехристи. — Составилась даже поговорка: «Голштинецъ дастъ тебъ гостинецъ».

Ропоть усилился, когда прошелть къмъ-то пущенный слухъ, будто иноземные фавориты готовять указъ о вынесеніи изъ храмовъ всёхъ старыхъ, якобы лишенныхъ благолёпія, сирічь обезображенныхъ временемъ иконъ, и о закрытіи въ палатахъ вельможъ домовыхъ церквей: «не подобаетъ-де храмъ божій лишать благообразія, или держать оный у себя подъ рукой, на прикладъ своей бильярдной, кухни и того хуже».

Съ прівздомъ изъ Кили дяди государева, принца Жоржа, вліяніе нѣмцевъ стало еще сильнѣе. Повторялись имена столиовъ этой партіи: Ольдерога, Цобельтиша, Кацау, Цегефонъ-Мантейфеля, Цейца. — «Новая Бироновщина настаетъ!» — громче и громче толковали обиженные русскіе. Юные совътники государя, между тѣмъ, не унывали. Они ему льстили и предрекали успъхъ всѣмъ его ошибочнымъ,

проникнутымъ полнымъ незнаніемъ и непониманіемъ Россіи, намъреніямъ.

На обойной фабрикъ гобеле́ней, — директоромъ которой быль назначенъ, произведенный въ камергеры, любимецъ государя, придворный парикмахеръ Брессанъ, Петръ Өедоровичъ заказалъ, для передней въ новомъ знинемъ дворцѣ, два больше стѣнные ковра «hante lisse». Одинъ долженъ былъ изображать восшестве на престолъ Елисаветы, другой—его собственное.

Въ май были спущены на Неву два вновь построенные корабля. Одному государь далъ имя недавняго врага Россін, своего друга, «Король Фридрихъ», другому—перваго принца крови, новаго фельдмаршала и эстляндскаго генералъ-гу-бернатора—«Принцъ Жоржъ».

Приказавъ учредить, въ поддержку коммерціп и купечества, государственный банкъ, съ пятью милліонами рублей фонда, Петръ Федоровичь отдаль повельніе объ устройствь, по примъру заграничныхъ «долгаузовъ» — «нарочитаго» дома для «сущеглупыхъ», то-есть умалишенныхъ. Прогуливаясь какъ-то вечеромъ по городу, государь чуть не быль искусанъ стаей бродячихъ собакъ. Онъ тотчасъ объявиль повельніе объ образованіи изъ дворцовыхъ егерей «особой команды» для «наискоръйшаго истребленія бездомныхъ собакъ». Этой же командъ было разрышено стрълять на городскихъ площадяхъ и улицахъ «воронъ и прочихъ безхозяйныхъ птицъ». Усердные егеря стали стрълять по улицамъ чтимыхъ народомъ голубей.

Уволивъ графа Алексъя Григорьевича Разумовскаго въ отставку, императоръ почасту заъзжалъ къ нему въ Аничковъ дворецъ, гдъ любилъ въ бесъдъ съ нимъ выкуритъ трубку кнастера или, вошедшую въ то время въ моду, сигару «фидибусъ». Дальновидный графъ, цъня по своему это вниманіе, сказалъ по-украпнски государю:— «а подозвольте мнѣ, недостойному сыну гречкосъя и внуку пастуха, снисканному толикою благосклонностью покойной государыни, подозвольте почествовать вашу милость» — и поднесъ въ презентъ высокому посътителю красивую трость, съ ручкой изъ слоновой кости, и въ придачу къ ней — на воинскія пужды государя—милліонъ рублей.

— Ба-ба-ба!—воскликнулъ дътски-обрадованный имперагоръ: — Potz-Blitz! да ты, Григорычъ, Hexenmeister, колдунъ; какъ разъ угадаль, что мои финансы нарочито плохи... Спасибо, голубчикъ; вспамятовано будеть! при случав от-

благодарю.

— Гвардія—это нынѣшніе янычары!—не стѣснился скавать Петръ Өедоровичъ гетману Кириллѣ Разумовскому, командиру любимыхъ Великимъ Петромъ и Елисаветой измайловцевъ: — ихъ въ скорости раскассирую, а пока стану ихъ замѣнять полевыми полками, да по-малу, на манеръ нашихъ бравыхъ голштинцевъ, реформировать...

Сильно взволновали эти слова весь военный, служилый

людъ Петербурга.

— Развъ мы преступники, измънники? — толковали обиженные слуги Елисаветы: — окружили государя продажные голштинские колбасники... Дай Богь здравия его сыну и матушкъ, его женъ, —тъ заморскихъ псовъ не жалуютъ.

Миръ съ Пруссіей былъ окончательно заключенъ, и десятаго ман торжественно отпразднованъ. Памятенъ остался

этотъ день въ дворскомъ міръ.

Въ особой залъ зимняго дворца былъ данъ пышно изготовленный объдъ. Съ кръпости, съ адмиралтейства и судовъ, стоявшихъ на Невъ, до поздней ночи раздавалась непрерывная пушечная пальба.

Было выпущено бол'ве тысячи выстреловъ изъ орудій. Пили въ честь короля Фридриха и за продолженіе «счастли-

ваго мира».

Провозгласивъ тостъ за собственную высокую фамилію, Петръ Федоровичъ послалъ къ императрицѣ-супругѣ «берлинскую голубицу мира» — Андрея Гудовича, — спросить, отчего она при этомъ не встала? Государыня Екатерина Алексѣсвиа отвѣтила: «оттого, что вся наша фамилія, кромѣ его величества, государя, состоитъ лишь изъ меня, да изъ ребенка, моего сына».

— Передай ей, что она дура!.. — грубо крикнуль государь:—передай, что кром'в нея и сына, есть еще два члена нашей фамиліи, — дядя принцъ Жоржъ и его высочество

принцъ Голштейнъ-Бекскій.

Императрица залилась слезами. Остроумный и находчивый графъ Строгоновъ стояль въ это время у нея за стуломъ. Чтобы развлечь государыню, онъ вполголоса разсказаль ей свъжій городской анекдоть о нъкоемъ влюбленномъ генераль Бехлешовь, который поъхаль амурничать въ Шлис-

сельбургъ и чуть, изътза перемъны тамошняго начальства, не угодилъ въ казематъ кръпости.

— Marlborough s'en va-t-en guerre...—шепталь, нагнув-

шись, Строгоновъ.

Императрица сквозь слезы улыбнулась. Это зам'тили. Въ тотъ же вечеръ находчивый графъ былъ высланъ подъ арестъ въ свой загородный домъ, на Каменный островъ. Приэтомъ, черезъ князя Федора Барятинскаго, былъ объявленъ арестъ и государынъ; Барятинскій успълъ вызвать заступничество принца Жоржа, и распоряженіе объ арестъ было отм'внено.

Вскор'в пронесся новый слухъ объ об'вда въ Аничковомъ

дворцъ.

Сидя противъ датскаго посланника, Гакстгаузена, Петръ Өедоровичъ неожиданно для всъхъ повелъ ръчь о томъ, что Данія — исконный врагъ Россіи и что онъ намъренъ датскому королю объявить войну, за притъсненіе его родового герцогства, Голштиніи. На другой же день въ городъ стали толковать, что противъ датчанъ дъйствительно велъно снаряжать двъ сильныя арміи и что командиръ измайловцевъ, президентъ академіи наукъ и гетманъ Малороссіи, графъ Кирилла Разумовскій поведеть за границу тридцать казачьихъ полковъ. Великій канцлеръ Воронцовъ и Волковъ совътовали государю не предпринимать этой войны. Онъ никого не слушалъ.

- Нѣтъ достойнаго полководца, фуражъ для армін не выготовленъ,—говориль канцлеръ.
- Пустаки, съ провіантомъ еще успѣемъ... А что до полководца, я самъ стану во главѣ обѣихъ армій... Герцоги, мои предки, во время войны никогда не сидѣли дома... И прежде всего, по пути, я заѣду отдать аттенцію и кордіяльный решпектъ моему брату и государю, королю Фридриху... Я имѣлъ честь въ его арміи служить, какъ простой солдать... И никто изъ его братьевъ и подданныхъ не преданъему такъ, какъ я. Онъ опасается за мою жизнь, анонсируетъ мнѣ секретно, что русскіе не приспособлены оцѣнить женерозитетъ посланнаго имъ монарха... О-го! Larifari! посмотрю я, кто посмѣетъ противъ меня и моихъ вѣрныхъ, бравыхъ голштинскихъ быковъ! Съ ними я спокоенъ... А уѣхавъ, оставлю здѣсь въ арріергардѣ проницательныхъ и зоркихъ надсмотрщиковъ...

Дворъ къ одиннадцатому іюня готовился перевхать за городъ. Было слышно, что государь, по обычаю, думаеть поселиться въ любимомъ своемъ лётнемъ дворцё, въ Ораніенбаумѣ, что сына онъ рёшилъ оставить съ Панинымъ, въ Петербургѣ, а государынѣ приказалъ отвести для житья дворецъ въ Петергофѣ.

Дворъ веселился. Прогулки за городъ и вечера, съ игрой въ «бириби» и въ «камписъ», чередовались съ концертами и распъваніемъ, подъ звуки лютни, нъжныхъ и чувствительныхъ, нъмецкихъ романсовъ и русскихъ пъсенъ, сочи-

ненія придворнаго музыканта Белиграцкаго.

Въ насмъщку надъ замолчавшимъ Ломоносовымъ, иноземные фавориты посовътовали президенту академіи поощрить гуляку-стихотворца Баркова, которому, за оду въ честь новаго государя, и было дано званіе академическаго переводчика.

Короноваться государь откладываль до возвращенія изъвохода противъ Даніи.

— Корону заказать надо въ Гамбургѣ, — объявилъ онъ Унгерну: — въ Россіи нѣть и порядочныхъ ювелировъ; дорого, да и некогда, — увѣнчаемся сперва побѣдными, воинскими лаврами....

Объ императрицѣ не было почти слуха. Говорили одно, что государыня Екатерина Алексѣевна живетъ совершенной отшельницей, безъ всякаго значенія, силы и власти. На нее обращали менѣе вниманія, чѣмъ на племянницу канцъера, графиню Елисавету Романовну Воронцову.

— Я люблю дисциплину, я требователень, но даю и льготы!—говориль Петръ Оедоровичь:—пусть народъ отдыхаеть, — время строгостей и ужасовъ въ Россіи прощло... Пусть меня въ потомстві назовуть ласковымъ Титомъ...

И дъйствительно, — въ первые дни своего правленія, — Петръ Оедоровичъ возвратиль изъ ссылки множество лицъ, сосланныхъ при его теткъ, Елисаветъ Петровнъ.

На поприщѣ высшаго общества Петербурга, что ни день, съ весны 1762 года, стали появляться странные, незнакомые и чуждые новому покольнію, призраки прошлаго, престарымые елисаветинскіе сановники и временщики, которые ныкогда ворочали судьбами Россіи, а теперь казались мертвецами, вставшими изъ давно-забытыхъ и обвалившихся могилъ.

_.___.

Въ началѣ іюня, Мировичъ былъ на возвратномъ пути изъ Пруссіи. Но ему въ первомъ пограничномъ городѣ предъявили ордеръ военной коллегіи — остаться на мѣстѣ, въ Петербургъ не вхать и ждать дальнѣйшихъ распоряженій отъ ближайшаго начальства. Здѣсь онъ получилъ письмо отъ Пчёлкиной.

Поликсена удивлялась, что онъ медлить возвратомь и прибавила, что Чурмантьевь получиль переводь за Волгу, что онъ ужъ давно оставиль Шлиссельбургь и на-дняхъ тереть съ двтьми въ Казань и далве. Поликсена сперва предполагала остаться у Бавыкиной, но раздумала: какъ бы изъ того не вышло для нея, сосватанной невъсты, какихъ вредительныхъ толковъ и послъдствій.

«А куда дъться, не знаю, —писала она: —вы же, сударь, Василій Яковлевичь, такъ скупы на въсти. Зовуть меня Птицыны, и я думаю къ нимъ временно переъхать. Пишите туда. У нихъ дача на Каменномъ, и очень просять. Или посовътуете что иное?»

Ордеръ военной коллегіи и это письмо такъ смутили Мировича, что онъ не зналъ, на что решиться.

«Чурмантъевъ переведенъ за Волгу, Поликсена опять въ Петербургъ, — терялся онъ въ догадкахъ: — вредительные толки и послъдствія... Что все это значить? и гдъ принцъ? ужели, наконецъ освобожденъ? Въ иноземныхъ журналахъ о томъ что-то писано»...

Императоръ Петръ Оедоровичъ, катаясь въ первыхъ числахъ іюня по Петербургу, вздумалъ осмотръть въ Петропавловской кръпости монетный дворъ. При этомъ онъ сказалъ окружавшимъ:

 Сія фабрика мнъ, господа, правится больше другихъ;
 будь она прежде моя, не такъ бы я аранжировалъ ходъ моихъ финансій: зналъ бы, какъ ею пользоваться...

Въ крѣпость государь въёхалъ въ сѣверныя, кронверкскія ворота, на которыхъ кинулась ему въ глаза нежданная, сильно озадачившая его надпись.

Большими, блёдными, полинявшими отъ времени и солнца буквами, на верхней перекладине, было написано: «*Іоанновскія ворота—1740 г.*».

 Баронъ! — съ чувствомъ почти испуга, сказалъ императоръ, сидъвшему рядомъ съ нимъ, Корфу: — взгляните! 1740 годъ!... ими Іоанна! Вотъ чудо... Вездё вто елово скоблили, плавили, жгли, а здёсь-то, въ крепости, и проглядели... Когда придетъ иоментъ и иой племянникъ, бывшій пмператоръ Іоаннъ Третій, съ должной помной, опить со мной въёдетъ въ Петербургъ, первое, что я ему укажу, будетъ это имя.

Случай съ надилсью даромъ не пропаль.

«Забыль я о немъ, вабыль, — думаль, тадучи изъ кръпости, Петръ Оедоровичь, — и никто не напомниль! Что откладывать и ждать постройки новаго дома? Вывезти его скорый изъ Шлиссельбурга... И ему станетъ легче, познакомится съ принцессой Екатериной, своей невъстой, и задуманное дъло по малу начнемъ»...

Черезъ день, въ Шлиссельбургъ отъ Унгерна была послана эстафета, сильно озадачившал коменданта и новаго

старшаго пристава.

«А відь білую-то планіду и впрамь вспомнили на нашемъ горизонті,—подумаль Жихаревь, иля объявить арестанту радостную вість,—не забудь, о Господиі ридомъ съ пимъ и пашу долю»...

XII.

Московскій студенть.

Въ началь іюня 1762 года, Ломоносовъ събздилъ на ивсколько дней за городъ, въ собственныя, покалованныя покойной государыней, мызы Коровалдай в Устърудица, изглянуть на хозийство и освежиться на сельскомъ воздухъ.

Эти дачи лежали за Оранівновумомъ, въ тогдашнемъ Конорскомъ укздв, въ семидесяти верстахъ отъ Петербургъ, и были подарены Ломоносову, для устройства фабрики разноцвътныхъ стеколъ, бисеру, пронизокъ и стеклирусу—«какъ первому въ Россіи тъхъ вещей секрета сыскателю».—Земля этихъ имъній омывалась глубокой и быстрой ръкой Рудицей, на которой, яттъ десять назадъ, были устроены мельпица, ятсонильня и заведъ цвътныхъ стеколъ.

Теперь все это было запущено.

Псбольшой изъ словыхъ бревсиъ домъ, съ постоянно явкрытыми ставиями, одной стороной выходилъ къ силошнымъ въсовымъ лъсамъ пустынной Ингри, другов — къ холиистому берегу моря. Надъ почеривлой, тесовой кровлей, со скрипомъ, вертълся варжавленный жестяной долъ. То быль значокъ самонишущей метеорологической обсерваторіи. Служилыя зданія вокругь дома, фигурчатый досчатый заборь и мость черезъ ръку ветшали, безъ присмотра, и также были запущены. Одна дорога, —берегомъ моря, вела на Ораніенбаумъ и Петербургъ, другая — въ гору — къ сосъдямъ, изъ которыхъ ближайшимъ быль женатый на внучкъ фельдмаршала Миниха, владълецъ мызы Анненталь, баронъ Иванъ Андреевичъ Фитингофъ.

Тридцать льть назадь самь крестьянинъ-рыбакъ, Ломоносовь съ своими двумя-стами крипостныхъ чухонъ, конхъ
по указу «при той фабрикь — записали въчно», былъ заботливъ, справедливъ, но, какъ вообще съ подчиненными и
младшими, требователенъ и строгъ. Онъ любилъ ихъ, заботился объ ихъ нуждахъ и не смотрълъ на нихъ какъ на
чужаковъ, свысока, забавляясь, когда иной заморыпъ-мужичонка, при встръчь, не снималъ передъ нимъ шапки и по
простотъ приходя къ своему знаменитому барину, садился
передъ нимъ и разсказывалъ о своихъ нуждушкахъ. —
«Дессьянсъ-академикъ я, — почтеніе отъ всъхъ мнъ указано
свыше! — смотри, не осрами меня при другихъ!» — шутилъ
коровалдайскій баринъ, угощая мужичонка брагой и виномъ.

Хозяйство Ломоносова, особенно въ послъдніе годы, шло изъ рукъ-вонъ плохо. Желтоволосый и желтоглазый, но хитрый, туземный бурмистръ Адамка Кювеляйненъ, по мельниць и по прочимъ статымъ даваль въ настоящее время Михайлъ Васильевичу такіе отчеты, что и шкурка за вычинку не выходила. Зато Адамка являлся передъ бариномъ изъ хатенки, сколоченной изъ пеньевъ, полъньевъ, мху и коры, не только безъ шапки, но, въ доказательство своей убогости и ничтожества, неръдко даже босикомъ и называлъего не иначе какъ «рафчикъ» и «ваше вишкаротіе», а его сума и самъ онъ—толстъли но въ мѣру.

И въ тотъ прівздъ Михайло Васильевичъ больше занимался провъркой самонишущаго Эдла, чъмъ учетомъ ветшавшей лісопильни и покривившейся на бокъ мельницы. Онъ поговориль съ Адамкой о приведеніи въ порядокъ дома, кое съ кімъ изъ крестьянъ; задумавшись, посидътъ на крильці, съ котораго видиілись білівшія вдали готическія, деревлиныя башенки Анцентали; полюбовался видомъ тихаго, безбрежнаго моря и убхалъ въ Петербургъ ліснею глупью, полною птичьихъ пъсенъ и криковъ и вечерняго запаха травъ и деревъ. — «Доброобычайный народъ, — думаль онъ о крестьянахъ, въ помощь больвшему и хирывшему скоту которыхъ онъ велълъ и въ этотъ разъ, по случаю засухи и безкормицы, раздать лучше всего имъ фаворъ свой пріятнымъ и желаннымъ сдълаешь... Эхъ! Надо бы подольше погостить у нихъ, ближе приглядъться къ симъ, мало еще осмысленнымъ... Да дъла, службы складъ не допускають... Надо урваться, подумать...»

пускають... Надо урваться, подумать...»
Въ домъ свой, на Мойкъ, Михайло Васильевить возвратился обновленный, съ легкой, открытой для тихихъ радостей, душой.

— Черезь недільку, — ласково сказаль онъ жені и дочери:—все на мызі будеть готово. Воть вамъ сюрпризъ, вы перейдете туда на все нынішнее літо.

Дочь запрыгала отъ радости; жена вздохнула, нахмурилась.

— Въ городъ все становится дорого, — объявилъ Ломоносовъ: — тамъ покупать нечего, — огородъ, живность и хлъбъ свои. И коровы ваши подкормятся на лугахъ. Одна бъда, сударыни мои, доходу притомъ ни алтына...

— Мы и такъ, герръ профессоръ,—перебирая фартукъ, отвътила жена, Лизавета Андреевна: — мы и такъ—что

намъ?---привыкли сидеть дома...

— И отлично, сударыня, двлаете! — съ улыбкой, поклонясь, произнесъ Михайло Васильевичъ: — лучше сидъть, съ работой или съ умной книгой, дома, въ дализнъ отъ шума и отъ всякихъ людскихъ дрязгъ, чъмъ — Богъ мой! — имътъ обхожденіе съ пустыми комедіантами и вредными шатателями, да пересудчиками... Съ ними въ семьи вкрадываются дурныя упражненія, расколы, колобродства и всякія враки... Я—противъ нихъ, противъ нихъ!.. Да и вы, фрау профессоринъ, согласитесь, не наживете гипохондріп на хозяйствъ, въ заботахъ о своихъ нуждахъ и о своемъ углъ.

Рано утромъ следующаго дня Ломоносовъ вышелъ въ свой городской садъ, подрезалъ песколько сухихъ в лишнихъ вътокъ, осмотрелъ щены и колировку плодовыхъ деревъ. Засучивъ рукава, доконалъ начатую грядку, для выписанныхъсна пробу семянъ дикаго хлончатника,—saclepias sy-

гіпса, — н, обложенный книгами и рукописями, васіль изотдаленной рабочей бесіздків.

«Пу, теперь не скоро выйдеть оттуда! - глядя въ садъ. подумала Лизавета Андреевна, — забудеть обо всемъ, даже о вдв... O, du, mein Gott! ist das ein Mensch?.. Энтузіасть! фантасть! Не станеть умываться, бородой обрастеть... И такъ на недълю, на нъсколько недъль... охъ! и что онъ пишетъ?.. О Сибири, объ индейскихъ и китайскихъ царствахъ твердитъ... А у меня всего одно шелковое платье, -- всего одно... У академической секретарии Таубергь, у профессории Винцгеймъ по пяти, да еще въ своихъ коляскахъ по городу ездать... Мы больше ходимъ пешкомъ. Выли жильцы; а теперь, вонъ, портной Крихъ, будто изъ-за нашихъ перестроекъ, а я думаю изъ экономіи, изъ разсчета, пережхаль на Литейную; булочникъ Миллеръ ивтить въ Ораніенбаумъ, дворъ туда собирается, -- да и фрау Бавыкина нашла місто у какой-то греческой богатой дамы,—въ этакую глушь къ Калинкину мосту перевхала... На мызу! И что тамъ хорошаго, среди грубыхъ здешнихъ мужиковъ? Это не Марбургъ-зологая моя родина... О коровахъ, фантастъ, энтузіасть, думаеть, а о нашихъ удобствахъ ни слова...»

Лизавета Андреевна ошиблась. Михайло Васильевичь, на этоть разь, въ должное время, а именю въ полдень, покипуль бесъдку, плотно, съ удовольствиемъ пообъдалъ, пошутиль съ Леночкой—«ты-де ланито-лилейная и золотокудрая,
греческая Елена, и какъ бы тебя кто еще у меня туть не
похитилъ!» — ушелъ въ опочивальню и заснулъ тамъ часа
полтора. Потомъ опять занимался въ бесъдкъ.

Быль уже вечерь, когда Ломоносовь оставиль стемивьшій садь и съ портфелью полвился на крыльці каменнаго дома на Мойкі, куда въ конці мая онь перешель съ семьей, по случаю переділокь въ очищенномъ жильцами флигель. Михайло Васильевичь не стіснялся горожанъ. Онъ на виду всіхъ любиль по вечерамъ сиживать у себя на крыльців подъ тінью березъ, — безъ парика и въ томъ самомъ старенькомъ китайчатомъ халаті, въ которомъ обыкновенно работаль. Въ этомъ же халаті, въ которомъ обыкновенно работаль. Въ этомъ же халаті онь разъ здісь принималь и знаменитаго своего друга и сосіда, по Мойкі, Ивана Иваповича Шувалова, въ золотой кареті и въ-лецгі, въ былые дни затіжкавшаго къ нему на бесіду прямо изъ дворца. Просторное, засловенное березами, крыльцо выходило на пемощеный, поросшій травой, берегь Мойки. Солдатки на илоту мыли білье. Барочніки, перскликаясь, тянули на лямкахь грузную расшиву съ кирпичомъ. Чыл-то гусыня, съ желтыми гусятами, паслась на травъ. Гурьба босоногихъ ребятишекъ и дівочекъ съ сосіднихъ дворовъ бігала взапуски по зеленому берегу, поднимая столбы густой, желтой пыли, всякій разъ, какъ выскакивала на избитую уличную колею. Краснопітая, голландская корова Лизаветы Андреевны, подойдя съ поля, ждала у воротъ, пока дворникъ и водовозъ, отставной бомбардиръ Скворцовь, отопреть ей калитку. Собственный, білый чудской кабанъ Скворцова, хрюкая, терся у заборовъ.

Леночка принесла отпу на крыльцо ковшъ холоднаго мятнаго квасу. Онъ выпиль его залиомъ, поцъловалъ Леночку, потребовалъ еще кружку и отпустилъ дочку бъгать на улицу. Усъвщись на лавкъ, онъ на кругломъ липовомъ столъ увидълъ свой рабочій портфель и два письма.

Въ одномъ письмъ было приглашение изъ Измайловскаго пояка, на девятое іюня, оть его сосіда по мызі, барона Фитингофа, на вечеръ, на беседу и на трубку табаку.--«Знаю я эту трубку, -- подумаль, отодвигая письмо, Ломоносовъ, - вечеринка въ честь возвращеннаго, знаменитаго діда, Миниха... Нътъ сомивнія, вся знать будеть тамъ, передъ разъвздомъ дворовъ на дачи... Ораніенбаумцы и петергофцы... Монтекси и Капулетти... Одиннадцатаго іюня размъстится до новой стычки оба враждебныхъ лагеря... А до разъезда-ета сходка главныхъ нынешнихъ решителей напихъ судебъ, голштинцевъ и прочихъ немцевъ. Противны пакостныхъ креатуръ лица и рвчи!.. Ну ихъ къ ляду... не побду! Старъ сталъ — толкаться межъ дворскими, да и не къ чему. А они все ковы точать противъ Екатерины Алексвевны... Жаль моей разумницы! Душу отдаль бы за нес, гонимую, хоть и не знаеть она этого, не въдаеть. Воть оть кого процвыть бы соборъ драгихъ наукъ! Какъ-то ея ванятія, беседы въ тишине съ геніями вековы Шутка ли. по-русски говорить и пишеть, какъ прирожденная россіянка,—да куда, лучше многихъ русскихъ... Навъстиль бы ее, еще осудять. Никуда теперь не важу, замкнулся и высматриваю, что будеть... А будеть, кажется, неладное... Любопытно бы только, скоро ли?»

Второе письмо было съ почты, отъ Мировича,

«Высокочтимый и истинный мой защитникъ и покровитель», — писаль Василій Яковлевичь: — «прости ва докуку сей моей цидулки. Со мной приключились дивныя, присворбныя дъла. Первое — миръ давно заключенъ, а меня, временно посланнаго съ комиссіей отъ нарвскаго полка, задержали при возврать, яко бы для охраны раненыхъ, сперва подъ Ковною, а потомъ въ другой трущобъ, въ сквернъйшемъ жидовскомъ городншкъ, въ Шавляхъ, гдъ и понъ обрътаюсь. Ахъ, многомилостивый патронъ и радълецъ мой, спасите! Писаль я неоднова при посылка штафеть, просиль я отряднаго и лъкарей: ну, точно, какъ всв глухіе.-- Не прогиввайся, — отвъчали мив: — вздоръ городинь и разума, видно, весьма лишился; ну, нешто можемъ мы противъ воли свыше идти? Сиди и жди. — Михайло Васильевичь! Господа-Богаради, побывайте у кого-либо изъ сильныхъ голштинцевъ. Вы ихъ браните; а они, властные, теперь еще болье въ ходу. Слышно, Биронъ, да и Минихъ также воротились изъ ссылки и, на прикладъ коршуновъ, опять витають надъ столицей. Попросите ихъ или кого изъ нъмпевъ въ вашей академін. чтобъ меня выпустили отсель. Васъ послушають. Не тобъда. Истина ужель прогнана изъ міра? Повышеніе—въ низость, отличіс-въ страданіе и въ горе обратились! Живу, какъ отшельникъ-монахъ, поучаюсь терпъть и всякія муки въ вящшее назидание и въ побуждение къ внутрениему свъту принимаю. По завъту учителей великаго ордена, совлекаюсь ветхаго Адама, готовъ ратоборствовать противъ такна, греховъ и сатаны, готовъ подвизаться среди всикихъ соблазновъ, не касаясь сердцемъ ихъ суеты. Но станетъ ли силъ? Кругомъ вависть, злоба, огольные пьяницы, моты, въчныя ссоры, попойки, картежь. Бросиль бы все, бъжаль бы, да засудять, какъ дезертира. Подожду еще малость. Не пособите вы мяв, -- бъда! Что предпріять, что и мыслить, несв'єдомъ. Ахъ, если бы вы видели ту мертвую глушь и дичь, тоть хребеть тигра, на коемъ я сижу нынь, между жизнью и смертью! - В. Мировичь».

Задумался Лононосовъ надъ втимъ письмомъ. «Къ голштиндамъ, къ доннерветтерамъ идти! Эка нацасть Божья, натуры издъвъ! — сказалъ онъ себъ, разведя руками: — а жаль малаго! со смысломъ и съ душой! Совлекается ветхаго Адама... Насочинили вракъ тупыя нъмецкія головы про масонство, сей и безъ того противуприродный, свътскій аскетизмъ... Жить бы, жить да утвшаться... И предметь его, та дъвица, чай, по правдъ, тоже не безъ тоски, въ толикомъ угрюмствъ судьбы... И вездъ-то, во всемъ такая безтолочь, такіе сполохи отвореннаго во всъ концы политическаго и общественнаго нашего горизонта... Что же дълать? Что предпринять?»

Ломоносовъ открыть портфель, бросиль туда письмо, досталь рабочую тетрадь, перевернуль инсколько страниць и задумался надъ стихотворениемъ «Кузнечикъ». Онъ набросаль его въ последний изъ проездовъ черезъ петергофские леса: *

«Кузнечикъ дорогой, коль много ты блаженъ!
«Коль больше предъ людьми ты счастьемъ одаренъ!
«Препровождаешь жизнь межъ мягкою травою,
«И паслаждаешься медвяною росою...
«Хотя у многихъ ты въ глазахъ презрънна тваръ,
«Но въ самой истинъ ты передъ кими паръ...
«Тъ вначивъ—все твое, вездъ въ своемъ дому—
«Не просишь ни о чемъ, не долженъ никому...»

«Не просишь, не должент! — вздохнулъ Ломонесовъ: — а главное — свободенъ! Волюшка, родная воля! далекое Бѣлое море, отцовскій порогь... А вдѣсь? Интриги, перевертнипроходимцы и вѣчная подземная, кротовья война! Великій мой герой, Первый Петрь! Для того-ль, въ торжество ли и избыть иноземной, алчной лжи, затѣяль ты любимое свое чадо — Петербургъ?.. Уѣду, брошу этотъ Вавилонъ, брошу невѣрные, бурливые дни. Въ сермягу одѣнусь, бороду отпущу и навсегда скроюсь въ деревенскую, тихую глушь... Вышелъ изъ народа, въ народъ возвращусь... Пора!»

Крики и бъготня дътей на берегу нежданно смолкли. Ло-

ионосовъ взглянуль на улицу.

Шагахъ въ двухъ-стахъ отъ его двора, къ сторонъ Синяго моста, остановилась наемная извозчичья коляска. Сидъвшій въ ней, склонянсь, о чемъ-то говориль съ уличными ребятишками. Къ крыльцу подбъжала Леночка.

- Кто, кто?-спросиль Ломоносовь.
- Виссенъ... фонъ... нли какъ... ну, Виссенъ...—въ силу переводя духъ, отвътила вся красная отъ бъганья Леночка: студентъ изъ Москвы... онъ вамъ писалъ,..
- A! вспомнилъ, зови! сказалъ, сустливо запаживая халатъ, Михайло Васплевичъ.

«Въ ипостранную коллогію просится..., стихи намедин прислаль на прочтеніе!» — разсуждаль онь, прикрывая ро-

лову старымъ, порыжелымъ треуголомъ.

Колясва подътхвла къ воротамъ. На крыльцо взощелъ круглолицый, съ румяными пушистыми щеками, пухлыми губками и большими выразительными глазами, восемнадцатилътній, миловидный, хотя нъсколько мъшбоватый и не по годамъ полный юноша. На немъ былъ сърый, съ иголочки, студенческій, демикатоновый кафтанъ. Изъ-подъ приплюснутой треуголки выбивалась русая, въ природныхъ шелковистыхъ буколькахъ, коса. Онъ улыбался, напоминая движеніями безпечность різваго, хорошо откормленнаго, жеребенка-сосунка. Съ появленіемъ его на крыльці, послышался ванахъ вошедшихъ тогда въ моду духовъ киннамона, или пітушыхъ ягодъ, гоза сіппатопеа.

- Лейбъ-гвардіи семеновского полка сержанть и московскій студенть... — началь гость, добродушно и угловато раскланиваясь: — четыре года назадъ, въ дом'в нашего куратора, его превосходительства Ивана Ивановича Шувалова, им'яль счастье быть вамъ зд'ясь представленнымъ...
 - Да, да... Какъ же-съ, помню. Добро пожаловать.
- 11 вы меня еще тогда спросили, чему я учился. А я имклъ честь отистить, по-латыни, за что и быль вами апробованъ! продолжалъ, обмахиваясь клетчатымъ плотвомъ, студентъ.
- Такъ, такъ, господинъ Фонвизинъ! и это есе припеминаю, — произнесъ съ улыбкой, усаживая гостя, Ломонесевъ: — в письмо ваше получилъ, и экстрактецъ о задуманной комедіи одобряю. Что же? пишите — какъ, бишь, вы думете назвать? — «Бригадира?»
- Пачалъ-съ, да не спорится все,—вспыхнувъ по-уши, отвътилъ юноша, восхищенный вниманіемъ ведикаго писателя.
 - Что же мъшало? розы удовольствія? учоныя шипы?
- Правду изволили сказать, развлечений премного-съ!.. Знаете въ Москвъ такъ весело, столько родныхъ... и подъ Москвой тоже... у бабушки. Маланья Ивановна, моя бабушка, —старенькая, а пребъдовая, —на арфъ играетъ, любитъ веселости и васъ всего наизустъ знаетъ. Вотъ поступлю на службу, развъ тогда...
 - Пишите, государь мой, обличайте влые и глупые

правы, — сказаль Ломоносовы: — знатный вынысель взили вы, и сюжеть сильно сходствуеть времени. Сколько таковыхь бездільнических невіждь бременить землю! Да супругу-то задуманнаго пустозвона, бригадиршу-то, ностарательные оболваньте. Всімь нашимь дурафьямъ-щеголихамъ сродни таковая архибестія. Да умненько, батюпіка, — острой ловкости слово выискавъ, — уязвите притомь и наше гонянье за модами, съ ихъ безтолочью, развратомъ и всяком пустошью!.. Вы это сумісте. Имя и отчество ваше?

Гость назваль себя.

— Да-съ, Денисъ Иванычъ, пишите. Иначе — гръхъ. Талантъ Господь Богъ далъ вамъ несомивнный.

- Стихи же... изволили-ль вы пробъжать стишки? пожирая восторженными глазами знаменитаго поэта, спросиль Фонвизинъ: — я вамъ, Михайло Васильичъ, послалъ изъ Москвы нъсколько листковъ...
- Не просто прелесть, а отм'вниал!—съ улыбкой ласковыхъ, строгихъ глазъ, откинувшись на давку, сказалъ Ломоносовъ:—вотъ ваши писанія—зд'всь, въ эту дневную мою тетрадь вложены. Хот'влъ отв'ячать, да былъ въ деровиъ. Не разстаюся съ ними, любувсь... Лиса-Кознод'тй восхитительна. Похвалы ея умершему льву безподобны: «онъ скотолюбіе въ душ'в своей питалъ!» Ай да ут'вшили... Прем'втво сказано, но не меньше гуморичны и злы и сіп протесты крота:

«Тронъ проткаго царя, достойна алгарей,
«Быть сплочень изъ костей растерзанныхъ звърей.
«Въ его правленіо любимцы и вельможи
«Сдирали безъ чиновь съ звърей невинныхъ кожи...
«И словомъ, такъ была юстиція строга,
«Что кто кого смога, такъ тогь того въ рога...»

— Поздравляю, государь мой, поздравляю! таланты!—продолжаль съ искреннимъ увлеченіемъ, похлопывая рукой по рукописи, Ломоносовъ:—стрълы Свифта и соль Буало!.. Мітите, сударь, прямо въ Горацін... Выдержка только, выдержка,— исоскудівающее терпініе и трудъ. Въ посланіи жъ къ уму своему и благодушіе, и острал издівка сатирствують вмість...

«Ты хочень дураковь въ Россів поубавить, «И хочень убаваять ты вхъ въ такіо дин, «Когда со всехъ сторонь стенаются опи?...

«Когда бы еъ дураковъ здеоь пошлина сходила, «Одна бы Франція казну обогатила...»

- Именно такъ, именно!—произнесъ, расхохотавшись и закашливаясь, Ломоносовъ: ну, мило, да и все тутъ... Ъдутъ, стремятся въ чужіе края—мудрости искать. А глядишь, юный россійскій поросенокъ, объёздивъ театры да кофейни чужихъ краёвъ, возвращается отнюдь не умиве, сущею русскою свиньей!.. Но позвольте, чёмъ же васъ, сударь, потчивать?
- Помилуйте, отвътилъ, вскочивъ и расиланиваясь, Фонвизинъ.

Онъ не зналъ, куда глядетъ. Вспотевшее, миловидное, обросшее пушкомъ его личико выражало детскую растерянность и страстный восторгъ.

— Э, безъ того нельзя-съ... Леночка, а Леночка!— крикнулъ Михайло Васильевичъ: — моченой морошки намъ принеси, съ сахаркомъ... Холмогорскіе земляки, Денисъ Иванычъ, постомъ въ презентецъ привезли. Не обезсудьте, отвъдайте...

Подали морошку.

Беседа не прерывалась. Солице село. Берегъ Мойби сталь пустеть. Ушли дети, бабы-матроски, гусыня съ гусятами, корова Лизаветы Андреевны и дворниковъ кабанъ. Хозяинъ и гость съ крыльца отправились въ садъ. Надъ соседними кровлями вырезался месяцъ. И пока онъ поднялся, осветивъ чистое, далеко виднос небо, академикъ и студентъ, разговаривая, прогуливались по извилистымъ, полнымъ прохлады и смолистой мглы, дорожкамъ.

- И помните завѣтъ друга, замедливъ шаги, сказалъ съ увлеченіемъ Ломоносовъ: высоко чтите союзъ добродѣтелей, аккорды общаго блага и добра... Будьте благовъстникомъ въчной правды, подальше бъгите отъ несытыхъ въ роскопи и всякой подлости креатуръ низкопоклонной толпы. Чай, внаете, видывали таковыхъ; въ головѣ сквозитъ, пусто; на тълѣ иного свинопаса сорочки вѣтъ, а ходитъ въ брилліантахъ, въ шелку... па-те, молъ, каковы-де мы!
- Такъ вамъ, сударь, угодно, чтобъ я вамолвиль о васъ словцо канцлеру?—спросиль, на разставаньв, Ломоносовъ.
 - Въкъ Бога заставили бы молить.
- По чемъ же моя рычь будеть сильней рычи хоть бы Пвана Иваныта, коему вы были когда-то представлены?

— Фаворить боль не фаворить... а Ломоносовъ быль и выкь останется Ломоносовымы! — съ неподдыльнымъ чувствомъ и снова вспыхнувъ до корней шелковистыхъ русыхъ буклей, отвътиль Фонвизинъ.

— Такъ, такъ, — сказалъ, замявшись, Ломоносовъ: иного чести! только ошибаетесь вы, сударь... не тв нонче

времена...

- Не опибаюсь, Михайло Васильичь. Канцлеръ чтить васть и не откажеть. А ужь мив-то какъ поможете! Служба дасть положене въ свъть, средства къ жизни, родители мои въ нихъ, къ сожальню, недостаточны, а съ средствами, съ поддержкой сочувственныхъ друзей, только и можно у насъ писать.
- -- Върно сказано, по себъ знаю, произнесъ, оживляясь, Лононосовъ:--- поддержка, друзья,--- съ ними прочнъй работа... Шумя, ичелы медъ несутъ... Другую правду сказали. У насъ на писателя смотрять еще, аки на общаго обидчива или шута. Думають, что ученый, подобно Діогену, должень съ собавами жить въ конуръ. Срамословы, злые невъжды и высокомърные фарисен! У меня на прикладъ, -- опять раздражившись, съ горечью воскликнуль Ломоносовъ: какъ хвороба зайдеть, семь подъ-чась медикаментовь не за что купить. Фабрика мозаическихъ стеколъ, да прочіе эксперименты всь доходы при трудностяхъ домашнихъ надолго повли... Шельма жъ, нашей конференціи советникъ, Шунахеръ, главный кловетатель и персональный мой врагь, -- зятю своему, Тауберту, въ приданое, почитай, всю академію отдаль, а мийизобретенной мною астрономической трубы на казенныя деньги, треанаеемская нъмецкая дубина, никакъ все не справить... Змен подъ травой! И ужь какъ, право, жаль, что досель ихъ не догадались перевышать...

Гость и хозлинъ подошли къ садовой калиткъ.

— Такъ какъ же, Михайло Васильичъ, — утпраясь иматкомъ г. опять распространяя запахъ киннамона, спросилъ Фонвизинъ: — удостоите поговорить обо мив съ капидеромъ?

Ломоносовъ не сразу отвътилъ. Онъ не спускалъ глазъ съ миловиднаго, даровитаго юноши, въ русыхъ буколькахъ и въ съромъ съ иголочки, лътнемъ, полусуконномъ кафтанчикъ, стоявшаго передъ нимъ.—«Дай Богъ ему, дай Богъ!— думалъ онъ, — новая сила родного ума!.. Но какъ ему помочь?»—Онъ вспомнилъ о приглашени на вечеръ къ Фи-

тингофу.—«Давно я не вылізаль изъ своей мурьні—сказаль себі Михайло Васильевичь:—развів напялить парикь, да форменный академическій кафтань, и ужь за одно на томъ голитинскомъ сходбищів порадіть и о Мировичь».

- Долго ли прогостите въ Питеръ? спросилъ онъ госта.
 Съ недълю, а коли нужно, и долъв. Отпущенъ роди-
- телями на месяць.
 - Гдѣ жисете?
- У дяди, въ Измайловскомъ полку. Воть мой адресъ... Позвольте, у меня книжечка, я занишу... Какъ прійдете, спросите болото, за болотомъ огородъ, а на огородѣ, въ такой уединенной каменкѣ, — баня или кузница тамъ прежде была, — мић, какъ наѣзжаю, и отводятъ жильё.
- И отлично, сегодня четвергь, рышить Ломоносовъ: — въ воскресенье вечеринка въ Измайловскомъ тоже полку. у сосъда моего по имънію, коли слышали, у барона Фитингофа. Канплера давно я не посъщаль; никуда не взяту. А онъ ихъ сторона... Я справлюсь, и если графъ Михайло Ларивонычъ будетъ тамъ, я также туда повду, и о васъ, государь мой, какъ бы къ случаю, понимаете, поговорю.
- Не нахожу словъ благодариты! отвітиль съ поплопомъ Фонвизинъ.
- Недреманное бдініе грамотных русских людей, а есобливо хоть молодых в, но столь талантливых в, сказаль Ломоносовь: государству нужно... Вонь государева жена, Екатерина Алексівена, слышали ль, какіе подвиги въ россійском в слогів въ тайности совершила? Давно ли, на моей намяти, писывала въ партикулярных пидулках в «ве мысли и хозянны...» «газайнъ», вийсто «ся мысли и хозянны...» А теперь и насъ съ вами за-полсъ заткнеть. Достойно подражанія... А знаете ли, сударь, кстати, какую опечатку, напримітръ, сділали въ «Петербургских в відомостях в, при опоніщеній, въ ноябрі шестидесятаго года, о взятія Берлина?
 - Не знаю.
- То была нарочитая и злейшая шикана обиженных здешних в немецких скотовь... И я за нее чуть шандаломы не съездиль въ рожу академицкаго секретаря Тауберта... Бывшаго нашего посла въ Пруссін грыфа-то Петра Чернышева, представьто, будто по ошибке, — вместо действи-

тольный камергорь, публично приночатоли дійствитольный камердипорь.

XIII.

Балъ у Фитингофа.

Баропъ Иванъ Андреевичъ Фитпигофъ, женатый на внучкъ фельдиаршала, графинь Аннъ Сергъевнъ Минихъ, квартироваль въ большомъ деревянномъ домъ, выходивнемъ окнами къ Фонтанкъ, у Измайловскаго моста. Впослъдстви на этомъ мъстъ былъ домъ повъреннаго Потемкина, извъстваго Гарновскаго, теперь ванятый казармами. Здъсь поссиися на первыхъ порахъ, по возвращени въ ту весну изъ ссылки, Минихъ, позднъе переъхавий въ домъ Парышкина, у Семеновскаго моста.

Вечеръ воскресенья, девятаго імня, привлекъ къ помещенію Фитингофа большую толпу з'явакъ.

Набережная Фонтанки и объ стороны огромнаго, обнесеннаго высокою деревянною рыпоткой двора были загромождены экипажами. Раззолоченныя и расписанныя амурами и цвътами кареты, коляски и крытыя вънскія долгупи то-н-діло, восьмерикомъ и четверней, провзжали съ набережной въ глубь обширпаго двора, гдъ двумя радами огней горъли ярко освъщенныя, кое-гдъ настежь раскрытыя окна.

Подъбхала веркальная, всвиъ известная карета шталмейстера Нарышкина; за нимъ ландо прусскаго посланника Гольца. Влетъть шестерней, цугомъ, съ арапами и скороходами, свътло-голубой, открытый берлинъ молодого красавца-гусара Собаньскаго, родича «пане-коханку» Радзивилла. Управляемый Пьерй, гремъть оркестръ придворной музыки. Его прерывалъ, расположенный за домомъ, въ саду, хоръ пъвчихъ Белиграцкаго. Цвътники и дорожки сада были иллюминобаны. На прудъ, противъ главной аллеи, готовился фейерверкъ.

«Баль! чорть съ печки упаль! го-го!» — хохотали въ уличной толив. — «Кашкады, робята, огненны фанталы будуть, люминація! — подхватывали голоса: — оставайся хучь до утра!» — «Оріхи, чай, рублевики будуть въ окна сыпать...» — «Дадуть тебі», митька, оріховъ... Ишь, аспиды алстинцы! трауръ по государыніз не кончился, а они, супостаты, пиръ ватіми...»

Оъ улицы было видио, какъ разряженныя, въ цветахъ и въ легкихъ бальныхъ илатьяхъ, красавицы, порхая изъ экипажей, взбегали по красному сукну крыльца. — «Эвоси, Петряйка, глянь...—графиня Брюсова... Гагарина княгиня... гетманша съ дочками...» — «А отсуль въёхалъ кто?»— «Откуль?»——«Да съ прешнекту». — «Баронъ какой-то...»

У освъщенныхъ люстрами оконъ появлялись, въ звъздахъ и лентахъ, извъстные городу голитинскіе и русскіе сановники, мелькали напудренныя, въ косахъ, головы военныхъ и штатскихъ щеголей, толиились бълые, желтые и красные, новаго покроя, гвардейскіе и армейскіе мундиры.

Быль въ началь девятый часъ вечера. Въ комнатахъ становилось душно. Танцы изъ переполненной гостями залы перевели въ просторную, цвъточную галлерею, окнами въ садъ, выходившій въ первую роту Измайловского полка.

Минуэтъ смвнялся котильономъ, гавотъ — гросфатеромъ, гросфатеръ — режуиссансомъ. Скрипка Пьерѝ стонала горлинкой, блеяла барашкомъ, рокотала и заливалась соловьемъ. Кларисты, гобои и флейты подхватывали ревъ мъдныхъ грубъ; контрабасы гудъли стадомъ налетающихъ майскихъ жуковъ.

«Генерать-полициейстерь Корфъ вдеты Корфы! Разступись, братцы! — отозвались съ набережной: — гетманъ, гетманъ!»—«Гдв?»—«Да вонъ онъ, передовые вершники скачуть по мосту... фалеторъ кричить...» — «Уноси, Василь Митричъ, рыло,—скрозь промахнутъ!..»—«Ххо-хо-о!»—гоготала наваливавшая съ немощеной набережной толпа.

Въ портретной и кабинет в хозянна старики играли въ карты.

Лакеи разносили вина, ликеры, оршадъ и лимонадъ. Толстый и важный, какъ меделянскій песъ, краснорожій швейцаръ, въ большомъ напудренномъ парикъ, съ длинными и тоненькими гусарскими косичками на вискахъ, въ аломъ кафтанъ, съ позументомъ и витишкетами, въ чулкахъ и башмакахъ, стоялъ съ булавой у порога главной гостиной и басомъ, въ жабо, возглашалъ по новой модъ имена входившихъ важныхъ особъ: Опперманъ, Цейцъ, Медемъ, Ольдерогъ, Буксгевденъ, Катцау, Унгериъ, Фредериксъ, Швейдель, Штоффельнъ, Розенъ—герба алыхъ розъ, Розенъ—герба алыхъ розъ, Наппенбахъ и другіе.

Вь числе русскихъ, за генераль прокуроромъ Глебовымъ,

вощеть еще красивый, съ теми же густыми, черными бровями и съ бархатными, но уже не сивющимися глазами, казавшійся усталымъ и сильно похудъвшій, фельдмаршаль Алексьй Разумовскій. За нимъ — сморщенный, съ дергающимся правымъ глазомъ, директоръ недавно закрытой тайной экспедиціи Александръ Щуваловъ и Волковъ. При имени Ломоносова, взоры многихъ, съ брезгливымъ любопытствомъ, обратились на мъшковатый, кирпичнаго цвъта, ученый мундиръ и на суровое, и смълое, съ желтизной, лицо атлетическаго плебея-академика, муза котораго упорно молчала всю первую половину этого года. Вмъшавшись въ пеструю, гудъвшую говоромъ толпу, Ломоносовъ сълъ на канаие у стъны между двумя гостиными, и сталъ разсматривать.

Явилась въ красномъ, шелковомъ робронъ, съ длиннымъ пілейфомъ, блестящая красотой и граціей, графиня Елена Степановна Куракина, фаворитка недавно умершаго графа -Петра Шувалова. Ее тотчась окружиль рой молодыхъ и старыхъ куртизановъ. — «Виновница вольностей дворянства, шушукали о ней злые языки: — брилліантовъ-то, брилліантовы!»—Куракина громко смылась на любезности вздыхателей и съ торжествующей удыбкой, прикрываясь в веромъ, зорко оглядывала наряды прочихъ записныхъ щеголихъ. Въ сопровождении двухъ племянниковъ-пажей, показалась въ синей бархатной робь, на фижменахъ, съ лентой черезъ плечо и въ огненно-дымчатомъ токъ, кавалерственная дама Бутурлина. Глаза всехъ следили за Куракиной. Кто-то вполголоса, подмигивая на последнюю, произнесь возде Ломоносова:-«Отбиль красотку у покойнаго начальника Григорій Орловъ, да въ гору пошель черезъ свою продерзость повыше»... — Толстая старуха Бутурлина отыскала глазами хозяйку дома. Пыхтя и переваливаясь съ ноги на ногу, она подошла къ Аннъ Сергьевнъ Фитингофъ, неуклюже присвла по новому придворному фасону и представила видъ, что чуть отъ того не упала. Баронесса и стоявшіе возл'в нея разсм'ялись. - «Фиглярить, шиыняеть государевъ указы!»--- презрительно указаль на нее Волкову Александры Шуваловъ, проходя мимо Ломоносова. Михайлъ Васильевичу было не до того. Онъ не спускаль глазь съ лукавой лисы, Разумовскаго, который любезничаль и, со слезами на главахъ, паловался съ любимцемъ государя Унгерномъ. —

«Лобя», его же предаде», — склонись къ уху Ломонесова, меннулъ сладенькій, шенелявившій Бецкій.

Но что это?.. Выходцы съ того свъта...

Влестицая, разряженная въ шелкъ, въ кружева и бархатъ, молодежь засуетилась. Всв толпятся, указывають на съдыхъ и дряхныхъ, но еще бодрившихся старцевъ, которые почти одновременно появляются въ глубинъ гостиной. То были возвращенные ссыльные—Минихъ изъ Костроны, Лестокъ изъ Углича и Виронъ изъ Ярославля. Толпа разступилась. Ломоносова оттерли въ простенокъ къ окну.

Восьмидесятильтній, высокій, съ остатками былой величавости и красоты. Іоганнъ Бурхгардть, или, какь его именовали русскіе, Иванъ Богданычъ Минихъ, возвратился изъ Спбири въ февраль. Съдокласый, но еще румяный, раздушенный и кръпкій здоровьемъ, селадонъ будто и не быль въ двадцатильтней ссылкь. Объ руку съ легкомысленной и красивой Еленой Степановной Куракиной и молодою графиней Брюсъ, онъ не перестаетъ куртизанить, какъ куртиваниль въ царствованіе Анны Ивановны, цълуеть ручки восхищенныхъ его вниманіемъ очаровательницъ, остритъ и морщится при видь казарменно-вахмистерскихъ лицъ и ухватокъ, составлявшихъ принадлежность новыхъ дворскихъ сферъ.

Поодаль отъ него, — семидесятильтий, сосланный этичь Минихомъ, недавній «бичъ Россіи», — изъвденный геморойдами, на тененькихъ, нодагрическихъ ножбахъ, съ потускитлыми черными «страшливыми» глазами, герцогъ Эристъ
Биронъ. Возвращенный изъ ссылки въ мартв, онъ идетъ съ
козяйкой, баронессой Фитингофъ, брезгливо оттопыривъ
твердую, мисистую нижнюю губу, искоса, несмъло, изъ-нодъ
отижельвшихъ въкъ, погладывал по сторонамъ и судорожно
подергивая большой, точно изъ гранита извалнной, сухой,
колодной и жесткой головой...

Свади нихъ, прощенный еще въ декабрв, въ оливковомъ бархатномъ кафтанв и въ неряпіливомъ, всклоченномъ, намудренномъ парикъ, скрюченный годами, бедностью и всякими разочарованіями, беззубый, осыпанный пюхательнымъ табаковъ, хвастянный враль и медный лобъ, сманый и наглый авантюристъ Лестокъ.—«Встричаю шестое благонолушне царствованіе — гм! — въ благонолушня Рюси»...— остриль опъ, хихикая и піаркая бархатными штиблетами

передъ разриженными старухами, нъкогда первыми красавицами елисаветинскаго двора.

Ломоносовъ не вкрилъ своимъ глазамъ. На него какъ бы пахнуло могилой. Сердце его сжалось. Онъ смутно вглядывался въ живыхъ, но точно молью и тленісмъ тронутыхъ, грозныхъ старцевъ, нъкогда двигавшихъ судьбами Россіи.— «Былые боги намцевъ на Руси! такъ вотъ они, прощены!... стадо лютыхъ волковъ... А нашего-то горетовскаго ссыльнаго, Бестужева, и забыли!--иыслиль онъ, притиснутый къ окну, — Биронъ! вижу, наконецъ, вблизи этого брюхатаго, жаднаго и злого, курляндскаго паука, въ дны скорбные дни упивавшагося кровью тысячь русскихъ... А этотъ, раздавившій и пожравшій земляка-друга, старый интриганъ Минихъ?.. Памятно-ль имъ ненавистное выражение «слово и дело» и нежданная встреча ихъ на станціи, когда одного мчали въ Сибирь, а другого, сосланнаго имъ, изъ Сибири? Вонъ раскланиваются, комплименты говорять, потчують другь друга табакомъ и оба воротять носы отъ сквернавцафранцуза Лестока, точно отъ него и взаправду пахнеть кровью замученной фамиліи Ивана Антоновича ...

Стали приливать новые гости.

Биронъ, шаркая исхудалыми, невърными ножками и подергивая каменною головой, вмъшался въ толцу. Минихъ также хотълъ пройти въ слъдующую гостиную, но его окружила новая волна дамъ. И опять его зоркіе, сторожкіе, улыбающіеся глаза блеснули остротой. Онъ поднялъ руку съ лорнетомъ, что-то вполголоса нашептываетъ Куракиной.— «Да полноте, Иванъ Богданычъ! ахъ, ахъ, ваше сіятельство! ну, что это вы!» — ударяя его въеромъ по рукъ, смъстся счастливая его вниманіемъ Елена Степановна.

«Двадцать лётъ назадъ, — подумалъ Ломоносовъ, — я стоялъ въ толпѣ народа, межъ академіей и коллегіями, а онъ, этотъ безпечный, твердый Минихъ высился во весь ростъ у плахи, рядомъ съ палачомъ. На немъ былъ красный фельдмаршальскій плащъ, лысая голова была обнажена, а на дворѣ стоялъ трескучій морозъ. Выслушавъ смертный приговоръ къ четвертованію, онъ шутилъ съ солдатами. — «Что, батенька, холодно? — сказалъ онъ съ улыбкой, сходя съ эшафота, полузамерзшему полицейскому офицеру: — пнапсику бы теперь, — адмиральскій часъ! » — Да, это будеть надежнѣйшій оплоть Петра Федоровича».

Громъ музыки въ цветочной галлерев и новое движение пестрой веселой толпы прервали мысли Ломоносова. Онги направился въ танцующимъ.

— Господа, кто желаеть курить, въ кабинеть, или къ китайской беседке!—говориль мужчинамь по-исмецки и п>-

французски баронъ Иванъ Андреевичъ Фитингофъ.

Въ кабинств толковали о недовольствъ Франціи и Австріи, о предстоящей войнъ съ Даніей. Слышалась одна нъмецкал ръчь, івъ перебивку съ голштинскими поговорками. — «А знаете, какъ Нарышкинъ получилъ андреевскую ленту? — произнесъ кто-то въ углу: — надълъ ее, шутя, вышелъ въ пріемную, а потомъ докладываетъ государю: —совъстно, позвольте не снимать, —всъ засмъютъ». —«Ха-ха-ха», — отзывались важные слушатели.

Часть гостей двинулась въ садъ, къ освъщенной фонарцками китайской бесъдкъ.

- Гдт канцлеръ? спросилъ Ломоносовъ, встрътись въ цвъточной съ бывшинъ государевымъ учителемъ, академивомъ Штелиномъ.
- На что тебъ? путь въ Индію все думаень затъвать? не тебъ чета быль Великій Петръ, и тотъ провалился.
- Не при пустоши. Перемолвить надо объ одномъ молодомъ человъкъ.
- Ищи въ саду, въ буфетв. Никогда Михайло Ларіоновичъ не курилъ; а теперь, представь, и онъ моднымъ человъкомъ быть хочетъ.
- Не укажещь ли, кстати, оберъ-кригсь-комиссара Цейца?—прибавилъ Ломоносовъ.
- Этоть вашей милости для чего?— спроснять, съ улыбкой, распомаженный и чистенькій, какъ сахарная куколка. Штелинъ:—вонъ онъ, видишь, высокій, у двери, съ плюмажемъ... Не поэму ли или оду въ честь голитинцевъ изволилъ, Михайло Васильевичъ, скомпоновать?
- Вздоръ городинь! сердито отвътиль, отвернувшись отъ коллеги, Ломоносовъ.

Онъ подошелъ къ Цейцу, съ достоинствомъ отрекомендовался и, для вящшаго успъха, заговорилъ съ нимъ о Мировичв по-нъмецки. Грубый, чопорный и совершенно глупый Цейцъ внимательно выслушалъ знаменитаго просителя, тревожно задвигалъ густыми, русыми бровями, и, думая нопъмецки, отпътилъ на ломаномъ русскомъ языкъ — «Вы

долгь слушебна не знаете, вы диссиплинь, извините, не понимаете, а потому... потому отказомъ не обищайтесь... Bitte um Verzeihung!» — Сказавъ это, тощій и длинный, какъ шесть, государевь ордонансь угловато и сухо склониль на бокъ костлявый станъ, щелкнуль огромными шпорами и молча, покачиваясь, отошель къ кружку другихъ генераловъ.

«Тьфу, ты, ивмецкая, гнусная твары! — чуть не вслухъ произнесь Ломоносовъ, — еще наставленія, пакостная тара канья моща, двлаеть! зналь бы и не просиль!»— Но оста валось еще ходатайство о Фонвизинъ. Михайло Васильевичъ пошель отыскивать канцлера Воронцова.

Вм'єсто дороги къ бес'ядк'в вправо, Ломоносовъ съ балкона взяль вл'єво и попаль въ малоосв'єщенную глубь сада. Зд'єсь была полная типпина. Дорожки межь высокихъ деревьевъ сходились въ извилистый, хитро-переплетенный лабиринть.

Въ концѣ сада, за прудомъ, на перекресткѣ двухъ аллей, стояла старая развѣсистая липа.

Подъ липой, на скамьяхъ, вокругъ простого некращенаго стола, сидъли трое изъ гостей. Ихъ трубки всныхивали въ темнотъ, какъ волчьи глаза. Четвертый, разговаривая, медленно прохаживался передъ ними. Имъ было видно всякаго, кто шелъ отъ дома. Ихъ можно было разглядъть только вблизи. Они удалились сюда, для бесъды и наединъ и для освъженія на чистомъ воздухъ, увлажаемомъ близостью темнаго, покрытаго легкимъ бълымъ паромъ пруда. Двое изъ нихъ, на мировой во дворпъ, для виду, на-дняхъ взялись за бокалы. Но едва государь отвернулся, они разошлись и не вахотъли пить другъ за друга. Здъсь они были, повидимому, друзьями.

— Государь очень недоволенъ супругой, очень!—сказалъ, по-французски, остановившись у стола, Воронцовъ: — все тормазится отъ этой размолвки; фуражный подрядъ для по хода не розданъ до сихъ поръ... поставщики потеряли головы...

Старчески-ворчливый хрипъ и покряжтыванье отозвались въ отвітъ на эти слова. Все подъ липою опять замолкло.

— Куда идемъ? чего ждать? — продолжаль то по-французски, то по-русски великій канцлеръ: — прихода ожидается пятнадцать милліоновъ, расхода шестнадцать съ половиной. Чемъ покрыть дефицить въ полгора милліона? А туть эта

война съ Даніей! Всюду ропотъ! — въ собственной фамиліи государь отнюдь не ассюрированъ. Ни о чемъ нельзя просить, ни на что надбяться...

- Племеннисъ ваша, Элиза Романовна, утѣшійтъ его!— отвѣтиль по-русски, попыхивая изъ витой трубочки, Летокъ: —женушка будеть, обвѣншался можно тихимъ маньеръ...
- Опасно!—сказать Воронцовь:— въ марьяжь играть ве въ дурачки... Не простять намъ того наши персональвые враги... И безъ того супцонирують... Положимъ, племянница моя такъ близка государю... Но за Екатерину Алевсевну,—шутка ли, — гвардія, народъ... вездѣ неспокойно, подглядывають, слѣдять...
- Постричь немножко!.. въ монастырь на хлібъ и вода!—прошамкаль сквозь зубы былой пособникъ императрицы Едисаветы, также когда-то вывхавшій на монастырі:—пусть узнаеть пословись,—какъ это? какъ?.. воть тебі, бабушка, Юричь день...
- Жаль, жаль бёдную! сказаль, съ сильнымъ нёмецжимъ акцентомъ, Минихъ:—она граціозна, деликатенъ такъ, тиха... Плутархъ шитаетъ, хронику отъ Таситъ, энсиклопедію Бель и Вольтеръ... Разумна головушка...
- Каприжесна и лукавъ! презрительно и грубо проворчалъ третій собес'єдникъ. модча сидівній на скамьті: реб'єдлы и конспираторы! Машкаратъ!.. баб'є спустилъ, самъ бабамъ будешь...
- Но что же, ваше высочество, дёлать? обернувшись жа голось этого третьяго, мягко спросиль Воронцовь: dites-le, au nom de Dieu! votre expérience et puis... ваша опытность и предусмотрительность...
- Арресть и вышна каземать! прозвучаль жельзный голось изъ темноты.
- Mais... excellence, écoutez!.. кто насъ завъритъ? Изъ тюрьмы въдь люди тоже выходятъ, —возразилъ Воронцовъ: а заключеннаго —сколько примъровъ? могутъ отбитъ изъподъ всякихъ закръпъ и замковъ...
- Методъ есть кароша другой! отозвался тотъ же говосъ изъ-подъ деревъ.
 - Какой?—спросиль съ невольною дрожью канплеръ.
- Плаха и топоръ! кругло и ужъ совершенно пе-русеки выговорилъ Биронъ.

Но аллев, за ближними кустами, послышались шаги. Воронцовъ оглянулся, состроилъ лицо на ласковый, добродушный видъ и, безпечной развальцой, пошелъ навстрвчу давнему прінтелю Ломоносову.

Они остановились поодаль отъ липы. Канцлеръ нетерпівливо и разсівнно вертіль въ рукахъ табакерку. Ломоносовъ, видн его смущенное и какъ бы провинившееся лицо, подумаль: «Ужъ не пройти ли мимо? какой-то секретный туть консиліумъ... Ніть, нечего терять времени».—Онъ пересилиль себя и въ краткихъ словахъ передаль канцлеру просьбу о студенть Фонвизинъ.

- Все тотъ же мечтатель, добрякъ и хлопогунъ за другихъ!—утирая лицо и сморщившись, сказалъ Воронцовъ: радъ тебя, дружище, видъть, радъ! давно пора явиться... Но время ли. батенька, согласись, объ этомъ теперича, да ещо на балу? Ты знаешь, я тебя люблю, всегда готовъ, но... смилуйся, Михайло Васильичъ, посуди самъ...
- Я, ваше сіятельство, домос'єдъ, берложный медв'єдь, не шаркунъ, съ зудомъ въ горлів, сжимая широкія руки, сердито пробурчалъ Ломоносовъ: —но васъ, дерзаю такъ выразиться, на этотъ разъ трудить моей докукой не перестану...
- Но, cher ami и тезка! ваканціи въ коллегіи нонче нітути. Образумься, пощади! И высшіе рангами, смію увірить, какъ слідъ, не обнадежены... Куда я заткну твоего протеже? Чай, лоботрясъ, мальченка-шатунъ, матушкинъ московскій сынокъ?..
- Не лоботрясь, государь мой, —обидчиво отвытиль Ломоносовь: а за шатуновь я, отродясь, просителемъ еще не бываль. Мъсто переводчика прошу я, графъ, этому студенту. Онь басни Гольберга перевель, Кригеровы сны, Альзиру Вольтера... И первая книга издана въ Москвъ коштомъ благотворителей... Усердные къ наукамъ у насъ не знають, какъ имъ и ухватиться. И я прямо скажу, таковыми людьми, а особливо русскими, въ отвращение вредительныхъ толковъ и факцій, брезгать бы не слъдовало...
- Вредительныя факціи и толки! Богь мой! досадливо перебиль Воронцовь, оглядываясь къ лигь, гдъ впотьмахъ, какъ глаза шакаловъ, попрежнему вспыхивали трубки оставленныхъ имъ собесъдниковъ: écoutez, mcn brave et honorable ami! правду-матку отръжу... О комъ ты говоришы! о какомъ-то студентишкъ, о мизерномъ пистъ какихъ-то тамъ

книжонокъ, не больше... Ну, стоить ли! И вдругъ всиылилъ! И все овто ваша запальчивость! До того ли намътеперича? То ли у всъхъ на умъ? Впрочемъ, изволь, прибавилъ онъ, подумавъ: — развъ сверхъ штата и безъ жалованья, да и то пусть прежде выдержитъ при коллегіи экзаментъ...

— Но, милостивый государь мой, — потерявъ терпініе, возвысиль голось Ломоносовъ: — гді видано?.. Онъ московскій, словесной и философской факультеты студенть... а німцевъ у вась принимають!.. Да когда же, наконецъ, столь

роковой и пагубной слепоть увидимъ мы конецъ?

Онъ не кончилъ. Съ пруда, съ громкимъ свистомъ, взвилась ракета. По берегу вспыхнуло нѣсколько разноцвѣтныхъ огней. Дверь на балконъ изъ цвѣточной распахнулась настежь. Грянулъ голштинскій, съ барабанами и трубами, маршъ. И сквозь искры шутихъ и бураковъ было видно, какъ впереди блестящей военной свиты, на крыльцѣ, рядомъ съ Гудовичемъ, въ бѣломъ, съ бирюзовыми общивками, голштинскомъ мундирѣ, съ аксельбантомъ и эполетомъ на одномъ плетѣ, показался императоръ.

 Такъ какъ же, графъ? Будетъ ли, наконецъ, уважено? — надвинувшись плечомъ на растерявшагося Ворон-

цова, спросиль Ломоносовъ.

— Ахъ, батенька! точно Цицеронъ: quosque tandem?.. недостаеть еще Катилины!—торопливо, трусцой, исчезая въ боковой аллеъ, проговорилъ великій канцлеръ: — коли согласны, экзаментъ и сверхъ штата...

— Гунсвоты! Канны! — проворчать взбышенный Ломоносовъ, шагнувъ за нимъ и чуть впотьмахъ не задъвъ парикъ Лестока: — этакаго юноши и не оцънить... Рвань поросячья! куда ни глянешь, одна рвань...

— Quel môt de chien!—послышалось подъ липой.

— Ребелы и конспираторы! nichts weiter!—презрительно заключиль, вставая на жиденькихъ, трясущихся ножкахъ, герцогъ Биронъ:—бъдпе Россіи консцъ... пунктумъ!..

Ломоносовъ завидълъ въ гущинъ березокъ китайскую бесъдку. Здъсь теперь было пусто. Курильщики и любители пива отправились смотръть фейерверкъ. Михайло Васильевичъ присълъ къ столику. Нервная дрожь его не покидала. Онъ сидълъ безъ мысли, безъ движенія, прислушиваясь къ

лузыкв и къ одобрительнымъ возгласамъ толны, смотръвнией на иллюминацію. «Боже, Господи! да что же это?—сказаль онъ себь:—куда я попаль? И нужно было мив дъзть сюда!»—Онъ вышель изъ беседки.

Первая часть фейерверка была кончена. Танцы въ дом'в возобновились. Осв'яженные на воздух'в, дамы и мужчины возвращались веселыми группами въ комнаты. Готовились начать безконечный, такъ-называемый «саксонскій» или на-

рышкинскій гросфатеръ.

Цвъточная галлерея была переполнена. Съ пріъздомъ государя, для танцевъ отворили новую, запасную, надушенную куреньями залу. Ломоносовъ, мимо напудренныхъ, въ цвътахъ и жемчугъ женскихъ головъ, мимо гвардейскихъ мундировъ, эполетъ и палашей, тоненькихъ, въ длинныхъ перчаткахъ, дъвичьихъ рукъ и низко обнаженныхъ, пышныхъ дамскихъ плечъ и спинъ, бокомъ протиснулся въ эту залу. Онъ еще разъ хотълъ найти Цейца и, при помощи гетмана, президента академіи, уговорить его оказать хоть какое-либо вниманіе Мировичу.

Суета и давка, предшествовавшія любимому, всёхъ увлекавшему танцу, отодвинули Михайла Васильевича къ трельяжу изъ цвётовъ. За перегородкой въ оркестръ, онъ увидълъ, передъ пюпитромъ, со скрипкой въ рукъ, императора.

Петръ Оедоровичъ, ладя струны и чему-то громко, беззастънчиво смъясь, разговаривалъ съ баронессой Фитингофъ. Подъ руку съ нею, обмахиваясь въеромъ, стояла средняго роста, полная, прозванная городскими остряками «трактирщицей» — Лизавета Воронцова. Левъ Александровичъ Нарышкинъ, въ бархатномъ, вишневаго цвъта кафтанъ, съ андреевской лентой и крупными брильянтами на пуговицахъ, суетился, бъгалъ, останавливался, махалъ платкомъ и опять бъгалъ, устраивая танецъ, въ музыкъ котораго вызвался принять участіе государь.

«Они веселятся,—сказать себъ Ломоносовъ:—фаворитка у всъхъ на виду, всъ ей поклоняются, льстятъ... А она, Екатерина Алексъевна, умница моя, прячется, книги читаеть, навъщаетъ свъжую могилу покойной императрицы... Сегодня я встрътиль ее... Въ трауръ, въ плерёзахъ и въ печальной, точно монашеской, шапочкъ, ъхала въ дрожкахъ

молиться въ крвпость»...

На другомъ концъ валы, вниманіе Ломоносова привлекло

блідное, строгое, встревоженное лицо сухощавой, стройной дівушки.

Опершись на руку другой, румяной и веселой, и какть бы окаменъвъ, она, съ вытянутой шеей и сжатыми губами, не спускала робкихъ, молящихъ глазъ съ государя. Передъ псй въ бъломъ доломанъ, съ барсовымъ мъхомъ на плечъ, стоялъ лихой польскій гусаръ, родичъ Радзивила, Собань-скій. Улыбаясь, онъ давно ей что-то говорилъ, очевидно приглашая ее на гросфатерь. Но воть она опомнилась, тодала руку, обернулась къ подругь. Что-то знакомое встрътилось Ломоносову.--«Гдв я ее видьль, или кто мив о ней говорилъ? — подумалъ Михайло Васильевичъ, — лицо вижу какъ бы впервые, а между темъ... точно где-то ее встречалъ!.. Мушки и ямочки на щекахъ, сърые, какъ у сфинкса, миндалиной, будто безстрастные глаза, -- и сколько въ нихъ вдумчивости, тайны и глубины... Тафтяной палевый робронъ, низанъ перлами, алый бархатный камзольчикъ и коралловые браслеты -- склаважъ... Жениховы заграничные презенты... Бавыкина ихъ показывала... Неужели-жъ это невъста Мировича — Пчелкина!.. Онъ ее такъ описывалъ... Но она была въ Шлиссельбургв... Какъ же и съ къмъ нонала сюда? Воть случай... можеть сообщить о немъ».

Громъ музыки прервалъ мысли Ломоносова.

Вертящійся гросфатерь оттвениль его къ оркестру. На толетыхъ, упругихъ, обтянутыхъ въ бълый шелкъ икрахъ, во главь пестрой вереницы, плылъ, отбивая хитрые батманы и ппруэты, Нарышкинъ.—«Веселимся»,—сказалъ онъ кому-то близъ Ломоносова, качнувъ головой:—«веселимся!»— подтвердили глаза его и прочихъ танцующихъ, легкимъ роемъ продетавшихъ мимо оркестра.

Не усп'ять Михайло Васильевичт посторониться, опоминться, не усп'ять взглянуть въ ту сторону, куда унорхнула съ гусаромъ худощавая стройная дівушка, какъ его обдали волны зеленой, съ золотыми блестками, кисеи, и онъ почувствоваль запахъ горошка и резеды. Передъ нимъ, съ головными уборами, въ видъ корзинъ цвътовъ, улыбаясь, стояли красивая хозяйка дома и толстая, краснолицая, Лизавста Романовна Воронцова. Баронесса представила его посл'ядней.

— Давно, давно наслышались, — нъсколько грубымъ го-

лосомъ и нарасивиъ обратилась къ нему по-русски фаворитка: - - что пишете, Михайло Васильнчъ?

Кровь бросилась въ голову Ломоносова. Ему вспомнилась государыня Екатерина Алексевна, на дрожкахъ, въ трауръ.

— Ничего не пишу... боленъ былъ, — ответиль онъ, съ

судорогой въ горль.

— Быть того не можеть! что-жъ замолкла, викуда не является ваша муза?

— Юбка у ней кургуза,—думая, что говорить про себа, вслухъ сказалъ Ломоносовъ.

Обь дамы съ удивленіемъ взглянули сму въ лицо.

— Мы читали вашего «Кузнечика»,—сказала, желая его задобрить, баронесса:—voilà un vrai génie... délicieux!

-- Если бъ я быль, сударыня, стрекозой, — произнесь, насупись, Ломоносовъ:--я бы давно ускакаль отсель, скрылси бы въ глушь, въ бурьянъ...

- -— Ни одной оды, помилуйте!—жеманясь, вергась и оглидываясь по сторонамъ, продолжала, тономъ капризной властительницы, избалованная фаворитка: — были въдь какія торжества! миръ съ Пруссіей, фейерверки, спуски кораблей... вы же стихотворецъ, академикъ...
- На то есть другіе, —еще грубъе, съ дрожаньемъ губъ и рукъ, пробурчать Ломоносовъ: —напишеть сахарный Штелинъ, переведеть Барковъ... его-жь кстати посадили и въ дессинсъ-академію, другимъ на зло...

Кто то выручиль дамъ. Онь отошли, пожимая плечами. «Пеучъ, грубинъ, и все туть!» — съ тревогой глядя къ оркестру, прошентала Воромцова.

XIV.

Аудіенція.

За перегородкой, между музыкантами, уже не было государя. Петръ Осдоровичъ сыгралъ первое кольно гросфатера и передалъ скрипку Олсуфьеву. Въ глубинъ залы онъ обратилъ вниманіе на дівушку, танцовавную съ польскимъ гусаромъ. Едва они кончили фигуру и стали у двери, туда подошелъ государь.

 Ваше величество! — сказала, склонясь передъ нимъ, Ичёлкина: — уділите минуту несчастной.

Видно было, какъ Петръ Осдоровичъ ласково улыбнувся, подаль ей руку, и выпрямившись по-военному, выжливо отошель съ ней мернымъ шагомъ къ сторонъ.

- Кто говорить съ государемъ? спросила, въ съромъ шелковомъ молдаванъ, румяная дамочка.
- Птицына... Маіора Птицына дочь...—отв'ятила ей другая дама, въ зеленомь корнеть.
- Нъть, на шеръ, не Птицына; quelle idée! та повыние и поливе.
 - Такъ кто же?
 - У Оппермана спросить бы... Гдв баронъ?
- Ахъ, посмотри, какая кривляка... ну, безпримърная ужесты глазами-то глазами! а плечами какъ выдылываеть...
- Притомъ и блідна...—прибавила веленая дамочка: ахъ, какъ бледна!
- Да не блідна же, что ты! перебила дама въ сіромъ:-желта, ну, какъ мужичка, жолта и черна...
- Ахъ—ахъ! посмотри... И вѣдь туда-жъ съ декларасьонами!
- Э, полно, радосты божусь, даже смъшно слушать, съ декларасьонами! Этакую-то... Не думала я, ма шоръ, что ты такой педанть...
- Господа, господа! вамъ начинаты!--привнуль съ средины залы красный и въ поту, выбившійся изъ силь Нарышкинъ:-tournez à gauche, balancez... chaine...

И опять свивался и длиннымъ, пестрымъ змемъ сколь-зилъ безконечный, балансирующий, присъдающий и, въ хитрыхъ батманахъ и иліс, порхающій гросфатеръ.

Государь и Пчёлкина отошли къ плющевому трельяжу. Свободные отъ танцевъ гости, по правиламъ этикета, полукругомъ, стали поодаль отъ нихъ.

- Въ чемъ же ваща просьба?—спросилъ императоръ.
 Я невъста, робко, молящимъ шопотомъ, сказала Пчёлкина: — моего жениха, по вашему повежению, услажи въ армію...
- Жениха? а куртаги, ха-ха, минуэть въ костюмв инифы, помните?-спроснав Петръ Оедоровичъ, смвись.
 - До того-ль теперь, простите, умоляю, ваше величество...
- Не терпится? хотите поскорый его видыть? Но выдь теперь пость, — свадьбы нельзи... Э!.. Подождите коноцъ и в-

сяца, ну, монжь именинъ... Я объщаль тогда, и вашъ марьяжь, върьте, сыграемъ. Согласны?

- Слышно о новомъ походъ, ваше величество, поборовъ волненіе, продолжала Пчёлкина: вы уъдете... Я искала случая еще объ одномъ лицъ васъ просить; вновь его всъ забыли. Я хотъла пасть къ ногамъ вашего величества... въ церкви, въ манежъ, на площади у дворца... Ахъ, государь, помогите, окажите вашу милость... вы такъ добры...
- Не вамъ быть у чьихъ-либо ногъ, лукаво улыбнувшись, сказалъ Петръ Оедоровичъ:—я виноватъ... Но, — mille pardons, —о комъ вы еще просите?
- Вы, государь, объщали къ маю прівхать, освободить... принца Іоанна; а теперь іюнь... Простите, ваше величество, безумной, дерзкой... Я жила у тамошняго пристава; его сивнили за нъкое письмо; но не онъ вамъ его писалъ... Казните,—я ръшилась тогда напомнить... и теперь дерзаю...

Поликсена не кончила.

Государь оглянулся. Передъ нимъ, съ бледнымъ отъ негодованія и ревности лицомъ, стояла Воронцова. Багровыя иятна проступили на ея лбу и на трясущихся отъ волненія щекахъ.

- Пару словъ, ваше величество, съ хрипомъ злости, сказала она по-французски: — дъло весьма серьезное...
- Ну, ну, что тамъ за спѣхъ? Черезъ минуту, и къ вашимъ услугамъ, — обернулся государь, благосклонно кивнувъ Пчёлкиной.

Онъ подалъ руку Воронцовой. Толпа передъ ними разступилась. Они вышли въ сосъднюю залу.

- Съ къмъ вы сейчасъ говорили? спросила, подавляя бъщенство, Воронцова: удостойте отвътить, я всо вижу, все...
 - Съ одной девушкой; она., просила о женике.
- О женихѣ? А вы не видите, не слышите, что вкругъ васъ дълается? Спросите моего дядю. Онъ върный вамъ слуга; но вы его не слушаете. Смълость враговъ връеть не по днямъ, но часамъ... Вы уъдете, меня заточатъ, казнятъ,— заключила, сквозь слезы, Воронцова.
- Ай, Романовна, какъ все это скучно! перебилъ съ нетерпъніемъ Петръ Оедоровичъ, обернувшись къ двери, за которой оставилъ Поликсену:—ты по кольни въ библіи ходишь, всякъ то знаеть. Но вы, съ дядюшкой, да съ Гудо-

и смело, гордо глядя на почтительно-разступавникся передъ нимъ нъмцевъ и русскихъ.

Та же глубь сада и та же липа, на перекресткъ двухъ аллыі. Подъ лицой, гдв два часа назадъ съ канцлеромъ бесъдовали Минихъ, Лестокъ и Биронъ, безъ шляны и со стапаномъ лимонада въ рукъ, сидълъ, обмахиваясь платкомъ, императоръ. Передъ нимъ стояди Унгернъ и Корфъ. Завидя Ломоносова, государь всехъ отосладъ къ сторонъ.

— Давно тебя не видълъ, Михайло Васильичъ, садись! сказаль Петръ Осдоровичь: — ты меня совсвиъ забыль. Тётку поддерживаль, въ одахъ воспъваль. Меня, какъ вижу. меньше любишь. А на тебя все смотрять, ждуть, что ты

скажешь.

Ломоносовъ, почтительно стоя, модчаль.

«Вспомнилъ!--пронеслось въ его умъ:--Господь, видящій сердце гръшныхъ, вразуми меня и просвъти»...

- Voyons... вотъ прошелъ слухъ, -- съ улыбкой продолжаль Петръ Оедоровичъ: -- будто ты составиль прожектець всьхъ нъмцевъ изъ Россіи выгонять... Правда ли это?

 Сущая клевета и несообразность, —вспыхнувъ по уши, ответиль Ломоносовъ:--и я такими ребяческими колоброзствами не занимаюсь. Бываю я, простите, особливо въ часъ гипохопдрін, різокъ на слова... Но не въ томъ наши пользи и нужды, государь... Хорошіе иностранцы—наши учители: а я, нижайшій, самъ у нихъ же, на ихъ родинъ, свътъ истины спозналъ. Не о вареоломеевской ночи противъ чужеземныхъ наставниковъ думать намъ, а о возвышенін н произрастаніи родныхъ наукъ. Поумньемъ, наважіе менторы намъ не будуть нужны..

«Расположу его къ себъ, — насмъшливо подумалъ Петръ Өедоровичь, — россійскій Малербъ и Пиндаръ. Воть онь стоитъ передо мной. А по-моему, просто ворчунъ и выдожнийся,

съ годами, бумагомаратель и пересудчикъ...»

 Слушай, Михайло Васильичъ,—сказалъ государь:— я. какъ всь, какъ и дедъ мой, Великій Петръ, имею много непріятелей... Мив предсказывають разныя бізды, затрудненія. Тъ совьтують одно, эти другое. Не знаешь, кому и върить. Слушай... Проси у меня чего хочешь, все сдълав... только подумай получше и дай мив совыть. У насъ ныть публичныхъ ораторовъ, какъ въ Англіи, неть сивлыхъ онциклопедистовъ, какъ во Франціи. Мив хочотся, ну, приниемъ капризъ, выслушать тебя. А въдь ты, слушай, и надо то признать, первый геній, слава моего трона. Итакъ, слушаю, Михайло Васильичъ... Primo — проси; secundo — совътуй.

Что-то вдкое, жгучее подступило въ горлу Ломоносова. Онъ хотвлъ говорить и не могъ.—«Денегь сейчасъ попроситъ»—пробъжало въ весело-настроенныхъ мысляхъ Петра Оедоровича.

- Ни энциклопедистовъ, ни верхнихъ и нижнихъ парламентовъ у насъ нътъ, то правда! сумрачно отвътилъ Ломоносовъ: естъ зато у тебя, государь, пъснопъвецъ, газе́тъ гремящій!.. Газе́тъ гремящій противъ злыхъ, припадочныхъ дюдей, противъ враговъ и завистниковъ родины... Лично за себя просьбъ не инъю... Въ роды родовъ перейдетъ какъ твое имя, государь, такъ и твоего пъснопъвца. И никто но скажетъ, чтобъ былой рыбакъ, а ныпъ извъстный всему свъту, природный русскій ученый и поэтъ, Михайло Ломоносовъ, чтобъ онъ продавалъ свои оды за подачки отъ рукъ его государей.
 - Да я и не говорю! что ты? помилуй!..
- Пімъ твою тётку, пімося,—продолжаль Ломоносовъ: и тебя, обозрівь твоихъ начинаній черты, встрітиль радостно... теперь молчу...
- Совыть, совыты! нетериаливо застучавъ рукой по столу, сказалъ Петръ Өедоровичъ.
- Совътъ? изволь, государь, только не прогнъвайся. Ты мягкій душой, прямой и добрый человъкъ. Всъ это знаютъ. Но страна, данная тебъ, не аллеманское курфиршество... Она—Россія!.. тебъ нужны мудрые, геніемъ одаренные совътники.
- Кто они? гдъ? спросилъ, двинувшись на скамъъ, императоръ. «Ужъ не себя ли хочетъ предложить въ совътники?» подумалъ онъ брезгливо.
- Помирись съ твоей супругой, сказалъ, почтительно склонившись, Ломоносовъ: лучшаго совътника и друга тебъ не надо.
- «То же и Фридрихъ совътуеть подумалъ Петръ Оедоровичъ, но въ этомъ, и только въ этомъ, онъ ошибается, не знаетъ мадамъ La Ressource...»
- Н'ыть, и ыть!—отвытиль съ раздражениемъ государь: жена непослушна, упорна, дерзка; скажу откровенно — из

уважаеть дучнихъ в върныхъ монхъ хранителей, годитивцевъ. Клерикалы на ея сторонъ; вся гварлейская володемъ, слышно, въ нес влюблена...

 И я, государь, прости, изъ ез жаркихъ поклунниковъ. произнесъ, опять склонясь, Лононосовъ.

«Точно сговориянсь», — съ досадой подумаль Петръ есдоровичъ.

ты ее обижаеть, тъснить, —продолжаль Лононосовъ: — а оторванные отъ нъдръ близкихъ по-неволь ищуть чужой: подлержки и защиты... Таковъ естества и натуры чинъ!

Дальше, дальше!—нетерикливо перебиль императоръ.

Загладьтяжную ошибку государыни—твеей тетки, —сказагь Ломоносовъ: — освободи несчастнаго узника, бывшаго императора, Іоанна Антоновича... Двадцать лъть вопіють изь тюрьмы о его доль... Не приблизишь его къ своему трону, отпусти въ чужіе края...

Петръ Осдоровичь сдълаль опять движение.

— Унгервъ и дядя принцъ Жоржъ то же говорятъ, произвесъ онъ: —да можно ли то, послушай?.. Ну, какъ его освободить? въдь онъ претенденть!

—Можно. Въ томъ прерогативь, и ведиче твоей власти. Дай ему кончить жизнь человъкомъ... Воснитай его, укръпи здоровье бъднаго, просвъти благами въры и разума... Искупи проплое... Иначе судъ Божій и людской, исторіи приговоръ тебі не простять. Отопли его за границу, къ роднымъ...

Петръ Осторовичъ всталъ. Сильное волнение его охватило. Онъ порывисто оправилъ на себъ пляпу, взялся за портупею, выпрямился, хотълъ говорить и нъсколько секундъ не находиль словъ. Шпага дрожала въ его рукъ.

«И та дъвушка — подумалъ онъ, — и она сейчасъ о томъ же просила... Я помию объщания, надо слово сдержатъ...»

— Спасною, — сказаль императоръ: — часть того, что ты изложиль, сущій резонъ... После узнаешь, я давно, и преждетебя, думаль о томъ же. Въ остальномъ, извини, ошибаешься. Впрочемъ, будь покоснъ, отныне я за тебя. Верю тебе и на тебя надбюсь!.. Но ты ничего не просиль?... Voyons... Не хочешь о себе, проси за другихъ... Слушаю...

Ломоносовь собрался съ мыслями и передаль ходатайство о Мировичь и Фонвизинь. Государь подозваль Унгерна, которому туть же сообщиль ордерь о своемь согласім на об!. просьбы.

. — Студіозусь твой, какъ видишь, будеть принять... А за офицера, — произнесь, улыбаясь, Петръ Оедоровичь: — mille pardons не одинъ просишь... И его невъста, ха-ха, моменть назадъ, меня здёсь о томъ же весьма бомбандировала: Ein Teufels mädel! чертовски-миленькая, умная дъвушка...

Не слыша ногь подъ собой и не покидан гордой осанки, Ломоносовъ прошедъ анфиладой комнатъ, мимо опять подобострастно-склонявшихся передъ нимъ головъ, отъ ужина отказался, простился съ хозяевами и, найдя шляпу и трость, ившкомъ отправился во-свояси, на Мойку. Глаза его были увлажены, сердце билось горячо. Длинная твнь отъ луны падала съ той стороны улицы, гдв, шенча какія-то слова, умиленный и растроганный, шагалъ «газётъ гремящій».

Но уходѣ Ломоносова, Воронцовъ отыскалъ Миниха и долго, объ руку съ нимъ, прохаживался по отдаленнымъ дорожкамъ сада. Разговоръ шелъ о томъ же, объ упадкъ финансовъ, о колебанін всёхъ дёлъ и о фуражномъ подрядѣ для арміи.

- Je conjure votre Excellence:—говориль Воронцовь:— напрягите ваше вліяніе, чтобъ государь оказаль мив этоть фаворъ...
- Но что я могу?—спросиль Минихъ: was kann ich, mein liebster Михайло Ларіонычь?
- Ecoutez...—шенталъ канцлеръ:—je vous offre encore une fois d'être en moitié avec moi dans ce négoce... мы нодълимся, вамъ половина, мив другая, —прибавилъ онъ но-русски: только осмотрительный, по одной эхв могутъ пронюхать и перебыютъ...

Минихъ подумалъ, молча-покровительственно сжалъ подъ локтемъ руку канцлера и съ важностью вышелъ съ нимъ изъ сада.

- Самый опасный Григорій Орловъ, вполголоса сказаль за ужиномъ императоръ Корфу: — надо приставить кого-нибудь въ тайности за нимъ наблюдать.
 - Слушаю, отвытиль глазами генераль-полицеймейстерь.
- Надъ Дашковой, —продолжаль государь: —будеть лучшій аргусь —Романовна, ен сестра... Кто ожидаль? сколько притворства! Не даромъ и не жаловаль ученыхъ; во дворцё ни одной латинской книжки въ моей библіотек' не веліль ставить...

Утромъ императоръ призвалъ Гудовича, долго съ нимъ совъщался, а въ тогь же день былъ посланъ новый секретный гонецъ въ Шлиссельбургъ.—«Въ военную службу принца, — разсуждалъ Петръ Оедоровичъ: — я его перевоспитаю, выбью у него дурь изъ головы, и онъ броситъ бредить...»

Въ половинт іюня, поздно вечеромъ, къ дачъ Гудовича, въ лёсной глупіи, на Каменномъ острову, подъвкала, съ отпущенными шторами, запыленная извозчичья карета. Изънея вышли озабоченный, ножилой, въ синемъ гарнизонномъ кафтанъ, офицеръ и длинноволосый, блёдный, въ голитинскомъ плащт, съ подплетенными въ косу волосами, молодой человъкъ.

Кром'в государя, хозянна дачи и еще двухъ-трехъ сановниковъ, никто не зналъ о прибытии этихъ путниковъ. Они заняли пустой флигель въ глубинъ Гудовичева двора и первые дни никуда оттуда не выходили.

XV.

Пельмени.

Прождавъ день и другой Фонвизина, Ломоносовъ отправился его отыскивать.

«Кстати навѣщу и былую мою жилицу, Бавыкину», рѣшилъ онъ:—пока пошлютъ приказъ въ армію, узнаю отъ Настасьи Филатовны его вѣрный адресъ, и самъ его обрадую пріятною вѣстью».

Бавыкина квартировала теперь у Калинкина моста. Домъ дяди Фонвизина былъ невдали у озера, или скорће, у болота, между светлицъ пятой роты измайловскаго полка.

Ломоносовъ забхалъ прежде къ Фонвизину. Среди двора его встрътила, съ чашей и съ грудой тарелокъ въ рукахъ, какая-то здоровенная, но еще молодая съ виду стринуха. На вопросъ о Денисъ Иванычъ, она переспросила: «Чяво?»—и, съ досадой ткнувъ тарелками въ сторону небольной каменки, стоявшей между вербъ и акацій, прибавила: «эвоси! гуть аны п живуть...»

Быль еще десятый чась дня. Изь оконь каменки, между тьит, ужь слышался стукъ ножей и вилокъ, и вкусно нахло жаренымъ, съ лукомъ, мясочъ. У крыльца валялись налки и большой шерстяной избитый мячъ, для игры въ лашту.

Сивхъ и говоръ нъсколькихъ молодыхъ голосовъ слышался изъ-за низенькихъ, покосившихся и вошеднихъ въ землю дверей.—«Рано, однако, объдаютъ на болотъ!»—подумалъ, взявшись за дверную ручку, Ломоносовъ.

Его глазамъ, за порогомъ, представилась просторная, свътлая комната, загроможденная аммуничнымъ, книжнымъ и всякимъ хламомъ. Соръ въ ней, очевидно, не выметали по недъямъ. Пахло табачнымъ дымомъ. У раскрытаго въ общирный веленый огородъ окна стоялъ тесовый стояъ. За стояомъ, передъ батареей пустыхъ и недопитыхъ пивныхъ бутылокъ, за блюдомъ дымившихся, плававшихъ въ масят пельменей, съ добродушиными, вспотъвшими отъ тады лицами, въ рубахахъ и безъ шейныхъ платковъ, сидъли трое смъявшихся военныхъ молодыхъ людей. Одного Ломоносовъ тотчасъ узналъ. Прочіе двое—круглолицый, долговязый, румяный, съ крупнымъ носомъ и карими, весело глядъвшими глазами, и другой — постарше, невысокій, широкоплечій и въ очкахъ, были ему незнакомы.

- Куда жъ это вы, Денисъ Иванычъ, запропастилисъ?— спросилъ Ломоносовъ, вваливаясь своимъ плотнымъ, здоровеннымъ станомъ черезъ порогъ горенки: завхали, околдовали собой домосъда и какъ въ воду канули... Я съ хорошими въстями...
- Михайло Васильевичь!!! батюшка! великій нашъ... вскрикнулъ и заметался, оторопільній и донельзя растерявнійся, Фонвизинъ: — господа, господа!—обратился онъ къ вскочившимъ и также, въ смущеній, незнавшимъ что дівлать пріятелямъ: — позвольте вамъ отрекомендовать... тьфу! что я!.. см'ю ли?..
- Да полно ты, Денись Иванычь, —обратился къ нему Яомоносовь, садясь на безногую, на какихъ-то смъщныхъ подставкахъ, прикрытую коврикомъ, кровать: —назови, ктотвои друзья, и все тутъ.
- Не сюда, не сюда, упадете... ахъ, въ кресло! тъфу ты пропасть! и оно въдь сломано... не могу! о! да знаете ли, други сердечные, кто это? знаете ли?—произнесъ Фонвизинъ, указывая на гостя:—нашъ первый, великій и единственный поэтъ. Михайло Васильичъ Ломоносовъ.

Молодые люди бросились въ своимъ галстукамъ и нафтанамъ, продолжая, съ раскрасивышимися лицами, смущенно и безмольно смотреть на гости.

- Вотъ я и нарушилъ дружескую конверсацію, сказалъ, поднявшись съ кровати, Ломоносовъ:—вналъ бы и не зашедъ... Оставайтесь, господа, какъ есть, или я сейчасъ ретируюсь вспять.
- Помилуйте, какъ можно! ничуть-съ...—восклицали, натягивая камзолы и прочее, оторопълые пріятели Фонвизина.
- Мы играли въ мячъ, умаялись и закусываемъ, объявилъ, глядя на пріятелей, Денисъ Иванычъ: они защли съ ученья!.. А теперь позвольте: вотъ этотъ-съ (онъ указаль на круглолицаго и долговязаго, съ крупнымъ носомъ) старый знакомецъ дядющки по Казани, преображенскій рядовой и мой другъ по любви къ словесности, скромный писецъ любовныхъ и всякихъ веселыхъ стишковъ, Гаврило Державинъ... Не краснъй, братъ, не краснъй!.. А этотъ (указывая на плечистаго и полнаго, въ очкахъ) его и мой пріятель, капитанъ того же полка, Петръ Богданычъ Пассекъ. Онъ-то и придумаль сегодня пельмени... И оба они, Михайло Васильичъ, какъ и я, ваши поклонники...

Глаза Ломоносова радостно блеснули. Онъ отмънно-въжаиво поклонился и, ласково глядя на упаренныя, цвътущія здоровьемъ лица молодыхъ людей, разсказалъ Фонвизину о своемъ предстательствъ за него у канцлера и у самого государя. Денисъ Иванычъ хотълъ броситься къ покровителю на шею и остановился.

- Михайло Васильнчъ! воскликнулъ онъ: какъ васъ благодарить! вотъ осчастливили, помогли...
- Резолюція канцлера,—заключиль Ломоносовъ:—была, впрочемь, сверкь штата; государь, однако, вельть вамъ дать жалованье... Только экзаменть, другь мой, экзаменть, безъ этого нельзя...
- Пустики, сказаль, махнувь рукой, Фонвизинь: съйзжу въ подмосковную, попрошу денегь у бабушки или у тетушки, богатая бабушка тамъ у меня, да какля! всего насъ знаеть наизусть! и не далбе конца мъсяца выдержу всякое испытаніе... Не хотите ли трубочку, Михайло Васильнчъ? воть пънковая, а воть и табакъ...
- Ну, и дело... Съ испытаніемъ мешкать нечего... А вы, сударь, тоже любите слагать стихи?—обратился Ломоносовъ къ преображенскому создану.
- По ночамъ-съ, какъ улягутся въ казарий, несмело в запинаясь ответниъ Державинъ: — по ночамъ-съ... мараю

такъ себъ, безъ правиль, на риемы кладу. У насъ тъсно - опять же, солдатство не тъмъ занято, ажмуниція, смотры - больше въ карты, или въ свободные часы за виномъ...

- Что же пишете? - спросиль гость.

- Тріолеты о красавицахъ, произнесъ, ободрясь, Державинъ: побаски насчетъ, то есть, разныхъ полковыхъ дъть... а, впрочемъ, пробовалъ перекладывать Телемака и Геллерта...
 - -- На какой же ладъ вы пробовали ихъ?
- На образецъ, извините, вашему штилю подражалъ. Ломоносовъ сталъ набивать трубку. Румянецъ выступплъ на его суровомъ, исхудаломъ лицъ. Фонвизинъ дълалъ внаки пріятелямъ.
- -- A ну-ка, да ну же, изъ побасокъ что-нибудь, -- сказалъ онъ, подмигивая, Державину. Хоть это:

«Я на то-ль тобя спозналь, Для тово твой плиникь сталь?»—«

Или это:

;.

«Ходить Бергерь,—зды минуты, Ко двору моей Анюты... Къ вахтнараду припоздаль, Въ кордегардію попаль...»

. G. . 3

- Ну, полно... охота!—перебиль его, не зная, куда глядъть, растерявшийся Державинь:— такой ли пустошью занимать дорогого гостя?
- Трудитесь, государи мои, трудитесь, сказаль, раскуривь и отставя трубку, Ломоносовь: вы наше наслъдіе, преемники! Не давайте заглохнуть бъдному, еще соломенному нашему царству... Пробуждайте, воскрешайте мертвую землю... Да чтобы въ вашу душу не вкрались дурныя какія упражненія и колобродства... Главное трудъ! А безъ него ничего не подълаете. Хлъбъ, господа, за брюхомъ не хаживалъ. И много тёрки вынесеть пшеница, пока стансть бъльмъ калачомъ...

Разговорились о наукахъ, о литературъ, отъ нихъ порешли къ городскимъ и дворскимъ новостямъ. Пельмени были забыты. Мундиры и галстуки, по просьбъ Ломоносова, снова сняты.

Вошель еще гость, льть восемнадцати, средняго роста, съ большимъ, пожатымъ лбомъ, бявдный, съ черными, за-

думчивыми глазами и робкою улыбкой на добрыхъ, магкоочерченныхъ губахъ.

- Также вангь поклонникъ, произнесъ, указанъ на него, Фонвизинъ: измайловскій солдать и постоиленть здёсь во дворів дядюшки, Николай Иванычъ Новиковъ. А этотъ? обратился онъ къ Новикову: върно знаешь? нашъ безсмертный Михайло Васильнчъ Ломоносовъ... Ну, какія новости, другь? Въ сборной быль? что говорять?
- Да, времячко!—сказаль негромко, поглядывая на Ломоносова, Новиковъ: — нечего сказаль... Попались въ нерскрестную... Клади весла и молись Богу: внизъ — вода, вверхъ—бъда...
- A что? да ты не стъсняйся, —обратился къ нему Фонвизинъ:—на чистоту; ему можно... Онъ стойкій нашъ...

Новиковъ снялъ перевязь, утерся и присълъ на стулъ. Нъсколько мгновеній всё молчали.

- Такъ все натянуто, такъ, сказалъ Новиковъ: что и незаряженное ружье, гляди, выпалитъ... А иначе мыслить, лучше лишиться жизни...
- Да вы о чемъ ето, господа? вившался, потягивал изъ трубки, Ломоносовъ.

Пріятели переглянулись. Фонвизинъ кивнулъ головой.

- Мы измайловцы, тихо и глядя куда-то вдаль, проговориль Новиковъ: — всв, то-есть, какъ одинъ человъкъ, ну, всв пойдемъ за нее въ огонь и воду.
- За нее, матушку нашу, богиню!—подхватиль, вставая, Державинъ:—и мы, преображенцы, жизнь отдадимъ...
- За надежду, радость и спассніе отечества! произнесь, схвативь стаканъ съ пивомъ и чокансь съ прочими. Пассекъ: восемнадцать лътъ відь она живеть въ Россін! узнала ее, полюбила и стала, почитай, лучше всякой русской. Покойная царица Елисавета Петровна съ Бестумевымъ ее, одаренную свыше, помимо ея мужа, прочила себъ въ преемницы, да не успъла совершить и объявить... но-мъщали Шуваловы, Бестужева сослали...
- «Эге-ге, вонъ оно куда!.. вонъ мелодежь-то! подумаль, глядя на собесъдниковъ, Ломоносовъ, —правду сказаль Петръ Оедоровичъ... Ничъмъ еще себя не заявили; скромные, какъ грибки-сыровжки подъ дупломъ, въ лъсной глуни... Никто ихъ не знаетъ и не подозръваетъ, а всъ они ел друвън.

Всв въ нее влюблены, и отъ нел, добросклонной, да внимательной, безъ ума!»

— А все-тани, въ чемъ же двав суть, государи мои, не понимаю?—спросилъ Ломоносовъ.

Фонвизинъ ваглянулъ на Пассека, тотъ на Державина, оба на Новикова.

- Да что, сударь, поридайте насъ, судите! сверкнувъ черными большими глазами, съ засвътившимся, бявднымъ лицомъ, сказаяъ Новиковъ, поднявшись со стула: наше солдатство, измайловцы, ръшили сегодня говорю это по секрету не слушаться выдумки голштинцевъ, нейти въпоходъ въ Данію... Притомъ же лютеранство думаютъ ввести, кирку во дворцъ въ Ораніенбаумъ строять...
- И наши преображенцы за вами!—отозвался отъ окна, раскупоривавшій новую бутылку пива, Державинъ: выбрали меня товарищи аргельщикомъ на этотъ самый безтолковый походь... Ну, только врядъ ли быть затвянной войнъ...
 - Почему?-спросиль Ломоносовъ.
- Порвшило капральство, сказаль Новиковъ: какъ только выйдемъ въ Ямскую, за Калинкинъ мость, станемъ и спросимъ, куда и зачёмъ насъ ведутъ? зачёмъ покидаемъ нашу матушку, государыню надежду, Катерину Алексевну?
- Коей всь мы рады служить по гробъ, прибавилъ Пассекъ.
- Еще каноникъ Менгденъ, слышно, отозвался опять от окна Державинъ: предсказалъ въ дётстве Катеринъ Алексевне, что на ея голове будутъ три короны...
- Московская, Казанская и Астраханская! чокнувшись съ Фонвизинымъ, сказалъ Новиковъ: — ура, наша радость, виватъ!
- Ну, словомъ, нейдемъ въ Данію! заключилъ, наливая всімъ стаканы, Державинъ: нейдемъ за голштинцевъ, да и баста...
- Но позвольте, господа, обратился къ нимъ Ломоносовъ: — васъ за то, чай, въдь, не пожалуютъ... узнаютъ, откроютъ.
- Не попадемся, отв'ятиль, глядя на него поверхъ очковъ, Пассекъ:—я первый,—ни въ жизнь...
 - Ну, норучиться трудно, произнесъ Ломоносовъ: —

напрасныя, безвременныя жертвы, — да еще съ принъсыю

лучшихъ, какъ вижу, силъ и умовъ...

— Нътъ, извините, кучнихъ, и нътъ худнихъ! — отвътихъ, поднявъ руку, Новиковъ: — человъкъ отъ природы получить право на равенство со всъми и на свободу. Равенство убито собственностью, свобода слъпыми узаконеніями невъжественныхъ обществъ... Богъ, матерія и миръ— одно и то же...

— Те-те-те... знакомыя хитросплетенія, не новосты Да вы, молодой человікъ, какъ вижу, розенкрейцеръ, иллюминатъ?—сказалъ, глядя на оратора, Ломоносовъ:—измайловскому рядовому это, простите, хоть бы и не подобало...

Да здравствуеть великій Адамъ Вейсгаунть, Велльнеръ и Сенъ-Жерменъ!
 —не унимаясь и потрясая стаканомъ,

воскликнуль Новиковъ.

— Вы, сударь, столько насчитали великихь, да еще чужеземцевь, — сказаль, поморщившись и вставая, Ломоносовъ: — что намъ, нижайшимъ, въ сей юдоли и тъсно... Прощайте... Однако, не можете ли, прошу васъ, сказать, гдъ нынче обрътается, восхваляемый вами, алхимикъ и фокусникъ, сей якобы жившій десятки въковъ, саго радге, Сенъ-Жерменъ?

— Графъ нынче въ Питерѣ, — нехотя отвътилъ Новиковъ: —желающе его видътъ могутъ справиться у артиллерійскаго казначея, Григорія Орлова... бываетъ и въ австе-

ріяхъ Дрезденши и Амбахарши.

— Графъ! о-го! — замѣтияъ, презрительно усмѣхнувшись, Ломоносовъ: — португальскую жидовскую скотину зовутъ графомъ!.. А вся его магнизація и сверхнатуральное состояніе не больше, какъ примѣшанный къ пуншу, либо къ кофію, на засѣданіяхъ масоновъ, опіумъ... Донодлинно то знаю! Что жъ до химіи, государи мои, такъ въ ней, вѣръте мнѣ, онъ сущій невѣжда и дуракъ... Шарлатанитъ съ философскимъ камнемъ, воскрещаетъ аки бы мертвыхъ и растить на лысині: волоса! Впрочемъ, разстроеннымъ фалатизмой въ нервныхъ узлахъ барынямъ зѣло нравится и зато порядкомъ и по-дѣломъ ихъ обираетъ...

Ломоносовъ простился съ молодыми людьми и вышелъ.

Фонвизинъ проводилъ его до воротъ.

— Какая жалосты мой дядя на охоть въ Роппіт, — сказаль онъ, разставаясь съ знаменитымъ гостемъ: — двадцать восьного іюня день его рожденія; я хоть и убду въ Москву. но въ этому дию безпремънно возвранцусь... Не откажите, Михайло Васильичь, на пирогъ... И дядя, и тегка очень будуть рады вась видьть. Они такъ вамъ благодарны за меня; двадцать восьмого, — не забудете?...

Ломоносовъ сперва отказался; двадцать девятаго іюня, въ день Петра и Павла, въ академіи было назначено торжественное засъданіе, и ему поручили изготовить и сказать нь этоть день хвалебную въ честь государя латинскую рћчь. Но, подумавъ, онъ взглянулъ на юношу, ласково пожаль ему руку и даль слово быть у него на нирогь диди, послъ академического засъданія.

Разговоръ въ каменкъ долго не выходиль у Михайла Васильича изъ головы.

«Недобрыя затви; недобрыя, — размышляль онъ, — сущіе воробым! перемовять ихъ, коми хуже не будеть, пропадутъ ни за что, ни про что... А тотъ-то, въ очкахъ, Пассекъ? ни въ жизнь, говорить, не попадусь... Экіе шустрые, чиликають, топорщатся, прямо воробы...»

Дии черезъ три Ломоносовъ справился въ коллегіи и узналь, что приказь, съ разръщеніемъ Мировичу возвратиться, подписанъ наканунъ и уже посланъ въ армію. Онъ хотель такть къ Калинкину мосту, отыскивать Вавыкину, какъ увидъль на лъстницъ колдегіи Ушакова, съ которымъ познакомился весной, провожал Мировича въ Шинссельбургь. Ломоносовъ ему сообщилъ справку о его пріятель и прибавиль: «кстати, замъните меня, съездите къ общей нашей знакомкъ, Бавыкиной; что-то недомогаю, а надо бы узнать адресь вашего друга и скорве его обрадовать».

Ушаковъ отправился къ Калинкину мосту.

Комната у грекени Бунди, гдв жила теперь Филатовна, была пропитана запахомъ домашней птицы. По сосъдству, за дверью, помъщался, очевидно, хозяйкинъ курятникъ. Сильно исхудалая, съ недовольнымъ и опечаленнымъ лицомъ, Бавыкина, прикрытая старенькой канавейкой, лежала на сундукъ, подъ образами.

— Что съ вами, матушка? — спросилъ Ушаковъ: — \$доровы ли? какъ жаль, не дали о себъ слука: охотно бы наввстиль...

· — Ну, ужъ ты-то навестинь! одна ягода съ другомъ

своимъ. Въ гробъ давно мив нора; откройся, мать сыравеиля, — чуть взглянувъ на гости, сумрачно и съ заминагельствомъ проговорила Филатовна: — вотъ она, доля-то бабъл Настасьи... въ птичницы, да въ огородницы въ экіе годы попіла!.. Что жъ, парень, не осуди; хлібоушка всякому хочегся жевать. И воду сама ношу... Да чуть съ лихоманки не померла, какъ его-то, твоего прокурата, проводимини, сюда перевхала.

— А я къ вамъ, Настасья Филатовна, съ доброю въстью, —сказалъ, садясь, Ушаковъ: —не у всёхъ дёла короши, и я вотъ въ тъснотъ, поистратился опять. Отъ Василія-жъ намедни была получена цидулка, —просилъ похлонотать о его возвратъ; иначе, — писалъ, — безъ спросу, на гибель свою, готовъ стать дезертиромъ. Ну, ему сильные люди и выхлопотали апробацію! вчера, поздравьте, написано Бутурлину и въ его нарвскій полкъ...

Бавыкина подняла съ подушки голову. Ея глаза тревожно забъгали по комнатъ, съ испугомъ остановясь на ситцевой занавъскъ, протянутой отъ печи къ посудному поставцу. Губы что-то шептали.

 Что вы, матушка? не слышу,—сказаль, нагибаясь къ ней, Ушаковъ.

Филатовна, качая головой, не спускала испуганныхъ глазъ съ поставца. — «Что бы это значило?» — подумалъ Ушаковъ. Онъ всталъ, тихо приподняль положокъ.

У печи, схватившись за волосы, въ забрывганныхъ грязью шинели и высокихъ дорожныхъ сапогахъ, сидътъ, понурясь, Мировичъ.

- Боги праведные... что вижу? ты ли? вскрикнулъ Ушаковъ:—какъ и когда? отпускъ только-что посланъ.
- ј Безъ отпуска, уходомъ...
 - Но відь это дезертирство! какъ ты могь рівшиться?
- Что спрашивать, полно! невидаль какая! не стеривать ну, и все тутъ!—грубо ответилъ Мировичъ:—значить была причина.
 - Когда прівхалъ?
 - Сегодня ночью, съ жидами, великолуцкими фурментами.
 - И не боншься? не подождаль! ну, какъ выдадуть жиды?
- Не выдадуть. Не всё жъ Каины, предатели. А донесуть, — э, чорты! туда и дорога! — рёвко сказаль Миро-

вичь: офицерь, нашей ложи масонь, провожаль амиуницію изъ Митавы; ну, и провезь черезь рогатки, въ тюкахъ.

Ушаковъ не могъ придти въ себя. Превосходившій его правственнымъ складомъ и умомъ, Мировичъ ему казался

. въ эту минуту жалкимъ, ничтожнымъ.

— Что же теперь! — сказаль Ушаковь: — відь военный судь, відь гибель надъ головой... А онъ сидить... Ахъ, Василій, припомни встрічу у Дрезденши, твои слова о силь воли, о совітахъ разума! Съ Іисусомъ Навиномъ солице собирался остановить, съ пророкомъ Иліей хотіль отворять и затворять небо, — а не могь выждать, изъ-за границы, увельненія въ отпускъ, по команді! преклихъ!..

— Э, убирайся, чорты совыты еще! пропадать, такъ пропадать. Все ложь и обмань,—мрачно и злобно проговориль Мировичь:—всь подлецы, самомерзышия твари, и ты первая изъ нихъ... Одна въ свыть истина, одна, — любовъ... Вотъ разва, впрочемъ, и она... да наплеваты.. Хоть бы

скорый этому рышеніе, конець...

— Успокойся, другь Василій, успокойся,—сказаль, мигнувь Филатовні, Ушаковь:—объясни лучше, какъ это случилось. И съ предметомъ своимъ теперь скоро, — ну, хотъ и сегодня, — встрітишься, я виділь ее... Дівнца отмінно достойная, и, візроятно, ждеть не дождется... А ужъ отъ суда, Вася, какъ-нибудь, въ столь необычайной факціи, постараются тебя спасти сильные друзья...

Мировичъ, презрительно зѣвнувъ, ничего не отвѣтилъ. , Ушаковъ далъ знать о пріъздѣ пріятеля Ломоносову, прося замолвить о немъ слово гетману, и напомнилъ Мировичу о весеннемъ его знакомив по дому Дрезденши, о Григоріи Григорьевичъ Орловъ, куда тотъ на другой день и отправился.

 Плохо, Григорій Григорьевичь! весь, какъ есть, прогоріять.

 [—] А!.. Дивно - губительная патерка! — вскрикнуль, при видѣ Мировича, цальмейстеръ гвардейской артиллеріи, Григорій Орловъ: — какъ діла съ фараономъ и съ бильярдомъ? — Плохо, Григорій Григорьевичь! весь, какъ есть; про-

[—] Что же, денегь надо?

[—] Нътъ, не ихъ. Разъ помогли вы, за что по гробъ благодаренъ,—еще въ одномъ пособите... отслужу...

[—] Въ ченъ же къю?

Мировичь разсказаль о своемь уходъ. Орловь опустиль

— Плохо, брать, примъчательно плохо! — сказаль онь, покачавъ головой:—ты масонъ? да говори, не бойся,—и я масонъ...

Мировичъ сделаль особый, странный знакъ рукой.

«Отлично,—я такъ и думалъ, пригодится,—сказалъ себъ Григорій Орловъ: — вольный каменщикъ и охотникъ до картъ! Степана Васильевича Перфильева за нами приставили наблюдать, а мы въ соглядатам за ними поставимъ этого гуся. Перфильевъ въ пикетъ собаку съблъ,—зато въ ламушъ ему не везетъ... Вотъ ему разомъ и дистракція, и отместка... Этотъ его ужъ, безъ сомивнія, забъетъ съ первыхъ ходовъ!»

— Приходи завтра, —произнесъ Орловъ: —обсудимъ твое дъло.

Мировича оділи, ссудили деньгами. Чтобъ избавить его отъ отвіта въ самовольной его отлучкі изъ армін, Орловъ устроиль такъ, что рапортъ о немъ спритали, въ нарвскій полкъ дали знать, что онъ временно назначенъ по артиллеріи, пъ комиссію «о пересмотрів шуваловскихъ голубицъ», а ему нелізм сидіть съ Перфильевымъ и носу никуда не показывать. Въ этомъ помогли и масоны, одной ложи съ Орловымъ.

Василій Яковлевичь украдкой увиділся съ Пчёлкиной. Съ отъёзда изъ Шлиссельбурга, она жила на Каменномъ, у Птицыныхъ. Встріча ихъ была странная. Поликсена будто обрадовалась, даже какъ-то порывисто, нервно расплакалась. Мировичь, однако, увиділь нічто другое, не то, чего онъ ожидалъ. Самъ не даван себі отчета, въ чемъ діло, онъ молча, угрюмо сілъ и все время исподлобы смотріль, слушая Поликсену.—«Сущій волчёнокъ—подумала о немъ Птицына, бывшая при этой встрічь,—и какъ она его не бережется! глаза—острые ножи!»

Устроитель гвардейскихъ веселостей, Орловъ свелъ Мировича, въ масонской ложь, съ Перфильевымъ. Новые знакомцы, какъ засъли за столъ, такъ ужъ и не вставали. Дни шли, ночи на пролетъ,—они безъ отдыха играли, изръдкалишь перемъняя мъсто игры, да когда подходили другіе охотники, садились въ круговую за бириби, или въ фараонъ. Опіумъ масонства, слившись въ Мировичь съ хмелемъ карточной игры, въ конецъ поработилъ его мысли, сердце, волю.

Двадцать-третьяго іюня, Мировичъ, исхудалый, съ впалыми щеками и съ блуждающимъ, потухшимъ, сердитымъ взглядомъ, прівхаль къ Ломоносову, прошель къ нему въ садъ и, присъвъ у него въ беседкъ, прерывающимся, сильновзволнованнымъ голосомъ спросилъ его:

- Знаете, что случилось?
- - He знаю...

Мировичь не поднималь глазь. Сгоронвшись и нахохлив шись, онъ просидъть нъсколько секундъ молча, съ отвисшею, нижнею губой и упавшими съ колънъ руками, злобно выжидая, что еще скажеть ему Ломоносовъ.

- Я только-что съ Каменнаго, началъ опять Мировичъ, нарочно цъдя слова: вчера Поликсена гуляла съ дътъми Итицыныхъ... ну, гуляла и забрела въ рощу къ Невкъ...
 - --- Что же тамъ увидъја?---спросиль Ломоносовъ.
- Дети собирали грибы; Поликсена читала книжку... ха-ха!.. въ это времи книжку!.. Вдругь слышить шаги; поглядъла—идуть двое...

Сказавъ это, Мировичъ судорожно повелъ плечами, точно его знобило, и нервно завнулъ.

- И кто же, думаете, были эти двое? угадайте, спросиль, какъ-то неестественно улыбнувшись, Мировичь.
 - Не знаю, —ответиль Ломоносовь: —почемъ знать?
- Принцъ Іоаннъ Антоновичъ и съ нимъ, должно, новый шлиссельбургскій приставъ, съ презрительно-гордей усмъщкой проговорилъ Мировичъ.
- -- Что ты, Василій Яковличы быть не можеть... ужели принцъ?..
- Онъ! Поликсена не ошиблась, узнала... онъ! вторую педёлю въ тайности живеть на дачё Гудовича въ лёсу.

Ломоносовъ, черезъ голову Мировича и верхушки деревъ, взглянулъ на вечеръющее, залитое дымчатымъ заревомъ небо и съ чувствомъ, медленно перекрестился.

- Но есть и другое діло, —продолжаль, торопясь и переминалсь, Мировичь: и то, о чемъ я свідаль случайно, ну, играя съ одной туть компаніей, —такъ о томъ страшно и вымолвить...
 - Что же ты узналь?
- Не нынче, завтра, ожидають смуты, волненія,—отватиль, уставись вь Лононосова черными, безъ блеска, гла-

зами Мировичъ:---все, увъряють, готово и върнъйшіс, близвіе къ монарху люди передаются, если ужъ не передались
его врагамъ.

Произнося это, Мировичь покраситьть и замолчаль.

— Полно, мало ли что болгаюты! — сказаль Ломоносовь, вспоминая бесёду у Фонвизина: — упаси Господи оть злыхъ, крамольныхъ дней! все пойдеть вверхъ дномъ.

— Не върите? — спросиль, вставая, Мировичь.

Онъ выпрямился, судорожно оправиль волосы. Черные, затуманенные волненіемъ и безсонницей, его глаза гляділи сердито. Въ нихъ начиналь світиться злой и дикій огонь. Скопленіе всякой горечи, ненависти и мести вызывало чрезмірное возбужденіе.

— Покажу имъ, — сказаль онъ съ холодной злобой, — спознаю ближе, и все, какъ есть, открою. Я терпъль ужасную, неисходную бъдность, нужду, нищету, а пріятели мои были богаты и знатны. Пора выбиться... И ужъ коли и за то не получу сатисфакціи во всёхъ моихъ бъдствіяхъ, — нъть правды на земль!...

Мировичъ вышелъ. Шаги его затихли въ концѣ сада. Ломоносовъ ему ничего не отвътилъ и его не проводилъ.

Онъ продолжалъ изъ беседки смотреть на темивющее, надъ деревьями, въ последнихъ отблескахъ заката, небо и думалъ о другомъ. Изможденный тюрьмой, кроткій и важный видомъ, юноша не отходилъ отъ его мысленныхъглявар...

XVI.

На дачь Гудовича.

День двадцать-четвергаго іюня быль жаркій, душный. Его смінила тихая, вся залитая голубоватымь луннымь блескомь, ночь.

Душистая, болотно-луговая мгла, не расходясь, наполняла каждую поляну, каждый укромный, древесный тайникъ. Воздухъ быль недвижимъ. Длинные столбы обрадованныхъ теплу мошекъ, то свиваясь, то развиваясь, шевелились, плыли надъ вершинами погруженныхъ въ дремоту невскихъ лъсовъ.

Білый туманъ, какъ саванъ, подполвалъ съ запада, съ поморья, гдъ на краткій отдыхъ спраталось, багровымъ паромъ горевнее, солнце. Запаменъ елей и травъ, точно

паданомъ, тянулъ по пустырямъ чуть замѣтный утренній вѣтеръ. Онъ проснулся за синимъ гребномъ лѣса, тамъ, гдѣ вскорѣ должна была заняться полоска ранней зари, и чуть шевелилъ стеблями лопуховъ и папоротниковъ, гоня мошекъ и будя залетныхъ, недолго поющихъ здѣсь, соловьевъ.

Въ темныхъ озерахъ и заводяхъ отражался подный мъсащъ, просвки, сады и дома тамъ и здвсь одиноко разбросанныхъ дачъ. Летучія мыши, шныряя за мошками и всякою комашней, беззвучно мелькали въ лунныхъ лучахъ.

Дача Гудовича стояла на берегу безыменной ръченки, отдълявшей Каменный островь оть Крестовского.

Высокій, досчатый заборь окружаль дворовое и садовое м'вста. Главный, со стекольчатой теплицей домъ, гді лівтомъ проживала семья любимаго государева слуги, выходиль на большую дорогу. Запасной, новый флигель былъ расположенъ въ глубинъ двора, къ саду, примыкавшему кърбкъ. Молодечня, конюшня, коровникъ и прочія службы шли вправо и вліво отъ главнаго дома. Самъ хозяинъ изрідка найзжаль сюда на отдыхъ и чтобъ взглянуть лошадей, до которыхъ быль большой охотникъ.

Вторую неділю Гудовичъ неотлучно находился при государів въ Ораніенбаумів, но извістиль, что вскорі прійдеть. Старуха-мать и сестры-дівицы поджидали его съ-часу-начась и до-поздна не ложились спать. Долго світились огни въ большомів домів и рядомів съ нимів въ молодечнів, гдів почему-то, съ недавней поры, чередовался севретный ночной карауль изъ полицейских и кріпостных инвалидовь. Два хожалых в съ мушкетами ночевали—одинь на крыльців флигеля во дворь, другой — въ саду, на балконів. Дворня поглядывала на окна и двери флигеля и качала головой, видя, какъ шепчется старуха-барыня съ барышнями.

Во флигель носили кушанье, чай, кофе и десерть; кодили въ него цирюльникъ, саножникъ и портной. Принесли туда, дня три тому назадъ, кому-то новый голштинскій кафтанъ, зеленый, съ серебрянымъ шитьемъ и красными воротникомъ и нарукавниками, желтый камэолъ, такія же панталоны, лаковые съ пряжками башмаки, треуголъ съ галуномъ и лосинныя перчатки. Изъ флигеля вела, особая балконная дверь въ садъ, на калиткахъ котораго висѣли замки.

Было далеко за нолночь.

Въ большой, общитой новымъ тесомъ, комнатъв стояли двт кровати. На одной спалъ прикрытый военной шинелью, усталый, плотный, пожилой человъкъ; на другой — длиноволосый, съ небольшой каштановой бородкой юноша. Бълье и платъе, разбросанныя по стульямъ и софъ, раскрытые чемоданы и погребецъ, ружье въ запыленномъ чехлъ на стътъ, — показывали, что жильцы этого флигеля не успъли еще устрояться.

Они съ вечера долго гуляли по саду, выходили особою калиткой въ гущину лѣса, ко взморью и на луга, ловили удочкою рыбу и собирали грибы и цвъты. Это были приставъ Жихаревъ и принцъ Іоаниъ.

Жихаревъ бережно заперъ калитку и балконную дверь, ключи отъ той и другой взялъ къ себъ, послъ ужина въ постели вспоминалъ Робинзона Крузе, о которомъ слышаль отъ Чурмантьева. поговорилъ итсколько съ принцемъ, и, видя, что тотъ сталъ дремать, задулъ свъчку и заснулъ.

Жихаревь виділь во сив, какъ Робинзонь, уважая съ пустыннаго острова, гді жиль двадцать-восемь літь, взяль съ собой на намять козій зонтикь, такую же шанку, слугу Пятницу и одного изъ попугаевь, который отчетливо твердиль: «Бідный Робинь, бідный куда занесла тебя судьба?»

Приставу грезилось: «И я бёдный! и я!.. Столько лётъ въ Кронитадте отдежуриль, добрался до Питера, устроился съ семьей, думаль вёкъ кончить въ столице, и вдругь перевели, заперли въ Пілюшинъ. Почетное довёріе, да какова отвётственность! Теперь сюда выписали. Ужли освободять принца? Ужли и меня въ такомъ разв отпустять въ чистую, на покой?.. Безъ сумнёнія, при столь вёрной оказіи, дадуть пенціонъ, а можеть, на кормъ дётишкамъ и деревнишку, гдё-нибудь на Волгів, или въ степи за Москвой... Увду, стану жить, поживать, ни горя, ни муштры, ни начальничьихъ распеканій не знать»...

Принцъ Іоаннъ спалъ тревожнымъ, лихорадочнымъ сномъ. Ему грезился мрачный, могильный казематъ, безсердечные, грубые стражи и ввчная, каждый день и каждый часъ, однообразная, непреоборимая, неумолимая и ивмая, какъ гробъ, неволя Свитличной башни.

Онъ во сив метался и дышаль тяжело. Крупный потъ проступаль на миловидномъ, дътски-добромъ лицъ. Что-то страшное, давящее, каменное налегло на его грудъ. —

«Смерты!»---пронеслось въ мысляхъ принца:-- «воть она наконецъ... Боже! дай ее скорвй! унеси меня, прими, успокой»... Онъ глухо застоналъ, вздрогнулъ и проснулся.

Глядитъ — незнакомая, просторная, чистая комната. Не слышно запаха гнили; не видно плесени на каменномъ сводъ и въ углахъ. Пахнетъ цвътами, душистой сосновой смолой. Лампадка у образа, мерцая, чуть теплится. Окно закрыто. Дверь на замкв. Но воть и лампадка, мигнувъ разъ и другой, погасла. Лунные лучи вырываются, скользить съ надворья, мерцають по комнать. Душно. Одвяло сброшено. Сердце тревожно бытся, щемить. Непонятныя рвчи, клики, звонъ и шумъ въ ушахъ...

Слышатся соловьи, жаворонки, звенять колокольчики, трубы отдаются вдалекъ. Тинь-тинь... и смолкнетъ... И опять песни, клики, праздничный звонъ и гулъ... Где-то радуются, ликують, кого-то вовуть и манять.— «Трубы Іерихона! гремите, эвучите! Осанна въ вышнихъ... падуть гръшныя стыны, падуть! Азъ есмь альфа и омега, цервый и послідній, начало и конецъ»...

Вновь тишина.

Голубые лучи сыплются въ окно. Кто-то будто ходить. шелестить по комнать. Что-то былое усылось на стуль, глядить изъ мрака и растеть, -- высокое, безголовое, въ складкахъ и съ протянутыми руками. За шкапомъ — косматый, завернутый въ черное, съ хвостомъ и острыми, длинными шпорами. Оть шпоръ по полу тянутся свътящіяся полосы. Онъ шевелятся, какъ вмъи, скользять и меркнуть въ углу. Что-то нахлобучилось у двери и, покачиваясь, приближается къ кровати. «Иродіада, зверь седьмиглавый, бесы»...

Іоаннъ Антоновичъ приподнялся, всматривается въ ужасћ...

Гдв онъ? куда его занесла судьба?

Тв же призраки, тв же страхи и звуки, что столько леть, каждую долгую, безсонную ночь ему мерещились и слышались взаперти. Но м'всто, гдв онъ теперь, не похоже на тюрьму. Призраки меркнутъ, уходятъ. А тамъ, за окномънастоящіе, вольные соловыи.

Жихаревъ наморился за неділю въ прогулкахъ по дикимъ тропинкамъ, у взморья и по лісамъ, и кріпко спить.

«Уйти! — дунаетъ принцъ, — нагуляться до-сыта, на нахучемъ свъжемъ раздольъ! Нынче, сказываютъ, Ивановъ день, - такъ и есть! мое тезоименитство... И втъ. Еще пойнають, прикують на цёнь, какь звёря... И не увижу я боле, въ замурованное окно, ни синяго неба, ни моря, ни цвётовь, ни ее... Гдё она? Во снё ли? Да! я ее видёль, видёль здёсь, невдали; помню мёсто, куда она, испуганная, скрылась... Что, если бы»...

Иванушка слушаеть. Опять мерещатся колокольчики, трубы.—«Глась гудець, и мусикій, и пискателей»...—Звенить и щемить, и обдаеть жаромъ и холодомъ...—«Дщи Идумейска, живуща на земли! и на тебе пріцдеть чаша Господня, и, не упившася, не веселися... Евфразія!»—мыслить принць: — «златокудрая! пахнеть ладаномъ, смирней и розой... Гдѣ она? и какъ низошла?.. Спалъ я, грезились смертные страхи... И явилась она, облеченная въ виссонь, пурнуръ и солнце! Луна подъ ногами, на главѣ вѣнецъ изъ звѣздъ и на немъ написано—тайна... Чтò, кабы воля, кабы уйте?»...

На балконт послышался шорохъ. Кто-то съ надворья склонился къ окну, будто глядить въ сумракъ комнаты, поскребъ ногтемъ разъ и другой по стеклу.—«Боже, зовутъ меня, зовутъ»...

Арестантъ вскочилъ, подошелъ къ окну, взглянутъ въ садъ. Виденъ балконъ, усыпанная пескомъ площадка и ближніе деревья и кусты. Полицейскій хожалый спитъ, растянувнись поперекъ крыльца. А подъ окошкомъ, вертя хвостомъ, сидитъ и въжливо ласковыми глазами шурится мохнатый, бълый хозяйскій пудель. Иванушка пошарияъ по рамъ, нашелъ задвижку, раскрылъ окно. Собака беззвучно вскочила въ комнату. — «Накормить ее, накормить бъдняту! не ъла»... — ръщилъ, нъжно се гладя, арестантъ. Онъ отыскалъ въ шкапу, отдалъ собакъ остатки ужина. Свъжій, напоенный смолой и ръчными испареніями воздухъ щедрой волной ворвался въ комнату. Онъ дышитъ лъснымъ затишьемъ, волей и манитъ во мракъ.

Пудель, прижавъ упи и хвость, принялся лакать изъ блюда. Иванушка постояль надъ спящимъ приставомъ, наскоро обулся и дрожащими руками сталь надъвать на себя новое, справленное ему платье. «Сюда, за мной! — шепнульонъ собакъ, цълуя ее въ морду и въ весело игравше глаза:— за мной! о! совсъмъ вспомнилъ—знаю дорогу, подглядълъ, — мостикъ, и прямо... домъ подъ березками—башия и крыльцо»...

Пудель прыгнуль въ окно. Иванушка за нимъ. Они миновали полицейскаго инвалида, прошли въ глубь сада и остановийнсь передъ калиткой въ лъсъ. Калитка заперта. Черными великанами высятся за оградой росистыя ели и сосны; Пудель, съ поднятой лапой, глядить на Иванушку. Все тихо. только слышится плескъ рыбы въ сосъднемъ прибрежъв, да высоко, въ предразсвътныхъ сумеркахъ, свисти крыльями, тянутся съ болотъ ко взморью стаи ръзвыхъ нырковъ.

Арестантъ взядся за ствояъ старый березы, поднялся на дупло. Но не вявзть на заборъ; онъ высокъ и доски гладко вытесаны. Иванушка обощелъ нёсколько дорожекъ; оглянулся,—нётъ собаки. Онъ бросился ее искать. Слышитъ,—пудель пибко гоняется, вспугивая спящихъ птицъ по тотъ бокъ ограды. Гдё же выходъ? Трава притоптана; старая водоточина извивается въ глуши лопуховъ. Въ концё ея—лазъ подъ нижней доской забора. Иванушка нагнулся.—«Не раскопать ли земли?»—Онъ разрылъ перегной, просунулъ голову, туловище, прислушался и вылёзъ изъ сада...

«Боже! какое приволье! что воздуха, что простора, свободы»... — Темныя стёны явсовъ идуть вправо и вяво. Острова ихъ точно планають въ надвигавшемся туманв. — «Азъ, цвътъ польный и кринъ удольный! — думаетъ узникъ, — яко же кринъ въ терніи, тако искренняя моя, посреди дщерей... Яко же яблонь — посреди древесъ явсныхъ!» — «А если обманетъ? Что сказано о женахъ?!. Аще убога, злобою бо гатветъ, укоряема — бъсится, ласкаема — возносится... Нъты она не Далида, не Иродіада... не измънитъ, не продасты!»

Иванушка поднялъ голову, выпрямился и сперва робкими, неловкими, потомъ твердыми и смълыми піагами попіелъ безъ оглядки отъ дачи Гудовича...

Мгла еще не расходилась. Сумерки окутывали окрестность. Высокій и тощій, съ неубранными, распущенными волосами, путникъ напрямикъ шагалъ по лъсной чащъ. Ни кочки, ни верескъ, ни мхи не останавливали его. Вътви цъплялись за мундиръ, сбивали общитый галунами треуголъ. Онъ бережно, какъ звърь, приглядывался, прислушивался, замедлялъ шаги, бросалсь въ сторону, и, вытыкая изъ кустовъ голову, ждалъ и опять безъ устали шелъ и шелъ.

Поликсена спала въ верхней комнать Птициныхъ, выходившей окнами въ льсъ. Съ вечера были городскіе гости. Легли спать поздно. Едва она забылась первымъ крыпкимъ сномъ, услышала, что ее будятъ. Передъ нею, босикомъ, въ рубашенкі, стояла испуганная, полусонная дівочка, дочь ключницы.

— Что тебъ, Лизутка?

— Тамъ, на галдарев, барышня... ой! что-то страшное, противъ самой гостиной, ходить... ну, идите, взгляните.

— Да гдЬ? что ты?

— Ой, боюсь... Да отъ лесу-то,—страшенное ходить по галдарев; отойдеть на дорогу и глядить на ворота, на заборъ. Поликсена взглянула въ окно и обмерла. У опушки стояль бледный призракъ. То быль принцъ Іоаннъ.

Иди, Лизута, иди, голубушка, Боръ съ тобой, ложись.
 Тебћ пригрезилось. Никого ивту-ти...

Уговоривъ полусонную дъвочку идти, она уложила ее, перекрестила, сама одълась, прошла въ гостиную и отомкнула дверь на крыльцо.

— Вы ли это, сударь?—спросила Пчёлкина, подойдя къ

принцу:-какими судьбами?

— JI... я... воть, дорогая, видишь, нашель тебя! Пойдемъ, да пойдемъ же... сказаль онъ, схвативъ Поликсену за руку.

— Но куда? что вы? Услышать, набытуть.

- Жизнь мол! бросимъ все, уйдемъ, продолжалъ, задыхалсь, Иванушка: — увидълъ тебя... все прошло, воля, жизнь...
- Такая ли воля? Ахъ, вы не простой, не заурядный человъкъ. Васъ не пустять охотой, вы опасны, будуть слідить, найдуть на див моря, подъ землей.

— Другь, другь!.. за что же, за что!..

- «Вотъ опъ, проченный столь великой имперіи, думала Іоликсена, глядя на узника, въ его избавленіе ватівались бунты, тронъ считался непрочнымъ, пока онъ живъ. Посылались лазутчики, поднимался его именемъ расколъ... Его замышляли нохитить въ Берлинъ; цівлой войнів черезъ него диверсію думали сділать... И память о немъ угасла, всів его считали въ могилів... Но вотъ онъ здісь, передо мной, гонимый злой долей, молящій... И мнів, ничтожной, невіздомой, мнів, новой избранниців, ужели суждено совершить святой педвигъ, возвратить престолъ несчастно-рожденному?.. Спритать его, а утромъ отвезти ко дворцу... Государя жлуть изъ Ораніенбаума, —будеть разводъ...»
- Не бойтесь, сударь, сказала Пчёлкина: теперь васъ не отнимуть отъ мени!.. я васъ спасу... да, возвращу вамъ счастье, свободу, и все... А когда вы будете въ силъ и славъ...

Она не договорила. Арестанть вдругь ее обхватиль, страстно-дико прижался къ ней и сталъ ее осынать жгучими, порывистыми поцілуями. Руки его дрожали, дыханіс прерывалось, онъ шепталъ несвязныя, безсмысленныя слова. Поликсена попыталась отъ него вырваться. Онъ увлекалъ ее отъ дороги къ чащъ деревъ.

— Что вы, куда?—прошептала Поликсена, когда они очу-

тились у лесной опушки.

Арестантъ безсознательно, испуганно огладывался. Рычь отказывалась ему служить. Начинало свътать. Вправо виднълось плёсо ръки.—«Что съ нимъ?—въ страхъ подумала Поликсена, — понимаетъ ли, слышитъ ли онъ, что я ему говорю? медлить нечего...»

- Тамъ опять давять, быють, теснять,—сказаль вдругь узникъ:— а воть и воля... Да боюсь я кого-то потерять, кого-то не видеть...
 - О комъ говорите? спросила Пчёлкина.
- Виновать я передъ нею! какъ бы не разлюбила! шепталь узникъ, мучительно-радостно вглядываясь въ лицо Поликсены и трогая ее за руку.
- Скоро утро,—сказала Пчёлкина: —васъ спохватятся; поднимутъ погоню. Здёсь не укроетесь. Надо въ городъ, къ государю. Его ждали съ вечера. Въ номъ одно спасеніе. По со мной васъ тотчасъ узнаютъ... Вамъ надо одному... Сумъете ли вы?

Иванушка молчалъ.

— Вотъ тропинка, —продолжала Поликсена: —она ведеть къ ръкъ. Тамъ мость, но нътъ, лучше въ лодкъ. Согласны? Я васъ провожу. Доъдете въ городъ, и прямо къ кръпости; тамъ опять въ лодку и ко дворцу. Да идите же... Вашу руку... Все успъю разсказать. Идите, — а вотъ монеты на перевозъ.

Поликсена провела принца къ окраинъ Каменнаго острова. Съ берега, черезъ Невку, въ утренней мглъ, уже видиълось предмъстье Колтовской. Отъ пристани отваливалъ челнъ.

Бытлецъ и его провожатая остановились.

- Слушайте же... первою улицей, и все прямо; и ни слова ни съ къмъ, помните—ни слова.
 - -- Буду помнить... буду...

Они простились.

— Не подвести-ль, сударь? — окликнулъ принца съ бе-

рега съдой, какъ лунь, въ войночномъ капелюхъ, подсленоватый додочникъ.

- Подвези... только я вотъ...—сказдать и заикнуяся узникъ, оглядываясь къ деревьямъ, за которыми оставияъ Поликсену.
 - Да куда-те, христова душа?
 - Ко дворцу... царя мив нужно... царя...
- По службі, что-ль, надобеть? къ разводу спішить? садись, эхъ, утречко! или не здішній? не заблудился бы, христовъ человікъ...
- Экъ, пыты пытаетъ, сердито, резко кашля, отоявался изъ подъ тулуна другой, помоложе лодочникъ, лежавний у шалаша: ты ужъ вези, дедко, что растабарывать? вонъ иа-хаютъ съ берега, ждутъ. Митричъ-те шею-то накостылиетъ..
- Не накостыляеть, намъ что! дёло свое знаемъ!—отвътиль, подсадивъ Иванушку въ лодку, старикъ: похожено, поношено, повожено... Подъ тремя царицами, подъ третьимъ царемъ хлёбушка-то ёдимъ. У яго, ваша честь, лихоманка, прибавиль дёдъ:—онъ и грызется, дурашный, лается... Видывали васъ, пшённиковъ... пра, пшённики, блохари...

Иванушкћ не сидълось. Ему хотклось говорить, спрашивать безъ умолку; но онъ помнилъ заказъ Поликсены. Боясь оглянуться назадъ, онъ съ шибко-бившимся сердцемъ всматривался въ низменный, плывшій ему навстрічу, съ домниками, садами и пристанями берегь Колтовской. Сойдя на берегь, онъ неловко сунулъ старику данную ему монету, еще постоялъ, робко оправился и безъ оглядки пустился по улицамъ и закоулкамъ пробуждавшейся Петербургской стороны. Прохожіе указывали ему дорогу. Отъ церкви Спаса онъ вышелъ къ Сытному рынку у крівности...

Странный, съ угловатыми движеніями и длинноногій, какъ заяць, пішеходь, въ новомь на распашку голитинскомъ, примаранномъ землей и листьями кафтанів, обратиль на себя вниманіе раннихъ торговокъ. Навопросъ о дворців, опі переглянулись межъ собой, пошентались и указали ему на кріпость. «Ишь, долговязый німець, несуразно какъ говорить!—сказала одна торговка ему всліддь:—изъ дворцовнихь, видно, либо заморскій чей-нибудь слуга. У красотокъ, должно, білобрысый німичра припоздаль. Ковыляй теперь пятками»...

Солнце поднялось надъ ветхими, сърыми лавченками и шалашами рынка, когда Іоаннъ Антоновить вощель на широкій зеленый пустырь, окружавшій бастіоны кронверка.

Черезъ каналъ былъ мость, за мостомъ входъ въ крыность. Надпись «Іоанновскія ворота, 1740 г.» бросилась принцу въ глаза.

Онъ остановился, снять шляпу и долго, смъщавшись, стоялъ, глядя на зняменательныя слова и что-то соображая.—«Вотъ! я царствовалъ... такъ, мое имя, слъдъ»... — сказалъ себъ Иванушка, отирая лицо и несмъло входя въ кръпость.

Въ то же время на берегь Каменнаго острова, гдв лежаль у шалаша молодой лодочникъ, выбъжала изъ лесу, громко лан, бълая собака. За нею, въ сопровождени конюха, прискакалъ пожилой, въ синей гарнизонной формъ, всадникъ. На вопросъ, — не приходилъ ли здъсь и куда направился такой-то, въ зеленомъ кафтанъ, господинъ? — лодочникъ, покашливая изъ-подъ шубы, указалъ на Колтовскую и прибавилъ: «Къ царю, сказывалъ, пошелъ... во дворецъ».

Всадники помчались къ понтонному мосту, бывшему выше, между Каменнымъ и Аптекарскимъ островами.

Іоаннъ Антоновичъ вошель въ крипость.

Слепан нищая старуха, низко кланяясь ему, отворила дверь въ соборъ. — «Войди, батюшка, войди, светь, помодись: никого нету-ти, одинъ дьячокъ! — сказала она: — все
царіе земные и царицы-владычицы туть схоронены... спаси
тебя Господь... И великій осударь Петра Ликсейчть вправото, батюшка, первый, и царица табе Анна Ивановна и
Лизавета, светь матушка, андельская»...

Жутко забилось сердце бъглеца при этихъ именахъ. Чуть слышно войдя подъ темные, подавляюще своды храма, накуреннаго ладаномъ, онъ постоялъ надъ свъжимъ, еще неотдъланнымъ склепомъ Елисаветы Петровны, думая: «Иродіада! вотъ теперь, у моихъ ногъ... сама ничтожество, прахъ!»—Бъгло взглянувъ на пышную съ вензелемъ, гробняцу Петра Великаго, принцъ опустился на колъни передъ могилой тетки, Анны Іоанновны.

«Видишь ли,—замирая, шепталь онъ:—видишь ли, ласковая, добрая къ намъ, назначеннаго тобой въ преемники? Воть я... Мучили меня, обижали... назвали Григоріемъ... вотъ твой племянникъ, Иванушка... Двадцать лѣть, день и ночь, двадцать лѣть, съ колыбели въ тюрьмѣ... По, если Богу угодно, если... не убъютъ, какъ царевича Димитрія... кличусь»...

Мысли узника смынались. Онъ упаль крестомъ на хо-

лодныя, каменныя плиты и долго, безъ словъ, горячо молился.—«Никто, какъ я, никто, — повторялъ онъ коснъющимъ языкомъ: — свъдалъ я страшную неволю, кровью выплакалъ... Гдъ спасительница, гдъ солице, счастье?.. Привелъ еси день, воскресилъ еси время... Не отринъ молитвы моей отъ лица своего»...

Дьячокъ загремътъ ключами. — «Нора, сударь, благоволите» — сказалъ онъ. Иванушка подумалъ: «Хотъ бы въ этой церкви сторожемъ быть! — тихо такъ, иконы, свътло»... — Онъ вышелъ на паперть, спросилъ опять старуху и въ невскія ворота спустился къ ръкъ, думая: «Умру, не схоронятъ меня съ царями-предками»...

Широкая, синяя, вся празднично залитая солнцемь, Нева, съ плывущими по ней многовесельными галерами и бълонарусными гальотами и бригами, открылась передъ нимъ. На томъ берегу—рядъ высокихъ, въ зелени садовъ, съ балконами и фигурными карнизами, домовъ. А выше всъхъзданій, — съ ярко горъвшими въ утреннихъ лучахъ рядами оконъ и со множествомъ статуй на крышъ, —новый каменный, зимній дворецъ.

«Тамъ... туда!.. къ самому царю!»—думалъ бъглецъ, спускаясь съ пристани въ яликъ.

- «Да тебь къ тальянцу, альхитектору, что ли, въ новый дворецъ?» спросилъ его бородатый, въ красной рубахь, яличникъ.
- «Къ нему, туда!»—повторилъ мысленно принцъ, указывая съ лодки за Неву.

У дворцовой пристани собралась куча зѣвакъ. Ихъ заняли двое верховыхъ, на взмыленныхъ коняхъ, прискакавшихъ изъ-за батарей адмиралтейства. Пока конюхъ, проваживалъ лошадей, его баринъ договорилъ извозчичью коляску и не спускалъ глазъ съ ялика, плывшаго отъ крепости ко дворцу.

Съ берега ясно былъ виденъ этотъ яликъ и, среди него, въ свътло-зеленомъ, съ серебрянымъ шитьемъ, мундиръ и въ желтомъ камзолъ, высокій молодой человъкъ. Треуголъ онъ сиялъ и ладонью прикрывалъ отъ солица глаза. Длинные, незавитые въ косу волосы развъвались по плечамъ.

— Ваше высочество, —произнесъ, встрътивъ Іоанна Антоновича, приставъ Жихаревъ: —куда жъ вы это упили? ахъ-ахъ, можно ли? Государь васъ ждетъ къ себъ; вотъ и коляска.

Бъглецъ испуганно взглянулъ на пристава. Дицо послъдняго было такъ привътливо, ласково.

- Какъ? не обманъ?
- Съ чего же, полноте!
- А гдѣ государь? охъ, кружится голова...
- -- Его величество на дачк, въ Ранбовк; пожалуйте, сударь. Какъ, еще не прівхалъ? Да ты вкрно ли знаешь? гді Ранбовь?
 - Недалеко; духомъ довдемъ.

Бъглецъ недовърчиво сълъ въ коляску. Было мгновоніе, онъ готовъ быль крикнуть, сопротивляться. Но возлъ собралось столько прохожихъ. Всъ съ любопытствомъ глядълм на него, перешептывались. Онъ смъщался, неловко поднялъ ногу на ступеньку коляски и сълъ, прошептавъ: «Да, ну, ужъ скоръй; не опоздать бы»...

Коляска понеслась.

- --- Кого это повезли?--спросиль Гудовичева конюха высокій, плечистый господинь, въ парусинномъ балахонь и со свиткомъ бумагъ, шедшій мимо дворца съ прогулки изъ .1ътняго сада.
- A хто е зна! на утёкъ было, сущеглуный, съ-подъ кравулу... да его изловили...
 - --- Кто изловилъ?
 - - Майорь гвардін, Жихаревь.

.Томоносовъ бросился на набережную. Но коляски уже не было видно. Она скрылась за бастіонами адмиралтейства. Вотъ выскочила на мостъ, събхала на Васильевскій островъ, огибаетъ шляхетный кадетскій корпусъ и несется обратно къ Колтовской, на острова.

XVII.

Муха на рогахъ вола.

Утромъ 26-го іюня, по пути изъ Ораніенбаума въ Петергофъ, акала взморьемъ небольшая съ придворнымъ, въ желтой ливрев, лакеемъ и съ гербами, красная карета. Въ ней спдела невысокаго роста, съ подвижнымъ, оживленнымъ лицомъ, несколько взволнованная, летъ девятнадцати, нервная особа. Съ нежной, тонкой шеей и выпуклою красивою грудью, на которую падалъ локонъ высоко-взбитыхъ, напудренныхъ волосъ, она привлекала блескомъ большихъ и умныхъ глазъ, привътливо и гордо смотревшихъ изъ-подъ широкаго, белаго лба. То была сестра графини Воронцовой, княгини Екатерина Романовна Дашкова. Она въ то утро встретилась у сестры съ государемъ, и ея мыслей не нокидали слова, слышанныя отъ него.

Петръ Оедоровичъ быль ея крестнымъ и, посадивъ ее рядомъ съ собой, вдругь сказаль ей съ обычного своею откровенностью:

- Ахъ, вы измѣнница! Знаю, знаю о васъ... милости-съ пожалуйста!
- Что же вы знаете, государь? вспыхнувь, спросила Дашкова.
- Все знаю, все! О! не вскакивайте. Всё ваши альянцы съ монии противниками мнё извёстны. Вы живете больше въ городе, избёгаете двора, нашихъ мирныхъ удовольствій, забавъ. А ргороз, скажите-ка: чёмъ васъ банда нёкоторыхъ людей приколдовала? чёмъ? Что на медвёдя съ рогатиной ходятъ, да ночи на пролетъ играють въ карты и кутятъ? Только и слышно бакханаліи, буянство, скачки съ пёснями на рысакахъ... Шалберники, взбёшенные сорви-головы и атлеты! Ваши прочіе партизанты—разоренные дворянчики, мелкіе офицеры, плохіе на службе и обитающіе по закоулкамъ. Что? видите?... Все знаю и на все пока смотрю сквозь пальцы... Это ли идеалы, которые вы съ моей женой у Даламбера, Дидро и у Руссо вычитали?
- Клевета, ваше величество! простите, не могу слышать такихъ рвчей, уйду!—закрывъ лицо руками, сказала Дашкова.
- Порохъ, о! порошокъ! ужъ и бъжать? произнесъ, опять ее усаживая, Петръ Оедоровичъ: ваша преданность моей жень понятна и почтенна... Saperlot! Кого она не заколдуетъ! Но вы, Катерина Романовна, имъете сестру, простое и доброе созданіе. Дорожите ею больше... Ее, по достоинствамъ, ожидаетъ другой, завидный менажементъ... Узнаете о томъ послъ...

Государь помолчалъ.

— Mein holdes Kind!—продолжать онъ:—уважьте одинъ благонамъренный мой совъть... Је vous dirai tout franchement... Не повредило бы вамъ помнить, что дружба честныхъ простаковъ и даже колпаковъ, какъ ваша сестра... да и ванъ всеодолженнъйшій слуга... гораздо безонасыю, чъмъ великихъ умниковъ, которые изъ апельсина выжичть сокъ, а корку бросятъ подъ столъ.

— Да въ чемъ же дало?—сиросила Дашкова.

— О, все знаю, все, — повториль Петрь Оедоровичь: — эхъ-эхъ! советую, чтобъ после не пришлось каяться...

«Что же онъ узналь? и уствю ли ее предупредить, —думала Дашкова, вдучи паркомъ въ Петергофъ и нетерпъливо высовывая блёдное, покрывшееся пятнами лицо то изъ одного окна кареты, то изъ другого, —очевидно, ему снова донесли; но о чемъ и на кого? Скоро десять часовъ. Императрица навърнее уже одълась, или кончаетъ туалетъ. Всъ ли мои извъщенія, записки доходять до нея? Наши враги не дремлють, частыя свиданія опасны. Но теперь, по пути, авось успъю»...

Красная съ гербами карета стала подниматься отъ взморья на лъсистый косогоръ. Повъяло смолистой прохладой.

Дашкова вышла изъ экипажа, распустила желтый съ бахромою зонтикъ и пошла въ тъни развъсистыхъ, густыхъ сосенъ и лигъ. Съ холма обозначались ближайшія дачи, службы и крыши стараго петергофскаго дворца.

«И все я, одна я!--думала Дашкова, пришуренными, близорукими глазами отыскивая въ зелени нижняго сада знакомую черепичную кровлю и окна стараго, петровскаго Монплевира, въ которомъ теперь жила Екатерина: — пугаютъ,
что друзья черезъ мъру взволнованы, не выдержатъ и вызовутъ взрывъ. Пустяки, все спокойно... Панинъ стоитъ за
мегальный переходъ, за регентство и шведскую форму правленія. Я въ этомъ мало смыслю! Но время идетъ... Что
съ Екатериной? Она какъ бы устраняется. Роется въ своихъ
книгахъ, робка, какъ дитя, идеальна, какъ пансіонерка, и
практикъ жизни ни на волосъ не знаетъ... Пьемонтецъ
Одаръ, ея секретарь, все суетится, впопыхахъ... Великія
готовятся событія. И неужели мнъ, слабой и скромной, суждено занять такую роль въ исторіи? Неужели мое имя?
Не върится, точно во снъ»...

Дашкова остановилась, свернула зонтикъ, съла въ карету

и повхала къ петергофскому дворцу.

«Нервшительная!—думала она объ Екатеринв, спускаясь паркомъ въ нижній садъ: — приглашена сегодня на объдъ въ Ораніенбаумъ, завтра на праздникъ въ Гостилицы. А тамъ грозятъ, что-то замышляютъ ришительное... Но гдв жъ ся экипажъ? Не видно. Или я съ нею ужъ разминулась?..»

Особый невысокій павильонъ Монплезира передними ком-

натами выходиль ко взморью, внутренними примыкаль къ березамъ и липамъ нижняго сада.

Въ передней навильона, на вылощенномъ годами, ръзномъ, дубовомъ ларъ, сложа руки, сидълъ и, подъ плескъ окрестныхъ фонтановъ, дремалъ гардеробмейстеръ государыни, Василій Григорьичъ Шкуринъ; черезъ комнату отъ него, въ цвъточной, смежной съ кабинетомъ императрицы, у раскрытаго на взморье окна, въ чепцъ и съ огромными, серебряными очками на носу, въ старинномъ кожаномъ креслъ, вязала желтый шелковый чулокъ, любимая камерфрау государыни, Екатерина Ивановна Шаргородская. Тишина въ комнатахъ, во дворъ и въ саду и на нее сильно дъйствовала.

Шаргородская то и дёло клевала носомъ, спускала петли, зывала, крестила роть и, опять зывая и вздыхая, принималась вязать. Она изрёдка, сквозь дремоту, поглядывала въ окно, изъ котораго сквозь пахучую зелень деревъ видивлись мраморныя статуи на крыльцы, паруса дальнихъ судовъ и залитое солнцемъ, тихо плещущее море. Колыхнувшись чепцомъ еще разъ—другой, Шаргородская подумала:

«Да, не скоро еще... охъ, давно пробило довять... когда-то позоветъ?» — особенно сладко и широко зѣвнула и угиъздилась въ креслъ. Руки съ чулкомъ упали на фартукъ. Голова въ чещъ склонилась на плечо. Она заснула.

Небольшая веселая горенка, за цвъточной, служила кабинстомъ и вмъстъ спальней императрицы. Высокія березы и липы за окномъ не мъшали сюда врываться щедрымъ утреннимъ лучамъ.

Все здёсь было уютно, домовито и чисто. На окнахъ цвітупція розы, лакфіоли и геліотропы. За ширмой—подъ білымъ одівломъ—постель. У изголовья столикъ; на немъ, подъ зеленымъ экраномъ, дві восковыя, сильно обгорілыя свічи. У печки на стеганомъ шелковомъ тюфячкі дві крошечныхъ собачки, подарокъ какой-то англійской лэди. По этотъ бокъ ширмы нісколько кресель, шкапчикъ, софа, трюмо и письменный столъ. На креслахъ, на дивані и на софі накрахмаленные білые, точно лишь сейчасъ вымытые и выглаженные чехлы. На выгибномъ, съ ящиками, столів чернильница; возлі куча книгъ и бумагъ. Между ними томы Буало, Монтескье, Веля и Вольтера. Между софой и ширмой дверь въ уборную, бывшую подъ наблюденіемъ другой прислужницы государыни, помоложе, камеръ-юнгферы, Мавры

Савишны Перекусихиной. Все на мѣстѣ, нигдѣ ни сору, вы пылинки.

У двери въ уборную — табуретка; на ней лохань, на полу кувшинъ. Въ лохани что-то моетъ, съ засученными по локотъ руками, лътъ тридцати-двухъ-трехъ, средняго роста, полная, бълокурая, красивая женщина.

Сърый котъ Багадуръ, лъниво раскинувшись на софъ, пошевсливаетъ пушистымъ хвостомъ и сладко щурится на солнечный дучъ, играющій по полу, по мебели и цвътамъ.

Во дворь прогремым колеса.

«Неужто ужь подали?—подумаль гардеробмейстеръ Шкуринъ, въ недоумени взглянувъ на стенные, съ кукушкой, часы.—Нетъ, видно, чужой»,—сказалъ онъ сеоб, вставая.

Выстро вошла Дашкова.

— Что государыня? -- спросила она: -- вдеть? од влась?

— Должно одблись... пожалуйте!—отвытиль, отворяя дверь въ следующую компату, Шкуринъ.

Дашкова вошла въ столовую. Удивленно поднявъ брови на спящую Шаргородскую, она миновала се, постучалась въ дверь кабинета.

— Ĥerein!—послышалось отгуда.

Дашкова ступила за порогъ.

--- Что это?--вскрикнула она, всплеснувъ руками.

— Какъ что, Богь мой? Мою свои маншеты и воротнички,—отвътила, обернувшись къ ней, императрица.

Екатерина была въ утреннемъ бъломъ, пикейномъ «корнетв» и въ кружевномъ простенькомъ ченцъ поверхъ русыхъ, невысоко убранныхъ волосъ. Двъ стоячихъ букольки были взбиты у маленькихъ, безъ серёгъ, краспвыхъ ушей. Голубые, усмъхавшеся глаза смотръли привътливо и весело. Руминое, полное, съ прямымъ носомъ и круглымъ, кръпкимъ подбородкомъ, лицо дышало свъжестью и здоровьемъ. Бархатныя, синія ботинки, на высокихъ каблукахъ, обтигивали короткую и плотную, съ крутымъ подъемомъ, ступню. Голосъ Екатерины былъ грубоватый. Желая его смигчить, она говорила протяжно, съ замътнымъ нъмецкимъ акцентомъ и итсколько нараспъвъ.

Такое заиятіе, когда дорогь каждый часъ, каждый мигъ?—произнесла Дашкова.

 Такъ у меня заведено; такъ, сударыня, извините, и дѣлаю! — отвъгила флегматически Екатерина, виимательно выжавь и покраснъвними проворными пальцами встряхивая вымытое, причемъ отъ возни крупныя капли испарины собрались у нея надъ верхней губой.

«Воть она, подите!—подумала Дашкова,—собирается царствовать, а занята мытьемь воротничковъ»...

- Но для того, простите, есть другія руки,—сказала гостья.
- Те-те-те, пойте ми-ы-отвытила Екатерина:— съ втою пастью я люблю выдаться сама. Времени сколько у насъ свободнаго... Кстати вчера я дочитала Annales ecclésiastiques Бароніуса, стихами перевела оду Вольтера къ вольности... А знаете ли, другь мой, его. Pensèes sur l'Administration? Какая прелесты.. La liberté consiste à ne dépendre que des lois... Вотъ умъ, вотъ мысли и штиль...
- Да разв'я книгами теперь заниматься? воскликнула, пожавъ плечами, Дапкова: мы на вулканъ, слышите ли, на пороховой бочкъ. Мигъ—и послъдуетъ варывъ!

Екатерина взглянула на нее.

— Мѣшокъ нервшительный, Панинъ, мямлить, продолжала Дашкова:—этогь мужикъ-гетманъ твердить хохлацкія поговорки, — моя хата съ краю, да скажи — какъ тамъ?—гопъ, когда перескочишь... А государь что-то узналъ, намекаеть, не на шутку грозить... Простите, вы медлите, медлите!..

На глазахъ Дашковой навернулись слезы.

Екатерина подумала: «слава Богу, ничего върнаго не знаеты» — ласково взяла ее за руку и посадила рядомъ съ собой. Ей вспоминались слова мужа Панину, при гробъ покойной Елисаветы: «ототкну тебъ упи, какъ взойду на престолъ, заставлю себя получше слушать»... Панинъ не могъ тянуть, долго ждать.

- Вы отчасти правы, —сказала она: —мужъ дъйствительно могь провъдать немало промаховь съ нашей стороны. Сколько толковъ, пустыхъ разговоровъ! точно орденъ ждутъ за сусту и болтовию...
- Вы не дарите насъ своими указаніями, отвітила Дашкова: ахъ, сколько упущено! въ декабрів, въ ту ночь, когда я вамъ открылась, я просила у васъ наставленій, полномочій. Вы отвітили, надо надіяться на Провидініе.
 - То же скажу вамъ и теперь.
- --- Но в'єдь д'єло не ждеть! съ чувствомъ искреннято отчаннія, сказала Дашкова: —не о себ'є говорю, —о васъ.
 - Да, милая,—ответила Екатерина: незавидна судьба

намего бъднаго друга. Я, русская въ дунга, искренно полюбила мою вторую родину, и—что бы ни случилось—безъ борьбы не уступлю этой любви... Какъ царь Иванъ, я не стану думать объ убъжний межъ англичанъ, останусь здёсь...

— Но надо дъйствовать, не говорить! — перебила Даш-

кова:--иначе, клянусь, будеть поздно...

— Дъйствовать, но осторожно, —произнесла Екатерина: и особенно отъ васъ, мой другъ, и жду резонабельныхъ мыслей и мъръ...

Дашкова взглянула на императрицу.

- Не понимаете?—спросила, улыбнувшись, Екатерина:—воть что, не сердитесь только, къ добру въдь говорю... Нятнадцать записокъ, съ конными и съ пъшими гонцами, оть кого я получила въ эту недълю? И на всякую вашу ци-дулку изволь отвъчать,—и я отвъчала... Ну, это какъ, сударушка-голубушка, по-вашему, не суета?

Екатерина обняла Дашкову и кришко ее попиловала.

— Нътъ, воля ваша, нътъ! что хотите — не могу! — съ хлынувшими слезами, проговорила Дашкова: — ваша неръшительность, вашъ взглядъ на дъло сгубятъ всъхъ насъ и прежде всего васъ самихъ.

Екатерина не возражала. Въ ея глазахъ также выстуинли слезы. Одна рука ея была на рукв гостьи, — другою она обнимала Дашкову. Нъсколько минутъ объ любящія, связанныя недавней дружбой женщины молчали. Лица ихъ были увлажены искренними слезами.

— Простите, ma bonne et chère amie, — сказала, цілуя Дашкову, Екатерина: — несчастье мой уділь; вы меня жалівете, но мы несогласны во взглядахъ. Вы ждете помощи отъ друзей, — я считаю, что она можеть придти только свыше.

— И вы готовы покориться судьбв, вынести насильное пострижение въ монастырь, или — что того хуже — отдать себя голитинцамъ заточить, вмъсто принца Іоанна, въ Шлиссельбургъ?

— Ну, до того, авось, врядъ ли еще дойдеть!-отвітила,

сверкнувъ голубыми глазами. Екатерина.

Дашкова встала. Последнія слова императрицы ее окончательно взорвали. Глаза ея помутились. Лицо покрыдось пятнами. Побелевшія, сердиыя губы некрасиво усиливались что-то сказать. Екатерина взглянула на гостью—и ей стало се вдвое жаль, и въ то же время почему-то было весело. Круглый подбородокъ си дрогнулъ. «Трусиха! — подумада она, — вотъ трусиха; любитъ, а какъ жалка... Какое сравнение съ тъми!- римляне, орлы!..»

— Ну, повъдайте, что вы еще слышали?—спросила Ека-

терина:-- мнъ пора ужъ и на объдъ.

Дашкова передала о своемъ забадѣ въ Ораніенбаумъ и о разговорѣ съ императоромъ. Пробило десять часовъ. Екатерина позвонила. Вошла Перекусихина, за нею Шаргородская. Онѣ внесли парадный траурный костюмъ императрицы. Къ подъѣзду, погромыхивая, подъѣхала тяжелая, шестерней марета.

-- Что жъ, наконецъ, ділать?--спросила по-французски Дашкова, когда Екатерина съ нею вышла, въ черной фле-

ровой шапочкъ, на крыльцо.

— Терпвніе, милая тёзка, терпвніс и осторожность, отвітня вполголоса, крічко пожимая ея руку, Екатерина: вы—Катя, и я—Катя: будемь обі Кати уминцами...

«Ну, сударыня, ужъ извините — подумала Дашкова, глубокимъ, по всёмъ правиламъ, реверансомъ раскланивалсь отъ крыльца съ убзжавшей императрицей, —придетъ срокъ, ие поцеремонимся съ вами...»

«Муха на рогахъ вола! — отвъчая на поклонъ княгини Лашковой, подумала Екатерина: — бъгаетъ, суетится... и все, Богъ мой, чтобъ только сказать, и мы-де орали, мы-де пахали пашеньку... Думаетъ, что ее приняли въ согласіе, что ей открытъ заговоръ... она не въ заговоръ, а только въ разговоръ... Нътъ, — прибавила себъ Екатерина, — я неправа, я — еsprit gauche! несносная страстъ къ сатирничанью!.. Княгиня преданная, пылкая и женерозная особа, и много у нея, съ ея мужемъ, друзей... Преданность, пылкосты! Не въ нихъ одиъхъ сила, — нужно притомъ и нъчто другое...»

Мысли Екатерины унеслись далеко, — къ тъмъ дилмъ, когда она, приглашенная императрицей Елисаветой, впервые въбхала, черезъ Ригу и Псковъ, въ Россію и приглядывалась къ ея пустыннымъ равнинамъ, одинокимъ селеньдать и нескончаемымъ дремучимъ лъсамъ, и когда ей грезилось, что она иткогда будетъ царствовать въ этой бъдной, общирной странъ.

Карета императрицы на полныхъ рысяхъ миновала последиюю просъку петергофскаго парка. Стали видны у взиорыя высокое крыльцо и окна ораніенбаумскаго дворца.

Желтые, синіе и бълые голитинскіе мундиры мелькали

уже здёсь и тамъ, за сквозною чугунною оградой. Скакали выстовые. Отъёзжали экипажи спешившихъ изъ столицы гостей.

XVIII. Арестъ Пассека.

Объдъ въ Ораніенбаумъ отличался особенною пышностью. Столъ, на пятьдесять кувертовъ, быль сервированъ въ японской заль. Служили въ желтыхъ курткахъ и красныхъ тюрбанахъ арабы и съ страусовыми перыями на шапочкахъ скороходы. Императрица сидъла рядомъ съ Минихомъ. Государь во время об'вда быль сильно не въ дух'в. Изр'едка перешентываясь съ Александромъ Шуваловымъ и съ Гудовичемъ, онъ изръдка вопросительно поглядывалъ на императрицу. Къ вечеру на маскарадъ, въ оперномъ театръ, онъ, видимо, повеселътъ. На слова Воронцовой: «взгляните, государь, ваша суцруга безъ екатерининской звізды: не оттого ли, что я по вашей милости, въ этомъ орденъ: > --- онъ ответиль: «ба! пустяки, Романовна! я спрашиваль... она нечанино сломала зв'єзду и отдала въ починку Позье́...»

На другой день, 27-го іюня, въ четвергь, Петрь и Екатерина встретились вновь на великоленномъ празднике, данномъ въ честь высокой четы графомъ Алексвемъ Григорьевичемъ Разумовскимъ и его братомъ-гетманомъ, въ Гостилицахъ.

Здѣсь были первыя красавицы изъ обычной дворской свиты императора. Всв были веселы, катались съ музыкой по озеру. Тосты сопровождались пушечной пальбой. Оба Разумовскіе, особенно любимецъ государя — гетманъ, наперерывъ старались угодить императору.—«Лобзаніе Іуды» думали некоторые изъ знающихъ тайны, глядя на нихъ.

– Завтра, надъюсь, у васъ объдать и обо всемъ, безъ вредительныхъ иллюзій, поговорить, —сказаль государь императриць, уважая вечеромъ въ Ораніенбаумъ: — а мои именины, послъзавтра, проведемъ, не правда ли, у меня?

Императрица, молча, вдернула за собой по ступенькамъ экипажа траурный шлейфь. Дверцы захлопнулись. Карета помчалась въ Петергофъ. Болве въ жизни Петръ съ Ека-

териной не видълись...

«Боже мой, Боже! — думала Екатерина, подавляя слезы и прислушивансь къ топоту лошадей, — что меня ждеть? Развязка близка. Никто и не подозрѣваеть, что Панинъ и гетмань готовы... Теривть или предупредить ударь? Свобода—и заточене, корона—и монастырь?.. Не сдамся, какъ правительница Анна... Лучше умы призову къ трону, буду править кротостью, голось всякой правды слушать. Обновлю, воскрещу эту забытую, бъдную и вмёсть богатую, мнъ одной понятную страну. Стану матерью отечества... У мру или буду царствовать...»

Возвратясь вы Петергофъ, Екатерина отпустила прислугу, заперла двери и открыла окно. Море тихо плескалось у

Монилезира.

«Дашкова! другь мой! — думала императрица, — нътъ тебя возяв меня въ эти минуты, а ты мит теперь такъ нужна... Что если ты права, если мы опоздали и нътъ уже возврата?»

Екатерина порылась въ ящикахъ, отложила и сожгла нъсколько бумагъ, засучила до локтей рукава блузы и стала въ волнени ходить взадъ и впередъ по компатъ. Малъйшій ввукъ у взморья и въ саду бросалъ ее въ холодъ и жаръ.

Петръ Оедоровичь позже вывхаль изъ Гостилицъ. Онъ

также быль неспокоень и возбуждень.

«Постой, матушка-голубушка! — думалъ онъ, приглядываясь къ стемиввшимъ полямъ, — не долго ждать... Послъзавтра, въ субботу, мой праздникъ. День Петра и Павла надолго останется памятенъ. Все готово, — и Лизавета Романовна согласна, и принцъ Іоаннъ подъ рукой... Гетманъ объщаетъ поливищий успъхъ. Покажу принца народу, провозглащу наслъдникомъ и обвънчаюсь... Жену и сына запру въ Шлиссельбургъ, устрою временное регентетво — изъ князя Никиты Трубецкого, Гудовича и дяди — принца Жоржа... и съ арміей въ походъ! Все готово... Они и не ожидаютъ».

«Какая тишина, какая! — сказаль себв Петръ Оедоровить, подъвжая къ ораніенбаумскому дворцу: — миръ и ве подозрваеть, что ему готовится... Воздухъ и не шелохнеть кругомъ ни звука... О! сколько величія и сколько силы въ дупів зоркаго, осторожнаго и рішительнаго человіка. Панина пошлю въ Швецію — раздавить тамошнія своеволія, гетманомъ сділаю Гудовича... Но главное, главное... Світь загремить отъ нежданной вісти, и новая великая страница прибавится къ исторіи Третьяго Петра».

За полчаса до возврата государя съ предательскаго пира, любимый его арапъ, Нарцисъ, пришелъ къ нему въ рабочій кабинетъ и положилъ на письменномъ столъ письмо, при-

сланное съ тайнымъ гонцомъ отъ бывшаго государева парикмахера Брессана. На письмѣ была по-французски надпись: «весьма секретное и нужное». То былъ доносъ о заговорѣ.

Петръ Федоровичъ, отыскивая сигары, увидъть возлѣ нихъ пакетъ, — хотъть его вскрыть, но чувствуя усталость, разсъянно повертъть его въ рукахъ, бросилъ на этажерку въ кучу другихъ, заготовленныхъ на утро бумагъ, прошелъ въ спальню, сталъ раздъваться и задумался.— «Концертъ природы — концертъ душевныхъ страстей» — сказалъ овъ себъ слова Стерна изъ книги, читанной наканунъ. Его манило изъ комнаты на воздухъ.

Императоръ сняль со ствиы любимую скрипку, подарокъ виртуоза Тастини, вышель съ нею на балконъ—и долго, въ тишинъ, покрывшей взморье, дворецъ и садъ, раздавались звуки нъжныхъ каватинъ и пасторалей. Петръ Өедоровичъ игралъ, размышляя: «Все идетъ отлично... И какая полная, поэтическая тишина!.. Да! свътъ изумится новой страницъ въ исторіи Третьяго Петра».

Было за полночь, когда онъ возвратился въ спальню. — «Волковъ изучаетъ французскую хартію, совътуетъ ввести въ Россіи сословія... Всякъ станетъ воленъ... Всякъ будетъ счастливъ, всякъ станетъ житъ подъ своей смоковницей!» — Съ этими мыслями онъ обернулся къ стънъ, услышавъ жужжаніе комара, сталъ слъдить за его пъсней и полетомъ и заснулъ.

Ожиданія императора не сбылись. Не черезъ день и не въ субботу, а того же двадцать-седьмого іюня, въ четвергь, въ Петербургъ произошель важный, хотя, повидимому, ничтожный случай.

Преображенскій гренадерь, заслышавь толки, что государыня вь опасности оть голштинцевь, зашель къ своему капитану, Петру Богдановичу Пассеку, узнать, правду ли говорять вы народь. Пассекь отвътиль, чтобь не вради, и что государыня въ безопасности. Гренадерь ръшиль глядьть въ оба; ночью не сомкнуль глазь, ломаль голову, а потомъ зашель въ преображенскому мајору Петру Петровичу Воейкову.

- Ваше высокоблагородіе, сказаль онъ явите божескую милость. Какъ бы послѣ за нихъ не отвѣчать.
 - За кого?
 - -- За голитинцевъ.
 - A что?

— Да все ли, то-есть, въ благополучін насчеть матушкипарицы?

Воейковъ насторожилъ ущи.

- Пустяки, отвътилъ онъ.
- Спрашиваль я по-тайности ихъ благородіе, Петра Богданыча, -- сказалъ гренадеръ.
 - Ну, и что же онъ? спросилъ Воейковъ.
- Передай, говорить, солдатству, чтобъ до времени попусту не чесали языковъ. Нужно будеть-объявать черезъ капральство.

Воейкова, какъ варомъ, обдали эти слова. Онъ поняль, что дъло неладно, задержалъ гренадера и арестовалъ Пассека.

«Воть и ручался въ осторожности» — подумаль Ломоносовъ, узнавъ о томъ и вспоминая встричу съ Пассекомъ у Фонвизина.

Пособники Екатерины потерялись. Въ грозной тишинъ передъ ними какъ бы взлетьла первая, въстовая ракета...

Панинъ узналъ объ этомъ отъ Орлова, играя вечеромъ у Дашковой въ карты. Дашкова посовътовала Орлову немедленно скакать въ Петергофъ и обо всемъ уведомить Екатерину, еще до разсвъта. Панинъ послалъ наставленія гетману Разумовскому, командиру измайловскаго полка. Дашкова надъла мужской плащъ и, не довъряя Орлову, пошла узнать подробности къ Рославлеву. Всѣ были въ ожиданіи чего-то необычайнаго, рокового.

Мировичъ вторую недблю игралъ въ карты у Перфильева. Игра шла въ домъ генерала Возжинскаго, бывшаго лейбъкучера Елисаветы Петровны, на Невскомъ, у Гостинаго двора. Мировичу везло, но онъ выбился изъ силъ, сталъ раздражителенъ, придирчивъ и грубъ.

Вечеромъ двадцать-седьмого іюня, когда партнеры Перфильева сидъли за карточнымъ столомъ, къ нимъ, послъ нъкотораго отсутствія, вновь явился Григорій Орловъ. Онъ высыпаль на столь груду золота. Игра пошла съ новой

силой. Разносили вина, прохладительныя.

Быль второй чась ночи. Мировича вызвали на крыльцо. Какой-то мужикъ подалъ ему записку. То было письмо Пчёлкиной. На дворъ разсвътало. Мировичъ вскрылъ и прочелъ слѣдующія строки.

«Что вы дълаете?---писала Пчёлкина:---вы забыли всъхъ

и все. Узнавъ, гдъ вы скрываетесь столько дней, спъщу сообщить то, что сейчасъ узнала отъ закхавшаго къ намъ въ поискахъ за вами Ушакова. Городъ въ опасности. Каждое мгновеніе ждутъ взрыва. Вы просили услуги мнъ. Вотъ она. Арестованъ Пассекъ; враги государя боятся его показаній и готовы дъйствовать. Поъзжайте къ Ушакову. Онъ все вамъ объяснитъ».

«Подлый я. гнусный!» — съ бъщенствомъ сказалъ себъ Мировичъ. Онъ бросился въ переднюю, схватилъ шляпу и шпагу, кликнулъ извозчика и поъхалъ къ Смольному, гдъ въ переулкъ жилъ Ушаковъ. — «Вотъ она, ръшимость, долгъ совъсти! — разсуждалъ онъ, — все забылъ, все. У меня были средства предупредить государя, его спасти, и я тъмъ пренебрегъ. Христосъ великій и единый, слава нашего ордена, и я тебъ измънилъ! Многое думалось и все низвергнуто. Опять я погибшая натура, подлан и дикая тварь. А сравняться думалось, по слову братьевъ масоновъ, съ Моисеемъ, съ Гирамомъ-Апифомъ... Измънникъ, картежникъ, мотъ!..»

Скриня зубами, Мировичъ сжималъ кулаки, тихо и злобно смъялся надъ собой. — «Кто есть свободный каменщикъ? — спрашивалъ онъ себя съ дрожью негодованія, — человъкъ, умъющій сдерживать свои порывы, покорять волю свою разуму. Въ храмъ истины входятъ только премудрые; гордость и безчиніе изгоняются оттуда. А я не исполнилъ долга въ такое время, сидълъ за карточнымъ столомъ, слушалъ ревъніе пирныхъ пъсенъ, служилъ съ такими вертопрахами Вакху... Къ кому заповъдано милосердіе? — къ бъдствующему... Состраданіе? — къ виновному... Прости-жъ меня, Господи, прости слабому ученику, символъ котораго — неотесанный, грубый камень. Дай мнъ искупить мою провинность... заслужить... Попущеніе паденія — въ планъ горней твоей любви»...

На квартир'в Ушакова Мировичу сказали, что Аполлонъ Ильичъ съ вечера наняль ямскихъ и убхалъ за городъ.

«Новое горе, —подумаль Мировичь, —отъ кого жъ теперь узнать?»

Онъ повхаль обратно, и на Литейной вспомниль о Брессант. Домъ камергера-парикмахера былъ ему по-пути, на Фонтанкт, у Симеоновскаго моста.—«Развъ попытаться къ нему? — подумалъ Мировичъ. — онъ другъ государя, зналъменя по корпусу».

Окно въ верхнемъ этажъ дома Брессана было освъщено. дверь на улицу—отворена. Отпустивъ извозчика, Мировичъ взошелъ по узкой деревянной лъстницъ.

Взволнованный и до крайности растерянный французъ сперва не призналъ гостя, потомъ принялъ его со слезами

и съ распростертыми объятіями.

— Mon Dieu, quelle misère! какое горе!—вопиль разбитымъ голосомъ, колотя себя въ грудь, нечесанный, въ халать и туфляхъ на босу ногу, старикъ: — бъдный, жалкій государь! Oh il est perdu! Я писалъ, я послалъ, но видно онъ мой рашоръ не читалъ... полдня—и отгуда ни слуха...

Брессанъ въ подробности разсказалъ Мировичу о случав съ Пассекомъ, о сходкахъ и приготовленіяхъ сторонниковъ Екатерины, Панина, гетмана, измайловскихъ и преобра-

женскихъ офицеровъ.

— Повозку и лошадей!—вскрикнулъ, выпрямляясь, Мировичъ.

Лицо его вдругъ засіяло, точно онъ открылъ нѣчто необычайно-великое, міровую тайну.

— Ссудите вашихъ лошадей, — повторилъ онъ: — не все еще потеряно. Я мигомъ долечу и, хоть голова съ плечъ, все передамъ, предупрежу государя.

— Неть лошадей, всехъ разослаль, —жалобно ответиль Брессань: — къ сотрые Шоваловъ, къ пренсъ Трубецкой, остался одна расхожій водовозъ.

— Давай водовоза, —да ну же—чорть возьми! vite, vite!... Но и расхожая лошадь оказалась въ отсутствіи, на рынкъ. Въ исходъ четвертаго часа Мировичу подали, наконецъ, коня. Онъ набросалъ какую-то бумагу, спряталь ее на грудь, пожалъ руку Брессану, вскочилъ въ съдло и понесся вдоль Фонтанки.

«Не знаю, какъ и что — мыслить онъ, — но върю, что сдълаю всъмъ наперекоръ, всъмъ...» — У Калинкина моста, гдъ жила Филатовна, Мировичъ придержалъ поводъя, миновалъ заставу шагомъ. Полная тишина парила окрестъ. Предмъстье, пробуждаясь, еще молчало. Ни конныхъ, ни пъщихъ. Слъва въ Измайловскомъ полку, прогремъла чъя-то запоздавшая карета; но и та вскоръ затихла. Отъ ближнихъ садовъ и огородовъ тянуло запахомъ росистой листвы. Гдъ-то надъ крышей поднялся ранній дымокъ. Мировичъминовалъ предмъстье и во всю прыть помчался по пути въ

Ораніенбаумъ, думая про себя: — «Гетманъ измѣнникъ, не диво еще, — сластолюбецъ; но Панинъ... видно, чѣмъ больше идеализма, тѣмъ загребистве лапа...»

Но въ то же утро и ранье отъвзда Мировича, благодаря Дашковой, случилось непредвиденное событие, которому добродушный летописецъ того времени далъ скромное и меткое название: «Предприятие господина Орлова».

Въ Петергофъ, далеко до разсвъта, скакалъ на лихой,

собственной тройка, Алексый Орловъ.

XIX.

"Предпріятіе господина Орлова".

Быль въ началь пятый часъ утра двадцать-восьмого іюня. Полная тишина покрывала петергофскій садъ, дворець и паркъ. Солнце поднялось, хотя туманъ отъ взморья еще стлался по садовымъ низамъ, кое-гдъ точно облакомъ дыма захватывая террасы и дороги верхняго сада.

Къ опушкъ парка подъвхала взимленная тройка. Съ телъги всталъ присланный Дашковой большого роста, въ преображенскомъ кафтанъ, офицеръ. Отпустивъ ямщика, онъ прошелъ къ лъсной караулкъ и послалъ сторожа на ближнюю мызу. Отъ послъдней вскоръ подъвхала двухмъстная коляска, четверней.

Оставивъ коляску у ограды парка, офицеръ спустился къ Монплезиру, поглядълъ на окрестныя аллеи, на окна и крыльца еще погруженнаго въ дремоту стараго павильона, подошелъ къ его галлерев и склонился къ окну. Изъ-подъ опущенной занавъски нельзя было разглядъть внутренности комнатъ. То было помъщеніе камеръ-фрау государыни, Шаргородской. Офицеръ постучалъ въ окно, но, видя, что его не слышатъ, вошелъ съ черной лъстницы въ сћии и въ небольшой полуосвъщенный коридоръ. Дверь направо вела въ помъщеніе гардеробмейстера Шкурина; налъво—въ комнаты Шаргородской, смежныя съ собственными покоями императрицы. Въ павильонъ, очевидно, всъ еще спали.

Офицеръ вошелъ въ комнату на-лъво.

Собачка Шаргородской заланла и разбудила свою хозяйку.—«Что вы, Алекста Григорьичъ?»—спросила, испуганно выглянувъ изъ спальни, Катерина Ивановна. Офицеръ объяснилъ причину нежданнаго своего посъщенія. Шаргородская стремглавъ бросилась къ опочивальнъ императрицы.

- Въ чемъ дъло? -- спросила гостя изъ-за двери Екатерина.
- Не медлите, ваше величество, ни минуты!—отвътиль Орловъ:—надо ръшиться, ъхать.

— Но ради Бога, что произопио?

— Пассекъ арестованъ, — сказалъ по - французски Орловъ: — вамъ грозитъ Шлиссельбургская кръпость или, какъ

первой женъ Великаго Петра, -- монастырь...

Екатерина болье не разспрашивала.—«Одъваться!»—сказала она Шаргородской, и черезъ нъсколько минутъ вышла въ простомъ темномъ платъъ, въ лентъ и звъздъ—подъ мантильей. Легкая дрожь пробъгала по ся членамъ; лицо было блъдно, но совершенно спокойно. Глаза смотръли бодро и свътло.

— Готова! — произнесла она Орлову: — но подъ навимъ

видомъ мы пройдемъ мимо сторожей и часовыхъ?

Силачъ и гуляка, незнавшій колебаній и ходившій въ одиночку съ рогатиной на медвъдей, Орловъ затруднился отвътомъ. Смълость начинала его покидать.

 Подъ видомъ валией жены, — ръшила императрица, взявъ зонтикъ и вуаль и подавая руку Орлову.

Они вышли изъ павильона.

- Если бъ я была солдатомъ, произнесла Екатерина, минуя первую аллею: — я никогда не дослужилась бы до генерала.
 - Почему?---спросиль Орловъ.

— Меня бы убили еще капраломъ...

Нижній садъ благополучно прошли. По берегу стлался туманъ. Море тихо плескалось о пристань: оттуда неслась пъсня: «Охъ, ты, волюшка, свътъ печаль!» Начался верхній садъ, смежный съ паркомъ. За ръшеткой, на улицъ, слышалось уже движеніе. Шли бабы на рынокъ, садовники съ тачками. Отставной елисаветинскій солдать-сторожъ, у вороть парка, выгянулся и отдаль честь офицеру.

Екатерина спокойно свла въ коляску, припасенную наканунв, по распоряженію гардеробмейстера Шкурина. Орловь свль къ кучеру на козды. Другой, будто случайно наспвышій офицеръ, капитанъ корпуса инженеровъ, Василій Ильичъ Бибиковъ, бесвдуя съ ними, повхаль сбоку коляски, покуривая трубочку. Все имёло видъ утренней прогулки. Лошади бъжали легкою рысью. Обогнувъ опушку парка, путники остановились. Орловъ предложилъ Бибикову занять мъсто съ Екатериной, кучеру велътъ взять его коня, самъ взялъ вожжи и погналъ четверню вскачь.

— Знаменательный день, — сказала Екатерина Бибикову, глидя на выходившее имъ навстръчу солице: — ровно восемпадцать лътъ назадъ, также двадцать восьмого іюня, и торжественно приняла въ Москвъ православіе... Еще помню, покойная государыня-тётка и всъ были удивлены, что я, недавняя гостья этой страны, такъ отчетливо прочла вслухъ символь въры...

Рощи и долины, тамъ и здѣсь разбросанные домики и мосты мелькали по сторонамъ. Густая пыль столбомъ взвивалась отъ колесъ.

Встрічные путники,—солдаты, чухны на двухколесных таратайкахъ, косцы,—сторонились, оглядываясь и недоумівая, что за особу мчаль въ коляскі лихой и ражій преображенскій сержанть. •

Вотъ Стрвльна. Близятся сады Сергіевой пустыни. За ними люсъ, яровое поле и избушки села Лигова. Новые дуга и люсъ, деревушки, Горвлый и Красный кабачки.

У спуска на мость, не доважая Краснаго кабачка, изърощи навстручу коляску, выскочиль на рыжемъ, толстоногомъкон всадникъ. То быль Мировичъ. Онъ еще издали примутилъ и муавшійся стремглавъ съ лъсистаго пригорка четверикъ, и фигуру рослаго гвардейца, гнавшаго вскачь лошадей.

«Кто-бъ это быль?» — разсуждаль Мировичь, следя за облакомъ густой ныли, летевшей ему навстречу.

Коляска съ опущеннымъ верхомъ, мелькающія копыта и морды лошадей, грохоть колесъ по бревнамъ моста и раскрасн'явшееся, запыленное лицо мундирнаго возницы, со шрамомъ на щек'я, все это быстро мелькнуло и пронеслось мимо Мировича.

«Орловъ! ужели онъ?—спросилъ себя, оглядываясь, Мировичъ: — нѣть, я того оставилъ съ прочей компаніей у Перфильева! — Въ это мгновеніе ему бросилось въ глаза еще одно обстоятельство: съ задней оси коляски, очевидно, была обронена гайка. Колесо чуть держалось въ бъгу.

— Эй, эй!—крикнуль Мировичь возниць.

Коляска мчалась по тоть бокъ моста.

— Эй, колесо! - громче крикнуль и замахаль шляной Мировичь.

Дама подъ вуалью выглянула изъ экипажа: возничій началъ сдерживать. Коляска скрылась у Лигова, въ овражистомъ, лесномъ круглячке.

Мировичъ подождалъ. Четверня не выбажала изъ лъса. «Такъ и есть, услышали, замътили колесо! — сказалъ себъ Мировичъ, — любовишка, видно, похищение дамы сердца... и кому это я услужилъ? » — Онъ пришпорилъ коня и, взобравшись на пригорокъ, опять оглянулся.

Коляску бросили въ лъсу. Кромъ колеса, помъщалъ дышловый загнанный конь — онъ упалъ бездыханный. Путники шли по дорогъ пъшкомъ. А отъ недальняго и ужъ виднаго въ утренней мглъ предмъстья, навстръчу имъ, шестерней мчалась городская карета. Вотъ она ихъ достигла; они съли, и еще быстръе понеслись въ Петербургъ.

«Что бы я даль, что бы я даль за то, чтобъ путники примътили, кто именно оказалъ имъ эту услугу! — думалъ впослъдствін Мировичъ не разъ, подъ тяжкими ударами жизни, до мелочей вспоминая всё роковыя, всё горестныя событія того дня: — и нужно же мнѣ было подать голосъ, остановить! Не обрати я ихъ вниманія, бъщеныхъ коней не удержали бы, и отъ кого нынѣ зависѣла бы моя судьба, участь милліоновъ—неизвёстно»...

Встръченная карета принадлежала князю Оедору Сергъевичу Барятинскому, тому самому, который въ мат отъ Петра Оедоровича получилъ-было приказъ арестовать императрицу. Съ нимъ, навстръчу Екатеринъ, примчался и Григорій Орловъ.

нимъ, навстръчу Екатеринъ, примчался и Григорій Орловъ.
— Наше море не волнуется, входитъ только въ свои берега,—сказалъ послъдній.

— Пить хочется, страхъ душно!—отвътила Екатерина: больше версты спъшили вамъ навстръчу пъшкомъ.

Братья Орловы стали на запятки. Барятинскій и Бибиковъ были приглашены государыней въ карету. Лошади понеслись, и вскор'й карета уже грем'я въ улицахъ предм'ястья.

У Калинкина моста дорогу переходила высокая, въ мужскомъ камзолъ, съдая старуха, съ полными ведрами.

— Минуту, ради Бога, пить!—сказала Екатерина.

Экипажъ остановился. Старуху подозвали къ дверцамъ. Екатерина, стоя на подножкъ, ухватила объими руками влажное, полное ведро и медленно, жадно напилась. — «Мигъ—и калейдоскопъ обернется!—думала, видя себя въ

водъ, какъ въ зеркалъ, Екатерина, — мигъ, и исчезнутъ грезы, ожиданія тяжелыхъ восемнадцати лътъ»...

- Въ долгій въкъ тебъ, въ добрый часъ! приговаривала старуха, кланяясь и разглядывая необычную путницу:— Никола въ помощь, Христосъ по дорожкъ!
- Спасибо, милая, сказала Екатерина, оторвавшись отъ ведра и отрадно вздохнувъ: какъ тебя звать?
- Лейбкампанша, Настасья Бавыкина; здравствуй и много льть живи, матушка-государыня, во святой часъ, въ архангельскій.
 - Гдѣ живешь?
 - У грекени Бунди.

«Лейбкампанша, слуги тетки,—подумала Екатерина,—не забуду... это въдь первая»...

Бичъ щелкнулъ. Карета миновала ближнія роты Измайловскаго полка и остановилась на зеленомъ пустыръ, у полковой съъзжей. Здъсь еще было тихо.

Подъ сигнальнымъ колоколомъ, у моста черезъ ровъ, ограждавичи полковой дворъ, съ ружьемъ на плечъ, стоялъ часовой. Екатерина вышла изъ кареты. Часовой сразу ее узналъ. Не спуская съ нея загоръвшихся изумленіемъ, страхомъ и радостью глазъ, онъ вытянулся у входа на мостъ и молча взялъ на караулъ.

«Пропустить ли?—подумала Екатерина,— что, какъ заступить дорогу, подасть неурочный сигналь къ тревогћ?»— Лицо ея покрыла краска.

Не спъща и не глядя на караульнаго, она мърнымъ, спокойнымъ шагомъ твердо направилась отъ кареты къ мосту.

Часовой не шелохнулся. Только грудь его высоко поднималась, да молодое, замиравшее сердце билось шибко и горячо.

«Воть спустить на перилы мушкеть, ударить въ колоколь!» — мыслила Екатерина, въ холодъ и трепетъ неизвъстности, смъло и бодро ступая по сърымъ, стоптаннымъ горбылинамъ мостовинъ.

«Проходи, умница, радость! — думаль тыть временемъ, смотря на государыню, часовой: — угадываю... Вонъ они, орденки, сподвижники твои, смыльчаки... Иди... Не на утысненія, не на гибель и безцыльную трату нашихъ силъ... на славу, честь и свободу патріотовъ шествуещь царствовать»...

Екатерина безпрепятственно прошла за канаву, спутники слъдовали за ней.

 Имя твое?—на мигъ замедяясь и взглянувъ на блъдное, умное лицо рядового, спросила Екатерина.

 Обожатель и върный рабъ вашего величества. Никодай Новиковъ! — отвътилъ, брякнувъ ружьемъ, въ честь давно-жданной гостъи, часовой.

Старшій Орловъ вошель въ сборную. Оттуда выскочиль полураздітый солдать, за нимъ еще нісколько рядовыхъ. Глухо и несміло загреміль барабань. Бодріе вторя ему и будя утреннюю типину, въ смежныхъ ротныхъ дворахъ зарокотали другіе барабаны. Екатерина стала у окранны събажей илощадки. Справа и сліва собгались старые и молодые солдаты. Привели подъ руки бліднаго растерявшагося священника, съ крестомъ. Вынесли изъ полковой церкви и поставили среди двора аналой.

— «Присягать! присягать!» — «Ура, услышала насъ матупика-царица!» — кричали гренадеры. Взводь за взводомъ и рота за ротой, сбрасывая по пути узкіе, новаго образца, и над'явая старые, отнятые въ цейхгаузъ, лизаветинскіе кафтаны, сб'ягались въ гуд'явшій и переполненный радостною толюю дворъ. Началось ц'ялованіе креста.

Когда наспъла послъдняя рота, офицеры Вырубовъ, Рославлевъ, Всеволожскій, Ласунскій и Похвисневъ замахали шляпами. Крики смолкли. Екатерину окружили.

 -- Я къ вамъ явилась за помощью! — раздался въ тинии полосъ: --- опасность вынудила меня искать среди васъ спасенія...

Повиковъ, оттъснений наваливнейся толной, поднялся на цыпочки. Невысокая, полная, съ румянцемъ тревоги, Екатерина стояла въ десяти шагахъ отъ него. Руки ся были протянуты; на лбу и надъ верхней губой выступили крупныя капли пога; загуманенные глаза робко искали вокругь опоры.

- --- Совътники государя, моего мужа, —продолжала она: -- ръшили безъ промедленія заточить меня и моего единственнаго сына въ Шлиссельбургскую кръпость...
 - -- Смерть голитинцамъ! смерть! -загудъла толпа.
- Отъ враговъ было одно спасеніе—бъгство, сказала, утирая слезы. Екатерина: бъжать могла и не инако, какъ в вачъ... На васъ надъюсь, вамъ върю. Окажете зи помощь сыну и мите?

- Већућ веди! жизнь положимъ, не выдадимъ! смертъ супостатамъ!..
- Никого не трогайте, произнесла Екатерина: слушайте начальниковъ, Богъ за насъ.

Солдаты и офицеры бросались передъ Екатериной на колъни, цъловали ей руки, платье. Вынесли полковое знами.

— «Къ семеновцамъ! въ Казанскій!» — кричали одни. — «Къ преображенцамъ! они матушку Лизавету ставили на царство!» — кричали другіе. — «Въ конную гвардію... по всімъ церквамъ!.. Карету! гді же гетманъ?» — Къ Панину, въ Літній, поскакалъ». — «А Алексій Орловъ?» — «За архіереемъ Дмитріемъ...» — «Въ Казанскій! въ Казанскій!» — Роты строплись. — «Что мішкасте, ротозін?» — кричалъ Рославлевъ. — «Живо знамена впередъ, барабаны!» — командовали Обуховъ и Ласунскій. — «Спасительница наша! мать родная! вивать!» — не умолкали солдаты. — «Пушки вывози! Стройтесь! — кричало капральство: — священника впередъ! въ Казанскій!»

Вправо и влево, во все концы скакали вестовые.

Подъ напоромъ ломившейся впередъ, кричавшей и махавшей шляпами и мушкетами толны, императрица снова съла въ карету. Приземистый, съ крестомъ въ рукъ и съ дрожавшей, бълокурой бородкой священникъ покашливам и испуганно путаясь въ голубой, полинялой рясъ, двинулся впередъ. Выстроившійся полкъ, окруживъ карету государыни, послъдовалъ за нею.

Предводимые Вадковскимъ. Өедоромъ Орловымъ и другими офицерами, семеновцы также принесли присягу. Съ Загороднаго проспекта шествіе двинулось по Гороховой, своротило въ Мъщанскую и стало приближаться къ площади Казанскаго собора.

Окна и двери раскрывались настежь. Горожано присоединялись къ шествію и также кричали вивать и ура.

XX. Явленіе Фелицы.

Утромъ того же двадцать восьмого іюня, Ломоносовъ проснулся ранѣе обыкновеннаго. Ему предстоялъ окончательный просмотръ хвалебной латинской рѣчи, которую онъ, по наряду, долженъ былъ завтра, въ день государевыхъ именинъ, прочесть въ торжественномъ засѣданіи академіи наукъ. Сверхъ того, онъ помнилъ слово, данное студенту

его! всёхт ихъ чертей, нёмцевыхъ слугъ, туда!» — кулаками и прикладами толкала въ Мойку перепуганнаго, въ изорванномъ бархатномъ кафтанё и въ большомъ всклоченномъ парикі, старичка-иностранца. Какой-то офицеръ, въ силу отбивъ у рядовыхъ полумертвую измятую фигурку, втолкнулъ ее въ лодку и велёлъ везти въ крёпость. — «Лештокъ!» — послышалось въ толпіз. — «Какой Лештокъ?» — А мало ли ихъ дьяволовъ, нёмцевъ... Вонъ, и дядюшку жоржа исколотило солдатство, порвало на немъ одёжу...»

«Sic transit gloria mundi! — подумаль Ломоносовь, — но

откуда все и вь чемъ дела суть?»

У Казанскаго собора онъ узналъ, наконецъ, причину общаго волненія.

Не успъло пествіе показаться въ Мъщанской, отъ гостинаго двора послышались крики и прерывистая, барабанная дробь. У чугунной соборной ограды показались бъжавшіе по Невскому въ свътлозеленыхъ елизаветинскихъ кафтанахъ, съ мушкетами на-перевъсъ, преображенцы. Офицеры, вожаки движенія, Бредихинъ, Баскаковъ, Протасовъ, Ступишинъ и Чертковъ въ силу сдерживали и равняли ихъ увшавшіеся ряды.

— Виноваты, матушка, поздно пришли! — кричали госу-

дарынь гренадеры.

Не успіли преображенцы выстроиться въ оградь, на Невскомъ опять раздались звуки трубъ, стукъ подковъ и ближе, и ближе переливавшіеся крики ура. Стали видны скачущіе, тяжелые ряды зеленыхъ, въ золотыхъ галунахъ, рейтаровъ. На полномъ карьері, съ палашами на-голо и съ распущеннымъ штандартомъ, гремя подковами по мостовой, неслась отъ Аничкова конная гвардія. — Матушка! солнце ты світлое! спасительница! не выдадниъ!» — восторженно кричали конногвардейцы, предводимые Хитрово, Несвицкимъ, Ржевскимъ, Черкасскимъ и Мансуровымъ, строясь между соборомъ и садомъ гетмана Разумовскаго (нынѣ воспитательный домъ).

На паперти показался окруженный «всёмъ освященнымъ соборомъ и синклитомъ» въ полномъ облачени новгородскій архівпископъ Дмитрій Стченовъ. Онъ остинать крестомъ Екатерину. Солнце свътило на бълый глазетъ, малиновую парчу, станя головы и бороды духовенства. Траурное платьс

Екатерины сиротливо отличалось въ этой смёси бархата, золота и яркихъ солнечныхъ дучей.

«Присягать! присягать! — раздавались восклицанія: — правительницей! съ сыномъ Павломъ! регентшей...» — «Одна, одна! да здравствуетъ самодержица, матушка наша, Екатерина Алексъевна!» — крикнулъ Алексъй Орловъ и за нимъ передніе ряды. — «Ура! — подхватили остальные: — самодержицей! крестъ цъловать! ура!..»

Быстро примчалась шестерней золотая придворная карета. Изъ нея вышелъ блъдный, старавшійся скрыть радостное волненіе, Никита Панинъ, объ руку съ своимъ питомцемъ, встревоженнымъ, робко шагавщимъ, худенькимъ великимъ княземъ Павломъ Петровичемъ.

Архіспископъ спустился съ паперти и сталь обходить ряды войска. Офицеры кидались на кольни передъ Екатериной, восторженно махая шпагами и шляпами. Окна, балконы и двери окрестныхъ домовъ переполнились зрителями. Кто не попалъ на площадь, вабирался на смежныя крыши, на деревья Невскаго и гетманскаго сада.

- Гдѣ императрица? гдѣ? позвольте! спросиль, силясь взглянуть изъ-за спинъ другихъ, невысокаго роста, кругло-щекій юноша, съ вспотѣвшимъ, миловиднымъ лицомъ, подъ-ъхавшій на извозчикъ съ Мъщанской.
- Вонъ она, батюшка, вонъ, а возлѣ нея великій князенька, Павелъ Петровичъ,—отвѣтилъ въ мѣщанскомъ зипунишкѣ старикъ.
 - Да гдъ же? позвольте, не видно.
- На паперти, сударь, эвоси, прямо глядите; въ печальномъ-то платъй... въ черной шапочкъ, со звъздой.
- Экъ, глаза, дъдушка, куда дълъ? отозвался голосъ изъ толны: — проворонилъ... съ преосвященнымъ ушла въ соборъ.
- Молебствуеть! на царство вѣнчается! слышалось вдѣсь и тамъ.
- А Панинъ-то не оставляль великаго князя, съ нимъ эти ночи, сказывають, спаль, оберегаль царское дѣтище...

Давка на площади стала стихать.

Щеголеватый юноша, оправляя букольки и примятый треуголь и распространяя запахъ пътушьихъ ягодъ, протискался въ церковную ограду.

Здёсь Фонвианнъ увидёль своего знакомца, рядового Дерсочивения г. п. данидевскаго. т. іх. жавина. Последній, размахивая руками, что-то разсказываль преображенцамъ и какъ бы на кого-то жаловался.

— Что съ тобой?—епросить его Фонвизинъ:— и каково

происшествіе?

— Представь, случай!-обратился къ нему Державинъ:и въ такое время... Вчерась, изъ-подголовка, она бестія выкрала всь деньги-больше ста рублей...

— Кто выкраль?

— Да слуга одного солдата-помъщика... И смъхъ, и жаль, — такова судьба! родительница сколотила и прислала последнее. Веришь ли, всю ночь не спаль...

— Ну, теперь зато утвшенъ.

— Еще бы.

— A гда вишь баталіонный Восйковъ, что Нассека арестоваль?

— Представь, вздумаль гренадерь, чтобъ не шли сюда; бранить и по ружьямъ рубить. Тъ рыкнули на Литейной и кинулись на него со штыками...

-- II что жъ?

- - Ускакаль-по брюхо коня-въ Фонтанку, не достали.

— А эти кто?

— Дашкова... Панинъ... гетманъ Разумовскій...

Къ собору насиввали известные городу вельможи и жены сановниковъ. Фонвизинъ также протискался на паперть. Голова его кружилась. Онъ слушалъ и не върилъ своимъ ушамъ. Въ раскрытую дверь церкви были видны ярко горввшія лампады и свічи. Съ клубами дыма доносились громкіе возгласы протодіакона: «Еще молимся о благочестивый пей, самодержавный шей, великой государыны... императриць Екатеринь Алексвевны... и о наследникь ся Павлі: Петровичь...» Хоръ извичхъ подхватываль. И никогда клирное пъніе не казалось Фонвизину такъ сладко, какъ теперь. теперь.

«Боже! какія событія!--думаль онь, за слезами восторга не видя вкругъ себя никого, — чаялъ ли, ожидалъ ли кто

такъ скоро?»

Онъ вынуль платокъ, отеръ глаза и раскраснъвщееся

лицо-и оглянулся.

У зеленой, развъсистой липы на Невскомъ, стиснутый задыхавшеюся отъ жары и давки толпой, стоялъ близъ чной ограды знакомый, атлетического вида, господинъ.

Плотныя плечи высились надъ устремленными къ церкви головами; поярковый, порыжклый отъ вътра треуголъ былъ сдвинутъ на затылокъ; суровое, въ морщинахъ, лицо изображало недоумъне и радостный испугъ.

«Михайло Васильнчъ! онъ ли это?» — подумалъ Фонвизинъ. вспоминая постъднее свиданіе съ Ломоносовымъ, тосты въ честь императрицы и приглашеніе на именины дяди. — «Боже! какое совпаденіе! — сказалъ себъ юноща, протискиваясь изъ ограды на Невскій: — какъ разъ, въ этотъ день...»

Подъ липой действительно стояль Ломоносовъ.

— «Карету государыни, карету!»—крикнули въ это время отъ собора. Ряды войскъ, тёсня и сдерживая народъ, раздвинулись.—«Мёсто, мёсто!»—«Куда поёхала?»—«Въ новый дворецъ! въ коронё!..»— «Врешъ!.. что ротъ раскрылъ? пушка вкатитъ! да не толкайся, желтоглазый, ребро сломаешь!..»—«Эхъ, люди, право! лёзутъ!..»—«Ой, руку отдавили! ноженьку...»

Толпа, хлынувъ отъ площади, разорвалась на два теченія. Одно, волнуясь и кружась, захватило и повлекло вліво по Невскому тіхъ, кто стоять у сада гетмана. Другое потащило вдоль Конюшенныхъ тіхъ, кто находился правіс противъ собора.

Фонвизинъ, приплюснутый межь бородатымъ, пахнувщимъ ворванью и москателью, лавочникомъ и толстою, красной, какъ ракъ, попадьей, — увидълъ издали, въ облакъ пыли, разъ и другой мелькнувщія плечи и шляпу Ломоносова. Онъ попробоваль освободиться, но тщетно. Бурный народный потокъ, сжавъ его, какъ въ тискахъ, уносиль его дальше и дальше впередъ. Ломоносову бросилось въ глаза взволнованное лицо Пчёлкиной. Она стояда на чьемъ-то крыльць, сумрачно, недовольно гладя на бъжавшую мимо нея толпу...

Екатерина пробхала въ новый, еще неосвобожденный отъ льсовъ, зимній дворецъ. Здёсь, окруженная свитой, она показалась народу съ сыномъ, въ верхнемъ и теперь существующемъ фонарикъ, надъ правымъ крыльцомъ.—«Манифестъ пишутъ, совъщаются, — стало слышно въ

толив: — въ старый дворецъ созванъ сенатъ и синодъ». Подъважали новые экипажи, скакали верховые.

Глухо гремя тяжелыми колесами и лафетами, на площадь въбхала артиллерія. Пушки разм'єстились по угламъ площади и у въбздовъ въ ближнія улицы.

Ломоносовъ стоялъ у адмиралтейства. Онъ видъль, какъ, съ портфелью подъ мышкой, трусцой, на длинныхъ, юркихъ ножкахъ, прошелъ въ дворцовыя ворота любимецъ гетмана—президента академін, Григорій Тепловъ.—«Вотъ чье перо понадобилось въ столь важный моменть!»—съ горечью подумалъ Ломоносовъ о своемъ давнемъ недругъ—«напредки свёдомъ буду... Немного хорошаго предвіщають негоціи съ такимъ конфидентомъ... Пора, знать, и во-свояси». — Онъ сходилъ домой, на скоро пообедаль и опять вышелъ на улицу. Но не успёль онъ добраться до Гороховой, какъ народъ снова откуда-то хдынулъ и его увлекъ во дворцу. Вечеромъ площадь огласилась новыми громенми вриками, — Екатерина съза въ карету. Провожаемая войскомъ, она вхала къ старому Елисаветинскому дворцу.

Унесенный волнами народа, Ломоносовъ очутился у фонариаго столба въ Морской, на углу разъвздной дворцовой площадки. Передъ нимъ по Невскому разнялись шеревти преображенцевъ, семеновцевъ и конной гвардіи; на-право, по Морской,—измайловцы, аргиллерія и армейскіе полки.

Кто-то тронуль Ломоносова за плечо. Онъ оглянулся; перель нимъ стояль Фонвизинъ.

- Каковы событія, каковы! сказаль Денись Иванычь.
- Да, смуты и всякой сутолочи немало! досадливо отвътиль Ломоносовъ, вспоминая о Тепловъ: махъ-махъ, и увезли, начали новое цареніс. Все это больно ужъ скоро...
 - Не понимаю васъ, уливленно произнесъ Фонвизинъ.
- Не понимаете? А какъ тъ-то, сударь, одумаются и пойдуть сюда изъ Ранбова?
 - Да кому идти?
- Какъ кому? У Петра Осдорыча, другь мой, съ гол-штиндами, помните, болье пяти тысячъ войска.
- Отстоимъ, Михайло Васильнчъ, что вы, отстоимъ!— сказалъ Фонвизинъ: городъ оцъпленъ, и къ государынъ то-и-дъло подводять языковъ... слышали, сколько ужъ явилось съ покорностью?... оба Шуваловы, Трубецкой, Ворои-

цовъ; въ Кронштадтъ посланъ адмиралъ Иванъ Лукьяпычъ Талывинъ, — привести флотъ къ присягъ.

— A Минихъ? — сердито поднявъ брови, произнесъ Ломоносовъ: — онъ одинъ, сударь, чего стоитъ?

— Что Минихъ! старый нвичикъ!.. мы и ero...

— Ну, не суди такъ зазорно! Минихами, братъ, не очень-то шутятъ... Они...

Ломоносовъ не договорилъ.

Дворцовая площадь, какъ по манію волшебнаго жезла, вдругь смолкла. Взоры всёхъ обратились къ крытому парадному подъёзду, выходившему на Морскую. Былъ девятый часъ всчера, но на улицё было свётло. Ломовосовъ обять гдё-то въ толий увидёль Пчёлкину.

На подъезде въ кругу сенаторовъ, генералитета и первыхъ чиновъ двора, показались два, невысокаго роста, вълентахъ и светло-зеленыхъ гвардейскихъ кафтанахъ, офицера: одинъ живой и худенькій, другой плотне и съ виду представительный и важный.

— Батюшки, да это государыня и Дашкова!—произнесъ, прикипъвъ на мъстъ, Фонвизинъ. Онъ ухватилъ мягкою, теплой рукой похолодълую, жилистую руку Ломоносова, и болъе не могъ промолвить ни слова.

Екатерина была одъта въ преображенскій, старой формы кафтанъ капитана Петра Федорыча Талызина; Дашкова—въ такой же кафтанъ лейтенанта Андрея Федорыча Пупі-кина. Придворные рейткиехты подвели къ крыльцу бълаго, въ темныхъ яблокахъ, и свътло-гиъдого коней.

— «Садится, садится верхомъ! — пронеслось въ толпѣ: — откуппала, пресвътлая, у оконъ-то: съ улицы было видно...» — «Да куда-жъ это?» — Въ походъ, видно... — «Въ какой?» — «Отстанъте, что вы, право!...»

Екатерина сіла на білаго, — Дашкова на гийдого коня. Обіз отъйхали нісколько шаговъ къ Невскому и остановились. Волосы Дашковой были подобраны подъ піляцу. Развитыя, світлорусыя косы Екатерины густыми, волнистыми прядями падали, изъ-подъ треугола, на зеленый съ краснымъ воротомъ кафтамъ. Черезъ плечо императрицы была надіта андреевская голубая лента.

«Слу-шай! на-кра-улъ!» — раздались слова команды. — Ружья звякнули. Войско отдало честь государынъ.

Екатерина, съ улыбкой взглянувъ на Дашкову, ловко

вынула изъ ноженъ шпагу, хотъла ее поднять и смыпалась. Краска залила ей лицо. Шпага оказалась безъ темляка.— «Темлякъ, темлякъ!»—пронеслось въ ближнихъ рядахъ.

Изъ передней шеренги конногвардейцевъ, на большомъ, раскормленномъ, ворономъ конѣ, вылетѣлъ и подскакалъ къ императрицѣ моложавый и, какъ дѣвушка, застѣнчивый, близорукій, круглолицый вахмистръ. Онъ снялъ съ собственнаго палаша темлякъ. и, приподнявъ шляпу, дрожавшей рукой почтительно подалъ его государынъ.

— Благодарю! — сказала Екатерина, сдержавъ лошадь п

ласково кивнувъ ему черезъ плечо.

- - - · · ·

— Кто это? кто?—заговорили въ рядахъ.

— Батюшки-свъты! — произнесъ, всилеснувъ руками. Фонвизинъ: — да въдь это нашъ кандидать въ архіереи...

— А ты нешто его знаещь?—спросиль Ломоносовъ.

— Какъ не знать! за леность и повседневное нехожденіе въ классы, вмёстё съ Новиковымъ, выключенъ изъ нашихъ московскихъ студентовъ: а теперь масонъ и другъ Орловыхъ.

Кандидать въ архіерен въ эту минуту быль въ большомъ затруднечін. Его молодой вороной, ставъ рядомъ съ бълымъ конемъ императрицы, решительно не хотъль отъзажать прочь. Онъ тронулъ его шпорами, — конь подался впередъ, фыркнулъ, но, помня манежную ізду, замоталь головой и осъль назадъ. Онъ далъ ему шенкеля, конь взвился на дыбы, и опять ни съ міста.

 Не судьба, сударь, — желая одобрить растерявшагося вахмистра, съ улыбкой сказала Екатерина: — ваша фамилія?

— Потемкинъ! — вспыхнувъ по уши и заморгавъ большими близорукими глазами, отвітиль съ рукой у треугола облолицый и чернобровый вахмистръ.

Екатерина прикръпила темлякъ, подняла шпагу и смъю, ободрительно - привътливо взглянула на окружавшихъ, на публику и генералитетъ.

Это была уже не жалкая, въ траурномъ платъћ, гонимая женщина, а величавая, гордая орлица, готовая взмахнуть крыльями и подняться въ недосягаемую высь. Она, глядя все также смъло и привътливо, какъ бы салютуя, повела шпагой, тронула поводомъ и шагомъ двинулась вправо по Невскому. Свита, волнуясь разнообразными мундирами, лентами и звъздами, верхами послъдовала за ней. Кто-то,

проважая мимо Ломоносова, сказаль сосвду, указывая на императрицу: «Персть Божій, Промысель»...

«Увидимъ еще, увидимы! — думала невдали отъ него, глядя на общее ликованіе, Пчёлкина, — Дашковой тоже припомню, выйдетъ иной фантомъ... о немъ забыли... но онъ воскреснеть, живъ!..»

— «Смирно! фронть готовьсь! мункеть на пле-чо!»— раздалась по полкамъ разноголосая, на тогдашній ладъ, команда начальниковъ пішихъ и конныхъ частей. — «Черезъ плутонгъ, на-право, ряды вздвой... лівое плечо впередъ, кругомъ... скорымъ ніагомъ, прямо, маршъ!»

Колонны двинулись, стали равняться. Загремъли барабаны, засвистъли фленточки. Хоръ трубачей, впереди полковъ, предводимыхъ готманомъ и княземъ Волконскимъ,

ванградъ походный маршъ Великаго Петра.

Сперва гвардій, пъщая и коннай, потомъ армейскіе полки пошли всябдь за императрицей. Они обогнули, отъ Морской по Невскому, и миновали зимній Елисаветинскій дворець. Екатерина въбхала на Полицейскій мость. Невскій, въ последнемъ отблеске заката, гляділь празднично. Трубы и барабаны греміли. Знамена развівались. Екатерина издали вся была ясно видна, на бъломъ въ яблокахъ, статномъ конф,—въ ленть, со шпагой въ рукт и съ пышными, русыми косами, падавшими на зеленый съ золотомъ кафтанъ.

«И это она! — мыслила, ідучи рядомъ съ Екатериной и поглядывая на нее, Дашкова:—она, та самая, что третьяго дня мыла рукавчики... а сегодня, а теперь?.. Какъ нежданно, какъ чудно она, она, мой идеалъ, мой другъ, переродилась! Кто ожидалъ? Сколько смълости, отваги. Исторія отмътитъ. И мнѣ одной она обязана своей свободой и этимъ, даже мнѣ самой, непонятнымъ и необъясненнымъ перерожденіемъ!..

- Куда это, куда? окликнулъ кто-то изъ опоздавщей знати Ивана Ивановича Шувалова, который у дворцовой площади торопливо и неуклюже взлъзалъ, при помощи слуги, на подведеннаго коня.
- Въ походъ, князенька!—неохотно отвътилъ, махнувъ рукой, Шуваловъ.
- Какъ въ походъ? куда?
- Въ Ранбовъ, батюшка! и что пристаень? mille diables,

некогда, — еще досадливье сказаль Шуваловь, неумью болтая толстыми въ чуккахъ ногами и дегонии пестие.

Мимо Ломоносова двигались роты за ротами, эскадроны за эскадронами. Онъ не отходиль оть угла разъездней площадки.

— Вотъ бы, Михайло Васильичъ, вамъ воспёть нашу радесть, нашу богиню! — кто-то восторженно крикнулъ ему изъ двигавшихся пъхотныхъ рядовъ.

Ломоносовъ оглянулся. Мимо него, въ темпъ, поспъвая за товарищами, съ ружьемъ на плечъ, по разъвзженному булыжнику быстро шагалъ въ пыли раскраснъвшийся, длинюногій Державинъ.

— Видали? — спросиль онъ, ровняясь, и маняя ногу: этотъ конь, эта шпага и эти распущенные косы... Не правда ли Героиня древности, Минерва! Фелица!

Войска піли, клики не умолкали, барабаны грем'яли по Невскому.

Преображенскій рядовой, будущій півець этой самой Фелицы, забыль вы эти міновенія безсонницу ночи, препавшія деньги и то, что онь съ утра не пиль и не вль, и все... Онь не спускаль глазь съ длинныхъ русыхъ косъ, развівнавшихся вдали изъ-подъ треугла, и лихо, бодро шель, не чувствуя подъ собою ногь, и, въ трепеть зарождавшагося вдохновенія, желая, чтобы это сказочное шествіе было нескончаемо, вічно...

- «Чтобъ шлемъ блисталъ на ней пернатый,
- «Зефиры въяли власы.,.
- «Чтобъ конь подъ ней главой крутился
- «И бурно брозды опфияль...

— Воспъть! да, другъ мой, стоитъ ироической, въ потомство идущей, громкой оды! — сказалъ Фонвизину, смигивая слезы, Ломоносовъ:—сказка Шехеразады, сонъ...

Оба они пошли съ народомъ за войскомъ, но не видъли ни войска, ни народа. Въ ихъ глазахъ какъ бы намечались и дивно строились очертания чего-то великаго, новаго и непостижимаго. Придя домой, Ломоносовъ порвать и сжегъ латинскую речь въ честь Третьяго Петра и началь новую оду:

«Внемлите, всё предёды свёта, «И вёдайте, что можеть Богь: «Воскресла намъ Елисавета!.. «Да — мыслиль онъ, бродя по саду: — новую, свътлую эру начнеть она, лишь бы призвъла разумныхъ и честныхъ, прирежденныхъ странъ совътниковъ... А тотъ заключенный? Господи силъ! преклони, въ этотъ мигъ, сердце ся къ несчастному. Въ торжествъ и въ счастъъ, да вспомянеть она его своею милостъю...»

XXI.

Высадка въ Кронштадтъ.

Мировичь оставиль притомленнаго коня подъ Петергофомь и съ какимъ-то садовникомъ добхаль въ Ораніенбаумъ, въ седьмомъ часу утра: Дворецъ еще быль погруженъ въ тишину. Худощавый, плечистый, въ веснушкахъ, голштинскій офицеръ, въ бъломъ колетъ и лосинныхъ въ обтяжку штиблетахъ, ходилъ въ ожиданіи смѣны у гауптвахты, бливъ главныхъ вороть.

- Zurück, zurück—крикнулъ ему голитинецъ, видя, что тогь направляется въ дворцовому крыльцу.
- Мит, сударь, важное дело,—не останавливаясь, сказаль Мировичь.
- Aber du, tausend Teufel!—кинувшись къ ослушнику и хватая его за плечо, прохрипѣль освирѣпѣлый драбантъ.
- Да, слынишь ты, собака, дёло говорю! отвётиль, отголинувъ его, Мировичъ: за грубость послё разсчетъ: видывали такихъ... а теперь, говорять тебе, пусти...
- O, Herr Je... du Taugenichts, Schweintreiber! Hein wer ist da?—крикнуль, хлопнувь въ ладоши, голштинець.

Изъ караульни выбъжало нъсколько человъкъ солдатъ.

Напрасно Мировичь доказываль, клялся и грозиль. Ему указали смежный, внутренній дворь, гдв поміщалась канпелярія дежурнаго генераль-адъютанта. Тамь было также
тихо. Дверь въ канцелярію была заперта. Мировичь прискль на крыльців, обдумывая, какъ онъ упросить Гудовича
или Унгерна и предупредить государя. Дворцовый міръ
началь пробуждаться. У кухоннаго флигеля показался въ
біломъ колпаків заспанный поваренокъ. Гді-то скрипнула
дверь, простучали подковы лошади. Изъ служительской казармы вышель, въ халаті и въ башмакахъ на босу-ногу,
лысый тафельдекерь. Онъ умылся у бочки, утерся и, позівывая, началь молиться. — «Царство спящей царевны—

подумаль Мировичь. — и не подозрѣвають, что ихъ ждеть...» —На внутреннемь дворцовомъ крыльцѣ показался. съ платьемь въ рукахъ, недовольный и хмурый, любимый государевъ арапъ, Нарцисъ. — «Терпѣніе, терпѣніе, —сказалъ себѣ Мировичъ: — «государь скоро проснется...» Онъ прошелъ къ пруду, къ катальной горкѣ, также умылся и привелъ въ порядокъ свой запыленный и примаранный костюмъ. Его давила роковая, величественная, какъ онъ думалъ, идея. Она была ему не подъ силу. Онъ подъ нею изнемогалъ. Возвратился Мировичъ черезъ конюшенный дворъ. Здѣсь уже шла суета. Рысью вели съ водопоя лошадей. У каретника сновали конюхи, скороходы. Выкатывали акипажи, несли сбрую.

— Что это? — спросиль Мировичь рейткиехта: — развытакь рано эдеть куда государь?

— Въ Петергофъ, - кушаетъ ныиче тамъ.

Мировичь возвратился къ главнымъ дворцовымъ воротамъ. У гауптвахты стояла уже другая команда. - «Подожду здъсь, — сказаль онъ себъ, съ внутреннею дрожью, сердито присввъ на выступъ решетки: - тупицы, скоты, - тиранятъ медленностью и не подозравають!»—Не долго онъ ждаль на этоть разь. За древесною клумбой, скрывавней парадный подъездъ, послышался конскій топотъ. Къ воротамъ, повернувшись въ седле и отдавая назадъ кому-то приказанія, приближался курцъ-галопомъ пасмурный, не въ духв, Гудовичъ. Открытое государево голубое ландо, шестерней цугомъ. ъкало ему навстръчу — къ крыльцу, гдъ, въ ожидании выхода императора, толпилось несколько придворныхъ, офиперовъ и молодыхъ разряженныхъ дамъ. Оттуда доносились веселые возгласы, сиъхъ. — «Mais finissez donc, cher baron» хлопая Унгерна по рукі, говорила півучимь голоскомь краснощекая, съ усиками брюнетка, графиня Брюссъ.—«Et puis quand je dors...»—продолжаль кто-то.— «Ти-ти, та-та» — щебетала на крыльце веселая компанія...-«Озадачу ихъ, поблъднъють модники! разгромлю!—съ злобною, радостною дрожью, подумаль, пропустивь ландо, Мировичь:откладывать нечего... была не была!.. начну съ этого....»

Онъ сталь на пути Гудовича—и, когда последній выбхаль за ворота, подошель къ нему и съ поклономь протянуль заготовленный у Брессана рапоть. Гудовичь мельком ваглянуль на бумагу, счель ее за обычное прошеніе, опустиль

въ карманъ и, подобравъ поводья, съ. легкимъ кивкомъ, тъмъ же курцъ-галономъ поскакалъ по дорогъ въ Петергофъ.

«Что я сдълалъ! скотина, мямля, баба! — вспыхнувъ, по-

думалъ Мировичъ, -- надо было самому государю»...

Въ ворота стали подъвзжать другіе экипажи. На крыльців явились фаворитка Воронцова, Измайловъ, Бецкій и прусскій посланникъ Гольцъ. Въ дверяхъ показался білый, съ бирюзовымъ воротомъ и такими же обшлагами, мундиръ, небольшой треуголъ съ плюмажемъ и голиптинская красная лента. Государь вышелъ въ сопровожденіи Миниха. Онъ добродушно улыбался.

— И съ такой разиней самъ вороной станешь,—сказалъ Петръ, отвъчая на слова собесъдника:—готово?—спросилъ

онъ, обернувшись къ свить.

Готово, — склонившись, отвътиль Унгернъ.

На дворћ было весело, тепло. Солнце свътило такъ привътливо. Государь приподнялъ всъмъ шляпу, живо, покачиваясь, спустился по ступенькамъ и сълъ въ экипажъ. Воронцова и графиня Брюссъ, веселыя, улыбающіяся, еп robe de cour, распустивъ цвътные зонтики, съли съ нимъ на переднюю скамью; молоденькая принцесса Гольштейнъ-Бекская—рядомъ съ государемъ.

Голубое, съ красными выносными жокеями, ландо, объвкавъ фонтанную клумбу, пронеслось мимо Мировича на дорогу. Следомъ выкатилъ рядъ другихъ экипажей. Защелкали бичи. Заклубилась пыль. Вновь поставленный голштинскій караулъ, въ лосине и въ узкихъ белыхъ колетахъ, вытянулся, съ барабанною дробью, у воротъ.

«Не пустили, собаки, а я все-таки въ подробности и, кажется, первый передалъ обо всемъ!» — подумалъ Мировичъ, слъдя отъ ограды помутившимся, злобнымъ взоромъ за убъгавшими вдаль экипажами веселой компаніи.

Вскоръ Мировичъ узналъ, что все его рвеніе и всъ хло-поты опоздали и остались непричемъ...

Государева коляска миновала колонію. Въ свъжемъ утреннемъ воздухъ, надъ вершинами парка, развернувшагося у взморья, стали видны кровли петергофскаго дворца. И вдругъ красный жокей замедлилъ на передней паръ и обернулся. Навстръчу государя, изъ парка, мчался во весь опоръ Гудовичъ.

Андрей Васильнчъ подскакаль, склонился къ экипажу и началь что-то шептать государю. Петръ Оедоровичъ побльднълъ. На Гудовичъ тоже не было лида. Оба нъсколько мгновеній молчали.

Императоръ вышелъ на дорогу. Глаза его смотръли испуганно, по лицу бродила странная, растерянная улыбка.

- Такъ это, Андрей Васильичь, не сонъ? ся нътъ?
- Повидимости, ваше величество, государыня ретировалась...
 - Просто скажи: сбежала! зачемъ смягчать? Но куда?
 - Никто не знаеть.
 - Всъхъ спрашивалъ?
 - Всъхъ.

Наспъли другіе экипажи. Петръ Оедоровичь съль въ коляску съ Гудовичемъ, Унгерномъ и Минихомъ и велълъ ъхать къ Монплезиру. Дамамъ предложили отправиться ко дворцу паркомъ.

Государь бросился въ павильонъ, обощелъ все комнаты,— Екатерины не было. На столь, въ ся уборной, лежало го-

товое на завтра бальное цветное платье.

— Вздоръ, вздоръ! — сказалъ Петръ Оедоровичъ: — она здъсь гдъ-нибудь спряталась. Не иголка, — найдемъ!..

Онъ заглядываль въ шканы, — подъ кущетки, вельль

осмотреть ближнія зданія, берегь, кусты.

— Ну, Романовна, — обратился государь къ Воронцовой, подърхавшей съ дядей канцлеромъ: — ты права!.. жена моя насъ предупредила, ушла...

— Хуже того, ваше величество, — произнесъ, склонянсь,

канцлеръ:---не знаю, какъ и доложить...

— Говори, говори,—что еще тамъ?

 Сейчасъ пробхавшіе крестьяне сообщили, что вся столица въ возстаніи; народъ и войско стали за государыню и съ нею направились во дворцу.

Петръ Оедоровичъ взглянуль на окружавшихъ. Взоры

всъхъ были потуплены.

- Отпустите меня въ Петербургъ, сказалъ Воронцовъ: я постараюсь уговорить вашу супругу и привезу ее въ вамъ обратно.
 - И мит дозвольте, произнесь Александръ Шуваловъ.

— И мив! — прибавить князь Никита Трубецкой.

Всь трое укхали въ Петербургъ — и не возвратились

Стали приходить в'єсти одна другой тревожнів. Подъбхавшій фейерверьеръ сообщить, что Панинъ, Дашкова, князь Волконскій и гетманъ руководять движеніемъ, Петербургъ еціпленъ, Екатерина провозглашена самодержицей, и ей

принесли присягу сенать и синодъ.

Обружавщіе Петра Оедоровича не выказали мужества. Но прежде всіхъ и въ большей мірів потерялся онъ самъ. Окруженный молодыми, плаксивыми женщинами и себилюбивыми, изн'яженными царедворцами, онъ ходилъ большими шагами по аллеямъ нижняго сада, ділалъ множество разныхъ предположеній и не выполнялъ ни одного. Были посланы лазутчики на нарвскую дорогу — узнать, не проізжалъ ли гонецъ въ заграничиую армію. Поіхалъ предупредить коменданта въ Кронштадтъ на шлюпків адъютантъ государя, графъ Дефьеръ.

Осыпая Екатерину горышии, жестими укоризнами, Петръ Федоровичь то грозиль, что всю дорогу до Петербурга уставить висёлицами и перевёшаеть на нихъ всёхъ ея пособниковь, — то диктоваль Волкову проекты безполезныхъ распоряженій и воззваній къ народу. Были посланы въ Петербургь четыре солдата, съ манифестами къ народу, причемъ каждому было дано по сто червонцевъ. Но въ то время, какъ Волковъ писаль манифесты въ Петергофѣ, Тепловъ

писаль подобные же въ Петербургв.

Пришель чась обеда. День быль тихій, жаркій. Все общество столинлось на взморьи, у Монидезира. Здёсь наврыли столь и сёли обедать. Въ конце обеда послышались звуки трубъ и барабановъ. То подходили изъ Ораніенбаума приведенные Измайловымъ голштинскіе полки. Быль седьмой часъ вечера.

— Вірные слуги вашего величества явились, — сказалъ фельдмаршаль Минихъ: — мужайтесь! станьте въ ихъ главъ и идите на Петербургъ. У васъ тамъ еще немало друзей. Столица одумается и возвратится къ своему долгу. Я первый положу съдую голову за моего государя...

Слова стараго побъдителя при Ставучанахъ произвели удручающее, смутное внечатлъніе. Дамы стали шентаться, мужчины — переглядываться. Всъ чувствовали, что нъчто привычное, покойное и пріятное уходило отъ нихъ и замънялось непріятнымъ, тревожнымъ, грознымъ.

Голштинскимъ отрядамъ вельли идти къ звършицу и тамъ

по взморью строить батарен. Минихъ чертиль мыста для окоповъ; Измайловъ занялся списками батарейныхъ командъ. Стало вечерыть.

Но подоспѣла новая грозная вѣсть. Въ Гостилицы проскакаль мажордомъ Разумовскаго и объявиль, что государыня и съ ней больше интнадцати тысячъ войска выступили изъ столицы и на полномъ маршѣ идутъ на Петергофъ. Дамы расплакались, подняли крикъ. Кто-то вполголоса сказалъ, что ужъ если ждать атаки, такъ лучше возвратиться въ Ораніенбаумъ, — тамъ крѣпость. Эти слова произвели общее замѣшательство. Всѣ предлагали совѣты, одинъ другого несбыточнѣе, спорили и никто никого не слушалъ.

— Ваше, фельдмаршаль, мивніе?—обратился государь къ Миниху:—что скажете о предложенной ретирадь?

Минихъ задумался. Суровое, сиблое его лицо осунулось; въ глазахъ было выраженіе жалости, гибва и стыда.

- Ретирада? произнесъ онъ, покачавъ головой: что горопитесь? еще успъете... А впрочемъ, эти увеселительныя мъста... туть насъ всъхъ, пожалуй, переловятъ, какъ мышей...
 - Такъ куда же, милости-съ пожалуста, куда?
- Въ Кронштадтъ! сказалъ Минихъ: онъ еще въ вашей власти. Комендантъ Ливерсъ — надежный слуга... И если мы во-время туда поспъемъ, — его корабли и пушки иначе заставятъ говорить и вашу ослушную супругу, и ставшій на ен сторону Петербургъ.
- Хорошо, что мы догадались!—отвътиль государь:—къ

коменданту посланъ Девьеръ, готовить десантъ...
Предложение Миниха было принято. Послади вт

Предложение Миниха было принято. Послали въ Ораніенбаумъ за яхтой и галерой. Пока ихъ привели, стало смеркаться.

Быль десятый чась вечера. Все общество въ шлюшкахъ перебхало на суда.

На государеву яхту, въ помощь матросамъ, попросились нъкоторые изъ гвардейскихъ и армейскихъ офицеровъ. Между ними быль и пришедшій съ голштинскиим полками Мировичъ.

Потянуль-было легкій береговой вітерь, но когда окончательно стемніло, онь затихь. Паруса не вздымались. Яхта и галера шли на веслахъ. Волны чуть колыхались. Море затянуло мглой.

Быль въ исходъ первый часъ ночи, когда путники приблизились къ Кроншталту.

«Ну, что-то мив подарить наступающій день моихъ именинь? — думаль, сидя у борта на палубі, Петрь Оедоровичь, — какъ-то распорядились вы Кронштадті Ливерсь и Девьерь?»

Въ то время, какъ яхта и галера илыли по морю, въ Петербургъ ужъ ходилъ въ спискахъ первый именной указъ Екатерины сенату: «Господа сенаторы! Я теперь выхожу съ войскомъ, чтобы утвердить и обнадежить престоль, оставлявамъ, яко первому моему правительству, съ полною довъренностью, подъ стражу, отечество, народъ и сына моего».

Снабженный инструкціей сената, вице-адмираль Иванъ Лукьяновичь Талызинъ принлыль въ Кронитадть на щести-весельномъ рябикъ передъ вечеромъ. Вельвъ гребцамъ молчать, онъ пошелъ къ коменданту Ливерсу, сказалъ ему, что въ Петербургъ неладно и что, вслъдствіе того, онъ счель долгомъ посившить къ флоту. Отъ Ливерса Талызинъ отправился въ казармы. Тамъ онъ собралъ болъе надежныхъ офицеровъ и матросовъ, разсказалъ имъ о паденіи голитинской партіи и о присягъ Петербурга, и предложилъ флоту стать на сторону новой императрицы. Всъ крикнули вивать, и отправились за Талызинымъ, къ коменданту.

— Что за шумъ?—спросияъ, встретивъ ихъ, Ливерсъ. Съ комендантомъ стоялъ и приславный за десантомъ адъютантъ императора, графъ Девьеръ.

— А вотъ что, государи мон, — отвътилъ щепетильный и въжливый въ обхождении Иванъ Лукьяновичъ: — ны не имъли столько духа, чтобъ догадаться и меня арестовать, такъ извините, я васъ при сей оказіи арестую...

Св Ливерсомъ и Девьеромъ быль заключенъ подъ стражу и капитанъ надъ портомъ, крикнувшій-было матросамъ: «Что вы смотрите на него: вяжите бунтовщика!» — Талызинъ нривелъ вею команду къ присягъ, ко входамъ въ гавань отрядилъ надежные караулы, пушки батарей велълъ зарядить ядрами и вышелъ на пристань.

Море тихо плескалось о низменный берегъ, о сван и камни дозорной каланчи.

«Людей въ Кронштадтъ всемърно мало, чтобъ обнять столь общирную гавань, —разсуждаль Талызинъ, ходя взадъ

и впередъ по взиорью, —пришлють ли, какъ я просиль, сикурсу солдатами изъ Питера? А то, какъ бы не навхаль сюда недобрый гость изъ Аренбога», — какъ тогда звали Ораніенбаумъ или нынёшній, по народному Рамбовъ.

Наведя зрительную трубку въ море, Иванъ Лукьяновичъ тревожно вглядывался, не плыветъ ли изъ «Аренбога» не-

добрый гость.

Мгла надъ моремъ не расходилась. Мѣсяцъ не показывался. Иванъ Лукьяновичъ обощелъ всѣхъ часовыхъ.

— Кто на стрълеъ?—оклибнулъ онъ караульнаго, стояв-

шаго у входа вь гавань на узкой песчаной косъ.

 Трифонъ Аверьяновъ, отвътилъ изъ-за пригорка голосъ молодого часового, шагавшаго въ сумеркахъ по влажному песку.

- Гляди жъ, Аверьяновъ, да поглядывай гостей,—крикнуль ему Талызинъ:—а наёдутъ, давай голосъ, чтобъ ёхали прочь... стрёлять-де будемъ... Есть рупоръ?
 - Нъту-ти.
 - Ну, малый, гляди же; а я пришлю...

А гость изъ «Аренбога» какъ разъ и навхалъ.

Въ мглистомъ сумракъ обрисовывались черныя мачты и реи двухъ медленио, на веслахъ, подплывавшихъ судовъ. Что-то зашуршало и шлепнулось въ воду.

«Якоря опускають», — подумать, затанвъ дыханіе, Талызинъ. Онъ даль условный сигналь на сосъднія батареи. Съ вышки было явственно слышно, какъ на приплывшихъ судахъ кто-то тихо отдаваль команду, какъ съ яхты, а потомъ и съ галеры, спустили шлюпки и какъ, шелестя платьями и пища отъ страха, при видѣ колебавшихся, темныхъ волнъ, — начали съ борта въ лодки спускаться дамы.

Восьмивесельная, а за нею четырехвесельная шлюпки выдёлились изъ мглы и медленно, беззвучно стали подплывать съ залива къ песчаной косъ. Съ ближней лодки на берегъ бросили доску. Императоръ, за нимъ Минихъ и Гудовичъ готовились выйти на пологій, белевшій въ сумеркахъ мысокъ.

- Кто идетъ? раздался въ тишинъ бойкій окликъ матросика Аверьянова.
 - Императоръ! отвътилъ Гудовичъ.
- Нътъ у насъ болъ императора, отозвался тотъ же голосъ.

 Вотъ я самъ, вашъ государы—произнесъ Петръ Осдоровичъ, сбросивъ плащъ и въ бъломъ мундиръ выступая къ носу колыхавшейся лодки:—приказываю пропустить меня и мою свиту.

7 T

F- EE

•=:

I.

:__z;

<u>:- ::-</u>

- У насъ государыня, матушка Катерина Алексвевна, а не государы! — отвътилъ Трифонъ Аверьяновъ: — и коли вы, господа ахфицеры, не уйдете отсулева, начальство будетъ бонбы пущать...
- --- Впередъ, ваше величество! руку!--- сказалъ Минихъ:--- не слушайте этого олуха. Никто не посмъетъ противиться своему государю... Гарнизонъ увидить васъ, и Кронштадтъ чрезъ часъ будетъ у вашихъ ногъ.

Гудовичъ и Унгернъ поддержали слова Миника. Петръ Өедоровичъ готовъ былъ вспрыгнуть на берегъ и медлилъ.—
«Ужели я, любящій войско, я, въ душѣ стоикъ и солдатъ, окажусь малодушнымъ трусомъ, не рѣшусь?»— думалъ онъ, чувствуя, какъ пъно билось его сердце. Темныя волны глухо плескались о берегъ. Очертанія города и фортовъ неясно обозначались во мглѣ.

У каланчи послышалась артиллерійская команда. На скрытой въ сумеркахъ ближней батарев сверкнулъ зажженный фитиль. Съ лодокъ, съ залива доносились испуганные, дамскіе голоса.

Нѣтъ, — сказалъ Петръ Өедоровичъ: — за себя не боюсь.
 Но я не одинъ... Ядра не разберутъ, кому нести гибель, кому пощаду...

Онъ и его провожатые возвратились. Галера и яхта такъ скоро снова ретировались въ море, что не успъли даже поднять якорей; ихъ канаты, въ суетъ и толкотиъ, обрубили топорами.

Было два часа пополуночи. Потянулъ заревой вътерокъ. Ожила темная морская зыбь. Бълое утро шло навстръчу бълой іюньской ночи.

Государь сидълъ на палубъ. Свита отдъльными кучками перешептывалась въ сторонъ. Лица всъхъ были сумрачны, печальны.

«Не успаль я теба дать полной свободы, не успаль! думаль Петрь Өедоровичь, глядя съ борга въ туманную даль,—прости, брать! прости... Не жильцы мы здась... Непонятно и странно поставила насъ обоихъ судьба. Я быль оторванъ отъ шведскаго, ты отъ русскаго престола. Мы свидълись... Ты былъ императоромъ четыреста дней; сколько миъ суждено царствовать?»

Яхта плыла. Петръ Өедоровичъ не спускалъ глазъ съ моря. Ему грезилось, что у борта, чуть освъщенная дремотнымъ разсвътомъ, его провожала чья-то тънь. Стройный и блідный, съ длинными волосами, юноша несся надъ волнами, о-бокъ съ нимъ... Петру Өедоровичу вспомнилось, какъ принцъ Іоаннъ плакалъ и какъ молилъ не откладывать его освобожденія.

«Въ глушь, въ лъса, — думалъ Петръ Оедоровичь, — и зачъмъ я тогда не послушалъ его, зачъмъ самъ, какъ ръшилъ, не вывелъ на волю изъ душной тюрьмы?.. Гудовичъ сегодня долженъ былъ за нимъ ѣхать, — а я полагалъ его тотчасъ помолвить и провозгласить... Вонъ сидитъ и его наръченная невъста. Что-то съ нимъ? ужъ хоть бы вырвался онъ теперь, куда-нибудь ушелъ съ дачи — овича»...

Берегь близился. Разсветало.

— Куда прикажете?—спросилъ Гудовичъ государя: — въ Петергофъ или въ Ораніенбаумъ?

Императоръ обратился къ Миниху.

- Ну, фельдмаршаль, сказаль онъ: вижу теперь ясно и каюсь, что не вполні слушаль вашихъ совітовъ... Научите, непобідимый и храбрый, какъ выйти изъ нашего теперешняго положенія?
- Въ върный Ревель, къ эскадръ! отвътилъ Минихъ: отгуда къ заграничной арміи. Войско встрътитъ васъ, гонимаго, съ восторгомъ. Возвращайтесь съ нимъ, и, я вамъ ручаюсь, Петербургъ и все государство опять будутъ вани...
- Но вітру нітті!—вмішались дамы: неужто на веслахъ все? гребцы устануть... до Ревеля! ужасъ... что дізлать тогда?
- Э, пустяки! сказалъ фельдмаршалъ: а наши руки на что? сами возъмемся за весла и станемъ гресть...

Императоръ видълъ передъ собой лицо рыпительнаго, стойкаго, желъзнаго старика и растерянныя, испуганныя, молящія лица молодыхъ женщинъ, и не зналъ, съ къмъ согласиться и кого слушать.

Свіжій воздухъ моря и напряженность тревожной, безъ сна проведенной ночи, раздражали государя, сердили его. Онъ взглянулъ на недальній, плывшій навстрічу яхті берегь, отгуда уже тянуло знакомымъ смолистымъ дыханіемъ зеленыхъ холмовъ и лъсовъ. Запахло утреннить дымкомъ. Петръ Оедоровичь почувствоваль пріятный позывъ къ завтраку, къ трубкъ. Его любимый табакъ вышель еще въ Петергофъ. Онъ вспомниль о шипящей въ маслъ бараньей котлеткъ, о крылышкъ цыпленка, съ горошкомъ и свъжими грибками, о партіи стараго бургонскаго, присланной ему къмъ-то въ презентъ изъ Голштиніи, и о пачкъ длинныхъ сигаръ фидибусъ, забытыхъ имъ утромъ во дворцъ, на кучъ непросмотрънныхъ съ вечера бумагъ, и отдалъ Гудовичу приказъ править въ Ораніенбаумъ.

Яхта и галера вновь приплыди къ берегу. Мировичъ придерживалъ трапъ, по которому государь сошелъ на пристань. Видя, какъ дрожали щеки и все тъло Петра Оедоровича, Мировичъ вспомнилъ завътъ масоновъ: «Величіе земное—прахъ, нетятина—одна въчная непреложная истина» и подумалъ: — «О, если бъ я могъ быть ему полезенъ въ это время!..»

Талызинъ разглядёль возвращеніе путниковь въ трубу съ кронштадтской каланчи, снялъ шляпу, отеръ лицо и перекрестился.

Онъ пошелъ въ городъ, но своротилъ съ дороги и зашелъ на песчаный мысокъ, гдъ все еще забытый ночною смъной, шагалъ по влажной, бълесоватой косъ, Трифонъ Аверьяновъ.

 Молодецъ! — крикнулъ ему охриншимъ, усталымъ годосомъ Талызинъ.

Аверьяновъ вздрогнулъ и взяль мушкеть на карауль.

Жутко было на душів бойкаго, шустраго матросика. Родомъ суздалець, онъ недавно попаль во флоть. Сірые простые его глаза смотріли робко. Віки вспухли оть безсонницы. Сухой съ горбинкой нось тревожно вглядывался въ сірую утреннюю мглу, въ которой скрылись ночные гости.

И никогда потомъ, въ долгую, сурово-проведенную жизнь, матросъ Трифонъ Аверьяновъ, въ монашествъ старецъ Трифилій, умершій восьмидесяти льть келейникомъ московскаго митрополита Филарета, никогда потомъ онъ не могъ забыть ни этой ночи, ни своего отвъта невысокому, плоскогрудому, въ бъломъ мугдиръ, человъку: «У насъ не императоръ, а государыня; не уйдете прочь, начальство будетъ бонбы пущать»...